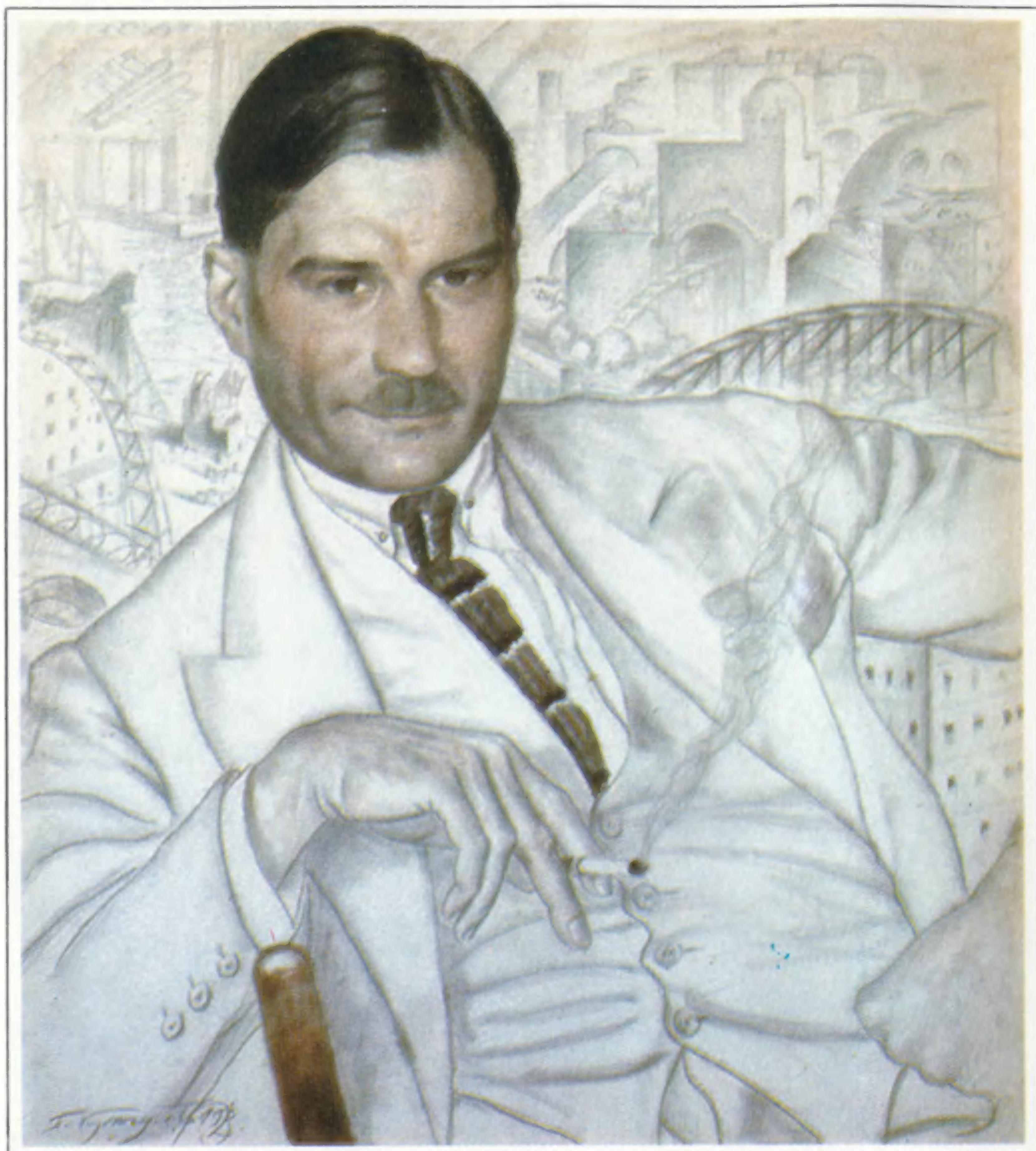


ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН



СОЧИНЕНИЯ



Портрет Е. Замятина
работы Б. Кустодиева, 1923.
© Собрание Ренэ Герра, Париж.

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

УЕЗДНОЕ

Москва
• РУССКАЯ КНИГА •
2003

УДК 82
ББК 84 Р
3-26

Федеральная программа книгоиздания России

**Составление, подготовка текста, комментарии
Ст. Никоненко и А. Тюрина**

**Вступительная статья
Ст. Никоненко**

Замятин Е. И.

**3-26 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. Уездное. / Сост.,
подгот. текста и коммент. Ст. С. Никоненко и А. Н. Тюрина.
Вступ. ст. Ст. С. Никоненко. – М.: Русская книга, 2003. –
608 с., 1 ил. портр.**

В первый том первого посмертного наиболее полного Собрания сочинений, издаваемого на родине писателя, входят произведения классика русской литературы XX века Евгения Ивановича Замятина (1884–1937), созданные им за первые пятнадцать лет творческой работы. Наряду с широко известными повестями и рассказами («Уездное», «На куличках», «Островитяне») в том включены ранее не печатавшиеся на родине произведения («Полуденница», «Колумб» и др.).

ISBN5-268-00523-5

**УДК 82
ББК 84 Р**

© Ст. Никоненко, А. Тюрин. Составление,
подготовка текста, комментарии, 2003 г.
© Ст. Никоненко. Вступ. статья, 2003 г.
© Издательство «Русская книга», 2003 г.

СОЗИДАТЕЛЬ

«Россия движется вперед странным, трудным путем, не похожим на движение других стран, ее путь – неровный, судорожный, она взбирается вверх – и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая».

Эти слова из эссе Евгения Замятина «О моих женах, ледоколах и о России», написанном в годы первых пятилеток, когда страна, казалось, была на подъеме, могли бы вызвать бурю негодования со стороны литературной общественности (и не только). Видимо поэтому эссе впервые было опубликовано лишь в 1962 году. Да и то за рубежом.

Сегодня, спустя семь десятилетий, эти слова звучат как констатация очевидности и даже как предвидение. Ведь вряд ли можно найти возражения против того факта, что могучее государство Советский Союз, вторая сверхдержава мира, почти в одночасье скукожилось, рухнуло в бездну, и теперь долго придется ждать его возрождения.

Да, даром предвидения (хотя и не в отношении личной судьбы) Замятин, несомненно, обладал.

В романе «Мы», завершенном писателем в 1921 году, многие критики и писатели увидели пасквиль на советское государство, хотя о каких достижениях науки и всеобщей механизации могла идти речь (а Замятин показывал в романе государство, достигшее высочайшего уровня в развитии науки и техники и одновременно превратившее своих граждан в бездушные и бесправные винтики государственной машины) в дни разрухи, когда жизнь после тяжелейших лет мировой войны, революции, гражданской войны только-только переходила на мирные рельсы, только-только становилась жизнью, а не выживанием?

Роман «Мы», конечно же, был направлен против тоталитаризма. Но никакого тоталитаризма в Советской России того

времени и в помине не было. М. М. Пришвин, писатель умный, глубокий, мудрый, отметил в дневнике, прослушав в исполнении автора несколько глав романа: «...столько ума, знания, таланта, мастерства было истрачено исключительно на памфлет, в сущности говоря, безобидный и обывательский»¹.

Однако не все читавшие или слушавшие роман (его читали в рукописи и слушали в исполнении автора) проявили подобное благодушие.

Ретивые критики усмотрели в произведении Замятина поклеп на коммунизм; на неопубликованную книгу появились резкие рецензии в прессе.

Естественно, что ни одно издательство не решилось в ту пору напечатать роман.

В нашей стране он впервые был напечатан лишь в 1988 году, то есть спустя почти семь десятилетий после написания. А до этого – триумфальное шествие по европейским странам – издания на английском, чешском, французском языках, фрагменты, переведенные с чешского на русский...

А на родине – резкое осуждение и травля. С конца 1920-х годов произведения Замятина перестали печатать. Его пьесы исключаются из репертуара театров.

В знак протеста 24 сентября 1929 года писатель заявляет о своем выходе из Всероссийского Союза Писателей.

Если вернуться к замятинской характеристике судьбы России, то невольно ловишь себя на мысли: не о себе ли писал он? И думал ли он, когда писал те строки, как схожа его судьба с судьбой родной страны? Единственное отличие – Замятин ничего не разрушал: он только созидал. Этому была отдана его жизнь, которую он строил, идя по линии наибольшего сопротивления, чтобы закалить себя, испытать, суметь выдержать все тяготы, которые могут выпасть на его долю.

И он выдержал. Его дух выдержал. Только сердце, не всегда подчиняющееся духу, не выдержало. 10 марта 1937 года Замятин скончался в своей квартире в доме № 14 на улице Раффэ в Париже.

* * *

Из нескольких автобиографий Евгения Ивановича Замятина нам известны наиболее важные вехи его жизни, главные творческие и жизненные принципы. О взглядах на мир, на об-

¹ Пришвин М. М. Дневники 1920–1922. М., 1995. С. 288.

ществленные события, об отношениях к тем или иным людям, их поступкам мы узнаем и из его художественных произведений, из записей в блокнотах, из писем, из статей. И все же, несмотря на то, что в некоторых рассказах и повестях Замятина можно подметить автобиографические сюжеты («Один», «Полуденница»), они занимают столь незначительное место в его творчестве, что реконструировать биографию писателя по его произведениям было бы невозможно.

Существует такое широко распространенное мнение, что у каждого писателя есть что-то свое, что он стремится донести до читателя, и если внимательнее приглядеться к этому «что-то», то мы обнаружим личность писателя. В общем-то это верно. Однако не всегда так просто. Потому что личность писателя может оказаться слишком богатой. И тогда создается впечатление, что за каждым произведением стоит иной художник.

Многие критики, исследователи творчества Замятина, указывали на тех предшественников, которые повлияли на его стиль. Назывались имена Н. С. Лескова, А. М. Ремизова... Да, несомненно, сказовая форма, притчевость присущи некоторым его рассказам, сказкам, пьесам. И все же Замятин настолько оказался самобытен, что его вряд ли можно отнести к продолжателям традиции Лескова или Ремизова.

Прежде всего – в большинстве своих произведений Замятин – писатель XX века. И, быть может, в отчужденности его произведений от личности самого писателя тоже проявляются черты XX века.

Не знаю, пробовал ли кто-либо сопоставлять творчество Замятина и Набокова. На первый взгляд, они кажутся совершенно различными по стилистике, по формам выражения, по темам, по характерам своих персонажей.

Однако их несомненно сближает и искусство как игра (замятинская «Блоха» им и названа народной игрой), и отдаленность автора от своих персонажей, и ироническое отношение даже к трагическому в их творчестве...

За последние годы, после десятилетий замалчивания, о Замятине написано очень много, он стал классиком. Однако в силу определенных исторических причин его произведения (хотя они и были изданы огромными тиражами на исходе эпохи перестройки и гласности) не столь уж известны. Еще менее известны обстоятельства его жизни. В начале 90-х годов XX столетия бурные события внутренней жизни и хлынувший книжный поток западной и отечественной макулатуры захлестнул собой подлинное искусство, подлинную литературу.

Как ни многочисленны публикации о Замятине, мы все же слишком мало знаем подробности его жизни.

Часто говорят почти о любом писателе: с детских лет он пытался сочинять рассказы (стихи, романы, пьесы и т. п.)...

Ничего подобного сказать о Замятине нельзя. Нам просто это не известно.

Вот, например, его ровесник Пантелеймон Романов так и писал в одной из своих автобиографий: в десять лет начал сочинять роман из английской жизни, но вскоре бросил...

А Замятин первый свой рассказ написал и опубликовал в 1908-м, когда ему шел двадцать пятый год.

Но к тому времени он уже прошел большую школу жизни. Родился Евгений Иванович Замятин 20 января (1 февраля) 1884 года в небольшом городе с красивым именем Лебедянь, в Тамбовской губернии. Его отец, Иван Дмитриевич, был священником лебедянской церкви Покрова Богородицы, мать, Мария Александровна (урожденная Платонова), дочь священника, слыла незаурядной пианисткой и старалась привить сыну любовь к музыке. Семья была счастливая, дружная, благочестивая и патриархальная. В доме часто гостили богомолки, странники, и мальчиком будущий писатель часто совершал паломничество вместе с родителями к святым местам, находившимся не столь далеко от родных мест.

К книгам Евгений пристрастился задолго до школы – с четырех лет он уже самостоятельно читал и вскоре полюбил Гоголя. В анкете 1931 года он признавался, что «не без его влияния явилась у меня склонность к шаржу, гротеску, к синтезу фантастики и реальности»¹.

В 1893–1896 годах Замятин учился в Лебедянской прогимназии, а затем перешел в Воронежскую гимназию, которую окончил в 1902 году с золотой медалью.

«Специальность моя, о которой все знали: «сочинения» по русскому языку, – писал Замятин в «Автобиографии» 1929 года. – Специальность, о которой никто не знал: всевозможные опыты над собой – чтобы «закалить» себя.

Помню, классе в 7-ом, весной, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются первые признаки бешенства – две недели. И решил выждать этот срок: сбешусь или нет? – чтобы испытать судьбу и себя. Все эти недели – дневник (единственный

¹ ИМЛИ, ф. 47, оп. 3, № 2.

в жизни). Через две недели – не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас же отправили в Москву – делать пастеровские прививки. Опыт мой кончился благополучно. Позже, лет через десять, в белые петербургские ночи, когда сбесился от любви – проделал над собой опыт посерьезнее, но едва ли умнее».

В «Автобиографии», написанной для петербургского журнала «Вестник литературы» в 1922 году, Замятин дал объяснение своего послегимназического выбора: «В гимназии я получал пятерки с плюсом за сочинения и не всегда легко ладил с математикой. Должно быть, именно потому (из упрямства) я выбрал самое что ни на есть математическое: кораблестроительный факультет Петербургского Политехникума».

Итак, с 1902 года Замятин – студент. Во время летней практики 1904 года он много путешествовал по России в «прибаутливых, веселых третьеклассных вагонах», совершал поездки на судах по Волге, Каме, Черному морю. А летом 1905 года на пароходе «Россия» из Одессы отправился в Александрию. В момент возвращения на родину узнал о восстании на броненосце «Потемкин». Впоследствии он написал об этом рассказ «Три дня» (1913). Осенью того же 1905 года стал большевиком. «В те годы быть большевиком – значило идти по линии наибольшего сопротивления...» – писал он в автобиографии, и это не рисовка, не кокетничанье, а констатация факта. Участие в студенческой революционной борьбе кончилось арестом. На несколько месяцев его бросили в одиночную камеру на Шпалерной улице в Петербурге. Однако это вовсе не охладило революционного энтузиазма Замятина. Он чувствовал свою причастность к общему делу, к борьбе с затхлостью, с рутиной, с отжившими порядками и отношениями. Ветер свободы обвевал его душу.

Вспоминая в «Автобиографии» 1924 года события почти десятилетней давности, Замятин писал: «Все это сейчас – как вихрь: демонстрации на Невском, казаки, студенческие и рабочие кружки, любовь, огромные митинги в университетах и институтах». Здесь, в этом перечислении, Замятин назвал одно из самых важных для него событий осени 1905 года: любовь. В ноябре, в Петербурге, он познакомился со своей будущей женой Людмилой Николаевной Усовой (1883–1965), в ту пору слушательницей Женского медицинского института. Ее роль в восприятии действительности и в формировании мировоззрения молодого студента была несомненна.

Людмила Николаевна тоже участвовала в студенческих сходках, в совместных чтениях революционной литературы.

Но было и другое: посещение спектаклей, прогулки, разговоры о жизни, обо всем. И, наконец, осознание, что он любит эту девушку. Примерно через полгода Замятин пошлет в одном из писем Людмиле Николаевне листочки своего дневника. Из них, непритязательных, написанных во многом еще наивным, необычайно искренним юношей, мы видим, как зарождалось это светлое чувство. Вот только несколько строчек из этого дневника: «Вот милая, славная!» – мелькает мысль». «Ну, какая же она живая, непосредственная... Как просто смотрит на вещи и как лучше других, этих ломак». «Вот смешная, милая девочка!»

А вот они на спектакле в театре: «Почему она так внимательна ко мне сегодня... И почему это так приятно мне?

...Как хорошо вместе переживать все перипетии драмы! О, милая. Она сзади положила голову ко мне на плечо и смотрит так на сцену. Я боюсь шевельнуться, чтобы не кончилось это... Как мне хорошо...»¹

Когда Замятин после заключения выехал к месту высылки в Лебедянь, Людмила Николаевна провожала его на Николаевском вокзале. А потом последовала переписка.

9 апреля 1906 года Замятин писал:

«И вдруг революция так хорошо встряхнула меня. Чувствовалось, что есть что-то сильное, огромное, гордое – как смерч, поднимающий голову к небу, – ради чего стоит жить. Да ведь это почти счастье! Цель жизни, хотя бы на время, полная жизнь, хотя бы на время – ради этого стоит жить!

А потом тюрьма – и сколько хорошего в ней, сколько хорошего пережито! Когда что-то подхватывает, как волна, мчит куда-то – и нет уже своей воли – как хорошо! Вы не знаете этого чувства? Вы никогда не купались в прибое? А мне вспоминается сейчас мое последнее купанье в Яффе. Вал огромный, мутно-зеленый, покрытый белой, косматой пеной, катится медленно, все ближе, ближе – и вдруг с ревом хватает в свои мощные объятья, комкает, несет... Чувствуешь себя маленькой щепкой в его могучей власти, без силы, без воли; находишь какое-то странное удовольствие от ощущения своего ничтожества и бессилия – отдаваться во власть этого чудовища, теплого, сильного... Еще несколько порывов – и вас выбрасывает на горячий песок, под горячее солнце...

¹ Цит. по: Любимова М. «Я был влюблен в революцию». / Новое о Замятине. М., 1997. С. 57–60.

Так было в жаркой Яффе. Что-то похожее было и в холодном Петербурге. И досадно мне было, и рад я был, страшно рад этой волне».

А 20 мая Замятин делает уже открытое признание: «В письме от 15/V Вы спрашиваете, между прочим, не был ли я разочарован свид^анием с Вами в тюрьме. – Я скажу Вам только одну мысль, к^оторая родилась у меня однажды в тюрьме: я подумал, что из-за одних свиданий с Вами *стоит* сидеть!»¹

(Другой писатель, имевший сходный жизненный опыт, Б. Г. Пантелеймонов, писал в автобиографической повести «Орлята» о том подъеме, какой испытывал, сидя в тюрьме и ожидая пересылки на каторгу, когда его поведут в кандалах на глазах любимой девушки.)

Надзор полиции был снят в августе 1906 года, и Замятин нелегально возвратился в Петербург (куда въезд ему был запрещен) и умудрился, скрываясь от полиции, окончить институт. В 1908 году в жизни Замятина происходит много важных событий: он окончил институт, вышел из партии, опубликовал первый рассказ («Один»), был оставлен при кафедре корабельной архитектуры. А с 1911 года стал преподавать и одновременно работать инженером. Он уже во многом успел себя испытать: написал рассказ – получилось, за ним еще один («Девушка», 1910) – получилось, опубликовал несколько статей по своей специальности морского инженера – в журнале «Теплоход».

У него все получается, несмотря на препятствия. В 1911 году возникает новая коллизия – его высылают из Петербурга за нелегальное проживание. «Если я что-нибудь значу в русской литературе, то этим я целиком обязан Петербургскому Охранному отделению, – писал Замятин в «Автобиографии» 1922 года. – ...я года два очень безлюдно жил в Лахте. Там от белой зимней тишины и зеленой летней – я написал «Уездное». С «Уездного», собственно, и начинается писатель Замятин. Первые два рассказа – проба пера. «Уездное» – это уже новая литература. Пусть даже сюжет и персонажи не совсем оригинальны. Главное здесь – новое видение, образность, умение автора зацепить внимание читателя неожиданными метафорами, сочетанием слов, новым ритмом, сбивчивым-перебивчивым. И вот перед нами живая и страшная картина уездной Руси: глупой, предательской, пустой, примитивной, жадной.

¹ Цит. по: Любимова М. «Я был влюблен в революцию». / Новое о Замятине. М., 1997: С. 61.

«Уездное» сразу же привлекло внимание к Замятину. «...Вещь, написанная по-русски, с тоскою, с криком, с подавляющим преобладанием содержания над формой»¹, – отмечал Горький.

Б. М. Эйхенбаум проницательно заметил, что в «Уездном» автор «не рассказчик, а «сказитель»².

Такое случается редко. Но с Замятиным произошло. Одна небольшая повесть, напечатанная в журнале, сразу же сделала автора известным, признанным, авторитетным писателем.

Образ Барыбы, этого страшного примитивного человека, пришельца из каменного века в двадцатый («...и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто какой-то выходит и лад: может, и дикий, может, и страшный, а все же лад»), оказался столь ярким, запоминающимся, что его вспоминали, упоминали, прилаживали к реальным лицам современники писателя. Так, Есенин в письме к Иванову-Разумнику в мае 1921 года, обиженный на критику имажинизма в статье Замятина «Я боюсь», где тот из поэтов положительно отзывается лишь о Маяковском, замечает: «Передайте Евгению Ивановичу, что он не поэт, а «Барыбу увидеть изволили-с»³.

К этому времени Замятин уже входил в число тех писателей, без которых не мыслилась новая литература. Обратимся к свидетельству еще одного современника: «Начало повести поразило всех. Прошло минут двадцать, и автор прекратил чтение, чтобы уступить место за столом следующему писателю.

– Еще! еще! продолжайте, просим!

Широколицый, скуластый, среднего роста, чисто одетый инженер-писатель, недавно выписанный Горьким из Англии, спокойно поднимался со стула.

– Продолжайте, просим, просим!

Голоса становились все более настойчивыми, нетерпеливыми, громкими.

Замятин покорился, сел на место и продолжал читать. После этого еще раз два пытался прервать чтение, но безуспешно. Слушали, затаив дыхание. Потом устроили ему овацию.

Ни у кого из выступавших в тот вечер, даже у Блока, не было и доли того успеха, какой выпал Замятину. Чуковский носился по залу и говорил всем и каждому:

¹ Архив А. М. Горького. М., 1972. Т. 12. С. 218.

² «Русская молва», 13 июля.

³ Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 6. М., 1999. С. 126.

– Что? Каково? Новый Гоголь. Не правда ли?»¹

Это происходило на одном из заседаний в открывшемся в холодном и голодном Петрограде Доме Искусств.

А в Петроград Замятин действительно прибыл в сентябре 1917 года из Англии, где провел полтора года в командировке: на судовой верфях в Глазго, Ньюкасле, Сандерленде, Саусшилдсе он участвовал в строительстве ледоколов для России – «Святой Александр Невский» (впоследствии, после революции, «Ленин»), «Святогор» (после революции «Красин»), «Минин», «Пожарский», «Илья Муромец».

Теперь он сознавал необходимость быть дома, участвовать в построении новой, культурной жизни. Свершилась революция, которую он так ждал, о которой мечтал (как и многие его современники; М. Арцыбашев, например, на следующий день после крушения монархии писал: «Мы ловили ветер в поле, а поймали бурю. Многие ли останутся довольными – посмотрим»²). И Замятин стремится быть полезным Новой России. Именно в литературе, в культурном строительстве видит теперь он насущную необходимость. И отдается этому целиком. Впоследствии он вспоминал: «Корабли – дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы. Позже – бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, буржуйка, селедки, смолотый на кофейной мельнице овес. И рядом с овсом – всяческие всемирные затеи: издать всех классиков всех времен и народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей – практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист (от техники осталось лишь преподавание в Политехническом институте)».

Автор нескольких прогремевших повестей – «Уездное», «На куличках» (1914), «Алатырь» (1915), дюжины рассказов, Замятин почитался как мэтр. И вполне естественно, что он стал организатором класса художественной прозы в Доме Искусств, а под его влиянием возникла группа «Серапионовы братья»: Лев Лунц, Михаил Слонимский, Николай Никитин, Михаил Зощенко, Всеволод Иванов, Вениамин Каверин, Николай Тихонов, Константин Федин, Илья Груздев, Владимир Познер, Елизавета Полонская.

Первое собрание группы состоялось 1 февраля 1921 года. Замятин читал лекции, проводил слушания произведений сту-

¹ Оцуп Н. А. Океан времени. Л., 1994. С. 540–541.

² РГАЛИ, ф. 90, оп. 2, ед. хр. 8.

дийцев, их взаимное обсуждение... Написанные им в ту пору «Лекции по технике художественной прозы» сохранили интерес и значение и по сей день. Замятин, как и все настоящие писатели, понимал, что писателем человек рождается, что научиться быть писателем невозможно. Но дать какие-то технические навыки молодому литератору полезно и необходимо.

Замятин так прямо и говорил своим слушателям: «Я с самого начала отрекаюсь от вывешенного заглавия моего курса. Научить писать рассказы или повести – нельзя. Чем мы будем тогда заниматься? – спросите вы. – Не лучше ли разойтись по домам? Я отвечу: нет. Нам все-таки есть чем заниматься...

...Есть *большое искусство* и *малое искусство*, есть *художественное творчество* и *художественное ремесло*... Малое искусство, художественное ремесло – непременно входит, в качестве составной части, в большое... И Байрон, чтобы написать «Чайльд-Гарольда», должен был изучить технику стихосложения. Точно так же и тому, кто хочет посвятить себя творческой деятельности в области художественной прозы – нужно сперва изучить технику художественной прозы»¹.

Замятин, несомненно, имел право на учительство не только потому, что был старше и опытнее «Серапионовых братьев», но и потому, что сам прошел большую школу, учась у классиков и своих современников, близких ему своим отношением к жизни и к творчеству.

И несомненно то, что, какими бы разными ни были его ученики и как бы впоследствии они ни относились к своему учителю, все в меру своего таланта заняли свое место в истории русской литературы XX столетия.

Но не только преподаванием был занят Замятин в первые месяцы и годы после возвращения на родину. Он сотрудничал в горьковской газете «Новая жизнь», в эсеровской газете «Дело народа» опубликовал свои политические сказки, с энтузиазмом участвовал в составлении издательской программы затеянного Горьким издательства «Всемирная литература», писал предисловия к книгам зарубежных писателей и редактировал переводы, сотрудничал в журналах «Записки Мечтателей» (1919–1922), «Дом Искусств» (1921), «Современный Запад» (1922–1924), «Русский Современник» (1924).

И при этом он создал столь масштабные по мысли рассказы, как «Дракон», «Мамай», «Пещера», обращался к драматургии

¹ Цит. по: Анненков Ю. Дневник моих встреч. М., 1991. Т. 1. С. 246–247.

(«Огни св. Доминика»), написал программные статьи «Я боюсь», «О синтетизме», напечатал сатирические произведения об Англии «Островитяне», «Ловец человеков». Наконец, в 1920 году начал работать над романом «Мы» – одной из главных анти-утопий XX века.

Разумеется, этот роман напечатать в Советской России в то время было просто немыслимо. Ибо цензура сразу же усмотрела в нем аналогии не в пользу нового советского строя, где строгой регламентации новоявленное чиновничество в лице всевозможных комиссаров стремилось подчинить всю жизнь всех и каждого человека. Жизнь богаче декретов, указов и установлений государства – вот о чем хотел сказать своим романом Замятин. И какова бы ни была значимость Государства, Общества, ни государство, ни общество не должны сводить роль личности к шестеренке в большой машине государства, и к тому же к такой шестеренке, которая должна любить и воспевать свою машину.

В 1914 году за повесть «На куличках», в которой Замятин показал повседневную жизнь военного гарнизона в далекой провинции на востоке страны, писатель был обвинен в оскорблении русского офицерства и отправлен в ссылку на север, в Кемь.

Так было при царизме.

Однако новая власть тоже внимательно приглядывалась к писателю. Что-то в его высказываниях и действиях не укладывалось в рамки, обозначавшие лояльность.

15 февраля 1919 года в квартире Замятина на основании ордера ЧК произвели обыск и изъяли переписку. Его подозревали в принадлежности к эсерам.

На допросе Замятин заявил: «В настоящее время, когда я – по указанию того же Горького и целого ряда критиков – пришел к выводу, что моим призванием является именно художественная литература, – в настоящее время ни к политике, ни к политическим партиям отношения не имею и поэтому производством обыска и ареста весьма удивлен»¹.

На этот раз все обошлось, и Замятин на следующий день был отпущен.

Казалось бы, арест должен был его насторожить или по крайней мере предостеречь. Но писатель, как и прежде, ведет себя независимо и свободно. Летом 1921 года прочитал пер-

¹ Цит. по: Файфман Г. «И всадили его в темницу...» / Новое о Замятине. М., 1997. С. 80.

вые главы своего романа «Мы» близкому другу – художнику Юрию Анненкову. А зимой 1921–1922 годов в течение двух дней читал роман в переполненном зале Петроградского института истории искусств, в 1923 году роман был прочитан на литературных вечерах в петроградском и московском отделениях Всероссийского Союза Писателей.

А между тем 17 августа 1922 года Замятина вновь арестовали.

Лишь 9 сентября его освободили под подписку о невыезде. На этот раз справка, подготовленная в ЧК, делала ясным, почему писатель подвергался преследованиям: «...Замятин Евгений Иванович, литератор, сотрудник «Летописи» и «Литературных записок». Скрытый, заядлый белогвардеец... Выступает в своих произведениях против Сов. власти. Подлежал высылке за границу, но высылка была временно задержана по постановлению Комиссии под председательством тов. Дзержинского...»¹

Отношением властей к Замятину как к белогвардейцу и внутреннему эмигранту и объясняется их стремление избавиться от него.

Ведь именно на 1922 год приходится пик борьбы против инакомыслящих, самостоятельно мыслящих ученых, писателей, деятелей искусства, которые не всегда соглашались с действиями и политикой советской власти. За границу были высланы сотни ученых и писателей, некоторые уехали сами.

Замятин решил остаться, потому что верил, что еще сможет послужить родной стране, народу, здесь, дома.

И он продолжал писать.

Трудно назвать вид или жанр литературы, в котором бы Замятин не попробовал себя: рассказ, повесть, сатира, юмор, драма. Его пьеса «Блоха» (1924) по мотивам «Левши» Н. С. Лескова много месяцев не сходила с театральных подмостков.

Его «Рассказ о самом главном» (1924) вместил в себя столько человеческих судеб, событий, переплетений сюжетов, столкновений характеров, что впору большому роману. По своей сложности, многоплановости, аллегоричности, символичности, многозначности он мог соперничать как с модернистами, так и с постмодернистскими произведениями.

Его рассказ «Слово предоставляется товарищу Чурыгину» (1927) – не только блестящий образец использования народ-

¹ Цит. по: Файфман Г. «И посадили его в темницу...» / Новое о Замятине. М., 1997. С. 85.

ного языка, причем языка нового времени, с советскими неологизмами, канцеляризмами, но и великолепное постижение народного характера в новых непривычных и пока что неорганических обстоятельствах.

М. Горький, в свое время с восторгом встретивший «Уездное» Замятина, отрицательно относился к его экспериментаторству. В «Рассказе о самом главном» он увидел лишь применение теории относительности Эйнштейна в литературе. Но это несправедливо. Если Замятин и применял свои математические и физические знания в художественной практике, то лишь тогда, когда полагал их полезными для раскрытия своей мысли. Но это вовсе не означало, что все свои произведения он создавал как некие искусственно и расчетливо выверенные конструкции (а такое мнение бытовало). Просто у него был свой взгляд на литературу, которую он рассматривал как сгусток, как концентрацию мысли и чувства, а не банальное описание банальных ситуаций, банальных характеров при помощи банальных приемов. Свое кредо он выразил в статье «О синтетизме» (1922), посвященной творчеству Юрия Анненкова: «Ни одной второстепенной детали, ни одной лишней черты: только суть, экстракт, синтез, открывающийся глазу в сотую долю секунды, когда собраны в фокус, спрессованы, заострены все чувства... Сегодняшний читатель и зритель сумеет договорить картину, дорисовать слова, – и им самим договоренное, дорисованное будет врезано в него несоизмеримо прочнее, встет в него органически. Здесь – путь к совместному творчеству художника и читателя или зрителя».

Об этом Замятин говорил и в своих лекциях по литературной технике, об этом говорил и с собратьями по литературному цеху. А вот его записка, сделанная в конце 1918 года на заседании редколлегии одного из альманахов по поводу рассказа Юрия Слезкина «Червонный король»: «То, что есть яростно-красочный Гоген – не делает плохими подернутые пеплом краски Борисова-Мусатова. Надо различать импотенцию и целомудрие... Автор пишет не столько строками, сколько между строк. Это – большое и самое трудное мастерство»¹.

Именно таким мастерством обладал Евгений Замятин. И дело вовсе не в том, что Замятин приспособлялся, что, держа кукиш в кармане, стремился насолить советской власти. Напротив, именно в лаконизме, в передаче читателю, слушателю, зрителю художественной квинтэссенции-сказывалось его доверие

¹ Рукопись. Архив Ст. Никоненко.

к читателю, вера в его интеллектуальные и нравственные силы, в его эстетические потенции. Своими произведениями Замятин хотел не только рассказать о своем времени, но и всколыхнуть душу читателя, заставить его осмыслить происходящее и искать новые пути в преодолении трудностей созидания нового строя, бороться против глупостей, ошибок, а порой и преступлений, которые может совершить или уже совершила новая, народная власть от имени народа.

Разумеется, цензура пристально следила за каждым произведением Замятина. Почти каждый рассказ проходил редакционный путь с большим трудом. Так, рассказ «Пещера», уже напечатанный в январе 1922 года в журнале «Записки мечтателей», произведение о страшной гибели интеллигентов в холодном, голодном Петербурге, был запрещен цензурой для издания в сборнике повестей и рассказов Замятина, и только дополнительными хлопотами писатель все же добился его публикации.

(В этой связи мне вспоминается беседа почти сорокалетней давности с забытым сегодня писателем Н. Н. Никандровым. Его произведения тоже были посвящены современности, он писал о разрухе, голоде, проституции, нищенстве, взяточничестве, деградации масс в первые годы после революции. Многие произведения запрещались цензурой. Он обращался к начальнику Главлита П. И. Лебедеву-Полянскому, которого хорошо знал по дореволюционной эмиграции. Но тот разводил руками:

– Потерпите, Николай Никандрович. Не стоит давать козыри нашим врагам. Пройдет лет 10–15, построим социализм, тогда и напечатаем: вот, мол, как было раньше плохо, а теперь все хорошо...

В 1956 году во время пожара все рукописи Никандрова сгорели.

По сравнению с писательской судьбой Никандрова судьба Замятина – великолепно. Почти все им написанное было напечатано при жизни.)

В 1929 году издательство «Федерация» выпустило собрание сочинений Евгения Замятина – четыре тоненьких томика. Это, пожалуй, был его последний писательский успех.

В том же 1929 году началась уже массированная травля Замятина. Формальным поводом послужила публикация романа «Мы» за рубежом. Но, как известно, это произведение было знакомо многим советским слушателям и критикам уже давно. А к публикациям за рубежом Замятин сам не был причастен.

Кампания была направлена против Б. Пильняка и Е. Замятина в связи с публикацией за рубежом повести первого «Красное дерево» и замятинского романа «Мы». По сути дела, она не была направлена против этих двух писателей. Ее смысл – указать, что место всех деятелей искусства и литературы – в ряду шагающих к светлым вершинам социализма, что они должны служить существующему строю и воспевать его, а не выискивать недостатки и не заниматься самовыражением на буржуазный лад.

Замятин вспоминал об этой кампании в 1933 году: «Москва, Петербург, индивидуальности, литературные школы – все уравнилось, исчезло в дыму этого литературного побоища. Шок от непрерывной критической бомбардировки был таков, что среди писателей вспыхнула небывалая психическая эпидемия: эпидемия покаяний. На страницах газет проходили целые процессии флагеллантов: Пильняк бичевал себя за признанную криминальной повесть («Красное дерево»), основатель и теоретик формализма Шкловский – отказался навсегда от формалистической ереси; конструктивисты каялись в том, что они впали в конструктивизм и объявляли свою организацию распущенной; старый антропософ Андрей Белый печатно клялся в том, что он в сущности антропософический марксист...»¹

Еще в 1928 году Замятин был в центре литературной жизни страны, его избрали председателем Всероссийского Союза писателей. Но уже 7 октября 1929 года он опубликовал в «Литературной газете» письмо, в котором заявил о выходе из Всероссийского Союза Писателей.

Его перестали печатать. По инерции появились две-три небольшие публикации. И все.

Его «Блоху», которая прошла в разных театрах свыше трех тысяч раз, сняли с репертуара. Новую пьесу «Атилла», над которой он работал почти три года, запретили к постановке.

В этих обстоятельствах он вынужден был направить письмо Сталину. «Для меня как для писателя, – говорит Замятин, – именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся травли». Он согласен, что основания для нападок у критиков были: «Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в

¹ Замятин Е. Сочинения. Т. 4. München, 1988. С. 421.

данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой». В октябре 1931 года он покинул родину, жил сначала в Германии, а с февраля 1932 года – во Франции, где и умер в марте 1937-го.

За границей Замятин не прекращает работать. До последних дней он писал исторический роман об Атилле. Активно трудился для кино. Написал несколько киносценариев. Наибольшая удача выпала на долю сценария, написанного Замятиным в соавторстве с Жаком Компанейцем по мотивам пьесы М. Горького «На дне». Фильм был поставлен классиком французского кино Жаном Ренуаром, а в роли Васьки Пепла снялся другой будущий классик – молодой Жан Габен. В 1936 году картина была удостоена национальной премии как лучший художественный фильм года.

И все же достойного применения своему таланту Замятин за рубежом не нашел. Ни в Берлине, ни в Голливуде, ни в Париже не заинтересовались его предложениями. А. Штейнберг пишет в своих воспоминаниях: «Его выслушивали вежливо, откланивались и даже не обещали дать ответа... Один из директоров немецкой кинематографической фирмы, который интересовался произведениями Замятина и читал их на немецком языке, сказал ему: «Вы очень русский, вас нельзя приспособить к нашей жизни»¹.

Мир произведений Евгения Ивановича Замятина настолько разнообразен и оригинален, что кажется, будто один и тот же человек не мог никак оказаться автором и сказок, и пьес, и глубоких психологических новелл, и острых сатирических рассказов и повестей, и исторического романа, и блестящих эссе... И все же это так: все это – Замятин. Образный, сочный русский язык, тугая, плотная манера письма, совершенная композиция, насыщенность мыслью отличают каждое произведение писателя.

Литературное наследие Замятина относительно невелико, но в нем почти нет произведений, о которых можно было бы сказать, что они – не лучшие. «За 29 лет литературной работы осталось – под мышкой унесешь; но вес – свинчатка», – сказал о его творчестве другой словесный кудесник Алексей Михайлович Ремизов.

Однако Ремизов, столь высоко ценивший писателя, не знал еще об одной ипостаси Замятина-творца – автора записных книжек. А между тем, опубликованные полностью (в настоя-

¹ Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911–1928). Париж, 1991. С. 162.

шей издании будут представлены все записные книжки, впервые собранные вместе!) – записные книжки (или блокноты, как они были названы первым их публикатором Александром Тюриным) являются самостоятельным художественным произведением. Писатель вел записи в многочисленных блокнотах с 1914 по 1936 год.

Записные книжки для писателя – это подсобные материалы, наброски, подступы к работе, поиски форм, деталей, красок, варианты каких-то тем, сюжетов, слепки, снимки с натуры, мысли, идеи которые могут подтолкнуть к созданию того или иного произведения, помочь обрести ему законченную форму.

Уже навязло в зубах выражение «творческая лаборатория писателя». Все туда питаются заглянуть и обнаружить что-нибудь занятное. На самом деле творческой лабораторией писателя является живая действительность, вся жизнь, ибо для настоящего художника жизнь и творчество неотделимы. Биолог, врач, инженер-конструктор, химик, выйдя из лаборатории, как правило, легко переключается на повседневность: идет играть в карты, спешит домой к жене и детям, обегает ближайшие продовольственные магазины, чтобы завтра была еда в доме, идет в кино или театр, на свидание с девушкой – да мало ли что. Писатель может проделывать все то же самое. Но... но при этом он живет еще и в другом, параллельном мире, а иногда и в параллельных мирах: там, где работают, любят, страдают, мечтают, умирают, мечтают и побеждают его герои, персонажи его будущих, еще не созданных произведений. Но писатель не может выплеснуть на читателей всю эту сумятицу, весь этот клубящийся поток образов, картин, разговоров, действий. Он должен их как-то ограничить. Загнать в рамку. Придать форму. Найти главное, стержень. Тогда это будет произведение. Кусок глины – это просто кусок глины. Но ему можно придать форму тарелки или кувшина на гончарном круге, – и тогда это будет керамическим изделием. А в руках скульптора кусок глины может превратиться в образ прекрасной девушки или ужасного старика... Жизнь для художника – тот же кусок глины, который требует обработки, чтобы обрести новое качество, пребывать в новой форме – произведении искусства.

В записных книжках писателя, как и в его законченных произведениях, нет ни одной второстепенной детали, как не должно быть второстепенных деталей у ледоколов, которые строил инженер Евгений Замятин.

И еще несколько слов о Замятине – человеке и гражданине. Оказавшись за рубежом, он сохранял свой советский паспорт. В 1935 году участвовал в антифашистском Конгрессе в защиту культуры. Заботился об оставшихся на родине друзьях – отправлял посылки М. Булгакову и А. Ахматовой. «Он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в надежде при первой возможности вернуться домой», – вспоминала Н. Берберова.¹

«Для меня... Замятин, это, прежде всего, – замятинская улыбка, постоянная, нестираемая. Он улыбался даже в самые тяжелые моменты своей жизни. Приветливость его была неизменной», – это уже Ю. Анненков.²

«Человек неверующий, далекий от метафизики... Замятин внушал уважение не только глубокой своей порядочностью, но и очень тщательно скрываемой добротой». – Это З. Шаховская.³

«...дело его жизни, все эти словесные конструкции русского лада – это наше русское, русская книжная казна!..

Замятин из Лебедяни, тамбовский, чего русее, и стихия его слов отборно русская. Прозвище: «англичанин». Как будто он и сам поверил, – а это тоже очень русское. Внешне было прилично и до Англии, где он прожил всего полтора года, и никакое это не английское, а просто под инженерскую гребенку, а разойдется – смотрите: лебедянский молодец с прибором!» – это, конечно, Ремизов.⁴

Русский писатель Евгений Иванович Замятин наконец возвращается на родину всеми своими произведениями.

Ст. Никоненко

¹ Берберова Н. Курсив мой. Н.-Й., 1983. С. 342.

² Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. I. М., 1991. С. 248.

³ Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С. 244.

⁴ Ремизов А. Огонь вещей. М., 1989. С. 468.



АВТОБИОГРАФИЯ

Как дыры, прорезанные в темной, плотно задернутой занавеси, – несколько отдельных секунд из очень раннего детства.

Столовая, накрытый клеенкой стол, и на столе блюдо с чем-то странным, белым, сверкающим, и – чудо! – это белое вдруг исчезает на глазах неизвестно куда. В блюде – кусок еще незнакомой, некомнатной, внешней вселенной: в блюде принесли показать мне снег, и этот удивительный снег – до сих пор.

В этой же столовой. Кто-то держит меня на руках перед окном, за окном – сквозь деревья красный шар солнца, все темнеет, я чувствую: конец, – и страшнее всего, что откуда-то еще не вернулась мать. Потом я узнал, что «кто-то» – моя бабушка, и что в эту секунду я был на волос от смерти: мне было года полтора.

Позже: мне года два-три. Первый раз – люди, множество, толпа. Это – в Задонске: отец и мать поехали туда на шарабане и взяли меня с собой. Церковь, голубой дым, пение, огни, по-собачьи лает кликуша, комок в горле. Вот кончилось, прут, меня – щепочку – несет с толпой наружу, вот я уже один в толпе: отца с матерью нет, и их больше никогда не будет, я навсегда один. Сажу на какой-то могиле; солнце, горько плачу. Целый час я жил в мире один.

В Воронеже. Река, необычно странный мне ящик купальни, и в ящике (я потом вспомнил это, когда видел в бассейнах белых медведей) плещется огромное, розовое, тучное, выпуклое женское тело – тетка моей матери. Мне любопытно и чуть жутковато: я в первый раз понимаю, что это женщина.

Я жду у окна, гляжу на пустую, с купающимися в пыли курами, улицу. И наконец едет наш тарантас: везут из гимназии отца; он – на нелепо-высоком сиденье, с тростью, поставленной между колен. Я жду с замиранием сердца обеда – за обедом торжественно разворачиваю газету и читаю вслух огромные буквы: «Сын Отечества». Я уже знаю эту таинственную вещь – буквы. Мне года четыре.

Лето. Пахнет лекарствами. Вдруг мать и тетки торопливо захлопывают окна, запирают балкон, и я смотрю, приплюснувшись носом к балконному стеклу: везут! Кучер в белом халате, телега, покрытая белым полотном, под полотном – люди, скорченные, шевелящиеся руки и ноги: холерные. Холерный барак на нашей улице, рядом с нашим домом. Сердце колотится, я знаю, что такое смерть. Мне лет пять-шесть.

И наконец: легкое, стеклянное, августовское утро, далекий прозрачный звон в монастыре. Я иду мимо палисадника перед нашим домом и не глядя знаю: окно открыто, и на меня смотрят – мать, бабушка, сестра. Потому что я в первый раз облачился в длинные – «на улицу» – брюки, в форменную гимназическую куртку, за спиною ранец: и в первый раз иду в гимназию. Навстречу трясется на своей бочке водовоз Измашка и несколько раз оглядывается на меня. Я – горд. Я – большой: мне перевалило за восемь.

Все это – среди тамбовских полей, в славной шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком Лебедяни – той самой, о какой писали Толстой и Тургенев. А года: 1884–1893.

Дальше – серая, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером – чудесный красный флаг. Красный флаг вывешивался на пожарной каланче и символизировал тогда отнюдь не социальную революцию, а мороз в 20°. Впрочем, это и была однодневная революция в скучной, разграфленной гимназической жизни.

Скептический диогеновский фонарь – в 12 лет. Фонарь был зажжен одним здоровым второклассником и –

синий, лиловый, красный – горел у меня под левым глазом целых две недели. Я молился о чуде – о том, чтобы фонарь потух. Чудо не совершилось. Я задумался.

Много одиночества, много книг, очень рано – Достоевский. До сих пор помню дрожь и пылающие свои щеки – от «Неточки Незвановой». Достоевский долго оставался – старший и страшный даже; другом был Гоголь (и гораздо позже – Анатолий Франс).

С 1896 года – гимназия в Воронеже. Специальность моя, о которой все знали: «сочинения» по русскому языку. Специальность, о которой никто не знал: всевозможные опыты над собой – чтобы «закалить» себя.

Помню: классе в 7-м, весной, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются признаки бешенства, – две недели. И решил выждать этот срок: сбешусь или нет? – чтобы испытать судьбу и себя. Все эти две недели – дневник (единственный в жизни). Через две недели – не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас же отправили в Москву – делать пастеровские прививки. Опыт мой кончился благополучно. Позже, лет через десять, в белые петербургские ночи, когда сбесился от любви, – проделал над собой опыт посерьезнее, но едва ли умнее.

Из гимназического серого сукна вылез в 1902 году. Золотая медаль за 25 рублей была заложена в петербургском ломбарде – и там осталась.

Помню: последний день, кабинет инспектора (по гимназической табели о рангах – «кобылы»), очки на лбу, подтягивает брюки (брюки у него всегда соскакивали) и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись: «Моей almae matris, о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголев». И инспектор – наставительно, в нос, на о: «Хорошо? Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути». Наставление не помогло.

Петербург начала 900-х годов – Петербург Комиссаржевской, Леонида Андреева, Витте, Плеве, рысаков в синих сетках, дребезжащих конок с империялами, студен-

тов мундирно-шпажных и студентов в синих косоворотках. Я – студент-политехник косовороточной категории.

В зимнее белое воскресенье на Невском – черно от медленных, чего-то выжидающих толп. Дирижирует Невским – Думская каланча, с дирижера все не спускают глаз. И когда подан знак – один удар, час дня, – на проспекте во все стороны черные человеческие брызги, куски марсельезы, красных знамен, казаки, дворники, городовые... Первая (для меня) демонстрация – 1903 год. И чем ближе к девятьсот пятому – кипенье все лихорадочней, сходки все шумнее.

Летом – практика на заводах, Россия, прибаутливые, веселые третьеклассные вагоны, Севастополь, Нижний, Камские заводы, Одесса, порт, босяки.

Лето 1905 года – особенно синее, пестрое, тугое, доверху набитое людьми и происшествиями. Я – практикантом на пароходе «Россия», плавающим от Одессы до Александрии. Константинополь, мечети, дервиши, базары, беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый Яффский прибой, черно-зеленый Афон, чумный Порт-Саид, желто-белая Африка, Александрия – с английскими полисменами, продавцами крокодиловых чулок, знаменитый Тартуш. Особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба.

А по возвращении в Одессу – эпопея бунта на «Потемкине». С машинистом «России» – смытый, затопленный, опьяненный толпой – бродил в порту весь день и всю ночь, среди выстрелов, пожаров, погромов.

В те годы быть большевиком – значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком. Была осень 1905 года, забастовки, черный Невский, прорезанный прожектором с Адмиралтейства, 17-е октября, митинги в высших учебных заведениях...

Однажды в декабре вечером в мою комнату в Ломанском переулке пришел приятель, рабочий, крылоухий Николай В. – с бумажным мешком от филипповских булок, в мешке – пироксилин. «Оставляю-ка я тебе мешочек, а то за мной по пятам шпики ходят». – «Что ж, оставь». И сейчас еще вижу этот мешок: слева, на подоконнике, рядом с кулечком сахара и колбасой.

На другой день – в «штабе» Выборгского района, в тот самый момент, когда на столе были разложены планы, парабеллумы, маузеры, велодоги – полиция: в мышеловке человек тридцать. А в моей комнате слева, на подоконнике – мешок от филипповских булок, под кроватью – листки.

Когда, обысканные и избитые, мы разделены были по группам, я вместе с другими четверьмя – оказался у окна. У фонаря под окном увидел знакомые лица, улучил момент и в фортку выбросил записочку, чтобы у этих четырех и у меня убрали из комнат все неподобающее. Это было сделано. Но о том я узнал позже, а пока – несколько месяцев в одиночке на Шпалерной мне снился мешочек от филипповских булок – налево, на подоконнике.

В одиночке – был влюблен, изучал стенографию, английский язык и писал стихи (это неизбежно). Весною девятьсот шестого года освободили и выслали на родину.

Лебедянскую тишину, колокола, палисадники – выдержал недолго: уже летом – без прописки в Петербурге, потом – в Гельсингфорсе. Комната на Эрдхольмсгатан, под окнами – море, скалы. По вечерам, когда чуть видны лица – митинги на сером граните. Ночью не видно лиц, теплый черный камень кажется мягким – оттого что рядом она, и легки, нежны лучи свеаборгских прожекторов.

Однажды в купальне голый товарищ знакомит с голым пузатеньким человечком: пузатенький человечек оказывается знаменитым капитаном красной гвардии – Коком. Еще несколько дней – и красная гвардия под ружьем, на горизонте чуть видные черточки кронштадтской эскадры, фонтаны от взрывающихся в воде двенадцатидюймовок, слабеющее буханье свеаборгских орудий. И я – переодетый, выбритый, в каком-то пенсне – возвращаюсь в Петербург.

Парламент в государстве; маленькие государства в государстве – высшие учебные заведения, и в них свои парламенты: Советы старост. Борьба партий, предвыборная агитация, афиши, памфлеты, речи, урны. Я был членом – одно время председателем – Совета старост.

Повестка: явиться в участок. В участке – зеленый листок: о розыске «студента университета Евгения Иванова Замятина», на предмет высылки из Петербурга. Че-

стно заявляю, что в университете никогда не был и что в листке, очевидно, ошибка. Помню нос у пристава – крючком, знаком вопроса: «Гм... Придется навести справки». Тем временем я переселяюсь в другой район: там через полгода – снова повестка, зеленый листок, «студент университета», знак вопроса и справки. Так – пять лет, до 1911 года, когда наконец ошибка в зеленом листке была исправлена и меня выдворили из Петербурга.

В 1908 году кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету и был оставлен при кафедре корабельной архитектуры (с 1911 года – преподавателем по этому предмету). Одновременно с листами проекта башенно-палубного судна – на столе у меня лежали листки моего первого рассказа. Отправил его в «Образование», которое редактировал Острогорский; беллетристкой ведал Арцыбашев. Осенью 1908 года рассказ в «Образовании» был напечатан. Когда я встречаюсь сейчас с людьми, которые читали этот рассказ, мне так же неловко, как при встречах с одной моей тетушкой, у которой я, двухлетний, однажды публично промочил платье.

Три следующих года – корабли, корабельная архитектура, логарифмическая линейка, чертежи, постройки, специальные статьи в журналах «Теплоход», «Русское Судоходство», «Известия Политехнического Института». Много связанных с работой поездок по России: Волга вплоть до Царицына и Астрахани, Кама, Донецкий район. Каспийское море, Архангельск, Мурман, Кавказ, Крым.

В эти же годы, среди чертежей и цифр – несколько рассказов. В печать их не отдавал: в каждом мне еще чувствовалось какое-то «не то». «То» нашлось в 1911 году. В этом году были удивительные белые ночи, было много очень белого и очень темного. И в этом году – высылка, тяжелая болезнь, нервы перетерлись, оборвались. Жил сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом, зимою, – в Лахте. Здесь – в снегу, одиночестве, тишине – «Уездное». После «Уездного» – сближение с группой «Заветов», Ремизовым, Пришвиным, Ивановым-Разумником.

В 1913 году (трехсотлетие Романовых) – получил право жить в Петербурге. Теперь из Петербурга выслали врачи. Уехал в Николаев, построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и повесть «На куличках». По напечатании ее в «Заветах» книга журнала была конфискована цензурой, редакция и автор привлечены к суду. Судили незадолго до февральской революции: оправдали.

Зима 1915/16 года – опять какая-то метельная, буйная – кончается дуэльным вызовом в январе, а в марте – отъездом в Англию.

До этого на Западе был только в Германии. Берлин показался конденсированным, 80%-ным Петербургом. В Англии другое: в Англии все было так же ново и странно, как когда-то в Александрии, в Иерусалиме.

Здесь – сперва железо, машины, чертежи: строил ледоколы в Глазго, Нью-Кастле, Сэндэрланде, Саус-Шилдсе (между прочим, один из наших самых крупных ледоколов – «Ленин»). Немцы сыпали сверху бомбы с цеппелинов и аэропланов. Я писал «Островитян».

Когда в газетах запестрели жирные буквы: «Revolution in Russia», «Abdication of Russian Tzar» – в Англии стало невмочь, и в сентябре 1917 года, на стареньком английском пароходишке (не жалко, если потопят немцы) я вернулся в Россию. Шли до Бергена долго, часов пятьдесят, с потушенными огнями, в спасательных поясах, шлюпки наготове.

Веселая, жуткая зима 17–18 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы. Позже – бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, буржуйка, селедки, смелый на кофейной мельнице овес. И рядом с овсом – всяческие всемирные затеи: издать классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей – практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист (от техники осталось только преподавание в Политехническом институте). И одновременно: чтение курса новейшей русской литературы в Педагогическом институте имени Герцена (1920–1921), курс техники художественной прозы в Студии Дома Ис-

кусств («Серапионовы братья»), работа в Редакционной коллегии «Всемирной литературы», в Правлении Всероссийского Союза Писателей, в Комитете Дома Литераторов, в Совете Дома Искусств, в Секции Исторических картин ПТО, в издательстве Гржебина «Алконост», «Петрополис», «Мысль», редактирование журналов «Дом Искусств», «Современный Запад», «Русский Современник». Писал в эти годы сравнительно мало; из крупных вещей – роман «Мы», в 1925 году вышедший по-английски, потом – в переводе на другие языки; по-русски этот роман еще не печатался.

В 1925 году – измена литературе: театр, пьесы «Блоха» и – «Общество Почетных Звонарей». «Блоха» была показана в первый раз в МХАТе 2-м в феврале 1925 года, «Общество Почетных Звонарей» – в б. Михайловском театре в Ленинграде в ноябре 1925 года. Новая пьеса – трагедия «Атилла» – закончена в 1928 году. В «Атилле» – дошел до стихов. Дальше идти некуда, возвращаюсь к роману, к рассказам.

Думаю, что если бы в 1917 году не вернулся из Англии, если бы все эти годы не прожил вместе с Россией – больше не мог бы писать. Видел много: в Петербурге, в Москве – в захолустье – Тамбовском, в деревне – Вологодской, Псковской, в теплушках.

Так замкнулся круг. Еще не знаю, не вижу, какие кривые в моей жизни дальше.

<1928>

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ





ОДИН

I

Немые задыхающиеся дни. В тусклом молчанье – точно клочья туч в лунном мертвом свете – скользят непонятные дни. Медленно или безумно быстро? Или совсем остановились?

Синим, холодным небом блеснули на миг: спешат, скорее – к счастливым. А потом на белых, сверкающих крышах – там за решеткой – ползут черные пятна, как на гниющем трупе все дальше. И опускаются сверху туманы – тяжелые, душные – точно лихорадочное забытие. К серым стенам прильнули, сосут...

– Ах, скорее бы ночь...

А она уже грозитя вдали, развернула черное знамя. Вздогнули в испуге последние лучи, залились кровью, в бездну свалились. Радостно прыгнул оттуда мрак, тени мчатся вправо и влево, а за ними бежит ужас.

Черный кошмар.

Вьюга вцепилась в решетку, бьется за окном, рыдает в холодном мраке.

А внизу под ним, под его ногами, ходит кто-то. Мечется целые ночи – взад и вперед – без конца.

– Отчего он не спит никогда?

Вздрагивает тьма, шепчет страшную мысль:

– Быть может, уже безумный он – мечется там?

А он все ходит, неведомый, взад и вперед – целые ночи.

Без конца. Не взойдет никогда солнце. Вечно будет ходить он, страшный, внизу...

И вдруг – замолк глухою, темною ночью.

– Где он? Умер? Увезли его?

Молчат стены кругом.

* * *

Пустой гроб внизу. Немые стены кругом. Как слепые вихри во тьме – безумные мысли.

Все ходить, ходить...

– Как тот, что был внизу. А потом увезут так же – ночью?

Семь шагов, семь шагов. Толпятся, гонятся стены. Мелькают старые надписи. Чьи-то имена, забытые, полустертые, чьи-то стихи, скорбные, рыдают на холодном камне.

Кто их писал? И где теперь они и их муки?

За окном – колокола, звонят – плачут, далеко где-то, чуть слышно.

Там, далеко – странный огромный мир. Люди – идут, спешат, говорят вбивают мысли друг друга. Люди!

Сердце бьется в холодные стены, задыхаясь, как воздуха ищет их... Люди!

Тихо. Пустой гроб внизу. Немые стены кругом. Чуть слышно колокола звонят – плачут: уже утро.

Длинными, бледными лучами ухватился рассвет за решетку, повис мелкой сеткой дождя над тюремным двором.

– Там ходят теперь. К ним, к ним!

* * *

Там внизу – их шестнадцать. Запертых в шестнадцати клетках.

Налегли сверху мокрые, тяжелые тени – от каменных стен. Ни звука, ни слова. Тихо – будто нет там живых людей.

Невнятным пятном мелькнет лицо, и на нем две черных точки – глаза. Мелькнет – исчезнет.

Взад и вперед мечутся. Взад и вперед. Кружат, как дикие звери, все быстрее бегут. Некуда – назад и вперед...

Уже нет больше сил ходить и биться мыслью о стены, о дверь, о решетку – они стоят, прислонившись к забору, и вверх смотрят.

Маленький, четырехугольный клочок неба бросили им: не смогли закрыть. Облака хмуро смотрят вниз и плывут мимо. Уходят за стены – туда, где и они, пойманные, жили когда-то.

И задремавшая в забытии жажда жизни просыпается, и рвет оковы и связи, и бьется, обливаясь кровью.

Чу! Бледные пятна в окнах – вон, вон! Там – товарищи. Слышите? Рвутся к ним и протягивают руки – зовут их... И не могут отозваться они и выкрикнуть все, отчего задыхаются, и хочется кричать и биться головой о стены.

Остановились. Жадным взором цепляются за решетки, и ищут за ними человека, и бьются в темные стекла...

Недвижное, безмолвное смотрит вниз небо.

* * *

Вдруг оборвались все мысли. И все кругом умерло: одна пустота – и в ней падают звуки, острые, сверкающие.

– Тук-тук! Тук-тук-тук!

Снизу... Там – живой, внизу!

У трубы уже. Забилось сердце, как безумное, и рвется навстречу. Нет дыхания. Нет дыхания. Тихо. Пар шумит в трубе.

И опять: тук-тук! Молнией разрезало тишину.

В радостном вихре путаются и пляшут мысли. Не вспомнить букв.

– Я слушаю.

– Стук! – упало снизу, дрогнула труба всем телом.

Закричать хочется от радости. Понял тот, внизу, понял!

– Кто вы, товарищ?

Молчит. Что же молчит он?

– Т-с-с! Отвечает...

Звуки дрожащие, обломанные. Путаются, не сосчитать их. А если не поймешь?

Падает вниз и холодеет сердце.

Нет, нет! Надо записывать...

Все растут ряды непонятных цифр. А в них закутаны, спят человеческие слова – точно листья в почках. Все растут... Сейчас развернутся, а с ними – весна и золото-солнце.

– Дзынь, дзынь!

Радостно вздрагивает труба. Слова бегут по ней искрами вверх, всю тишину – сверху донизу. – пронизали

жгучими змейками: свернулась, испуганная, серою пеленою, уходит...

Как много... Двенадцать слов!

Дрожит бумажка в руках. Надо положить на стол, чтобы прочитать.

– «Я рабочий Александр Тифлеев арестован двадцатого декабря сижу пятая галерея привет товарищу».

Все громче звонят колокола, все светлее.

Милые, смешные ошибки и пропуски. И самые слова от этого – не сухие, книжные, а живые.

Еще, еще читать – жадно пить...

Привет товарищу! О, милый!

Отвечать – скорее. – Сказать о новом, огромном, что нахлынуло, и о темном и душном, что было раньше, и о надеждах родившихся.

– Я – бывший студент Белов. Сижу один три месяца. Я вам рад. – Кончил и мучился: не то, не то! Тысячи слов дни и ночи лежали скованные и должны были родиться теперь и не могли – бились и мучили. Точно во сне: нужно крикнуть, а язык мертвый, чужой, неподвижный.

И еще без конца много нужно говорить. Кружатся мысли, падают где попало, как подхваченный бурей листок. Остановились.

– За что сидите?

– Убил...

Ровно ответила труба, спокойно.

Опустились мысли. Тучкой разочарование набежало. Уголовный?

– ...шпика, – докончила труба.

Ага! Злой и яркой молнией сверкнуло, и радостная волна мести отхлынула от сердца...

* * *

Потушили лампы. Зашлепали-заплескались в гнилом болоте шаги в коридоре. Холодной струйкой вытянулся, стегнул свист. Заскрежетал зубами замок.

Затихло, кажется. Чуть слышно застучал Белов – железным шепотом.

– Не спишь?

– Не хочется. Все думаю.

– О чем?

– Как шпика мы тогда убили.

И замолчали оба.

Потихоньку застучал опять Белов.

– Расскажи. Все равно не спим.

Расскажет он, будет долго в темноте рассказывать. Взял Белов с кровати пальто, бросил на пол возле трубы, лег.

Луна вошла. Бродили лучи по камере, слепые, и было от них не светло, а только жутко: кто-то неуловимый, невидимый вошел в камеру и бродит по ней, слушает.

– Ночью это было, – начал Тифлеев. – В селе. Возле монастыря.

Сразу вырезались перед Беловым стены – белые, молчаливые. И колокольня – строгая, тоскливо-высокая.

Радостно всмотрелся: исчезла прежняя неподвижность души – точно вымыли потускневшее зеркало. Как удар колокола – каждое маленькое слово: бегут во все стороны, перегоняются, падают – образы яркие, звучные...

– Дзынь. Дзынь-дзынь-дзынь. Медленно, тяжело стучит Тифлеев:

– Ветер был сильный.

...Динь-динь-динь. Это маленькими колокольчиками перебирает ветер – тоненькие, маленькие, в тоске и страхе мечутся, как испуганные птички в снег зарываются...

– Назначено было ночью собрание. Ждали товарища из города.

...Точно черного налили в воздух. А там наверху огонек одинокий, чуткий: собрались в комнате и ждут. Говорят и опять молчат. И смотрят нетерпеливо в темную ночь, прислушиваются: динь – ди-и-динь – звонит ветер...

– Привязался к нему шпик. Он на поезд – тот за ним.

...Сзади – молчаливый – точно тень. Черным мраком закрыл лицо – будто что-то гнусное, губительное скрывает. Все быстрее... И кажется, мчатся они уже в пустыне, и только двое их. С грохотом несется мрак и свистит мимо ушей. Искры вверх и вниз мечутся во тьме – как безумные мысли...

– Приехали. Он к нам идет, а тот опять сзади.

...Пустая улица. Крадутся по мертвым домам лунные лучи, с закрытыми глазами улыбаются на мокрому, черному окну. И вдруг прыгнули назад. От колокольни длинная

тень упала. Прячутся в нее оба – друг от друга. А навстречу ветер звонит: дзинь – ди-и-нь...

Уже не слушает Белов. Мешают лунные лучи, делают что-то сзади, нужно смотреть туда. Привстал, обернулся: бледное пятно на стене – плещется беззвучно, двигается.

– Откуда оно, отчего?

Смотрит тревожно назад. А Тифлеев стучит громко и неровно – точно дрожат у него руки.

– Что это с ним? Вслушался.

– Заткнули рот. Повели в лес около монастыря.

...Повели. Молча по темному двору несут. Собака завывала:

увидела незнакомое, нечеловеческое, с белой головой, бьющееся... В лесу – озираются, ступают неровно, ветки хрустят. Лунные лучи, слепые, натыкаются на деревья – длинные тени ползут, качаются – от ветра...

– Положили на землю. Только один сказал – отпустить его.

...Самое темное место. Черные, мокрые дубы костлявые руки расставили, ниже наклонились. Ветер примчался, в ветвях засел и притих. И они замолчали все. Одна мысль у всех была – робко самый молодой высказал ее. И опять молчали. А потом вдруг заговорили все, задвигались.

– Веревки не было. И стал я его душить платком.

Тихо стучал, медленно. Почувствовал, как Тифлеев рассказал бы ему это: наклонился и шепотом говорит, и глаза все шире раскрываются.

– И я его утушил.

– Почему утушил? Почему он говорит «утушил»?

Вздрогнул. Слово было странное, мягкое, как человеческая шея, задышающееся...

Замолчал Тифлеев. За окном ветер метнулся, притих. На полу лежал блик от луны и белел, мигал незрячими мертвыми глазами, точно лицо удушенного.

II

Опять рождался день и был такой же, как двадцать дней, как тридцать дней назад. И оттого все дни стали потом сливаться в одно огромное, тусклое – точно развернулось бесконечное осеннее небо.

Было страшно остаться в сером одинаковом море дней и не знать, где берег – и они стали отмечать их на стене.

Один день отметили крупным крестом: замерцала надежда в их слепом и глухом гробу. Ждали, что дадут свидание Тифлееву.

В субботу вечером позвали его вниз. Там скажут: будет ли это, или рушилось все.

А Белов лежал, весь измученный ожиданием.

Все не темнело. Долго перебегали тени по стенам.

Потом сразу мягкий сумрак разлился, расплылись жесткие линии камня и железа, все предметы стали мягкими и теплыми.

Все не шел Тифлеев.

Около головы кружилось ожидание и шептало что-то невнятное – Белов напрягался весь, вслушивался. В самой глубине где-то, вся завернутая черною тьмою, рождалась мысль, он отталкивал ее от себя, весь загораясь страхом.

– Ах, скорей бы, скорей бы...

Зажгли огонь. Тишина.

И вдруг просочились бледные, тусклые звуки: пели где-то вдали, медленно, торжественно.

Да ведь завтра праздник.

Слушал пение. Окутывало чем-то ласковым голову и баюкало. И потом сразу откликнулось далекое милое эхо.

Тихие подпраздничные вечера в большом доме: лампада щурится и сияет теплым светом, мебель и цветы кругом странно-новые, непохожие – точно замолкли важно, ждут чего-то.

– Где все это? Куда делось?

И казалось – ушло назад, как тихие, кудрявые берега, и смотрит сейчас издали.

А вдали опять запели. Опускались потихоньку звуки, целовали.

Белов закрыл глаза. Было хорошо, вспоминалось самое светлое, самое любимое.

...Длинные, зимние вечера – вдвоем, в мягком свете лампы с зеленым, надвинутым абажуром. Вместе с ней, с Лелькой, заглядывали в темную бездну загадок жизни и смело стучались в глухую стену и прислушивались к эху.

...Было что-то нежное и тонкое – как взгляд, как запах. И оборвалось – нелепо. Лопнули струны на половине аккорда – больно!

– А если оно вернется, красивое? Дадут свидание Тифлееву, можно будет передать ей письмо?

Буйно кровь застучала, забегал по камере.

И точно в ответ труба зазвенела...

Дали во вторник! Брызнуло светом и разнесло тьму, унизанную призраками. Забилося сердце – точно начинало жить.

Белов остановился. Нарочно сказал себе:

– Ну, что ж. Ничего особенного.

И опять смеялся тихим, как дыхание, смехом радости, закрывая рот рукою. Мыслей было никак не собрать: точно вырвались из клетки и носились над горячими волнами в светлом просторе. Не знал, что писать.

Потом взял бумагу – давно уже была приготовлена – и написал только:

«Я сижу в тюрьме. Камера 201. Хотел бы получить от вас письмо тем же путем, каким получится и мое.

Сергей Белов».

Подумал и прибавил: «Ваш Сергей Белов».

* * *

Передать письмо вниз, к Тифлееву, решено было в воскресенье вечером.

Весь день стояла в тюрьме праздничная тишина – жуткая, томительная. Точно слушают все, что делается за стенами.

Там, должно быть, все живые и бодрые, как сухой морозный воздух, как праздничные блестки инея. Там, должно быть, яркое, смеющееся солнце, сверкающий жизнью смех на чистом, скрипучем снегу. И в светлой, яркой комнате – радостная, кипучая работа рука об руку...

– А это все, что казалось вчера радостью – разве это жизнь?

Целый день лежал. Опять надвигалась издали пустота, и маленькой, тоненькой болью тоскливо ныло сердце – ушло куда-то глубоко, и чуть слышно оттуда его стон.

Молчал весь день и Тифлеев. И казалось, что все в тюрьме молчат и глотают тоскливые, мучительные слезы. Неужели там, снаружи, может быть весело?

– И Лельке тоже, может быть, хорошо – с кем-нибудь?

Хотелось застонать протяжно и долго: а-а-а! – как от боли.

К ночи небо стало тревожно-бледным и глубоким, точно убежало вдаль от пристального мертвого взгляда луны.

– Будет видно письмо при спуске.

Белов нахмурился. Черные, смутные страхи закружились около, прятались по темным углам и выглядывали оттуда, холодными пальцами прикасаясь к нему.

...А если оборвется нитка и захватят, прочтут?

...А если уведут Тифлеева, и опять он – один?

Опять вернуться назад, к прежнему?

Точно заглянул в бездну. Дна не было, и смотрело на него оттуда пустое, жутко-бесконечное, как небо в осенний ветреный вечер.

Вздрагнул.

– Лучше смерть.

* * *

Когда все стихло и потушили огни, подошел к окну, открыл форточку. За окном кружился и рвал что-то и шумел ветер. Улетал и опять прижимался к окну, замолкал. Становилось совсем тихо и казалось, что если приглядеться, то увидишь приплюснутый к окну нос и любопытные глаза.

Было страшно начать. Чудился подкрадывающийся шорох, и сердце билось в тонком смутном тумане опасений.

– Ветер будет мешать. Не отложить ли?

Оборвал себя злобно:

– Что, трусишь?

Нарочно, назло себе, громко стуча ногами, подошел к кровати, нащупал под ней в темноте и взял все, что нужно. Длинная и тоненькая, с письмом на конце, гнулась палочка от тяжести и дрожала, и казалось, сейчас тихо, без треска переломится.

Осторожно взобрался на парашу. Сомкнулась тишина стеной и надвинулась сзади вплоть до самого окна.

Нащупал пальцем отверстие фортки в холодном медном листе: узенькое, даже палец не проходит. Продвинул туда конец с нацепленным письмом и опять вслушался назад, в тишину. Слышно было, как ветер шумел порывами, все сильнее – будто все выше взбирался и обрывался оттуда вниз.

Из фортки шла холодная, морозная струя и упиралась прямо в тело.

Пригляделся. Было ясно видно – письмо выдвинулось уже за край широкого железного подоконника и висит над пропастью.

Задрожало что-то в груди, голова закружилась – точно сам стоял на краю и смотрел вниз.

Распустил нитку. Двумя быстрыми, неслышными шагами подошел к трубе, бросил вниз тихим, замирающим стуком: – Готово.

И опять у окна. Опять холод из фортки, дрожат грудь и руки. За окном – ветер шумит, шумит, кружится. Схватывает зубами письмо и бросается с ним в сторону, потом в другую. Качается письмо, как маятник, а он вдали; ветер, замолк, смотрит. Потом схватит письмо и прянет с ним – вверх, и нитка висит, как мертвая, как пустая.

– Цело ли письмо? И удастся ли Тифлееву схватить нитку?

Ожидание – точно томительный, не перестающий звук.

И вдруг подпрыгнули сзади шаги и ударили по рукам – задрожала в них нитка. Тап-тап-тап – около самой камеры. Остановились. Замер весь и закрыл глаза. Ноги длинные-длинные и далеко где-то. Голова громадная и пустая, и внутри падают секунды, как капли:

– Два, три четыре...

Тихо.

– Сорок пять, сорок шесть...

И опять в тишине отпечатываются звуки шагов: тап-тап-тап. Все дальше – и стихли.

Вздохнул всей грудью, точно вынырнул из воды, глухой и холодной, и глотает свежий воздух.

Дрожат еще пальцы и ищут нитки. Опять ветер шумит за окном без конца, рвет из рук.

Тонет бодрость в светлом, видящем сумраке за окном. И уже отчаяние холодными камнями складывается в душе.

И потом, когда все кончено, и лежит он в постели – все еще вглядывается в темноту, и тревожные шорохи стучатся в ушах. Бледнеет уже измученное небо и тают усталые звезды, а он лежит все с широко раскрытыми глазами и неровно бьющимся сердцем

III

Будет теперь свидание у Тифлеева только через неделю. Будет свидание и ответ от Лельки.

И вся неделя, все дни бегут мимо, незаметные, прозрачные – и сквозь них, как месяц через облака, светит вторник и то, что придет с этим днем.

– Что там? Праздник и светлое солнце? Или страдание извивается и немеет?

Белов ходил из угла в угол и ни о чем не мог думать. Брал книгу и смотрел в нее – и слова были пустые, прозрачные, точно из стекла: одни буквы, бескровные, неживые, и нет в них образов.

Хорошо, что хоть Тифлеев постучал.

Постучал – радостно рассказывал: в первой галерее, под его соседом, справа сидит товарищ Фома, арестованный вместе с Беловым, шлет привёт и говорит, что скоро повезут Белова на допрос – их уже всех возили.

Белов написал письмо Фоме – короткими и сильными словами, полными силы и бодрости. Перечитывал письмо – и было ему странно, что это писал он – тот же самый, что неделю назад жил серый и придавленный.

Наутро Тифлеев выстукивал письмо вниз медленно и старательно. И так же медленно стучал потом, что письмо получено и что будет ответ.

А потом стоял по целым часам у трубы и не ходил на прогулку, чтобы успеть к вечеру получить ответ от Фомы и передать Белову. И когда Белов нетерпеливо стучал и волновался, Тифлеев говорил ему нежные успокаивающие слова – точно мать.

Весь обвеянный теплым, мягко и ласково думал о нем Белов.

– Как странно. Он душил человека – такой нежный, ласковый...

Бежали мысли – и вдруг застывали на месте, и опять вырастал вторник стеной, молчаливой и загадочной. Что там – за стеной?

* * *

Весь вторник ждал. Притаившись, ползало за ним что-то невидимое и сторожило своею тенью каждую мысль. И вдруг пожирало все их, и наполняло собою все, и хватало за горло.

– А если ее уже нет, Лельки, если и она взята?

И долго, томительно звенело в воздухе.

До ночи ждал.

И только когда поздно ночью дрожащими руками вытянул из отверстия фортки и развернул – поверил, что есть письмо.

Письмо от Лельки.

Точно во сне. Точно во сне это. Через сотни замков, из темной дождливой ночи пришло оно, маленькое, и прижалось к лицу ласково и тысячи слов обещалось сказать – неслыханно-радостных.

– Спасибо, – кричит он Тифлееву.

Свечка вспыхнула – и умерло ожидание и его тени. Наполнилась ликованием тишина ночи и засмеялась.

«Сергей, дорогой. Бесконечно рада узнать, что вы живы, по крайней мере. Всего можно было ждать. Чего только мы о вас не передумали. Мне больно очень, что никак нельзя помочь вам. Если что нужно – напишите: большим удовольствием будет сделать что-нибудь для вас.

Эх, Сергей! Если бы вы знали, какие сейчас у меня мысли в голове... Мир хорош, жизнь хороша...

Помните ли вы наши разговоры? И то, что мы с вами говорили о любви. Ну, так вот...

До свидания, милый мой учитель диалектики.

Л.»

Засияли в полутьме и запели мысли. И каждое слово ее, как звезда, поднималось во мраке. Ласково мерцало вдали и манило, недоступное и загадочное. И родились

от этих слов и голубыми лучами дрожали новые, светлые мысли. Дышали и жили в полумраке камеры и называли его любимым. Любимым!

Снова читал он эти слова, которые уже любил, – и они сливались в один аккорд, огромный, дивный, об одном все пели – как сливаются вместе и поют об одном потемневшее от страсти небо, и истомно замершая вода, и сияющий звуками соловей.

Снова читал – и вслушивался в полутени письма и неясный шепот.

...Мы с вами говорили о любви. Ну, так вот...

– «Ну, так вот». Что это? Что они хотят сказать – эти три маленьких слова?

Были они, как закрытые тонким, черным покрывалом: шевелилось под непрозрачным что-то живое и соблазнительное и шептало лукаво. Чудилось там – под покрывалом – горячее, ласкающее, захватывающее дыхание, и хотелось сорвать непрозрачное, черное – и нельзя было.

– А конец: милый мой учитель диалектики. Это она о длинных зимних вечерах, о горячих спорах... О, милая!

Тушил непослушные мысли – отворачивался нарочно от них, притворялся невидящим. И опять возвращался к ним медленно, понемногу, и опять ласкали его, все разгораясь...

А за окном плакала бесконечными слезами непогожая ночь, одинокая, покинутая.

Посмотрел туда в окно, на слепое небо, окунулся взглядом в холодную тьму – и неслышно, быстро ушло все куда-то.

Достала ночь своими длинными, холодными руками и щупает все, слепая, и радостно заливает огонь, загоревшийся в нем.

Хохочет злобно-холодный рассудок – холодный и злой, как ночь.

– Как мальчишка – влюбился. Целовал письмо. Глупо как, стыдно! Одичал в тюрьме. И главное, чему радовался? Ну, чему радовался? Откуда выдумал, что она любит?

Падает сомнение холодными каплями – хихикающее, торжествующее. Медленно, мучительно разгорается стыд.

– Теперь, когда честные умирают, думать об амурах с какой-то девчонкой... Мерзко, позорно!

– С какой-то девчонкой? Не смей так про Лельку, славную, хорошую. – Кричало и грозилося издали могучее, молодое, родившееся недавно чувство.

– Думать о какой-то девчонке!

Нарочно, назло повторил. Прошелся взад и вперед по камере, огляделся кругом: не было уже радостных, сияющих мыслей, растаяли призраки.

– Вот уже ничего и нет. Это хорошо. Рассудок сильнее в нем.

Подумал и опять оглянулся, и увидел истину – голую, костлявую – как смерть.

– И никакой любви нет...

Говорил и видел, как пусто, страшно и больно становилось кругом – кончилось все.

А потом изогнулся перед ним и смеялся над ним и над гордым рассудком мучительный и злобный, как дьявол, вопрос:

– Зачем сделал это? Зачем отогнал радостные, красивые призраки? Хотелось вернуться к старому? Увидеть старое – голую истину – смерть?

Вот она – смотри!

И что твой рассудок, гордый рассудок? Помог он тебе?

Этот вопрос смешал и перепутал все.

Прислушивался Белов к мыслям и всматривался в них – и не видел дороги: метелью неслись они, разметанные в мелкие снежинки, и не могли остановиться, огромными туманными образами вставали и падали, звенели нежными, обманчивыми колокольчиками и плакали потом...

IV

В дни свиданий по вечерам тюрьма оживала. Где-то внизу, в нижних галереях, труба стучала глухим нутряным стуком, частым и дробным эхом говорили стены справа и слева, и у каждой был особый голос. А если приложить ухо к стене – было слышно, как спешили и стучали в стену где-то далеко внизу, и звуки были совсем слабые, точно выходили из глубины земли, чуть заметны были – как утонувшая в небе птица. Везде говорили и спешили поделиться жалкими обрывками жизни. Маленькие крошечные события раздувались и вырастали

в огромные и наполняли пустоту их жизни. Из-за пустяков по целым часам горячились и спорили.

Тифлеев приходил со своего свидания поздно вечером и скорей стучал ждущему, взволнованному Белову: есть письмо. И потом в печальном свете сумерек рассказывал все новости свои и полученные от соседей, и все свои горести и радости.

А ночью Белов читал письмо и долго не мог заснуть, и думал потом целыми днями о письмах и о Лельке.

Получил он от нее еще два письма. Одно было длинное и старательно рассказывало обо всех партийных новостях. А другое было теплое и ласковое, и опять туманно и неясно говорила она о том сильном, что переживает. Настораживался весь и прислушивался к ее словам, и они обдавали теплым и волнующим. Обрывок одной фразы, короткой и странно-красивой и гордой – белой с черным – врезался в память: «...любить, а если нужно – мы сумеем и умереть». Ясно представлял себе, как она сказала бы это: взявшись за спинку стула и откинувшись назад, раскрывши глаза – точно смотрела прямо навстречу смерти.

А его письма были все такие же – притворно-насмешливые и притворно-ласковые, и в обманчивых тенях малодушно прятал он свое чувство.

И вся эта игра прыгающих и скользящих намеков, и ласковые и теплые лучи, которые прятались, казалось, за ее словами, и письма; в которых они говорили на языке, понятном только им двум, и вся эта любовь к ней издали – все блестело и зажигало мысли, дразнило, как сверкающие водою и жизнью миражи в пустыне. Хотелось схватить руками, видеть ближе, ощущать.

И когда однажды принесли передачу от Лельки – какие-то пакеты и коробки со съестным и целый сверток белья – мысли хлынули вдруг, горячие, непослушные, и затопили волю. Платки, полотенца, простыни – все было Лелькино, и ее тонкий, чуть слышный запах переливался в жилы и зажигал в них кровь.

Развернул простыню. Простыня была тонкая, красиво выглаженная. Увидел Лельку, такую же чистую и тонкую, и с таким же свежим, раздувающим ноздри запахом – раскинувшуюся на этой простыне, спящую. Сердце рва-

нулось, и вмиг охватило всего и толкнуло желание – целовать это холодное полотно.

Одним порывом, в котором собралось все гордое, холодное, боящееся чувства, – Белов сдавил, задушил поднявшее голову желание. Лег спать измученный, с бьющимся сердцем и кипящей кровью.

* * *

Еще дрожало в нем что-то и сладко ныло в груди, когда он проснулся.

– Если бы правда!

Закрыв глаза и одним легким усилием построил опять всю странно-красивую и трепетную картину сна – точно он не растаял еще и был где-то тут, в воздухе – сдернуть только покрывало.

...Узенькие, длинные ступени – как у древних греческих храмов. Со всех сторон свет, ослепительный, бушующий – будто десятки солнц кругом.

Впереди идет она – Леля. Медленно, как богиня, идет она, ослепительно сверкая телом.

И что-то яркое, горячее и бушующее, как этот свет кругом – у него в груди. Весь во власти этого, и как слепой, как раб – идет за ней, за богиней, и целует следы ее ног. И этого – мало, хочется чего-нибудь еще более рабского, еще более унижающего.

– Это – любовь, – говорит он себе.

И они идут дальше – по белым и теплым ступеням. Все выше идут, и все ярче свет, уже и круче ступени.

Голова кружится. Страшно ей, страшно ей, смотрит синими глазами, испуганными, как ребенок, тянется. Скорее к ней – взять ее на руки – маленькую, слабую...

Уже рядом он с ней. И у самой груди своей видит ее золотые волосы распущенные, и в золотых волнах – белое с розовым смеется – ее маленькая, нежная грудь, так странно-близко. Так хорошо...

А сзади крадется кто-то, темною тенью давит вниз непонятно, шепотом нечистым шамкает: стыдно.

Меркнет свет и радость. И с болью говорит Белов вслух чужим голосом: стыдно. И стоит неподвижно, глаза опущены. Стоит неподвижно.

Вдруг видит маленькие светлые капли – внизу на белых ступенях – шевелятся, блестят. Слезы ее – слезы!

С ненавистью к себе сжимает он зубы: ах, зачем это сделал, что-то жалкое и оскорбительное? И на коленях протягивает он руки, умоляя.

Сверху – она опускает руки и прижимает нежно его лицо к себе – прощая.

И он зажигается радостной силой и тысячью поцелуев приникает к ней.

И вот уже нет его: растворился в ее дыхании, в радостной ее близости. Десятки солнц пылают и кружатся бешено, и несут его куда-то. В пропасть, ослепительно-светлую.

И теперь Белов чувствовал, что желание, властное и могучее, как красота, чистое и свободное от стыда, как весенняя природа – охватило всего и мучило, требуя повиновения.

Хотелось мучительно, чтобы она взяла всего его, и сама – вся была его.

Хотелось видеть ее, Лельку, как во сне, с распущенными волосами. Хотелось любоваться каждым уголком ее прекрасного, нежного тела и медленно, благоговейно целовать его.

Хотелось, чтобы смеялась она – серебряным смехом, счастливая и гордая.

Хотелось, чтобы плакала она – чтобы целовать ее волосы, и глаза, и ее слезы – и утешать ее, маленькую и слабую – как ребенка.

Вытянулся весь, закусил губы.

Рвался изнутри нетерпеливый, стонущий крик от охватившего, ищущего – и бессильного желанья.

– Лелька, Лелька! Любимая моя, жена моя!

– Да. Жена... – повторил это слово, и оно было теперь строгим, таинственным и важным.

– Ну да. Я люблю ее как жену. И счастье – это она. – Сказал он просто и ясно, точно говорил о чем-то старом, давно решенном.

Сразу заметил это, и заговорило в нем на минуту старое, недоверчивое, спрашивающее.

– Почему она – счастье? А счастье борьбы – и победы или гибели? А мой разум?

И новый Белов радостно и смело ответил:

– Это все – кусочки жизни – и борьба, и жизнь разума. И в них работает не все мое существо, и дают они не все счастье – только кусочки его. Радостно пожертвовать собою, отдать себя в борьбе? Да? А если я отдам себя, свои мысли – сначала ей, любимой, и возьму счастье, и отдам потом все – и любовь и себя – ведь жертва будет больше. И если в жертве счастье – и счастье больше?

– Ну да, да, – радостно отвечал себе, оживая.

– А жизнь разума, борьба, творчество – ведь все это даст в тысячи раз большее и живое счастье, если сначала отдать его любимой и опять получить от нее.

– И если желание счастья – то, что двигает всеми людьми и всею жизнью – а это так, то любовь должна родить тысячи красивых и смелых поступков и сделать их в тысячу раз сильнее, смелее и красивее.

– И те, которые говорят, что любовь может мешать...

– Да ведь это я говорил, ведь это я, – вспомнил Белов и улыбнулся снисходительно.

И почувствовал всем своим существом, и понял ясно и твердо, что без любви – нет счастья, без любви – страстной, сжигающей стыд – когда двое любят тело друг друга, как свое, и любят ум, волю другого, поступки, как свои.

И что для него нет счастья – без Лельки, без ее синих глаз, без ее маленьких рук, без ее нежного и горячего тела, без ее серебряного смеха, без ее острого и радостно-пытливого ума. Вспомнил, что в книге лежит начатое письмо к Лельке, к жене.

Изорвал и стал писать новое, не останавливаясь и почти что не думая.

V

– Все ты говоришь о Леле. Любишь ее?

Ни на минуту, ни на миг не остановился Белов и простучал уверенно и твердо:

– Люблю.

И когда Тифлеев стукнул быстро и звонко, точно радуясь его счастьем, он добавил:

– Очень.

– А отчего свидание не устроишь? Ведь хорошо. А с невестой они дадут.

Удивился, как эта светлая и простая, как солнце, мысль не явилась раньше. С невестой, с женой – должны дать. Если они люди... А бояться показать, что он знает ее – теперь уже нечего. Ведь все равно после – если она пойдет за ним...

Свидание! Счастье безумное.

Вдруг – видеть Лельку, и слышать ее голос, и целовать...

Как если бы солнце середь ночи – дождливой, холодной, мертвенной – выпрыгнуло из-за облака и засмеялось золотистым смехом.

Да ведь оно уже почти взошло – солнце. И если оно двигается – солнце-счастье, оно совсем придет и без следа развеет тьму...

Как только отошел от трубы, вынул письмо. Было оно сложено длинной белой полоской и запрятано в корешке книги.

Выбрал свободное место на тонкой, мелко исписанной бумаге и писал:

– «Опять, как вчера, я люблю тебя – больше нельзя любить – жду тебя, и твоих ласк, и твоих взглядов.

И если это так, если ты меня любишь, а для меня ты – солнце и счастье – подумай: можно добиться свидания. Придешь как моя жена. И я почувствую тебя, и увижу твои глаза...

Сердце бьется, как безумное, когда думаю об этом. Это будет».

И опять читал сначала, и опять становилось тепло и радостно: были эти слова рождены его любовью, как лучи солнцем.

Радостный и улыбающийся, он долго ходил по камере, а потом заглянул вниз – на прогулку.

Захотелось чего-то отчаянно-мальчишеского, смешного, дерзкого.

Раскрыл мысли и перебирал их, и среди них одна лукаво улыбнулась ему.

И он положил губы на холодную медь фортки, пригнулся, чтобы снаружи не было видно, и во всю силу голоса крикнул:

– Эй! То-ва-ри-щи-и!

Яркой, дрожащей пеленой повис крик над двором и заколыхался – и все смотрели вверх. Ухнуло в камере эхо и, дерзкое, хохочущее, помчалось по коридорам, раскидывая по сторонам тишину.

Вдруг засуетились и забежали за дверями, зазвенели ключами, останавливались и спрашивали. Точно загорелось – и проснулись все.

Потом стояли около его двери и говорили:

– Это – не он. Этот – тихий.

Он слушал и хохотал, и ему было весело.

А солнце смеялось в окно, и лучи его шурились от смеха и кривлялись, переламяваясь на наклонном подоконнике.

Снаружи у окна сели два голубя – самец и самка. Самец был надутый и расфранченный – в золотом воротнике вокруг шеи, а самка – маленькая и кокетливая.

– У-у-у! У-у-у! – вдруг зарычал самец важно и громко. Распустил крылья и хвост, отошел в сторону от самки, закружился там. Смешно топтался ногами и приседал.

А самка притворялась, что ничего не видит и ничего не понимает, и старательно клевала железо подоконника.

Белов смотрел на них в упор в отверстие фортки и вдруг не выдержал и фыркнул.

– У-у-у! У-у-у! – опять затоптался и надулся самец.

...Ну точь-в-точь – люди, когда они кокетничают и притворяются – перед другими и перед собой, – что они ничего не понимают и не знают, что их влечет друг к другу и чего они ждут один от другого. И как этот расфрантившийся самец, так же глупо и смешно рядятся друг для друга, а сами ждут видеть один другого без этих глупых воротничков, и корсетов, и перчаток.

И обманывают друг друга словами и поступками, и сами себя, и стараются скрыть свою любовь, как что-то стыдное...

Вспомнил о своем последнем письме, изворотливо и хитро говорившем между строк о его чувстве – о письме, которое изорвал.

– Дурак, как этот самец, – обругал себя с досадой.

А самец в это время подбежал уже к самке. Собрал хвост и опустил перья на шее и на груди. И все его тело,

изящное и стройное, и сильная, выпуклая грудь, отливающая золотом, – обрисовалась теперь ясно и красиво. А самка перестала глупо клевать железо и, подняв голову, смотрела навстречу покорным и ждущим взглядом.

Крылья плескались и трепетали в воздухе, глаза подернулись красивой прозрачно-голубой пленкой. А солнце играло с золотистыми перьями и ласково смотрело на них.

Оба они были красивы теперь. Любовался ими.

– ...Глупы и смешны, когда влюблены, и хороши, когда любят. Как люди, – сравнивал опять Белов.

Была суббота. Ударили в колокол – и звуки долетели сюда слабые, слепые, дрожащие. Стукнулись – мягко и робко – в окно, в лицо Белову, в голубей. И они улетели – счастливые, любящие.

На минуту стало пусто и грустно в камере. Солнце заходило.

– Когда еще я буду не один, – подумал он с тоской.

А любовь – сильная и живая – встала перед ним розовыми, последними лучами солнца и улыбнулась укоризненно и весело: разве он не верит ей?

Заворожила верой – могучей и крепкой – и легко, одним толчком, отбросила далеко и тоску, и страх, и отчаяние.

* * *

Зашевелились и загремели в коридоре. Отворяли одну камеру, потом другую – верно, повели их в церковь.

Вдруг застучали, вошли двое.

– В город. Приехали за ним...

На допрос! Забилось сердце сначала тревожными и быстрыми толчками, а потом веселыми и легкими.

– Это – борьба. Это – весело. – Он почувствовал в себе силу, смеющуюся, вызывающую. Тряхнул головой – едем!

Улица. Небо – громадное, невиданное, новое! Взмахнуло над головой звездами – их тысячи смеются наверху.

А дома, дома! Разные все стоят, большие и маленькие. Дома – милые, светлые! И мальчишки бегут. Мальчишки!

В карете черные шторы. Рядом сел человек в серой шинели, в бороде, с револьвером. Борода – как у унтера – дядьки в гимназии.

Застучали, покатались. Странно как: ехать вперед, вперед, далеко... Голова кружится.

– А! свернули куда-то? Конки звонят, бегут. Над ухом лошадь фыркнула.

Посмотреть туда на живых. Ну, чуть совсем.

– Чтобы не видно было снаружи? Хорошо, хорошо.

...Людей сколько, Господи!

Студент с девушкой – за руку. Милые, хорошие. Ну, постойте, ну, секунду еще!

Фонарщик лезет. Успеет зажечь, пока доедем? Ну?

Шум, шум, веселый – и сразу точно лопнули струны: темная, пустая улица. Что там в этом домике – за светлым замерзшим окном?

Бегут, спешат мысли, подпрыгивают, скользят... Катится карета...

– Трак! – щелкнула дверца, дохнуло холодом.

Темный двор, шаги сзади. Узенькая, грязная лестница и коридор – длинный, угрюмый. Вниз куда-то...

Странная комната с сумрачными сводами. Лампа вверху – обрезает темноту, а внизу еще непонятней клубится и копошится она.

А! тут ждать...

Шевелятся фигуры в углу – темные, без лиц. Головы качаются – и свечка качается удивленно. Смеются хрипло и делают что-то. Что?

Вот, у стола, круглые и четырехугольные ящики и длинные, круглые валы. И темная, плотная стена печатной бумаги.

Опять пригибается свечка и тусклые, испуганные взгляды бросает кругом.

Снуют и шепчутся физиономии, с поднятыми кверху усами и стеклянно-блестящими глазами. Шушукуются и сталкиваются за спиной и опять бегут мимо... Противно, противно...

– Как долго!

Секунды бегут, минуты, тени, лица...

Опять лестницы и коридоры – и вдруг свет, холодный, яркий.

Двое их – ждут за столом, двое – кольнули взглядами. Злое, насмешливое шевельнулось и потянулось к ним через прищуренные глаза и улыбку.

И началась игра, острая и страшная, как танец на канате, и приятная, как заглядывание в пропасть.

Со смехом бросал им нить и дергал ее. И они бежали за ней и хватались за нее, радостные, торжествующие. Сдается он уже, тише и короче говорит, а глаза смеются, и на губах шевелится и жалит змея.

И сразу выдергивает нитку – летят они навзничь и, смущенные, стараются незаметно подняться.

Молчат секунду, роются в белых листках – шуршат...

Вытаскивают и заносят над ним самое тяжелое, острое.

И рассекают пустой воздух:

– Ну-с, на сегодня, пожалуй, этого развлечения достаточно? Не будет он больше отвечать. Скучно.

Сверкают зубы, и глаза щурятся, смех дрожит в них...

– ...Если бы Лелька все это видела! И опять карета, темные и светлые улицы, и мягкое покачивание на рессорах...

* * *

Теперь Белов знал, что его ждет. Длинные, темные годы пойдут медленными, тяжелыми шагами – в кандалах.

Но это уж не шептало черных мыслей – как раньше, и было на душе бодро и радостно: завтра придет от нее письмо, и в нем – ее любовь.

VI

Проснулся и лежал, закрывшись с головой, вытянувшись. Темнота лежала вместе с ним, теплая и мягкая, и только там, где были ноги, пальто не хватало – пробирались лукавые, смеющиеся лучи, толкали и будили тьму. А вытянутое и гладкое пальто смотрело сверху, как крышка.

– Так и в гробу буду лежать. И так же темно будет. А сверху будут лезть черви – слепые, жадные, скользкие...

И так нелепа и невероятна была эта мысль, что ей нельзя было верить. И не поверил. Страшно ничуть не было – он засмеялся даже.

– Не может быть. Не умру, – подумал Белов спокойно и уверенно.

Окно было запущено ночной вьюгой – точно чем-то теплым и мягким завешено снаружи. Лучи ударялись о снежинки и блески и щекотали их, а те смеялись и сияли глазенками, и шутливо отбивались от них, отбрасывая ледяными искорками.

Было весело – точно звонили, переливались, подглядывали в воздухе колокола.

И сплошная, одинаково радостная, непрерывающаяся – как звон колокола – была кругом в воздухе мысль о том, что сегодня это должно случиться, сегодня должно прийти письмо.

Радостно было и ждать, что сейчас отворится тяжелая дверь, и камера с густым и вонючим после чистки парами воздухом останется позади, а он будет дышать холодом и свежестью.

Быстрыми и легкими шагами ходил Белов в своей клетке.

Было легко – точно весь тянулся кверху.

Там – небо, чистое, синее. Засмеялась весна – далеко еще где-то, за морем. Резвый и чистый, как звон серебряного колокольчика, долетел смех, перегнулся сюда – в темный колодезь смотрит голубым, ясным взглядом и звенит в душе.

Воздух – как хрусталь, холодный и чистый, а сквозь его грани тысячью огоньков мигают и смеются тепло и жизнь – чуть видно их, далеко еще они.

Облачко навстречу плывет – золотисто-розовое, мягкое. Купает свое нежное тело в голубом море и плывет навстречу весне и далекому невидному солнцу.

Хорошо там вверху. Без конца плыть вперед...

Карабкалась мысль вверх на головокружительную высоту и останавливалась. Опять поднималась и останавливалась, снова ползла, и все-таки оставалось перед ней что-то непонятное.

И от этой синевы, в которой тонул и задыхался взгляд, начинала кружиться голова. Уплывали мимо се-

рые с черными окошечками стены, и сам плыл куда-то, покачиваясь, на дремлющих, неслышных волнах.

Закрыв глаза. Было легко, и казалось, под ногами нет земли. И мысли были легкие и светлые – точно из лучей и хрустального воздуха.

* * *

Когда шел назад – душная и темная тишина тюрьмы побежала навстречу ему. И когда был наверху – она собралась и прыгнула снизу – огромная и зловещая.

Заглянул в лицо ей дразнящим и смелым взглядом и засмеялся навстречу ей: не боится он – сегодня ждет его письмо. Оно уже написано, и близко где-нибудь, и любовь с ним.

Потом глухая камера проглотила его. И камень задыхался в лицо, и решетка хотела сковать мысли – а ему было весело: она скажет ему сегодня, что любит. Скоро это будет, скоро.

Весело-золотистое облачко смотрит еще в окно, и весна, и жизнь издали смеются. Что ему решетка? Что ему стены?

Вот и Тифлеев ушел уже на свидание. Опять стало тихо, как замолчал его стук.

Смеркается. Часы зазвонили. Ну, скорее ночь, скорее радость...

Отчего вдруг такое темное, хищное стало небо и так страшно улыбается в окно?

Все равно! Не страшно – письмо уже получено! И это самое окно, и ночь помогут ему...

Как темнеет! Умерло уже розовое облако, и душа его, легкая, прозрачная, сотканная из солнечных лучей, – улетела, и глядит в окно тяжелая сине-серая туча. Она – мертвая. И в ужасе бегут от нее, мечутся последние лучи.

Мертвая, тяжелая, повисла над головой. Холодно...

– Ничего. Опять загорится радость и согреет – ночью прочтет он письмо...

* * *

Свечка горит. Кругом нее тени прыгают. И она кивает им, и говорит им на незнакомом языке – останавливаются, насторожились...

Вот оно, письмо, вот оно!

Розовым отливают тени, шепчут о любви, о прекрасных, обманчивых призраках...

«Сергей, мой милый товарищ! Вы, бедный, измучились, фантазируете, нервничаете, экзальтированный стали какой-то. Ну, разве можно так письма писать?

Боюсь не сделать бы вам больно, мой бедный. Я готова помочь вам всем – смело обращайтесь ко мне, но о свидании нельзя и думать: я уезжаю на днях со своим женихом. Его высылают отсюда.

Простите, что пишу это так прямо. Я знаю, вам не надо жалких слов. Ведь вы найдете в себе достаточно силы?»

– Что это?

Пламя вытянулось кверху – длинное, и все тени вытянулись – длинные – и слушают.

А он улыбается. Глаза неподвижные. Замерли на одной точке – нельзя сойти с нее, нельзя двинуться: кругом бездонной пропастью обступает ужас. Губы улыбаются и дрожат на мертвом лице.

– Ничего, ничего. Это – так. Не может быть, ведь...

Чудо? Нет чуда.

Простые, понятные и беспощадные, как смерть, слова охватывают мысли. Рвут и топчут душу, с дикими воплями разрушают в ней все.

Умерла на губах улыбка – последняя в жизни. Умерла жизнь. Осталось чужое, страшное.

– Нужно найти в себе достаточно силы...

И знакомая пропасть вниз, полная смерти и молчания, раскрылась перед глазами.

Метнулось последний раз пламя красным стонущим блеском и потухло.

...Утушил – вспомнилось вдруг странное и страшное слово.

Сел на кровать. И казалось, рассудок, помертвевший и придавленный, вдруг вырвется и помчится с диким, безумным хохотом, и дрожью, и воплями.

VII

С утра началось страшное, нелепое, невероятное – как если бы он сам стал выдавливать себе глаза и резать медленно пальцы. И когда он оглядывался на себя и на

сухой, распаленный вихрь своих мыслей – он не верил им. Казались они ему чужими – и он не имел над ними власти.

Красным огненным потоком злоба залила его. И в урагане кружилась, и бросала вверх, и разбивала о землю. Свою любовь разбивал он, сам себя разбивал. Скрежетала зубами его гордость, и металась, и падала в одном вихре со злобой, и визжала, и засохшими губами шептала проклятия.

Одно и то же видел он: сидит она у него на коленях – у другого, обвила его шею голой рукой, и погружает в его глаза свои, синие, и ищет там свое отражение.

И он самыми грубыми словами оскорблял ее – святыню, любовь, душу, ее – чистую, любимую Лелю. Плевал в лицо своему Богу и ударял его, и топтал ногами. И это было чудовищно и нестерпимо больно.

Он рвался к ней, к милой, к любимой, к счастью – чтобы кланяться ей, как Богу, чтобы жить для нее.

А она отворачивалась и не видела его любви, его безумного поклонения раба. Никто не мог так любить ее, а она не смотрела.

И опять потухало солнце, падал мрак в его душу, и кровавые, дымные тени бесновались и грызли – с визгом, и убивали себя.

Бегал по камере, кусая губы. Прижал руки к лицу – до боли. И потом бил кулаком по стене изо всей силы – искал боли, и зарывался головой в подушку.

Из темноты, низкая, приподнялась из земли мысль и показала свое подлое, злобно смеющееся лицо и оскаленные, гнилые зубы.

Вздрогнул и отвернулся – так отвратительна и гнусна она была. И опять поднялась она, эта мысль, и встала во весь рост. Как дьявол была в дыму злобы, отвратительная и манящая. И Белов пошел за ней.

Взял все письма. Была там вся она, чистая и любимая, были ее нежное сострадание и теплая ласка, и слова утешения. Были это ее письма, которые были для него самым святым в тюрьме и которые целовал он.

Взял письма и разодрал их. И бросил в самое гнусное место, куда не бросал даже своих плевков – бросил их в парашу.

Ночь спустилась над тюрьмой тяжелой, мраморно-черной плитой. Придавила тысячи страданий, тысячи людей заснули и забылись, а он не спал.

Ползали и копошились в темноте мысли, как могильные черви. Точили его мозг. И все красивое — чем он жил, все разлагалось и показывало свои кости — пугающие и отвратительные.

И в этом смраде смерти родилось письмо — безумное, нелепое, злобное. А поверх злобных и диких слов прорывалась любовь, могучая и неистребимая, росла поверх — как белые душистые цветы на могиле.

Хотелось, чтобы скорее получила она это письмо — точно это могло вернуть ее. Молил Тифлеева об этом. Пусть бегут за ней, пусть бегут, пусть ищут, пусть пошлют туда, куда едет она...

Опускал его в холодную тьму, куда-то глубоко вниз, опускал дрожащими, холодными руками. А в глазах и где-то там — за глазами, в темном, горячем мозгу, все росла нестерпимая боль, все глубже рылась корнями и распирала череп.

Потом на один миг, казалось, рассеялась тьма и все задохнулось — когда выпустил нитку из рук. И опять захлопнулась холодная, мраморно-черная плита и проглотила все.

Письма упали. Их найдут. Было это теперь все равно. Самое страшное уже случилось.

Всю ночь он не спал.

Пришло серое, неживое утро, а он все лежал с раскрытыми, неподвижными глазами. Вдруг лампочка загорелась и смотрела, бледная и измученная. Медленно повернулся к ней.

Потом люди пришли — четверо, и наполнили камеру шумом и говором, незнакомым и новым. И казалось, они двигались неслышно, и неслышно раскрывали рты, и махали руками, а звуки жили отдельно и все были в одном месте — точно выходили из какой-то трещины в своде. Было все, точно во сне.

Искали везде. Наклонялись и поднимались – неслышно – и бросали белье, и потом сидели по углам, и тогда не было видно их лиц. Брали книги и высоко поднимали их, перелистывались неслышно страницы и пестрели, белые, в глазах – это было неприятно. Прятались под кровать.

И потом вдруг грубо перевернули его и поставили на ноги, и ползали по телу грязными руками. Холодные руки клали на одно место и долго держали так зачем-то. Потом двигались дальше и сжимали его со смехом.

Смеялся один из них и говорил наглые, грубые, бьющие в мозг слова о какой-то девушке – и потом все смеялись грязным, ползающим по телу смехом.

Острой, холодной льдинкой упала в раскаленном мозгу мысль: это – знакомое, это – он слышал.

И вдруг ужас перед сделанным захватил дыхание. Это были – его слова! Это – он писал! Нашли письмо – и повторяют его слова – о Лельке. Из письма, из письма...

А хохот еще дрожал, и издевался, и плевал – в его Лельку. Туманом застлало глаза.

Размахнулся и ударил одного – в лицо, в смех. Голова назад покачнулась – ах, хорошо.

Упало что-то горячее на грудь и на темя – сзади. И потом поплыло в красном, жарком тумане. Мысли утонули в черном...

* * *

Темно на дне...

И вдруг – точно повернули внутри кнопку электрической лампы. Очнулся – и все случившееся вздрогнуло и проснулось в сознании и стало понятным и болезненно-ясным – точно вырезанное из мрака молнией.

Одинокая и резкая, как шпиц колокольни в грозу, забелелась на темном и кольнула мысль.

– Значит, конец.

Дрожь пробежала, будто что-то тысяченое, по телу.

Потом зазвучал вдали неясно и чуть слышно какой-то вопрос – и Белов закрылся от него. А он летел с бешеной быстротой, точно одинокий локомотив, и бил уже в набат, мчался и потрясал воздух, и грозился свалить.

Поднялся Белов и пошел, легкий, качающийся, точно он не имел весу.

Стоял у трубы и уже знал в глубине он, что нет Тифлеева, и зарывал эту мысль старательно и хотел не смотреть на нее.

– Тук-тук-тук, – сверкнули звуки и тысячу видений осветили в душе.

Страшно было поверить сразу. Еще постучал.

И поднялось молчание снизу, выросло и расширилось. И стало огромное, как мир, как ужас.

Месяц смотрит бледными глазами и молчит. Темнота стала мертвой и холодной. Вздогнули и замерли стены.

И внутри все замолкло, и стало темно и холодно.

– Динь-дон! – прозвонили тюремные часы и застыли.

И опять раздвинуло молчание свои черные, мертвые крылья и обняло ими все.

VIII

Небо в отчаянии закрыло лицо темными тучами. Тяжелые, теснятся они и подступают, как комок слез к горлу, и каждый миг готовы прорваться рыданиями.

Нет сил больше смотреть на мертвый пустой двор. Хочется броситься на эти остатки снега, упасть ничком и рыдать без конца...

А колокола все звонят, все звонят. Тусклыми, серыми змейками заползают в мозг звуки и мечутся в тоске, перегрызают мысли и терзают: ведь надо думать, надо думать.

Сильнее сжимал он голову руками и качался. И мысли качались и бились с болью в виски.

Потом зловещим заревом вспыхивало и освещалось все:

– А если нашли у Тифлеева ее адрес? И если уже взяли ее теперь? – Пылали щеки, и сухо становилось во рту, и дрожали колени.

И вдруг подумал – точно толкнули сзади.

– Нужно посмотреть в зеркало.

Оттуда глянуло сначала что-то серое и безжизненное и странно глубокое – непонятный, страшный мир.

А потом он узнал себя. Глаза ушли вглубь – будто наступало на них, всё ближе, страшное – и они пригнулись, притаились и прыгнут сейчас с криком ужаса. А лицо было желтое и плоское, с кровоподтеками и синими пятнами – точно смерть уже грызла изнутри, как у трупа.

И жестоко, с ненавистью сказал себе:

– За это было любить его? За такую красоту и силу?

– Или, может быть, в нем – сила ума и пылающая сила слова?

И со страданием ответил кому-то холодному, безжалостно спрашивающему, кому он не смел говорить ложь:

– Нет. Все в нем обыкновенное.

И это простое слово звучало страшное, безнадежное, как приговор. Скрежетала зубами ненависть к себе, казался он себе маленьким, ничтожным, которого хотелось сбросить, прибить. А тот, кому отвечал он, вставал еще суровее и неумолимее и точно давил книзу тяжелой рукой. Из-под тяжести выскользнула и тускло блеснула мысль, пригнувшаяся и жалкая, просящая, как нищая.

– А мои страдания? Разве они ничего не стоят?

И с усилием ворочая мыслями, точно камнями, он ответил:

– Нет. За одни страдания нельзя любить. Ведь больные отвратительными болезнями, трусы, самые гнусные предатели... их страдания – больше всех. И тем больше, чем гнуснее и отвратительнее они...

И опять смешались все мысли, забывал он, о чем думал, и мучился этим, и спрашивал:

– Ну так что же? Ну так что же?

Сбрасывал с головы подушку, приподнимался на кровати и качался, весь белый, как в саване.

Опускалась мысль о смерти, понятная и близкая.

Метался, и хотел забыться и отвернуться, и этого нельзя было сделать: точно падали куда-то без конца мысли и видели перед собой только дно, конец, ужас. И все быстро мелькало мимо – как стены, пустое и гладкое, и нельзя было удержаться.

Гнилым, чахлым деревом трусливо высунулась мысль – ухватился за нее, на миг, перестал падать.

– А жить для борьбы с ними, для мести?

И обломилась сразу: заглянул он в себя и не увидел уже ни злобы, ни сил, ни воли. Уже умерло все, и трусливо шевелилась и хотела лгать полураздавленная жизнь, отвратительная и мертвая, как гнилая рана.

И он отбросил ее ложь и опять стал падать вниз, вниз. Кружилась голова. Хотелось сесть и ждать, не двигаясь, того страшного, что должно было прийти и обрушиться.

Мучила жажда – точно в горле был насыпан сухой горячий песок.

* * *

За стенами холодная тьма дрожит и слушает: ничего не слышно снаружи – только вода булькает в трубах.

Это ворчит чудовище из железа и камня, и грызет свои жертвы, чмокает и сосет потихоньку.

А они – живые еще. И бьются о стены пылающей головой и бледными руками. Уходят далеко вглубь глаза и обводятся черными кругами, и делаются громадными. И протягивают все руки в темноту, налитанную их стонами, и молят, и ждут: неужели никто не услышит?

Никого. Одна ночь слушает и молчит.

А потом, когда уже замолкли все они и лежат неподвижно, и кажется, что умерли – она бледнеет и двигается беспокойно.

Бледнеет и обливается холодным потом – точно приняла в себя все муки, какие видела.

Качается мрачная ночь из стороны в сторону и в клубки собирает свое тело – корчится. Шевелится мрак и со стонами раздвигаются его недра, бледный рассвет рождается из них, заливается кровью.

Из темных углов, полных мохнатой пыли, ползут душные сны.

И кажется ему, что он стоит на пустынном берегу.

Не видно ничего – ни впереди, ни сзади, ни по сторонам – не видно ничего, кроме одного только тумана и раскрытой пасти волн у ног.

Он не темный туман – он светлый, и еще страшней от этого: светлый – он видит все, и каждую мысль хищно сторожит он. Серый, мертвый, удушливый, как тюремные стены, – туман.

И нет от него спасенья, и некуда бежать: ведь никого кругом, кроме серого тумана и молчанья могилы, а волны в этом молчаньи бьются, как мысли, и нет им выхода, и звуки их – неживые.

В них спасенье от тумана, в тумане – от них.

С болезненным любопытством и с ощущением чего-то постороннего под ложечкой еще раз заглянул в суровые, зеленые волны.

Точно огромная глыба льда, вырос внутри ужас. Медленно, с трудом Белов вытянул руки и вздрогнул всем телом.

* * *

Один миг радости: все это сон. Живет еще тело, и чувствует он, как двигаются руки и ноги и смотрят глаза. Во сне это было – страшный туман и смерть.

Ласковый день наклонился над ним и осыпает его молодыми весенними лучами – точно цветами. Резвые и бодрые, разрумяненные утренним холодом, прибежали звуки со двора и толкают шутя друг друга. Это дрова пилят: внизу, и смеются там, и голуби воркуют.

И он видит это и слышит!

А вот на крышах солнечные лучи целуются со снежинками, родившимися ночью – невинными и нежными. И радостно умирают снежинки под весенними лучами, и новые отдают свое тело их любви – и рядом идут смерть и любовь.

– Вот и жизнь. Вот и весна, – подумал он.

И глянул со страхом внутрь себя: никакого эха не дала там мысль – точно была там глухая, мертвая стена.

Искал смысла слов – и не находил. И стояли они перед ним пустые и прозрачные, как хрусталь, с которого слетели переливавшиеся в нем и волновавшие его солнечные лучи.

Стоял у окна. Мимо ушей ветер шелестел, и голова кружилась, была странно-легкая – от пустых и прозрачных мыслей. И оттого, что смотрел он в эту пустоту, и оттого, что шелестел ветер, казалось, что нет у него тела, и поднимается он вверх и видит внизу себя: стоит, прислонился к стене, оборванный и бледный.

И было странно, что умер или девадся неизвестно куда гимназист Белов, розовый и веселый, молившийся Богу и боявшийся Его, и умер студент Белов, сильный и молодой, любивший жизнь и борьбу. И казалось бессмысленным и странным, что теперь этот бледный и обросший человек был тоже Белов, и что заперт он в вонючей комнате и думает о смерти. И нельзя было этому верить.

Долго стоял и смотрел в дверь – в одну точку. Не хотелось сдвинуть взгляд и переломить его – прямой, неподвижный.

И вдруг железная дверь стала сразу живой и страшной. Раскрыла свой глаз – с визгом, будто скрипнула зубами и злобно выдвинула вперед нижнюю челюсть.

Раскрыла свой глаз и смотрела пристальным, длинным, как бесконечная проволока, взглядом. Извивался и острыми крючками цеплял кровавые раны. Переплетающимися горячими тенями и дикими стопами наполнился мозг.

Стоял в одной рубашке, с безумным взглядом.

Пробежало что-то в груди – и вырвалось криком – точно брызнуло кровью.

Добежал до кровати. Забился в подушку.

Целый день лежал. Точно на дне, придавленный глубиной бездны. И там не было ни времени, ни пространства, ни света, ни воздуха, ни мыслей.

Не смел пошевелинуться, ни встать, когда принесли обед, ни выпить воды, чтобы утолить жажду.

Не было времени. И не знал, сколько лежал так – час, три, пять. Когда остановились около его двери шаги, и он открыл глаза – ясного, светлого дня уже не было.

Отворили двери, чтобы вести его на прогулку.

– Пора? – сказал он вслух, и показалось, что это кто-то другой сказал незнакомым, хриплым голосом.

И от этого слова передвинулось в сторону сердце, и точно разорвало что-то внутри и ударяло в рану больно и неровно. И эта боль – где-то внутри под ложечкой – была странно-знакомая и недавняя.

Не мог никак вспомнить, когда это было.

– Да когда же? Да когда же?

Несколько мгновений стоял на месте и мучился, и потом вспомнил, что это было во сне.

Надел пальто и шляпу и плотно застегнулся. Отворил зачем-то фортку и двинулся вперед в темноту.

Ноги были чужие, и весь он был страшно тяжелый – и гнулись оттого, и дрожали колени.

А потом дрожь побежала выше – по спине, и по животу, и по груди. Точно замерзло все снизу в душе, и было мертво – и только на поверхности дрожала рябь, бледная и холодная.

И подумал он:

– Я дрожу.

Он прикусил губы и сжал в кармане руку нарочно, чтобы сделать себе больно. Нащупал что-то и вытащил. Платок. Пахнуло вдруг знакомым запахом, острой яркой болью ударило в голову.

И опять все погасло, и потемнело в глазах. И ни одной мысли не родилось уже более.

До угла галереи, до поворота оставалось восемь шагов.

Все быстрее мелькали мимо темные ниши камер, и хотелось забиться в мягкую темноту и закрыть голову руками – и нельзя было: точно толкало сзади, и все катился он вниз.

На углу повернул назад тот, что шел сзади и гремел ключами – пошел отпирать другую камеру.

Белов был теперь один. Остановился и заглянул вниз.

Там светилась тускло лампа – открыл кто-то мертвый глаз и смотрел нетерпеливо, как будто ждал.

Тихо – точно сейчас только с шумом и с грохотом рухнуло огромное здание, и ничего нет уже, и только пыль беззвучно летит в воздух.

И отвечая неумолимому, страшному, сказал себе:

– Когда тот щелкнет замком.

И перегнулся вниз. Надвинул шляпу – нужно было, чтобы она не упала.

Вдруг вырезался из тьмы весь его вчерашний сон. И когда звякнул замок, он почувствовал в груди тот же самый странный и страшный кусок льда. Все рос и наполнял его дрожью с ног до головы.

Глотнул, задыхаясь, воздуха и вытянул вперед руки.

Точно сверкающий нож, воткнулся острый крик в мягкое тело тьмы. В одном безумном вопле слился весь мир и провалился с треском в красном пламени.

* * *

Череп весь треснул и залился кровью. И из черной дыры белый, шевелящийся, живой выползал мозг.

И все сбегавшиеся стояли кругом и боялись подойти и взяться: мозг должен был вывалиться и упасть на пол. Боялись этого.

1907



ДЕВУШКА

Желтый старый дом на пустынной улице стоит, как осеннее голое дерево с черными ветками, вырезанными на прозрачном вечернем небе. Темные, пустые окна – без занавесок – закрыты всегда. Одно окно, с краю, забито досками.

Ночью выступают и мерцают звезды. Между пустыми, тяжелыми скалами тьмы вьется ветер вверх. На крыше скрипит пронзительно ржавая флюгарка. Идут мимо, слышат – вздрагивают, поднимают вверх головы: там темные четырехугольники окон, как портреты умерших стоят, а в одном окне шевелится синий язычок свечи с тусклым ликом вокруг. Посмотрят, покачают головой, идут мимо.

Девушка в старом доме слушает шорох шагов их и думает:

«Не он ли? Когда же придет он, неведомый, милый, прижмет, унесет с собой? Или никогда не придет?»

И опять всю ночь держит на коленях книгу и читает чужие слова. Чей-то прозрачный и тусклый лик колеблется вокруг свечи.

К утру свечку тушат, и черный крючок фитиля, недобрый, ночной, согнувшись, смотрит навстречу дню.

На черном крыльце, на ступеньках, старая Кузьминишна сидит, а рядом с ней барышня, Вера. Раскрыла старуха коробочки жестяные от чаю, а в них деревяшки пустые из-под катушек, большие пуговицы старомодные от дипломатов, аграманты, бархатные лоскутки. Раскрыла, перебирает, что-то сама с собой говорит.

– Кузьминишна, никак уж стучат, – говорит Вера.

– И то, и то, барышня.

Спотыкаясь, идет Кузьминишна долго. Спрашивает: – кто там? Приоткрывает чуть-чуть калитку, несет газету барышне, мелкими шажками по заросшему двору идет. Куры кудахчут где-то.

– Ничего больше?

– Нет, ничего. И неоткуда.

Уходит Вера в дом, сидит у окна, читает газету, как сказку, которой не верит.

Вот двое, девятнадцати лет и двадцати лет, любили друг друга и вместе умерли в поцелуях. Далеко где-то большие города, и люди бегут, говорят друг с другом. А может быть, ничего этого нет, есть только их дом старый, с Кузьминишной, с матерью, с ползучей дневной тишиной и со странной жизнью ночью.

Сидит Вера у окна. Лучи выются в косых, падающих столбах пылинок. Что-то знакомое в этом.

«Да. Это в библиотеке всегда так бывает, – думает Вера. – Все зеленоватое там, темные шкафы – и сквозь узкие окна два таких столба мерцают. Будто это подводное царство. И он стоит светлый, как царь сказок. Золотые волосики на бороде завиваются, яркие, раскрытые губы. И все книги чудесные – в его власти, и все люди, какие приходят...»

– Нет, нет, – говорит потом себе Вера. – Глупо о нем думать. Он оттуда, из большого города. Студент. Умные они все и смелые. А я ничего не умею. На что я ему. Приедет – уедет.

И опять смотрит Вера без мысли в окно, на пустой двор. Желтеет под солнцем высокий бурьян у окна. Верхушки высохли, шуршат, и осыпается книзу горячая пыль.

Вот – бредет из погреба в дом Кузьминишна мелкими шажками, сама с собой говорит. Кошка за нею крадется неслышно по теплым камням. Куры кудахчут где-то.

В тишине хлопнула кухонною дверью, другою, в зал вошла. Сморщенная, темная, на фоне белой двери стоит, как потрескавшаяся икона в углу заброшенной церкви. Ах, начнет теперь свое старое говорить – без конца.

– И то, и то, барышня. И я говорю – ох, время идет. А меня милый все ждет – не дождется. Все во сне приходит...

Сдвигаются у Веры худенькие плечи и руки, тоскуя, и так болезненно хочется, чтобы кто-нибудь смял их, сжал, чтобы захрустело.

«Ах, время идет. Так и не узнаешь никогда, что это такое».

«Да, но ведь это-то правда, это правда – прошлый раз он в библиотеке поклонился ей, как знакомый. Глаза ласковые у него, и маленькие волосики на бороде, все золотые, в лучах. Вот где-нибудь тут, внизу, на левой щеке почувствовать их, мягкие, щекочущие...»

А Кузьминишна все стоит у белой двери, все говорит об одном. И уже не знает, забыла, где правда и где темные забытые сны.

– Кузьминишна, – говорит Вера, – ты посиди в спальне. Я сейчас приду. Я только в библиотеку. А если проснется, ты скажи что-нибудь. Скажи. Ну, я же приду сейчас.

Из старого шкафа у стены взяла Вера самое любимое, розовато-лиловое платье. Стоит перед зеркалом – потускневшее; скрало оно все морщинки и говорит: – Ведь ты еще так молода, и к черным волосам так это платье идет.

Улыбается Вера. Глаза загораются далеким блеском. Опускает ниже сорочку, и сквозь кружево смотрит жадное, смуглое тело. Это для него.

«А другие?» – думает Вера. И прячет, опять закрывает загорающееся стыдом, не видевшее света тело.

Секунду думает. Опять опускает сорочку и стоит, часто дыша. Шепчет, странно смеясь: – Мой милый, мой милый.

Надевает теперь белую шляпу – и под белыми цветами резко выделяются в зеркале черные волосы, как опрокинувшийся ворон на белом снегу.

Мчится сердце – вперед, вперед, и сжимается – на краю пропасти, – когда открывается и захлопывается медленно тяжелая дверь библиотеки.

За своим прилавком он – так далеко, и около него все чужие. И не видит ее, не кланяется он сегодня.

«Ну, посмотри же, посмотри... Нет».

«Ах, и еще нужно ждать. Эта противная старуха впереди, в смятой шляпе и с белым зонтиком, опущенным книзу. Должно быть не закрывается. Да поскорее же, ну».

У прилавка Вера перекладывает книги из одной руки в другую, спрятала глаза под шляпой, бьется так сердце. И вдруг одна книга падает из рук со стуком, с таким стуком. Ах, все теперь на нее смотрят.

Он поднимает книгу, подает Вере – с улыбкой.

Но зачем у нее так дрожат руки. Ради Бога, ради Бога.

– Ах, вы весьма любезны, – говорит через секунду Вера чужим, спокойным голосом.

– Ну чего там весьма, – улыбается он: – «Странная девушка».

«Да, зачем весьма? – думает мучительно Вера. – Это же смешно, смешно. Вон, улыбается он. И все смотрят».

Бледнеет Вера, нагибается, открывает – закрывает книгу.

– Да что с вами?

Сверху говорит он, тихо – точно они двое, ласково – будто гладит ее по голове.

– Нет, нет, ничего.

Уж прошло все. И хочется уж громко смеяться и смотреть на него, слушать. И никого нет кругом.

Он опять наклоняется и делает свои глаза – большого ребенка – смешными и важными.

«Да милый же, милый», – шепчет неслышно Вера. Серая тужурка у него распахивается, и под ней старенькая рубашка синяя, с прожженной дырочкой.

Радостными уколами бьется сердце у Веры. Отходит, нагибается – записать книгу, жадно опирается грудью о стол. Пишет – ах, да не то, кажется? Все равно...

Но с кем он говорит там? И таким же, как с ней, тихим голосом, и та касается его своей серой шляпой. Как смеет?

Сходятся и расходятся прозрачные пятна в глазах. Только бы дописать.

Со сжатыми губами Вера подходит, прячет дрожь внутри, говорит с веселой улыбкой – вот услышишь сейчас, ты, в серой шляпе.

– Вот листок. Так до свиданья, значит, до завтра.

Серая шляпа поднимается изумленно, смотрит.

– Завтра? Ах да, на гулянье. Пожалуй, пожалуй. Приду вероятно. До свиданья.

«Ага, – говорит Вера, – слышишь?» И уходит, радостная. Несет с собой его книги, его теплый голос, и мягкие волосики на бороде.

А он нагибается к серой шляпе, смеются оба и в блестящих от любви глазах радостно видят друг друга. Потом говорит он:

– Нет, пожалуй, это вовсе не смешно. Подожди, не надо смеяться.

* * *

К вечеру голубеют и растут тени. Оседают горячая пыль. Колеса далеко прогрохочут по камням и спешат затихнуть.

В старом доме все оплетается тревожной сумеречной паутиной. Белые двери и белые переплеты окон теряют что-то дневное и шевелятся беспокойно. Ржавая флюгарка скрипит на крыше. Ночь крадется.

Мать зовет:

– Вера, Вера, да иди же. Я уже свечку зажгла.

Закрыли дверь в спальню. В две железных петли просунули железный засов – отгородились от пустого зала.

У изголовья, нагнувшись перед свечкой, сидит Вера и читает. Непонятно, неслышно, где-то извне, бегут чужие слова, как за окном снежинки. А внутри – своя жизнь. Со сладкой болью сердце замирает, а потом бьется громко, страшно громко: тук-тик, тук-тик. Завтра. Где-нибудь в шелестящей тени деревьев... Тук-тик, тук-тик.

На минуту перестает Вера читать, опускает книгу на колени.

Будет так. Она прижмется к нему изо всех сил, чтобы стиснулась, смялась вся грудь. И зубами вопьется, чтобы остались следы.

– Думаешь? О чем думаешь? – говорит мать.

Вера вздрагивает. С белой подушки приникли к ней неподвижно глаза – точно щупают скелет под живым еще телом.

«А вдруг она знает?» – думает Вера и холодеет. И опять читает чужие слова, а внутри растет темнота – холодная, злая.

Тяжелыми скалами ночь громоздится над домом все выше, и мимо нее бегут звезды. Мать лежит неподвижно,

как мертвая. И кажется Вере, что она одна, и страшно читать вслух в огромной пустой комнате с тикающими часами.

– Я устала. Я подожду, – говорит Вера и опускает книгу.

Мать открывает глаза и смотрит на стену, в темное зеркало, где колеблется синим призраком свечка. Длинные, белые на одеяле пальцы двигаются, двигаются, невидимую ткань прядут.

И вдруг останавливаются. Что там такое? Послушай? В зале? Или это там, в запертой комнате?

В пустом зале по углам ночные шорохи крыльями шелестят, собираются мыши и шепчут шу-шу-шу. Уговорились и ползут все в запертую комнату и танцуют по струнам старого рояля. Сыплется пыль со струн, и рояль тихонько играет.

А на белой подушке все неистовее мечутся безумные глаза. Вера сидит нагнувшись, неподвижная, белая...

* * *

И такой измученный встает день, и так пылает на небе солнце, и жадно ждет вечера.

В чуткой сумеречной тишине громко хлопают где-то калитки, пустеют дома, уже все уходят.

– Да нет же, нет. Это немыслимо, – говорит Вера, и не верит, и знает уже, что пойдет.

Со спутанными мыслями встает и на цыпочках идет в спальню за платьем. Часы в тишине беспокойно подпрыгивают – тикают.

– Кто тут? – говорит мать.

Губы у Веры высыхают в секунду. – «Как же теперь? Идти? Не идти? Да нет же, нельзя – он сказал».

Наклоняется к матери и говорит – точно злобно вколачивает острые гвозди – слова.

– Спи-спи. Тебе надо спать. Еще рано-рано-рано. Спи.

Тускло сверкает поднятый к глазам стакан. Наливает капли. Нет, мало. Еще, еще, без счета. Спи крепче.

Играет вдали музыка. Ветер вечерний поднимает белую шляпу у Веры, и она быстро идет, изгибаясь навстречу ветру жадным змеиным телом. Скорее, скорее.

Вот и сад. Качаются над головой, как пьяные, томительные, блестящие фонари. А под фонарями качаются внизу ненавистные чужие лица. И нет его, и нет его – нигде.

Толстые, медленные господа с кольцами – пепел стряхивают с сигар. Две черномазых вертлявых девчонки с косичками – где-то внизу шныряют, как ящерицы. Кавалеры из казначейства в бумажных воротничках – подталкивают локтями, оглядываются:

– Барышня, ждате кого-нибудь изволите?

Сжимается Вера, встает с одинокой лавочки, смешалась со всеми. И опять толпа несет ее. Задышается она, и на цыпочках поднимается, и ищет его – все нет.

А небо все ниже наклоняется, и пересыпаются звезды. Мужчины касаются подруг волосами, тихо говорят что-то, уходят уже с ними под темные, шепчущие арки деревьев. Вера слушает, и от шепота бегут горячие мурашки по телу.

Маленькие черные музыканты в белых воротничках вдруг схватывают трубы и скрипки и играют что-то дрожащее и острое, как луч, падающий на белый горячий песок. Все быстрее двигают руками, спешат – уже скоро все кончится.

В беспокойном мигающем свете, по цветнику, кружит Вера. Тускло смотрят шары. Пахнет цветами остро и жарко.

– Не пришел, не пришел, – говорит Вера. – Все кончено. Идти домой, и опять – мать...

И вдруг остановилась Вера, набравши воздуха, и не может вздохнуть:

– А серая шляпа? А если он тут и сидит где-нибудь в темной аллее с девушкой в серой шляпе?

Быстро идет Вера назад, и песок злобно скрипит – будто зубами.

На горке в освещенной беседке последний раз музыканты играют – и в белом облаке света прыгают колючие точки.

Аллея – далекая. Под темными арками – плотно прижавшиеся лица и ноги. Вера наклоняется к ним, смотрит в чужие лица и говорит, сжимая зубы:

– Ах, извините. Я ошиблась.

Ага-га. Отскочили! И ей хочется злобно смеяться. А потом вся вспыхивает и думает, пугаясь: «Ах, что я делаю, что я делаю, сошла с ума».

Низко нагибает голову и бежит, и чьи-то ноги прямо перед своими видит, кого-то грудью толкает. Нужно сказать: – простите. Но если набрать воздуха и вздохнуть – задрожит и закричит пронзительно.

А он берет ее за руку и говорит сверху откуда-то:

– Пойдите, да это же вы? Вы одна, вы не узнаете меня?

Боже мой, – он. Обнять его, жадно прижаться, пить его дыхание...

Вера стоит секунду с кружащейся головой и потом говорит:

– Ах, это вы? Вот не ожидала вас встретить. Некогда было – только пришла.

Протянула дрожащую руку, закрылась тусклой, как месяц, улыбкой.

Ах, это милая, печальная Вера... С нежной жалостью берет ее под руку.

Собрался весь мир и замер сладко в том месте, где лежат его пальцы. Идет. Вера с закрытыми глазами.

– Послушайте, – говорит она. – Давайте сядем. Я шла – тут все на скамейках сидели влюбленные. Ну, нарочно и мы с вами, нарочно – хотите?

Перегибается к нему гибким телом, и сладким ядом глаз туманит его. В дрожащую, мягкую грудь погружается его локоть, и сам он тонет в чем-то мягком и жарком, опускается на скамью послушно.

Что-то он говорит. Кажется, о книгах. Получены новые книги...

– Какие книги – расскажите. Я к вам приду за книгами... – Забывает, что сказала, и не слушает его слов, – лишь бы слышать его, как музыку, лишь бы говорил что-нибудь.

Рядом, близко, пахнут цветы – остро и сладко. Вдыхает их Вера и говорит:

– Слышите запах? Это цветы ласкают друг друга и умирают, и это запах их ласк.

Вера чувствует его взгляд. Сердце колотится так, что хочется схватить его руками и удерживать.

– Какой стыд, какой стыд, – говорит себе Вера. – Он смотрит!

И с ужасом понимает: хочется схватить и разорвать кружева на груди и платье, и все отдать ему: смотри – вот я – одному тебе... целуй.

А он молчит. Тяжелую голову опустил на руку.

Вот-вот, что-то гаснет и падает. Нужно схватить, удержать. Сказать ему что-то, скорее, да скорей же.

Зубы у Веры дрожат со стуком, и она говорит:

– Ну, что ж вы так сидите? Занимайте же меня.

И холодеет потом вся. Это, это – она сказала? И кажется – сейчас сорвется она в яму, и чтобы не упасть, надо ухватиться руками за воздух.

Вера машет руками и хохочет – громко и странно. А он пристально смотрит на нее и говорит:

– Вот вы смеетесь, Вера. А мне кажется, вам вовсе не весело. И у вас какое-то горе есть.

Вера опять машет руками и говорит со смехом:

– Да нет же. Какое горе. Вы такой интересный кавалер – мне весело с вами.

Нетерпеливо шевелится он, и такой чужой теперь голос:

– Не поймешь вас. Вы такая... какая-то... Трудно говорить с вами.

Назад откидывается, шуршит в траве за скамейкой, ищет фуражку. Уж лучше уйти поскорей – пока это прошло. А то вот уж и музыканты уходят.

Вера кричит себе: не хочу, не хочу, и ломает руки. Поправляет потом шляпу и говорит:

– Сегодня холодная ночь – простудишься. Пора идти.

Гаснут дальние фонари. Цветы неистовей пахнут – им еще минуту жить. И кажется – вот еще раз передвинется месяц, и они дохнут приторным дыханием трупа.

Вера набирает воздуха и говорит беззвучным, скрытым тьмою, голосом:

– Дайте же мне руку.

Берет его руку и слышит в ней чуть заметную ласку. И вдруг медленно, не зная зачем, поднимает эту руку к губам. А в конце темной дорожки стоит прежняя Вера, машет руками в безумном ужасе и кричит ей:

– Что ты делаешь, что ты делаешь?

Поднимает руку к губам и целует вдруг – быстро и жадно.

Потом сползает всем телом со скамьи на песок, обнимает колени его, прижимается грудью и шепчет, задыхаясь:

– Я никогда не целовала, не целовала.

Нет, что же с ней делать? Мечется он и дрожащими руками хватает ее за голову.

– Вера, я не понимаю. Вера – простите. Я уйду сейчас. Ради Бога.

Вырывает ноги из цепких рук, носком сапога что-то мягкое задевает. Поспешно идет, натыкаясь на ползущие внизу корни деревьев. Вдруг останавливается, загораются лицо и уши.

– Да ведь, кажется, я ее ударил ногой в грудь.

И бежит назад. Вон, все стоит она на коленях, прижимается к лавке лицом.

К ней наклоняется он, гладит голову, пальцы погружает во влагу слез.

– Вера, голубчик. Ну, простите, ради Бога. Я же не уйду. Только не надо, только не надо. Ну, встаньте, пойдите отсюда. Ведь могут прийти.

Вера затихает, поднимается послушно, идет послушно по темному песку аллеи. Куда-то идет – не знает.

«Да вот уже дом с круглым балкончиком и... Домой. Что там? А если проснется мать? А если не проснется?»

Отмахивается: нет, забыть об этом. Нарочно говорит себе:

– А у него дрожали руки. Да, дрожали. Милые волосики на бороде – мои, мои. Я сошла с ума, я сошла с ума.

Идут по пустой лунной улице. По белым плитам бегут впереди две черные тени. Тревожно изламываются, взбираются на белые парапеты домов и мерцают оттуда: не ходи, не ходи.

Уже поздно: пришли. Громко стучит сердце у Веры – будто кто идет одиноко по улице лунной и звонкой. Обращивается Вера назад, лицом к луне и к нему:

– Вот – пришли. Там темно – это ничего. Мы зажжем огонь. Вы ведь зайдете. Я одна живу, никого нет.

Над двором стоит глухой лунный свет.

Шуршит под ногами сухой бурьян. Направо, посредине двора, вбит кол, низкий – так, до пояса. Зачем бы он? И тень от него падает поперек дороги.

– Да идите же, идите же, – говорит Вера. Чуть заметно к нему прижимается, отворяет дверь. Сердце мчится вперед – там что-то неисправимое, огненное, желанное. Задыхаясь, говорит ему:

– Мы тихонько будем, мы неслышно, как тени. Ведь правда?

И он отвечает странно-послушным Вере и похожим шепотом:

– Мы тихонько будем, мы тихонько будем.

Берет ее под руку, идет с нею в залу по скрипящим чуть-чуть половицам. Пусто и тихо в зале.

Вздрагивает Вера, отворачивается от двери в спальню: пусть где-то сзади будет все это. А теперь – скорее к нему.

– Вот мой любимый диван, – говорит Вера. – Идите, садитесь.

Месяц бежит за нею к дивану и рядом садится – белой согнутой тенью, с дрожащей головой – как у матери.

– Тут слишком пусто и слишком много луны, – говорит он. – Не хочется быть одному. Дайте-ка руку. Посидим так немного, и я уйду.

Садится он на диван рядом с белой тенью и берет за руку Веру. И они сидят в тишине трое, долго.

Нет, так странно сидеть – молча. Она, как безумная, сверкает и надвигается жарким дыханьем. Надо что-нибудь сказать ей, да. И говорит:

– Вера, подождите. У вас гребешки сейчас выпадут.

– Выпадут, выпадут? – говорит Вера. Чему-то улыбается, наклоняясь к нему, и нежная ложбинка на верхней губе становится у ней еще глубже.

– Вы боитесь – выпадут? – говорит Вера. И вдруг вынимает гребешки и со стуком бросает, и душной волной разливаются волосы.

Весело, безумно и горячо внутри. Теперь Вера может все. Вот – захочет и закричит громко, и будет говорить все, что думает. Или – вот: разденется и будет стоять перед ним. Убьет мать.

Кладет она руки на плечи к нему, громко смеется и говорит своими губами, раскрытыми, как сердце цветка:

– Ну, а теперь?

И кладет свои ноги к нему на колени. Вся – у него, прижалась, обвилась гибкими руками.

Он слышит, как дрожит в нем горячее эхо, и говорит, обрываясь:

– Вера, сумасшедшая, Вера же.

А Вера тонкими, горячими пальцами схватывает его за лицо и за шею, впивается поцелуем – так, что своими зубами касается его зубов, и зубы скрипят. Скорее – пить из него жизнь. Может быть – минуты остались.

Куда-то пригибает она его голову – и он послушно наклоняется, чтобы прижаться щекой к горячей голой руке. Близко совсем уже ее дыхание, душное и острое, как запах цветов в темной аллее – все ближе...

Согнутой тенью старый месяц сидит в тишине на диване. Потом нагибается, слушает: где-то внизу чуть видные вырастают звуки, шепчутся по углам: шу-шу-шу. Ах, да это мыши. Шепчутся – уговорились, ползут. Крадутся по струнам в старом рояле, вздрагивают струны, и сыплется с них пыль.

Просыпается кто-то в темной спальне. Падает на пол коробка спичек. Чуть-чуть старые половицы скрипят.

Вера слышит – не хочет слышать. Нет, нет, – показалось только, и все.

Свою руку просовывает к нему в рукав и ищет там его тело, и с безумной злобой страсти сжимает.

А он поднимает голову и говорит:

– Нет, нет, погоди. Что там такое?

И опять падает, затопленный поцелуями.

Шаркает в спальне мать, приседает со свечкой в темных пустых углах и вздрагивает: а если увидит? Да нет, это там, в темном зале что-то. Отворяет дверь в зал и поднимает вверх и вперед свечу.

Изогнувшись, отпрянула Вера в угол дивана, словно сжалась под ударом и смотрит.

Кто-то встает с дивана. Из темной полосы переходит в светлую. Красный отблеск свечи на пуговицах тужурки, на губах, на подбородке. Медленно идет, опирается руками о стену. Скрипнула дверь.

С усилием мать открывает глаза – а вдруг увидит? – и нагибается вправо и влево со свечкой, и говорит:

– Тут кто-то был... а? Тут кто-то был?

«Не видела, не видела», – думает Вера с маленькой мигающей радостью и говорит:

– Нет, это тебе опять показалось. Нет никого.

Потом встает. Под луной голубеет тело. Шепчет она:

– Ах да, он же ушел. Он ушел.

И куда-то идет, спотыкаясь, – за ним. А мать хватается ее сухими руками, сгибается, шепчет, опутывает шепотом:

– Вера, Верочка. Постой же. Мы вместе посмотрим. Верочка, мы вместе посмотрим.

Останавливается Вера. Падают руки. Стоит секунду – и опять вспоминает: что-то случилось, страшное.

Вдруг хватается стул, стучит им об пол и кричит:

– Это – ты! Пусти, пусти меня!

Бежит мимо дивана с белой сидящей тенью. Вскрикивает на окно, открывает, нагнулась.

Белые, пустые лунные плиты, и его нет. Ушел.

Сотрясается не обласканное жаркое тело, и приходит безумная мысль:

– Позвать первого, кто пройдет?

Белая, стоит Вера в окне. Лунные лучи обвивают ее увядшим, неживым светом. Ползут выше, по белым карнизам, оборвались, ушли.

В пустых комнатах тихо. Около свечки в спальне – часы тикают. К утру свечку тушат, и такой душный, одинаковый, встает день. Кузьминишна, спотыкаясь, бредет по двору. Кошка за нею крадется неслышно под солнцем. Куры кудахчут где-то.



УЕЗДНОЕ

1. Четырехугольный

Отец бесперечь пилит: «Учись да учись, а то будешь, как я, сапоги тачать». А как тут учиться, когда в журнале записан первым, и, стало быть, как только урок, сейчас же и тянут:

– Барыба Анфим. Пожалуйста-с.

И стоит Анфим Барыба, потеет, нахлобучивает и без того низкий лоб на самые брови.

– Опять ни бельмеса? А-а-ах, а ведь малый-то ты на возрасте, замуж пора. Садись, брат.

Садился Барыба. И сидел основательно – года по два в классе. Так испрохвала, не торопясь, добрался Барыба и до последнего.

Было ему о ту пору годов пятнадцать, а то и побольше. Высыпали уж, как хорошая озимь, усы, и бегал с другими ребятами на Стрелецкий пруд – глядеть, как бабы купаются. А ночью после – хоть и спать не ложись: такие полезут жаркие сны, такой хоровод заведут, что...

Встанет Барыба наутро смурый и весь день колобродит. Зальется до ночи в монастырский лес. Училище? А, да пропадай оно пропадом!

Вечером отец возьмется его бузовать: «Опять сбежал, неслух, заворотень?» А он хоть бы что, совсем оголтелый: зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючей повystупят все углы чудного его лица.

Уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный, четырехугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых и

углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит: может, и дикий, может, и страшный, а все же лад.

Ребята побаивались Барыбы: зверюга, под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла, за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и тут уж потешались всласть.

– Эй, Барыба, за полбулки разгрызи.

И суют ему камушки, выбирают, какие потверже.

– Мало, – угрюмо бурчит Барыба, – булку.

– Вот черт, едун! – но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками – знай подкладывай! Потеха ребятам, диковина.

Забавы забавами, а как экзамены настали, пришлось и забавникам за книги засесть, даром что зеленый май на дворе.

Восемнадцатого, на царицу Александру, по закону экзамен – первый из выпускных. Вот, вечером как-то, отец отложил в сторону дратву и сапог, очки снял да и говорит:

– Ты это помни, Анфимка, заруби на носу. Коли и теперь не выдержишь – со двора сгоню.

Как будто чего уж лучше: три дня подготовки. Да на грех завязалась у ребят орлянка – ох и завлекательная же игра! Два дня не везло Анфимке, весь свой капитал проиграл: семь гривен и новый пояс с пряжкой. Хоть топись. Да на третий день, слава те господи, все вернул и чистых еще выиграл больше полтинника.

Восемнадцатого, понятно, Барыбу вызвали первым. Ни гугу уездники, ждут: ну, сейчас поплывет, бедняга.

Вытянул Барыба – и уставился в белый листок билета. От белизны этой и от страха слегка затошнило. Ухнули куда-то все слова: ни одного.

На первых партах подсказчики нашептали:

– Тигр и Ефрат... Сад, в котором жили... Месопотамия. Месо-по-та... Черт глухой!

Барыба заговорил – одно за другим стал откалывать, как камни, слова – тяжкие, редкие.

– Адам и Ева. Между Тигром и... этим... Ефратом. Рай был огромный сад. В котором водились месопотамы. И другие животные...

Поп кивнул, как будто очень ласково. Барыба приободрился.

– Это кто же-с месопотамы-то? А, Анфим? Объясни-ка нам, Анфимушка.

– Месопотамы... Это такие. Допотопные звери. Очень хищные. И вот в раю они. Жили рядом...

Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бородой, ребята легли на парты.

Домой Барыба не пошел. Уж знал – отец человек правильный, слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает. Разве к тому же еще и ремнем хорошенько взбучит.

2. С собаками

Жили-были Балкашины, купцы почтенные, на заводе своем солод варили-варили, да в холерный год все как-то вдруг и примерли. Сказывают, далеко гдей-то в большом городе живут наследники ихние, да вот все не едут. Так и горюет-пустует выморочный дом. Похилилась деревянная башня, накрест досками заколотили окна, засел бурьян во дворе. Через забор швыряют на балкашинский двор слепых щенят да котят, под забором с улицы лазят за добычей бродячие собаки.

Тут вот и поселился Барыба. Облюбовал старую коровью закуту, благо двери не заперты и стоят в закуте ясли, из досок сколочены: чем не кровать? Благодать Барыбе теперь: учиться не надо, делай, что тебе в голову взбредет, купайся, пока зубами не заляскаешь, за шарманщиком хоть целый день по посаду броди, в монастырском лесу – днью и ночуй.

Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка какого-нибудь там надолго ли хватит?

Стал Барыба за поживой ходить на базар. С нескладной звериной ловкостью, длиннорукий, спрятавшись внутрь себя и выглядывая исподлобья, шнырял он между поднятых кверху белых оглобель, жующих овес лошадей,

без устали молотящих языком баб: чуть которая-нибудь зазевалась матрена – ну, и готово, добыл себе Барыба обед.

Не вывезет на базаре – побежит Барыба в Стрелецкую слободу. Где пешком, где ползком – рыщет по задам, загуменникам, огородам. Уедливый запах полыни щекочет ноздри, а чихнуть – боже избави: хозяйюшка вон она – вон, грядку полет, и ныряет в зелени красный платок. Наберет Барыба картошки, моркови, испечет дома – на балкашинском дворе, ест, обжигаясь, без соли – вот вроде как будто и сыт. Не до жиру, конечно: быть бы живу.

Не задастся, не повезет иной день – сидит Барыба голодный и волчьими, завистливыми глазами глядит на собак: хрустят костью, весело играют костью. Глядит Барыба...

Дни, недели, месяцы. Ох и осточертело же с собаками голодными жить на балкашинском дворе! Зачиврел, зачерствел Барыба, оброс, почернел; от худобы еще жестче углами выперли челюсти и скулы, еще тяжелей, четырехугольней стало лицо.

Убежать бы от собачьей жизни. Людей бы, по-людски бы чего-нибудь: чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать.

Бывали дни – целый день Барыба лежал в закуте своей, ничком на соломе. Бывали дни – целый день Барыба метался по двору балкашинскому, искал людей, людского чего-нибудь.

На соседнем, чеботаревском дворе – с утра народ: кожемяки в кожаных фартуках, возчики с подводами кож. Увидят – чей-то глаз вертится в заборной дыре, ширнут кнутовищем:

– Эй, кто там?

– Ай хозяин-дворовой остался на балкашинском дворе?

Барыба – прыжками волчиными – в закуту к себе, в солому, и лежит. Ух попадись ему возчики эти самые: уж он бы им – уж он бы их...

С полудня на чеботаревском дворе – ножами на кухне стучат, убойной жареной пахнет. Инда весь затрясется

Барыба у щелки у своей у заборной и не отлипнет потуда, покуда обедать там не кончат.

Кончат обедать – как будто и ему полегче станет. Кончат, и выползает на двор Чеботариха сама: красная, наседалась, от перекорма ходить не может.

– У-ух... – железом по железу – заскрипит зубами Барыба.

По праздникам над балкашинским двором, наверху переулочка, звонила Покровская церковь – и от звона было еще лютее Барыбе. Звонит и звонит, в уши гудит, перезванивает...

«Да ведь вот же куда – в монастырь, к Евсею!» – осенило звоном Барыбу.

Малым мальчишкой еще, после порки бегивал Барыба к Евсею. И всегда, бывало, чаем напоит Евсей, с кренделями с монастырскими. Поит – а сам приговаривает, так что-нибудь, абы бы утешить:

– Эх, малый! Меня намедни игумен за святые власы схватил, я и то... Эх, мал... А ты ревешь?

Веселый прибежал в монастырь Барыба: ушел теперь от собак балкашинских.

– Отец Евсей дома?

Послушник прикрыл рот рукой, загоготал:

– Во-она! Его и с гончими не разыщешь: запил, всю неделю в Стрельцах крутит отец Евсей.

Нету Евсея. Конец, больше некуда. Опять на балкашинский двор...

3. Цыплята

После всенощной либо после обедни догонит Чеботариху батюшка Покровский, головой покачает и скажет:

– Неподобно это, мать моя. Ходить нужно, проминаж делать. А то, гляди-ка, плоть совсем одолеет.

А Чеботариха на линейке своей расползется, как тесто, и, губы поджавши, скажет:

– Никак ни можно, батюшка, бизпридстанно биение сердца.

И катит Чеботариха дальше по пыли, облепляя линейку – одно целое с ней, грузное, плывущее, рессорное. Так, на своих ногах, без колес – никто Чеботариху на улице и не

видел. Уж чего ближе – до бани ихней чеботаревской (завод кожевенный и баню торговую муж ей оставил), так и то на линейке ездила, по пятницам – в бабий день.

И потому линейка эта самая, и мерин половопегий, и кучер Урванка – у Чеботарихи в большом почете. А уж особо Урванка: кучерявый, силища, черт, и черный весь – цыган он был, что ли. Закопченный какой-то, приземистый, жилистый, весь как узел из хорошей веревки. Поговаривали, что он, мол, у Чеботарихи не только что в кучерах. Да из-под полы говорили, громко-то боялись: попадись-ка к нему, к Урванке – взлупцует, брат, так, что... Человека до полусмерти избить – Урванке первое удовольствие: потому – самого очень бивали, в конокрадах был.

А вот была-таки и любовь у Урванки: лошадей он любил и кур. Лошадей скребет-скребет, бывало, гриву своим медным гребнем чешет, а то разговаривать с ними возьмется на каковском-то языке. Может, и правда – нехристь был?

А кур любил Урванка за то, что весною были они цыплятами – желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняется, бывало, за ними по всему по двору: ути-ути-ути! Под водовозку залезет, под крыльцо заползет на карачках – а уж изловит, на руки посадит и – первое его удовольствие – духом цыпленка греть. И так, чтобы рожи его о ту пору никто не видал. Бог его знает, какая она бывала. Так, не поглядевши, и не представить: Урванка этот самый – и цыпленок. Чудно!

Вышло так на горе барыбино, что и он цыплят урванкиных полюбил: вкусны очень, повадился их таскать. Другого, третьего нет – заприметил Урванка. А куда пропастились цыплята – и ума не приложит. Хорек разве завелся?

После полдён лежит как-то Урванка под караем в телеге. Жарынь, в дрему клонит. Цыплята – и то под сарай запрятались, в тень у стеночки присели, глаза отонком закрыли, носом клюют.

И не видят бедняги, что доска сзади оторвана и тянется через дыру, тянется к ним рука. Цоп – и заверещал, затекал цыпленок в барыбином кулаке.

Вскочил, заорал Урванка. Мигом перемахнул через забор.

– Держи, держи его, держи вора!

Дикий звериный бег. Добежал, запятился Барыба в свои ясли, залез под солому, но Урванка нашел и там. Вытащил, поставил на ноги.

– Ну, погоди же ты у меня! Я тебе – за цыплят за моих...

И поволок за шиворот – к Чеботарихе: пусть уж она казнь вору придумает.

4. СМЛОСТИВИЛСЯ

Кухарку – Анисью толстомордую прогнала Чеботариха. За что? А за то самое, чтобы к Урванке не подкатывалась. Прогнала, а теперь вот хоть разорвись. Нету по всему посаду кухарок. Пришлось взять Польшку – так, девчонку ледащую.

И вот в Покровской церкви к вечерне вызванивали, Польшка эта самая в зальце пол мела, посыпав спитым чаем, как Чеботариха учила. А Чеботариха сама тут же сидела на крытом кретоном диване и помирала от скуки, глядя в стеклянную мухоловку: в мухоловке – квас, а в квасу утопились со скуки мухи. Чеботариха зевала, крестила рот. «Ох, Господи-батюшка, помилуй...»

И смлостивился: какой-то топот и гвалт в сенях – и Урванка впихнул Барыбу. Так оторопел Барыба – увидел Чеботариху самое – что и вырываться перестал, только глаза, как мыши, метались по всем углам.

Про цыпляточек Чеботариха услышала – раскипелась, слюнями забрызгала.

– На цыпляточек, на андельчиков Божиих, руку поднял? Ах, злодей, ах, негодник! Полюшка, веник неси. Не-си, неси, и знать ничего не хочу!

Урванка зубы оскалил, саданул сзади коленкой – и мигом на полу Барыба. Закусался было, змеем завился – да куда уж ему против Урванки-черта: разложил, оседлал, штаны дырявые мигом содрал с Барыбы и ждал только слова чеботарихина – расправу начать.

А Чеботариха – от смеху слова-то и не могла сказать, такая смехота напала. Насилу уж раскрыла глаза: чтой-то они там на полу затихли?

Раскрыла – и оступился смех, ближе нагнулась к напруженному, зверино-крепкому телу Барыбы.

– Уйди-кось, Урван. Слезь, говорю, слезь! Дай поспрошать его толком... – на Урванку Чеботариха не глядела, отвела глаза в угол.

Медленно слез Урванка, на пороге – обернулся, со всех сил хлопнул дверью.

Барыба вскочил, метнулся скорей за штанами: батюшки, от штанов-то одни лохмоты! Ну, бежать без оглядки...

Но Чеботариха крепко держала за руку:

– Вы чьих же это, мальчик, будете?

Еще оттопыривала нижнюю губу, вместо «мальчик» сказала «мыльчик», еще напускала важность, но уж что-то другое учуял Барыба.

– Са-сапожников я... – и сразу вспомнил всю свою жизнь, заскулил, завыл. – За экза-амен меня отец прогнал, я жи-ил... на бал... На балкаши-и...

Всплеснула Чеботариха руками, запела сладко-жалобно:

– Ах, сиротинушка ты моя, ах, несчастная! Из дому – сына родного, а? Тоже отец называется...

Пела – и за руку волокла куда-то Барыбу, и тоскливо-покорно Барыба шел.

– ...И добру-то поучить тебя некому. А враг-то – вот он: украдь да украдь цыпленочка – верно?

Спальня. Огромная, с горою перин, кровать. Лампадка. Поблескивают ризы у икон.

На какой-то коврик пихнула Барыбу:

– На коленки, на коленки-то стань. Помолись, Анфимушка, помолись. Господь милосливый, он простит. И я прощу...

И сама где-то осела сзади, яростно зашептала молитву. Обалдел, не шевелясь, стоял на коленях Барыба. «Встать бы, уйти. Встать...»

– Да ты что ж это, а? Как тебя креститься-то учили? – схватила Чеботариха барыбину руку. – Ну, вот так вот: на лоб, на живот... – облепила сзади, дышала в шею.

Вдруг, неожиданно для себя, обернулся Барыба и, стиснув челюсти, запустил глубоко руки в мягкое что-то, как тесто.

– Ах ты етакой, а? Да ты что ж это, вон что, а? Ну, так уж и быть, для тебя согрешу, для сиротинки.

Потонул Барыба в сладком и жарком тесте.

На ночь Польша ему постелила войлок на рундуке в передней.

Помотал головой Барыба: ну, и чудеса на свете. Уснул сытый, довольный.

5. Жисть

Да, тут уж не то, что на балкашинском дворе, жизнь. На всем на готовеньком, в спокойе, на мягких перинах, в жарко натопленных старновкою комнатах. Весь день бродил в сладком бездельи. В сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвалу. Эх, жисть!

Есть до того, что в жар бросит, до поту. Есть с утра до вечера, живот в еде класть. Так уж у Чеботарихи заведено.

Утром – чай, с молоком топленным, с пышками ржаными на юраге. Чеботариха в ночной кофте белой (не очень уж, впрочем), голова косынкой покрыта.

– И что это в косынке вы все? – скажет Барыба.

– То-то тебя учили-то. Да нешто можно женщине простоволосой ходить? Чай, я не девка, ведь грех. Чай, венцом покрытая с мужем жила. Это непокрытые которые живут, непутевые...

А то другой какой разговор заведут пользительный для еды: о снах, о соннике, о Мартыне Задеке, о приметах да о присухах разных.

Туда-сюда – ан, глядь, уже двенадцатый час. Полудновать пора. Студень, щи, сомовина, а то сазан соленый, кишки жареные с гречневой кашей, требуха с хреном, моченые арбузы да яблоки, да и мало ли там еще что.

В полдень – ни спать, ни купаться на реке нельзя: бес-то полуденный вот он – как раз и прихватит. А спать, конечно, хочется, нечистый блазнит, зевоту нагоняет.

Со скуки зеленой пойдет Барыба на кухню к Польше: дура-дура, а все жив человек. Разыщет там кота, любимца полькина, и давай его в сапог сажать. Визг, содом на кухне. Польша, как угорелая, мыкается кругом.

– Анфим Егорыч, Анфим Егорыч, да отпустите вы Васеньку, Христа ради!

Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже. И Польша умоляет уж Васеньку:

– Васенька, ну, не плачь, ну, потерпи, ребенок, потерпи! Сейчас, сейчас отпустит.

Истошным голосом кричит кот. У Польки – глаза круглые, косенка наперед перевалилась, тянет за рукав Барыбу слабой своей рукой.

– Уйд-ди, а то самое сапогом так вот и шкрыкну!

Запустит в угол Барыба сапог вместе с котом и доволен, грохочет – громыхает по ухабам телегой.

Ужинали рано, в девятом часу. Принесет Польша еду – и отсылает ее Чеботариха спать, чтобы глаз не мозолила. Потом вынимает из горки графинчик.

– Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку. Молча пьют. Тоненько пищит и коптит лампа. Долго никто не видит.

«Коптит. Сказать бы?» – думает Барыба.

Но не повернуть тонущие мысли, не выговорить.

Чеботариха подливает ему и себе. Под тухнувшим светом лампы – в одно тусклое пятно стирается у ней все лицо. И ви́ден, и кричит только один жадный рот – красная мокрая дыра. Все лицо – один рот. И все ближе к Барыбе запах ее потного, липкого тела.

Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег копоты летает в столовой. Смрад.

А в спальне – лампадка, мельканье фольговых риз. Раскрыта кровать, и на коврике возле бьет Чеботариха поклоны.

И знает Барыба: чем больше поклонов, чем ярее замаливает она грехи, тем дольше будет мучить его ночью.

«Забиться бы куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель тараканом...»

Но некуда: двери замкнуты, окно запечатано тьмой.

Нелегкая, что и говорить, у Барыбы служба. Да зато уж Чеботариха в нем все больше, день ото дня, души не чает. Такую он силу забрал, что только у Чеботарихи теперь и думы, чем бы это еще такое Анфимушку ублажить.

- Анфимушка, еще тарелочку скушай...
- Ох, и чтой-то стыдь на дворе ноне! Анфимушка, дай-ка я тебе шарфик подвяжу, а?
- Анфимушка, ай опять живот болит? Вот грехи-то! На-кося, вот водка с горчицей да с солью, выпей – первое средство.

Сапоги-бутылки, часы серебряные на шейной цепочке, калоши новые резиновые – и ходит Барыба рындиком таким по чеботаревскому двору, распорядки наводит.

- Эй, ты, гамай, гужеед, где кожи вывалил? Тебе куда велено?

Глядишь – и оштрафовал на семитку, и мнет уж мужик дырявую свою шапчонку, и кланяется.

Одного только на версту и обходит Барыба – Урванку. А то ведь и на Чеботариху самое взъестся подчас. Терпит, терпит, а иной раз такая посчастливится ночь... Наутро мутное все, сбежал бы на край света. Запрется Барыба в зальце и мыкается, и мыкается, как в клетке.

Осядет Чеботариха, притихнет. Зовет Польшку.

- Полюшка, поди – погляди, как он там? А то обедать зови.

Бежит, хихикая, Польшка обратно:

- Нейдеть. Зёл, зёл, и-и, так поперек полу и ходить! И ждет Чеботариха с обедом час, два.

А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный нарушает – уж это значит...

6. В чуриловском трактире

Раздобрел Барыба на приказчицком положении да на хороших хлебах.

Встретил его на Дворянской почтальон Чернобыльников, старый знакомец – так прямо руками развел:

- И не узнать. Ишь купцом каким!

Завидовал Барыбе Чернобыльников: хорошо парню живется. Уж как-никак, а должен, видно, Барыба спрыснуть, угостить друзей в трактире: что ему, богатею, стоит.

Уговорил, улестил малого.

К семи часам, как уговор был, пришел Барыба в чуриловский трактир. Ну, и место же веселое, о Господи! Шум,

гам, огни. Половые белые шмыгают, голоса пьяные мелькают спицами в колесе.

Голова кругом пошла у Барыбы, опешил, и никак Чернобыльникова не разыскать.

А Чернобыльников уж кричит издали:

– Э-эй, купец, сюда!

Поблескивают пуговицы почтальонские у Чернобыльникова. И рядом с ним какой-то еще человечек. Маленький, востроносый, сидит – и не на стуле будто сидит, а так, на жердочке прыгает, вроде – воробей.

Чернобыльников кивнул на воробья:

– Тимоша это, портной. Разговорчивый.

Улыбнулся Тимоша – зажег теплую лампадку на остром своем лице:

– Портной, да. Мозги перешиваю.

Барыба разинул рот, хотел спросить, да сзади толкнули в плечо. Половой, с подносом на отлете, у самой головы, уж ставил пиво на стол. Галдели, путались голоса, и надо всеми стоял один – рыжий мещанин, маклак лошадий, орал:

– Митька, эй, Митька, скугаревая башка, да принесешь ты ай нет?

И запевал опять:

По тебе, широка улица,
Последний раз иду...

Узнал Тимоша, что из уездного Барыба, обрадовался:

– Самый этот поп тебе, значит, и подложил свинью? Ну, как же, зна-аю его, знаю. Шивал ему. Да не любит он меня, страсть!

– За что же не любит-то?

– А за разговоры мои разные. Намедни говорю ему: «Как это, мол, святые-то наши на том свете, в раю будут? Тимофей-то милосливый, ангел мой и покровитель, увидит он, как я в аду буду поджариваться, а сам опять за райское яблоко возьмется? Вот те и многомилосливый, вот те и святая душа! А не видеть меня, не знать – не может он, по катехизису должен». Ну, и заткнулся поп, не знал, что сказать.

– Ловко! – заржал Барыба, загромыхал, засмеялся.

– «Ты бы, – поп мне говорит, – лучше добрые дела делал, чем языком-то так трепать». А я ему: «Зачем, говорю, мне добрые дела делать? Я лучше злые буду. Злые для ближних моих полезительней, потому, по евангелю, за зло мое им Господь Бог на том свете сторицею добром воздаст...» Ах, и ругался же поп!

– Так его, попа, так его, – ликовал Барыба. Полюбил бы вот сейчас Тимошу за это, за то, что попа так ловко отделал, – полюбил бы, да тяжел был Барыба, круто заквашен, не проворотить его было для любви.

За столиком, где сидел рыжий мещанин, зазвенели стаканы. Страшный, рыжими волосами обросший кулак драбазнул по столу. Мещанин вопил:

– А ну, скажи? А ну, еще раз скажи? А ну-ка, а ну? Повскакали соседи, сгрудились, повытянули шеи: ох, любят у нас скандалы, медом их не корми!

Какой-то длинношейей верзила вывернулся из свалки, подошел к столику, здоровался с Чернобыльниковым. Под мышкой держал фуражку с кокардой.

– Удивительно... И уж сейчас все лезут, как бараны, – сказал он гусиным тонким голосом и выпятил презрительно губы.

Сел. На Тимошу с Барыбой – ноль внимания. Говорил с Чернобыльниковым: почтальон – все-таки вроде чиновник.

Тимоша, не обинуясь, вслух объяснил Барыбе:

– Казначейский зять он. Женил его казначей на последней своей, на засиделой, и местишко ему устроил, в казначействе писцом – ну, он и пыжится.

Казначейский зять будто не слушал и еще громче говорил Чернобыльникову:

– И вот после ревизии представили его к губернскому секретарю...

Чернобыльников почтительно протянул:

– К губе-е-рнскому?

Тимоше невтерпеж стало – влез в разговор:

– Почтальон, Чернобыльников, а помнишь, как его намедни исправник-то из дворянской... энтим самым местом выпихнул?

– Просил бы... Пок-корнейше просил бы! – сказал казначейский зять свирепо.

А Тимоша досказывал:

– «...Ан не пойдешь!» – «Ан пойду!» Ну, слово за слово – об заклад. Влез он в дворянскую. А на бильярде-то как раз казначей с исправником играл. Наш франтик – к тестю: на ухо пошептал, будто за каким делом пришел. Да там и остался стоять. А исправник – начал кием нацеливаться, все пятился, пятился да невзначай будто так его и выпихнул, энтим самым местом. Ох, Господи, вот смеху-то было!

Надрывались со смеху Барыба с Чернобыльниковым.

Казначейский зять встал и ушел, не глядя.

– Ну, еще помиримся, – сказал Тимоша. – И ничего ведь малый был. А теперь – на лбу кокарда, а во лбу – барда.

7. Апельсинное дерево

У Польки, у дуры босоногой, на кухне только одно окошечко и есть, да и на том стекло зацвело, от старости заразноцветилось. А на окне у Польки – баночка.

Посадила – давно уж, с полгода будет – в баночку эту Польша апельсинное зерно. А теперь, гляди, уж и целое деревцо выросло: раз, два, три, четыре листочка, малюсеньких, глянцевых.

Помыкается на кухне, погремит Польша горшками – да и опять подойдет к деревцу, листочки понюхает.

– Чудно. Было зерно, а вот...

Берегла-холила. Кто-то сказал, что, мол, хорошо это для росту – стала деревцо поливать супом, коли оставался от обеда.

Раз Барыба из трактира вернулся поздно, встал утром злючий-презлючий, чаю глонул – и сейчас в кухню, душу отвести. Звала его теперь Польша не иначе как барином: очень лестно.

Польша как раз у окна своего возилась, около деревца любезного.

– Где кот?

Польша, не обертываясь, копошилась. Робея, отвечала:

– Они, барин, ушли. Да где-нибудь на дворе, наверно, где же еще?

– Ты это что там стряпаешь?

Притихла, сробела, молчала. Блюдце с супом в руке.

– Су-упом? Траву поливаешь? Для этого тебе суп даден, дуреха ты этакая? Сейчас подай сюда!

– Ды-к, это пельсин, барин...

Полька затрепыхалась от страха: ох, и что теперь будет?

– Я те покажу пельсин! Супом поливать, дура, а?

Барыба схватил баночку с апельсином. Полька заревела. Да что тут долго с ней, дурой, возжаться? Выхватил с корнем деревцо, да за окно, а баночку поставил на место. Очень даже просто.

Полька ревела в голос, грязные полосы наследились от слез на лице, причитала по-бабьи:

– Пельсин мой, ды-ы батюшка, да как же я без тебя бу-ду-у...

Барыба весело поддал ей сзади пару, и она выкатилась из двери, по двору – да прямо в погреб.

Разгрыз какой-то камень, вот тут с Полькой, с апельсином этим – и полегчало сразу. Скалил зубы Барыба, пьянел.

Увидал в окно, как Полька спустилась в погреб. Повернулся в голове медленно какой-то жернов – и заколотилось вдруг сердце.

Вышел на двор, огляделся по сторонам и юркнул в погреб. Плотно закрыл за собой дверь...

После солнца – да в темь: совсем ослеп. Шарил по сырым стенам, спотыкался.

– Полька, где ты? Ты там где, дура, зачихачилась?

Слышно, где-то хлюпает Полька, хнычет, а где...

Затхло, могильно, сыро. Щупал руками по картошкам, кадушкам, свалил деревянный кружок с крынки какой-то.

Вот она, Полька: на куче картошек сидит, размазывая слезы. Крошечная какая-то дырочка вверху – пролез один хитрый, прищуренный лучик и отрезал кусок косы у Польки с тряпичной лентой, пальцы, грязную щеку.

– Будя, будя, не реви, засохни!

Барыба легонько налегнул на нее, и она повалилась. Послушно двигалась и была вся, как тряпочная кукла. Только еще чаще захныкала.

Во рту пересохло, язык еле ворочался у Барыбы. Плел что-то – так, чтоб занять ее голову, отвлечь от того, что он делал:

– Да, ишь ты, штука какая, пельсин! А ты и реветь? Мы тебе вместо пельсина, дай-кось, ерань купим... Ерань – она... это самое... духовитая...

Полька тряслась вся и хныкала, и в этом была своя особая сладость Барыбе.

– Так, та-ак! Ревь теперь, ну, реви вовсю, – приговаривал Барыба.

Польку выпроводил. Сам остался еще, растянулся на куче картошек, отдыхая.

Вдруг заулыбался Барыба до ушей, довольный. Сказал вслух Чеботарихе:

– Что, перина старая, съела, ага?

И показал в темноте кукиш.

Вышел из погреба, зажмурился: солнце. Поглядел под сарай: там копошился, спиною к нему, Урванка.

8. Тимоша

Сидели в трактире за чаем. Тимоша приглядывался все к Барыбе.

– Неуютный ты какой-то, погляжу я. Бивали тебя, должно быть, вот как.

– Бивали, как же, – засмеялся Барыба. Лестно даже было: бивали – а теперь вот поди-ка, сунься.

– То-то ты и вышел такой, чадушко. Души-то, совести у тебя – ровно у курицы...

И завел свое – о Боге: нет, мол, его, а все выходит, жить надо по-Божьи; и о вере, и о книгах. Непривычно было Барыбе так много молоть своим жерновом, томили Тимошины мудреные слова. Но слушал – тяжелой телегой тащился за Тимошей. Кого же и слушать, как не Тимошу: голова-парень.

А Тимоша уж дошел до самого своего главного:

– Вот, покажется иной раз – есть. А опять повернешь, прикинешь – и опять ничего нет. Ничего: ни Бога, ни земли, ни воды – одна зыбь поднебесная. Одна видимость только.

Тимоша повертел по-воробыному головкой, теснило что-то.

– Одна видимость. Дойти-то до этого, что-о! Нет, а вот с одним ничем-то этим с глазу на глаз пожить, воздухом-то попитаться. Вот тут, брат...

И увидел, что заблудился уж Барыба, отстал, спотыкнулся.

Махнул Тимоша рукой:

– Э, да что! Ни к чему тебе это, ты-то утробой живешь... У тебя Бог-то съедобный.

Вышли из трактира. Ночь июньская, нежаркая, липой пахнет, сверчки в траве заливаются. А Тимоша в ватное обряхался, ну и чудака же!

– Ты что ж это, Тимоша, кутафья кутафьей?

– А, да ну! Не спрашивал бы. Ту-бер-ку-лоз, брат. Так фершал в больнице и сказал. Простужаться – ни Боже мой.

«Ишь ты, то-то он квелый такой», – и как-то увесисто почуял вдруг Барыба тяжесть своего звериного, крепкого тела. Шел тяжко-довольный: было приятно ступать на землю, попирать землю, давить ее – так! Вот так!

У Тимоши, в комнатухе с драными обоями, сидели за некрашеным столом трое ребят, веснушчатых, востроносых.

– Мать где? – крикнул Тимоша. – Опять нету.

– К земскому ушла, приходили, – робко сказала девочка. И стала в углу надевать полсапожки: неловко босиком-то, чужой какой-то пришел.

Тимоша насупился.

– Давай кулеш, Фенька. Да бутылку из выхода принеси.

– Мамаша не велела бутылку.

– Я те дам мамашу. Живо, живо! Садись, Барыба.

Сели за стол. Наверху пищала тоненько лампа с жестяным абажуром, увешанным дохлыми мухами.

Фенька из миски стала было отливать в долбленку кулеш ребятам.

Тимоша на нее крикнул:

– Это что? Отцом родным гребуете? Мать подучает все? Ну, я ее подучу, дай-ка, придет вот! Шляется...

Ребята стали хлебать из общей миски, не в охотку, понуро. Тимоша хихикнул криво и сказал Барыбе:

– Вот – Господа Бога искушаю. В больнице говорят – она, мол, прилипчивая, чахотка-то. Ну, вот и погляжу: прилипнет к ребятам ай нет? Поднимется у него, у Господа Бога, рука на ребят несмысленных, – поднимется ай нет?

В окно постучали чуть-чуть, робко.

Тимоша торопливо распахнул раму и пропел ядовито:

– А-а, пожаловала?

И потом Барыбе:

– Ну, брат, собирай свои манатки. Больше тебе тут глядеть нечего. Тут дело пойдет сурьезное.

9. Ильин день

Под Ильин день вечер – особенный, и благовест – свой особенный: в соборе – престол, в монастыре – престол, стряпухи во всех домах пироги к завтраму пекут, а в небе Илья-пророк громы заготовливает. И небо-то под Ильин день какое: чисто да тихо, как в избе, вымытой к празднику. Все-то спешат по своим церквам: не дай Бог к Ильину тропарю опоздать, будут весь год слезы литься, как дождь, от века положенный на Ильин день.

Ну, уж это кто-то опоздает, да не Чеботариха только: первая она богомольница в Покровской церкви. Во-он когда, загодя еще, запрег лошадей Урванка.

Запрег, идет по двору – как раз мимо погреба. Глядь – а дверь открыта. Буркнул Урванка:

– Ишь, дьяволы, и дверь-то расхлябачили. Люди Богу молиться идут, а они – на-ка тебе. Охальники!

И посолил словечком покрепче. Хотел было дверь закрыть, да нет. Постоял, ухмыльнулся.

Пришел доложить Чеботарихе: все, мол, готово.

– А только дозвольте вас просить через черный ход выйтить... – и узлом завязал Урванка улыбку на закопченном своем лице: поди-кось, раскуси, что она такое означает.

– Чтой-то мудришь ты, Урванка! – сказала Чеботариха. Однако ж поплыла, шурша шелковым, коричневым с цветочками платьем.

Спустилась, пыхтя, по ступенькам. Прошла мимо погреба.

– Дверь-то бы закрыл, догадался. Все им скажи да покажи... – Чеботариха женщина степенная, хозяйственная, а такая мимо раскрытой двери разве пройдет спокойно? Хоть и не надо, а закроет.

– А их-то как же, припереть там прикажете?

– Кого такое – их?

– Как кого? А Анфим-то Егорыча с Полькой? Чать, и им бы надо под Ильин-то день ко всенощной сходить?

– Брешешь, пыдлец ты этакой! Ни в жисть не поверю, чтоб Анфимка с ней...

– Да вот разрази меня Илья завтра громом, коли ежели я вру.

– А ну, перекрестись!

Урванка перекрестился. Стало быть – правда.

Побелесела Чеботариха и затряслась, словно опара, взбухшая до самых краев дежи. Урванка подумал: «Ну, завоет». Нет, вспомнила, видно, что на ней шелковое платье. Выпятила важно губу и сказала, будто ничего такого и не было:

– Урван, дверку-то закройте. Пора нам, пора в церкву.

– Слушаю, матушка.

Щелкнул засовом, отвязал лошадей, запылила по дороге знаменитая линейка чеботарихина.

Чеботариха стояла, как всегда, впереди, у правого клироса. Сложила на животе руки и уперлась глазами в одну точку, на правом дьяконовом сапоге. К сапогу прилипла какая-то бумажка, дьякон стоял перед Чеботарихой на амвоне, и бумажка не давала покоя.

«Недугующих и страждущих»... «И меня, стало быть, страждущую. Ах ты, Господи, ну и подлец же Анфимка!»

Кланялась в землю, а бумажка на сапоге – вот она, так и мельтешится перед глазами.

Ушел дьякон – еще того хуже: нейдет из головы Анфимка проклятый. А она-то его холила, а?

Только во время «Хвалите» Чеботариха и развлеклась немного, о Барыбе чуть позабыла. Нет, каково: дьяконова-то Ольгуня, образованная-то, столбом стоит! Вот оно, образование-то, все чтоб по-своему, не как все. Не-ет, надо дьякону про это напеть...

Сторож в оставном солдатском мундире тушил в церкви свечи. Дьякон вынес Чеботарихе на тарелочке хлебец: прихожанка она была примерная, богобоязненная, хорошо платила.

Чеботариха притянула его за рукав и долго про Ольгуню шептала на ухо и качала головой.

Урванка налегнул, отодвинул засов. Выскочил Барыба, как ошпаренный.

– Чай кушать пожалуйста, – сказал, ухмыляясь, Урванка.

«Неужто не сказал?» – подумал Барыба.

Чванная, в шелковом, лубом стоящем, платье сидела Чеботариха, ломала на кусочки поднесенный дьяконом хлебец и глотала, как пилюли, очень громко: кто же святой хлеб жует?

«Ну, уж говорила скорей бы», – ждал Барыба, сердце трепыхалось и ныло.

– К чаю-то, может, молочка топленого велеть принести? – поглядела Чеботариха как будто и ласково.

«Измывается либо? А может, и впрямь – не знает?»

– Да где ее, Польшку-то, теперь сыщешь? Кургузить начинает, вешала-девчонка. Вы бы, Анфимушка, приглядели за ней.

Так вот, просто, будто бы и ничего, говорила себе Чеботариха, глотала хлебец по кусочкам, сметала со стола святые крошки и ссыпала в рот.

«А ведь не знает, как Бог свят», – вдруг Барыба уверился. Развеселился, улыбался четырехугольной своей улыбкой, ржал – рассказывал, как дуреха эта, Польшка, супом поливала пельсинное дерево.

Солнце садилось медное, ярое: задаст Илья завтра грозу. Алели белые чашки, тарелки на столе. Важная, молчаливая сидела Чеботариха и не усмехнулась ни один раз.

Весело отбивал Барыба поклоны в спальне, рядом с Чеботарихой, и благодарил неведомых каких-то угодников: миновало, пронесло, не сказал Урванка!

Загасла лампадка. Ночь душная, тяжкая под Ильин день. В темноте спальни – жадный, зияющий, пьющий рот – и частое дыхание загнанного зверя.

У Барыбы перестало биться сердце, заерзали перед глазами зеленые круги, слиплись на лбу волосы.

– Да ты что, али рехнулась? – сказал он, выпутываясь из ее тела.

Но она облепила, как паук.

– Не-ет, миленький, не-ет, дружок! Не уйдешь, нет!

И томила его невидными и непонятными в темноте, злыми ласками и сама всхлипывала: замочила слезами все лицо у Барыбы.

До утра. Сквозь каменный сон услышал Барыба колокол – к Ильинской обедне. Во сне услышал какое-то пение и ворочал окаменевшие мысли, силился сообразить.

Но проснулся только, когда кончили петь. Вскочил сразу, как встрепанный. «Да ведь это попы молебен в зале отпели!»

Оделся, глаза слипались, голова чужая.

Попы уже ушли. Чеботариха одна сидела в зальце, на кретоновом диване. Была опять в шелковом, лубом стоящем, платье и в кружевной парадной наколке.

– Проспали молебен-то Ильинский, а? Анфим Егорыч?

Может, оттого, что и правда – проспал и было уже около полудня, а может, оттого, что пахло в зальце ладаном – стало Барыбе неловко как-то, не по себе.

– Садитесь, Анфим Егорыч, садитесь, побеседуем.

Помолчала. Потом закрыла глаза и лицо сделала, будто и не лицо, а так – пирог сдобный. Голову набок – и сладким голосом:

– Так-то вот, грехи наши тяжкие. И не замолить их. А на том свете – он-то, батюшка, все припомнит, он, батюшка, в гиене серной дурь-то всю-ю выкурит.

Барыба молчал. «И куда это она гнет?»

Вдруг Чеботариха распылила всюю глаза и, брызгая слюной, закричала:

– Да ты что же, пыдлец ты етакой, молчишь, как воды в рот набрал? Ай, думаешь, я про шашни твои с Полькой

ничего не знаю? Девчонку спортить, пидлец ты етакой развратной, – нипочем тебе?

Ошарашенный, Барыба, молча, ворочал челюстями и думал:

«А ведь вчера поросенка-то зарезали – это, поди, нынче к обеду».

Чеботариха совсем раскипелась от молчания барыбина. Затопала, сидя, ногами.

– Вон, вон из мово дому! Змей подколодный! Я его на груди отогрела, паршивца, а он – на-кося! На Польку – это меня-то, а?

Не понимая, не в силах повернуть чем-то налитых мыслей, сидел Барыба, как урытый, молча. Глядел на Чеботариху. «Ишь, как брыжжет-то, брыжжет-то, а?»

Опомнился, когда в зальцу вошел Урванка и сказал ему с улыбкой, с веселой:

– Ну, нечего, брат, нечего. Проваливай-ка. Твоово тут, брат, ничего нету.

И сзади нахлобучил Барыбе картуз.

Перед Ильинскою грозою пекло солнце. Ждали – воробы, деревья, камни. Засохли, томились.

Барыба, очумелый, шатался по городу, присаживаясь на всех лавочках по Дворянской.

«Что ж теперь дальше-то, а? Что ж теперь? Куда?»

Мотал головой и все никак не мог этого стряхнуть: балкашинский двор, ясли, собаки голодные дерутся из-за кости...

Бродил потом по каким-то задним улицам, по мураве зеленой. Проезжал мимо водовоз, у одного колеса соскочила, позванивала шина. Почуял Барыба, что и правда пить-то ведь хочется. Попросил, напился.

А с севера, от монастыря, насела уж туча, разломила небо на две половинки: голубую, веселую, и синюю, страшную. Синяя все росла, пухла.

Как-то, себя не помня, очутился Барыба под навесом, у чуриловского трактира в подъезде. Лил дождь; сбились в подъезде какие-то бабы, задрав на голову подолы; громыхал Илья. Эх, все равно – валяй, греми, лей!

Само собой как-то вышло, что пошел Барыба ночевать к Тимоше. А Тимоша даже и не удивился нисколечко, как будто каждый день к нему Барыба ночевать ходил.

10. Сумерки в келье

Летом в четыре часа – самое глухое по нашим местам время. Никто из хороших людей на улицу и носу не высунет: жарынь – несусветная. Ставни все позакрыты, с полной утробой сладко спится после обеда. Одни вихорьки, серенькие, полуденными бесами приплясывают по пустым улицам. К калитке какой-нибудь подойдет почтальон, стучит, стучит. Да уж нет, не прогневайся: не откроют.

Непристанный, шатуший, бредет в эту пору Барыба. Как будто и сам не знает – куда. А ноги несут – в монастырь. Да и куда же еще? От Тимоши – к Евсею в монастырь, от Евсея – к Тимоше.

Стена зубчатая, позаросшая мохом. Будочка, вроде собачьей, у обитых железом ворот. А из будочки выходит, кривляясь, с кружкой Арсентьюшка блаженненький – виттопляска с ним – вратарь, даяния собирает, неотвязный.

– Ишь, пристал, наяный!

Положил ему Барыба семитку и пошел по белым накаленным плитам, мимо могил именитых горожан за позолоченными решетками. Любили именитые тут хорониться: всякому лестно в монастыре лежать, и чтоб денно и нощно о нем ангельские чины молились.

Постучал Барыба в евсееву келью. Никто не ответил. Он открыл дверь.

За столом без подрясников, в одних белых штанах и рубахах, сидели двое: Евсей и Иннокентий.

Евсей зашипел на Барыбу свирепо: ш-ш-ш! И опять уставился, не мигая, наливной, стеклянноглазый, – в стакан свой с чаем. А Иннокентий, губошлепый, баба с усами, – замер над своим стаканом.

Барыба у притолоки остановился, глядел, глядел: да что они, ополоумели, что ли?

У другой притолоки стоял Савка-послушник: масленые, прямые палки-волосы, красные, рачьи ручищи.

Савка почтительно фыркнул в сторону:

– Ф-фы! Да-к, к отцу Евсею-то в стакан муха того и гляди сядет. Ай не видите, что ли?

Ничего не понимая, лупил Барыба глаза.

– Да-к, как же? Это у них теперича самая разлюбезная игра. Пятак там, гривенник поставят – и ждут, и ждут. К которому батюшке первому муха в стакан попадет – тот, стало быть, и выиграл.

Савке охота побалакать с мирским. Говорит, все время закрывая из почтения рот огромной красной ручищей.

– Гляньте-кось, гляньте-кось, отец Евсей-то...

Евсей – сизый, наливной, наклонился к стакану, щерился рот у него все шире – и вдруг грохнул, хлопнул себя по коленке рукой:

– Е-эсть! Вот она, голубушка! Мой пятак! – и пальцем выловил муху из стакана. – Ну, малый, чуть не подкузьмил меня. Спугнул ведь было мушку-то, матушку.

Он подошел к Барыбе поближе, уставился стеклянными своими глазами, забубукал:

– А мы, малый, и видеть тебя не чаяли. Слышали, совсем бландахрыстом стал. Думали, до смерти баба тебя заездит. Ведь Чеботариха-то, она баба – я те дам, жадёна!

Усадил чай пить Барыбу, сам допивал стакан, из которого выловил мушку-матушку. Да какая ж без зеленого вина встреча? – выставил Евсей и косушку на стол.

Савка подал второй самовар. На столе – медяки, псалтырь, крендели, рюмки с отколотыми ножками.

Иннокентий что-то расстроился после водки, глазки у него слипались, то и дело клал голову на стол, подперев кулачком. Жалобно вдруг запел «свете тихий». Евсей и Савка подтянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и прикрывая красной ручищей рот. Барыба подумал: «Эх, все равно!» – и тоже горестно стал подвывать.

Вдруг Евсей оборвал и заорал:

– Сто-ой! Стой – тебе говорю!

А Савка все еще тянул. Евсей кинулся к нему, схватил за глотку и притиснул к спинке стула, полоумный, ди-карь. Задушит.

Иннокентий встал, согбенный, старушечьими шажками подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки.

Евсей захохотал, забулькал, замахал руками, как пьяная мельница, отпустил Савку. Потом сел на пол и затыкнул:

На-а горе сидит калека,
У-бил чем-то человека...

Все молча, усердно подтягивали, как раньше – «свете тихий».

Смеркло, слилось, закачалось все в пьяной келье. Огня не зажигали. Иннокентий ныл и приставал ко всем, шамкая – старушонка с усами и седой бородой. Попричитилось вот ему, что поперхнулся он чем-то. Застряло вот в глотке, да и только. Колупал-колупал пальцем: не помогает.

– Ну-ка, попробуй ты, Савушка, миленочек, пальчиком? Может, и ощутишь что.

Савушка лез, вытирал потом палец о полу подрясника.

– Ничего, ваше преподобие, нету. Так это, пьяный бес бланзит.

Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так, ни слуху ни духу. Потом вскочил вдруг, лохмами своими затряс.

– По мне, рабятки, в Стрельцы бы, этта, теперь махануть. На радостях встречных. Барыба, малый, а, ты как? Деньжат бы вот только перехватить где. У келаря разве? Как, Савка, а?

Невидный у двери заржал Савка. Барыба подумал: «Что ж, отшибет, пожалуй. Позабыть бы все».

– Коли отдашь завтра... У меня есть малость денег-то, последние, – сказал он Евсею.

Евсей живо взбодрился, мотал, как веселый пес, головой, выпялил стеклянные свои глаза.

– Да я, перед Истинным вот, завтра отдам, у меня есть ведь, да только далеко спрятаны.

Шли вчетвером мимо могил. Полумертвый месяц мигал из-за облака. Иннокентий зацепился подрясником за ре-

шетку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли через стену по нарочно, для ходу, выломанным кирпичам.

11. Брокаровская баночка

Вот и опять тяжко-жаркий, дремучий послеполудень. Белые плиты на монастырской дорожке. Липовая аллея, жужжание пчел.

Впереди Евсей, в черном клобуке, с приквашенными лохмами: нынче ему черед вечерню служить. А сзади – Барыба. Идет, да нет-нет и опять растворит, как ворота, четырехугольную свою улыбку.

– Уж больно ты, Евсей, в клобуке-то чудной да непригожий. Гречневик бы тебе мужицкий или папаху, куды бы гожее было.

– Да я, малый, и то – в юнкера хотел идти, да запьянствовал ненароком. Вот под монастырь и угодил.

Эх, Евсей! Какой бы краснорожий, сизоносый казацкий есаул из тебя вышел. Или бы писарь волостной, пьяница, мужикам панибрат. А вот, поди ж ты, изволением Божиим...

– А как ты, Евсей, плясовую-то вчера в Стрельцах откатал, а?

Во монахи поступили,
Самовары закупили...

Евсей заухмылялся, передернул было плечами. Да уж нет, в этом бабьем наряде – куда там. Вчера – вот это так: рубаху веревочкой подпоясал по-деревенски, под самые подмышки, порты крашенинные белые с синими полосочками, борода рыжая лопатой, зенки того и гляди выскочат, – настоящий лешак деревенский, и плясать ловкач. То-то нахохотались стрелецкие девки вдосталь!

Пришли. Барыба постоял минутку у старых церковных дверей. Вышел Евсей, поманил пальцем.

– Ну, иди, малый, иди. Никого нету. Сторож – и то куда-то ушел.

Низенькая, старая, мудрая церковь – во имя древнего Ильи. Видала виды: оборонялась от татаровья, служил в

ней, говорят, проездом боярин Федор Романов, в иночестве Филарет. В решетчатые окна глядят старые липы.

Бубукает, шумит, не уймется и тут Евсей, есаул в клобуке. Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам – от махающего руками, бородатого, громкого Евсея.

Евсей стал на колени, пошарил рукой под престолом. – Тута, – сказал он и вынес к свету пыльную баночку от брокаровской помады. Откупорил, перелистал, слюнявя, четвертные бумажки.

Беспокойно заворачивал Барыба своим утюгом.

«Ох ты, дьявол! Десяток, а то либо и больше. И на кой они ляд ему?»

Евсей отложил одну бумажку.

– А остальные – либо на помин души оставляю, а то либо, этта, однова как-нибудь заберу все да стрелецким девкам на пропой раздарю.

Белые плиты монастырской дорожки. Гудят пчелы в старых липах. Тяжкий зной кружит хмельную голову.

«И на кой они ляд ему?» – думает Барыба.

12. Монашек старенький

На теплой от солнца скамеечке каменной, возле Ильинской церкви, старый-престарый сидит монашек. Выцвела, позеленела у него ряска, прозеленью пошла борода седая, обомшали руки, лицо. Лежал вот где-то, как клад, под старым дубом, выкопали его – взяли и посадили тут на солнышке греться.

– Да тебе лет-то сколько, дедушка? – спрашивает Барыба.

– И-и, милый, позабыл я. Да вот Тихона-то вашего, Задонского, помню. Хорошо служил батюшка, истово.

Все вертится Барыба около монашка позеленелого, все льнет к нему. Ох, не даром!

– Пойдем, дед, в церковь, я тебе подметать помогу.

И ходят под темными прохладными сводами. Убирает любовно монашек старую свою церковь, с угодниками шепчется. Свечку засветит – и станет, любителю, теплится перед ней.

«Дунуть, вот – и потухнут и свечка, и монашек», – думает Барыба.

Ходит он за монашком следом: одно подаст, другое подержит. Полюбил Барыбу монашек. Народ-то нынче непочетник пошел, забыли все старого, слова перемолвить не с кем. А этот вот...

– Дед, а ведь страшно, поди, ночью-то одному в церкви?

– И-и, что ты, Христос с тобой, с ней-то, родимой, страшно?

– Дед, давай я ночью с тобой?

Строго говорит из глубокого дупла своего монашек:

– Сорок лет один на один с ней ночевывал. И нелеть никому окромя и ночевать-то в ней. Мало ли там что в церкви ночью...

Береги ее, береги, ревнивый. Правда, мало ли что в ночной старой церкви?

«Ладно, подожду», – и ходит следом Барыба.

За всенощной под Тихона Задонского уж так-то приотмился старый монашек. Народу – несть числа было. Уж потом прибирали-прибирали с Барыбой, насили-то кончили.

Оглядел монашек все двери, все запоры ржавые проверил и присел на минуточку малую отдохнуть. Присел – и потух, ветхий, заснул. Подождал Барыба, кашлянул. Подошел, тронул за рукав монашка – спит. Шасть скорей в алтарь, и ну – под престолом шарить. Шарил-шарил: нашел.

Крепко спит старый монашек – приучается уже смертным сном спать. Ничего не слышал старый монашек.

13. Апросина избушка

Кончается Дворянская, захудалые последние ларьки и фонари. А дальше – Стрелецкий пруд, старые лозинки засели кругом, обомшалый скользкий плот, стучат, нагнувшись, бабы вальками, ныряют утята.

У самого пруда, на Стрелецкой слободской стороне присуседилась апросина избенка. Ничего себе, теплая, сухая. Под скобку стриженная соломенная крыша, оконца из стекольных зацветших верешков. Да много ли Ап-

росе с мальчонкой вдвоем и надо? Двухдушный надел сдала арендателю, а там, гляди, к празднику и муж гостинцев придет – трешку, пятишну. И письмо:

– «И еще с любовью низкий поклон дражайшей супруге Апросинье Петровне... А еще уведомляю, что нам опять прибавили по три рубли в год. И мы опять порешили с Илюшей остаться в сверхсрочных...»

Спервоначалу Апрося тосковала, конечно, – дело молодое, а потом загас, забылся муж в сверхсрочных. Так, представлялся вроде марки какой на письме или вроде печати: его, мол, печать, его марка. А больше и ничего. Так и обошлась Апрося, обветрела, в огороде копалась, обшивала мальчонку, на постирушки ходила.

У Апроси у этой и снял комнату Барыба. Сразу понравилось: домовито, чисто. Уговорились за четыре с полтиной.

Апрося была довольна: жилец солидный, не какой-нибудь оторвяжник, и с деньгами, видимо. И не очень чтоб заворотень или гордец: когда и поговорит. Заботилась теперь о двух: о мальчонке своем и о Барыбе. Весь день на ногах – обветрелая, степенная, ржаная, крепкогрудая: поглядеть любо.

Тихо, светло, чисто. Отдыхал Барыба от старого. Спал без снов, деньги были: какого рожна еще нужно? Ел не спеша, прочно, помногу.

«Ну, ин ладно, угождаю, стало быть», – думала Апрося.

Накупил Барыба книжонок. Так, лубочных, дешевка, да очень уж завлекательные: «Тяпка – лебедянский разбойник», «Преступный монах и его сокровища», «Кучер Королевы Испанской». Валялся Барыба, подсолнухи лущил, читая. Никуда не тянуло: перед Чернобыльниковым почтальоном и перед казначейским зятем было вроде неловко: поди теперь уж всё проведали. А на баб даже и глядеть не хотелось, после Чеботарихи не осела еще муть.

Ходил гулять в поле, там косили. Вечерняя парча на небе, покорно падает золото ржи, красные взмокшие рубахи, позванивают косы. И вот бросили – и к жбанчикам с квасом, пьют, капли на усах. Эх, всласть поработали!

Думалось Барыбе: вот бы так. Чесались крепкие руки, сжимались жевательные мускулы... «А казначейский-то зять? Вдруг бы увидал?..»

– То-оже, выдумал, в мужики пойти. Еще, пожалуй, кожи возить на чеботарихином заводе? Самая статья... – сердито бурчал на себя Барыба.

Вертись не вертись, а надо что-нибудь и выдумывать: так, без дела, не проживешь на евсеевы деньги, не Бог знает какие тысячи.

Покумекал-покумекал Барыба да и настрочил прошение в казначейство: авось возьмут писцом, помощником бы к казначейскому зятю. Вот бы фуражку тогда с кокардой – знай наших!

Духота под вечер была смертная. Барыба все же напялил бархатный свой жилет (остаток житья привольного у Чеботарихи), воротничок бумажный, брюки «на улицу» и пошел на Дворянскую: где ж, как не там, казначейского зятя найти.

Тут, конечно, ходит длинногачий, тощий, вешалка, на всех глядит кисло, тросточкой помахивает. Так и хочет сказать: «Ты кто такой? А я, видишь, чиновник – фуражка с кокардой».

Кислую улыбку сунул Барыбе:

– А-а, эт-то вы! Прощение? Гм-гм.

Оживился, подтянул штаны, поправил воротничок. Почувствовал себя приветливым начальством.

– Что же, я передам, хорошо. Я сделаю, что могу. Ну, как же, как же, старое знакомство.

Барыба шел домой и думал:

«Ух, и смазал бы тебя, кислая харя. Однако, что говорить – образованно себя держит. А воротничок-то? Самого настоящего полотна и, видать, каждый раз – новый».

14. Вытекло веселое вино

Келарь Митрофан разнюхал, выведал все, собака, о евсеевом походе в Стрельцы. Может, конечно, и сам Евсей разблаговестил, нахвастал. А только знал келарь все до последней капли: и как отплясывал Евсей в рубахе одной, под мышками подпоясанной, и песню эту: «Во монахи поступили», и развеселое катанье на живейных

по Стрельцам. Келарь, конечно, игумену. Игумен призвал Евсея да так его разнес, что Евсей вылетел, как с верхнего полка из бани.

Поставили Евсея на послушание к хлебопеку. К службам не ходил. В подвале у хлебопека – жара, как в аду. Главный чертище Силантий, косматый, красный, орет на месильщиков, а сам отмахивает на лопате в печь пудовые хлебы. Месильщики, в одних белых рубахах, подвязав веревочкой космы, ворочают тесто, кряхтят, работают до седьмого пота.

Зато и спал Евсей, как давно не спал. И глаза стеклянные, как будто отошли малость. О косушке и подумать некогда было.

Все бы хорошо, да кончилось послушание. Опять пошло старое. Заслужил Евсей, забубнил молитвы. Опять Савка-послушник суется в глаза рачьими своими ручищами, ноет Иннокентий, баба с усами.

Савка рассказал про Иннокентия:

– Анадьсь они, отец Иннокентий, пошли в баню. Там дьяконок один был, из сосланных, веселый. Кэ-эк увидал он отца Иннокентия в натуральном виде: «Батюшки, кричит, да это баба, гляди, гляди, груди-то обвисли, стало быть – рожалая».

Иннокентий запахивал плотнее ряску.

– Бесстыдный он, дьяконок-то твой. Оттого ему такое и притчится.

Дьяконок этот самый и сгубил Евсея. Пришел дьяконок с воли, скучно, понятно, вот он и шатался из кельи в келью. Забрел как-то к Евсею. Сидели Евсей с Иннокентием над стаканами, опять дулись «в муху» – к кому первому муха в стакан попадет. Увидал дьяконок, помер со смеху, завалился на евсееву кровать, ножками болтает, ой-ой-ой (ножки у него коротенькие, маленькие, глаза – как вишенки).

На веселый лад дьяконок настроился – и пошел, и пошел. Все свои семинарские анекдоты выложил, мастер на это был. Сначала скромно. А потом уж пошел и про попа, этого самого, что исповедников посылал догрешить: назначал он епитимью по пятнадцати поклонов за два раза – ну, и никак было не сосчитать, все выходило с дробью. И про монашку, которую догнали в лесу

бродяги, целых пятеро, а она потом сказывала: «Хорошо-де, и вдосталь, и без греха».

Ну, словом, всех уложил. Евсей поперхнулся от смеху, стучал кулаком по столу.

– Ай да дьякон! Ну, и разуважил. Придется, видно, угощение тебе поставить. Подождете, отцы, а? Я в секунд.

– Куда тебя буревая несет? – спросил дьякон.

– Да за деньгами. Они, брат, у меня под спудом лежат, нетленные. Тут, недалеко. И глазом не морганешь...

И впрямь – дьякон и рассказа нового досказать не успел, а Евсей уж тут как тут. Вошел, прислонился к притолоке.

– Иди, богатеи, иди, предъяви-ка, – весело закричал дьякон и подошел к Евсею. Подошел – и обмер: Евсей – и не Евсей. Обвис, обмяк, вытек весь как-то: проткнули в боку дыру, и вытекло все вино веселое, остался пустой бурдюк.

– Да ты чего же молчишь-то? Или приключилось что?

– Украли, – сказал Евсей не евсеевым, тихим голосом и бросил на стол две последних бумажки: для потехи оставил вор...

Оно и раньше-то, правду сказать, Евсей умом тихий был, а тут и с последнего спятил. Пропил остатние четвертные. Бродил пьяный по городу и выпрашивал пятачки опохмелиться. Забрал его будочник в участок за веселое на улице поведение – будочнику этому весь нос расквасил и удрал в монастырь.

Наутро пришли к нему друзья-приятели: Савка-послушник, да отец Иннокентий, да маленький дьяконок. Стали его увещать: опомнись, что ты, выставит тебя игумен из монастыря, побираться, что ли, идти?

Евсей лежал на спине и все молчал. Потом вдруг захлюпал, распустил нюни по бороде:

– Да, как же, братцы? Я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я, захоти вот, нынче же и вышел из монастыря. А теперь – хотя не хоти... Слободный был человек, а теперь...

– Да кто же это такое тебя объегорил? – нагнулся дьяконок к Евсею.

– Не знал, а теперь знаю. Не наш, мирской один. И ничего ведь как будто малый, а вот... Он, больше некому. Кроме него, и не знал никто, где у меня деньги.

Савка заржал: а, знаю, мол!

Вечером, при свечке, за пустым столом – и самовар неохота было вздуть – судили, рядили, как быть. Ничего не придумали.

15. У Иванихи

Утром после обедни зашел Иннокентий. Принес про-
свиру заздравную. Зашептал:

– Знаю теперича, отец Евсей. Вспомнил. Пойдем-ка скорей к Иванихе. У-у, она известная, заговорит вора – в момент объявится.

Утро росное, розовое, день будет жаркий. Воробьи празднуют.

– Эка, спозарань поднял, – ворчал Евсей.

Иннокентий шел мелкой бабьей походкой, придержи-
вая на животе рясу.

– Никак, отец Евсей, нельзя. Или не знаешь: заго-
вор – он натошак только силу имеет.

– Врешь ты все, поди, Иннокентий. Так только, зря проходим, да и срамно – духовным-то.

Иваниха – старуха высоченная, дылда, костистая, бро-
вястая, брови как у сыча. Не очень-то ласково встретила монахов.

– Чего надоть? За какой присухой пришли? Али с молебном? Так мне ваших молебнов не надобно.

И возилась, стукотала горшками на загнетке.

– Да нет, мы к тебе насчет... Отца Евсея вот обокра-
ли. Не заговоришь ли вора-то? Слыхали мы...

Отец Иннокентий робел Иванихи. Перекреститься бы, а перекреститься при ней нельзя, пожалуй: шутяка-то тут, – еще спугнешь, ничего не выйдет. Как баба – шу-
бейку, запахивает Иннокентий на груди свою ряску.

Иваниха глянула на него сверху, стегнула сычинными своими глазами:

– Так ты-то при чем? Его обокрали – нам с ним вдво-
ем и остаться.

– Да я, матушка, что ж, я...

Подобрал полы ряски, согнувшись, засеменил бабьи-
ми мелкими шажками.

– Как звать-то? – спросила Иваниха у Евсея.

– Евсеем.

– Знаю, что Евсеем. Не тебя, а на кого думаешь – его как звать?

– Анфимкой, Анфимом.

– Тебе на чем же заговаривать-то? На ветер? А то вот хорошо тоже на передник, над березовыми если сучьями его разостлать. А может – на воде? Да потом его, голубя, залучить, да и попоить чайком на этой самой воде.

– Во-во, чайком-то его бы, а? Вот бы ловко, мать, а?

Евсей обрадовался, забубукал, поверил: уж очень солидная да строгая старуха Иваниха.

Иваниха зачерпнула деревянным долбленным корцом воды, раскрыла дверь в сени, поставила Евсея за порогом, сама на пороге стала. Сунула в руки Евсею корец.

– Держи да слушай. Да, гляди, никому ни слова, а то все на тебя же и оборотится.

Зачитала медленно, вразумительно таково, а глазами сычинными низала воду в корце:

– На море – на Кияне, на острове Буяне стоит железный сундучище. Во том сундучище лежит булатный ножище. Беги, ножище, к Анфимке-вору, коли его во самое сердце, чтобы он, вор, воротил покражу раба Божия Евсея, не утаил ни синь пороха. А коли утаит, будь он, вор, прогвожден моим словом, как булатным ножом, будь он, вор, проклят в землю преисподнюю, в горы араратские, в смолу кипучую, в золу горючую, в тину болотную, в дом бездомный, в кувшин банный. Коли утаит, будь он, вор, осиновым колом к притолке приткнут, иссушен пуще травы, захоложен пуще льда, а и умереть ему не своей смертью.

– Будя теперь, – сказала Иваниха. – Попой его водичкой, голубя, попой.

Евсей бережно перелил воду в бутылочку, дал Иванихе целковый и пошел довольный:

– «Я те, миленок, угощу чаем. Я те развяжу язык!»

16. Ничем не проймешь

Привязалась к Барыбе ночью ни с того ни с сего лихо-манка. Трясло, корежило, сны заплетались неестественные.

Утром сидел за столом в тумане каком-то, пудовую голову на руки упер.

Стукнули в дверь.

– Апрося?

А головы не повернуть, такая тяжелая. У двери кашлянули баском.

– Савка, ты?

Он самый: волосы-палки, красные рачьи ручищи.

– Беспременно просили. Они дюже по вас соскучились, отец Евсей-то.

Потом подошел поближе, поржал:

– Чаем наговоренным хотят вас поить. А вы – ни Боже мой, не пейте.

– Каким наговоренным?

– Да известно, каким: на вора наговоренным.

– Эге! – смекнул Барыба. Очень смешно стало. Дурак Евсей! Туманилось, колотилось в голове, кривлялось что-то веселое.

У Евсея в келье – дымок сизый, накурено: дьяконок веселый надымил.

– А, гостечки дорогие!

И, вихляя задом, дьяконок подставил Барыбе руку кренделем.

Водки на столе не было: нарочно решили не пить, чтоб яснее в голове было – Барыбу уловлять.

– Чего это похудал ты, Евсей? Ай присушил тебя кто? – ухмыльнулся Барыба.

– Похудеешь. Не слыхал нешто?

– Деньжонки-то твои слямзили? Как же, слыхал.

Веселый, язвительный, подскочил дьяконок:

– А откедова же узнали вы это, Анфим Барыбыч?

– А вот – Савка сказал. Вот и узнал.

– Дурак ты, Савка, – обернулся Евсей уныло.

Сели за чай. Один стакан, наполовину налитый, стоял на подносе особо, в сторонке. Иннокентий, суется, долил стакан кипятком и подал Барыбе.

Все усталились и ждали: ну, сейчас...

Барыба помешал, хлебнул, не торопясь. Молчали, глядели. Стало чудно Барыбе, невтерпеж, захохотал – загромыхал по камням. За ним заржал Савка и залился тоненько дьяконок.

– Чего ты? – поглядел Евсей, глаза у него были рыбы, вареные.

Громыхал Барыба, катился вниз, уже не остановиться, колотилось, зелено туманилось в голове. Смешливый задор задира, толкал сказать:

– Я самый и есть. Я и украл.

Выпил Барыба, а все молчал и улыбался четырехугольно, зверино.

Евсею не сиделось.

– Ну, рассказывай, что ли, Барыба. Чего там.

– Про что рассказывать-то?

– Сам знаешь, про что.

– Ой, Акуля, чтой-то ты шьешь не оттуля! Тебе про деньги, а? Так я ж тебе говорю: Савка мне рассказал. Только всего и знаю.

Нарочным голосом говорил Барыба: вру, мол, а подика, поймай.

Дьяконок подскочил к Барыбе, похлопал его по плечу:

– Нет, братец, тебя никакой разрыв-травой не проймешь. Крепок, литой.

Евсей замотал космами:

– Эй, пропадать! Беги, Савка, за вином.

Пили. Туманилось, колотилось в голове. Зеленел дымок от курева. Дьякон плясал матросский танец.

В сумерках Барыба вернулся домой. И у самой у апросиной калитки почуял вдруг: подгибаются коленки, заволокло глаза. Прислонился к косяку, перепугался: никогда такого не бывало.

Открыла Апрося дверь, поглядела на жильца:

– Да что же это на тебе лица нет? Аль неможется, а?

Как-то во сне очутился на кровати. Лампочка. Апрося в изголовьи. На лбу мокрая, в уксусе, тряпица.

– Болезный ты мой, – сказала Апрося уютно и жалобно, немного в нос.

Сбегала Апрося к соседям, раздостала Барыбе порошок лекарственного. Ночью заволакивало и опять проясняло в голове, и видел Барыба на стуле в изголовьи дремлющую Апросю.

На третий день к утру отлегло. Лежал Барыба под белой простыней, с тенями серыми, осенними на лице.

Попрозрачнел как-то, почеловечел. «И правда, ведь чужой я ей, а сидела ночь, не спала...»

– Спасибо тебе, Апрося.

– И, что ты, болезненький мой. Чай, ведь болен ты.

И наклонилась к нему. Была она в одной юбке пестрядинной и холщовой рубахе, и совсем перед глазами у Барыбы мелькнули две острых колющих точки на груди под редким холстом.

Закрыл Барыба – и опять открыл глаза. В окна глядит летний жгучий день. Где-то там сверкает Стрелецкий пруд, купаются, белеет тело...

Заколотилось в голове еще жарче. Беспокойно задвигал Барыба тяжкими своими челюстями и потянул к себе Апросю.

– Вона что? – удивилась она. – Да, может, вредно тебе? Ну-у, погоду, тряпку-то сменять пора.

Переменила спокойно тряпку и заботливо, хозяйственно легла на кровать к Барыбе.

Так и повелось. Целый день суется, хозяйничает, горшками гремит Апрося, стрелецкая солдатка. Свой мальчишка, а тут еще и Барыба, и об нем пекись. Отболелся-то он, положим, живо, а все же управиться одной не просто.

Вечером вернется откуда-то Анфим Егорыч, заглянет к Апросе:

– Приходи ужо-тка, вечерком.

– Прийти, говоришь? Ладно. Сбил ты меня с толку сейчас. И чтой-то мне нужно было сделать – совсем замстилось. Да, бишь, яйца повынать из-под кур: опять хорек проклятенный выпьет.

Бежала в курник. Раздувала потом самовар. Один у себя пил Барыба чай, перелистывал что-то. «И все читает, и все читает, долго ли так и глаза испортить». Укладывала мальчонку своего спать. Садилась на лавку и жужжала веретеном: сучила шерстяные серые нитки для зимних чулок. Шлепался сверху, с потолка, толстый черный таракан. «Ну, стало быть, поздно, пора». Тупым концом веретена почесывала в голове, зевала, крестила рот. Старательно, плюя на щетку, начищала анфим-егорычевы сапоги, раздевалась, ак-

куротно складывала все в уголку на лавке и несла сапоги Барыбе.

Барыба – ждал. Ставила Апрося у кровати сапоги и ложилась.

Уходила через полчаса. Позевывала. Отбивала десять поклонов, читала Отчу и засыпала накрепко: натрудилась за день, не оберешься хлопот.

17. Семен Семеныч Моргунов

Раз как-то Барыба сказал Тимоше:

– Да какой же ты портной? У тебя тут, дома, и шитья-то никакого нету.

А очень просто, почему не было. Тимоша – он ведь какой: то ничего, ничего, а то как закрутит. Ну, и пропадай тогда заказчиковы брюки: обязательно пропьет. Знали эту манеру его и опасались ему на дом давать. Вот и ходил он шить по домам. Многих обшивал купцов, также и господ – хорошо шивал, мошенник. Между прочим, был он своим, можно сказать, человеком у адвоката Семена Семеныча Моргунова. Так и называл его Моргунов:

– Мой придворный портной.

Сапоги на Тимоше редко бывали: больше в закладе. И приходил он к Моргунову в старых резиновых калошах, а под мышкой, в бумаге завернуты белые парусиновые туфли. В передней обязательно калоши скинет, туфли белые наденет – готов. И пойдут у них с Моргуновым разговоры необыкновенные: о Боге, об угодниках, о том, что все в мире – одна видимость, и как надо жить. Об Моргунове Тимоша понимал, как об умном человеке. Да такой он и был, Моргунов Семен Семеныч.

Моргунов – это, впрочем, не настоящая его фамилия, а так – прозвание вроде, дразнили его так по-уличному. Да только на него поглядеть – сразу скажешь: Моргунов и есть.

Лик у Семена Семеныча был тощий, темный, иконописный какой-то. Глазищи – громадные, чернищие. И не то изумленные какие-то, не то бессовестные – очень уж велики. Одни только глаза на лице и есть. И моргал ими он постоянно: морг, морг, – будто совестился глаз своих.

Да это что – глаза. Он и весь как-то подмаргивал, Семен-то Семеныч. Как пойдет по улице, да начнет на левую ногу припадать – ну, как есть, весь, всем своим существом, подмаргивает.

И уж любили же его за хитрость купцы!

– Семен-то Семеныч, Моргунов? У-у, дока, язва! Этот, брат, дойдет. Без мыла влезет и вылезет. Ты гляди, гляди-ка, подмаргивает-то как, а?

Так и повелось, что вел он у купцов все их делишки темные: вексельные там или – чего лучше – несостоятельные. И уж не мытьем, так катаньем, а дойдет-таки суд и выплывет. Зато и платили ему хорошо.

К Моргунову вот и повел Барыбу Тимоша. Да оно и пора было.

Осень была эта так какая-то несуразная: падал снег и таял снег. А со снегом таяли барыбины-евсеевы денежки. Из казначейства пришел ответ: отказали, дьяволы, кто их знает почему, какого рожна им еще нужно. Ну, вот и нужда была себе какое ни на есть дельце подыскать. Есть-то ведь хочется.

Семен Семеныч отвел Тимошу в сторонку и спросил о Барыбе:

– Это кто же будет?

– А это – так, вроде помощник мой: я вот шью, говорю, – а он слушает. Без помощника-то ведь говорить не станешь, сам с собою.

Семен Семеныч задребезжал, засмеялся.

«Ну, значит, в духе: пойдет дело на лад», – подумал Тимоша.

– А раньше-то вы чем занимались? – спросил Моргунов Барыбу.

Барыба замялся.

– А он у вдовы одной почтенной потешником был, – помог Тимоша, ковыряя иголкой в шитье.

Моргунов опять задребезжал: ну и занятие, нечего сказать.

А Тимоша невозмутимо продолжал:

– Ничего такого особенного. Дело торговое. Всё у нас теперь, по силе времени, дело торговое, тем толь-

ко и живем. Купец селедкой торгует, девка утробой торгует. Всяк по-своему. А чем, скажем, утроба – хуже селедки, или чем селедка – хуже совести? Все – товар.

Моргунов совсем развеселился, подмаргивал, дребезжал, хлопал Тимошу по плечу. Потом засерьезничал вдруг, иконописный стал, строгий, глазами вот-вот проглотит.

– Что ж, заработать хотите? – спросил Барыбу. – Дело найдется. Мне вот свидетели нужны. Вид-то у вас внушительный, годитесь как будто.

18. В свидетелях

Так и начал Барыба в свидетелях ходить у Моргунова. Дело нехитрое. С вечера, бывало, Моргунов начинит Барыбу: вот это-то, гляди, не позабудь, Василий-то Курьяков, купецкий сын, толстый-то этот, – он только руку поднял первый. А ударил первым мещанин, рыжий который, ну да, рыжий. А ты, мол, был у садового забора и самоглазно все видел.

А наутро стоял Барыба у мирового, приглаженный, степенный, ухмылялся иной раз: чудно уж очень все это. Рассказывал аккуратно, как научил Моргунов. Купецкий сын Василий Курьяков торжествовал, мещанина сажали в кутузку. А Барыба получал трешницу, пятишницу.

Семен Семеныч только и знал – Барыбу похваливал:

– Ты, брат, солидный очень, да и упористый, кряжистый. Тебя с толку не сбить. Скоро я тебя по уголовным брать стану.

И стал Барыбу с собою возить в соседний город, где палата была. Справил Барыбе длиннополый, вроде купецкого, сюртук. В сюртуке этом часами Барыба шатался по коридорам палаты, позевывая и лениво ожидая своей очереди. Спокойно и деловито показывал – и никогда не путался. Пробовали, было, прокурор или там защитник сбить его с панталыку, да нет, куда: упрется – не сбить.

Хорошо заработал Барыба на завещании одном. Купец Игумнов помер. Почтенный был человек, семейственный, жена, девчушка. Рыбную торговлю держал, и все его в городе знали, потому что посты у нас очень строго блюдут. Руки у Игумнова у этого все, как есть, кругом в бородавках были. Говорили, что, мол, от рыбы: накололся об рыбы перья.

Жил Игумнов, слава Богу, как все. А под старость приключилась с ним история: бес в ребро. Окрутила его округ пальца дочерина учительница, ну, просто, гувернантка. Жену с девчонкой со двора согнал. Лошади, вина, гости, море разливанное.

Только перед смертью старик и очухался. Призвал жену с дочерью, прощенья просил и завещание на ихнее имя написал. А первое завещание у мадамы осталось, у гувернантки этой самой, и все в том завещании ей было отписано. Ну, и завязалось дело. Сейчас, конечно, Семена Семеныча за бока:

– Семен Семеныч, голубчик. Что не в уме он второе завещание писал – обязательно это надо доказать. Свидетелей представить. За деньгами я не постою.

Думали-гадали Семен Семеныч с Барыбой. Покопался-покопался Барыба и вспомнил: видал как-то Игумнова, покойника – из бани он зимою выбежал и в снегу валялся. Дело у нас самое обыкновенное. А в таком сорте представили, что он зимой по улицам не в своем виде бегал. И свидетелей еще подыскивали: что ж, правда, многие видывали.

И когда показывал это на суде Барыба, таково правильно все толковал и увесисто, как каменный фундамент клал – даже и сам поверил. И глазом не мигнул, когда игумнова вдова, в черном платочке на черничку похожая, поглядела на него очень пристально. А мадама после суда глазки ему сощурила:

– Вы прямо благодетель мой.

К ручке приложиться дала и сказала: «Заходите когда». Очень Барыба доволен был.

19. Времена

– Не-ет, до нас не дойдет, – говорил Тимоша уныло. – Куды там. Мы вроде как во град-Китеже на дне озера живем: ничегошеньки у нас не слыхать, над головой вода мутная да сонная. А наверху-то все полыхает, в набат бьют.

А пущай бьют. Так у нас на этот счет говаривали:

– Это уж пусть себе они там в Вавилонах с ума-то сходят. А нам бы как поспокойней прожить.

И верно: как газеты почитать – с ума сходят. Почесть, сколько веков жили, Бога боялись, царя чтили. А тут –

как псы с цепи сорвались, прости Господи. И откуда только из сдобных да склизких вояки такие народились?

Ну, а у нас пустяками этими разными и некогда заниматься: абы бы ребят прокормить, ведь ребят-то у всех угол непочатый. Со скуки, что ли, кто их знает с чего, плодущий у нас народ до страсти. И домовитый по причине этого, богомольный, степенный. Калитки на засовах железных, по дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого чтоб в дом пустить, так раза три из-за двери спросят: кто такой да зачем. У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то оно дело вернее: никто с улицы не заглянет. Тепло у нас любят, печки нажаривают, зимой ходят в ватных жилетках, юбках, в брюках, на вате стеганных, – не найти таких в другом месте. Так вот и живут себе ни шатко – ни валко, преют, как навозец, в тепле. Да оно и лучше: ребят-то, гляди, каких бутузов выхаживают.

Пришли к Моргунову Тимоша с Барыбой. Моргунов – с газетой сидит.

– Вот, министра-то ухлопали, слышали или нет?

Тимоша улыбается – лампадку веселую зажег:

– Слышали, как не слышать. Идем это по базару, слышу, разговаривают: «Очень его даже жалко: поди ведь тысяч двадцать в год получал. Очень жалко».

Моргунов так и затрясся от смеху:

– Вот они, все тут, наши-то: тысяч двадцать... очень жалко... Ох уморил!

Помолчали, газетами пошуршали.

– А у нас – тоже Анютку Протопопову в Питере забрали, доучилась, – вспомнил Барыба.

Моргунов сейчас же привязался и пошел подзуживать – знал, как Тимоша о бабах понимает: связываться с ними в серьезном деле – все одно, что мармелад во щи мешать.

– В гости бабу еще – туда-сюда, пустить можно. А в себя уж – ни-ни, – Тимоша грозит сухоньким своим пальцем. – В себя пустил – пропал. Баба – она, брат, корни – вроде лопуха пускает. И не вывести никак. Так лопухом весь и зарастешь.

– Лопухом, – смеется, громыхает Барыба.

А Моргунов кулаком стучит, орет неестественным голосом:

– Так их, Тимоша, так! А ну, прорцы еще, царю иудейский!

«И чего ломается, чего орет», – думал Барыба.

Правда, любил поломаться Семен Семеныч. Такой уж какой-то ненастоящий человек был, притворник, все-то подмигивает, выглядывает, с камешком за пазухой. И глаза – не то охальные, не то мученические.

– Пива нам, пива, пива! – орал Семен Семеныч.

Приносила на подносе ясноглазая Дашутка, свежая – ну вот сейчас после дождя травка.

– Новая? – говорил Тимоша и не глядел на Моргунова.

Менял их Моргунов чуть не каждый месяц. Белые, черные, тощие, дебелые. И до всех одинаково ласков был Моргунов:

– Что ж, все они одинаковы. А настоящей все равно не найти.

За пивом, глядишь, Тимоша завел уж о своем любимом, о Боговом, начал на Моргунова наседать с хитрыми вопросами: а коли Бог все может и не хочет нам жизнь переменить – так где же любовь? И как же это праведники в раю останутся? И куда же Бог денет этих убийц министровых?

Моргунов – не любит о Боге. Насмешник, наяный, а тут вот живо потемнеет, как черт от ладана.

– Не смей мне о Боге, не смей о Боге.

И говорит тихонько как-то, а жуть – слушать.

Тимоша доволен, смеется.

20. Веселая вечерня

Постом Великим все злющие ходят, кусаются – с пищи плохой: сазан да квас, квас да картошка. А придет Пасха – и все подobreют сразу: от кусков жирных, от наливок, настоек, от колокольного звона. Подobreют: нищему вместо копейки – две подадут; кухарке на кухню – пошлют кусок кулича господского; Мишутка наливку на чистую скатерть пролил – не выпорют для праздника.

Понятно, перепадало и Чернобыльникову, когда ходил он по домам, открытки расписные разносил и хозяев поздравлял с праздником. Где четвертак дадут, а где и

полтинник. Насбирал Чернобыльников – и повел в чуриловский трактир приятелей: Тимошу, Барыбу да казначейского зятя.

Выцвел к весне Тимоша, общипанный ходит, как осенний воробейчик, ветром шатает – а хорохорится, бодрится туда же.

– Полечился бы ты, Тимоша, ей-Богу, – крушился Чернобыльников. – Гляди, какой стал.

– Чего лечиться-то? Все одно – помру. Да оно, по мне, и любопытно – помереть-то. Ну как же: всю жизнь в посаде кис, никуда, а тут – в неведомые страны спутешествовать, по бесплатному билету. Чать, лестно.

Знай себе посмеивается Тимоша.

– Ты бы не пил-то хоть так, вредно ведь тебе.

Нет, хоть ты что. Пьет, не отстаёт, по старому своему обычаю – пиво с водкой. И все в красный ситцевый платок покашливает: платчище себе завел – веретье целое.

– А это, – говорит, – чтобы в благородном месте на пол не харкать.

Ударили к вечерне. Старик Чурилов переложил серебро из правой руки в левую и перекрестился, истово, степенно так.

– Эй, Митька, получи! – крикнул Чернобыльников.

Вышли вчетвером. Веселится весеннее солнце, приплясывают колокола. Как-то и расходиться-то неохота, компанию разбивать.

– Эх, люблю я пасхальную вечерню, – зажмурил глаза Тимоша. – Плясовая, а не вечерня. Пойдем всем обществом, а?

Барыба позвал в монастырь, благо он тут близко:

– А после вечерни к монаху одному знакомому чай пить сведу, – чудака такой.

Казначейский зять вынул часы:

– Никак нельзя, обещался к обеду, а у казначея опаздывать не принято.

– Ох, вот ушиб-то: не принято! – Тимоша засмеялся, закашлялся, полез за платком: нету. – Стой, ребята, платок наверху обронил. Сейчас сбегать.

Взмахнул ручками, вспорхнул, – воробейчик.

Позванивают колокола веселые, идет нарядный народ к веселой пасхальной вечерне.

– Погоди-ка, орут наверху... чего там такое? – навострил Барыба большие свои нетопырячьи уши.

Казначейский зять скорчил мину.

– Опять, наверно, драка. Не умеют держать себя в общественном месте.

Дз-зынь! – высадили вверху стекло, осколки его звонном – вниз. И сразу затихло.

– Ого, – прислушался Чернобыльников, – нет, тут что-то...

И вдруг кубарем, красный, взлохмаченный, выкатился, задыхаясь, Тимоша.

– Там они... вверху... приказали. И все... подняли руки и стоят...

Тр-рак, тр-рак! – затрещало вверху.

Казначейский зять вытянул длинную шею и стоял секундочку, глядя вверх одним глазом, как индюк на коршуна. Потом закричал тонко и жалостно: стреля-яют! И пустился наутек.

А на лестнице загромыхали сапожищами, заревели, сыпались все сверху.

– И-и-и! Держи-и...

И опять: тр-рак, тр-рак.

На секунду: в дверях впереди всех – красное безглазое лицо.

«Должно быть, это со страху он закрыл глаза», – мелькнула мысль.

А он, безглазый, уж в переулочке напротив, уж сгинул. И следом сверху высыпались все как пьяные – дикие, распоясанные, гончие.

– Держи-и его! Не пуща-ай! Во-во-вот он!

Кого-то внизу у подъезда сграбастали, накинулись, притиснули, колотили – и все-таки ревели: держи-и, – так уж просто, нужно было вылиться через глотку.

Нагнувши голову, как баран, пробился Барыба вперед. Зачем-то это нужно было, чуял всем нутром, что нужно, стиснул железные челюсти, шевельнулось что-то древнее, звериное, желанное, разбойничье. Быть со всеми, орать как все, колотить, кого все.

На земле, в кругу, лежал мальчишечка – чернявенький такой, с закрытыми глазами. У рубахи воротник сбоку разодран, на шее – черная родинка.

Старик Чурилов стоял в середине круга и пинал мальчишечку ногою в бок. Такая степенная, борода тут вся у него склочена, рот перекошен – куда вся богомольность девалась.

– Унесли! А, дьяволы! Убег один, со ста рублям убег! А, дьяволы?

И опять пинал. Из-за его спины тянулись к лежащему потные кулаки, но не смели: у Чурилова украли, он, стало, и хозяин тут, ему и бить.

Откуда-то вынырнул вдруг Тимоша, прямо перед носом у Чурилова-старика, – вскочил красный, злой и заклевал его, засыпал, замахал руками:

– Ты что ж это, хрыч старый, нехристь, злыдень? Убить мальчика-то за сто целковых хочешь? Может, и убил уж? Гляди, не дышит. Дьяволы, звери, али человек-то и ста целковых не стоит?

Старик Чурилов сначала опешил было, а потом окрысился:

– Ты что, заодно с ними? Заступник! Ты, брат, гляди. Тоже разговоры хорошие в трактире разводишь, люди-то слышали. Держите его, православные!

Подошли было ближе, но замялись: все-таки Тимоша свой как будто, а эти были не нашенские. Так это, зря, наверно, старик...

Краснорожий, рыжий мещанин, маклак лошадей, по случаю праздника напялил бумажные манжеты. В свалке манжеты сползли вниз, между рукавом и белым торчали рыжие волосы, и еще страшней были его огромные руки.

Руки протянулись к Тимоше и легонько выпихнули его из круга. Рыжий мещанин сказал:

– Проваливай, проваливай, пока цел, заступник. Без тебя управимся.

И деловито начал обшаривать чернявенького мальчонку, переворачивая его, как тушу.

Куда уж там в монастырь идти – до того ли? Весь вечер у Тимоши просидел Барыба. Чернобыльников подошел попозже. И рассказал:

– Иду я, значит, по Дворянской... Слышу, на лавочке у ворот сидят и рассказывают: «А помогал, говорит, им наш же Тимошка-портной, вот пропащий-то человек».

– Дураки, – сказал Тимоша. – Сплетники. А Чурилову, злыдню, дьяволу, так и надо. Что ему от сотни – убудет? А они, может, два дня не ели?

Помолчал и прибавил:

– Ну, неуж и до нас дойдет? А коли бы дошло – ей-Богу, в самый бы омут полез. Укокошат – ну туда и дорога, все равно – моей жизни полвершка осталось.

21. Исправниковы хлопоты

Ну вот, не было печали, так черти накачали. Руки вверх, туда же, это у нас-то! А теперь хлопот у исправника Ивана Арефьича – не оберешься.

Понаехали из губернии, суд военный, – и все из-за какого-нибудь поганца-мальчишки. Председатель, полковник, худой, с седым бобриком, желудком страдал. Вот горя-то зазнал с ним Иван Арефьич! Того ему нельзя есть, другого нельзя – ну, сущая напасть.

В первый раз, как приехали гости незваные, Иван Арефьич устроил завтрак на диво: бутылки на столе, коробки распечатанные, окорока, кулебяка. А полковник позеленел даже весь от злости. Туда-сюда вилкой ткнет, понюхает:

– Кажется, очень жирно.

И скиснет, и не ест. Исправничиха Марья Петровна вся исстрадалась:

– Ах, ради Бога, полковник, что же вы не кушаете? – «Ну, уж и влетит, должно быть, теперь моему Ивану Арефьичу».

Зато прокурор-душа поддержал. Круглячок, лысенький, розовый, как поросенок. В баню, наверно, раза два в неделю ходит. И все закатывается, хохочет и всего по два куска себе накладывает.

– Ну-ка, еще кулебяки-то – матушки. Только, знаете, по таким заплесневелым местам, вроде вашего посада, теперь на Руси и умеют по-настоящему, по-старинному, пироги печь...

А вечером у исправника в кабинете зажжены на письменном столе свечи (никогда в жизни не зажигались),

разложены бумаги. Иван Арефьич пыхтит своей папирой-пушкой и отгоняет дым в сторону: не дай Бог, в полковника дым попадает.

Полковник перечитал бумаги и поморщился кисло:

– Что же мы, с одним с этим мальчишкой будем возиться? Когда от него ни полслова не добьешься. Ужасно обидно. На то вы и исправник, чтобы уметь разыскать.

На кровати сидя, сапоги стягивал Иван Арефьич и все к исправничихе пристаивал:

– Уж я и ума не приложу, Маша. Подай им еще, одного мало. Да откуда я возьму, коли он убежал? Да, вот что еще не забудь: полковнику завтра к двенадцати геркулесу на молоке, уварить хорошенько, да бутылку нарзану. Ох, боюсь я его, как бы не напакостил, злющий!

Марья Петровна записала:

– Геркулес... Нарзан... А ты вот что, Иван Арефьич, посоветовался бы ты с Моргуновым. Он пройда, он чего хочешь достанет, – ей-Богу, попробуй.

Иван Арефьич зарубил себе это на носу и спал поспокойнее малость.

На площади перед полицией, перед желтыми облупленными стенами – базар. Поднятые вверх и связанные оглобли, лошади с привязанными мешками овса у морд, визгливые поросята, кадушки с кислой капустой, возы с сеном. Хлопают по рукам, торгуясь; зазывают звонко; скрипят телеги; кучер земского в безрукавке пробует гармонику.

А в исправниковом кабинете чинят допрос. Полковник с тоскою вслушивается в себя, внутрь: в животе глухо урчит. «Ах, Господи, целую неделю не было, а теперь опять, кажется...»

Старик Чурилов вошел, степенный, длиннополый, лунь седая. Перекрестился:

– Как было-то? Да вот как, ежели все по порядку...

Рассказал, утерся ситцевым платком. Постоял, подумал: «Хорошо бы нажалиться на Тимошку-дерзеца, начальство, кажись, доброе».

– Вот еще, ваши благородия, есть тут портной Тимошка, – пропащий человек, дерзец. За мальчишку этого заступаться стал – за этого самого, какой стрелял-то. А я ему: ты, мол, из ихних, что ли? А он меня при всем при народе...

Старика отпустили. Прокурор потер мягкие потные ручки, расстегнул нижнюю пуговицу на мундире и сказал тихонько полковнику:

– Гм. Тимоша этот... Как вы думаете?

За окном торговались, кричали, скрипели. Полковник не выдержал:

– Иван Арефьич, да закройте окно! Голова трещит. Что за манера – базар перед самым кабинетом!

Иван Арефьич, на цыпочках, закрыл окно и позвал:

– Следующий.

Томно, жеманясь, рассказывал казначейский зять. Прокурор спросил:

– Так, значит, он вернулся в трактир, а потом опять выбежал? Ага? Ну, а платок? Вы о платке, кажется, что-то упоминали. Он за платком вернулся?

Казначейский зять вспомнил исплеванный красный Тимошкин платок, кисло поморщился и сказал, гнуся, с досадой:

– Какой платок? Я никакого платка не помню.

Как-то неприлично даже было и вспоминать-то ему об этом платке.

Барыба привычным нюхом шел за вопросами прокурора. И когда дошло до платка, он уверенно сказал:

– Нет, платка никакого не было. Сказал просто: дело наверху есть.

Когда отпустили Барыбу, прокурор хлебнул холодного чаю и сказал полковнику:

– Прикажете написать постановление о задержании этого самого Тимоши? По-моему, все эти показания... Я знаю, вы иногда чересчур осторожны, но тут...

У полковника в кишках схватывало, подкатывалось, и он думал:

«Черт знает! Эта исправничиха, толстая дура, что за провинциальная манера делать все жирным...»

– Так я говорю, полковник...

– Ах, отстаньте, ради Бога! Пишите, что вам угодно. У меня ужасно живот болит.

22. Шесть четвертных

Как забрали Тимошу, никто даже и не удивился.

– Давно туда и глядел.

– Язык-то распускать он мастер был. Непочетник! О Боге-то все равно вон как об лавочнике Аверьяне разговаривал.

– И всюду, куда не следует, носом совался, обо всех судил. Скажи, пожалуйста, какая нашлась Маремьяна-старица – обо всех печалится.

А Моргунов сказал:

– Такие головы у нас недолго держатся. Вот мы с Барыбой поживем.

Похлопал Барыбу по спине и поглядел на него иконописными своими глазищами, не то презрительно, не то ласково: поди-ка у него разбери – притворник он.

Вечером в тот же день Семена Семеныча к себе пригласил исправник Иван Арефьич – на чашку чаю. И умолял Христом-Богом:

– Наставьте вы этого своего... как его там... на путь истинный. Ну да, Барыбу-то этого. Чтобы поопределенней, как-нибудь на суде показал. Я ведь знаю, он у вас специалист, ну чего там, чего там, люди свои. Ей-Богу, они мне всю шею отвертели, губернские эти, разделаться бы с ними – да и с колокольни долой. А уж этот полковник со своими привередами: то ему не так, это не эдак...

Поторговались, сошлись на шести четвертных.

– Ну, чего там мало – не мало. И этому... как его... местечко какое-нибудь можно, Барыбе этому устроить. Чего же еще лучше? Ну, писарем там, урядником...

А на другой день, за кронберговским пивом, Моргунов подходами всякими подходил к Барыбе, улещал его. Барыба все мялся.

– Да мы с ним вроде приятели были, чудно очень как-то, неловко.

– Эх, милый, нам ли с тобой стесняться да думать над чем-нибудь? С головою ведь увязнем, сгинем. Как это в сказке какой-то: оглянуться – помереть со страху. Так уж лучше без оглядки. Да оно ведь до суда-то еще и далеко. Коли оскомина будет – отказаться успеешь.

«А и правда, черт с ним, все равно чахотка там эта... А тут бы местишко еще если заполучить... Что

же, весь век, что ли, с хлеба на квас?» И вслух Барыба сказал:

– Разве что для вас только, Семен Семеныч. Кабы не вы – ни за что.

– Кабы не я... Да я, голубь, знаю, что без меня такого бы сокровища из тебя не вышло. Ни то бы, ни се. А теперь...

Он помолчал, потом вдруг нагнулся к барыбину уху и шепотом:

– А тебе черти не снятся? А я каждую ночь во сне вижу, каждую ночь – понимаешь?

23. Мураш надоедный

Согласился, и к исправнику ходил, и исправник кучу целую денег дал и наобещал такого... Тут бы Барыбе и радоваться. А вот – нудило что-то, мешало. Какой-то вот комарик маленький, мураш, залез в нутро и елозит там, и елозит, и никак его не поймать, не раздавить.

Ложился спать Барыба и думал:

«Завтра вечером. Значит, еще целый день до суда. Захочу вот, пойду и откажусь. Сам себе господин».

Спал и не спал. И все будто додумывал во сне недодуманную какую-то мысль:

«Да и жизни-то всего в нем полвершка».

И опять снилось уездное, экзамены, поп, засовывающий бороду в рот.

«Опять провалюсь, второй раз», – думал Барыба.

И додумывал:

«А мозговатый он был, – Тимоша, это уж правду сказать».

– Почему «был»? Как же «был»?

Совсем распылил в темноте свои глаза и не мог больше спать. Елозил мураш надоедный, томил.

– Почему «был»?

24. Прощайте

Поздно уж, о полдень, проснулся Барыба в Стрелецкой своей комнатухе: все кругом было светлое, ясное, и таким простым все открылось, что нужно было на суде

сделать. Будто ничего этого, что ночью томило, – ничего такого и не было.

Принесла Апрося самоварчик, ситный и стала у порога. Рукава засучены, левую ладонь – под локоть правой руки, а на правую руку немудрую свою голову положила. И слушать бы Анфима Егорыча, слушать, вот так стоять, ужасаясь, вздыхая жалобливо, покачивая головой сердобольно.

Кончил Барыба чай пить. Сюртук Анфиму Егорычу подала Апрося и сказала:

– Чтой-то весел ты нынче, Анфим Егорыч. Али деньги получать?

– Получать, – сказал Барыба.

На суде Тимоша – ничего, бодрился, вертел головкой, и шея у него была длинная, тоненькая, такая тоненькая – поглядеть страшно.

А чернявый мальчишечка совсем какой-то чудной был: осел весь, вроде как бы у него все кости стали вдруг мягкие, растаяли. Так и валился на сторону. Конвойный то и дело выправлял его и прислонял к стенке.

Барыба говорил уверенно и толково, но торопился: все же отсюда поскорее бы куда-нибудь уйти. Когда он кончил, прокурор спросил:

– Что же вы раньше-то молчали? Столько ценного материала.

Суд собрался уходить уж, как Тимоша вскочил вдруг и сказал:

– Да. Ну, так прощайте, все!

Никто не ответил.

25. Утром в базарный день

Утром, в веселый базарный день, перед острогом, перед местами присутственными – визг поросят, пыль, солнце; запах от возов с яблоками и лошадей; спутанный, облепленный базарным гамом колокольный звон – где-то идет крестный ход, просят дождя.

Исправник Иван Арефьич, в позеленелом мундире с папиросой-пушкой, довольный, вышел на крыльцо и сказал, строго глядя в толпу:

– Преступники понесли законное наказание. Пре-ду-пре-ждаю вас...

В толпе, тихой, вдруг зашуршало, закачалось: как в лесу налетел ветер.

Кто-то скинул шапку и перекрестился. А в задних рядах, подальше от исправника, голос сказал:

– Висельники, дьяволы!

– Ты это про кого, про кого это, а?

Иван Арефьич круто повернулся и ушел. И сразу перед крылечком – как проснулись. Загамели все сразу, поднимались руки, всякому хотелось, чтобы его-то и слышали. Отмахивал саженки рыжий мещанин.

– Врут, не повесили, – убежденно говорил он. – Немысленное дело: как это можно живого повесить? Да нешто он дастся, живой-то? Руками-зубами будет... А чтоб живой дал себе на шею вздеть – да нешто это мысленное дело?

– То-то вот и оно, образование-то, книги-то, – говорил старик из торговцев. – Тимошка-то, он не в меру умен был, Бога забыл, вот оно...

Рыжий мещанин злобно поглядел на старика сверху и увидел, что из ушей у него растут волосы, длинные и седые.

– Молчал бы, сам в гроб глядишь, – сказал рыжий. – Гляди, из ушей уж волосы выросли.

Старик повернулся сердито и, вылезая из толпы, бормотал:

– Развелись всякие... Кончилось в посаде старинное житье, взбаламутили, да.

26. Ясные пуговицы

Белый, ни разу не стиранный еще китель, серебряные солнышки пуговиц, золотые жгуты на плечах.

«Мать пресвятая! Неужели это правда? Балкашинский двор и все такое – а вот теперь иду я, Барыба, в погонях?»

Пощупал: тут, есть. Ну, стало быть, правда.

От нотариуса, из подъезда с вывеской, вышел с сумкой почтальон Чернобыльников. Остановился, приглядывался. Отдал честь, балуясь:

– Господину уряднику.

А Барыба захолонул от гордости. Небрежно подбросил к козырьку руку.

– Давно произвели?

– Да вот, дня три. Китель только нынче кончили. Хлопот теперь – форму шить.

– Ва-ажно! Начальство, стало быть? Ну, честь имею.

Распростились. Барыба шел дальше: надо сегодня являться к исправнику. Шел и сиял, сытый собою, майским солнцем, погонами. И улыбался четырехугольной улыбкой.

У острога Барыба остановился, спросил у будочника:

– Иван Арефьич у себя?

– Никак нет, уехали на убийство.

И будочник, от которого когда-то прятался воровавший по базарам Барыба, – будочник вежливо козырнул.

Барыба даже и рад был, что исправник уехал на убийство: походить бы еще по солнцу в новом кителе, и чтобы все козыряли. «Эх, хорошо жить на свете! И дурак же – чуть-чуть было не отказался». Сжимались железные челюсти, – разгрызть бы теперь какие-нибудь самые крепкие камушки, как бывало в уездном.

– Эге-э! Вот что! Вот когда к отцу-то пойти. Дурак старый – прогнал, а пусть-ка теперь поглядит.

Мимо чуриловского трактира, мимо пустых ярмарочных ларьков, по тротуару из прогнивших досок, а потом и совсем без тротуара, переулочком – по травке.

У обитой оборванной клеенкой двери – эх, старая знакомая! – остановился на минуточку. Почти что любил отца. Э, да что там, весь посад бы сейчас расцеловал: как же не расцеловать, когда в первый раз надет китель с погонами, с ясными пуговицами.

Постучал Барыба. Вышел отец. У-у, брат, постарел-то как! Седая щетина на щеках, спустил очки на нос, долго глядел. Узнал – не узнал, кто его знает – молчит.

– Чего надо? – буркнул.

Ишь, сердитый какой. Ну, не узнал, ясно дело.

– Ну, не узнаешь, старик? А прогнал-то меня, помнишь? Однако теперь вот – видишь. Три дня, как произвели.

Старик высморкался, вытер пальцы о фартук и покойно сказал:

– Слышал об тебе, слышал, как же. Добрые люди говорят.

Опять посмотрел поверх очков спокойно.

– И про Евсея, про монаха. И про портного тоже.

Запрыгала вдруг седая щетина на подбородке.

– И про портного, как же, как же.

И вдруг весь затрясся старик и завизжал, забрызгал слюной:

– Во-он из мово дому, вон, негодяй! Я т-тебе сказал, чтоб ты не смел к порогу моему приступить. Пошел во-он, вон!

Очумелый, вытаращил глаза Барыба и стоял долго, никак не мог понять. Когда прожевал, молча повернулся и пошел назад.

Мутнело уже на улице. Сумрачный ветерок потягивал из окна.

В чуриловском трактире за столиком, расставив ноги, руки в карманах, сидел Барыба, здорово уже нагрузившись. Бормотал под нос:

– Ну, и наплевать. Из-з ума выжил. Нап-пле-вать...

Но уже осело что-то на дне, замутило что-то. Не было веселого майского дня.

В уголку против Барыбы примостились у столика трое краснорядских приказчиков: один, пригнувшись, рассказывал что-то, двое слушали. И вдруг все трое грахнули, залились. Должно быть, что-нибудь уж очень чудное.

– А-а, так? А-а, ты так? Так я им, й-я им п-покажу всем, – бормотал Барыба под нос.

Глаза у него заплыли, щерился злой четырехугольный рот, напряглись жевательные железные желваки.

Приказчики опять весело грахнули.

Барыба вынул вдруг руку из кармана и постучал ножом по тарелке – пьяными, спотыкающими ударами.

Подскочил половой, Митька – скугаревая башка, нагнулся, ухмыляясь одной щекой, обращенной к приказчикам, и выражая почтение другой щекой – господину уряднику. Приказчики вытянули носы и слушали.

– Пс-слушай. С-скажи им, что й-я им, не п-пзволю смеяться. Й-я им... У нас теперь смеяться с-строго не д-дозволяется... Нет, пс-стой, я сам!

Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам. Будто и не человек шел, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба.



НА КУЛИЧКАХ

1. Божий зевок

Есть у всякого человека такое, в чем он весь, сразу, чем из тысячи его отличишь. И такое у Андрея Ивановича – лоб: ширь и размах степной. А рядом нос – русская курнофеечка, белобрысые усики, пехотные погоны. Творил его Господь Бог, размахнулся: лоб. А потом зевнул, чего-то скушно стало – и кой-как, тят-ляп, кончил: сойдет. Так и пошел Андрей Иванович с Божьим зевком жить.

Вздумал прошлым летом Андрей Иванович в академию готовиться. Шутка ли сказать: на семьдесят рублей одних книг купил. Просидел над книгами все лето – и случилось в августе на концерт Гофмана попасть. Господи Боже мой, сила какая! Куда уж там академией заниматься: ясное дело – быть Андрею Ивановичу Гофманом. Недаром же все в полку говорили: так Андрей Иванович играет шопеновский похоронный марш – без слез слушать нельзя.

Под диван все книги академические, взял учительницу, засел Андрей Иванович за рояль: весной в консерваторию поедет.

А учительница – светловолосая, и какие-то у ней особенные духи. Вышло, что вовсе не музыкой занимался с ней Андрей Иванович всю зиму. И пошла консерватория прахом.

Что же, так теперь и прокисать Андрею Ивановичу субалтерном в Тамбове каком-то? Ну, уж это шалишь: кто-кто, а Андрей Иванович не сдастся. Главное – все сначала начать, все старое – к черту, закатиться куда-нибудь

на край света. И тогда – любовь самая настоящая, и какую-то книгу написать и одолеть весь мир...

Так вот и попал Андрей Ивановч служить на край света, к чертям на кулички. Лежит теперь на диване – и чертыхается. Да как же, ей-Богу: третий день приехал – и третий день от тумана не продыхнуть. Да ведь какой туман-то: оторопь забирает. Густой, лохматый, как хмельная дрема, муть от него в голове – притчится какая-то несуразная нелюдь, и заснуть страшно, нельзя: закружит нелюдь.

Хоть какого-нибудь человеческого голоса захотелось – наваждение свалить. Кликнул Андрей Ивановч денщика:

– Эй, Непротошнов, на минутку!

Как угорелый, влетел денщик и влип в притолоку.

– Скушно у вас, Непротошнов: туман-то, а?

– Н-не могу знать, ваше-бродие...

«Фу-ты, Господи: какие глаза рыбы. Но можно же его чем-нибудь...»

– Ну что, Непротошнов, через год домой, а?

– Так тошно, ваше-бродие.

– Жена-то есть у тебя?

– Так тошно, ваше-бродие...

– Небось, по ней соскучился? Соскучился, говорю, а?

Что-то тускло мигнуло в Непротошнове.

– Как она есть конкурент моей жизни, жена-то, стало быть, то я... – и потух, спохватился, вытянулся Непротошнов еще больше.

– Да что: разлюбил, что ли? Ну?

– Н-не могу знать, ваше-бродие...

«О, ч-черт... Ведь вот: был, наверно, в деревне первый гармонист, а теперь – рыбы глаза. Нет, надо будет от него отвязаться...»

– Ладно. Иди к себе, Непротошнов.

Отвалился Андрей Ивановч к подушке. В окно полз туман лохматый, ватный: ну, просто не продыхнуть.

Перемогся – и хоть с храпом, а продыхнул Андрей Ивановч, и сам же услышал свой храп, хотел вскочить: «Батюшки, что же это я – среди бела дня сплю!»

Но запутал туман паутиной – и уж не шевельнуть ни рукой, ни ногой.

2. Картофельный Рафаэль

– Их преосходительства господина коменданта нету дома.

– Да ты, братец, узнай хорошенько. Скажи, мол, поручик Половец. Половец, Андрей Иванович.

– Полове-ец?

У денщика генеральского – не лицо, а начищенный самовар медный: до того круглое, до того лоснится. И был себе самовар заглохший, а тут вдруг начал пузыриться, закипать:

– Полове-ец? Ах-и-батюшки, позабыл я, дома они. Полове-ец – ну, как же: дома, пожалуйста! Только заняты малость.

Денщик отворил из сеней дверь налево. Андрей Иванович нагнулся, вошел. «Да нет... да, может, я не туда?»

Дым коромыслом, чад, суета, шипит что-то, пахнет жареным луком...

– Кто та-ам? Поближе, поближе, не слы-ы-шу!

Андрей Иванович шагнул поближе:

– Честь имею явиться вашему превосходительству...

Да черт-те возьми: да уж он ли это, генерал ли? Передник кухарский и беременное пузо, подпертое коротышками-ножками. Голая, пучеглазая, лягушачья голова. И весь разлтый, растопыренный, лягва огромная, – может, под платьем-то и пузо даже пестрое, бело-зелеными пятнами.

– Явиться? Гм, хорошее дело, хорошее дело... офицеров у меня мало. Запивох – это сколько угодно, – буркнул генерал.

И опять занялся своим делом: тонкими на диво ломтиками кромсал крупитчатый белый картофель. Нарезал, вытер фартуком руки, сигнул бочком к Андрею Ивановичу, уставился, обглядел и закричал сердито, снизу откуда-то, как водяной из бучила:

– Ну, что за нелегкая сюда занесла? Майн-Ридов начитался, а? Сидел бы себе, голубеночек, в России, у мамы под подолом, чего бы лучше. Ну что, ну зачем? Возись тут потом с вами!

Андрей Иванович оробел даже: уж очень сразу наскочил генерал:

– Я, ваше превосходительство... Я в Тамбове... А тут, думаю, море... Китайцы тут...

– Ту-ут! Едут сюда, думают, тут для них...

Но не кончил генерал: зашипело что-то на плите предсмертным шипом, закурился пар, паленым запахло. Мигом генерал пересигнул туда и кого-то засыпал, в землю вбил забористой руганью.

Тут только углядел Андрей Иванов поваренка-китайца, в синей кофте-курме: стоял он перед генералом, как робкий звереныш какой-то на задних лапках.

Р-раз! – и чмокнулась в поваренка звонкая оплеуха.

А он – ничего: потер только косые свои глаза кулачками, чудно так, быстро, по-заячьи.

Отдувался генерал, плескалось под фартуком его пузо.

– Уф-ф! Замучили, в лоск. Не умеют, ни бельмеса не смыслят: только отвернись – такого настряпают... А я смерть не люблю, когда обед так, шата-валя, варганят, без всякого настроения. Пища, касатик, дар Божий... Как это, бишь, учили-то нас: не для того едим, чтобы жить, а для того живем, чтобы... Или как, бишь?

Андрей Иванов молча глядел во все глаза. Генерал взял салфетку и любовно так, бережно, перетирал тонкие ломтики картофеля.

– Картошка вот, да. Шваркнул, мол, ее на сковородку и зажарил, как попало? Вот... А которому человеку от Бога талант дан, тот понимает, что в масле ни в ко-ем слу-чае... Да в масле? – да избави тебя Бог! Во фритюре – обязательно, непременно, запомни, запиши, брат, раз навсегда: во фритюре, – слышишь?

Генерал взял лимон, выжимал сок на ломтики картофеля. Андрей Иванов насмелел и спросил:

– А зачем же, ваше превосходительство, лимон?

Видимо, пронзило генерала такое невежество. Отпрыгнул, орет откуда-то снизу – водяной со дна из бучила:

– Ка-ак зачем? Да без этого ерунда выйдет, профанация! А покропи, а сухо-насухо вытри, а поджарь во фритюре... Картофель *à la lyonnaise*¹ – слышал? Ну, куда-а вам! Сокровище, перл, Рафаэль! А из чего? Из про-

¹ по-лионски (фр.).

стой картошки, из бросовой вещи. Вот, миленок, искусство что значит, творчество, да...

«Картошка, Рафаэль, что за чушь! Шутит он?» – поглядел Андрей Иванович.

Нет, не шутит. И даже – видать еще вот и сейчас – под пеплом лица мигает и тухнет человечье, далекое.

«Что ж, пусть картофельный – хоть картофельный Рафаэль...»

Андрей Иванович поклонился генералу, генерал крикнул: – Ларька, проводи их к генеральше. До свидания, голубенок, до свидания...

Бывают в лесу поляны – порубки: остались никчемушные три дерева, и от них только хуже еще, пустее. Так вот и зал генеральский: редкие стулья, как бельмо – на стене полковая группа. И как-то некстати, ни к чему, приткнулась генеральша посередине зала на венском диванчике.

С генеральшей сидел капитан Нечеса. Нечесу Андрей Иванович уже знал: запомнил еще вчера включенную его бороду в крошках. Подошел к генеральше, поцеловал Андрей Иванович протянутую руку.

Генеральша переложила стаканчик с чем-то красным из левой руки опять в правую и сказала поручику одно-тонно, глядя мимо:

– Садитесь, я вас давно – не видала.

«То есть как – давно не видала?»

И сразу сбила с панталыку Андрея Ивановича, выскочила из головы у него вся приготовленная речь.

Капитан Нечеса, кончая какой-то разговор, пролаял хрипло:

– Так вот-с, дозвоьте вас просить – в крестные-то, уж уважьте...

Генеральша отпила, глаза были далеко – не слыхала. Сказала – ни к селу ни к городу – о чем-то о своем:

– У поручика Молочки пошли бородавки на руках. И кабы только еще на руках, а то по всему по телу... Ужасно неприятно – бородавки.

Как сказала она «бородавки» – так за спиной у Андрея Ивановича что-то шмыгнуло, фыркнуло. Он оглянулся – и увидал позади себя, в дверной щели, чей-то глаз и веснушчатый нос.

Капитан Нечеса повторял умильно:

– ...Уважьте – в крестные-то!

Должно быть, теперь услыхала генеральша. Засмеялась невесело, треснуто – и все смеется, все смеется, никак не перестанет. Еле выговорила, к Андрею Ивановичу обернувшись:

– Девятым... разрешилась капитанша Нечеса – девятым. Пойдемте со мной – в крестные отцы?

Капитан Нечеса закомкал свою бороду:

– Да, матушка, простите Христа ради. Уж есть ведь, крестный-то. Жилец мой, поручик Тихмень, обещано ему давно...

Но генеральша опять уж ничего не слышала, опять мимо глядела, прихлебывала из стаканчика...

Андрей Иванович и капитан Нечеса ушли вместе. Хлюпала под ногами мокреть, капелью садился на крыши туман и падал оттуда на фуражки, на погоны, за шею.

– Отчего она какая-то такая... странная, что ли? – спросил Андрей Иванович.

– Генеральша-то? Господи, хорошая баба была. Ведь я тут двадцать лет, всех – как пять пальцев вот... Ну, вышла такая история – да лет семь уж, давно! – младенец у ней родился – первый и последний, родился да и помер. Задумалась она тогда – да так вот задуманной и осталась. А заговорит – такое иной раз, ей-Богу, ляпнет... Да вот – про Молочку, про бородавки-то: и смех, и грех!

– Ничего не понимаю.

– Поживете – поймете.

3. Петяшку крестят

Ну, ладно. Ну, родила капитанша Нечеса девятого. Ну, крестины, как будто что ж тут такого? А вот у господ офицеров – только и разговору, что об этом. Со скуки это, что ли, от пустоты, от безделья? Ведь и правда: устроили какой-то там пост, никому не нужный, понаставили пушек, позагнали людей к чертям на кулички: сиди. И сидят. И как ночью, в бессонной пустоте, всякий шорох мышиный, всякий сучок палый – растут, настораживают, полнят всего, – так и тут: встает неизмеримо всякая мелочь, невероятное творится вероятным.

Оно, положим, с девятым младенцем капитанши Нечесы не так уж просто дело обстоит: чей он, поди-ка раскуси? Капитанша рождает каждый год. И один малюкан – вылитый Иваненко, другой – две капли воды адъютант, третий – живой поручик Молочко, как есть – его розовая, телячья мордашка... А чей вот – девятый?

И пуще всех тот самый Молочко взялся за дело. Очень просто почему. В прошлом году его в отцы капитаншину младенцу обрядили, проздравили и угощенье требовали: хотелось и ему теперь кого-нибудь подсидеть.

– Господи, да постойте же, – подпрыгнул Молочко, как козлик, как веселый теленочек, поенный молочком с пальца, – господа, да ведь Тихмень же, жилец-то ихний... Да неужто же капитанша его не приспособила? Не может того быть? А коли так, то...

– Бр-раво, и Молочко догадлив бывает, браво!

Так на Тихмене и порешили: может, и не виноват он ни телом, ни духом, да уж очень над ним лестно потешиться, затем что Тихмень неизменно серьезен, длиннонос и читает, черт его возьми, Шопенгауэра там или Канта какого-то.

И чтобы Тихменя захватить врасплох, чтобы не сбежал, только лишь за полчаса до крестин этих самых послали Молочко предупредить капитаншу о нашествии иноплеменных. По-тутошнему называлось это «пригласиться».

Капитанша лежала в кровати, маленькая и вся кругленькая: кругленькая мордочка, круглые быстрые глазки, круглые кудряшечки на лбу, кругленькие – все капитаншины атуры. Только вот сейчас вышел из спальни капитан, чмокнув супругу в щеку. И еще не затих, позванивал на полочке какой-то стаканчик от капитановых шагов, когда вошел поручик Молочко и, сказав: здравствуй, – чмокнул капитаншу в то же самое на щеке место, что и капитан.

Страсть не любила капитанша вот таких совпадений, положительно – это неприличное что-то. Сердито закатила круглые глазки:

– Чего целоваться лезешь, Молочишко? Не видишь – я больна?

– Ну, ладно уж, ладно, целомудренная стала какая!

Уселся Молочко возле кровати. «Как бы это к Катюше подъехать, чтобы приглашаться не сразу?»

– А знаешь, – подпрыгнул Молочко, – был я у Шмитов, целуются все, можешь себе представить? Третий год женаты – и до сих пор... Не понимаю!

Капитанша Нечеса поздоровела, зарозовела, глазки раскрылись.

– Уж эта мне Марусечка Шмитова, уж такая принцесса на горошине, фу-ты, ну-ты... Знаться ни с кем не желает. Вот, дай-ка, Бог-то ее за гордость накажет...

Переполоскали, перемыли Марусины косточки – и не о чем больше. Видно, делать нечего – надо начинать. Прокашлялся Молочко.

– Видишь ли, Катюша... Н-да... Ну, одним словом, мы все собираемся на крестины, хотим пригласиться. Надо отцом проздравить Тихменя. Я – придумал, можешь себе представить?

Никак и не ждал Молочко, что так сразу согласится Катюшка. Залилась она кругленько, закатилась, под одеялом ножками забрыкала, за живот даже держится: ой, больно!

– Ну, и выдумщик ты, Молочишко: Тихменя – в отцы, а? Тихменя нашего длинноносого! Так его и надо, а то больно зачитался...

И вот – крестили. Генеральша улыбалась, глядела куда-то вверх, глазами была не здесь. Заспанным голосом читал по требнику гарнизонный поп. Вся ряса на спине была у него в пуху.

Неотрывно глядел на пушинки эти крестный – поручик Тихмень. Длинный, тощий, весь непрочный какой-то, стоял с ребенком на руках, удивленно водил своим длинным носом:

«Вот, ей-Богу, ввязался я... Закричит это на руках, ну что я буду делать?»

А «это на руках» оказалось даже еще хуже: в ужасе почуял поручик Тихмень, что руки у него вдруг намокли, и из теплого свертка закапало на пол. Забыл тут Тихмень всякую субординацию, ткнул, как попало, крестника на руки генеральше и попятился назад. Бог его знает, куда бы запятился, если бы стоявшая сзади компания с Молочкой во главе не водворила его на место.

Пришло время уж и в купель окунать младенца. Зас-от-от панный поп обернулся к генеральше – ребенка взять, а она не дает. Прижала к себе и отпустить не хочет и кричит:

– Не дам, а вот и не дам, и не дам, он мой!

Поп оробело пятился к двери. Батюшки мои, что ж это? Суматошились, шептались. Кабы не Молочко, так, может, и не докрестили бы. Молочко подошел к генеральше, крепко взял ее за руку и шепнул:

– Отпустите, зачем вам это, у вас будет свой, можете себе представить. Раз я говорю... Разве ты мне не веришь? Мне?

Генеральша засмеялась блаженно, отпустила. Ну, слава те, Господи! С грехом пополам докрестили и Петяшкой нарекли.

Тут-то и приступили господа офицеры к поручику Тихменю. Одним разом, по команде, все низко поклонились:

– Честь вас имеем, папаша, проздравить с новорожденным, с Петяшкой, на чаек с вашей милости!

Замахал Тихмень руками, как мельница:

– Как это – папаша? Я и не хочу вовсе, что вы такое! Терпеть не могу...

– Да в детях-то, милый, ведь Бог один волен. Уж там, можешь терпеть иль не можешь.

Пристали – хоть плачь. Делать нечего: вечером Тихмень угощал в собрании. И пошло с тех пор: каждый день на занятиях спрашивали его, как, мол, здоровье сынишки – Петяшки. Задолбили, заморочили Тихменю голову Петяшкой этим самым.

4. Голубое

Много ли человеку надо? Проглянуло солнце, сгинул туман проклятый – и уж мил Андрею Иванычу весь мир. Рота стоит и команды ждет, а он загляделся: шевельнуться страшно, чтобы не рухнули хрустальные голубые палаты.

Океан... Был Тамбов, а теперь Океан Тихий. Курит внизу, у ног, сонно-голубым своим куревом, мурлычет дремливую колдовскую песню. И золотые столбы солнца

то мирно лежали внизу на голубом, а то вдруг выросли, поднялись, подперли стены – синие нестерпимо. А мимо плавно плывет в голубое, в глубь, богородицына пряжа, осенняя паутина, и долго следит Андрей Иванович за нею глазами. Кто-то сзади его кричит на солдата:

– ...Где у тебя три приема? Ж-животина! Проглотил смазал?

Но не хочет, не слышит Андрей Иванович, не обертывается назад, все летит за паутиной...

– Ну, что, танбовской? Или нравится – загляделся-то? Делать нечего, оторвался, обернулся Андрей Иванович. С усмешкой глядел на него Шмит – высокий, куда же выше Андрея Ивановича, крепкий, как будто даже тяжелый для земли.

– Нравится ли? Уж очень это малое слово, капитан Шмит. Ведь я, кроме Цны тамбовской, ничего не видал – и вдруг... Понимаете – это подавляет... И даже не то: весь обращаешься в прах, по ветру летишь, ну, как вот... Это очень радостно...

– Да что-о вы? Ну-ну! – И опять шмитова усмешка, может – добрая, а может – и нет.

Для Андрея Ивановича она была доброй: весь мир был добрый. И он, неожиданно даже для себя, благодарно пожал Шмиту руку.

Шмит потерял усмешку – и лицо его показалось Андрею Ивановичу почти что даже неприятным: неровное какое-то, из слишком твердого сделано, нельзя было как следует заровнять – слишком твердое. Да и подбородок...

Но Шмит уже опять улыбался:

– Вы соскучились, кажется, со своим денщиком? Мне говорил Нечеса.

– Да, уж чересчур он – «точно так»... Хочу поменяться на какого угодно, только бы...

– За чем же дело: меняйтесь со мной. Мой Гуслийкин – пьяница, говорю откровенно. Но до чрезвычайности веселый малый.

– Спасибо, вот уж спасибо вам! Я прямо не знаю, как мне вас...

Простились. Андрей Иванович шел домой, весь еще полный голубого. Идти бы ему одному и нести в себе это бережно – да увязался Молочко.

– Ну что, ну что? – подставлял он Андрею Ивановичу розовую, глапоглазую свою мордочку: охота узнать что-нибудь новенькое, чтобы можно было с жаром рассказать и генеральше, и Катюшке, и вечером в собрании.

– Да ничего особенного, – сказал Андрей Иванович. – Шмит предложил денщика.

– Сам? Да что вы? Шмит ужасно редко заговаривает первый, можете себе представить? А вы были у Шмитов? А у командира? Да, бишь... командир в отпуску. Вот лафа – в вечном отпуску! Вот бы нам так, можете себе представить?

– У Шмитов еще не успел, – говорил Андрей Иванович рассеянно, все еще думая о сонно-голубом. – Был у Нечесов, у генерала. Генеральша – вдруг, ни к чему, о бородавках...

Андрей Иванович спохватился, да было уж поздно. Маковым цветом заалел Молочко, заиндючился и важно сказал:

– По-жа-луйста! Просил бы... Я горжусь, что удостоен, можно сказать, доверия такой женщины... Бородавки тут абсолютно ни при чем... Аб-со-лютно!

Надулся и замолчал. Андрей Иванович был рад.

У тухлявого деревянного домика Молочко остановился.

– Ну, прощайте: я здесь.

Но, попрощавшись, опять развернулся и в минуту успел рассказать про генерала, что он бабник из бабников, успел показать шмитовский зеленый домик и что-то подмигнуть про Марусю Шмит, успел наболтать о каком-то непонятном клубе ланцепупов, о Петяшке поручика Тихменя...

Еле-еле стряхнул с себя все это Андрей Иванович. Стряхнул – и пошел снова сонный, заколдованный, поплыл в голубом, под ногами не было земли, неизвестно на чем стояли заборы, деревья, дома. И удивительно, что дома такие же, как в Тамбове, – с дверями, трубами, окнами...

В одном окне что-то мелькнуло, в окно застучали, дробно так, весело.

«Кому – мне?» – остановился Андрей Иванович перед зелененьким домиком. «Да нет, не мне», – пошел дальше.

Вдруг окно в зелененьком домике распахнулось, веселый голос кликнул:

– Эй, новенький, новенький, подите-ка сюда!

Андрей Иванов недоуменно подошел, снял фуражку. «Но как же – но кто же это?»

– Послушайте, давайте-ка познакомимся, все равно ведь придется. Я – Маруся Шмит, слышали? Сидела у окна – и думаю: а дай постучу? Ой, какой у вас лоб замечательный! Мне о вас муж говорил...

Бормочет что-то Андрей Иванов и глаза развесил: узкая, шаловливая мордочка, не то тебе мышонка, не то – милой дикой козы. Узкие и длинные, наискось немного, глаза.

– Ну что, дивитесь? Не полагается так? А мне все равно. Смерть люблю выкамаривать! Я в пансионе дежурной была в кухне – изжарила начальнице котлету из жеваной бумаги... Ой-ой-ой, что было! А за шмитов портрет... Вы Шмита-то знаете? Да, Господи, ведь он же про вас и говорил мне! Вы приходите как-нибудь вечером, что за визиты!

– Да с удовольствием. Вы извините, я сегодня так настроен как-то, не могу говорить...

Но увидал Андрей Иванов, что и она замолчала и куда-то мимо него смотрит. Принахмурилась чуть-чуть. Возле губ – намек на недетские морщинки: еще нет их, когда-нибудь лягут.

– Паутинка, – поглядела вслед золотой богородицной пряже.

Перевела на Андрея Иванова глаза и спросила:

– А вы когда-нибудь о смерти думали? Нет, даже и не о смерти, а вот – об одной самой последней секундочке жизни, тонкой, вот – как паутинка. Самая последняя: вот оборвется сейчас – и все будет тихо...

Долго летели оба глазами за паутинкой. Улетела в голубое, была – и нету...

Засмеялась Маруся. Может, засмутилась, что вдруг так – о смерти? Захлопнула окошко, пропала.

Пошел Андрей Иванов домой. «Все хорошо, все превосходно... И черт с ним, с Тамбовом, и чтоб ему провалиться. А здесь – все милые. Надо поближе с ними, поближе... Все милые. И генерал – что ж, он ничего...»

5. Сквозь Гусляйкина

С удовольствием спровадил Андрей Иванов своего такточного истукана – Непротошнова. Полученный в обмен от Шмита Гусляйкин, действительно, оказался словоохотлив по-бабьи и не по-бабьи уж запивоха. То и знай являлся с подбитой физиией, изукрашенный кусками черного пластыря (пластырь этот самый Гусляйкиным величался «кластырь» – от «класть»: очень даже просто). Но и такой – с заплатками черными, и пусть даже пьяненький – все же он был для глаз андрей-иваныхевых милее, чем Непротошнов...

Гусляйкин заметил, видно, расположение нового своего хозяина и пустился с ним в конфиденции – в знак благодарности. Должно быть, у Шмитов Гусляйкин, как по бабьей его натуре и надобно, дневал-ночевал у замочных скважин да у дверных щелей. Сразу такое загнул что-то о шмитовской спальне, что покраснел Андрей Иванов и строго Гусляйкина окоротил. Гусляйкин немало был изумлен: «Господи, всякая барыня, да и всякий барин тутошний – озолотили бы за такие рассказы, слушали бы, как соловья, а этот... Да наве-ерно – притворяется только...» – и опять начинал.

Как ни отбрыкивался Андрей Иванов, как ни выговаривал Гусляйкину, тот все вел свою линию и какие-то темные, жаркие, обрывочные видения поселил в андрей-иваныхевой голове. То вот Шмит несет на руках Марусю, как ребенка, так, на руках, и во время обеда держит, кормит из рук... То почему-то Шмит поставил Марусю в угол – она стоит и рада стоять. То наложили дров в печку, топят печку вдвоем, перед печкой – медвежья шкура...

И когда Андрей Иванов собрался, наконец, к Шмитам и сидел в их столовой, с милыми, избушечьими, бревенчатыми стенами, он прямо вот глаза боялся поднять: а вдруг она, а вдруг Маруся – по глазам увидит, какие мысли... Ах, проклятый Гусляйкин!

А Шмит говорил своим ровным, ясным, как лед, голосом: – Гм... Так, говорите, вам понравился Рафаэль картофельный? Да уж, хорош Сахар Медович! За хорошие дела к чертям на кулички генерала не засунули бы. И теперь вот: где солдатские деньги пропадают, где – лошадиные кормовые? Я уже чую, я чу-ую...

– Ну, Шмит, ты уж это слишком, – сказала Маруся ласково.

Не вытерпел Андрей Иванович: с противным самому себе любопытством поднял глаза. Шмит сидел на диване, Маруся стояла сзади под пальмой. Перегнулась сейчас к Шмиту и тихонько, один раз, провела по жестким шмитовым волосам. Один раз – но, должно быть, так нежно, должно быть, так нежно...

У Андрея Ивановича так и ёкнуло. «Ну какое мне дело?» Никакого, да. А щемит все сильнее. «Если бы вот так когда-нибудь мне – один раз, только один раз...»

Проснулся Андрей Иванович, когда Шмит назвал его имя.

– ...Андрей Иванович у нас один-единственный, агчик невинный. А то все на подбор. Я? Меня сюда – за оскорбление действием. Молочку – за публичное непотребство. Нечесу – за губошлепство. Косинского – за карты... Берегитесь, агчик: сгинете тут, сопьетесь, застрелитесь.

Может, оттого, что Маруся стояла под пальмой, или от шмитовой усмешки – но только стало невтерпёж, Андрей Иванович вскочил:

– Это уж вы, знаете, слишком, уж на это-то меня хватит, чтобы не спиться. Да и что вам за дело?

– Ка-кой вы... ёрш! – засмеялась Маруся. – Ведь ты же, Шмит, шутишь? Ведь да?

Она опять нагнулась к Шмиту из-за дивана. «Только б не гладила... Не надо же, не надо», – молился Андрей Иванович, затаил дух... Кажется, она что-то спросила – ответил наобум лазаря:

– Нет, благодарю вас...

– То есть как – благодарю? Вы о чем же это изволите думать? Ведь я спрашиваю, были ли вы у Нечесов?

И только когда Шмит уходил, Андрей Иванович становился Андрей Ивановичем, нет никакого Гусляйкина, не надо бояться, что она погладит Шмита, все просто, все ласково, все радостно.

Когда вдвоем – тут и думать не надо, о чем говорить: само говорится. Так и скачут, и играют слова, как весенний дождь. Такой поток, что Андрей Иванович обрывает, не договаривает, но это все равно: она должна понять,

она понимает, она слышит самое... Или, может, так кажется? Может, Андрей Иванович придумал себе свою Марусю? Ах, все равно, лишь бы...

Запомнился – уложен в ларчик драгоценный – один вечер. То все ведро стояло, теплынь, без шинелей ходили, это в ноябре-то. А тут вдруг дунуло сиверком, синева побледнела, и к вечеру – зима.

Андрей Иванович и Маруся огня не зажигали, сидели, вслушиваясь в шушуканье сумерек. Пухлыми хлопьями, шапками сыпался снег, синий, тихий. Тихо пел колыбельную – и плыть, плыть, покачиваться в волнах сумерек, слушать, баюкать грусть...

Андрей Иванович отсел нарочно в дальний угол дивана от Маруси: так лучше, так будет только самое тонкое, самое белое – снег.

– Вот: дерево теперь все белое, – вслух думала Маруся, – и на белом дереве – птица, дремлет уж час и два, не хочет улететь...

Тихое снежное мерцанье за окном. Тихая боль в сердце.

– Теперь и у нас, в деревне, зима, – ответил Андрей Иванович. – Собаки зимой ведь особенно лают, вы помните? Да? Мягко и кругло. Кругло, да... А в сумерках – дым от старновки над белой крышей такой уютный. Все синее, тихое, и навстречу идет баба с коромыслом и ведрами...

Марусино лицо с закрытыми глазами было такое нежное, чуть голубоватое от голубого за окном снега, и такие у ней были губы... Чтобы не видеть – уж лучше не видеть, – Андрей Иванович тоже закрыл глаза.

А когда зажгли лампу, ничего уж не было, ничего такого, что привиделось без лампы.

И все эти слова о дремлющей на снежном дереве птице, о синем вечере – показались такими незначащими, не особенными, немного даже смешными.

Но запомнились.

6. Лошадиный корм

У русской печки – хайло-то какое ведь: ненасытное. Один сноп спалили, и другой, и десятый – и все мало, и заваливают еще. Так вот и генерал за обедом: уж и суп

поел, и колдунов литовских горку, и каши пуховой гречишной покушал с миндальным молоком, и равиолей с десяток спровадил, и мяса черкасского, в красном вине тушенного, две порции усидел. Несет зайчонок-повар новое блюдо – хитрый какой-то паштет, крепким перцем пахнет, мушкатом: ну как паштета не съесть? Душа генеральская хочет паштета, а брюхо уж по сих пор полно. Да генерал хитер: знает, как бренное тело заставить за духом идти.

– Ларька, вазу мне! – квакнул генерал.

Покатился самоварный Ларька, мигом притащил генералу большую, узкую и длинную вазу китайского расписного фарфора. Отвернулся в сторонку генерал и облегчился на древнеримский манер.

– Ф-фу! – вздохнул затем – и положил себе на тарелку паштета кусок.

За хозяйку сидела не генеральша: посади ее – натворит еще чего-нибудь такого. Сидела за хозяйку свояченица Агния, с веснушчатым, острым носом. А генеральша устроилась поодаль, ничего почти что не ела, глазами была не здесь, прихлебывала все из стаканчика.

Покушав, генерал пришел в настроение:

– А ну-ка, скажи, Агния, знаешь ли ты, когда дама офицером бывает, – ну, знаешь?

Веснушчатая, дощатая, выцветшая Агния почувствовала какую-то каверзу, заерзала на стуле. Нет, не знает она...

– Ух, ты-ы! Как же ты не знаешь? Тогда дама бывает офицером, когда она бывает под... Ну, в каком чине? В каком чине, а? Поняла?

Затрепыхалась, заалела, закашляла Агния. Куда и деваться не знала: ведь девица она – и вдруг это такое... скромное... А генерал заливался: сначала внизу, в бурболоте на дне, а потом наверху, тоненькой лягушечкой.

Забылась Агния, занялась паштетом, глаза – в тарелку, быстро-быстро отправляла крошечные кусочки в рот. А генерал медленно нагибался, нагибался к Агнии, замер – да как гукнет на нее этаким басом, как из бучила:

– Г-гу-у!

Ахнула Агния благим матом, сидя запрыгала на стуле, заморгала, запричитала:

– Штоп тебе... штоп тебе... штоп тебе...

Раз двадцать этак вот «штоп тебе» – и под самый конец тихонько: «провалиться... штоп тебе провалиться, пр-провалиться»... Была у Агнии такая чудная привычка: все пугал ее со скуки из-за углов генерал – вот и привыкла.

Любил генерал слушать агнины причитанья, разгасился, никак не передохнет – хохочет:

– Охо-хо, вот кликуша-то, вот порченная, вот дурья-то голова, охо-хо!

А генеральша прихлебывала, не слыхала, далеко где-то, не тут жила.

Прикатился Ларька – запыхался.

– Ваше превосходительство, там капитан Шмит вас желают видеть.

– Шмит? Вот принесло... И поесть толком не дадут, ч-черт! Проси сюда.

Свояченица Агния выскочила из-за стола в соседнюю комнату, и скоро в дверной щели уже заходил веснушчатый ее нос, однажды мелькнувший Андрею Ивановичу.

Вошел Шмит, тяжелый, высокий. Пол заскрипел под ним.

– А-а-а, Николай Пе-тро-вич, здравствуйте. Не хотите ли, миленочек, покушать! Вот, равиоли есть, пррев-восходные! Сам, неженчик мой, стряпал: им, паршивцам, разве можно доверять? Равиоли вещь тонкая, из таких все деликатностей: мозги из костей, пармезанец, сельдерей молоденький – ни-и-как не старше июльского... Не откажи, голубеночек.

Шмит взял на тарелку четырехугольный пирожок, равнодушно глотнул и заговорил. Голос – ровный, граненый, резкий, и слышится невидная усмешка на губах...

– Ваше превосходительство, капитан Нечеса жалуется, что лошади не получают овса, на одной резке сидят. Это совершенно немыслимо. Сам Нечеса, конечно, боится прийти вам сказать. Я не знаю, в чем тут дело. Может, этот ваш любимчик, как его... Мундель-Мандель, ну как его...

У генерала – прелестнейшее настроение, он зажмурил свои буркалы и мурлычет:

– Мендель-Мандель-Мундель-Мондель... Эх, Николай Петрович, голубеночек, не в том счастье. Ну, чего тебе еще надо? Видел я намедни Марусю твою. Ну, и кошечка

же, ну, и милочка – прямо вот... эх! И подцепил же ты! Ну, какого еще рожна тебе надо, а? Наплевал бы я на твоём месте и на Нечесу, и на всех...

Шмит сидел молча. Железно-серые, небольшие, глубоко всаженные глаза еще глубже ушли. Узкие губы сжались еще уже.

Генеральша только сейчас услышала Шмита, поймала кусочек и спросила треснуто:

– Нечеса?

И забыла, замолкла. В дверной щели все ходил вверх и вниз веснушчатый вострый нос.

Шмит настойчиво и уже со злостью повторил:

– Я еще раз считаю долгом доложить вашему превосходительству: лошадиные кормовые куда-то пропадают. Я не хочу пускаться в догадки – кто, Мундель или не Мундель...

Вдруг опять проснулась генеральша, услышала: Мундель, – и ляпнула:

– Кормовые? Это вовсе не Мундель, а он, – кивнула на генерала. – Ему на обеды не хватает, проедается очень, – и засмеялась генеральша почти весело.

Шмит, как сталью, уперся взглядом в генерала:

– Я давно это знаю, если уж по правде говорить. И еще одно: деньги пропадают, эти трехрублевки, которые солдатам шлют из дому. Ведь люди могут думать на меня, я – казначей. Этого я не могу допустить.

Узко сжаты шмитовы губы, все лицо спокойно, как лед. Но как синий напряженный лед в половодье: секунда – и ухнет, с грохотом хлынет сокрушающая, неистовая, весенняя вода.

А генерал хлынул уже. Зяпнул нутряным своим басом:

– Да-пу-стить? Ка-ак-с? – и сейчас же оступился на злочий визг: – Капитан Шмит, встать, руки по швам, с вами говорит генерал Азанчеев!

Шмит встал, спокойный, белый. Генерал тоже вскочил, громыхнул стулом и накинудся на Шмита, осыпал, оглоушил:

– М-мальчишка! Ты с-смеешь не до-пу-скать, а? Мне, Азанчееву? Да ты з-знаешь, я т-тебя в двадцать четыре часа...

Искал, чем бы кольнуть Шмита побольнее:

– Да давно ли ты стоял тут и просил разрешения, да, р-разрешения у меня – жениться. А теперь завел себе девчонку хорошенькую и д-думаешь, уж и б-большой стал, и все тебе можно! М-мальчишка!

– Как... вы... сказали? – отрубил Шмит по одному пронзительнее – трехлинейные пульки – слова.

– ...Девчонку, говорю, завел, так и думаешь! Погоди-ка, миленок, будет она по рукам ходить, как и прочие наши. А то ишь-ты, мы-ста, не мы-ста!

Твердый, выдвинутый вперед подбородок у Шмита мелко дрожал. Пол скрипнул, Шмит сделал шаг – отве-сил генералу резкую, точную, чеканную, как и сам Шмит, оплеуху.

И тут все перемешалось, как вот бывает, когда ребя-тенки катятся с горы на ледяшках и в самом низку налетят друг на друга: брызнет от взрытого сугроба снег, салазки – вверх полозьями, и веселый визг, и жалобный плач ушибленного.

Метнулся Ларька, услужливо подставил стул, генерал плюхнулся, как мешок. Дверная щель разверзлась, свояченица Агния вскочила в родимчике и полоумно причита-ла: «Штоп, штоп, штоп провалиться...» Генеральша дер-жала стакан в руке и треснуто, пусто смеялась – так пустушка смеется на колокольне по ночам.

Генерал без голосу, нутром просипел:

– Под суд... У-пе-ку!

Шмит отчеканил по-солдатски:

– Как прикажете, ваше превосходительство.

И налево кругом.

Ларька любил сильные сцены: довольно крутил голо-вой, пыхтел, как самовар, и обмахивал генерала салфет-кой. Агния ихала, генеральша маленькими глоточками отпивала из стаканчика.

7. Человечьи кусочки

Молочко пристал к Андрею Ивановичу, как банный лист.

– Нет уж, атанде. Месяц уж, как приехал, и ни разу в собрание не заглянул, можете себе представить? Это с вашей стороны свинство. К Шмитам, небось, каждый день шлындаете!

Андрей Иванович зарозовел чуть приметно. «Правда, если и сегодня пойти к Шмитам, – это уж будет окончательно ясно, это значит – сознаться...» Что – ясно и в чем – сознаться, этого Андрей Иванович еще и себе сказать не насмелился.

– Ладно, черт с вами, иду, – отмахнулся Андрей Иванович.

В раздевальной висело десятка полтора шинелей. Краска еще недовысохла: ноги прилипали к полу, пахло скипидаром. Молочко без отдыха молот что-то над ухом, забивал мусором Андрею Ивановичу голову:

– Ну, что, каково у нас? А каланча-то наверху! Новенькое, а? Нет, а вот можете себе представить: слышал я, будто есть такая несгораемая краска, каково, а? Нет, а вы читали, как у французов театр с людьми погорел, а? Сто человек, каково? Я за литературой очень слежу...

Наверху в зале табашники так натабачили, что хоть топор вешай. И в гомоне, в рыжем тумане – не люди, а только кусочки человечьи: там чья-то лысая, как арбуз, голова; тут, внизу, отрезанные облаком, косолапые капитан-нечесовы ноги; поодаль – букет повисших в воздухе волосатых кулаков.

Человечьи кусочки плавали, двигались, существовали в рыжем тумане самодовлеюще – как рыбы в стеклянной клетке какого-то бредового аквариума.

– А-а, Половец, давно, брат, пора, давно!

– Где пропадал, почему не являлся?

Кусочки человечьи обступили Андрея Ивановича, загладели, стиснули. Молочко нырнул в туман – и пропал. Капитан Нечеса знакомил с какими-то новыми: Нестеров, Иваненко, еще кто-то. Но все казались Андрею Ивановичу на один лад: как рыбы в аквариуме.

Были раскрыты два зеленых стола. Тусменным светом мазали по лицам свечи. Андрей Иванович просунулся вперед – поглядеть: как играют тут, на куличках, так же ли яро, как в далеком Тамбове, или уж, может, соскучились, надоело?

Над столом висела лысая, как арбуз, тускло блестящая голова, и ровными рядами разложены были карты. Арбуз морщил лоб, что-то шептал, тыкал в карты пальцем.

– Что это? – обернулся Андрей Иванович к капитану Нечесе.

Нечеса пошмурыгал носом и сказал:

– Наука имеет много гитик.

– Гитик?

– Ну, да. Что вы, с неба, что ли, свалились? Фокус такой.

– Но почему... но почему же никто не играет в карты? Я думал... – Андрей Иванович уже робел, видел – кругом ухмыляются.

Капитан Нечеса добродушно-свирепо пролаял:

– Пробовали, брат, пробовали, игрывали... Перестали. Будет.

– Да почему?

– Да уж очень у нас много, брат, гениев, да, по части карт. Играют уж очень хорошо. Да. Не интересно...

Андрей Иванович сконфузился, будто он в том виноват был, что играют уж очень хорошо.

Часов в девять всей ордой двинулись ужинать. И следом из карточной переплыл в столовую табачный дым, и опять засновали в рыжих облаках самодовлеющие человечьи кусочки: головы, руки, носы.

В столовой увидали печально-длинный и совершенно противозаконно свернутый влево нос поручика Тихменя. Развеселились.

– А-а, Тихмень! Ну, как твой Петяшка?

– Зубки-то режутся?хлопот-то, небось, тебе, а?

Капитан Нечеса блаженно улыбался и ничего теперь на свете не слышал: наливал себе зубровку. Тихмень серьезно и озабоченно ответил:

– Мальчишка плохенький, боюсь – трудно будет с зубами.

Залп хохота, развеселого, из самых что ни на есть утроб.

Тихмень сообразил, устало махнул рукой, сел за стол рядом с Андреем Ивановичем.

На конце стола, за хозяина, сидел Шмит. Он и сидя был выше всех.

Шмит позвонил. Подскочил бойкий, хитроглазый солдат с заплаткой на колене.

«Должно быть, ворует...» – почему-то подумал Андрей Иванович, глядя на заплатку.

Через минуту солдат с заплаткой принес на подносе огромный зеленого стекла японский стакан. Все заорали, захохотали:

– А-а, Половца крестить! Так его, Шмит!

– Морского зверя-китовраса!

– Это, брат, китоврас называется: ну-ка?

Андрей Иванович выпил жестокую смесь из полыни и хины, вытаращил глаза, задохся – не передохнуть – не мог. Кто-то подставил стул, и о вновь окрещенном забыли, или это он был без памяти...

Очнулся Андрей Иванович от скрипучего голоса, жалобно-надоедно повторявшего одно и то же:

– Это не шутка. Если бы я знал... Это не шутка... Если б я знал наверно... Если б я...

Медленно, трудно понял Андрей Иванович: это Тихмень. Спросил:

– Что? Если б что знал?

– ...Знал бы наверное: мой Петяшка или не мой?

«Он пьян, да. А я не...»

Но на этом месте сбил Андрея Ивановича смех и рев. Хохотали, ложились на стол, помирали со смеху. Кто-то повторял последнюю – под занавес – фразу скромного анекдота.

Теперь стал рассказывать Молочко: рассказывали, должно быть, уж давно. Молочко покраснелся, ляпал вовсю, так и висели в воздухе увесистые российские слова.

Вдруг с конца стола Шмит крикнул резко и твердо:

– Заткнись, дурак, больше не смей! Не позволю.

Молочко дернулся со стула, вскочил – и сейчас же сел. Сказал неуверенно:

– Сам заткнись.

Замолчал. И все примолкли. Качались, мигали в тумане человечьи кусочки: красные лица, носы, остеклевшие глаза.

Кто-то запел, потихоньку, хрипло, завыл, как пес на тоскливое серебро месяца. Подхватили в одном конце стола и в другом, затянули тягуче, подняв головы кверху. И вот уже все заунывно, в один голос, воют по-волчьи:

У попа была собака,
Он ее любил.
Раз собака съела рака,
Поп ее убил.
Закопал свою собаку,
Камень привалил.
И на камне написал:
У попа была собака,
Он ее любил.
Раз собака съела рака...

Часы пробили десять. Заколдовал бессмысленный, как их жизнь, бесконечный круг слов, всё выли и выли, поднявши головы. Пригорюнились, вспомнили о чем-то. О чем?

Б-бум: половина одиннадцатого. И вдруг с ужасом почуял Андрей Иванович, что и ему до смерти хочется запеть, завывать, как и все. Сейчас он, Андрей Иванович, запоет, сейчас запоет – и тогда...

«Что ж это, я с ума... мы с ума все сошли?» Стали волосы дыбом.

...Поп ее убил,
Закопал свою собаку...
И на камне написал:
У попа была собака...

И запел бы, завыл Андрей Иванович, но сидевший справа Тихмень медленно сполз под стол, обхватил Андрея Ивановича за ноги и тихо – может, один Андрей Иванович и слышал – жалобно заскулил:

– Ах, Петяшка мой, ах, Петяшка...

Андрей Иванович вскочил, в страхе выдернул ноги. Побежал туда, где сидел Шмит. Шмит не пел. Глаза суровые, трезвые. «Вон он, один он может спасти...»

– Шмит, проводите меня, мне нехорошо, зачем поют?

Шмит усмехнулся, встал. Пол заскрипел под ним. Вышли.

Шмит сказал:

– Эх вы! – и крепко сжал Андрею Ивановичу руку.

«Вот хорошо, крепко. Значит, он еще меня...»

Все крепче, все больнее. «Крикнуть? Нет...» Хрустнули кости, боль адская. «А если и Шмит, и Шмит сумас-

шедший?» Все-таки не крикнул Андрей Иванович, сдержался.

– Вы, однако, ничего: терпеливы, – усмехнулся Шмит и пристально заглянул Андрею Ивановичу в глаза, обвел усмешкой огромный его лоб и робко утнездившийся под сенью лба курнофеечку-носик.

8. Соната

Весь день после вчерашнего было тошно и мутно. А когда пополз в окно вечер – мутное закутало, захлестнуло вконец. Не хватало силы остаться с собой, так вот – лицом к лицу. Андрей Иванович махнул рукой и пошел к Шмитам.

«У Шмитов рояль, надо поиграть, правда. А то этак и совсем разучиться недолго...» – хитрил Андрей Иванович с Андреем Ивановичем.

Маруся сказала невесело:

– Ах, вы знаете: Шмита ведь на гауптвахту посадили на три дня. За что? Он даже мне не сказал. Только удивлялся очень, что пустяки – на три дня. «А я, говорит, думал...» Вы не знаете, за что?

– Что-то с генералом у него вышло, а что – не знаю...

Андрей Иванович сразу сел за рояль. Весело перелистывал свои ноты: «А Шмита-то нет, а Шмита посадили».

Выбрал григовскую сонату. Уж давно Андрей Иванович в нее влюбился: так как-то, с первого же разу по душе ему пришлась. Заиграл ее теперь – и в секунду среди мутного засиял зелено-солнечный остров, и на нем...

Андрей Иванович надавил левую педаль, внутри у него все задрожало. «Ну, пожалуйста, тихо, совсем тихо... – умолял он себя. – Еще тише: утро – золотая паутинка... А теперь сильнее, ну – сразу солнце, сразу – все сердце настежь. Это же для тебя – вот, все настежь – смотри...»

Она сидела на самодельной, крытой китайским шелком тахте, подперла кулачком узкую свою и печальную о чем-то мордочку. Смотрела на далекое – такое далекое солнце.

Андрей Иванович играл сейчас маленький, скорбный четырехбемольный кусочек.

...Все тише, все медленней, медленней, сердце останавливается, нельзя дышать. Обрывисто – сухой шепот – протянутые, умоляющие руки, мучительно пересохшие губы, кто-то на коленях... «Ты же слышишь. Ну вот – ну вот я и стал на колени. Скажи, может быть, нужно что-нибудь еще? Ведь все, что ты...»

И вдруг – громко и остро. Насмешливые, хроматические аккорды все быстрее, Андрею Ивановичу кажется, что это у него бывает – у него может быть такой божественный гнев, он ударяет, сотрясаясь, три последних удара – и тишина.

Кончил – и ничего нет, ни гнева, ни солнца, он просто – Андрей Иванович, и когда он обернулся к Марусе, услышал:

– Да, это хорошо. Очень... – она выпрямилась. – Вы знаете, Шмит – жестокий и сильный. И вот, ведь даже его жестокостям мне хорошо подчиняться. Понимаете: во всем, до конца.

Паутинка – и смерть. Соната – и Шмит. Ни к чему как будто, а заглянуть...

Андрей Иванович встал из-за рояля, заходил по ковру. Маруся сказала:

– Что же вы? Кончайте, ну-у... Там же ведь еще менуэт.

– Нет, больше не буду, устал, – и все ходил Андрей Иванович, все ходил по ковру.

– ...Я иду по ко-вру, ты и-дешь, по-ка врешь, – вдруг забаловалась Маруся и опять стала – веселая пушистая зверушка.

Победило то, о Шмите, в Андрее Ивановиче, он засмеялся:

– Баловница же вы, погляжу я.

– О-о-о! А какая я была девчонкой – ух ты, держись! Всё на ниточку привязывали к буфету, чтобы не баловала.

– А теперь разве не на ниточке? – подковырнул Андрей Иванович.

– Хм... может, и теперь на ниточке, правда. А только я тогда, бывало, делала, чтобы упасть и оборвать – нечаянно... Хи-итрущая была! А то вот, помню, сад у нас был, а в саду сливы, а в городе – холера. Немытые сливы мне есть строго-настрого заказали. А мыть скучно и долго. Вот

я и придумала: возьму сливу в рот, вылижу ее, вылижу дочиста и ем... Ведь она чистая стала – отчего же не есть?

Смеялись оба во всю глубину, по-детски. «Ну, еще, ну, еще посмейся!» – просил Андрей Иванович внутри.

Но Маруся отсмеялась уже, опять на губах у нее была печаль:

– Ведь я тут не очень часто смеюсь. Тут скучно. А может, даже и страшно.

Андрею Ивановичу вспомнилось вчерашнее, воющие на луну морды, и он сам – вот сейчас запоем...

– Да, может, и страшно, – сказал он.

Неслышно вошел и столбом врос в притолоку денщик Непротошнов. Его не видели. Он кашлянул:

– Ваше-скородие. Барыня...

Андрей Иванович с злой завистью взглянул в его рыбы глаза: «Он здесь каждый день, всегда около...»

– Ну, что там?

– Там поручик Молочко пришли.

– Скажи, чтоб сюда шел, – и недовольно-смешно сморщив лоб, Маруся обернулась к Андрею Ивановичу.

«Значит, она хотела, она хотела, чтоб мы вдвоем...» – и радостно встретил Молочку Андрей Иванович.

Вошел и запрыгал Молочко и заболтал: посыпалось, как из прорванного мешка горох... фу-ты, Господи! Слушают – не слушают, все равно: лишь бы говорить и своим словам самому легонько подхохатывать.

– ...А Тихмень вчера под стол залез, можете себе представить? И все про Петяшку своего...

– ...А у капитана Нечесы несчастье: солдат Аржаной пропал, вот подлец, каждую зиму сбегает...

– ...А в Париже, можете себе представить, обед был, сто депутатов, и вот после обеда стали считать, а пять тарелок серебряных и пропало. Неужели депутаты? Я всю дорогу думал, я знаю – ночью теперь не засну...

– Да, вы, заметно, следите за литературой, – улыбнулся Андрей Иванович.

– Да, ведь я говорил вам? Как же, как же? За литературой я очень слежу...

Андрей Иванович и Маруся переглянулись украдкой и еле спрятали смех. И так это было хорошо, так хорошо: они вдвоем, как заговорщики...

Андрей Иванович любил сейчас Молочку. «Ну, еще, милый, рассказывай еще...»

И Молочко рассказывал, как один раз на пожаре был. Пожарный прыгнул вниз с третьего этажа и остался целехонек, – «можете себе представить?». И как фейерверкер заставил молодого солдата заткнуть ружье пальцем: так, мол, пулю удержит.

– И оторвало ведь палец, можете себе представить?

Уже все высмеяла Маруся, весь свой смех истратила – и сидела уже не улыбой. Андрей Иванович встал, чтоб идти домой.

Прощались. «Поцеловать руку или так?» Но первым подскочил Молочко, нагнулся, долго чмокал Марусину руку. Андрей Иванович только пожал.

9. Два Тихменя

Поручик Тихмень недаром лез под стол: дела его были вконец никудышные.

Была у Тихменя болезнь такая: думать. А по здешним местам – очень это нехорошая болезнь. Уж блаже водку глушить перед зеркалом, блаже в карты денно и ночью резаться, только не это.

Так толковали Тихменю добрые люди. А он все свое. Ну и дочитался, конечно, додумался: «Все-де на свете один только очес призор, впечатление мое, моей воли тварь». Вот те и раз: капитан-то Нечеса – впечатление? Может, и генерал сам – тоже?

Но Тихмень таков: что раз ему втемяшилось – в том заматерееет. И продолжал он пребывать в презрении к миру, к женскому полу, к детоводству: иначе Тихмень о любви не говорил. Дети эти самые – всегда ему, как репей под хвост.

– Да помилуйте, что вы мне будете толковать? А по моему, все родители – это олухи, караси, пойманные на удочку, да. Дети так называемые... Да для ходу, для ходу-то – это же человеку тачка к ноге, карачун... Отцвет, продажа на слом – для родителей-то... А впрочем, господа, вы смеетесь, ну и черт с вами!

А как же не смеяться, ежели нос у Тихменя такой длинный и свернут налево, и ежели машет он руками,

как мельница-ветрянка. Как же не смеяться, ежели великим скептиком Тихмень бывает исключительно в трезвом своем образе, а чуть только выпьет... А ведь тут, на отлете, в мышеловке, на куличках, прости господи, у черта – тут как же не выпить?

И выпивши, всякий раз обертывается презрительный Тихмень идеалистом: как в древнем раю – тигр с ягненком очень мило уживаются в душе у русского человека.

Выпивши, Тихмень неизменно мечтает: замок, прекрасная дама в голубом и серебряном платье, а перед нею – рыцарь Тихмень, с опущенным забралом. Рыцарь и забрало – все это удобно потому, что забралом Тихмень может закрыть свой нос и оставить открытыми только губы – словом, стать прекрасным. И вот, при свете факелов совершается таинство любви, течет жизнь так томно, так быстро, и являются златокудрые дети...

Впрочем, протрезвившись, Тихмень костил себя олухом и карасем с не меньшим рвением, чем своих ближних, и исполнялся еще большей ненавистью к той субстанции, что играет такие шутки с людьми и что люди легкомысленно величают индейкой.

Год тому назад... да, это так: уже почти год прошел с того дня, как ироническая индейка так подло посмеялась над Тихменем.

Были святки – несуразные, разгильдяйские, вдрызг пьяные тутошние святки. Поручик Тихмень в первый же день навизитился, накулюкался и к ночи вернулся домой рыцарем, опустившим забрало.

Капитана Нечесы не было дома, ребят уж давно уложил спать капитанский денщик Ломайлов. Одна перед празднично-вкусным столом скучала капитанша Нечеса: ведь первый день всегда празднично-скучен.

Непривычно-галантно поцеловал руку у прекрасной дамы рыцарь Тихмень. И принимая из ее ручек порцию гуся, молвил:

– Как я рад, что ночь.

– Почему же это вы рады, что ночь?

Тверезый Тихмень ответил бы в виде любезности самое большее: «Потому что ночью все кошки серы». А рыцарь Тихмень сказал:

– Потому что ночью является нам то прекрасное, что скрыто от нас дневным светом.

Это было по вкусу капитанше: она заиграла всеми своими бесчисленными ямочками, потрянула кругленькими кудряшками на лбу и пустила против Тихменя свои атуры.

Откушали и пошли в капитаншин будуар, он же – спальня.

И опять: тверезый Тихмень – как огня бежал всегда этого приюта любви, двух слоноподобных кроватей, двух рядом почивающих на вешалке китайских халатов, в которых капитан и капитанша щеголяли ранним утром и поздним вечером. А рыцарь Тихмень охотно и радостно пошел в этот замок за прекрасной дамой.

Здесь рыцарь и его дама сели играть «в извозчики»: на листе бумаги карандашным огрызком поставили кружки – города и долго возили друг дружку и старались запутать.

Впоследствии рыцарь уже водил по бумаге рукой своей дамы, дабы облегчить ее труд. И так незаметно доехали они до капитаншиной кровати...

Не будь этого проклятого дня, что были бы Тихменю все дурацкие шутки насчет Петяшки? Нуль, сущее наплевать. А теперь... да, черт его ведает, может, и правда Петяшка-то...

– Ах, ты олух, идиотина, карась!

Так хватался за голову Тихмень и честил себя... трезвый.

А пьяный горевал о том, что не знает наверняка, чей Петяшка. Прямо вот – сердце разрывалось у пьяного. И главное – неизвестно ведь, как и узнать. Правда ведь, а?

Но сегодня Тихмень веселыми ногами вернулся после званого обеда у генерала и знал, что сделать, знал, как узнать про Петяшку.

– А, что, съела? А я все-таки узнаю... – поддразнивал Тихмень неведомую субстанцию.

Было еще рано, у генерала еще пир шел горой, еще Нечеса там остался, а Тихмень нарочно, специально, чтоб узнать, тихонько пробрался домой – и прямо в будуар.

Капитанша лежала еще в кровати: от частых родов что-то у ней там разладилось, и вот уже месяц – все поправиться как следует с силами не соберется.

– Здравствуй, Катюша, – поцеловал Тихмень кругленькую ручку.

– Что-то ты, милый, вежлив, как... тогда был. Не забудь, что тут дети.

Да, здесь все, как было и в тот святочный вечер: кровати-слоны, на вешалке халаты. Только вот – дети: восемь душ, восемь чумичек, мал-мала меньше, и за ними сзади, как Топтыгин на задних лапах, – денщик Яшка Ломайлов.

– А ты отошли детей, мне надо поговорить, – серьезно сказал Тихмень.

Капитанша мигнула Яшке. Яшка и восемь ребят испарились.

– Ну что, ну какого еще рожна тебе говорить? – спросила капитанша сердито. А внутри так и запылало любопытство: «Что такое? О чем может этот статуй?»

Тихмень долго скрипел, колумесил околицей: все никак духу не хватало настоящее сказать.

– Видишь ли, Катюша... Это сразу оно может и так показаться, тово... Ну, одним словом, чего там, желаю я твердо знать: мой Петяшка наверняка – или не мой?

Уж и так круглые, а тут и еще покруглели капитаншины глазки и молча уставились в Тихменя. Потом она прыснула, затрясла кудерьками:

– Вот дурашный, ну и дурашный, рассмешил, ой, ей-Богу! Ну, а если я не знаю – тогда что?

– Взаправду – не знаешь?

– Вот чудород! Да что мне – трудно бы тебе сказать, что ли, было? Не знаю – и весь сказ. Вот еще допросчик нашелся!

...«И она не знает, пропало теперь дело». Пошел Тихмень в свою комнату, нос повесил.

В коридорчике налетел на капитана Нечесу: тот тоже себе шел, ничего не видя.

– А, ч-черт тебя возьми! Ты что это, нос-то на квинту, а? – ругнулся капитан.

Тихмень взглянул на Нечесу:

– А ты что на квинту?

– Э-э, брат! У меня горе: Аржаной сбежал, ну и это еще наплевать бы, а то нашелся теперь, и оказывается – манзу прихлопнул.

– А у меня... – и, не сказав, махнул Тихмень безнадежно.

10. Солдатушки, браво, ребятушки

Который настоящий да хороший мужик – тот если за сохой походил да землю нюхнул, так уж вовек этого духу земляного не забудет. Должно быть, что и с Аржаным вот так. Пошлют Аржаного, скажем, за водой на ротной Каурке – он таким гоголем по улице прокатит, что мое почтение. Или лопату сунут Аржаному в лапы: опять комья так и летят, яма сама собой строится. И так вот со всяким хозяйственным делом. А поставили его в строй – он и рот разинул. Сущее с ним горе капитану Нечесе: мужчина Аржаной здоровенный, правофланговый, а стоит, рот разиня, вот ты и делай с ним, что хочешь...

– Аржано-ой! Ты что чучелом таким стоишь, оглобля? О чем задумался? Что у тебя в башке?

А черт его знает, что: словами-то и не сказать, пожалуй. Должно быть, росное, весеннее утро, пашни паром курятся, лемех от земли жирный, сытый землею, а в небе – жаворонка. И будто вот в пустельге в этой, в жаворонке, вся механика-то и есть. И все дерет Аржаной голову кверху, все рот разевает: а нету ли, мол, жаворонки той самой наверху?

– Аржаной, балаболка, штык ровняй, по средней линии, аль не видишь?

Глядит Аржаной на штык – ишь ты, солнце-то на нем как играет! – глядит и думает: «Вот ежели бы да, например, из этого штыка – да лемех сковать. Ох, и лемех бы вышел – новину взодрать, вот бы!»

И все это еще туда бы сюда, все это дело домашнее. А уж вот как теперь угрешился Аржаной – манзу прихлопнул, – этого уж не покроешь, придется уж с этим к генералу идти, ах ты, Господи...

Качает капитан Нечеса лохматой своей головой, качается маленький его сизый нос, заблудившийся в бороде, в усах.

– Да как же это ты, Аржаной, а? Кто же это тебя надоумил? Зачем?

Аржаной оброс за время бегов щетиной, стал еще скуластей, еще больше обветрел, земле предался.

– Такое вышло дело, ваше-скородие. Рассказали мне солдаты проклятые, что, мол, теперича идут по большой дороге манзы эти самые и, знычь, несут панты оле-

нии, а пантам этим самым цена будто полтыщи... Ну я, знычь, убег и подстерег манзу-то...

Затопал капитан на Аржаного, залаял свирепо, начал его обкладывать – вдоль и поперек. А Аржаной стоит и ухмыляется: знает, капитан Нечеса не обидит солдата, а брань – дело плевое, на вороту не виснет.

И только тогда оробел Аржаной, когда услышал, что к генералу придется идти: тут побелесел даже со страху.

Увидел это капитан Нечеса, заткнул свой ругательный фонтан, налил полстакана водки и сердито сунул Аржаному:

– На, такой-сякой, пей! Да не робь: авось, вызволим как-нибудь.

Увели Аржаного в кутузку, ходит капитан по комнате неспокоен.

«Вот начупит этакий прохвост, а ты расхлебывай, ты выкручивайся. Да еще под какую руку к генералу попадем, а то и под суд угонит...»

Ходит капитан – места не найдет. Запел свою любимую песню, она же и единственная, исполняемая капитаном:

Солдату́-ушки, браво, ребяту́-ушки,
Да где ж ва-аши жё-ёна?

У Катюшки кто-то из вздыхателей сидит: ишь ты, хочет она кругленько как да звонко. К Тихменю теперь хоть и не подступайся, ходит тучи чернее, а раньше хоть с ним можно было в поддавки сыграть и за игрой о горях, о печалях позабыть... Эх!

Махнувши рукой, вынимает капитан очки в черной роговой оправе. Читает капитан простым глазом, и очки надеваются в двух лишь случаях: первый – когда капитан Нечеса ремонтирует некую часть своего туалета, а второй...

Капитан Нечеса берет оружие – грошовую иголку, специально вставленную денщиком Ломайловым в хорошую ореховую ручку. Капитан Нечеса затягивает любимую свою – и единственную – песню и бродит в столовой возле стен. Некогда стены, несомненно, были оклеены превосходными голубыми обоями. Но теперь от обоев

осталось лишь неприятное воспоминание, и по воспоминанию ползают рыжие, усатые прусаки.

...Наши жё-ёна – ружья заряжё-ёна,
Вот где на-аши жё-ёна!
Солдату-ушки, браво, ребяту...

– Ага, дьявол, попался! Та-ак!

На грошовой иголке трепыхается рыжий прусак. Должно быть, от очков – лицо у капитана совиное, свирепое, а уж лохматое – не приведи господи... Капитан кроважно-удовлетворенно глядит на прусака, сбрасывает добычу на пол, с наслаждением растирает ногой...

Наши се-естры – сабли-ружья во-остры.
Вот где на-аши сё...

– А-а, такой-сякой, в буфет лез? Будешь теперь лазить? Будешь?

И поглядеть вот сейчас на капитана Нечесу – так, ей-Богу, аж страшно: зверь ты зверина, ты скажи свое имя. А кто с капитаном пуд соли съел, так тот очень хорошо знает, что только с тараканами капитан свиреп, а дальше тараканов нейдет.

Да вот хоть капитаншу взять: рожает себе капитанша каждый год ребят, и один на адъютанта похож, другой – на Молочку, третий – на Иваненко... А капитан Нечеса – хоть бы что. Не то невдомек ему; не то думает: «А пускай, все они – младенчики, все – ангелы Божьи»; не то просто иначе и нельзя по тутошним местам, у черта на куличках, где всякая баба, хоть самая никчемушняя, высокую цену себе знает. Но любит капитан Нечеса всех восьмёрых своих ребят, с девятым Петяшкой в придачу, – любит всех одинаково и со всеми нянчится.

Вот и сейчас, вытерши испачканные в тараканах руки о штаны, идет он в детскую, чтобы утишить тревогу свою об Аржаном. Восемь оборванных, веселых, чумазных отерханов... И долго, покуда уж совсем не стемнеет, капитан Нечеса играет в кулочки с чумазыми.

Денщик Яшка Ломайлов, Топтыгин, сидит со свечкой в передней на конике и пристраивает заплату к коленке

Костенькиных панталон: совсем обносился мальчонка. А из капитаншина будуара, он же и спальня со слонами-кроватями, слышен веселый Катюшкин смех. Ох, грехи! Не было бы к лету десятого!

11. Великая

Письменным приказом Шмит был наряжен на поездку в город. Шмит удивлен был немало. Оно, положим, что дело идет о приемке новых прицельных станков, но все же на такие дела, бывало, мелкота наряжалась, подпоручики. А тут вдруг его – капитана Шмита. Ну, ладно...

Уехал. Андрей Иванович и Маруся были на пристани. Проводили Шмита, вдвоем шли домой. Под ногами на лывах холодным хрустом хрупал ледок. Земля – мерзлая, тусклая, голая – лежала неубранным покойником.

– А у нас там теперь – мягко, снег, сугробы, – сказала Маруся. Еще глубже ушла подбородком в мягкий мех, еще больше стала пугливой, пушистой, милой зверушкой.

Вправо чернеют вихрястые от леса увалы, под ними туманная долина. И в тумане шевелятся, стали у самой дороги, как нищие, семь хромых деревянных крестов.

– «Семь крестов» – вы знаете? – кивнула туда Маруся.

Андрей Иванович помотал головою: нет. Языком шевельнуть боялся, а то снимется и улетит вот это, что сейчас бьется в нем и что страшно назвать.

– Семь офицеров молоденьких – сами себя... И не очень чтоб давно, лет так восемь или девять. Все – в один год, как от заразы. На кладбище-то их ведь нельзя было...

«...Семь. Что ж они – отдельно или сразу все? Да, собрание, у попа была собака... Фу, какая чепуха! Зараза. Может быть – любовь?»

Вот по такой дорожке промчался Андрей Иванович и вслух сказал:

– Что же, ведь любовь – она и есть болезнь. Душевнобольные... Я не знаю, отчего никто не попробовал лечить это гипнозом? Наверное, можно бы.

Андрей Иванович искал ее глаза, чтобы увидеть, слышит ли она, что он говорит, хочет сказать. Но глаза были спрятаны.

– Да, может быть, – ответила Маруся себе. – Болезнь... Как лунатики, как каталептики. Терпеть всякую боль, муку, распятыся для... для... О, все хорошо, все сладко!

Теперь Андрей Иванович видел глаза. Они очень блестящие, лучились. Но для кого, о ком?

«...Скажу, сегодня скажу ей все». Андрей Иванович задрожал тоненькой, очень острой, дрожью и услышал ее как струну, где-нибудь в самом конце клавиатуры направо, – все звенела и звенела.

Прежде чем войти в поселок, они остановились и последний раз оглянулись на небо. В разодранных облаках полыхала заря: всплеснулось что-то тревожно-красное снизу и застыло, нависло, нагнулось, растет...

Милая бревенчатая столовая Шмитов. Знакомый запах – не то зябрея, не то зверобоя. Но раньше все здесь было простое, полевое, спокойное, а теперь двигалось, каждую секунду менялось, что-то все время потрескивало. И никогда прежде не видел Андрей Иванович этого красного, дрожащего языка лампы.

Маруся была слишком весела. Рассказывала:

– Шмит еще кадетиком был, в белом парусиновом... Он и тогда был жестокий, упрямый. Мне так хотелось, чтобы поцеловал, а он... А я на качелях качалась, было жарко. Ну, думаю, погоди же! Взяла да с качелей об землю – бряк...

В дверь постучали. Вкатился самоварно-сияющий генеральский Ларька, где-то за ним статуем стоял в полутьме Непротошнов. Маруся весело кивнула Ларьке, разорвала поданный им конверт, положила на стол: надо сперва досказать.

– ...об землю брякнулась – и кричу: ой, ушиблась! Тут уж, конечно, шмитово сердце не вытерпело: где, говорит, где? Показала плечо: тут, вот. Ну, конечно, он... А я и на губы: и тут, говорю, тоже ушибла. Ну, он и губы... Вот ведь мы хитрющие какие, женщины, – если захотим!

Засмеялась, зарозовелась, была той самой девочкой на качелях. «Сейчас, сейчас скажу ей все...» – глядел на нее Андрей Иванович.

Она вынула письмо, читала. Медленно опускались качели вниз, все вниз. Но еще держалась улыбка на лице, как озябшая осенняя пичужка на безлистном дереве: уже мо-

роз, уж улетать пора, а она все сидит и пиликает – как будто и то же самое, что летом, но выходит совсем другое.

– Вот... я и не понимаю, не могу... Вот... вы... – и задохнулась. Протянула Андрею Иванычу письмо:

«Милостивая Государыня, голубонька Марья Владимировна. Пятнадцатого ноября сего года ваш милейший муженек нанес мне оскорбление действием (свидетели: денщик мой Ларька, генеральша моя и свояченица Агния; последняя видела все сквозь дверную щель). Такие вещи ценятся, конечно, не тремя днями гауптвахты, которые отсидел капитан Шмит, а малость посерьезней: каторгой – от 12 лет. Дальнейшее направление этого дела, сиречь предание его усмотрению военного суда или вечному забвению, зависит всецело от вас, милая барыня Марья Владимировна. Если вы за муженька хотите расплатиться, так пожалуйста ко мне завтра в двенадцать часов дня, перед завтраком. А коли не захотите – так в том, голубонька, воля ваша. А то бы пришли, я бы, старик, ах как бы рад был!

Почитатель ваш Азанчеев».

Цеплялась Маруся за глаза Андрея Иваныча, озябшей, неверящей улыбкой молила его сказать, что неправда это, что ничего со Шмитом...

– Ведь неправда же, ведь – неправда? – вот сейчас, кажется, станет она на колени.

– Правда, – только и мог сказать Андрей Иваныч.

– Господи, нет! – всхлипнула Маруся, совсем по-детски. Положила в рот палец, из всей мочи закусилась...

Долго сидела так, потом отвернулась. Андрей Иваныч услышал какие-то странные обрывки не то смеха, не то предсмертной икоты.

– ...На минутку... в зал... ради Бога... выйдите, мне одной бы...

Одна. Встала, подошла к стене, прислонилась лицом, чтобы никто не видел... Все сдвинулось в голове, понеслось вниз, под гору, без удержу. Привиделось – и откуда? – лампада под праздник, мать перед иконой ничком, такая чудная, сложенная пополам, а кто-то из них, из детей, лежит больной.

«Ну, а если мне не пойти? Но ведь Шмита не пожалет он... Нет, не пожалеет!»

– Мама! – тихонько крикнула она.

Никто не ответил.

– Богородица, милая, ты ведь всегда меня любила, всегда... Не отступись, родная, никого у меня нету – никого, никого...

Когда Андрей Иванович снова вошел в веселую бревенчатую столовую, Маруси не было. Умерла Маруся – веселая девочка на качелях. Увидел Андрей Иванович строгую, скорбную женщину, рожавшую и хоронившую: вот эти вот глубокие морщины по углам губ – разве не следы они похорон? И пусть запашет жизнь борозды еще глубже – все стерпит, все поднимет русская женщина.

Сказала Маруся спокойно, только уж очень тихо:

– Андрей Иванович, пожалуйста... Пойдите и скажите денщику, что хорошо, что я...

– Вы? Вы пойдете?

– Да ведь нужно – иначе...

Все в Андрее Ивановиче задрожало, помутилось. Он стал на колени, губы тряслись, искал слов...

– Вы... вы... вы великая... Как я любил вас...

Люблю – не посмел сказать. Маруся спокойно смотрела сверху. Только руки, пальцы заплетены очень туго.

– Мне лучше одной. Вы завтра... нет, послезавтра придите, когда Шмит приедет. Я не могу одна его встретить...

Ни месяца, ни звезд, небо тяжелое. Посередь улицы, спотыкаясь о замерзшую колючь, бежал Андрей Иванович.

«Нет, нельзя допустить... Немыслимо, возмутительно. Что-нибудь надо, что-нибудь надо... У попа была собака... О Господи, да при чем это?»

Как в бреду, добежал до генеральского дома: слепые, темные окна; все спят.

«Звонить? Ведь раздеты. Ведь уж первый час. Нелепо, смешно...»

Обежал еще раз кругом: нет ни единого огонька. Если б хоть один, хоть один – тогда бы еще... А так – может быть, лучше до завтра?

Андрей Иванович пощупал задний карман:

«И револьвера нет, что ж я руками-то? Смешно, только выйдет смешно! Э-э...»

Так же без памяти, сломя голову добежал до дому. Позвонил, ждал. И тут вдруг ясно представил: Маруся – и генеральское пузо, может, даже белое, с зелеными пятнами, как у лягвы. Скрипнул зубами: «Ах я проклятый!»

Но денщик Гусляйкин, ухмыляясь любезно, закрывал уже дверь на ключ.

12. Милостивец

Нынче генерал раным-рано поднялся: к девяти часам взбодрился уж, кофею наакался и в кабинете сидел. Чинил генерал по пятницам суд и расправу.

– Ну, Ларька, кто там? Да живей поворачивайся, волчком чтоб у меня вертелся – ну?

Генерал бухнулся в кресло: кресло даже заохало, еле на ногах устояло. Зажмурил умильно глаза, поиграл пальцами по брюшку:

«Придет, голубонька, или нет? Эх, и пичужечка же, да тонюсенькая, да веселенькая... Эх!»

Разбудил генерала густой барбосий лай капитана Нечесы:

– Вот, ваше превосходительство, Аржаной, который манзу-то убил. Тут он, привел я, позвольте доложить.

«Ох, придет же, голубонька, да, уважит старика, придет», – расплывался генерал, как блин в масле.

«И чего это он ухмыляется, чем доволен?» – вытаращился Нечеса. Подошел к генералу ближе.

– Прикажете привести, ваше превосходительство? Они тут.

– Да веди, миленок, веди! Поскорей только...

Вошли в кабинет и у двух притолок встали: Аржаной – степенный, как и всегда, хоть был он после бегов щетинист и лохмат, и свидетель, Опёнкин – рябой, с бородой-мочалой, этакий, видать, кум деревенский, разговорщик, горлан.

Должно быть, если б сейчас лошадей из конюшни приволокли в кабинет, так же бы они пятились, дыбились и храпели в страхе. И так же бы, как из Аржаного

с Опёнкиным, клещами бы из них слова не мог вытащить капитан Нечеса.

– Да ты не бойся, чего ты, – улещал капитан Опёнкина, – твое дело сторона ведь: тебе – ничего не будет.

«Сторона-то сторона. А как разгасится генерал...» – молча дыбился Опёнкин. Однако огляделся помалу, рот раскрыл. А уж раскрыл – и не остановить его: балакает – и сам себя слушает.

– Что ж, китаец, обнакновенно, манза – манза он и есть. Стретил я его, можно-скать, на околице, идет себе и мешшина у его зда-ро-венный на спине. Ну, он мне, конечно: здраст-здраст. И-и залопотал по-ихнему, и-и пошел... Ну чего, грю, тебе, чудачо-ок? Ни шиша, грю, не понимаю. Чего б, мол, тебе по-нашему-то, как я, говорить? И просто, мол, и всякому понятно. А то вот нет – накося, по-дуравьи язык ломает...

– Э-э, брат, завел! Ты лучше про Аржаного расскажи, как ты его встретил-то?

– Аржаной-то? Да как же, о Господи! Кэ-эк это он зачал мне про братнину жену, про ребятенка рассказывать... Мал-мала, грит, меньше, есть хочут и рты, грит, разевают. Рты, мол, разинули... И так Аржаной расквелил меня этим самым словом, так расквелил... Иду по плитуару – навоз-рыд, можно-скать, и тут же перебуваюсь...

Тут даже и генерал проснулся, перестал ухмыляться чему-то своему, вылупил буркалы лягушьи:

– Пере-буваюсь? Это то есть почему же: перебуваюсь?

И как это господа не понимают, что к чему? Вот сбил теперь Опёнкина, и конец. Нешто так можно перебивать человека? Вот теперь все и забыл Опёнкин, и боле ничего.

Степенно, басисто рассказывал Аржаной. Главное дело – отпустили бы его только панты эти самые откопать. А то проведдают солдатишки проклятые... Ведь стоят-то панты полтыщи, о Господи...

– Ваше превосходительство, уж дозвольте пойтить взять. Ведь наше такое, знычь, дело крестьянское, деньги-то вот как надобны, податя опять же...

Генерал опять улыбался, подпрыгивал легонечко в кресле этак вот: вверх и вниз, вверх и вниз. Щекотал себя по брюшку:

«Ах, голубонька, плачет, поди, разливается... Ах, дитенок милый, чем бы тебя разутешить? А может, пожалеть, а?»

Генерал покачал головой на Аржаного:

– Эх ты, голова – два уха! Тебе бы только панты. А человека тебе нипочем укокошить? Жалеть надо человека-то, миленок, жалеть, вот что.

– Ваше превосходно... Да ведь они – манзы. Нешь, они человеки? Так, знычть, вроде куроптей больших. За их и Бог-то не взыщет. Ваше превосходно... дозвольте панты-то, ведь ребятенки, есть-пить... рты разинули...

Генерал загоготал, заходило, заплескалось его брюхо:

– Как, как? Вроде, говоришь, куроптей? Хо-хо-хо! Ну, ладно, вот что. Вы этого сукина сына... Хо-хо! Так вроде куроптей, говоришь? Вы его домашним порядком – плеточкой, понимэ? И потом – отпустите его панты эти взять, черт с ним, и – под арест на десять суток, вот-с...

Аржаной бухнулся в ноги: «Стало быть, панты-то мои?»

– Ваше превосходно... благодетель, милостивец!

Капитан Нечеса, уходя, думал:

«Ах, неспроста это, больно чтой-то добер нынче!»

Генерал вышел в гостиную, жмурился, улыбался. У окна сидела генеральша, грела в руке стаканчик с чем-то красным.

– Чей-то, матушка, голосок я слышал? Молочко, что ли? Все еще хороводишься?

– Молочко отлынивать что-то стал, – рассеянно глядела генеральша мимо, – бородавки у себя развел, так нехорошо. Ты бы его приструнил...

Подскочила Агния. Вихлялась, подпрыгивала около генерала:

– А Молочко про Тихменя рассказывал: совсем малый спятил, все добивается, его или нет Петяшка, капитаншин девятый...

Хихикала Агния в сухой кулачок. Генерал весело ткнул ее в бок:

– А ты, Агния, когда же родишь, а? За Ларьку бы, что ли, выходила: что ж даром-то так пропадать?

А Ларька – как раз тут вот и пришел и стоял в дверях. Увидала его Агния – запрыгала, запричитала: «Штоп-штоп-штоп тебе пр-провалиться...»

Ларька подкатился любовно к генералу:

– Ваше превосходительство, вас дожидают там... К вам, говорят, лично.

Так и затрепыхался генерал. «Неужто ж и впрямь пришла?»

Побежал, засеменил. Брюхо побежало впереди – выходило, будто катил его генерал перед собой на тачке. Высоко подтянутые брючки трепались над сапогами.

Что-то такое учуяла нюхом своим Агния и, сказав: «Я сейчас», упорхнула от генеральши в свою комнатку.

Комнатушка – клетушка маленькая, но зато веселые, с малиновыми букетами, обои, и пахнет каким-то розовым шипучим мылом. А все стены уклеены вырезанными из «Нивы», из «Родины» портретами: все мужские портреты аккуратно Агния вырезывала и тащила к себе – и генералов, и архиереев, и знаменитых ученых.

Но не в букетах, и не в портретах даже суть. А в том, что под большим портретом Александра III укрыла Агния долгим трудом и искусством проделанную щель в генералов кабинет. И теперь, прильнув ухом к щели, как манну небесную, ловила все, что сейчас творилось в кабинете.

13. Кладь тяжелая

Шмит веселый-развеселый вернулся из города: уж давно его Андрей Иванович таким не видел. Шли втроем с пристани: Шмит звал обедать. Стал было некатся Андрей Иванович, да Шмит и слушать не хотел.

– Эх, по заливу шуга идет, – говорил Шмит. – Льдинки скрипят около баркаса, машина изо всех сил стучит... Эх, хорошо, борьба!

Шел он высокий, тяжелый для земли, пил залпом морозный воздух.

– Борьба, – вслух подумал Андрей Иванович, – борьба утомляет. К чему?

– Отдых утомляет еще больше, – усмехнулся Шмит.

«Да он устанет не скоро, – глядел Андрей Иванович на Шмита, – он бы не задумался, что спят, что нет револьвера... И ничего бы этого не было. А может, и так не было?»

В первый раз на сегодня насмелился Андрей Иванович – и взглянул на Марусю. Ничего... Но только эта неподвижность лица и заплетенные крепко пальцы...

«Она была там, это... было», – весь захолонул Андрей Иванович.

– Ну, что ж ты, Маруська, делала, что во сне видела? – Шмит нагнулся к Марусе. Жесткий его, кованый подбородок исчез, Шмит весь стал мягкий.

Бывает вот, над кладью грузчики иной раз тужатся-тужатся, а все ни с места. Уж и дубинушку спели, и куплет какой-нибудь ахтительный загнули про подрядчика – ну, еще раз! – напружились: и ни с места, как заколдовано.

Так вот и Маруся сейчас тужилась улыбнуться: всю свою силу в одно место собрала – к губам – и не может, вот – не может, ни с места, и все лицо дрожит.

Видел это – смотрел, не дыша, Андрей Иванович: «Боже мой, если только оглянется сейчас на нее Шмит, если только оглянется...»

Секунда, одна только секундочка бесконечная – и совладала Маруся, улыбнулась. И только голос дрожал у нее чуть приметно:

– Господи, до чего ж иной раз вещи никчemuшные снятся, смешно! Мне вот всю ночь снилось, что надо разделить семьдесят восемь на четыре части. И вот уж будто разделила, поймала, а как написать, так и опять число забыла, и нету. И опять семьдесят восемь на четыре части – не умею, теряю, а знаю – надо. Так страшно это, так мучительно...

«Мучительно» – это была форточка туда, в правду. И даже радостно было Марусе сказать это слово, напоить его всей своей болью. И опять все это поймал Андрей Иванович – снова захолонул, заледенел.

Шмит шел впереди их двоих уверенным своим, крепким, тяжелым шагом. Сказал, не обертываясь:

– Э-э, да ты, Маруська, кажись, это серьезно! Надо уметь плевать на такие пустяки. Да, впрочем, не только на пустяки: и на все...

И сразу Шмит стал вдруг немил Андрею Ивановичу, почему-то вспомнилось, как Шмит жал ему руку.

– Вы... Вы эгоист, – сказал Андрей Иванович со злостью.

– Э-го-ист? А вы что ж думаете, милый мальчик, есть альтруисты? Хо-хо-о! Все тот же эгоизм, только дурного вкуса... Ходят, там, за прокаженными, делают всякую гадость... для-ради собственного же удовлетворения...

«Ч-черт проклятый... А вот то, что она сделала? Неужели... неужели ж ничего он не замечает, не чувствует?»

А Шмит смеялся:

– Э-го-ист... А знаете, как барышни это слово пишут? Ах, Господи, да кто ж это мне рассказывал? Сидят двое на скамейке, она зонтиком на песке выводит: и---т. «Угадайте, – говорит, – это я написала о вас». Обожатель глядит, читает, конечно: «идиот». И трагедия... А было-то «игоист»...

Марусе нужно было смеяться. Опять: заколдованная кладь, грузчики напряжились изо всех сил... Закусила губы, побледнел Андрей Иванович...

Засмеялась наконец... слава Богу, засмеялась! Но в ту же секунду раскололся ее смех, покатались, задребезжали осколки, хлынули слезы в три ручья.

– Шмит, милый! Я больше не могу, не могу, прости, Шмит, я тебе все расскажу... Шмит, ты ведь поймешь, ты же должен понять! – иначе как же?

Всплескивала маленькими своими детскими ручонками, тянулась вся к Шмиту, но не смела тронуть его: ведь она...

Шмит повернулся к Андрею Ивановичу, к искаженному его лицу, но не увидел в нем удивления. Шмитовы глаза узко сощурились, стали как лезвие.

– Вы... Вы уже знаете? Почему вы знаете это раньше, чем я?

Андрей Иванович сморщился, поперек глотки стал ком. Он досадливо махнул рукой:

– Э, оставьте, мы с вами после! Вы поглядите на нее: вы ведь ей в ноги должны кланяться.

Шмит выдавил сквозь стиснутые зубы:

– Муз-зы-кант! Знаю я этих муз-зы...

Но услышал за собой легкий шорох. Обернулся, а Маруся-то как стояла, так и села наземь, поджав ноги, а глаза закрыты.

Шмит поднял ее на руки и понес.

14. Снежный узор

Каждый день вечером подходил Андрей Иванович к Шмитовской калитке, брался за звонок и уходил назад: не мог, ну вот не мог он такой, проклятый, войти туда, увидеть Марусю. Как же не проклятый: зачем не убил в ту ночь генерала? Шмит бы убил.

Но и так – сидеть в постылой своей комнате и не знать, что там – еще больше не мог.

«Господи, только бы как-нибудь увидеть, хоть немного, что она – что с ней...»

И на пятый день к вечеру Андрей Иванович придумал-таки. Напялил пальто, взял было шашку – поставил опять в угол.

– Куда это вы, на ночь глядя? – спросил Гусляйкин и, показалось Андрею Ивановичу, подмигнул.

– Я... Я не скоро приду, ложись спать.

На улице снег вчера выпал. Не настоящий, конечно, не русский: так только, сверху чуть-чуть.

«Снег – это нехорошо, хрустит, и от месяца – как днем, ясно... Все равно. Надо же...»

Андрей Иванович зуб на зуб не попадал – от холода, что ли? Да нет: мороз – не Бог весть.

Окна у Шмитов завешены были морозным самоцветным узором. Андрей Иванович поднялся на цыпочки и терпеливо стал дыханием согревать стекло, чтобы увидеть – Господи, если б хоть немного, хоть немного!

Теперь было видно: они в своей столовой. Дверь оттуда прикрыта неплотно, и в гостиной синий полусвет, смутно-острые тени от пальмы – на диване, на полу.

Дрожал, глядел Андрей Иванович в протаянный круг. Мерзли руки и ноги. Не скоро, может, через полчаса, может, через час, пришла мысль:

«Стоять и подглядывать, и подглядывать, как Агния какая-нибудь! До чего ж, значит, я... Надо уйти...»

Отошел на шаг – и стал: уйти дальше не было сил. Вдруг увидел: на снежном экране окна заколыхались две тени – большая и поменьше. Все забыл, кинулся к окну, затрясся, как в лихорадке.

Проталины в окне затянулись уж снежной дымкой, ничего не понять... «Что ж это... что они там делают, что они делают?»

Маленькая тень поменьшела, стала на колени, а может, упала, а может... К ней нагнулась большая тень...

Впился, всем своим существом ушел Андрей Иванов в проклятую снежную завесу, силился ее разорвать...

Тр-рах! – стекло треснуло, на лбу ожог боли, мокрое. Кровь... Отскочил Андрей Иванов, ошалело глядел на осколки у ног, стоял и глядел как вкопанный: бежать и не подумал.

Очнулся – возле него уж был Шмит.

– А-а, так это вы, муз-з-зы-кант? Подсматривали-с?

Совсем близко от себя увидел Андрей Иванов острые, бешеные шмитовы глаза.

– Недурно! Вы здесь быстро ак-климатизировались.

«Поднять руку? Ударить? Но ведь правда же, но ведь правда...» – застонал Андрей Иванов. И стоял. И молчал.

– На этот раз... Пош-шли вон!

Шмит захлопнул за собою калитку.

«...Сейчас же – сейчас! Прийти – и пулю в лоб... Сейчас же!» – побежал Андрей Иванов домой. Лицо горело, как от пощечин.

Не мог теперь сказать: отпирал Гусляйкин или нет. Как будто нет, и все-таки уже сидел Андрей Иванов за столом и глядел на револьвер, под лампой – такой противно-блестящий.

«Но ведь никто же абсолютно не видел. Но и не в этом даже дело. Главное, что ведь Маруся же одна останется – одна с ним. Ведь он, может быть, ее бьет, и если меня не будет...»

Он спрятал револьвер, запер торопливо на ключ. Дунул на лампу, не раздеваясь – прямо в сапогах бухнулся на постель, стиснул зубы: «О, проклятый – о, проклятый трус!»

...Склизкое, туманно-серое утро. Гусляйкин нещадно расталкивал Андрея Иванова:

– Ваш-бродие, покупочки из города привезли.

– Что, что такое? Какие покупочки?

– Да ведь вы, ваш-бродь, сами о прошлой неделе заказывали. Ведь завтра-то, чать, Рождество Христово!

Залеченные сном мысли проснулись, заныли.

Рождество... Самый любимый праздник. Яркие огни, бал, чей-то милый надушенный платочек, украденный и

хранившийся под подушкой... Все было, все кончилось, а теперь...

Было так: он канул на дно, на дне сидел, а над головой ходило мутное, тяжелое озеро. И оттуда, сверху, слышно все глухо, смутно, туманно.

Очень странно было Андрею Иванычу надеть на первый день мундир и идти с визитами. Всё же, заведенный каким-то заводом, пошел. Поздравлял, целовал руки, даже смеялся. Но сам слышал свой смех...

Где-то – может, у Нестеровых, может, у Иваненко, может, у Косинских – был спор о поросенке: как его на стол подавать? Бумажной бахромой надо его украшать или нет? Окорок, конечно, надо, всякому это ведомо, а вот поросенка-то как? И когда спросили спорщики андрей-иванычево мнение («Вы ведь недавно из России – это очень важно») – тут Андрей Иваныч и засмеялся, и услышал: «Я смеюсь? я?»

В каком-то доме, кажется у Нечесов, из столовой были видны через открытые двери две супружеских, рядом стоящих, брюхатых кровати. Глядя туда и допивая не то пятую, не то десятую рюмку, Андрей Иваныч неожиданно спросил:

– А что теперь у Шмитов?

– Чудак, да ведь у вас такое сокровище, – Гусляйкин. У него спросите, он в кухне Шмитов день и ночь, – посоветовала кругленькая капитанша.

От коньяку, от водки, от налегшей плиты ночи – мутное озеро стало еще глубже, еще тяжелей.

Андрей Иваныч сидел после визитов у себя за столом, бессмысленно глядел на лампу, не слушал, что там такое рассказывает Гусляйкин, стоя у притолоки. Потом вспомнилось: сокровище... Загорелся Андрей Иваныч и спросил не глядя:

– А у капитана Шмита давно был?

– Нынче был. Как же. Там дела, там дела, и-и-и... Комедия!

Нельзя было слушать Андрею Иванычу – и еще больше нельзя не слушать. Весь полыхал от стыда – и слушал. И говорил:

– А дальше? Ну, а потом что?

А когда кончил Гусляйкин, Андрей Иваныч, шатаясь, подошел к нему.

– К-как ты мне смел такие... такие вещи рассказывать, как ты смел?

– Ваш-бродь, да вы сами ведь...

– ...Как ты смел... про нее, про не-е, с-сволочь?

Хлясь! – так и ушла андрей-иванычева рука в бланманже какое-то, в кисельное: такие были у Гусляйкина жидкие щеки. Так это противно: как будто вот вымазана теперь вся рука.

15. Нечистая сила

Двадцать пятого января – мученицы Фелицаты память, генеральши Фелицаты Африкановны именины. И уж так у генерала Азанчеева заведено: обед на Фелицату и вечер званный. Да и не простой обед и вечер не простой, а всегда с закорючкой, с заковыристой загвоздкой какою-нибудь. То поднесет генерал перед обедом всем офицерам по букету роз: «Пожалуйте, барыни, голубушки, сам для вас в оранжерее выводил, сам и рвал». Барыни, конечно, рады, благодарственны «Ах, какой вы милый, мерси, какой запах...» Разок нюхнули, другой, да как зачихают все: розы-то табаком нюхательным позасыпаны! А то вот на последнем обеде – в прошлом, стало быть, году – такая была потеха. Обед состряпал генерал – просто на диво, а уж на особицу хвастался бульоном. И правда – янтарный, как шампанское, островки прозрачного жира сверху, и засыпан китайской лапшой: и драконы тут, и звезды, и рыбы, и человечки. После обеда гостям уж ходить невмочь: повез генерал гостей кататься, обещал им какую-то диловину показать. И когда этак верст в пяток проехали, скомандовал генерал: – стой! – и объявил всем своим верноподданным:

– А на бульоне-то, господа, не жир это, а касторка сверху плавала. А вам никому и в голову не влетело, ха-ха-ха!

Ну-у... И что тут только было!

Не иначе, как и в этом году что-нибудь уж такое да будет. Хоть и удрал генерал в город от Шмита, хоть и сидит там по сию пору, но не может того быть, чтобы к фелицатину дню не вернулся. Как же, ведь уже капитан Нечеса, за вечным отпуском командира – старший, получил

генеральский приказ согнать всех солдат и начать работы: поле утрамбовывать. Всякие эти занятия там да стрельбы, конечно, похерили: этого добра – каждый день не оберешься, а генеральшины-то именины раз в году ведь бывают.

И рассыпались солдатики по всему по полю за пороховым погребом – ровно серые муравьи. Еще слава те Господи, туман потянул да оттепелело, а то бы землю никак не угрызть. Оно, правда, грязновато, рассусолилась глина, мажется, липнет, и глядят все солдаты алахарями. Ну, да тут уж ничего не попишешь: служба. И роются, роются, тачки таскают, копошатся, серые, смирные, вдвое согнутые. Не то на поле бега будут, не то еще что: до фелицатина дня – ни одной живой душе не известен генеральский секрет...

В сторонке, на чураче сидел Тихмень, отвернувшись: надзирал за работами. Все ему было тошно: перемазанные чумички-солдаты, и смирная их точно-такность, и туман – желтый гад ползучий, и пуще всего – сам он, Тихмень.

В самом деле: какой-то там сопливец Петяшка – и вдруг все идет к черту. Раньше было все так ясно: были «вещи в себе», до которых Тихменю никакого не было дела, и были «отражения вещей» в Тихмене, Тихменю покорные и подвластные. И вот – не угодно ли! Прямо какая-то нечистая сила вселилась, ей-Богу!

...Церковь, солнечный луч. Тихменя кто-то из больших уводит за руку, а он карачится, хочет еще послушать, как кликуша выкликает – любопытно и жутко: в одно время и своим кличет, бабьим голосом – чужим, собачьим.

«Да. Разве не собачье все это? И эта гадость, любовь эта самая, паршивый щенок Петяшка?»

А собачий голос – а нечистая сила – в Тихмене скучит:

«Петяшка... Ах как же бы это узнать? Наверняка бы? Чей же Петяшка, в самом деле?»

– Здравствуй, Тихмень. О чем замечтался?

Вздروгнули оба Тихменя – настоящий и собачий, сомкнулись в одного, один этот вскочил.

Перед Тихменем в коробушке, в таратайке казенной, сидела капитанша Нечеса. Нынче в первый раз она встала с постели, и первый ее выезд был к генеральше – или, собственно, к Агнии. Душа горела – все дотошно разве-

дать, как и что было у генерала с Маруськой этой шмитовой. «Ах, слава Богу, наказал ее Господь за гордыню, а то этакая принцесса на горошине...»

Посудачила, ямочками поиграла, укатила капитанша. И сейчас же на чураче опять уселось двое Тихменей, затолкались, заспорили.

Собачий Тихмень молвил:

– А ведь капитан Нечеса остался дома один теперь, да-с...

И с присущим ему собачьим нюхом отыскал какую-то, человеку невидную, тропку, побежал – и закрутил, и зарыскал по ней. Долго кружил и вдруг – стоп, нашел, вынюхал:

– Олух же, олух же я! Ну, конечно: пойти и спросить самого капитана. Уж он-то знает, чей Петяшка... Ему – да не знать?

Тихмень встал, поманил к себе пальцем Аржаного.

– Ну, как у нас дела?

В строю разиня – тут, в земляном деле, Аржаной – козырь и мастак и за всех ответчик.

– Да так что, ваш-бродь, пошти все уж урки свои кончили. Рази там каких-нить штук-человек десять осталось...

– Штук-человек десять? Ну, ладно. – Тихмень махнул рукой: – Кончайте без меня, я пойду. Ты пригляди, Аржаной.

– Торопливо Тихмень вбежал в нечесовскую столовую. Слава Богу, так и есть: капитан дома.

Перед капитаном стоял солдат. Капитан Нечеса очень важно отсыпал порошок. Подбросил, прикинул на ладони: годится.

– На вот, во здравие пей. Ну, чего там, чего там!

Мнил себя Нечеса очень недурным лекарем. Да и солдат к нему веселей шел, чем к фельдшеру или там к доктору: те-то уж больно мудрены.

Одно горе: лет пять назад утянул кто-то из пациентов у Нечесы «Школу здоровья», и остался у капитана только «Домашний скотолечебник». Делать нечего, пришлось по скотолечебнику орудовать. И, ей-Богу, не хуже выходило: что ж, правда, велика ли разница? Устройство одно, что у человека, что у скотины.

После медицины у капитана настроение бывало расчудесное. Пощекотал он Тихменю ребра:

– Ну, что брат Пушкин?

– Да вот, хотел было я спросить...

– Нет, брат, ты сначала садись, выпей, а там – увидим.

Сели. Выпили, закусили. Опять собрался Тихмень с духом, издалека стал подъезжать: то да се, да как, мол, Петяшку будет трудно на ноги поставить... Но капитан Тихменю живо окорот сделал:

– За обедом? О высоких материях? Да ты спятил! Видать, в медицине ни бельмеса не понимаешь. Разве можно – такие разговоры, чтоб кровь в голову шла? Надо, чтоб вся в желудок уходила...

Ах, ты Господи! Что ты будешь делать? А тут еще влетели все восемь капитановых оборванцев и с ними Топтыгин на задних лапах – денщик Яшка Ломайлов.

Нечесята хихикали, шептались, заговор какой-то. Потом, фыркая, подлетела к Тихменю старшенькая девочка Варюшка.

– Дядь, а дядь, у тебя печенки есть? А?

– Пече... печенки, – залился капитан.

Тихмень морщился.

– Ну, есть, а тебе на что?

– А мы нынче за обедом печенку жареную ели, а мы за обедом...

– А мы за обедом... а мы за обедом... – запрыгали, хлоппали, заорали, кругом понеслись ведьмята. Не вытерпел капитан, вскочил, закружился с ними – все равно, чьи они: капитановы, адъютантовы, молочковы...

Потом все вместе играли в кулючки. Потом составляли лекарства: капитан и ведьмята – доктора, Яшка Ломайлов – фершал, а Тихмень – пациент... А потом уж пора и спать.

Так и остался Тихмень на бобах: опять ничего не узнал.

16. Пружинка

Нарочно, смеху для, распустил Молочко слух, что генерал вернулся из города. И Шмит на этом поймался. Сейчас же закипел: иду!

Он стоял перед зеркалом, сумрачно вертел в руках крахмальный воротничок. Положил на подзеркальник, позвал Марусю.

– Пожалуйста, погляди вот: чистый? Можно еще надеть? У меня больше нет. Ведь у нас ничего теперь нет.

Узенькая – еще уже, чем была, с двумя морщинками похоронными по углам губ, подошла Маруся.

– Покажи-ка? Да, он... да, пожалуй, еще годится...

И все еще вращая воротничок в руке, глаз не спуская с воротничка – сказала тихо:

– О, если бы не жить! Позволь умереть... позволь мне, Шмит!

Да, это она, Маруся: паутинка – и смерть, воротничок – и не жить...

– Умереть? – усмехнулся Шмит. – Умереть никогда не трудно, вот – убить...

Он быстро кончил одеваться и вышел. По морозной, звонкой земле шел – земли не чуял: так напряжены были в нем все жилы, как стальные струны. Шел злобно-твердый, отточенный, быстрый.

Ненавистно-знакомая дверь, обитая желтой клеенкой, ненавистно-сияющий генеральский Ларька.

– Да их превосходительство и не думали, и не приезжали, вот ей-Боженьку же, провалиться мне!

Шмит стоял упруго, готовый прыгнуть, что-то держал наготове в кармане.

– Да вот не верите, ваше-скородь, так пожалте, сами поглядите...

И Ларька широко разинул дверь, сам стал в стороне.

«Если открывает – значит, нету, правда... Вломиться – и опять остаться в дураках?»

Так резко повернулся Шмит на пороге, что Ларька назад даже прынул и глаза зажмурил.

Шмит стиснул зубы, стиснул рукоятку револьвера, всего себя сдавил в злую пружину. Разжаться бы, ударить! Побежал в казармы – почему, и сам того не знал.

В казарме – пусто-чистые из бревен стены. Все были там, за пороховым погребом: что-то никому неведомое устраивали к генеральшиным именинам. Один только дневальный сонно слонялся – серый солдатик, все у него серое: и глаза, и волосы, и лицо – все, как сукно солдатское.

Шмит бежал вдоль бревенчатой стены, мигали в глазах оголенные нары. За погон что-то задело, – глянул на

стену вверх: там на одной петельке качалась таблица отдания чести.

Шмит рванул таблицу:

– Эт-то что такое? Ты у меня...

И так ударил голосом на «эт-то», так развернул в этом слове мучительную свою пружину, что вышло, должно быть, страшным простое «это»: серый солдатик шатнулся, как от удара.

Но Шмит был уже далеко: этот серый – не то. Шмит бежал туда, где работали – к пороховому, где было много.

Только трех солдатиков нынче и не погнали на работы: в казарме дневального, у погреба часового – и красильщика, который патронные ящики красил.

А красил ящики не какой-нибудь дуrolом, какой не знает и грунтолки положить, – красил ящики рядовой Муравей, своего дела мастер известный. Не то что-то, а даже когда спектакль ставили в запрошлом году – «Царь Максимилиан и его непокорный сын Адольфа», – так даже для спектакля все рядовой Муравей расписывал. И он же, Муравей, на гармошке первый специалист: как он – страдательную сыграть никто не мог. Рядовой Муравей себе цену знал.

И вот стоял он маленький, чернявый, будто даже и не русский, стоял и душу свою тешил. Ящики-то зеленым помазать – это еще дело годит. А пока что зеленью и подгрунтовкой белой расписывал он на ящике вид: речка как есть живая, ихняя Мамура-речка, а над речкой – вёстры, а над вё...

– А-ах! – как гром разразила его сверху шмитова рука. – Т-ты красишь? Ты... красишь? Я... тебе... что... велел?

И еще что-то кричал Шмит – может, и не слова даже, очень даже просто, что не слова – кричал и бил прислонившегося к зарядному ящику Муравья. Бил – и все больше хотелось бить: до крови, до стонов, до закатившихся глаз. Так же неудержно, как раньше хотелось без конца тоненькую Марусю подымать на руки, целовать.

Со страху ли, или уж очень большим преступником видел себя Муравей, но только не кричал он. А Шмиту попросту пришлось тут упрямство. Нужно было одолеть, ну-

жен был... нужен был – задыхался Шмит – нужен был крик, стон.

Шмит вытащил из кармана револьвер – и только тут Матвей заорал благим матом.

На поле, за пороховым погребом, услышали. Размахивали руками, прыгали через канавы, неслись сюда черные фигуры. И впереди был Андрей Иванов: он дежурил сегодня с солдатами.

Шмит поглядел на Андрея Ивановича, что-то хотел ему сказать, но уж близко дышали, запалились, бежавши, солдаты. Шмит махнул рукой и медленно пошел.

Солдаты стояли в кругу около лежащего, вытягивали головы, долго никто не насмеливался подойти. Потом вылез, кряхтя, из круга неуклюже-степенный детина, присел на карачки к Муравью:

– Э-эх, сердешный, как он тебя, знычь, ловко оборудовал!

Андрей Иванович узнал Аржаного. Аржаной приподнял голову Муравью и умело, как будто это не впервой ему, обматывал ситцевым платком.

«Да, это Аржаной, тот самый, что манзу убил. Тот самый...» – И задумался Андрей Иванович.

17. Клуб ланцепупов

Все уж это знали, что Шмит совсем как бешеный бегаёт. И когда нежданно-негаданно вошел он в столовую собрания, все, как по команде, притихли, прижухли, даром что навеселе были.

– Ну, что ж вы, господа? О чем? – Шмит оперся о стол с тяжелой усмешкой.

Все сидели, а он стоял: вот это будто самое неловкое и было, вертелись. Кто-то не вытерпел и вскочил:

– Мы... мы ане-анекдот...

– Ка-акой анекдот?

...Какой? Как нарочно, вылетели все из головы. «А вдруг он нюхом учует, что мы говорили о нем и...»

Выручил капитан Нечеса. Поковырял сизый свой нос и сказал:

– А мы... это, да, армянский – знаешь? Одын ходыт, другой ходыт... двэнадцатый ходыт, что такой?

Шмит почти улыбнулся:

– А-а, двенадцатый ходыт? Стало быть, капитан-нечесовы дети...

Все подхватили, загоготали облегченно:

«Что же, он даже и ничего вовсе, даже и шутит...»

Шмит обвел их всех острыми, железно-серыми глазами, каждого ощупал отдельно и сказал:

– Господа, а не осточертело вам здесь? Не пора ли чего-нибудь этакое похлеще? А? Не ахнуть ли нам в город, в ланцепуповский клуб, например? Чуть ли не с год ведь не были.

Шмит глядел, искал: «Поедут – не поедут? А вдруг – поедут, и мы там где-нибудь встретим Аза... Азанчеева? Вдруг встретим – ведь может же...»

Публика мялась.

– Теперь? Да ведь ó полночь уж... С ума спятить: всю ночь переть туда – ехать... Ветер, качать будет...

– Ну-с? Как же? – усмешкой хлестнул Шмит Андрея Иваныча, уперся в широкий андрей-иванычев лоб.

Андрей Иваныч вышел вперед и, хотя и не знал даже толком, что за клуб такой ланцепупов, упрямо сказал:

– Я еду.

Лиха беда начать, а там уж пойдет.

Загалдели: и я, и я! Засуетились, застегивали шинели, пошли к берегу. Не поехал только Нечеса.

На воде был такой холодина, что все живо языки подвязали. Свистел, жуть нагонял ветер. Дремали, сидя. Без конца, всю ночь, колотилась головою волна о железный борт.

Подъезжали на рассвете. Медленно, презрительно, величаво выкатывалось из воды солнце. Сразу стало стыдно клевать носом, вскочили, глядели на не проснувшийся, розово-синий, на горе город.

Растолкали на пристани китайцев-извозчиков и покатили гуськом на пяти дребезгливых подводах на самый край города.

На звонок дверь, как у Кашея во дворце, сама растворилась: людей не видать было. Шепотом, воровато вошли в приготовленную комнату, вида необычного, очень длинную: коридор, а не комната. У одной стены – узкий, весь в бутылках, стол. А насупротив, где окна, – ничего: пусто, гладко.

Шмит налил себе полный стакан рома, выпил, рука у него чуть дрожала, глаза узились и кололи.

– Ну, что ж, господа, жребий?

Кинули жребий. Выпал орел четверым: Шмиту, Молочке, Тихменю, Нестерову. Отчего-то розовость Молочки мигом полиняла.

– Я бросаю! – крикнул Шмит и кинул за окно большой, весело сверкнувший золотой.

На раскрытом окне опущена и парусом вздувается штора. Стали у окна попарно – справа и слева, вынули револьверы, вытянулись, ждали. Резкий, кованый профиль Шмита, острый, выдвинутый вперед подбородок, закрытые глаза...

– Но зачем же они... – поднял было голову Андрей Иваныч: ничего не понимал.

На него цыкнули: притих. У всех были красные, дикие глаза, с прозеленью лица: может, от бессонной ночи. Вихрились какие-то несуразные обрывки слов в головах. Лили в себя спирт. Сердце – в нестерпимых, сладко-мучительных тисках.

Плыл вверх солнечный квадрат на белой занавеске. Все так же молча сидели. Не знал никто: час прошел, или два, или...

Шаги по тротуару под окном. Какая-то одинаковая у всех судорога – и четыре нестройных, вразброд, выстрела.

Вскочили, взбудораженно загалдели, все кинулись к окну. У самой стены лежал на спине в ватной синей кофте манза: нагнулся было за новеньким золотым, но поднять, должно быть, не успел.

Уж что было дальше, не видал Андрей Иваныч. От ночи ли бессонной, от винного ли дурмана или еще от чего, но только сомлел он: как стоял у окна, так тут же на пол и сел.

Очнулся – совсем близко над ним шмитовы железно-серые глаза.

– Разве мыслимо? – Шмит встал с колен, выпрямился. – Офицер, как институтка, на кровь не может глядеть! Я всегда это говорю: офицер в мирное время должен учиться убивать...

Андрей Иваныч медленно поднимался с полу – шатнулся – схватился за Тихменя.

Тихмень взял его под руку, повел к выходу:

– Пойдемте, голубчик, пойдемте. Вам еще рано, погодите...

Вышли в маленький голый садик с почернелым забором, с печально-непокрытой землей. Только недавно еще вышло на небо солнце, а уж затягивался смертной пленкой тумана его зрак.

Тихмень сбросил фуражку, провел рукой по зализам своим, глянул вверх:

– Скверно. Все скверно. Так скверно! – сказал он скрипуче. Махнул рукой и опять сидел молча, слишком длинный, непрочный. Полз ржавый, ржавящий, желтый туман. – Хоть бы война какая, что ли... – буркнул в нос Тихмень.

– Хороши мы будем на войне!

Хотел это только сказать или сказал – и сам того не знал Андрей Иванович: в голове колотилось, ключьями несло стремглав, путалось.

18. Альянс

Пост великий, мокреть, теплынь. Чавкает под ногами грязь – так чавкает, что вот-вот человека проглотит.

И глотает. Нету уж сил карачиться, сонный тонет человек и, засыпая, молит: «Ох, война бы, что ли... Пожар бы, запой бы уж, что ли...»

Чавкает грязь. Гиблые бродят люди по косе, уходящей в океан. Чертятся на черном вдалеке белые полосочки – корабли. Ах, не завернет ли какой-нибудь и сюда? С Великого Поста ведь всегда заходить начинают. Вот в прошлом году уж целых два в феврале зашли, – заверни, миленький, ах, заверни... Нет! Ну, так, может быть, – завтра?

И завтра пришло. Как снег на голову, как веселый снег – свалились французы.

В тот час сидели на пристани Молочко и Тихмень, вспоминали клуб ланцепупов, глядели вдаль. Вдали дымок, и все ближе, все быстрее – и уж вот он, весь виден: крейсер, белый и ладный, как лебедь, и французский флаг. Тихмень оробел и наутек пустился. А Молочко остался, загарцевал, взыграл: он первым все узнает, он первым – встретит, – он первым – расскажет!

– Я счастлив хотя бы случайно приветствовать вас на далекой, хотя бы и русской... то есть, на русской, хотя бы и далекой земле...

Вот как выразился Молочко: он лицом в грязь не ударит – не зря же у него француженка-гувернантка была...

Французский лейтенантик, которому сказана была молочкова речь, не улыбнулся – сдержался и с поклоном ответил:

– Наш адмирал просит разрешения осмотреть батарею и пост.

– Господи, да я... Я побегу, я – в момент, – и помчался Молочко.

Но к кому сунуться-то, к кому бежать? Никого из начальства нету, генерал в городе, за старшего Нечеса остался. А Нечеса очень невразумителен бывает, коли не впору его после обеда взбудить. Беда, да и только!

– Капитан Нечеса, капитан... Вставайте же, французский адмирал приехал, желает пост осмотреть...

– Хрр... пф... хрр... Ко-кого?

– Адмирал, говорю, французский!

– К ч-чертовой матери адмирала, спать хочу. Хрр... пфф...

Молочко стянул с капитана накиннутый сверху китайский халат, крикнул Ломайлова:

– Ломайлов, кваса капитану!

Но Ломайлова нет: ушел нынче Ломайлов трубы чистить. Принесла квасу сама капитанша, Катюшка.

Капитан хлебнул, кой-какие слова стал понимать:

– Францу-узы? Да что они, спятели? Зачем?

– Капитан, поскорей, ради Бога! Ведь у нас с французами альянс... Ей-Богу, нагорит!

– О Господи, откуда? За что? Солдаты, солдаты-то как-вы с работами этими генеральскими! Молочко, гони туда, к пороховому, в сей секунд. Всех чтобы, дьяволов, в лес угнали! Ни один чтобы с-собачий сын носу не показал!

И вот капитан Нечеса стоит наконец на пристани, запахнута шинель, на мундире все регалии. Главная спица в колеснице – Молочко: вертится, сверкает, переводит. Адмирал французский – не первой уж молодости, а тонкий да ловкий, как в корсете. Вынул книжечку, любопытствует, записывает.

– А какие у вас порциины солдатам? Так, так. А лошадям? Сколько рот? А сколько прислуги на орудие? А-а, так!

Пошли всем кагалом в казармы. Там уж успели прибрать, почистить: ничего себе. Только дух очень русский стоит. Заторопились французы на вольный воздух.

– Ну, теперь их только к пороховому – и все, слава Богу.

И оставался уж один до порохового квартал, как из дома поручика Нестерова вылез Ломайлов. Кончил трубы чистить, очень аккуратно все почистил, и в зале, и в спальне. Кончил – и шел себе до дому с метлой, в отрепьях – лохматая, черная образина.

Адмирал любопытно вскинул пенсне.

– А-а... А это кто же? – и повернулся к Молочке за ответом.

Молочко, утопая, взглядом молил Нечесу, Нечеса свирепо-символически ворочал глазами.

– Это... э-это ланцепуп, ваше превосходительство! – вякнул Молочко, вякнул первое, что в голову взбрело. Говорили перед тем с Тихменем о ланцепупах, ну и...

– Lan-se-roure? Это... что ж это значит?

– Это... ме-ме... Местный инородец, ваше превосходительство!

Адмирал очень заинтересовался:

– Во-от как? Я и не слыхал такого наименования до сих пор, а этнографией очень интересуюсь.

– Недавно только открыты, ваше превосходительство! Генерал записал в книжку:

– Lan-se-roure... Очень интересно, очень. Я сделаю доклад в Географическом обществе. Непременно...

Нечеса задыхался от нетерпения узнать, что такое вышло и что за разговор странный – о ланцепупах. А адмирал – час от часу не легче – уж новую загогулю загнул Молочке:

– Но... почему же я не вижу ваших солдат, ни одного?

– О-о-они, ваше превосходительство, в... в лесу.

– В лесу-у? Все? Гм, зачем же?

– Их, ваше превосходительство, ланце-ла-ланце-пупы эти самые... То есть они все отправлены, наши солдаты, то есть на усмирение, значит, ланцепупов...

– Ах, так это, значит, – не совсем еще покоренный народец? Да у вас тут сюрпризы на каждом шагу!

«Сюрпризы! Какие вот от тебя еще будут сюрпризы? Заврусь, запутаюсь, погублю...» – Молочко уж цыганский пот со страху прошибал.

Но адмиралу было довольно и этих открытий. Ходил теперь – и только головою кивал: «Хорошо, очень хорошо, очень интересно». Ведь не каждый это день случается – открывать новые племена.

19. Мученики

И откуда только прыть взялась у такого человека губошлепого, как капитан Нечеса? Надо быть – с радости, что негаданно все так ловко сошло с французами. И затеял Нечеса устроить в собрании французам пир на весь мир.

Французы согласились: никак нельзя, альянс. И пошла писать губерния. В квартирах офицерских запахло бензином, денщики бросили все дела, наворачивали офицерам папилютки, а Ларька генеральский разносил приглашения.

В окно увидала Маруся, что Ларька стучит к ним в калитку – и сразу же заметалась, загорелась, забилась. Как на ладони вот – встал перед ней вечер тот проклятый: заря-лихоманка, семь крестов, они с Андреем Ивановичем вдвоем, и Ларька подает письмо от генерала...

– Шмит, не пускай его, Шмит, не пускай, не надо!

В Шмите сжалась пружинка, затомила, заныла, запросила мук.

Шмит усмехнулся:

– Не мочь – надо раньше было. А теперь уж моги, – нарочно открыл дверь из столовой и крикнул в кухню: – Эй, кто там, давай-ка сюда!

Ларькино имя Шмит все же не мог назвать. Ларька вкатился медно-сияющий, подал билетец, рассказывал:

– И хлопот же, и хлопот с французами этими, беда!

Заставил себя Шмит, расспрашивал нарочно, выдавил даже улыбку. И Ларька вдруг насмелился:

– А что, ваше-скородие, осмелюсь спросить: французы водку-то принимают али как? А то ведь – что ж мы с ними...

И даже засмеялся Шмит. Засмеялся – и звенит все выше, на самых высоких верхах звенит, не сорвался бы...

А Маруся – у окна, к Ларьке спиной: уйти не посмела, стоит, и плечики худенькие ходуном ходят. Видит Шмит – и смеяться перестать не может, все выше звенит, все выше...

Одни. Кинулась к Шмиту, на холодный пол перед ним, протянула руки:

– Шмит, но ведь я же для тебя... для тебя *то* сделала. Ведь мне же было ужасно отвратительно – ведь ты веришь?

Шмита свело судорогой-улыбкой:

– И в сотый раз скажу: значит – было недостаточно мерзко, недостаточно отвратительно. Значит, жалость ко мне была сильнее, чем любовь ко мне.

И не знает Маруся, что сделать, чтобы он... Туго заплетены пальцы... Господи, что же сделать, если у нее – любовь, а у него – ум, и ничего не скажешь, не придумаешь. Но неужели же он сам верит в то, что говорит? Ах, ничего, ничего не понять! Заковался, замкнулся, не он стал, не Шмит...

Маруся встала с холодного пола, тихо ушла в зал. Пугали и томили темные углы. Но не так, как раньше, как в детстве: не Бука лохматый мерещился, но Полудушка – веселый сумасшедший, не Враг – прыгучий нечистик, – мерещилось шмитово чужое, непонятное лицо.

Зажгла одну лампу на столе; влезла на стул, зажгла стенную. Но стало только еще больше похоже на тот вечер: тогда тоже ходила одна и зажигала все лампы.

Потушила, пошла в спальню. «У Шмита – все носки в дырках, а я целый месяц всё только собираюсь... Не распускаться, нельзя распускаться».

Села, нагнулась, штопала. Досадливо вытирала глаза: всё набегало на них, застило, работы было не видать. Было уже поздно, за полночь, когда кончила всю штопку. Выдвинула ящик, укладывала, на комоде трепетала свеча.

Пришел Шмит. Тяжкий, высокий, мерял спальню взад и вперед, скрипел пол. Пружинка та самая билась внутри, мучила и искала мук. Он остановился и сказал... Нет, не сказал – бросил камень Марусе:

– Ложись, пора.

Она разделась, покорная, маленькая. В рубашке – совсем как дитенок: такая тонкая, такие ручки худенькие. Только две эти старушечьих морщинки по углам губ...

Подошел Шмит, дышал, как запаленный зверь. Маруся, с закрытыми глазами, лежа, сказала:

– Шмит, но ведь... Шмит... ты любишь ведь? Ты ведь это хочешь – не так, не просто, как...

– Любить? Я любил...

Шмит задохнулся. «Марусенька, Марусенька, ведь я умираю. Марусенька, родная, спаси!» А вслух сказал он:

– Но ведь ты продолжаешь уверять, что меня любишь, хм! Ну, и довольно с тебя. А я... просто хочу.

«Нет, это он так, это он притворяется... Было бы ужасно...»

– Шмит, не надо, не надо же, ради... ради...

Но со Шмитом совладать ей разве? Измял всю, скрутил, силком заставил. Мучительно, смертно-сладко было терзать ее, дитенка худенького, милого, ее – такую чистую, такую виноватую, такую любимую...

Так унижительно, так больно было Марусе, что последний самый отчаянный не вырвался, а ушел крик вглубь, задушенный, пронизал злой болью. И на минуту, на секунду одну озарил далекий сполох: поняла на секунду шмитову великую злобу, сестру великой...

Но Шмит уж уходил. Ушел в гостиную – там спать. А может, и не спать – ходить всю ночь напролет и глядеть в синие, совиноголазые окна.

Маруся лежала одна, в темноте, вся скорчившись. От слез подушка стала мокрой, пришлось перевернуть ее на другую сторону.

«Он сказал: вы великая, – вспомнила Андрея Иваныча. – Какая же великая: жалкая, стыдная. Если б он знал все, не сказал бы...»

Как знать.

20. Пир на весь мир

Музыка: пять горнистов-солдат и рядовой Муравей с гармошкой. Эх, музыка вот и подкузьмила малость, а то бы – совсем хорошо. На стенах ветки зеленые, флажки трепыхаются. Лампы от усердия прикапчивают даже. На

парадных шарфах серебро светит. На барынях брякают брошки, браслеты бабушкины заветные. И не лучше ли всего розовосияющий распорядитель – Молочко?

Но Тихмень был еще совершенно трезв и потому на все глядел очень скептически:

«Все это, конечно, ложь. Но это блесит, да. А так как единственная истина – смерть, и так как я еще живу, то и надо жить ложью, поверхностно. Значит, правы Молочки, и надо быть пустоголовым... Но, практически? Ах, я сегодня что-то путаю...»

Мимо Тихменя на музыкантов ринулся Молочко:

– Туш, туш! «Двуглавый Орел»! Идут, идут...

Музыка заверещала, задудела, дамы поднялись на цыпочках. Вошли французы – все затянутые, надушенные, поджарые, ладные во всех статьях.

Тихмень сперва на минутку рот разинул вместе со всеми. Потом выделил, обмыслил: французы – и наши. Знакомые залосненные наши сюртуки, оробелые лица, перекрашенные платья дам...

«Да... И вот, если ложь окажется еще один раз лжива... Ну да: эн квадрат, минус на минус – плюс... Практически, следовательно... Да, что бишь? Я путаюсь, путаюсь...»

– Слушайте-ка, Половец, – дернул Тихмень Андрея Иваныча, – пойдете пока что по одной тюкнем: тошнехонько чтой-то...

Да, и Андрею Иванычу было нужно выпить. Хлопнули по одной. В буфетной голошил коньяк Нечеса – для храбрости: как-никак, а ведь он за главного, на нем ответ.

– Шмит-то нынче веселый какой, у-у! – пробурчал Нечеса сквозь мокрые усы.

– Как, разве тут Шмит? – Андрей Иваныч кинулся обратно в зал.

Затомила в сердце горько-сладкая томь: не Шмита искал он, нет... Проплывали мимо французы, в легчайшем пухе вальса мелькнул потный и красный от счастья Молочко.

«Наврал Нечеса – и к чему? Нет ее. Никого нету...»

И вдруг – громкий, звенящий железом смех Шмита. Андрей Иваныч кинулся туда. Вихрились, кружились, толкали пары: казалось, не добратся.

Шмит и Маруся стояли с французским адмиралом. Шмит поглядел сквозь Андрея Ивановича – сквозь пустой стакан, выпитый весь до дна.

У Андрея Ивановича глаза заволокло туманом. Он быстро повернулся, от Шмита к Марусе, взял тоненькую ее ручку, держал... ах, если бы было можно не отпускать! «Но почему же дрожит, да конечно – дрожит у ней рука?»

По-французски через пень колоду понимал Андрей Иванович, вслушался.

– ...Жаль, нет генерала, – говорил Шмит, – удивительнейший человек! Вот моя жена – большая почитательница генерала. Смотрите-смотрите на нее: она не может спокойно слышать его имя. Я положительно ревную! В одно прекрасное время она может...

Французы улыбались, шмитов голос звенел и стегал. Маруся стала вся – как березка плакучая – долу клонится. И упала бы, может, но учуял Андрей Иванович – один он и увидел – поддержал Марусю за талию.

– Вальс, – шепнул он, не слышал ответа, унес ее легкими кругами. «Подальше от Шмита – проклятого, подальше... О, до чего ж он...»

– Как он мучит меня... Андрей Иванович, если бы вы знали! Вот эти три дня, и сегодня. И три ночи перед балом...

Показалось Андрею Ивановичу: говорила Маруся откуда-то снизу, из глубины, засыпанная. Взглянул: эти две морщинки, похоронные, около губ – о, эти морщинки!

Сели. Маруся смотрела на кенкет, глаз не отрывала от пляшущего, злого пламенного языка: оторвать, отвести глаза – и все кончено, и плотину прорвет, и хлынет...

В вальсе Шмит подходил к ним. Маруся, улыбаясь – ведь на них глядел Шмит, – улыбаясь, сказала чужие, дикие слова:

– Убейте его, убейте Шмита. Чем такой... пусть лучше мертвый, я не могу...

– Убить? Вы? – поглядел Андрей Иванович, не веря, в ужасе.

Да, она. Паутинка – и смерть. Вальс – и убейте...

Шмит крутился с кругленькой капитаншей Нечесой, крутился упругий, резкий, скрипел под ним пол. Сузил глаза, усмехался.

Андрей Иванович ответил Марусе:

– Хорошо.

И со стиснутыми зубами повлек, опять закружил – ах, до смерти бы закружиться...

Тут, впрочем, не от вальсов больше головы кружились, а от выпитых зельев. В кои-то веки, с французами, за альянс-то, да и не выпить? Это бы уж – последнее дело.

Пили и французы, да как-то по-хитрому: пили, а душой вот не воспринимали. Да и пили больше полрюмки, и смотреть-то нехорошо. Толи дело – наши: на совесть, по-русски, нараспашку. Сразу видать, что пили: соловые ходят, развеселые, мутно-глазые.

Вот уж когда чуял Тихмень свой рост: страсть это неудобно высокому быть. Маленькому, если и качнуться – оно ничего. А высокий – колокольня – выгибается, вот-вот ухнет, страшно глядеть.

Зато, прислонившись к стенке, Тихмень почувствовал себя очень прочным, сильным и смелым. И потому, когда пошатываясь шел мимо Нечеса, Тихмень решительно ухватил его за полу. «Нет, уж теперь баста, теперь я спрошу...»

– Капит-тан, скажи ты мне по с-совести, ну, ради Господа самого: чей Петяшка сын? С тоски – понимаешь, с то-ски! – помираю: мой Петяшка или вот не мой...

Капитан был нарезавшись здорово, однако понял: что-то тут неладно – и спросил:

– Да ты... да ты, брат, это про что, а?

– Гол-лубчик, скажи-и! – Тихмень тихо и горько заплакал. – Последняя ты у меня надежда, хм! хм! – хлюпал Тихмень. – Я Катюшу спросил, она не знает... Господи, что ж мне теперь де-елать? Голубчик, скажи, ты ведь знаешь...

Тупо глядел Нечеса на качавшийся у самых его глаз тихменев нос, со слезинкой на кончике, совершенно противозаконно свернутый на сторону – так бы вот взял и поправил.

Влекомый высшей силой, Нечеса крепко взял двумя пальцами тихменев нос и начал его водить вправо и влево. И таким это было для Тихменя сюрпризом, что перестал он хныкать и покорно, даже с некоторым любопытством, следовал за капитановой рукой.

И уж только когда услышал сзади крики: «Тихмень-то, Тихмень-то», – понял и рванулся. Кругом все хваталось за животы.

Тихмень обвел их остолбенелым взглядом, на ком-то остановился – это был Молочко – и спросил.

– Ты в-вот, ты видал? Он меня... он водил меня за нос?

Лопнули со смеха. Молочко еле выговорил:

– Ну, брат, кто кого водил за нос, это, в конце концов, неизвестно.

Все кругом ахнули. Теперь нужно было Тихменю что-то сделать. Нехотя, исполняя обязанность, полез Тихмень на капитана.

И тут уж совсем уж несуразное пошло: Нечеса брюхом лежал на Тихмене и молотил его куда попало. Кто растаскивал лежащих, а кто тащил этих, которые растаскивали: дайте, мол, им додраться, не мешайте. И если бы не капитанша Нечеса, Бог знает, чем бы катавасия кончилась.

Капитанша подбежала, крикнула, топнула:

– Ты, чурбан, дурак! Сейчас слезь!

Десять лет этого голоса капитан слушался: моментально слез. Лохматый, встрепанный, сконфуженный – додраться не дали – стоял и очесывался.

Французы собрались в углу, дивились и думали: уйти или нет? И уйти нельзя: альянс. И остаться неловко: видимо, у русских пошло дело домашнее.

– Все-таки... До чего ж они все... ланцепупы какие-то, – поднял вверх брови адмирал. – Из-за чего это у них?

Позвали Молочко. Молочко пытался объяснить:

– Из-за сына. Чей сын, ваше превосходительство...

– Ничего не понимаю, – повел адмирал плечами.

21. Огонек в теми

В собрании – из зала в коридор – было прорезано окошко. Зачем, на какой предмет, неведомо. А вот просто во всех здешних домах так делали, – ну и в собрании, значит. Зато денщикам теперь – полное удовольствие: сбились у окна и глядят не наглядятся.

– У-ух, и дошлый же народ французы эти самые! – самоварно сиял генеральский Ларька. – Это, брат, тебе

не епонец, не манза какая-нибудь. Епонец-то пальцем делан, потому...

Недосказал Ларька: перед господином поручиком Тихменем надо было вытянуться во фронт.

Измятый весь, в мокром, в пыли, ступил Тихмень в коридор – и стал, заблудился: куда идти?

Подумал, свернул влево и по скрипучим ступенькам полез наверх, на каланчу.

Яшка Ломайлов неодобрительно глядел ему вслед.

– И куды, например, прет, и куды прет? Ну, какого ему рожна там надо? Ох, Ларька, скажу я тебе, и блажные же господа у нас! Ды блажа-ат, ды блажа-ат, и всяк-то по-своему... И чего им, кубыть, еще надо: топка есть, хлеб-соль есть...

Ларька фыркнул:

– Дура: хлеб-соль! Это тебе вот, животине, хлеба-соли довольно, а которые господа настоящие, не какие-нить сказуемые, так они, брат, мечту в себе держут, да...

– Я бы, например, женил бы господина Тихменя, вот это бы так! – медленным языком ворчал Ломайлов. – Ребяенок бы ему с полдюжинки, вот бы мечтов-то его этих самых – как ветром бы сдунуло...

Ломайлов выглянул в окно наружу, в ту сторону, где был домик Нечесов. «Что-то теперь Костенька? Уснул без меня либо нет?»

Темь, мгла холодная за окном. Где-то не очень подальку вопили благим матом: карау-ул! карау-ул! Солдаты, очесываясь, зевая равнодушно, слушали: дело обыкновенное, привычное.

Поручик Тихмень стоял уж теперь наверху, шаткий, непрочный, длинный.

– Ну и ха-ра-шо, и ха-ра-шо, и шут с вами, и уйду, и уйду... За нос, хм! Вам-то это хаханьки, а мне-то...

Тихмень толкнул раму, окно распахнулось. Внизу, в темноте, опять кричали «караул», громко и жалостно.

– Ка-ра-ул, ага, караул? А я, думаешь, – не караул? А мы, думаешь, не кричим? А кто слышит, ну, кто? Ну, так и кричи, и кричи.

Но все-таки высунулся Тихмень, вставил голову в черное, мокрое хайло ночи. Отсюда, с каланчи, виден был веселый огонек на бухте: крейсер, должно быть, ихний.

Был сейчас этот огонек в сплошной черноти опорой какой-то для Тихменя, давал жить глазам, без него нельзя бы. Маленький, веселый, ясноглазый огонек.

– Петяшка, Петенька мой, Петяшка...

И вдруг – мигнул огонек и пропал. Может – крейсер повернулся другим боком, а может, и еще что. Пропал, и приступила темь необоримая.

– Пе-тяшка, Петяшка мой! Нечеса – последний... Никто теперь не знает, никто не скажет... Ой-ё-ё-ё-ёй!

Тихмень горестно замотал головой и хлюпнул. Потекли пьяные слезы, а какие же слезы горчее пьяных?

Щекой он приложился к подоконнику: подоконник – мокрый, грязный, холодный. Холод на лице протрезвил малость. Тихмень вспомнил свой разговор с кем-то:

– Всякий имеющий детей – олух, дурак, карась, пойманный на удочку... Это я, я... Я говорил. И я вот – плачу о Петяшке. Теперь уже не узнать никогда – чей. Ой-ё-ё-ё-ёй!

Никогда – так крышкой и прихлопнуло пьяного, горького Тихменя. Заполонила темь необоримая. Огонек погас.

– Петяшка-а! Петя-шень-ка-а! – Тихмень хлюпал, захлебывался и медленно вылезал на подоконник.

Подоконник – страсть какой грязный, все руки измазал Тихмень. Но о сюртук вытереть жалко. Ну, уж как-нибудь так.

Вылезал все больше... ах, конца этому нету: ведь он такой длинный. Пока-то это вылез, перевесился, пока это с каланчи торчмя головой бухнул во тьму.

Может, и закричал: ничего не слышали денщики. Они уж и думать позабыли о Тихмене, блаженном: куда-а там Тихмень, когда французы сейчас выходят. Ох, да и молодцы же народ, хоть и жвытки они больно...

Веселой гурьбой, вполпьяна, выходили французы, скользили на ступеньках: «Ах, смешные русские эти... ланцепупы... Но есть в них, есть в них что-то такое...»

А за французами ползли и хозяева. Коли французы вполпьяна, так хозяевам и сам Бог велел в риз положении быть: кто еще шел – перила обнимал, а кто уж и на карачках...

Тихменя нашли только утром. Перетащили к Нечесам: у них жил живой – у них, значит, и мертвый. И лежал он

покойно в зальце на столе. Лицо белым платком покрыто: расшиблено уж очень.

Капитанша Катюша навзрыд плакала и отпихивала мужа:

– Уй-ди, уй-ди! Я его люблю, я его любила...

– Ты, матушка, всех любила, по доброте сердечной. Уймись, не реви, будет!

– И подумать... Я, может, я ви-но-ва-ва-та-а... Господи, да коли бы я, правда, знала, чей Петяшка-то! Господи, кабы знать-то... а-а-а! – соврать бы ему было!

Ломайлов отгонял восьмерых ребят от дверей: так и липли к дверям, так в щель и совали нос, ох, и любопытный народец!

– Яшка, Яшутничек, а скажи: а дяде рази уж не больно? А как же? А ведь ушибся, а не больно?

– Дурачки-и, помер ведь он: знамо, не больно.

Старшенькая девочка Варюшка от радости так и засигала:

– Тц-а! Что? Я говолира – не больно. Я говолира! А ты не верил. Тц-а, что?

Уж так ей лестно брату нос наставить.

22. Галчонок

Уж февраль, а генерал все еще в городе околачивался, все боялся приехать домой. И Шмит лютовал по-прежнему, мукой своей весь пропитался, во всякой мелочишке это чужилось.

Ну вот, выдумал, например, издевку: денщика французскому языку обучать. Это Непротошнова-то! Да он все и русские слова позабудет, как перед Шмитом стоит, а тут: французский. Всё французы эти поганые накуролесили: Тихменя на тот свет отправили, а Шмиту в сумасшедшую башку взбрела такая вот штука...

Черноусый, черноглазый молодец Непротошнов, а глаза – рыбы, стоит перед Шмитом и трясется:

– Н-не могу знать, ваше-скородь, п-позабыл...

– Я тебе сколько раз это слово вбивал! Ну, а как «позабыл», а?

Молчание. Слышно: у Непротошнова коленки стучат друг об дружку.

– Ну-у?
– Жуб... жубелье, ваше-скородь...
– У-у... немырь! К завтраму чтоб на зубок знал. Пошел!

Сидит Непротошнов на кухне, повторяет проклятые бусурманские слова, в голове жернова стучат, путается, дрожит. Слышит чьи-то шаги – и вскакивает, как заводной, и стоит – аршин проглотил. Со страху-то и не видит, что не Шмит пришел, а пришла барыня, Марья Владимировна.

– Ну, что ты, Непротошнов, а? Ну, что ты, что ты?

И гладит его по стриженной солдатской голове. Непротошнов хочет поймать, взять ее маленькую ручку, да смелости не хватает, так при хотеньи одном и остается.

– Барыня милая... Барыня милая! Ведь я всё – ведь я всё-всёшеньки... Не слепой я...

Маруся вернулась в столовую. Глаза у нее горели – что-то сказать. Но только взглянула на Шмита – разбилась об его сталь. Опустила глаза, покорная. Забыла все гневные слова.

Шмит сидел не читая, так. Он никогда не читает теперь – не может. Сидит с папиросой, мучительно зацепился глазами за одну точку – за граненую подвеску на лампе. И так трудно неимоверно на Марусю взглянуть.

– Ну? О Непротошнове, конечно? – усмехнулся Шмит. Подошел к Марусе вплотную.

– Как я тебя...

И замолк. Только стиснул больно ее руки повыше локтей: завтра будут здесь синяки...

На худеньком, ребячем теле у Маруси много теперь цветет синяков – от шмитовых злых ласк. Все неистовей, все жесточе с ней Шмит. И всегда одно и то же: плачет, умирает, бьется она в кольцо шмитовых рук. А он – пьет сладость ее умираний, ее слез, своей гибели. Нельзя, некуда спастись ей от Шмита, и хуже всего: не хочется спастись. Вот сказала намерении на балу Андрею Ивановичу – сорвалось же такое: «убейте Шмита». И не знает покою теперь: а вдруг?

Не забыл Андрей Иванович тех Марусиных слов, каждый вечер вспоминал их. Каждый вечер – один и тот же мучительный круг, замыкаемый Шмитом. Если б Шмит не

мучил Марусю, – если б Шмит не захватил его тогда у замерзшего окна, – если б Шмит на балу не...

Главное, тогда не было бы вот этого, что уж стало привычно-нужным: каждый вечер перед Андреем Ивановичем не стоял бы Гусляйкин, не ухмылялся бы бланманжейной своей физией, не рассказывал бы...

«Но ведь, Господи, не такой уж я был пропащий, – думал ночью Андрей Иванович, – не такой уж... Как же это я?»

И опять: Шмит, Шмит, Шмит... «Убить. Она не шутила тогда, глаза были темные, не шутили».

И вот как-то вдруг, ни с того – ни с сего, Андрей Иванович решил: нынче. Должно быть, потому, что было солнце, надоедно-веселая капель, улыбчивая, голубая вода. В такой день – ничего не страшно: очень просто, как кошелек, сунул Андрей Иванович револьвер в карман, очень просто, будто в гости пришел, дернул шмитовский звонок.

Загремел засов, калитку отпер Непротошнов. Шмит стоял посреди двора, без пальто, почему-то с револьвером в руках.

– А-а, по-ру-чик Половец, муз-зыкант! Д-давненько...

Шмит не двинулся, как стоял, так и стоял, тяжкий, высокий.

«Непротошнов... При нем – нельзя», – юркнула мысль, и Андрей Иванович повернулся к Непротошнову:

– Барыня дома?

Непротошнов заметался, забился под шмитовым взглядом: нужно было обязательно ответить по-французски, а слова, конечно, сразу все забылись.

– Жуб... жубелье, – пробормотал Непротошнов.

Шмит засмеялся, зазвенел железом. Крикнул:

– Пошел, скажи барыне, к ним вот пришли, да-с, гости незваные...

Андрея Ивановича удержал взглядом на месте:

– Что глядите? Револьвер не нравится? Не бойтесь! Пока только галчонка вот этого хочу пришибить, чтоб под окном не кричал.

Только теперь увидал Андрей Иванович: под тачкой присел, прижухнул галчонок. Крылья до земли опущены, летать не умеет, не может, еще малец.

Щелкнул выстрел. Галчонок надсажено, хрипло закаркал, крыло окрасилось красным, запрыгал под сарай.

Шмит перекосоурил рот, должно быть – улыбка. Прицелился снова: ему нужно было убить, нужно.

Быстрыми, большими шагами Андрей Иванов подбежал к сараю, стал лицом к Шмиту, к галчонку – спиной:

– Я... Я не позволю больше стрелять. Как не стыдно! Это издевательство!

Шмитовы железно-серые глаза сузились в лезвие:

– Поручик Половец, если вы сию же секунду не сойдете с дороги, я буду стрелять в вас. Мне – все равно.

У Андрея Иваныча радостно-тоскливо заколотилось сердце. «Маруся, посмотри же, посмотри! Ведь я это не за галчонка...» С места не двинулся.

Мигнул огонек, выстрел. Андрей Иванов нагнулся. Изумленно себя пощупал: цел.

Шмит злобно, по-волчьи, ощерил зубы, нижняя челюсть у него тряслась.

– С-свол... Ну, уж теперь – попаду-у!

Опять поднялся револьвер. Андрей Иванов зажмурился:

«Бежать? Нет, ради Бога, еще секундочку – и всё...»

Почему-то совсем и из ума вон, что в кармане у него тоже револьвер, и пришел-то ведь за тем, чтобы... Смирно стоял и ждал.

Секунда, две, десять: выстрела нет. Открыл глаза. Нижняя челюсть у Шмита так прыгала, что он бросил револьвер наземь и нажимал, изо всех сил держал свой подбородок обеими руками. У Андрея Иваныча все пошло внутри, сдвинулось.

– Мне вас жалко. Я хотел, но не стану...

Он вынул из кармана свой револьвер, показал Шмиту. Быстро пошел к калитке.

23. Хорошо и прочно

Еще затемно, еще только февральская заря занималась, кто-то стучал к Андрею Иванычу в дверь. Хотел Андрей Иванов «кто там?» сказать, да так и не сказал, увяз опять во сне. Пришла Маруся и говорила: «А знаете, теперь я уж больше не...» А что «не» – не досказывает. Но Андрей Иванов и так почти знает. Почти уж поймал это «не», почти уж...

Но в дверь все громче, все надоедней стучат. Делать, видно, нечего. Пришлось Андрею Иванычу вылезть из сна, пришлось встать, открыть дверь.

– Непротошнов, ты? Что такое, зачем? Что случилось?

Непротошнов подошел к кровати, нагнулся близко к Андрею Иванычу – и совсем не по-солдатски сказал:

– Ваше-бродие, барыня велела вам передать, что наш барин вас, ваш-бродь, грозятся убить. Так что, барыня, ваш-бродь, просила, чтоб вы ничего такого, борони Бог, не сделали...

– Да что, да что такое мне не делать-то?

Но уж больше слова путного не мог Андрей Иваныч из него вытянуть.

– Не могу знать, ваш-бродь...

– Ну, а барыня что, Марья Владимировна, что она?

– Н-не могу знать, ваш-бродь...

...«О, идол проклятый, да скажи хоть, что с ней?»

Но поглядел Андрей Иваныч в безнадежно-рыбьи глаза Непротошнова и отпустил его.

Остался один, долго лежал в темноте. И вдруг вскочил:

«Господи! Да ведь если она прислала это сказать, так значит, она... Господи, да неужели ж она меня...»

Догнать Непротошнова, догнать, дать ему целковый последний! Выбежал Андрей Иваныч во двор, на крыльцо – Непротошнова и след простыл.

Но с крылечка Андрей Иваныч уж не мог уйти. Небо – огромное, воздух – полон сосновым лесом, и море – как небо. Весна. Вот вытянуть бы руки так – и ринуться вперед, туда...

Жмурился Андрей Иваныч, оборачивал лицо вверх, к теплему солнцу.

«Умереть? Ну, что ж... Умереть нам легко. Убить – труднее, и труднее всего – жить... Но всё, всё, и убить – пусть только она захочет».

Такое солнце, что можно было даже создать себе вот эту нелепицу, несуразность: что она, Маруся, что она и в самом деле... А вдруг? Ведь такое солнце.

С утра – с зари ее видеть... Ничего – только какая-нибудь малость самая малая, легчайшее касание какое-нибудь, как тогда... падал снег за окном... И уж – счастье. С самого утра до поздней ночи, всё – счастье.

Вот так бы вот, раздевши, побежать бы сейчас туда...

Сегодня даже с солдатами заниматься было хорошо. Даже Молочко – как будто новый.

Молочко, положим, и в самом деле сиял, и телячество его была важная, не такая, как всегда.

– Я имею до вас дело, – остановил он Андрея Ивановича.

– Что? Э, да скорее, не тяните козла за хвост!

– Шмит меня просил... можете себе представить? – быть секундантом. Вот письмо.

«А-а, вот что... так вот почему Маруся...» Открыл Андрей Иванович конверт, прыгал через строчки, глотал, ах – поскорее!

«Во время вчерашнего... с галчонком... Мой дуэльный выстрел... Ваша очередь... Буду стоять, не шелохнусь, и если... Очень рад буду, мне пора».

Конец Андрей Иванович прочел вслух:

– Позвольте! Это что ж такое? «...Только Вам одному стрелять. А если Вам не угодно, мы посмотрим». Позвольте, что это за дуэль? Странные требования! Это не дуэль, а черт знает что! Что он думает – я стану, как он... Вы секундант, вы должны...

– Я... я ничего не знаю... Он так... он меня послал – Шмит... Я не знаю, – бормотал Молочко, оробело поглядывал на широкий, взборожденный андрей-иванычев лоб.

– Послушайте, вы сейчас же пойдете и скажете капитану Шмиту, что такой дуэли я не принимаю. Не угодно ли ему: обоим стрелять вместе. Или никаких дуэлей... Это черт знает что!

Молочко, поджав хвост, побежал рысцой к Шмиту. Захлебываясь, доложил обо всем. Шмит курил. Равнодушно стряхнул пепел:

– Гм, не согласен, вот как? А впрочем, я так и...

– ...Нет, что ему еще нужно? Можете себе представить: еще накричал на меня! При чем – я? Это с вашей стороны... Это так благородно – отдать свой выстрел, а он...

«Благородно, ч-черт!» – Шмит искривился, исковеркался, потом вслух:

– Бла-го-род-но, д-да... Ну, вот вам поручение: завтра вы всем расскажете, что Половец меня обозвал... негодяем, что я его вызвал, а он отказался. Поняли?

– Господи, да я... Но почему же – завтра?

Шмит пристально поглядел на Молочко, усмехнулся нехорошо и сказал:

– А теперь прощайте-с.

С каменным, недвижимым лицом сидел Шмит один и курил. Револьвер валялся на столе.

«Разбудить Марусю? Сказать? Но что? Что люблю, что любил? И чем сильнее любил...»

Он пошел в спальню. Истерзанная ночными распятьями Маруся мертво спала. Лицо все измазано было следами слез, как у малого ребенка. Но эти две морщинки около губ...

Разверзлась шмитова каменность, проступила на лице смертная мука. Он стал на колени, нагнулся было к ее ногам. Нет... Сморщился, махнул рукой:

«Не поверит. Все равно... теперь не поверит», – и он торопливо пошел в сад.

В саду у клумб копался Непротошнов: хоть бы чем-нибудь барыню милую улыбнуть, ведь примечал он – обеими руками она, бывало, к цветам-то тянулась.

Увидел Непротошнов капитана Шмита – дрогнул, вытянулся. Застыл Шмит, хотел усмехнуться – лицо не двинулось.

«Он – все еще меня боится... Чудак!»

– Уйди, – только и сказал Непротошнову.

Непротошнов – подавай Бог ноги: слава те Господи – целехонек ушел.

Шмит сел на большой белый камень, уперся левым локтем в колено.

«Нет, не так... Надо прислониться к стене... Вот теперь... хорошо, прочно».

Вынул револьвер. «Да, хорошо, прочно». И та самая пружинка злая разжалась, освободила.

24. Поминки

Андрей Иванович сидел и писал письмо Марусе. Может, это было нелепо, бессмысленно, но больше нельзя – нужно было выкрикнуть все, что...

Не замечал, что уж стемнело. Не слышал, как вошел и стал у притолоки Непротошнов. Бог его знает, сколько он тут стоял, пока насмелился окликнуть:

– Ваше-бродь... Господин поручик!

Андрей Иванович с сердцем бросил перо: опять рыбье-глазый этот!

– Ну, чего? Всё про то же? Убить меня хочет?

– Никак нет, ваше-бродь... Капитан Шмит сами... Они сами убились... Вко-вконец...

Андрей Иванович подскочил к Непротошнову, схватил за плечи, нагнулся – в самые глаза. Глаза были человечески – лили слезы.

«Да, Шмита нет. Но ведь, значит, Маруся – ведь теперь она, значит...»

Во мгновение ока он был уже там, у Шмитов. Промчался через зал, на столе лежало белое и длинное. Но не в этом дело, не в этом...

Маруся сидела одна, в веселенькой бревенчатой столовой. Стоял самовар. Это уж от себя расстарался Непротошнов: если что-нибудь такое стрясется – без самовара-то как же? Милая, каштановая, встрепанная Марусина голова лежала на ее руках.

– Маруся! – в одном слове выкрикнул Андрей Иванович все, что было в письме, и протянул руки – лететь: всё кончено, все боли.

Маруся встала. Лицо было дикое, гневное.

– Вон! вон! Не могу вас... Это все – это вы – я все знаю...

– Я? Что я?

– Ну да! Зачем вы отказались, что вам стоило... Что вам стоило выстрелить в воздух? Я же присылала к вам... О, вы хотели, я знаю... вы хотели... я знаю, зачем вам. Уйдите, уйдите, не могу вас, не могу!

Андрей Иванович, как ошпаренный, выскочил. Тут же у калитки остановился. Все перепуталось в голове.

«Как? Неужели же она... после всего, после всего... любила? Простила? Любила Шмита?»

Трудно, медленно до глубины, до дна добрался – и вздрогнул: так было глубоко.

«Вернуться, стать на колени, как тогда: великая...»

Но из дома он слышал дикий нечеловеческий крик. Понял: туда нельзя. Больше никогда уж нельзя.

К похоронам шмитовым генерал приехал из города. И такую поминальную Шмиту речь двинул, что сам

даже слезу пустил – о других прочих что уж и толковать.

Все были на похоронах, почтили Шмита. Не было одной только Маруси. Ведь уехала, не дождалась: какво? Манатки посбирала и уехала. А еще тоже любила, называется! Хороша любовь.

Взвихрилась, уехала – так бы без поминок Шмит и остался. Да спасибо генералу, душа-человек: у себя те поминки устроил.

Нету Шмита на белом свете – и сразу вот стал он хорош для всех. Крутенок был, тяжеленок, оно верно. Да зато...

У всякого доброе слово для Шмита нашлось: один только молчал Андрей Иванов, сидел как в воду опущенный. Э-э, совесть, должно быть, малого зазрила. Ведь у них со Шмитом-то американская дуэль, говорят, была, – правда или нет? А все бабы, все бабы, всему причина... Эх!

– А ты, брат, пей, ты пей, оно, глядишь, и тово... – сердобольно подливал Андрею Иванову Нечеса.

И пил Андрей Иванов, послушно пил. Хмель-батюшка – ласковый: некуда голову приклонить, так хмель ее примет, приголубит, обманом взвеселит...

И когда нагрузившийся Молочко брякнул на гитаре «Барыню» (на поминальном-то обеде) – вдруг замело, завихрило Андрея Иванова пьяным, пропащим весельем, тем самым последним весельем, каким нынче веселится загнанная на кулички Русь.

Выскочил Андрей Иванов на середину, постоял секунду, потер широкий свой лоб – смахнул со лба что-то – и пошел коленца выкидывать, только держись.

– Вот это так-так! Ай да наш, ай да Андрей Иванов! – закричал Нечеса одобрительно. – Я говорил, брат, пей, я говорил. Ай да наш!



НЕПУТЕВЫЙ

1

Петра Петровича все до единого по имени-отчеству величают, а Сеню – хоть бы раз для потехи Семен Ивановичем кто назвал, хоть какой бы нибудь студент завалящий. Нет: Сеня, да и только. Бывает, иной раз заершится он:

– Какой я вам Сеня? Почему он Петр Петрович, а я Сеня?

– Да так уж вот – Сеня.

Смеются: взаправду-то разве может сердиться Сеня?

Сеня и Петр Петрович – все вместе да вместе, друзья неразлучные, водой не разольешь. Дивятся на них: как будто Петр Петрович – человек степенный, положительный. И откуда у него дружба с Сенией пошла?

А вот откуда. Шел Петр Петрович на Балчуг, домой, шел потихоньку под кремлевскими стенами. Тени узорчатые от зубцов, башни боярами степенными наверху дремлют, и у всякой-то крещеное свое имя: Водовзводная, Тайницкая, Кутафья, Набатная, Спасская. Страсть как башни эти Петр Петрович любил. Замечтался, ночь на исходе розовая, свежая – май.

И вдруг – вздрогнул даже – голос какой-то сверху:

– Коллега, коллега!

Огляделся Петр Петрович – площадь пустая, городской дремлет. Эка, – думает, – наяву притчиться стало. А голос этот опять:

– Коллега, да я тут, постойте!

Глянул наверх Петр Петрович – да так вот и ахнул... Батюшки мои, это он на стену кремлевскую залез каким-то манером и оттуда:

– Извините, – говорит, – коллега, я задержал вас. Но мне здесь одному скучно. И к тому же я в приподнятом, так сказать, настроении: острое отравление алкоголем. Кругом – ночь, красотища, говорить хочется, понимаете – говорить...

– Да погодите: забрались-то вы туда как?

– Э, компания тут нас была. В веселом состоянии. Ну, пари пустяковое... Да не в этом дело, а в том, что назад-то слезть я никак не могу. Веревку унесли, подлещы!

Сидит себе там посередь двух зубцов, разговаривает и ножки вниз свесил. Чудно невтерпеж стало, захохотал Петр Петрович во всю глотку. А тот сверху – в ответ.

Должно быть, от смеху этого ихнего городской проснулся. Видит – непорядок. А поди-ка его, непорядок-то, сверху ссади. Потеха! Булочки, газетчики ранние, мальчишки, дворники, лестницы. Переправили наконец раба Божия на твердую землю. А с твердой земли – первым делом, конечно, в участок.

В участке и оказался он – Сеня Бабушкин, студент первого курса.

– Да факультета какого, факультета? – добивался пристав.

– Пишите – вообще, мол, первого курса. Потому что некогда поступил я на математический, потом на медицинский перешел, на естественный, а теперь вот на юридический собираюсь, – опять же на первый курс.

Смеялся пристав, смеялся и Сеня. Запротоколили и Петра Петровича за компанию. Просидели оба в участке до полдня – и вышли оттуда друзьями неразлучными.

– Обязательно вспрыснуть надо, – порешил Сеня.

Зашли в трактир «Муравей» на Солянке. Петр Петрович – что ж, Петр Петрович – все в меру, а Сеня так вспрыснул, что опять в участок чуть не вернулся. Уж городской к нему подошел:

– Господин... Пожалте, господин. Господин, а господин!

Но Сеня, по случаю заключенного с Петром Петровичем нерушимого союза, был полон любви к человекам. Обнял Сеня городского и к груди крепко прижал:

– Гар-р-давой, милай! Ты пойми, ми-илай...

Сконфузился городской: как человека на цугундер тащить, когда он в объятиях тебя держит? Высвободился полегоньку, стал опять на посту – будто Сени и не приметил.

А Петр Петрович Сеню до дома довел, раздел, уложил, за нашатырным спиртом сбегал. Вот откуда их дружба пошла.

2

В эту пору жил Сеня на Садовниках, у брата своего Архипа Иваныча.

Архип Иваныч в прежние годы в ссылке даже был – в Шенкурске, лет пять там, что ли. Ну, а теперь пообкорналось радикальство это его. Служил себе по судебной части, бачки отпустил, мешки завел чиновничьи под глазами. Ну, и провались ты совсем: чинуша, так чинушей и будь. А то нет: либеральничает, в кармане кукиш кажет и Сеню, братца любезного, поедом ест.

– И что-де ныне за молодые люди пошли? Никакого интереса к общественной жизни. Взял бы что-нибудь у меня в книжном шкафу... А то нашел – Мопассана, уж действительно! И понятно, что пойдешь потом шлындать по кабакам...

За это пиление Сеня его терпеть не мог. Даром, что был Архип Иваныч для Сени кормильцем-поильцем, и жил у него Сеня без всякой заботы. Но по своей веселости да легкости душевной – Сеня ни во что ставил земные разные эти блага. И не то чтобы Архипу Иванычу – благодетелю увагу какую-нибудь сделать, а прямо сказать – спуску ему не давал. Ну, и были они потому всегда на ножах.

Зимою, к Новому Году – получил Архип Иваныч орден Станислава какой-то там степени. И доволен, такой-сякой, донельзя, должно быть, в душе-то. А снаружи – корчит кислую мину, фасон держит. Сене строго-настро-го заказал:

– Ты уж, пожалуйста, не распускай язык про эту чертовину (на Станислава кажет). Подумают, набивался, прислуживался. И не такая, вообще, моя репутация. Я в Шенкурске пять лет...

Ладно. А у Сени в ту пору приятель завелся – с Рязанской дороги машинист. Повез Сеню машинист катать на три дня, под самый под Саратов. Сборы, по обычаю, у Сени короткие: машиниста этого на улице встретил, – «Поедем?» – «Поедем», – и все. Ну, вот с дороги брату письмо и пишет: так, мол, и так, не сокрушайся, в субботу приеду. В конверт, а на конверте адрес: Архипу Иванычу Бабушкину, кавалеру Станислава такой-то степени.

Архип Иваныч утром письма перебирает, видит: на конверте рука разгильдяйская – Сенькина. Бросил конверт небрежно, не читая. Взял письмо.

– А, гм-м-а (хлеб с маслом жует), уехать изволил? Оч-чень приятно.

Выходит Архип Иваныч из дома, на службу торопится, часы вынул. Глядь – швейцар дорогу загородил, низко кланяется.

– А? Что такое?

– Честь имею, ваше-скородие... Как изволили получить орден...

Как индюк, покраснел, забормотал Архип мой Иваныч. А делать нечего – вынул целковый. «И откуда, – думает, – он, подлец, проведаль? Швейцары эти...»

Пришел со службы домой, сел Архип Иваныч обедать. Голоден – как собака. Только это рюмку выпил, закусить хотел – в дверь стучат.

– Кто там?

Вваливаются, у притолоки стали дворник и почтальон, который утром письмо Се́йно приносил.

– Дозвольте поздравить, Архип Иваныч, с орденом вас...

Ну-у... Как тут вскочит Архип Иваныч, как ногами затопает.

– Хамы! Вон пошли! Получил – ну, получил, а вам какое дело?

Выругался национально и даже бросил обедать. И так этим происшествием Сеня братца расстроил, что вышел тут конец терпению архип-иванычеву. Поговорил он крупно с Сеней – и распрощался с ним.

– Вот, – говорит, – тебе Бог, вот порог. Поди-ка, – говорит, – укуси кузькину мать, попробуй-ка себя сам кормить.

И стал Сеня жить, как птица небесная. Сначала еще ничего шло: тут займет, там займет – приятелей-то у него хоть пруд пруди. И у кого же язык повернется отказать такому душевному человеку, как Сеня?

А вот-таки нашелся такой, отказал Сене. И так это Сеню оглоушило, что наотрез порешил больше займы уж не брать. Знает Петр Петрович – другой уж день не обедал Сенька, сует ему деньги в зубы: не берет, не хочу, да и только.

Стал себе малый работу искать. Занялся, перво-на-перво, конечно, уроками. И смех и грех один только. То, глядишь, ученика папиросами угощать стал – конечно, отставка. То два дня на урок не являлся – пропивал в трактире с хорошими людьми взятые вперед деньги. А то вдруг оказывается – за неподходящие разговоры отказали. Придет, Петру Петровичу жалуется. Петру Петровичу удивительно:

– Какие ж это такие – неподходящие?

– Да рассказал ученик-то, как они мышей выпускали из парт на Законе Божием. А я ему говорю: это что – мышей, воробьев парочку выпустить – это вот так! А он возьми да правда и сделай...

Не выгорает с уроками, как ни верти.

– Ну, стало быть, надо, – порешил Сеня, – физическим трудом заняться.

Кстати тут вышло – забодел в околотке фонарщик, старый Сенин приятель. Две недели Сеня ходил вместо фонарщика, за половинную плату. Идет это вечером в фонарщикском дипломате, в треухе заячьем – никому и в голову не взбредет, что студент.

Было – и кончилось благополучие. Выздоровел фонарщик, опять на мели Сеня. Из комнаты Сеню за неплатеж протурили. Забрал он чемоданчик свой, приехал к Петру Петровичу – другу.

– Я переночевать к тебе. Пустишь?

Ну, как не пустить.

Сегодня да завтра – так у Петра Петровича и осел. Уходит Петр Петрович в столовую обедать, Сеню с собой зовет:

– Брось ты глупить-то, пойдем.

Ни за что: «Это, стало быть, – опять займы?» Останется один. Меряет, меряет ногами комнату, а голодный червяк сосет – и пойдет он на кухню к Анисье-кухарке.

Анисья, милая этакая толстомордая баба подмосковная, души в Сене не чаяла. Как они в кухне вдвоем – такое у них веселье идет, такие смехи да рассказы. И нет-нет, да подкармливала баба Сеню. Ну, щец там плеснет, каши гречишной, хлеба даст. Кормит, а сама любя отчитывает Сеню:

– Эх, непутевый ты, милый, пра, непутевешшай. А какой бы из тебя мужик хороший вышел, кабы только да секли тебя мальчонкой...

И верно – непутевый.

Думал Сеня – думал, как бы деньгу зашибить – и вот, наконец, удумал. Подкатился к Петру Петровичу:

– Дай пять рублей, голубчик.

– Пя-ать? Видишь, у самого вот – пять да три – восемь. Да тебе столько зачем?

– Не скажу. Дай. Я скоро вернусь.

«Ну, черт с ним, должно быть, и впрямь – дело не шутка, коли денег займы просит». Дал Петр Петрович синенькую.

Час-другой: нету Сени. У окошка – глядь-поглядь Петр Петрович: нету. Вон, дама с коньками идет. Гимназисты бегут с уроков. Обоз какой-то с ящиками, этажерками, ширмочками.

Глядит Петр Петрович – завернул обоз к их воротам. И Сеня впереди шествует. Что за черт?

Шум, грохот, полкомнаты рухлядью заставили. Распоряжается Сеня, веселый.

– Это, – говорит, – я выжигать буду. Видишь, вот: у девицы знакомой аппарат взял. Ты, брат, не думай, это очень выгодно – прикладные-то искусства. Продам я это – плохо-плохо за пятнадцать. А купил за пять.

«Ах, черт тебя возьми – выжигать», – вот как Петру Петровичу досадно. «А что мы есть-то будем, когда осталось на руках три рубля, и до первого неоткуда взять».

Так и перебивались до первого чаем да ситным. Петр Петрович дулся. А Сеня – выжигал, портил, пахло паленым деревом. Половину все-таки сделал – и, правду сказать, недурно. Доволен.

– Ну, иди теперь... Продавай за пятнадцать, – поглядел Петр Петрович язвительно этак.

Сеня сконфузился:

– А ку-куда же продавать? Я не продавал никогда. Я не знаю...

Вот и делай с ним, что хочешь. Всерьез и сердиться на него нельзя. Посмеялся Петр Петрович, да и только.

4

И ничего ведь такого как будто в Сене и не было. Да что ж, пожалуй, некрасив даже: так, курносенький, бородка мягкая, золотая. А вот – мягкость эта самая в лице во всем и в глазах... Так вот – денек летний, нежаркий, в костромской, скажем, где-нибудь деревушке: выглянет солнце – и спрячется солнце, бубенчики на овцах, пыль на дороге от веселой телеги поднялась – и не падает, золотеет. Не иначе, как мягкость влекла эта самая – любили его, даром что непутевый был. Пол-Москвы у него друзей и приятелей было. А уж на особицу двое: игумен это один, а хозяин пивнушки на Бронной – это другой.

Если в праздничный день Сеня спозарань поднялся, вопреки естеству своему – так это, значит, он идет в монастырь к обедне. И столь это бывало поучительное зрелище, что шли целой компанией глядеть. Станут себе в сторонке, чтобы своим нечестивым поведением Сеню не оконфузить. А Сеня стоит – воды не замутит, отбивает поклоны, где надо – главу преклоняет.

И вот, наконец, торжественный момент, выходит монашек из алтаря и на тарелке Сене просвирку подает с поклоном. Сеня благочестиво целует просвирку и прячет в карман... А монашек ему почтительно:

– Отец игумен вас к трапезе просили пожаловать.

Ну, тут уж удержу нет: бегут всей компанией наружу, на паперть, высмеиваются тут досыта. И голову ломают: как это Сеня, беспутник, безбожник, – к игумену в милость попал? На чем это столковались они? Разве это вот, что всякую старину Сеня любил: церкви древние, лампы под праздник, книги в старых кожаных переплетах – минеи, триоди да цветники-изборники отеческие.

Пение любил церковное, распевы всякие знал – и знаменный, и печерский и по крюкам пел. Вот это разве?

Придворная Сенина пивнушка была на Малой Бронной. Уже все это знали, и коли кому понадобится – первым долгом туда. И ошибались редко.

Пивнушка – так себе, захудалая, третьеразрядная. Но битком набита всегда – на таком уж бойком месте поставлена. И что за народ: извозчики, странники, девицы гулящие, господа в опорках с Хитровки. Галдеж, дымок серый от курева и от сапог, в тепле сохнувших. Граммофон визжит.

Любят здесь Сеню. Со всеми он разговор знает: с извозчиком – о самоновейшей мази от подседа из травы-горечавки; со странником – о том, как в келье живет-спасается медведь Серафима Саровского; с босяком – просто сотку не побрезгует – разопьет.

А пуще всех любит Сеню – хозяин сам. Не то из раскольников, не то из сектантов старик. Сядут где-нибудь за столиком в дальнем углу, головы руками подопрут, лица у обоих строгие станут – и о божественном сомневаются:

– Как же, мол, брак-то? Таинство, а беги от него, как от скверны – церковники-то учат? От других небось таинств не бегают...

А то развернут календарь Гатцука, пальцем начнут водить: христиан православных на всем белом свете – столько-то миллионов, неправославных – столько-то, язычников – столько-то.

Старик-хозяин берет счеты, щелкает костяшками:

– Ну, пушай из православных – пятьдесят на сто в рай идет. Ну, а на всех разложить – выходит, один на четыреста в рай, так ай нет? Один в рай – четыреста в ад... Как же это он, Бог-то? Как, правда, а?

5

И ведь вот, не верит Сеня, конечно: какой там, к черту, ад у него. А сидит со стариком вот так и головою качает печально – не притворяется. Какие-то будто две половинки в нем: одной половинкой, которая четырех факультетов вкусила, не верит, а другой, которая к сте-

нам кремлевским да к церквам старым привержена, — верит.

И со стариком, в пивнушке — один Сеня разговаривает, а с Петром Петровичем — другой совсем. Тут он — с такой усмешкой, кто его знает над чем, с вывертами всякими.

Петр Петрович — человек положительный, ему, глядишь, завтра надо на урок идти, а то в университет. А Сеня по обычаю всех таких разговорщиков русских — обязательно по ночам разговоры заводит. Днем ничего, все как следует. А только добрые люди спать легли — Сеня папиросу закурит, подсядет к Петру Петровичу на кровать, рукой за талию обнимет — и пошел, и пошел. И чаще всего о любви разговор заводил — специальные у него на этот счет теории были.

— Э, что там, просто ты циник, — рукой махнет Петр Петрович. — Никаких идеалов на этот счет у тебя нету.

Этого только Сене и надо:

— Идеал желаешь? Пожалуйста. Согласен. Непременно у каждого из нас должен быть и есть свой идеал женщины. По-моему, совершенно инстинктивный, физиологический. А ты, коли хочешь, можешь к физиологическому и духовный пристегнуть: мой силлогизм уцелеет. Ну, идеал, сиречь, недостижимое. Сиречь — решение уравнения может быть только приближенное. И конечно — таких приближенных решений в большом городе и при моих, скажем, знакомствах — можно найти эн плюс единица. Почему же это, скажи мне на милость, должен я эн отбросить и при единице остаться? Когда все решения — приближенные и разнятся только степенью приближения? Уж коли ты, мой милый, идеалист — так ищи решения наиболее точного, стало быть, перепробуй возможно больше приближенных. Вероятность попасть на решение наиболее точное... Да ты с теорией вероятностей-то знаком?

Часам этак к трем — Петр Петрович уж дремлет и репликами Сеню больше не подзадоривает. И тогда просыпается другая половинка Сенина — впадает он в сентименты и начинает мечтать о семейном счастье.

— ...И вот, брат, я совершенно представляю себе, что станет священной даже вся обыденщина эта: комната

утром, всякие принадлежности туалета разбросаны, вода от умыванья вечернего. Ведь это все ризы, в которых...

«Ах черт, четыре уж скоро, какие там ризы», – слипаются глаза у Петра Петровича, и слышит сквозь сон:

– ...Беседка с плющом, понимаешь, чтоб продувало, и она в капоте, и животик круглится...

От изумления проснется Петр Петрович, распахнет глаза и смотрит: да, Сеня. Вздыхает Петр Петрович: он ли? Да, он самый, Сеня. И удивится вслух:

– Ведь вот какие неожиданные бациллы иногда таятся в человеке под спудом. Кто бы подумал...

Сеня конфузится:

– А, поди ты к черту! Тебе пошутить – а ты и поверил... – и ложится спать.

6

Сеня читал вслух Петру Петровичу:

– «Филарет Филаретович и Меропея Ивановна просят пожаловать на бал и вечерний стол по случаю именинного дня дочери их Кипы...»

– Кипы?

– Капитолины. Этакая, скажу я тебе, девица... Ну, да сам увидишь. Пойдешь?

Сеня там всего один раз был, Петр Петрович – ни разу. А впрочем...

– Ужин будет?

– Дура. Тебе сказано: вечерний стол. До отвалу кормят, как на зарез.

– Ну, ладно. Пойду... – Петр Петрович покушать любил.

«Бал и вечерний стол». Растревожили всю мебель в зале, повытаскали, и видны даже еще следы на полу: мирно спал здесь лет десять какой-нибудь ихтиозавр – диван. Растерянно горит люстра. Кругленькие, маленькие катаются по полу папенька с маменькой.

– Пожалте, гости дорогие, пожалте. А это вот – дочка наша – Кипа.

Кипа – вся в бантиках, рюшках, оборочках, хохолок на лбу – курочка-брамапутра. А Сеня, как увидал брамапутру – так к ней и прилип, не отходит ни на шаг.

Разложили зеленые столы. Кряхтя уселись почтенные гости в длинных сюртуках, в наколках кружевных: а ну-ка, господа, вспомним старину – в стуколку стукнем?

В зальце стоя кавалеров и барышень. У изразцовой печи стоят кучкой кавалеры – как отбившиеся от стада овцы. А барышни сидят по стульям у стеночки, улыбаются примерзшей бальной улыбкой, шепчутся.

Пришла таперша, глухая, два пальца у ней желтые, все прокурены. Выкурила папироску, села за рояль – и пошла в зальце кулиберда.

Петр Петрович степенно стоял в дверях, смотрел на Сеню и на курочку-брамапутру. И беспокойно у него на сердце было: ох, уж очень что-то бойчится Сеня-то, кабы чего не вышло!

Ужинать позвали. Глаза разбежались у Петра Петровича: закусок, закусок-то одних сколько. Хотел Петр Петрович подмигнуть: а ну-ка, брат Сеня... И видит вдруг – Сени-то и нет за столом. Выскочил, побежал искать.

Были они в зале, Сеня и Кипа-брамапутра, в уголке за пальмой. Сеня – почему-то очутился на полу, ерзал и старательно делал вид, будто искал что-то:

– А-а... ч-черт, па-папиросу потерял... я сейчас.

Поужинали. Подошел Сеня, сел на диван с Петром Петровичем рядом.

– Уф... Да.

– Ну что – да? Говори уж.

– Да, брат, что говорить-то: я ей сейчас предложение сделал.

Вот тебе и здравствуй.

– Врешь ты, ну тебя.

– Какое там вру! Ей-Богу, и сам не знаю, так как-то, уж очень к слову пришлось. Теперь-то уж вижу...

– Ну, а она?

– А она: «Не знаю, – говорит, – подумаю, уж очень вы сразу как-то, я не могу так».

Еще бы не сразу: второй раз в почтенный дом Сеня пришел – и вот тебе, одолжил.

Наутро Сеня Петра Петровича разбудил чем свет: на щетку плюет, сапоги чистит, тужурку новую вытащил.

«Куда он? С ума спятил», – поглядел Петр Петрович и опять уснул.

К обеду вернулся Сеня. Смеется:

– Кончено.

– Что кончено-то?

– Да это, вчерашнее. Был я у них. Вышла Кипа – невеста моя богоданная. «Ну, что, – говорю, – думаете?» – «Думаю», – говорит. «Ну, мол, не думайте, не надо: я раздумал». Вот и все.

Посмеялся Петр Петрович, поругал-поучил Сеню. Да ему хоть кол на голове теши. Такой уж нрав у него – от вида женского тает, как воск от лица огня. Не первая это у него невеста – не последняя.

С одной невестой такой Сеня, должно быть, с год хороводился. Такая была хохотуша: засмеется – серебро рассыпает. За смех и полюбил ее Сеня.

Был у хохотуши этой брат – студент, была тетка, сухопарая такая, злющая. И что хуже всего – была тетка весьма благочестива и до страсти к столоверчению привержена. Как вечер – не с кем ей, она и засадит хохотушу с собой за стол. Та в темноте сидит-сидит, да как фыркнет – одно горе просто тетке с ней.

Когда Сеня приручился хорошенько к этому дому, стала тетка его за столик сажать. Ну, а Сеня что ж. Сене только бы рядом с хохотушей сидеть да млеть, Сеня доволен.

Раз в субботу уселись вчетвером: тетка, Сеня, невеста и Алешка, брат невестин. Руки зачем-то накрест надо было: левую – направо, правую – налево, и пальцами с соседом цепь составить. Уселись. Темно, тихо в комнате, слышно, как кровь колыхнется. Жуть: а вдруг правда что-нибудь этакое? Закрыл Сеня глаза, поплыли круги золотые. Вот где-то совсем близко, тут, на столике теплая рука хохотушина, вот только немного нагнуться – темно ведь...

Круги золотые, темно, кровь колыхнется... Нагнулся Сеня, прижался губами к руке.

Ка-ак закричит Алешка, брат-то, благим матом, как вскочит:

– Да ты это что же, Сенька, с ума спятил – руку-то мне целуешь?

Хохотуша-невеста закатилась – и не может – не может – никак не вздохнуть. Свет зажгли. Стоит Сеня...

Ну, больше, конечно, не ходил уж туда.

– Руки эти самые накрест – погубили меня, запутали, – жаловался Петру Петровичу.

Погоревал-погоревал Сеня о хохотуше, да и забыл – пошли новые. Была Мышка – так Мышкой ее все и звали. Зубки такие беленькие да хорошенькие: целые дни Сеня искусанный весь ходил. А то была Кильдеева, силачка: полюбил ее Сеня за то, что положила она его на обе лопатки во французской борьбе. И была Таня – маленькая такая, легонькая: уж очень хорошо на руки ее было поднять, с того дело и началось.

Маленькая, легонькая – а вот никак не мог ее разлюбить Сеня. Жаловался Петру Петровичу:

– Засела защепой во мне – и не вытянуть, разве с мясом только.

7

На студенческой вечеринке забрались куда-то наверх, в далекую чертежку, и пристали к Сене: спой да спой костромскую какую-нибудь песнюшку. В другой бы раз Сеня ни за какие крендели перед публикой петь не стал. А тут, как выпивши малость был – ладно.

Закрыв Сеня глаза, лицо, как слепое, сделал и запел в нос уныло нищенскую песню:

Ой вы, люди умные,
Вы люди учёные,
Повествуйте нам,
Что есть двенадцать?
Двенадцать апостолов,
Одиннадцать без Иуды,
Десять заповедей,
Девять цинов ангельских,
Столько же архангельских...

И дальше – всю до конца песню пропел о числе святом, апостольском. Закричали, захлопали: еще, Сеня, еще! Но уже не мог Сеня больше.

В комнате плавал жаркий туман, дурманил голову. Сошел со стола Сеня, замешался в толпу.

И увидал неподалечку от себя – барышню какую-то русскую, в кике, золотом шитой, в сарафане червонном. «Да как же это раньше я ее не приметил?»

Спросила Сеню барышня:

– Как звать-то тебя, паренек? Больно уж хорошо ты поешь.

Словечком этим – паренек – вконец улестила Сеню. Пошел за ней, закружило его.

«Да, она это, она, о которой...»

Звали барышню ту – Василисой Петровной. Родители у ней – купцы московские, именитые. От старого благочестия почти вконец отреклись уж, всякие роскошества у себя завели, дворец вон какой на Остоженке закатали.

И в том дворце хранилось у них все древнее, от родительских родителей наследованное: иконы старые, истинные, с огромными черными глазами; парчовые покровцы, шитые в скитах серебром-жемчугом; ковши для браги, для меда, муромскими людьми из дерева резаны; столы, кресла мореного дуба – с места не сдвинешь.

И посреди этого ходить ни в чем нельзя было Василисе, кроме как в сарафане да в кике. Да ни в чем ином и не ходила она, разве уж когда-когда.

Увидал ее Сеня здесь, обоймленную всем вот этим дедовским, пахнущим медом и ладаном, да так и прирос – не оторваться.

Бродили они вдвоем по церквам, по московским закоулкам. Пыль поднимали у старьевщиков – нет-нет да, глядишь, и откопают какую-нибудь диковину. В ковровых санях, на тройке с колокольцами – ездили на Воробьевы горы.

Так вот катались раз зимним вечером – и вернулись на Остоженку к Василисину дворцу. Сели у ворот на скамеечке – такая там каменная резная была. Смотрел Сеня, не отрываясь, в синие глаза Василисе.

Улыбнулась Василиса, тронула пальцем Сеню, против самого сердца – и спросила:

– Терем-теремок, кто в тебе живет?

Хотел Сеня крикнуть радостно – кто, да осекся:

«А Таня-то как же? А Таня – такая маленькая...»

И ничего не сказал он Василисе.

На другой день к Тане пришел. Положил ее голову себе на колени, гладил лицо. Рука у Сени дрожала, и таким

горько-нежным переполнилось чем-то сердце, через край переливалось светлыми, как слезы, каплями.

Все без утайки рассказал ей.

– Не знаю, не знаю, что со мной. Тянет меня к Василисе...

Танино лицо лежало у него на руках: почувствовал – мокрыми стали руки. И какая же она маленькая, легонькая!

Поднял ее Сеня на руки.

– Но ведь тебя-то я же люблю, – знаю ведь, что люблю, вот как...

С улыбкой – солнышко сквозь дождь – сказала Таня:

– Только меня не разлюби. А то как хочешь. Я тебя все равно буду так же любить...

8

Знал, конечно, все Петр Петрович. Никак не верил Сене:

– Да ты хорошенько-то покопайся, глядишь – и окажется по-человечески: одну какую-нибудь любишь. Ишь ты, выдумал: обеих зараз.

– Да, обеих! А ты – олух. Неужели не можешь понять, что Василису – за свое, за Василисино, люблю, а Таню – за Танино...

– Гм. Что же ты – наиболее точное решение все разыскиваешь, с обеими-то валандаешься?

– Ах, милый мой, мне теперь не до шуток и не до теорий.

И все-таки никак этого переварить не мог Петр Петрович: как же это так – обеих? Статочное ли дело? Вот леший-то непутевый...

– Не кончится это добром, – пугнул Петр Петрович.

– Знаю, так что же? Знаем же мы, что жизнь – смертью кончится непременно, а ведь – живем же?

Что же тут скажешь?

Сеня решил обязательно показать Василису Петру Петровичу:

– Ты вот погляди, голубчик, сам погляди – да и говори тогда...

В конце святок, вечером, пришла Василиса в гости. Глаза синие, губы румяные, в косах снег серебром напорошился. Бросились вытряхвать – веселье, смех.

Принесла Василиса и святочное угощение с собой, и посуду. Выложила деревянное блюдо, написано на нем вязью: «Хлеб-соль ешь, а правду режь»; на блюде – смоквы, пастила, синий изюм, волошские орехи. Пошел пир горой.

– А ну-ка, братцы, давайте гадать, – затеяла Василиса.

– А как, как?

– Кольцо обручальное...

– Да у кого у нас кольцо-то? Нету.

– А не мешало бы кой-кому колечко иметь, – подкузьмил Петр Петрович.

Смеялись, судили-рядили. Ну, коли под руками ничего нет, так хоть это вот: бумагу жечь да тени на стене разглядывать.

И только первый кусочек бумаги зажгли – звонок.

– Вот черта какого-то нелегкая принесла!

Вошла Таня. Сеня поспешно смял на тарелке черный пепел – как будто это-то и было, что никак не должна видеть Таня. С усмешкой Василиса опустила на Сеню свой синий, стальной взгляд.

Сеня встряхнулся:

– Ах да... позволь, Таня, представить тебе: Василиса Петровна, ты знаешь ведь.

«Ты – тебе», – поняла Василиса.

Сеня суетился. Зажег на тарелке новую бумажку.

– Ну-ка, на тебя теперь, Таня, погадаем, – ну-ка!

– А на меня-то что ж? Мою-то бумажку вы смяли ведь, – сказала весело Василиса – очень весело.

– Да и правда, я и забыл...

Бумажка горела, колебалось пламя. Все смотрели на тень на стене.

– Так на меня – или на нее? – спросила Василиса.

Сеня не ответил. На тени появилось из пепла чье-то рогатое лицо.

9

Василиса сказала:

– Или я – или она. И никаких разговоров...

Вернулся домой Сеня. Петр Петрович уж спал. Всю ночь Сеня ходил в темноте, ходил.

Утром написал письмо – и разорвал. Написал – и опять разорвал:

– Ну, не могу я сам, не могу – которой же, не знаю.

Ходил все по комнате, ходил. С синими, стальными глазами Василиса сильнее была, перетянула. Умолял Сеня Петра Петровича сходить к Тане:

– Объясни ты ей, Христа ради... Ведь люблю я ее все так же... Не веришь? Ну что ж, все равно, не верь...

Как в омут, ринулся Сеня в любовь к Василисе, чтобы утопить ту, другую, такую маленькую, такую легонькую.

По-прежнему – бродил он с Василисой по дворцу на Остоженке; целовал ее, как бешеный; лежал на тканном старинными узорами ковре у ее кресла. По-прежнему – одевал ее в тяжелые бабушкины робы, в накладки, чепцы – отходил и издали любовался ею. Вместе читали, как и раньше, – страницы из синеватой толстой бумаги, с старомодным смешным шрифтом – *т.* из трех палочек.

Но не было уж ребячьего Сенина смеха, такого звонкого, забыл Сеня песни петь костромские. Такой не нужен он был Василисе Петровне. Не любила осень – любила она только лето с ярким солнцем.

Наказала Василиса Петровна Сене в театр за ней зайти, часов в восемь. Нарядилась в сарафан, в кикю, стояла перед зеркалом, усмехалась: то-то потеха будет, как сядет она в ложе да как начнут на нее со всех сторон глаза пялить!

И случилось же так, что в этот день встретил Сеня старого своего приятеля костромского – Серёньку.

– Серёнька, да неуж – ты? Сколько лет, а? Господи...

Сидели в трактире, пили и молодость свою вспоминали:

– Эх, было времечко!

Старые аглицкие часы в трактире – бьют медленно, басом – ровно соборный костромской колокол – девять.

Услыхал – остолбенел Сеня. Как угорелый вскочил, побежал, ни слова Серёньке не молвил, не простился – побежал.

Примчался на Остоженку. Открыла ему девка-горничная дверь:

– Нету Василисы Петровны дома. И завтра не будет. Домой не пошел Сеня. Неведомо где – пропадал ночь, вернулся только к утру. И такой пришел страшный, что думал Петр Петрович:

«Ну, пропал Сеня. Спятит с ума, ей-Богу спятит».

Спятить не спятил. Но запил горькую – хоть святых вон неси. Каждый день ночью приходит – не в себе. Придет, тяжело сядет, голову на руки опустит...

– Петр Петрович! Прости, ну, понимаешь, прости! Прости, говорю.

– Да будет тебе, чего зря...

– Нет, ты меня про-сти! Ну вот, хочешь – на колени стану, хочешь?

И пока-то это уговорит его Петр Петрович, разденет да спать уложит. Ох, и зазнал уж он горя в те поры с Сеней: поди-ка, по кабакам побегай во всем околотке да разыщи его! А разыщешь – поди-ка его, милого друга, из-за столика вытащи. Нейдет – и шабаш. А тут еще и эти олухи царя небесного, которые с ним-то, дразнить его станут: «Что он тебе – мамаша аль супружница? Какое такое его полное право, – не ходи...»

Перестал Петр Петрович деньги давать Сене на пропой. А Сеня – что ж? Обошел Анисью-кухарку каким-то манером: разжалобилась Анисья, вынимает из сундука деньги, дает. Сопьется, ох, сопьется малый...

10

Пришла осень. И, поди, как всякая московская осень была: и слякоть, и мга сырая, и дождичек миленький. А мерещилось – всю осень один сплошной солнечный день был. И на улицах будто – и Пасха, и масленица вместе. Флаги, народ ходит, поют, и все между собою родные. И кричать хочется – кричать хочется во все горло – от радости, от шири, от удали.

Как-то в октябре пришел Петр Петрович на митинг в университет. Глядит – и глазам не верит: батюшки мои, да неужли ж правда? Стоит на кафедре Сеня, рука у него белым платком зачем-то повязана, глаза блестят, улыбается. И с толпой, со зверем этим, просто, как с приятелем, разговаривает.

– Браво, Сеня, браво, – хлопают, смеются какой-то костромской прибаутке.

«Вот оно как: уж он у них – Сеня», – подивился Петр Петрович.

А Сеня уж протолкался, стал около, да и веселый же:

– Эх, Петрович, чайку бы теперь лестно, а? Пойдем, что ли?

Шли втроем. Третий был узёмистый, сутулый, лохматый, в волосьях все лицо: как Исав.

– Знакомьтесь, – кивнул им Сеня.

Волосатый Исав мурныкнул что-то под нос. «Ка-ак?» – ничего не понял Петр Петрович. Ну, да не переспрашивать же. Так и пошел с тех пор волосатый у Петра Петровича за Исава: Исав да Исав.

– Это что же, вы, стало быть, Сеню в эсдеки-то сманили? – покосился Петр Петрович на Исава.

– Никого я не сманивал, и никакой не эсдек я.

Говорил что-то Исав, а Петр Петрович дивился: как это такое – говорит, а губы не разжимает. За волосьями, что ли, не видать?

Исав говорил:

– Как можно верить во что-нибудь? Я допускаю только – и действую. Рабочая гипотеза, понимаете?

Петр Петрович к Сене обернулся: ну, а ты?

– Я-а? Да что ты, чтоб я... Да глаза бы мои не глядели на программы все ихние. Слава Богу, в кои-то веки из берегов вышли, а они опять в берега вогнать хотят. По мне, уж половодье так половодье, вовсю, как на Волге. Правда или нет?

Исав буркнул что-то согласительно, не разжимая губ.

Не нравился Петру Петровичу волосатый Исав. Ну, авось не детей с ним крестить. Зато вот, слава Богу, Сеня пить совсем перестал. Да и зачем ему пить, когда он и так, без вина, вдосталь пьян?

Морозы пришли. Дни стали тихие, хрустальные, синие. Выстрелят – хрусталь вдребезги, и осколки тишины звенят, такие жутко-веселые. На улицах пусто. Разве отчаянный какой по улице пробежит: а ну-ка, мол, цел буду или...

Сеня целыми днями пропадал. К вечеру придет румяный, морозом от него весело этак пахнет.

– А ты сидишь все, Петр Петрович? Чудак, да весело же, пойми, на улицах, весело: жизнь. Самые, по мне, живые люди теперь там. А-а, близки к смерти, говоришь, – вот оттого они к смерти и близки, что самые живые...

Однажды Сеня не пришел домой ночевать. Ждал его, ждал Петр Петрович допоздна: нету.

«Чтоб опять запьянствовал – не может того быть, нет. А если нет, так...»

До конца боялся додумать. Спал плохо. Раным-рано побежал Сеню искать. И только на Никитскую свернул, глядь – и Сеня навстречу. Ох, отлегло...

А Сеня – веселый:

– Всю ночь, брат ты мой, просидел с ними на Настасьинском переулке – до семи утра. Проволока, ларьки, перины какие-то: смехота. Сидели-сидели, курицу заблудящую изловили. Иван там был, белобрысый, из солдат – потешал нас все. «Чем, грит, курицу нам самим резать – трудиться, пущай уж они лучше», – это солдаты, то есть. Картуз свой на курицу напялил, выставил ее поверх – а уж утро, светло. Цок-цок, цок, – стащили курицу вниз: две пули. «Теперича, – Иван говорит, – не курица уж это, а дичь стреляная, прошу покорно – есть проворно...»

Никогда Петр Петрович Сеню таким веселым, как в эти дни, не видал: так и кипело в нем, так и переливалось через край.

И другие дни настали: конец. Все прахом пошло. Дружинники веселые разбегаться стали: чего ж зря веселым помирать – веселые еще пригодятся.

Каждый Божий день теперь приходил Исав на ночевку, на свою-то квартиру ему и носу показать нельзя было. Не разжимая губ, мертво-спокойный Исав говорил:

– Ну и что ж? Ну, и отступим. Но чтобы нас победили? Да разве мыслимо победить мысль?

Петр Петрович – всегда за хозяйку – устраивал и постель Исаву: подгромащивал три венских стула, клал на них ватное Сенино пальто. Исав, должно быть, виды видал, ко всему привык: только лег – кувыр на бочок – и завел уж сонную музыку.

А Сеня не спит. Встанет, на цыпочках, чтобы не слышал никто, пойдет, папиросу набьет. Курит, лежит и думает, думает.

Четырнадцатого декабря ночью новый снег выпал. И день встал – весь в белом. Небо белое, пуховое, близкое – опять скоро снег пойдет. А по зиме – неведомый добр человек расстелил белую бумагу, и вот сейчас будут на ней, чистой, люди какую-то историю писать – веселую или страшную.

Белый Настасьинский переулок перегорожен посреди самой дороги несуразной запрудой – из фонарных столбов, из дров, из подушек, из снегу. И сидят за запрудой на скамеечках – из снегу же самодельщина – веселые те самые ребята, Исав с ними и Сеня.

С соседнего двора слышно: хек-хек-хек. Рубят дрова. Иван – из солдат, белобрысый – мечтает:

– Ишь ты! Вот дровец нарубят, запалят, шти, дай-кось, в печь поставят... Хорошо – с морозцу прийти, похлебать!

Ему не отвечают веселые ребята, задумались. И похоже, пришли они сюда в полушубках, рукавицах, в валенках – пришли все десять просто снег сгребать, а подрядчика ихнего все нету еще – сидят вот и ждут. Так просто!

К полудню по нехоженому снегу – по белой бумаге – наследили солдаты. Они не стреляли уж, как вчера, а медленно и упрямо шли. Во ста шагах от запруды стали. Офицер вытащил сабельку, крикнул. Солдаты трусцой – трюх-трюх – побежали.

Исав смотрел в окошечко, сложенное из поленьев.

– Ну, что ж, господа, – сказал он мертво-спокойный, – надо уходить теперь, что ж...

Веселые ребята пробежали два дома, юркнули в ворота – и поминай как звали.

Исав шел последний. Обернулся назад: Сеня сидел все там, у запруды, один, чернел на снегу, как ворон.

– Будет глупить-то! – крикнул сердито Исав. – Какой смысл?

Сеня улыбнулся и помотал головой молча.

Солдаты добежали до запруды – и остановились: почему же это никто оттуда не стреляет? Дело что-то не чисто. Неохотно полезли через...

Вечером, как обыкновенно, Исав пришел на ночевку. Петр Петрович накинулся на него:

– А Сеня где, а где Сеня? Я искал целый день...

– Взяли, – сказал Исав как будто неразжатыми губами.
– Да как, Господи, как же это?
– Сам виноват, – слышалась у Исава мерзлая какая-то злость, – двадцать раз убежать можно было. Все убежали, а он остался – нате вам. Не понимаю. Бессмысленно, глупо, идиотство! Так бесцельно себя тратить, – не понимаю!

Петр Петрович свирепо поглядел на него:

– Не понимаете? Не удивляюсь. А я вот – понимаю. Сам не сделаю, а понимаю.

Выбежал на двор. Сел на крыльце, на приступочках. Шел снежок – тихий, вечерний, падал на лицо. Пощупал Петр Петрович: все лицо стало мокрое. От снега, что ли?

1913



ТРИ ДНЯ

Солнце, песок, черномазые арабы, песок, верблюды, пальмы, песок, кактусы. Где-нибудь в другом месте не арабы, а турки, и опять – солнце, верблюды, песок. Повсюду одинаково звонко, ослепительно-ярко. И вечный шелковый шум волн при переезде из порта в порт, – этим шелком закутаны глаза, уши. Под конец совсем падаешь под тяжестью впечатлений, сквозь шелк все уже еле видно, еле слышно. Всякие разговоры начинаются с одного: «А вот, когда мы придем в Одессу...»

И наконец – пришли. Солнце садится, значит – опоздали: таможенный досмотр будет только завтра, а до тех пор на берег нельзя.

– Полюбуйтесь-ка вот, издали. Близок локоток, а не укусишь, – подхихикивает старший механик. Борода у него седая, длинная, как у Моисея-пророка; медленно ее поглаживает.

Шум улиц легко бежит к нам по воде. Золотеет над городом облако пыли. Вспыхнули красным верхушки наших мачт, стекла в иллюминаторах. Погасли. Темнеет.

Два белых военных судна – резкие, вырезанные в синем полотне сумерек.

– А эти военные – зачем здесь?

– Захотелось господам офицерам одесских девочек посмотреть, ну, вот и пришли... – Это опять механик: он все знает, все и всегда. Берет бинокль, смотрит: – Броненосец и миноноска, севастопольские, – говорит он.

Мы спускаемся спать в каюты. Ночь наивная, тихая, обыкновенная, еще не подозревающая, что в ее темную глубину уже брошена искра, что она вот-вот запылывает...

Утром – чуть свет поднялась беготня на палубе, гвалт: таможенные пришли. С какими-то крючьями, как черти в аду, копаются. Обыкновенный, пыльный, потный плетется день. За обедом все торопятся: поскорей бы кончить – и в город. На берегу успел побывать только седобородый механик: везде у него приятельства и знакомства, он исхитрился выбраться с утра, еще до таможенных. Теперь сидел и рассказывал всякие новости, были и небылицы.

– Хе... Торчите вы тут и ничего не знаете! А там дела, там дела! Какие? А такие, что на броненосце на этом всех офицеров повыкидали за борт. Лейтенантик матроса у них ухлопал, ну и пошло писать... Думаете – вру? Да подите вы к черту!

За столом улыбались: знали, любит старик удивить. Ну, пускай, пускай потешится...

После обеда поймал меня Григорий Васильич, машинист, затащил к себе в каюту, прикрыл дверь. На правой руке не было у него двух пальцев, всегда прятал руку, а сейчас забыл все: говорил, размахивал рукою, мелькали перед глазами култышки.

– Слушайте: он на Новом молу лежит. Факт. И народу туда идет – тьма-тьмущая. Такое начинается, что я и не знаю... Слушайте, пойдете, а?

Григорий Васильич – человек положительный. Значит, и правда – что-нибудь... Весело-тревожно начинает биться сердце.

Мы быстро идем по берегу по-над морем. Солнце на небе ярко празднует, ветер стих, на море взглянуть нельзя – ослепнешь.

Переходим какие-то пути, спотыкаемся, свертываем по серой улице пакгаузов – и вдруг попадаем неожиданно в поток людей, спускающихся сверху из города в порт. Что-то похожее на крестный ход: так много, такие разные. Панамы, босоногие ребятишки, солдаты, перчатки, шелковые зонтики, опорки, воротнички...

Идем. Чей-то голос сзади – неуклюжий и медлительный:

– Воны, чорноморьци, давишь говорыли, что к нам прыйдут. Вот и прыйшли.

Я обернулся: рябой солдатик поучал своего товарища.

– А офицеров воны й не побили вовсе, тильки заперли. Я ж знаю. Я...

И нету: пропал в толпе. Мимо – уж новые: студент и девица. Девица прижималась к студенту и, должно быть, вздрагивала.

– «Потемкин», – говорил студент, – самый новый броненосец. Понимаешь, если он на самом деле – так ведь это...

Наш «крестный ход» свернул на Новый мол. Здесь было ближе к какому-то неведомому центру и оттого тише, серьезней.

Около огромной горы деревянных ящиков стояли неподвижные фигуры, как будто сторожили.

– Вы что тут? – спросил Григорий Васильич.

– А вот – около водки. С монополькой ведь ящики-то: не дай Бог – пронюхают! Мы от комитета.

На фонарь взгромоздился юноша в мягкой рубашке и черном пиджаке, глаза у него девичьи, синие. Поднял над толпой руку:

– Товарищи! Этот день...

Его слушали. Голова кружилась от солнца, от людей, понять что-нибудь мешала неотвязная мысль, такая неподходящая: «Но ведь в черном пиджаке ему, должно быть, отчаянно жарко...»

В толпе прорубилась какая-то просека, улочка. По ней двигались вперед, к непонятной цели, проходили обратно. И во всем этом был свой странный порядок.

Пошли по этой живой улочке и мы с Григорием Васильичем. Вместе с медленными рядами двигались к голове мола. Вдруг впереди нас сбросили шапки. Стало совсем тихо и жутко.

– Ох, да вот он, вот он, батюшка... Красавец-то какой лежит, как живенький! – запричитала рядом баба в платке.

На самом конце мола на постланных флагах лежит матрос. Желтое, мертвое, спокойное лицо. Всегда страшные днем огоньки восковых свечей. Около – говорят только шепотом. Два белых матроса, его товарищи, в изголовье. Сбоку, совсем близко, как сидела бы мать, сидит босяк – опухшее, налитое лицо, лоб перевязан тряпкой. Босяк качает головой, морщится – может быть, плачет.

Кто он, зачем?

Бросают деньги на тарелку возле покойника, отходят в сторону. Читаем издали приколотый к груди лежащего лист бумаги – под солнцем очень белый. Видны только последние слова: «...за мою смерть».

Вдруг благоговейное молчание разрывается резким окриком:

– Шапку долой, эй, ты!

На господина в котелке кричит один из матросов. И все, кто стоят поближе и слышат, тоже:

– Эй, долой! Оглох, что ли?

Господин в котелке, криво улыбаясь, обнажает голову. Опять тишина. Только баба в платке всхлипывает:

– Красавец-то какой, батюшки, молодец-то... О Господи!

Поливает сверху солнце. Желтые свечи, острый и желтый нос мертвеца, молитвенно, жутко... И должно быть – такая же новая, необыкновенная стала сейчас вся Одесса.

По человеческой просеке, мимо солдат, шелковых зонтиков, мальчишек – мы идем в город. Дерибасовская, Ришельевская... Нет, оказывается – здесь все обычно: нарядные женщины, газетчики, продавщицы цветов, очень тихо и жарко.

– Пить-то, пить-то как хочется. А ведь только вот сейчас и почуял, – сказал Григорий Васильич.

Сели за столик, пили, спешили кончить.

– Слушайте: идем, а?

– Идем.

Не нужно было говорить – куда: куда же сейчас можно идти, как не туда, опять вниз, в порт?

Еще издали мы увидели – шло волнами темное море голов – и гудело:

– А-а-э-э-э...

Бросали вверх шапки, махали руками. Уж можно теперь разобрать – кричали тысячи голосов:

– Е-э-эдут, едут, е-э-э...

Мы ли протолкались, или нас вынесло – но только оказались мы скоро у самой воды, на краю набережной. Теперь ясно было видно: от броненосца, резко белого, шел к берегу, к нам, как чайка – легкий и острый – ка-

тер. Вот уж можно разглядеть и белые голландки матросов и лица. Пристают.

– Ур-рр-а-а-а-а! – заревело сзади.

Нахлынули, бросились вперед, как бешеные лезли на плечи, куда-то вверх – надрывались: ура-а-а!

Я оглянулся. Высокие железные столбы фонарей были увешаны людьми, – как они взобрались в секунду? – люди махали белым, в воздухе – туча фуражек, шляп. Матросы на потемкинском катере раскрывали рты – тоже, должно быть, кричали, их не было слышно.

Да, матросы, *те самые*, так близко, внизу. И почему-то отпечатывается навсегда физиономия одного – такая лукавая хохлацкая рожа, со спущенными вниз светлыми льняными усами.

Хохол на катере влез на мостик и замахал рукою: чтобы затихли.

И так же, как он, замахали рукою десятки людей на набережной, вскакивали на тумбы, кричали: «Ти-и-и-ше, тише!» Удивительно: оно сейчас же утихло – это раскачавшееся, напряженное людское море. Утихли, вставали на цыпочки – услышать хоть одно слово. Все знали: то, что теперь услышат, – это будет решительное, страшное.

Матрос на потемкинском катере почесался и сказал:

– Вот бы... это самое... Провьянт нам нужен. Провьянту принесли бы – это вот да...

Так это было неожиданно-житейски, так просто. Засмеялись облегченно:

– Провьянту им неси! Харчей, говорят...

Сразу матросы – это мы все. Что ж, такие же люди: харчи вот нужны им. Правильно.

Катер слегка покачивало. Матросы придерживались багром за сваю. Из толпы очень быстро, как будто всю провизию носили с собой в карманах, начали подтаскивать к берегу кулечки картофеля, булки, колбасу, какие-то неизвестного содержания свертки. Бросали вниз, матросы ловко ловили.

– Будет, будет, спасибо!

Опять влез на мостик хохол с опущенными усами, сложил руки рупором и закричал:

– Братцы, солдатика бы нам теперь! С солдатом нам поговорить надо. Пехотного нам.

Зашевелились, потеснились, выперли кого-то вперед. Я узнал все того же самого рябого солдатика. Рябой подошел, прислонился пузом к перилам и неповоротливым, медленным своим языком начал переговоры, отнюдь не стесняясь присутствием публики.

– Воны побижалы за епутатом нашим, у казарми. Так я усе равно вам можу сказать...

– Ну, что у вас, братцы, как? – это снизу, с катера.

– Да что ж, розно. Наши-то сгодятся... А вот такие-то – хай им черт – сукины сын!

Солдат называл какие-то полки, казармы, орал, чтобы внизу было слышно. И снизу в ответ тоже орали. А кругом слушали. Так это все просто.

Запыхтела машина на катере, матросы замахали бескозырками:

– Прощайте, братцы. Спасибо!

Опять – ура, дикий, восторженный рев, повисшие на фонарях люди, взлетевшие вверх шапки.

Мы с Григорием Васильичем не существовали: нас носило куда-то вправо и влево, выбрасывало к перилам, втягивало опять в самую гущу. Толпа двигалась, переливалась, шла волнами. Почти видимая глазом – над людьми оплотнела тучей напряженная восторженность – и ждала как-то, чем-то пролиться. Опять завиднелись ораторы там и сям. Но этого было теперь уже мало, это было не то, туча все росла, сгущалась.

И вот, где-то слева, всплеснуло новое ура. Катится, растет как первая волна в шторм, ее уж догоняет другая, третья. Уже ничего не слышно – только штормовой, восторженный рев, и с этим ревом сплетается прерывистый, набатный жутко-веселый голос пароходного гудка.

Совсем уже около Нового мола виден огромный черный пароход: его тащит на буксире потемкинская миноноска. Пароход полон людей. На мостике красные флаги, десятки рабочих. Все машут шапками, приветствуют берег гудками. А берег мечется и бешено, иступленно кричит: ура!

Какие-то сведущие люди объясняют, что «Потемкину» нужен был уголь. «Ну, вот – пришла эта самая потемкинская миноноска, взяла на буксир угольщика и потащила:

угольщик что ж может против миноноски? Теперь «Потемкин» с углем – теперь наше дело – вира!»

Пароход ушел. Шесть часов. Солнце печет из последних сил. Люди задыхаются, из последних сил ждут – что-то еще должно случиться, должно!

Мы с Григорием Васильичем вернулись на пароход ужинать. Так странно было сидеть в тихой и уютной кают-компании, когда там – на берегу... Да, Бог знает, что там: там может быть теперь самое неожиданное, самое удивительное...

Садилось солнце, красное, дикое, немое. Мы опять подходили к Новому молу. Какие-то крики... Нет, не такие: раньше были – как ливень, как лес. А теперь – отдельные, резкие, режущие, каркающие, вороньи.

Под эстакадой стоял мужичок с грязным ведром, что-то продавал. Не поняли сначала.

– ...Хоть для почину купи-ите! За три гривенника все ведро. Ну, за двугривенный! Шампанское, вить...

– Ну... разбили! – отчаянно сказал Григорий Васильич. Опять забылся, мелькнули перед глазами его култышки.

Где же, где же то, что было здесь утром? Да и было ли? Сейчас не верилось.

Повсюду, согнувшись, шныряют люди с мешками, свертками. Какие-то мышино-юркие, в платках женщины, с одутлыми, картофельными лицами оборванцы. И все это озирается по сторонам, прячется за углы, ныряет, как ящерицы, в темные проходы...

У пакгаузов – нестройный, разорванный гул. Нет-нет да и грохнет, рухнет что-то, подымается туча пыли. Откуда-то взялись топоры, ломы. Рубят столбы, летит крыша, а те, которые около, – даже не посторонятся: с гиком бросаются в склады, роются, вытаскивают, отнимают. Кого-то убило крышей. Убило – ну что ж...

Целая куча деревянных ящиков. Тут были утром люди «от комитета». Толпа снесла их.

На самом верху этой горы ящиков – стоит какой-то босой, в одной жилетке – прямо на тело. В каждой руке по бутылке; пьет их и бросает. Покачнулся, ящики с грохотом и звоном валятся вниз.

Через минуту поднимается из обломков и осколков тот, кто был наверху. Из обеих рук, порезанных склянками, –

льется кровь, но он нагибается, вытаскивает новую бутылку, отбивает горлышко, запрокидывает, пьет. Из обеих рук льется кровь...

Бочки с вином. Днища отбиты. Черпают картузами, горстями, жестянками, ведрами. Уносят, пьют, опрокидывают на землю. По мостовой мола текут ручьи вина – как будто прошел хороший ливень; через ручей переброшены доски...

Всё не могут ни выпить, ни с собой взять: так пропадай ты про́падом, только бы «им» не осталось. В море!

Возле мола плавают зеркала, велосипеды в деревянных клетках, ящики, бочки, коробки. Выливают в море бочки спирта, керосина: «Эх, гуляй, все равно – один раз». Поют где-то песню – она кажется разбойничьей, ушкунничьей, старой...

Узкой улочкой мы поднимались в город. На улочке было как будто очень спокойно, и только всюду – глаза: на балконах, в окнах, в чуть приоткрытых калитках. По камням сухо процокал подковами казачий разъезд, скакали куда-то галопом. Окна и калитки торопливо закрывались.

Сверху мы оглянулись еще раз на порт: там кипело, ухало, рушилось, ликовало. Светил последний красный луч...

Оживленные, нарядные городские тротуары – и вдруг посреди улицы лагерь солдат. Составили ружья в козлы, уселись около, что-то стряпают в котелках: война.

Но там, за столиками на бульваре – по-прежнему весело и празднично. Изящные дамы, вежливые кавалеры – с лорнетами, биноклями, подзорными трубами. Все нетерпеливо смотрят туда, где «Потемкин», и ждут. Ждут начала – как в театре.

Григорий Васильич пробормотал сквозь зубы ругательство:

– С биноклями? А вот как сейчас...

Он не кончил: оглушительный грохот, удар. Дребезжат и сыплются стекла. Секунда оцепенения. Потом сквозь все молния-мысль: «Потемкин» начал. И людской вихрь.

Люди обезумели. Мчались, опрокидывали столы с посудой, стулья, скамьи, падали. Мужчины прыгали через

нарядных, лежащих на земле дам. В одну секунду смели казачьи разъезды у бульвара. Забивались в ворота, прижимались лицом к стенам домов.

Каким-то чудом я разыскал Григория Васильича. Он тяжело дышал, вытирался, плевал.

– Сбили меня с ног. Через меня бежали. Ну, и публичка!..

– Неужели – «Потемкин»? – спросил я. – Почему он вдруг...

– Да не «Потемкин» вовсе. Это они бомбу бросили в казаков. Двух в крохи пирожные разнесло, офицеров ранило. Да вон-вон... глядите!

Тревожно трубила и мигала красным фонарем каретка скорой помощи. Остановилась возле аптеки. Что-то вынесли на носилках.

У яркого окна с зелеными и красными бутылками – сгрудилась толпа, с разбуженным, жадным любопытством к крови. Подымались на цыпочки:

– Гля-кость, шея-то, шея-то вся...

– А волосья-то слиплись... Ах ты... а?

Стукнул, сломался где-то ружейный залп. Толпа плеснулась к бульвару. Там стеной стояли тяжкие темные крупы лошадей, казаки никого не пускали.

– Разойдись! Разойдись! – уже не кричал, а хрипел растерянный околоточный.

Но никто не уходил. Все пристально ждали чего-то. Какие-то люди молча стояли под воротами, не двигаясь. Собирались на перекрестках в темные кучи и ждали.

И оно – пришло: встало внизу, заколебалось дымным красным заревом.

– Жажгли, жажгли!

– Карантинная... Полыхает-то, а?

– Карантинная... Хороша Карантинная! Новый мол это.

Невидимые в темноте – говорили радостными, возбужденными голосами. Только этого будто и ждали.

– Слушайте, пойдём на Польский. Может, там нас и пустят вниз, – сказал Григорий Васильич.

На Польском спуске было очень тихо, далеко. На ступенях, в самом низу, сидели солдаты, а выше их, амфитеатром, устроились зрители. В глазах у всех горел красный отблеск; молча смотрели.

Ружейные залпы теперь слышались чаще. Горели пакгаузы и на Новом молу, и в Арбузной гавани, и в Таможенной. Приземистым, плотным пламенем занялись склады каменного угля. Высокой свечкой к небу стояла, вся в огне, деревянная башня Яхт-Клуба.

В порту медными отчаянными голосами кричали поезда и пароходы. Грохотали, втягивались якоря: это отчаливали счастливцы, не потушившие котлов. Суда, пришвартованные к набережной, уже начали загораться: сначала шлюпки, потом палубы, потом мачты. Смотришь – уже скрючивается, извивается на огне красное каленое железо.

Освещенный сзади красным светом солдат с ружьем поднимался по ступенькам. Запыхался, остановился перед кем-то.

– Ну, что? – слышен голос. Должно быть, офицер.

– Страсть, ваш-бродие! Там они зажгли с сахаром который склад. Сахар-то жидка-ай стал, потек. А он-то, пьяный вдрызг, ваш-бродие, на крыше стоял, да как оттедова сверзится – в сахар-то прямо. Благим матом орет. Полезли за ним – тоже пьяные, и тоже в сахар попали, ну и страсть! Ды стреляют, ды стреляют...

Привороженные к огню, молча смотревшие люди вдруг проснулись, зашевелились, стали вставать, уходить. Останавливались, прислушивались, где залпы, чтобы не идти в ту сторону.

– А ведь и нам бы пора домой, на пароход, – сказал я Григорию Васильичу. – А то позже не пройдем.

– Да и теперь не пройдем, – равнодушно ответил он. – Ну, все равно – попытаем.

Солдаты нас пропустили. Мы сошли вниз – и сразу окунулись в сплошную черноту. Фонари не горели, светило только зарево, распухая и опадая на стенах.

Темные, незнакомые улицы, повороты. Пустые, покинутые дома. Издали – гул и треск. На тротуарах – темные, недвижимые мешки: пьяные – или мертвые?

Мы подошли к путям. Слома голову мчались товарные поезда: спасали, что можно. На каком-то перекрестке остановилась карета скорой помощи: подбирали человека с отрезанными поездом ногами, он бормотал что-то веселым, пьяным, заплетающимся языком.

Возле Нового мола было совсем светло. Пылало все: даже самая набережная – деревянная, осмоленная. Даже море, куда вылиты были сотни бочек керосина и спирта, – пылало у берега синим огнем.

Пьяные огнем и вином, обезумевшие люди надрывались – перекричать рев пламени. Красные отблески прыгали на них – или это они плясали вокруг огня дикий танец, они, которым показалось, что сегодня им можно.

Жизнь здесь стоила грош. Идти тут было жутко; мы поднялись наверх, на эстакаду.

Отсюда, как на ладони, виден был – весь в пламени – порт. И море: спокойное, равнодушное зеркало, покрытое призрачным, колеблющимся отраженным огнем.

Подходили уже к концу эстакады – как вдруг тот конец ее, где нас ждал спасительный спуск к пароходу, загорелся. Никогда я не видал Григория Васильича таким бледным, как сейчас.

Возвращаться было немыслимо. Здесь где-то есть трап, чтобы спуститься вниз, – должен быть! Но где?

Метались. Может быть, двадцать раз пробежали мимо трапа. Огонь все ближе. Я споткнулся о крышку, упал: под руками был трап.

Спустились вниз. Совсем близко, следом за нами – жгли, ухали, кричали. Но мы были уже в гавани, где стоял наш пароход, – сейчас мы будем на пароходе, сейчас мы его увидим: вот только обогнуть этот пакгауз...

За пакгаузом парохода – не было: он оттянулся от берега и стал на якорь в полуверсте.

Мы охрипли от крика. В вылитой наземь нефти намочили носовые платки и зажгли их. Чудом каким-то увидели нас, спустили шлюпку. Мы на пароходе.

Все полыхало кругом. Говорить... говорить нельзя было: только слушать, слушать, слушать...

Залпов теперь нет: теперь – сплошной, не перестающий треск выстрелов. И должно быть, у всех – как эхо – эта внутренняя дрожь. Нет, не от ружейной стрельбы, а от пулеметов: от этого сухого, бездушного, страшного своею машинностью гороха. С полуночи – пулеметы не переставали.

Где-то далеко стоял броненосец и синевато-белыми ножами прожектора резал берег, воду, суда.

Все молчали, слушали. На берегу вплетались в выстрелы длинные стоны – вот уж близко совсем. Матрос влез на мачту, говорил сверху:

– Все отсюда виднехонько, все до капли. Во-во-во, солдаты на них идут, штыками их... Бра-атцы мои!

Неохотное, разрозненное ура. Как сломанные, сухие хворостинки – выстрелы револьверов, потом сверху, с берега, – винтовочный залп...

Пули жалобно пели высоко, в мачтах. Потом одна, другая шлепнулась в шлюпку на той палубе, где мы сидели. Нужно было отсюда уходить вниз.

Динамо у нас не работало. В кают-компании тускло качались масляные лампы. Сидели все молча, без конца слушали. Только часам к четырем, к рассвету, стали затихать выстрелы, и мы разошлись по каютам.

Утро. В жемчугах облачное небо. Весь порт курится, белеет дымком. Все какое-то хмельное, плывущее, ненастоящее.

От берега отчаливает шлюпка и правит на нас. Кто? Да он, конечно – он, наш седобородый старый механик.

Взобрался по трапу, поглаживает длинную, как у Моисея-пророка, бороду:

– Еле-еле пробрался к вам. Ник-кого не пропускают – меня уж так только, по знакомству...

Капитан наш, толстый братушка. Лука Петрович, – побагровел, начал кипятиться:

– Та если менэ на берег нужно? Чэрт бы их взял...

Механик ехидно смеется.

– Что ж делать! Меня пустили – а вас вот не пустят. Военное положение, голубчик, военное. Да вы в бинокль поглядите-ка, поглядите на берег.

Смотрим по очереди в бинокль. Солдаты по всему берегу, куда ни взглянешь.

Механик доволен: ну то-то же.

– А ну-ка теперь вот сюда. Вагоны, платформы эти видите? – вон-вон!

Ну, видим. Ну, что ж такое? Везут что-то, прикрытое рогожами.

– Хм, что-то... А знаете – что?

Он шепчет нам на ухо. И бинокль почему-то дрожит в руках, и кажется, что из-под рогожи видны руки, ноги...

А механик кому-то сзади:

– А их ведь теперь уж три стало.

– Кого – их?

– Да судов-то, которые с «Потемкиным». Ночью «Веха» пришла. Ну, и там то же самое: офицеров своих тоже перевязали, свезли на «Потемкина» и рядом с ним якорь бросили.

Смотрим – и верно: три их, в кильватере стоят. Так, значит, еще не все кончено – еще может быть...

Пыхтит казенный портовый пароходик, пристает к нам. На нашу палубу влезает быстроглазый маленький капитан:

– Ради Бога, Лука Петрович, – уходите скорей. Всем судам выбираться из порта велено – скорее как можно!

– А что?

– А то...

Быстроглазый капитан говорит шепотом – но так, что всем слышно:

– Эскадра сюда идет. Приказано «Потемкина» либо живьем взять, либо ко дну пустить. Под великим секретом вам говорю!

Лука Петрович выругался по-своему, по-братушкинскому:

– Всю команду – на палубу. Ччэрт бы их...

Матросов половины не было, пропали куда-то. Лука Петрович пыхтел, как насос:

– Вот... Да... Уходить нам вэлено есть из порта. Разумеетэ?

Матросы переминались, переглядывались. Потом вышел один – бойкий, с серьгой в ухе:

– Никак нам нельзя. Лука Петрович. Комитет приказал бастовать.

– Какой такой камитэт? А вы кому нанимались? Камитэту? Чэрт бы вас побрал! Та я вас всех...

Кричит, топает. А матросы – как на своем уперлись: «комитет не приказал», – так и ни с места.

Плюнул Лука Петрович. Пошептался со старшим помощником. Помощника повез на берег старший механик, взялся через кордоны провести.

Через час – через полтора помощник вернулся. Опять матросов собрали, выстроили. Лука Петрович сконфуженно объявил:

– Ну, вот, – говорит, – этот самый ваш... как его... камитэт, да... Камитэт дал есть нам разрешение уходить – вот.

И сунул им бумажку. Матросы стали на работу. Лука Петрович ходил по палубе и ворчал: разве это скоро – пар поднять? Глядишь, часов восемь, а то и все десять. А те-то, которые на «Потемкина», как раз и придут – и пойдет у них баталия. А мы и будем в чужом пиру похмелье хлебать?

Пароходы из порта все уходят и уходят один за другим. Опять подкатил к нам казенный пароходик.

– Ну, что ж вы, Лука Петрович? Торопитесь! Пар-то есть?

– А-а, пар... ч-чэрт бы их... Вы возьмите нас на буксир, ну хоть – до брейкватера...

– Ладно. Давайте конец.

Готово. Плыдем. Лука Петрович доволен. Мимо обгорелых набережных, мимо обугленных зданий...

Идем – и все ближе к «Потемкину». Вот уже орудия и белые башни. На капитанском мостике – два матроса. На корме столпилась целая куча белых голландок – должно быть, митинг. Вон-вон, один взгромоздился, говорит, развеваются ленты бескозырки. Мы не отрываемся от бинокля. К Луке Петровичу подошел бойкий матрос с серьгой в ухе.

– Господин капитан!

– Атстань. После... – Лука Петрович тоже с биноклем.

– Лука Петрович, салютовать им прикажете?

У Луки Петровича так руки и повисли. Освирепел, трет затылок.

– Ах, ч-чэрт их...

Действительно – загвоздка: андреевскому флагу он обязан салютовать – своим кормовым. А на «Потемкине» – вон, все еще развевается андреевский с синим крестом флаг... Но с другой стороны – ведь это бунтовщики! А с третьей стороны: не отсалютовать им – возьмут да и пустят тебе в бок шестидюймовый снаряд.

Лука Петрович свирепо накидывается на матроса:

– Да ты что, бэз головы? Им, таким-сяким, салютовать?! Ступай на свое место!

Матрос с серьгой в ухе ушел. Мы идем – и все ближе «Потемкин», и все шире открываются черные рты орудий.

Лука Петрович пыхтит, как насос, не отрывает от них глаз. Встает, идет на корму. Мы за ним.

У кормового флага. Матрос с серьгой в ухе стоит спокойный: его дело было спросить, а уж там, что потом будет... Лука Петрович возле него.

Поравнялись с «Потемкиным». Еще секунда... Лука Петрович свирепо кричит матросу:

– Салютуй им, мэрзавцам! С-салютуй, так их растак!

И отсалютовали. А «Потемкин» – даже внимания не обратил, не ответил, не до того было. Уж и ругался же Лука Петрович...

Нас дотащили до брейкватера. Быстроглазый казенный капитан на прощанье опять влез к нам и рассказывал:

– ...Понимаете: грозятся стрелять, что тут попишешь? Разрешил им генерал хоронить сегодня матроса их убитого и дал честное слово, что не арестует на похоронах никого – они по всему городу пройдут. «А если, – говорят, – вы арестуете, мы стрелять по городу будем». Каково? А вдруг генерал наш арестует, не утерпит?

Мы кончали обедать, когда в кают-компанию, как бешеный, влетел стюарт Лаврентий. Раскосые его глаза совсем убежали куда-то, – одни белки:

– «Потемкин» пошел! Вот ей-Богу, пошел!

Бросили всё – вмиг были на палубе. Медленный, давящий двигался броненосец. В кильватере шли миноноска и «Веха».

– А знаете, – сказал старший помощник, – ведь теперь как раз они своего хоронят, шесть часов...

Армянское смуглое помощниково лицо не побледнело, а как-то даже пооливковело.

«Потемкин» остановился – бортом к Одессе. Невольно все примерили глазом: да, если он возьмет полее бульвара, то как раз через наши головы...

На борту броненосца мигнул веселый взблеск, пушистый, круглый дымок. И грохот.

Оливковый старший помощник крестился маленькими, чуть заметными крестиками. Лука Петрович пыхтел.

Еще огонек, еще. Два круглых, твердых удара. Долгая пауза.

На том конце, где столпилась наша команда, шутки и смех.

– Это он поминки по ём правит.

– Добрые-то люди обедом поминают...

– Это кого же ему обедом-то угощать? Энтих, что ли?

Вода тихая, светлая. На всех парах, как раз на линии огня броненосца, летят два парохода. Уйдут, не уйдут?

Стеклянно, чисто плывет по зеркалу рейда музыка. Это – с «Потемкина». Потом громко трубит валторна, одна.

– Атаку играют...

– Атаку... Вот теперь, братцы, пойдет!

Багровый весь, Лука Петрович зовет механика, брызжет слюной.

– Что ж у вас пара нэт? Ч-чэрт вас...

Хотя знает отлично, что пара и не может еще быть. Но нужно же что-нибудь делать? Нет сил так ждать...

На броненосце ясно видный – взвился красный боевой флаг. Блеснул огонек, знакомый удар выстрела, и что-то новое: гудит, воет воздух.

Старший помощник пригибается. Чей-то голос сзади:

– Вот это вот всерьез: боевой снаряд.

Секунда – и трах-трах, – в бинокль ясно видны далекие дымки разрыва, где-то среди города.

И опять играет труба. Красный флаг на мачте «Потемкина» медленно падает вниз. Броненосец долго стоит, белый, безмолвный.

Отпустило. Заговорили, заворочались, начали жить.

– Флаг спустил: стало быть, конец...

– Конец... вот сказал-то! Только что начали – еще такое будет...

Что бы ни было – это страшно кому-нибудь другому, но не им, не нашим матросам. У них на баке появились откуда-то фунтики с вишнями. Бойко сплевывали косточки за борт, спорили, где разорвался снаряд, считали, сколько орудий у потемкинского флота – и сколько у «тех».

Два часа тихого отдыха. Бегут по воде первые тени. На судах отбивают вечерние склянки. Два удара в судо-

вой колокол – и едва замолкает последний, потемкинская миноноска снимается с якоря и неслышно скользит по стеклу воды. Сначала медленно, потом все быстрее.

Миноноска причаливает к одному, к другому, к третьему коммерческому пароходу. Какие-то короткие переговоры и приказания, и миноноска уходит дальше.

– Это он во хлот свой пароходы наши забирает. И нас вот, как пить дать, заберет, вот сейчас... ей-Богу, братцы!

Это говорит бойкий матрос с серьгой в ухе. Кругом него бросили есть вишни, о чем-то перешептываются, поглядывают искоса на капитана, на помощника.

Старший помощник опять зеленеет, Лука Петрович усиленно трет затылок и сопит.

Матрос с серьгой в ухе продолжает:

– И очень даже просто. Придут сюда те-то, из Севастополя, его брать – а он нас всех, коммерческих, сзади расставит: поди-ка его укуси. Как по ём стрелять-то будут? Никак невозможно. Потому в нас обязательно попанут! Он, Потемкин-то, хи-ит-рый – он, брат...

Лука Петрович бормочет:

– Бр-родяги, р-разбойники...

А миноноска от соседнего судна уж правит на нас. Лука Петрович мгновенно куда-то исчезает. Вся команда столпилась у борта.

– Эй, на пароходе! Капитан у вас где, на судне? – кричит матрос с капитанского мостика миноноски. Голос спокойный, зычный.

Метнулись искать Луку Петровича, насили-насили откопали где-то. Он – в парадном капитанском сюртуке, с золотыми нашивками на рукавах. Старается втянуть свое пузо и стать незаметней, поменьше, говорит нежным голосом.

– Здравствуйтэ, братцы. Что угодно?

Матрос на мостике миноноски снимает фуражку и говорит звучно, как будто читая:

– С броненосца «Князь Потемкин Таврический» передано: судам стоять на якоре и не сумлеваться, опасности никакой не будет.

«...Как, а насчет того, чтобы забрать в свой флот? Значит, ничего этого...»

И вдруг лицо у Луки Петровича расцветает, он машет фуражкой и кричит бравым голосом:

– Спасибо вам, братцы! Ур-р-ра-а! – спохватывается и захлопывает рот.

С миноноски машут нам бескозырками, медленно скользят к следующему пароходу.

«Стоять на якоре и не сумлеваться...» И, «не сумлеваясь», спокойно, без слов, долго сидим на палубе.

Совсем темно. Ночь безлунная, ласковая, как черный лохматый зверь.

Всю ночь шарят в черноте холодные, яркие ножи «Потемкина». Всю ночь ходит без огней миноноска – на разведки. Там явно чего-то ждут, готовятся.

...Какие-то сны с пламенем, с криками, выстрелами, какие-то руки хватают и не хотят отпустить.

За плечо теребит беспощадно Лаврентий:

– Вставайте, вставайте! Флот уж близко совсем. Сейчас начнут – вот ей-Богу!

Еще не уставшее от солнца утро. Темные полосы судов на горизонте. В бинокль ясно видно: три броненосца и миноноски. Идут сюда, на «Потемкина», развернутым фронтом.

Лука Петрович бегаёт по палубе, брызжет слюной, кричит на механика:

– Масло на топки, масло! Жгите – только скорэй! Скорэй – ч-чэрт вас...

Зашевелился и «Потемкин». Громыкает якорями. Какие-то медленные эволюции – и прямо на эскадру. За ним его миноноска.

Механик подымается на палубу и докладывает:

– Лука Петрович, пар уже готов.

– Слава тэ, Господи! Ну, полный ход: в Очаков.

Наша старая машина охает, скрипят мачты, на палубе что-то дребезжит, гоним вовсю. Впереди севастопольская эскадра, сзади «Потемкин», а мы – между ними. Успеем проскочить, пока они не откроют огня, – или не успеем?

Эскадра флагами сигнализирует что-то «Потемкину». «Потемкин» поднимает красный боевой флаг и дает полный ход – за ним миноноска. Ну, сейчас...

– Ходу, ходу... ч-чэрт! – кричит Лука Петрович в машину.

Но кочегары и так уже выбиваются из сил, котлы грозно гудят, машина охает.

И вдруг видим, что наступающая на «Потемкина» эскадра из трех броненосцев и миноносцев – медленно поворачивается и уходит назад, без единого выстрела.

– Вот так здорово! Вот так фунт... Урра! – орет бойкий матрос с серьгой.

– Ура-а! – подхватывают матросы.

– Урр... – открывает рот Лука Петрович – и, спохватившись, захлопывает. Надев на себя сердитое лицо, он кричит вниз, команде: – Ну, чего, чего? Нэ орать!

Все меньше и прозрачней белый корпус «Потемкина»: он идет обратно в Одессу, мы уходим от Одессы.

Очаков. Желтовато-белые домики на высоком берегу. Вдали батареи. Очаков – на осадном положении, на берег сойти нельзя. Солнце, пристальное, ошалелое, поливает нас сверху. Целый день погромыхивают, палят очаковские пушки – упражняются на всякий случай: а вдруг вздумает «Потемкин» сюда нагрянуть? Кто знает?

Ночь еще тише, еще теплей, чем в Одессе. Там, далеко, на горизонте – прыгают холодные лучи прожектора на «Потемкине»: их видно и здесь.

Что там – в Одессе? Гадаем, томимся. Вспоминаем об этих трех днях, прожитых рядом с «Потемкиным».

– ...Впрочем, если бы стреляли – так здесь было бы слышно, – говорит старший помощник.

Здесь он разговорчив и весел: на него хорошо действуют очаковские батареи.

На следующий день к вечеру пришло еще несколько убежавших из Одессы пароходов. Мы снарядили шлюпку, поехали за новостями.

– Опять, – рассказывали, – эскадра приходила. Фронтом наступали, а «Потемкин» так ловко, как-то промеж их влез, что с обоих бортов по ним мог палить. Ушли. А с «Потемкиным» еще новый остался – «Георгий Победоносец».

Еще две ночи на горизонте – далекое белое сияние прожектора с «Потемкина». На третью ночь горизонт был холоден и пуст.

Утром судно привезло из Одессы новую весть: «Потемкин» ушел.

– Куда ушел?

– Неизвестно.

Неизвестно: может быть, и в Очаков. Да, да – отчего же не в Очаков. Кто-то рассказывал: в Одессе-де слышал еще – что «Потемкин» обязательно Очаков разнести хотел.

Батареи на берегу заработали еще усерднее. Вечером выслали на рейд сторожевые суда. Но и эта ночь – ленивая и тихая, как вчера. Никого.

Утро. Душистый с берега ветерок с запахом степных трав. Веселая стая белых бабочек-парусов: вышли рыбки в море.

Прыгает, ухаёт на волнах шлюпка. Двое гребцов в рубахах. Пристают к нам.

– Телеграмма! Телеграмма из Одессы...

У нас столпились, слушают, ждут.

– «Потемкин» ушел Румынию. Одессе спокойно».

– В Румы-ынию! – протянул разочарованно бойкий матрос с серьгой в ухе. Закурил трубочку, сплюнул.



СТУДЕНЧЕСКИЙ СЫНОК

- Когда я буду большим, папа, я буду извозчиком...
И у меня будет много, много лошадей...
- Вечно ты глупости говоришь, милый...
- Какие глупости? Ты и сам будешь доволен, папа:
когда ты умрешь, я сам отвезу тебя на кладбище!

<1914>



АЛАТЫРЬ

1. От грибов принаследно

На том самом месте, где раньше грибы несчетно сидели кругом алатыря-камня, – тут нынче город осел.

И у жителей тех, видимо, дело – от грибов принаследно, пошло плодородие прямо буйное. Крестили ребят оптом, дюжинами. Проезжая осталась только одна улица: вышел указ – по прочим не ездить, не подавить бы младенцев, в изобилии ползающих по травке.

Так бы и впредь под благословением Божиим городу жить, да вышло такое дело: царь турецкий войною пошел. Народу побили видимо-невидимо. Приехал тут из губернии начальник и строго-настрого приказал: через год – была чтоб тыща младенцев, и больше никаких. Потому – война.

Алатырцы не выдали: поставили тыщу, да с таким еще. А начальник-то – возьми да и похвали:

– Богатыри! Исполать, мол, вам.

Ну, с глазу, конечно, и съел. Перестали в Алатыре мужние жены детей приносить. А еще того хуже: как вот рыба в реке переводится – так перевелись в Алатыре все женихи. И пошло, и пошло неплодие.

Срам обуял неслыханный: вековуши – в Алатыре, а? Сроду того не бывало. И не то чтобы как, а и в самых первых домах: у протопопы соборного – раз, у Родивона Родивоныча у инспектора – два, у исправника... Уж на что исправник сам, и у него на руках – Глафира.

А ведь только поглядеть на Глафиру: ростом высошенька, волос русый, глаз сверкучий, вся наливная – как спелая рожь. На рояле Глафира может: Касту Диву, Дунайские волны. И такая, поди ж ты, немужней осталась, не нынче завтра начнет осыпаться.

Целый день в исправническом доме кукушкой кукует гулко тоска. А чуть засинеет вечер – Глафира к окну: напротив, через дорогу, номера для приезжающих купца Агаркова – не загорится ли там огонек?

Будто – загорелся. Горбоносый, сел кто-то к столу писать. Завтра утром, чуть свет, к Глафире в окошко постучит половой из номеров: «От барина – вам письмо...»

И жарко живет Глафира всю ночь. Утром – нету письма. Ну, что ж, стало быть, завтра принесут.

Долго ли, коротко ли, но только в одно воскресное утро – из номеров половой и впрямь появился с письмом. Запершись в светелке своей, разорвала Глафира конверт:

– «Милостивая государыня. Зная вашу красоту и любезность, осмелюсь предложить вам...»

Руки затряслись, буквы запрыгали от радости.

– «...наилучшую рисовую пудру, а также спермацетовые личные утиральники...»

В тот день Глафира к обеду вниз не сошла: заперлась в своей светелке, просидела весь день. Вечером в столовой уставилась – и битый час, как пришитая, глядела в клетку с кенарем и с кенаркой (выписал ей исправник из Москвы специально). Глядела-глядела, да вдруг как схватит клетку-то эту да об пол ка-ак шваркнет: от кенаря с кенаркой только мокро осталось. А уж когда ей исправник слово сказал, что, мол, этак нельзя с подарками, она так раскричалась, растопалась – еле исправник ноги унес.

Исправник с исправничихой держали совет: что такое с Глафирой? С чего девка сбесилась?

– Эка штука, пудры ей предложили. Разве это инцидент? – удивлялся исправник. И все свои брюки подтягивал, все подтягивал: это всегда было у исправника знаком душевного волнения.

А брюки носил исправник на вате стеганные: простудлив был очень, сложения слабого – замухрыш, одно слово. Зато уж исправничиха – женщина росту серьезного, бурудастая, грудастая, а глас у ней – трубный. Как крикнет на мужа трубным-то гласом:

– Да ты что там мямлишь? Инцидент, инцидент... Какой ты есть градоначальник, ежели как дочь пристроить, не изобретешь?

Подумал-подумал Иван Макарыч – и, видно, придумал что-то: наверх, на исправничиху, поглядел так гордо.

– Я-то? Не изобрету? Очень даже просто: надо Глафирочку на службу определить. С ритуальной, так сказать, целью. Поняла?

Почесала исправничиха в голове спицей.

– А и верно, глядишь. Ума ты палата, Иван Макарыч.

Сказано – сделано. Ходит Глафира на телеграф, год и другой. А к ритуальной цели – ни на шаг. Хоть бы так, для виду, кто приволокнулся: никого.

Тут Иван Макарыч рукой махнул на Глафиру, на все – и в кабинет заперся. Уж если по правде – так только в кабинете у Ивана Макарыча и была настоящая жизнь. Незабвенные часы тут проводил Иван Макарыч, здесь возникали все великие и многочисленные его изобретения: состав для полнейшей замены дров в безлесных местах; тайна приготавливать не уступающий настоящему искусственный мрамор; особый способ домашним путем производить отменные стекла для зрительных труб. И наконец, это многообещающее открытие последних дней: секрет печь хлебы не на дрожжах, как все, а на помете голубином, отчего хлебы будут вкуснейшие и дешевые гораздо. В какой-то книжке старинной откопал исправник этот секрет – и взялся за дело.

Иван Макарыч так полагал: делать – так уж делать на широкую руку, а не то чтобы там. Задешево, по случаю, приобрел восемнадцать пудов муки. А там – пекаря свои, даровые: арестанты из острога. Голубиный – не покупать этот самый...

– Пеки, ребята, сыпь в мою голову!

Пекли калачи, пекли. Таскали арестанты, таскали. Сперва в кабинет. Кабинет завалили, вылезли в зал, под рояль, на рояль. А кругом калачей Иван Макарыч гоголем ходит.

В ту пору исправничиха на богомолье была, у Стефана Болящего, у прозорливца. Вернулась, калачи увидала, да как взъестся трубным-то гласом:

– Да Господи-батюшко! Придумал ведь тоже: на голубином! Весь дом напоганил теперь...

– Да ты – на, отведай сперва, а потом толкуй.

– Чтобы я – да этакую погань? Да избави меня Бог, я еще в своем уме. И завтра же чтоб было чисто, хоть за окно. А то... знаешь?

Знал Иван Макарыч. Загорюнился, жалко нещечко-то свое кидать вон. Эх, как бы это... Подтянул исправник свои ватные брюки раз и другой.

– Бба-а! А Потифориха-то? А ну, Кошкарев, доставь.

Торговала на базаре Потифорна, псалтырь читала, всякую боль заговаривала: от грызи, от срыву, от свербежа, от сглазу, от всего облегчить могла – на все руки. На отшибе, в завалящем проулке, разыскали Потифорну и мигом представили перед исправника. Отмахнула Потифорна поясной поклон: зачем, мол, понадобилась?

– Да что, Потифорна, с докукой к тебе. Калачи, вот видишь? Возьмись-ка на базаре, продай, а уж я...

– И-и, отец, нам ли тебе не служить? Только молви.

Петр-Павел рябинник минул, пошли уж студеные утренники. Взяла с собой на базар Потифорна с угольем теплым горшочек и, сидя на том горшочке, торговала три пятницы калачом.

– Э-эх, калачи хороши – для спасения души, поосненькие!

Рядом слепец, с деревянной баклушей, свою присказку ведет:

– Пр-равославные христианушки, от роду-рода-родов, от веку-века-веков, солнца кра-асного...

А зипун – чередом идет, кто с новой дугой, кто с лыком, кто с поросенком – дешевый калач закупать.

Через три пятницы пришла Потифорна к исправнику.

– Так, мол, и так, расторговалась вашей милости калача, ни одного не осталось.

Иван Макарыч уж вот как доволен: не для-ради денег, а для-ради чести своей пред исправничихой.

– Ну, Потифорна, проси, чего хочешь, так ты меня ублажила.

– Уж коли милость твоя такая, так нельзя ли, отец, Костюньку мово в люди бы вывести? В чиновники то есть. Хороший он малый, да только вот...

– Что – только?

– К сочинениям пристрастен. Сочинения, батюшка, все сочиняет, и день – и ночь, и сидит – и сидит, уж такое мне горе. Да вот, глянь-ка, милостивец.

Покопалась за пазухой, вытащила Потифорна прошение, сочиненное Костюней на случай неизвестного благодетеля.

– Мм... да, скоропись хорошая, – поглядел исправник.

«Прощение. Я обладаю естественной любознательностью ко всему ученому миру, в связи чего решил подготовить себя к литературной службе. И просьба к помощи, в виду неимения аванса прямо посещать училищную скамью.

Моя краткая биография из жизни: я воспитан в кругу нежных забот единственной матери, но не могу отплатить ей тем же, и хотя бы к старости лет ей пожить развязно.

Вот прискорбный факт покинутых сирот. Подпись: Константин Едыткин».

Походил исправник, подумал. Прощение – ничего, забористое, надо бы малого устроить, как-нибудь надо бы...

– Ну, а что, например, ежели мы его на телеграфиста подготовим, а? Глафира моя – она ведь по этой части.

– На телеграфиста? На чиновника? – затряслась Потифорна.

– Ну да, на чино...

И кончить исправник слова не успел, как Потифорна в ноги – кувыр. Только и видать: пучочек седых волос на затылке да куча старушечьего темного платья. Искусница Потифорна – поклоны бить.

2. Кошка Милка исправницкая

Поутру на Покров нашлась кошка Милка исправницкая. Теперь лежала белая Милка в Глафириной комнатке на антресолях, лежала – и молоком кормила своих четырех младенцев. Мурлыкала, жмурилась, вся извивалась белая Милка, сладко терзаемая четверкой розовых ртов.

Так это пронзило Глафиру, так затомилась, вся не целованная, так запросила грудь касаний нежного рта, что хоть на стену лезь. А стены – гладкие, нет ни сучка, ухватиться не за что.

И вдруг нашла, ухватилась: вспомнила – толковал вчера исправник про какого-то Костю. Господи, может, Костя этот самый... Загорелось – сейчас же, сию же минуту туда поехать.

Для праздника, для Покрова, последний раз грело солнце. В завалящем проулке мирно купались куры в кучах назолу. Потифорна пред окошком читала акафист Пресвятой Богородице.

И вот – неслыханное дело – загремел тарантас в проулке. Ахнули куры, брызнули из-под копыт, акафист полетел на пол со страху.

«Батюшки, барышня исправникова! А дом не прибрat, а Коська – обормот чистый...» – кинулась Потифорна к Косте с новым пинжаком.

– Да руки-то, оголть, тьфу... Руки-то суй скорей!

И обернувшись к двери – соловьем тотчас же:

– Ма-атушка-барышня! Радость-то нам какая нынче для Покрова... Костюня, да кланяйся же!

Длинный, как скворешня, Костя нескладно поклонился, на жалостно-тонкой шее болтнулась большая голова. Был он похож на только что вынутого из яйца цыпленка: такие же они бывают длинношеие, все к костям прилипло, и качаются.

«Нет, не он...» – в тоске еще пущей заметалась Глафира около гладких стен. Мелькало в глазах засиженное мухами, как будто небритое море. Мелькал в глазах верхом на белой лошади генерал, разрезанный пополам, как яблоко.

Потифорна совала Глафире в руки какую-то баночку.

– Кофий это, барышня, кофий. Вот сейчас заварю. Пять лет берегла для гостя дорогого, вот погляди-ка сама, какой кофий-то... В Воронеже покупала, где Митрофан-ий-угодник.

Взяла Глафира баночку. Был на баночке белый лев, похожий на кошку Милку, и какая-то надпись. Невидящими глазами читала Глафира надпись. И раз, и другой, и еще прочитала вслух:

– «Сей кофий, по приятности, подобен ливанскому. Но может быть употребляем, как настоящий».

И так это Глафире показалось нестерпимо, жигуче смешно, что закатилась – засмеялась – заихала – полились слезы, и сквозь слезы кричала:

– Кофий, л-ле... лев... Кошка Милка... Милка, Милка моя!

Потифорна тряслась, разливала воду из стакана Глафире на колени. А Костя во всю ширь раскрыл голубые глаза и не чуял, что выкатилась слезинка, повисла светлой каплей на кончике носа. Отдал – все бы отдал теперь – только бы она *перестала надрываться*, только бы унять ее слезы.

В своем сундучке, под замком, уж два года Костя целомудренно берег тетрадку: ни один живой глаз ее не видал. Была тетрадка озаглавлена: «Сочинения Константина Едыткина, то есть Мои».

И теперь пришел час: без малейших колебаний – так было надо – Костя пошел, вынул тетрадку и положил на колени Глафире... Только бы перестала, только бы утешилась!

И правда: увидала Глафира заглавие – улыбнулась.

Заниматься к барышне исправниковой Костя ходил по вечерам – с шести. У Потифорны часы – Бог их знает: с той поры, как для лучшего ходу был привязан к гире старый утюг, – что-то стали часы лукавить. И так выходило, что Костя до срока забирался задолго.

– Барышня кушают чай, погоди мало-мале.

В темной прихожей садился Костя на стул. Шепотком повторял про себя урок. Кухарка тащила мимо Кости в кухню ведерный самовар. Темным слоном влезала в прихожую исправничиха. Шарила шубейку на стене – в сени надо выйти, – во тьме руками натыкалась на Костю.

– Тьфу-тьфу-тьфу! Сгинь, окаянный, сгинь! Да это ты! Ух, провались ты совсем... Ну иди уж, иди, Фирочка чай отпила.

Костя светлел и лез наверх, в Глафирину светелку.

– Ну? – говорила Глафира сердито, сидя перед зеркалом, к Косте спиной.

Недавно Глафира открыла: стала у ней борода расти, может, только ей одной и заметные золотые волоски. Плохой это знак: немножко еще, может, год, может, месяц, – и начнут вянуть груди, вся начнет осыпаться, и никогда не узнает того, что знала счастливая кошка Милка.

С сердцем Глафира выстригала по одному волоску, а Костя тачал – от сих и до сих. Все уроки он знал наизуток, зубрил день и ночь – только чтоб она кивнула головой: хорошо, мол.

И все же один раз было: Костя не мог ответить урока, стоял, как немырь, с покорной улыбкой. В тот раз Глафира торопилась в гости. В одном лифе, сидя перед зеркалом, закладывала старинную прическу: венком на голове – круг русой косы. Держала шпильки в зубах – с сердцем проговорила сквозь шпильки:

– Вше равно, шкажите, пушть идет, отвечает. А то некогда будет.

Костя вошел – и свету невзвидел. Зажмурил глаза и тотчас же не стерпел – открыл. Опять: кружева и розово-нежное что-то, такое, что... Сердце зазябло у Кости, зануло, забыл все слова.

– Некогда тут, а он как... – оглянулась Глафира, хотела прикрикнуть и – рассмеялась. Поняла. – Подержите мне, Костя, зеркало. Так. А теперъ вот сюда. Так. Ну, спасибо, довольно. Довольно же, ну?

Зеркало ходуном ходило. Костя молчал, а рот был растворен все той же, его покорной от века, улыбкой.

Назначили Косте экзамен на ране Успенья. Жарынь стояла. Мух развелось невесть сколько. Старушку одну – не владела она руками – так изжиляли, что ума решилась старушка.

Трудно было заниматься Косте. Весь иссиделся – как вот, бывает, иссидится насадка: выйдет из лукошка – и шагу ступить не может. Веснушками Костя зацвел, голова стала еще больше, обрезался озябший носик.

– Что, молодой человек, похудал? Какая такая заела болезнь? – увидал как-то Костю исправник.

– Эк-экзамен, – покорно улыбнулся Костя.

– Э-э, вот оно что! Ну не робей: я сам с почтмейстером потолкую...

Поехал Иван Макарыч к почтмейстеру. Почтмейстер – старикан трухлявый. К новому году выходит в отставку. Из носу сыплет табак – на бумаги, на письма; все уж кличет уменьшительно: очечки, телеграммочка, книжечка

разносненькая. Такого Ивану Макарычу улестить – велико ли дело? И улестил.

Скор и милостив был Косте экзамен. И часу не прошло – вышел Костя светел, что новенький месяц. Вернулся домой – в фуражке с желтым кантом, в новой форменной тужурке.

Увидала Потифорна чиновником Костю – в голос как взвоят да в землю – кувыр:

– Сергей Радонеж... угодники вы мои-и! Да разразите же вы меня-а! Чем я вам теперь отплачу-то за Коську?

3. Князь

Бывает, что хозяйка слишком любезная – в стакан чаю набутит сахару кусков этак пять: инда поперхнешься от сладости. Так вот и дворянин Иван Павлыч: лицо имел приятное, очень приятное, приятности – все пять кусков. Ходил Иван Павлыч в верблюжьей рыжей поддевке, в сапогах высоких, при часах французского золота с толстой цепочкой. И как Иван Павлыч первым всегда все знал, то принимали его алатырцы именитые очень охотно: тем и кормился.

Теперь проживал Иван Павлыч временно (третий месяц) у отца Петра, протопопы соборного. Очень полюбил протопоп Ивана Павлыча. Каждый день после обеда садились они на диван, именуемый Чермное Море.

– Ну, Иван Павлыч, давай, брат, опять поговорим отвлеченно.

Отвлеченно – про диавола, стало быть. По этой части протопоп был мастак. Будучи в академии еще, составил книгу: «О житии и пропитании диаволов». Ту книгу Иван Павлыч усердно прочитал.

– ...А по мне, ваше преподобие, самые благочестивые – болотные черти, потому – семейно живут, неблудно и в муках рожают детей, – заведет Иван Павлыч умильно.

– А-а-а, это хохлики называемые? – обрадуется протопоп, глаза заблестят. – Шу-устрые этакie, знаю, у-ух!.. – И видимо, знает досконально: даже покажет, какого хохлики росту. И пойдет, и пойдет про хохликов: Ивану Павлычу – только слушай.

Нынче Иван Павлыч огорчил протопопа: поговорить отвлеченно не захотел, вот приспичило ему тотчас после обеда к исправнику бежать по какой-то экстренной необходимости.

– Ну, что еще за экстра такая? – поглядел сердито исправник: занимался он в кабинете изобретениями – оторвал его Иван Павлыч.

Дворянин Иван Павлыч в руке держал книжку, вроде паспортной, что ли. Нагнулся к исправникову уху:

– Почтмейстер-то новый... в агарковских номерах...

– Э-э, ну тебя! Это я вчера еще знал.

– Да нет, Иван Макарыч, я не про то. Прописался почтмейстер-то – и представьте... Да что там, вот сами поглядите.

Взял паспорт исправник – обмер: почтмейстер-то новый... князь. Форменный! Князь Вадбольский, женат, разведен, и княгиня проживает в городе Сапожке, при отце своем протоиерее... Хотел исправник спросить что-то, не то про паспорт, откуда князев паспорт достал Иван Павлыч, не то еще что – и не мог от страху.

Ухмыльнулся Иван Павлыч предовольно – и от исправника дальше погнал резвым игрень-конем. Через час все в Алатыре знали про князя-почтмейстера. Вышло волнение великое. Ночь мало кто спал.

«Ежели наш князь разведен и в сам-деле, то ведь... Марьюшка-то наша»... – такие тут вершины мысленные отверзались, что куда уж там спать.

Наутро у почты – длинный черед: вдруг всем загорелось марки покупать. Пронзенный десятками девьих взоров – князь шелохнуться боялся. Шелестел шепот, вился около князя:

– Вид-то благородный какой! Печать-то прикладывает как, а?

– Нет, ты глянь: подбородок-то...

А и верно: в подбородке – вся соль. Так – лицо как лицо. Скуластое, желтое, с зализами лоб, но подбородок...

Очень, конечно, странно – но подбородка у князя нет и в завете: губы, усы, а потом прямо – юрк под галстук, как будто оно так и надо. И давало это князю вид какой-то прищуренный, даже, сказать бы, коварный.

Мясоедом прошел слух: по утрам стал являться князь на базаре с кошелкой. Будто вот просто как все, ходил с кошелкой вокруг капустных вилок, веников из Муром, наваги мороженой. Нет, тут что-то не так...

– Ходил-то ходил. Нет, а ты вот скажи, что он купил на базаре? – добивался исправник.

– Гм, купил? Как будто ничего не купил.

– Вот то-то и оно: ничего... – исправник торжествовал. – Не затем он и ходил, не покупать ходил, а слушать, да. Слушать, понял?

Слушать? Нет, видно, недаром у князя подбородок такой...

Опять без свадеб кончился мясоед. Колеи зажелтели, затлели. Надсаживалось воронье по заборам, теплынь выкликало. Звонила капель. Пожаловала честная масленица в Алатырь.

У исправничихи – полон рот хлопот: завтра князь-почтмейстер к исправнику зван на блины, князя умеючи надо принять. С чем-то князя блины кушают? Неуж, как и мы, грешные, с маслом с топленым, с яйцом, со сметаной, с припекой, с снетком? Нет уж, для верности – надо бы сведущих людей спросить.

– Вот что, Иван Макарыч. Ступай-ка ты к Родивону Родивонычу сейчас и все у него прознай, он человек ведь придворный. Да зови его на блины: разговаривать-то князя кто будет? Да вертайся скорей... а то – знаешь?

Исправнику хуже это горькой редьки – ехать к Родивону Родивонычу. С того самого года, как получил Родивон Родивоныч *портрет* и *собственноручное письмо*, – зазнался так, что житья с ним нет. И все ладит – в соборе чтоб раньше исправника к кресту подскочить. Этакой ведь фуфырь!

Смахивал Родивон Родивоныч на старого кочета, и сноровка такая же: все наскакивал.

– Сметана-на? – на исправника так и наскочил, даже попятился Иван Макарыч. – Про сметану и думать не можете. Фидон: сметана. Исключительно: зернистая икра. А на ужин: бульон, свинья-соус-пикан... и вообще все легкое и французское.

Блины были в четверг. Из гостей был только князь да еще Родивон Родивоныч, инспектор. А то все свои. Константин Захарыч-то? Костя-то? Ну-у, он за гостя нейдет: каждый день шляется – какой уж там гость.

Костя сидел на самом конце стола, где стояли запасные тарелки. Выйдет блин неудачлив – с дырой, пузырем, без румянца – сейчас его Глафира сунет Косте:

– Ешьте, ну? Живо...

Костя брал, чуть касался ее руки, проколотый сладкой болью, – хоронился в тарелку, без счету, всухомятку глотал блины...

Исправник – сидел рядом с князем, погибал: надо было ему с князем разговор начать – и хоть бы одно проклятое навернулось слово! Всех высоких лиц исправник робел, а этот еще и какой-то прищуренный.

Молчал и князь. Все почтительно глядели на особенный его подбородок – и никто не видел растерянных князовых глаз.

...Князь глазами набрел наконец на исправников серебряный погон – и пальцем ткнул радостно:

– А-а у меня вот тоже...

– Ага, да-да-да, так, так, – закивал, засиял исправник.

– ...у брата, то есть. Брат в Москве приставом, четыре тыщи в год, без доходов.

Пауза. Исправник тонул.

– Кстати: я вот, знаете, изобрел из голубинового... – начал – и сейчас же осекся Иван Макарыч, поймав грозный исправничихин взгляд.

– Лучше уж, батюшка, ты – Родивон Родивоныч, князю расскажи, как получил письмо-то собственноручное.

Родивон Родивоныч – хозяйке поклонился придворно.

– Да, собственно, не стоит... Был я на выставке нижегородской. Как человек культурный... Проезд ведь от нас – два рубли двадцать. Хожу, значит, все очень прекрасно, одним словом, ком са. Вдруг – генерал. Косу взяли поглядеть – и по пальчику: чик. Ну, значит, кровь. А я – человек в дороге запасливый, ваше сиясь... Вынул из кармана: не угодно ли, генерал, коллодию? А генерал-то был не простой, а можно сказать – вы-со-кая особа! Да вот, ваше сиясь, письмо-то оказалось при мне слу... случайно...

Прищуренно князь читал... Глядела на него Глафира – никак понять не могла: да что же, да что же в этом лице знакомое – да нет, не знакомое даже, а вот такое...

С восьми часов вечера начался съезд: везли дочерей – танцевать с князем-почтмейстером. Какой-то пуганой зверушкой шмыгнул в уголок отец Петр, протопоп: мохнатенький, маленький, как домовый. За отцом, в шелковом черном, гордо прошла Варвара-протопоповна. Торчали черно-синие космы: прибирать волос не умела – глядела Варвара ведьмой. Обнявшись, загуляли по залу восемь штук родивон-родивонычевых. Сел за рояль дворянин Иван Павлыч – все в той же верблюжьей рыжей поддевке. Заиграл – и зацвела, завертелась вся зала.

Князь один стоял у печки, немножко боком. И на белом кафеле было так четко лицо, коварное, без подбородка, нос с чуть заметной горбинкой...

– Горбоносый! – чуть не крикнула вслух Глафира. Бросилась к князю. Тяжело дыша, крепко стиснула князеву руку – будто после долгой разлуки встретились наконец.

Глафира танцевала с князем, блаженно закрыла глаза. На стульях у стен девья орава – завидушая – шелестела, шептала. Ласково-зло улыбалась Варвара-протопоповна.

– Князь, – насккивал Родивон Родивоныч, как кочет, – с вами хотят быть знакомы... мои, вот... восемь, – конфузливо кончал он, очень стеснялся восьми: человек он почти что придворный, и вдруг – восемь!

Падал князь, огорошенный градом девьих имен, и к одной – счастливике – наклонялся:

– Угодно вам вальс?

Танцуя, князь наступил на хвост своей даме. Пришлось выйти из круга – как раз это случилось у рояля, и острым своим ухом услышал Иван Павлыч конец разговора:

– ...Одеколоны – вот это я очень уважаю. Цикламен вот, и еще... как бишь? Корило... корилоспис, – с трудом вспомнил князь.

К ужину все доподлинно было известно: что князь – развратник, у него – одеколоны, и вообще – человек он темный.

– По-ми-луй-те? Гонял с девками целый вечер... что-о ж это? – с попреком качались седые букли.

Зато – девицы в восторге:

– Семь одеколонов, и на всякий день – свой... Уж видать: настоящий декадент (произносится дѣкадѣнтъ).

За ужином, после свиньи-соус-пикан, исправник выпил сантуринского, посмелел и, твердо глядя князю в глаза, произнес наконец:

– Кстати – я изобрел отменно дешевый способ производить хлеб...

Князь задумчиво поглядел на Ивана Макарыча.

– Но что все изобретения для народов, покуда не будет у них общего языка?

Сказано это было раздельно и твердо. Все разинули рты: языка-а? Ка-ак? И окончательно утвердилась таинственность князя.

За ужином рядом с Глафирой – сидела Варвара. Обнимала Глафиру за талию, ласково-злыми глазами глядела, медовые речи вела.

А когда у себя в светелке Глафира стала раздеваться на ночь – на кисейном платье увидала сзади дыру: вывачен ножницами изрядный косяк. Сразу смекнула Глафира кто. Сердце зашлось от злости на Варвару. Может, оттого и заснуть никак не могла.

Встала. Приложила к стеклу к холодному лоб. Напротив, через площадь, в агарковских номерах, в окне теплел огонек. Схватила бинокль, прильнула – и вся заколыхалась под тонким мадаполамом, как рожь от ветра: у стола, раздетый, сидел князь, писал. Но что же, что? Ночью, в три часа... Наверное, завтра придет из номеров половой...

Князь писал письмо в город Сапожок. В правом углу на бумаге была вытиснена коронка.

«Милая Лена. У меня от подъемных еще остался 21 ру. Не надо ли тебе? Потому что здесь – жизнь очень простая, яйца лутшие – 18 копеек, я скучаю и мне денег не надо. Кланяйся Васи, я сердца на него не имею, лишь бы ты была счастлива».

4. МОЛИТВЫ

Костя за ужином не был. Исправничиха ему сказала:

– Константин Захарыч, ты у нас свой человек... Не прогневайся уж, стульев нехватка.

На нет – нет и суда. Костя не обиделся. Жалко только было отрываться от Глафиры: нынче Глафира – в белом платье – была совсем замечательная, прямо вот... Божеская. Ну, тоже и князь, еще бы на него поглядеть.

Каждое мание князя – нравилось Косте, каждое слово его ловил. А когда услышал про одеколоны его – тут Костя уж совсем восторгнулся, закипели стихи в голове.

Пришел Костя домой – первым делом к укладке, вынул тетрадь – и сразу, с присеста, напечатлел:

Наш новый господин почместер,
Замечательный человек.
А по мне раз в десять
Умнее тут всех.
И когда мне представлялся,
То мне рукопожал.
Я восхищался,
И навек его уважал.

Потифорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила огонь в печке, первый, румяный, блин полила маслом, поставила Косте. Стал было Костя некатся: сыт уж, довольно.

– Господи-батюшка, уж теперь и лопать не хочет у матери у родной. Загордился уж, а? А не я ли тебя, поганца, и в люди-то, в чиновники вывела, а?

Не сговорить с маманей. С покорной улыбкой – Костя снова ел блины, без счету: кипели еще стихи в голове – до счету ли тут было?

А наутро – катался по полу Костя, помирал животом. На почту не пошел: куда уж. И все хуже да хуже.

К прощеному дню – Костя обрезался, совсем поси-
нел. Потифорна на своем веку покойников без числа поглядела, глаз наметался. С базара пришла, увидала Костю такого – как взвоят. Да скорей за отцом Петром: хоть бы христианской кончиной-то помер Коська.

Пока Потифорна ходила – Костя лежал один. Умирало солнце. В окно – бабочкой нежной билась заря. Где-то звонили, над заваливающим проулком колокол плыл – печальный, как лебедь. В какую-то секунду Костя понял, что конец и что надо – нужнее жизни – увидеть Глафиру и сказать ей все.

Потифорна вернулась одна, отца Петра не застала дома. И тотчас строгим шепотом Костя велел мамане сбегать к исправнику и позвать Глафиру.

Пошла Потифорна, как не пойти. Пошла, хоть и кропталась, утирая слезы: нет бы за доктором или за попом, а он за вертихвосткой за этой посылает!

И когда возле себя увидел Костя ее – Глафиру, единую, божескую, – сдвинулся в нем какой-то столетний камень, и забил из-под камня из самой глубины хрустальный ключ: всего напоил, утишил, исполнил. Тихонько взял Костя Глафирину сладкую руку:

– Теперь... я должен сказать... Помираю, блинов объелся. И теперь вот... Нет, не могу я про это сказать словесно!

От жалости вся сморщившись, Глафира сказала:

– Ну, что вы, Костя, зачем? Вы ведь знаете, что я вас тоже... зачем говорить...

Костя улыбнулся прозрачно-покорно: теперь – хорошо помереть. Туман... Туманом заволокло Глафиру, последней ушла она от Кости. Конец, тихо все, сладко – и если б только маманя не брызгала в лицо водой... Но Потифорна все брызгала: Костя открыл глаза еще раз...

Так бы, может, Костя и помер, да втесался тут отец Петр – с баклановкой со своей; баклановка у него была – ото всех болезней помога. В баклановке первое – конечно, водка, всем лекарствам мать; а в водку – красный сургуч толченный положен, да корень-калган, да перцу индейского красного же, да еще кой-чего, что берег в секрете отец Петр.

С баклановки ли с этой огневой или просто с радости великой – стал Костя жить помалу. На Крестопоклонной встал с постели: еще ветром качало, зеленый, длинный – скворешня живая; Костин озябший носик – усох, стал еще меньше, еще жалостней.

Потифорна первым делом Костю поперла к отцу Петру, благодарить за баклановку.

– Ну-ну-ну, чего еще там, – замахал отец Петр на Костю. – Поговей постом – вот и все. Ну-ну, иди с Богом.

Протопоп сидел в углу – усталый, после обедни постовской; мохнатенький, темный – в угол забился. Несть числа у него в соборе говельщиков было. Кликали коло-

кола целый день, шел тучей народ. С любострастием вспоминали все мелочи куриных грехов: медленный, мешкотный шепот в уши лез без конца.

Уходил протопоп из собора – будто медом обмазан и вывалян весь в пуху: мешает, пристало по всему телу. Одно только спасенье было: придя домой – выпить рюмку баклановки.

Перво-наперво после той рюмки – пойдет тончайший туманец в глазах, и все денное, налипшее, гинет. Тихо – не спугнуть бы – пригнувшись, сидит отец Петр. А протрет глаза – и уж ясно видит, настояще, яснее в сто крат, чем днем.

Тотчас за окном – веселая козья морда кивает:

– Здравствуй.

– Ну, здравствуй, ишь ты нынче какой!

В таком виде – любит их отец Петр. Вот если они принимают человеческий зрак – нашей одежи не любят они, больше все голяшом – ну, тогда уж...

Приятную беседу с козьей мордой ведет отец Петр, пока не заслышит: Варвара идет. Тот – дирака, конечно: в одноножку, вприскок, как малые ребята бегают. И видно отцу Петру: тряско подскакивает левое его плечо на бегу.

А голова у протопопы работает ясно-преясно:

– Не от рюмки же это, всякому видно: дело не в рюмке.

Когда подходила Варвара – глаз не открывая спрашивал протопоп:

– Это ты, Собачея? – и явственно видел у Варвары зубы – злые, собачьи, черно-синюю шерсть.

– Что же мне с тобою делать? Опять ты? – кричала Собачея злая, кусала отца Петра: в руки, преимущественно, и в ляжки.

Наутро, за чаем, заплаканная – говорила:

– Какая я тебе Собачея? Ты что на меня возводишь?

Засучивал рукав отец Петр и показывал на руке:

– А это, а это – что?

И глядит – не глядит Варвара, заладила свое:

– Знать ничего не хочу, к доктору надо тебя.

К доктору, хм... Нет, тут доктор не сведущ.

В Великий Четверг – Варвара в лотке купалась на кухне, Иван Павлыч по городу шлында, отец Петр сидел один.

И опять – тот же самый пришел, коземордый, и никто уже не мешал: всласть наговорился отец Петр. Очень интересные вещи рассказал коземордый и, между прочим, что у них уж начинает распространяться истинная вера и уж он, коземордый, по истинной вере пошел.

Так протопоп обрадовался – просто нету и слов. Вечером, на стоянии, между евангелий, все думал протопоп:

«Ну, слава Богу, истинная вера пошла и там. А то жалко их было – беда...» – радостно бил протопоп поклоны за истинную веру.

И еще одна в соборе курилась к Богу радостная молитва: Кости Едыткина. Благодарил он за все огулом: и за то, что сподобился он таланта – стихи писать; и за чин четырнадцатого класса; и самое главное – за то, что он стоял сейчас рядом с Глафирой.

В соборе свет, свечи у всех. Протопоп вычитывает страсти не спеша, истово. Костя в новой тужурке, сердце полно. Глаза опустив, сладко видеть Глафирину милую руку; наклеивать, как и она, метинки на свече – евангелям счет, уколотся украдкой о теплый локоть...

От стояния несли домой четверговый огонь. Людей в теми не видать – только огоньки текут. Вот уж в заре-чье – свернули в проулки – загасли. Тихо.

Костя прикрывал свечу фуражкой. На росстани трех переулков взглянул на Глафиру, все забыл, забыл про свечу – и задуло ветром огонь.

Попросил огня у Глафиры. Дрожали руки, долго не мог попасть. И когда наконец зажег – сладко сжалось сердце у Кости: предвещаньем каким-то, навек нерушимым, было соединение их свечей. И огненному знаку так крепко поверил Костя, что, нагнувшись к Глафире, спросил:

– А когда же... свадьба?

Раздумчиво поглядела Глафира куда-то мимо Кости, ничего не сказала.

5. Великий язык

Дворянин Иван Павлыч – стал у князя доверенным человеком: от Ивана Павлыча и пошел тот слух, что на Пасхе объявит князь свою тайну и всех пригласит.

– Да к чему пригласит-то?

– А вот, погодите маленько, все объяснится, – с ехидной приятностью отвечал Иван Павлыч.

Еле дождались Пасхи. День выпал на славу. С утра сусальным золотом солнце покрыло Алатырь – стал город, как престольный образ. Красный трезвон бренчал серебром весь день. Веселая зелень трав расстелила сукно торжественной встречи. И напротив самых присутственных мест – топтала сукно свинья...

Князь с визитами ездил задумчив: хорошо бы и правда – в такой день святое дело начать... Но все разговелись усердно, везде на столах травнички, декокты, наливки, настойки: где уж там серьезный разговор завести?

Последняя у князя надежда была – на отца Петра: отец Петр способен – от мира сего вознестись к возвышенному. Несомненно способен, человека по глазам – сейчас видно.

Так рассуждал князь, подкатывая на линейке к отцу протопопу. Откуда ни возмись – свинья. Хрюкнула зло на лошадь, лошадь шарахнулась, ляскнул зубами князь, еле усидел. Вошел к протопопу расстроенный.

– Отец по приходу ходит, – вышла к князю Варвара. Повертела лампу в руках, но не зажгла почему-то.

Только тут князь заметил: а пожалуй, ведь поздно. За окном вошел месяц, ущербленный, тусменний, узкий. И таким увиделось небо жутко-пустым, таким замолкшим навек, что схватило горло, хоть вой...

Молчать было жутко. Насильно улыбнул себя князь:

– Я, знаете, к вам на живейном ехал. А на лошадь – свинья кэ-эк хрюкнет... Свиньи у вас борзые какие!

Варвара молчала, глядела в окно на месяц.

– И все у вас какие-то заборы, пустоши, пустоши, собаки воют...

Варвара прикрыла лицо руками и странно сползла со стула на пол. Князь испуганно встал.

– Не уходите... Нет! Нет! – закричала, забилась Варвара.

Такие у ней были глаза, такая жалость заныла в князе, что не было сил уйти. Сел снова на стул.

– Вот, скоро, надеюсь... Начнем общепользную работу... – забормотал князь, отвернувшись: стеснялся глядеть на Варвару, такие у ней глаза...

Показалось, что-то трется у ног – протопопов пес – как же он со двора... Глянул, а у ног на полу – Собачея-Варвара. Ласково скалила собачьи зубы, глазами молила, молила: «Ну, если не хочешь, ты хоть ударь – хоть ударь», терлась о ноги...

Охнул князь, отпихнулся, выскочил без шапки на площадь. Припустился бежать. Да нет, тут что-то не так... Оглянулся: в протопоповых окнах темно. Но в одном темном – или это кажется только? – в темном мечется белое, как мел, лицо...

Красная Горка – свадебный день, а в Алатыре не слышать ни свадебных бубенцов, ни весело-печальных пропойных песен.

– Нет женихов, и все тут... – жалобился князю исправник, сдавая заказное письмо.

– А вы бы их... тово... поощрили властью, от Бога данной.

– Я бы рад, да не знаю как. А то бы... вас первого поощрил, – вдруг, насмелевши, брякнул исправник.

– Что ж, я... я жениться не прочь, – сконфузился припертый к стене князь.

Мимоходный этот разговор, конечно, стал известен всему городу; вновь воспрянули надежды на князя. И когда в пятницу на Фоминой получены были письма от князя с приглашением собраться на почте к восьми по самонужнейшему делу, так все валом и повалили: весь именитый Алатырь собрался.

– Господа! По Евангелию... – у князя дрогнул голос, – несть ни эллин, ни иудей, ни кто там. Все – одно стадо. А что же мы, господа?

Князь строго поглядел на всех. Кто-то сокрушенно вздохнул.

– В стаде – разве по-разному блеют? А мы – кто по-каковскому, всяк по-своему. Отсюда и война, и всякая такая дрянь, а ежели бы как стадо... На одном на великом языке эсперанте весь мир – то настала бы жизнь прекрасная и всеобщая любовь... До последнего окончания мира...

– Господи, а мы-то... Мы давно подумывали, богадельню или бы что. И вдруг – прямо, то есть в самую точку... – растроганный исправник полез целоваться к князю.

А за ним и все зашумели, затеснились к князю, умильно зарили на него, как коты на сметану, с любострастием лобызали небритую князеву щеку.

Оказался у князя полнехонек лист подписей. Больше всего тут было девьих имен. Но отрадно, что обнаружилась жажда знаний и во многих почтенных, немолодых уже людях: записался исправник, Родивон Родивоныч, Левин – аптекарь, отец Петр – протопоп, дворянин Иван Павлыч. Князь был донельзя доволен.

Никогда еще в Алатыре не было такого страдного лета. Бывало, румяным летним вечером всяк прохлаждался по угожеству своему. Кто подородней – в чем мать родила попивал квас в садике под яблонькой; кто поприлежней – сидел над синим омутом, выуживая склизких линей; кто посмирней пред супругой – исправника взять – на крыльчке исправник чистил вишню-владимирку для варенья.

А уж нынче каюк житью прохладному. Как отзвонит в соборе восемь часов, тут какая погода ни будь, соловьи от натуги хоть тресни, а надо идти к князю на учебу. И только в Алатыре трое дурных – в охотку бегут учиться: Костя Едыткин, Глафира исправникова да Варвара-протопоповна.

Костя являлся на уроки неизменно первым. Ревниво стерег он свое сладкое место – рядом с Глафирой. Приносил Глафирины тетрадки, клал их от себя по правую руку, садился и долго ожидал в тихой теми.

«Глафира – супруга моей жизни, это уж нерушимо. А после ней первый человек – господин почместер, в связи его международного языка. Ежели стихи пропечатать на международном языке, так это уж будут знать во всем мире...» Хорошо – в теми помечтать!

К девяти полыхают все лампы, к девяти – многолюдна почта, больше всего барышень. Шушуканье, шелест шелковых лент, миганье тайных зеркальцев, зависть змеиная к этим бесовкам – к Глафире да к Варваре: всегда назубок все знают, так и чеканят.

– Полюбили, некстати больно, науку...

– Зна-аем мы науку эту самую, зна-аем!

Родивон Родивоныч ходил печальный, жаловался:

– Жизнь-то на старости лет какие преподносит нюансы... из трех пальцев... Сиди вот с тетрадкой. А главное при моем почти что придворном звании... Не-ет, я брошу!

А бросить – с князем рассор навек, прощай все надежды. Нет уж, видно, единородных своих ради придется терпеть.

И крепились, терпели отцы. Кряхтя, косоурясь на князя, ладили все примоститься поближе к Глафире либо к Варваре.

– Leono esta forta. La denta esta acra¹ ... – расхаживая, громогласно диктовал князь и нарочно крал окончания слов: пусть поупражняются... Счастливым светом сиял его странный, бесподбородочный лик: князь святое дело творил, князь сейчас был первосвященником. Вот еще немножко, лет десяток-другой, и наступит всеобщая любовь.

Проходя мимо Ивана Павлыча, князь заметил:

«Какой у него хороший, внимательный взгляд...»

Внимательным взглядом проводил Иван Павлыч князя, тотчас привстал и запустил глазенапы в тетрадку к Глафире – Глафира впереди сидит:

– Esta – эс на конце, асга – эс на конце... – шептал Иван Павлыч исправнику.

– Да не слышу же, ч-черт! Громче... – кипятился исправник.

Но князь уж повернулся – и вмиг все гладко и тихо: исправник – над своей тетрадкой; как урытый – сидит Иван Павлыч, с приятностью на лице...

6. Епархия зелененькая

В Родительскую Субботу – Мишка, бывший столяр, а нынче просто алахарь, бегал по городу с клейстером и клеил афиши на фонарных столбах, на бесконечных заборах. Посреди афиши били в глаза крупные буквы:

А ТАКЖЕ
ИЗВЕСТНЫЕ АНГЛИЧАНКИ
СЕСТРЫ ГРЪЙ

Из губернии приехали – показывать туманные картины. Укланяли князя: отменил князь урок всемирного язы-

¹ Лев сильный. Зубы острые (эсперанто, искаж.).

ка, и всем карагодом повалили глядеть эти самые туманные картины.

Как-то случилось – оттерли Костю в проходе, и не спопашился он занять себе местечко рядом с Глафирой: с нею сел князь, а Костя – позади. Рядом с ним оказался дворянин Иван Павлыч.

Хотел Костя загорюниться, что Глафира – не с ним, да не успел: вылезли на полотне, завертелись, зажали, залюбили полотняные люди.

...Неслышно, как кошка, красавица крадется на свиданье к маркизу. Сейчас вот, сейчас, ступит на секретную плиту, сейчас – ухнет плита, глонет красавицу подземелье.

Костя вскочил – может быть, чтобы крикнуть красавице про плиту.

Иван Павлыч осадил Костю вниз за рукав. Но это все равно: красавица видела, как махнул ей Костя рукой, миновала проклятое место.

...И вот – вдвоем. Долго ей смотрит в глаза – маркиз или князь он? – и они медленно клонятся друг к другу, вот – близко, вот – волосы их смешались.

Вдруг Косте показалось, что вовсе это не на полотне, а Глафира и князь: клонятся, клонятся, прижались щекой к щеке...

Мрет сердце у Кости, протирает глаза: приглязилось только или...

Но мигнувший миг – уже не поймать: ярко загорелись лампы, ждет новых людей полотно, Иван Павлыч смеется:

– Хи-хи, чудород-то какой наш Костя: красавицу полотняную увидал – и вскочил. Побеседовать, что ли, с нею хотел?

– Да ведь он же – поэт, поэту – все можно, – заступилась Глафира, она стояла о бок князя, очень близко.

«Конечно, попритчилось, приглязилось все...» – решил Костя по дороге домой. Но червячок какой-то сама-лейший – не слушался слов, точил и точил...

В ночь на Покров пошел шапками снег. Выбежал Костя утром – нет ничего: ни постылого проулка с кучами золы, ни кривобокой ихней избы. Все белое, милое, тихое – и какая-то нынче начнется новая жизнь. Не может

же быть, чтобы стало так – и чтобы все по-прежнему было!

На Покров Костя обедал у исправника. После обеда сидели в гостиной. Дворянин Иван Павлыч – что-то пошушукался с Глафирой, взмахнул рыжей поддевкой – и подсел к Косте. Разговор повел с приятностью, тонко:

– Вязь-то какая прекрасная, а? Прямо талант, дар божий... – Иван Павлыч любовался вязаной салфеткой. – А-а... вы, говорят, тоже... тово... пишете? – повернулся он к Косте.

– А вы – откуда же... откуда же вам известно? – покраснел от радости Костя.

– Как откуда? Про вас в журналах пишут, а вы и не знаете... – и протянул Иван Павлыч Косте свежий номер Епархиальных Ведомостей.

В самом конце, после «печатать разрешается», были три неровные строчки: «Что же касается стихотворений молодого писателя Едыткина, то таковые мы считаем отнести к высшей литературе».

Хотел что-то сказать Костя, но схватило за горло: стоял, совершенно убитый счастьем. Где же Косте узнать, что напечатаны эти строчки в типографии купца Агаркова по личной Ивана Павлыча просьбе?

Ночью Костя – и спал, и не спал. Глаза закроешь – и сейчас же ему видится: будто он над епархией все летает, а епархия – зелененькая и так, невеличка, вроде, сказать бы, выгона. И машут ему платочками снизу: знают все, что летает Константин Едыткин.

Ну, теперь уж, хочешь – не хочешь, надо писать. Предварительно Костя перечел еще раз Догматическое Богословие – самую любимую свою книгу, потому что все было там непонятно, возвышенно. А потом уж засел писать серьезное сочинение в десяти главах: довольно стихами-то баловаться.

Писал по ночам. Потифорна самосильно посвистывала носом во сне. Усачи-тараканы звонко шлепались об пол. В тишине – металась, трещала свеча. В тишине – свечой негоримо-горючей Костя горел. Писал о служении женщинам; о любви вне пределов, вне чисел земных; о Восьмом вселенском соборе, где возглашен будет символ новой веры: ведь Бог-то, оказывается, – женского рода...

Так близко сверкали слова, кажется – только бери. Ан глядь – на бумаге-то злое, другое: уж такая мука, такая мука!

В вечер Михайлова дня – Костя публично читал свое сочинение в гостиной у исправника. Бледный, как месяц в ущербе, покорно улыбнутый навеки, стоял – трепетала тетрадка в руках. Поглядел еще раз молитвенно на Глафиру...

– Ну, господа, тише, тише, сейчас начинает, – суетился Иван Павлыч, как бес.

В тишине, чуть слышно прочел Костя:

– Заглавие: «Внутренний женский догмат Божества».

Неслышно-взволнованно горели лампы. Чужим голосом читал Костя. Публика глядела в землю, и не понять было, нравится ей Костино сочинение или нет.

Костя дошел до второй главы, самой лучшей и самой возвышенной: о Восьмом вселенском соборе. Голосом выше забрал, вдохновился, стал излагать проект всеобщей религиозно-супружеской жизни.

Тут вот и прорвало. Не стерпев, первым фыркнул исправник, за ним – подхватил Иван Павлыч, а уж там покатились и все – и всех пуще звенела Глафира.

Проснулась исправничиха, брыкнула свой стул со страху:

– Да что ж это, батюшки, где загорелось-то? – смех еще пущий.

...Как заяц, забился Костя в запечье, в спальне исправницкой. Голову, голову-то куда-нибудь, главное, спрятать. Голову-то хоть спрятать бы!

Старинным старушечьим сердцем одна исправничиха пожалела, одна разыскала, одна утешала Костю.

– Да что ж это, батюшка, чего ты сбежал-то? Ты думаешь что? Это ведь я со сна чебурахнулась вниз головой, надо мной грохотали, старухой, а ты думал что? Экие гордецы нонче все: уж сейчас на свой счет...

Костя поднял голову, Костя хватался за соломинку, глазами молил о чем-то исправничиху.

Услыхала исправничиха, уткнула себе в колени Костину голову:

– Иль мне уж не веришь? Я не Иван Павлыч какой-нибудь, я обманывать не стану.

– Я ве-ерю... – захлебнулся Костя слезами.

7. В серебряные леса

Вышла зима больно студеная, такой полста лет не бывало. Обманно-радостное, в радужных двух кругах, выплывало лдяное солнце. От стыди от лютой – напы треснул древлий алатырь-камень.

– Ну-у, быть беде, – крушились алатырцы.

А пока, до беды, засели покрепче в мурьях, еще пуще предались сновиденной жизни – всякий своей. Исправник изобретал; Родивон Родивоныч – выписал «Готский Альманах» и услаждался; Костя горестно вернулся к стихам; протопоп отец Петр беседовал с своим коземордым; все тем же горбоносым горела Глафира; а князь проповедовал великий язык эсперанто...

Что-то рассохлось, разладилось дело у князя. Все чаще на почту приходили кучера – с усами в сосульках – и вручали князю записки: не могу, мол, быть на уроке по случаю внезапной болезни. Вовсе отстал Родивон Родивоныч, не стерпел – исправник отстал, поредел ряды девиц. Князь понял, что надеяться можно только на двух: на Глафиру – да еще на Варвару. Вот уж эти действительно любят великий язык: так и чеканят, так и тачают друг перед дружкой. Улыбался князь то одной, то другой:

– Отлично, пре-красно...

Глафира и видеть теперь не могла Варвару. А Варвара, черно-синеволосяя, с ласково-злой улыбкой все лезла к Глафире, все норовила обнять. Не стерпев, однажды Глафира сказала:

– Ты что лезешь? Думаешь, я не знаю, кто мне на масленой платье прочекрыжил? Зна-аю, голубушка, знаю!

– А я, думаешь, не знаю, как ты себе бороду на подбрюдке стрыгешь? Ште, съела?

С той поры – ни слова: конец. И только при встречах, как гуси, зловеще шипели...

После уроков усталый расхаживал князь по почте. Трудно, ох как трудно! Но все-таки на один день ближе к тому празднику, к той светлой Пасхе, когда кликнут все на одном языке, запоют и обымут друг друга, и кончится старая жизнь.

На полу – окурки, крошки (ученикам полагался ситный от почтмейстера и чай), шпильки, бумажки. Князь рассе-

янно подымал, разглядывал. Рожи, росчерки. «Кн. Екатерина Вад.». «Катька, ты дура набитая». «А я его все-таки обожаю». Попадались часто записки отца Петра – к соседу его по урокам аптекарю Левину... «А вчерась явился он мне телешом. Это уж пакостно даже глядеть. Не ведомо ли вам какое-либо от искушений медицинское средство?»

Но все это так, пустяки. А вот последнее время – в самом деле, какие-то странные пошли записки. Находил их князь на своем столе, под подушкой, в карманах: Бог их знает – как туда попадали. Чуть-чуть надушены были эти записки и всегда – на великом всемирном языке.

«Mi amas tin, amas – a... a... a... – amas»¹, – подряд – без конца. Нарочный, изломанный почерк.

Под великим секретом – показал князь Ивану Павлычу, Иван Павлыч кряхтел, и без лупы разглядывал, и в лупу:

– Исправникова Глафирка, голову даю на отсечение! Кому же еще по-эсперанту так ловко?

А назавтра – новое князю:

«Милый, милый – я тебе всё...»

И конец. И молчок. Расхаживал князь, счастливый.

«Милый, будет ночь, темно, и все, что велишь...» – и конец, и ни слова.

Кто научил ее так – лукавому знать. Будто вот плясала перед князем, вся в черном. Вдруг откинула складки – сверкнула на черном розово-нежно. И конец. И снова колышется тяжелый покров, и манит, и манит без конца глядеть, не мелькнет ли еще...

Длинным выюжным вечером смотрел князь в узорно-морозные окна, потихоньку бродил меж серебряных деревьев – и все возвращался к одному: к несказанному, к мелькнувшему. Ее – никогда не называл князь: Глафира, – как Иван Павлыч, а всегда говорил: она.

Неприметно и плавно, как цветы расцветают, она медленно зрела из исправниковой Глафиры – и вот в декабре она уже стала жить самолично, сама по себе.

По-прежнему все записки от нее написаны были на эсперанто: получи теперь князь от нее хоть слово по-русски – он счел бы это противоестественным, был бы

¹ «Я люблю тебя, люблю, люблю – л... л... л... – люблю» (эсперанто).

даже оскорблен. Помалу связал ее князь с великим языком воедино.

Всякое эсперантское слово – теперь вдвойне сладко князю: это – ее слова. В ее синих, глубочайших глазах – пленен весь мир. И равно – всем миром владеет язык эсперанто...

«...Да что – всем миром: всей вселенной. На Венере какой-нибудь, венерические тамошние жители – тоже, поди, эсперанто знают. А как же? Обязательно знают».

Так мечталось князю. Так все дальше в серебряные леса уходил князь от скучной правды. Бывшей правде, княгине, проживавшей в Сапожке у отца своего – протоиерея, князь давно уж и писать перестал. Избегал он и Глафиру видеть с глазу на глаз: может, и правда – Глафира пишет записки, но не надо это *знать*.

Вечера князь просиживал дома, а за полночь – шел гулять. Ночью удобно думать: пустые, просторные, снежные улицы, влекущие огни лампадок в окнах, бродил и бродил.

...А следом за князем, темной тенью у стен крался Костя. Тенью за князем Костя следил теперь и денно, и ночью: надо узнать наверняка, что́ у него с Глафирой. Хоть самое... хоть самое страшное, да только бы наверно. Без наверного – совсем невтерпеж. Глафире хоть Костя и верит – как же не верить-то, Господи? – но вот Иван Павлыч говорит, что она...

Дворянин Иван Павлыч – добрейшей души человек, но есть за ним грех: медом его не корми, только бы над кем шутку сыграть (над ним самим-то – больно много шутили).

В запрошлом году – Иван Павлыч подъехал к Агаркову-гостинику, к градскому голове: подпали да подпали амбар агарковский старый.

– Во-от, не верит, чудака! – улещал купца Иван Павлыч. – Страховые за амбар громадные, новый-то амбар возведешь вдвое ширьше...

У Агаркова борода лопатой, а ума не богато: поверил Ивану Павлычу, запалил свой амбар. И самое когда это подпаливать стал, нагрянули тут, раба Божия – под белые ручки да на цугундер. Дорого купцу новый амбар

обошелся: куда там – страховые! А уж кто это начальство уведомил – Агарков так и не дознался. Сам Иван Павлыч повинного взялся искать, ну даже и он не нашел.

А то вот еще с чиновником Зюньзей случай был. Смеха для – проказник какой-то подметное письмо настроил чиновнику Зюньзе: так, мол, и так, жена-то твоя тово... кургузит, а ты, мол, и ухом не ведешь? И на завтра чиновник Зюньзя выволок молодую наружу и при всем честном народе стал ее учить. А народ – как будто был повешен, без числа собрался: уж было потехи!

–...Да, брат Костюня, Глафирочке твоей нынче аминь! – подзуживал Иван Павлыч, подталдыкивал Костю. – Нынче в четыре часа пополудни – решительное свидание... Чуда-ак, да ведь князь мне записку показывал, как же не знать-то? У алатырь-камня свидание, и оттуда – ау: самокруткой, да к князю на почту, так-то-с вот.

Костя покорно плелся к алатырю-камню. В синих сумерках бродил Костя час и другой. Тихо сыпался снег. Тихо точила тоска. Рассевшийся наполы темный алатырь – вещал беду. Навалился алатырь – сонный медведь – под себя подмял: продыхнуть невозможно.

Никакого свидания, никто не приходил. Поздним вечером Костя, весь замерзший, тащился на почту: там теперь, в боковушке, жил Иван Павлыч.

– Ну что, брат Костюня, никого? Эх ты, Господи, стало быть, ослышался я: это завтра... Эх, я какой!

– Это вы нарочно все, Иван Павлыч.

– Это я-то нарочно? Я ему по дружбе, а он на-ка: нарочно. Эх, Коська, не знаешь ты, какой я есть, Иван Павлыч...

Ставил Иван Павлыч бутылку на стол. Костя пил. Едучим дымом застилался весь свет, и в дыму возникал светлый лик владычицы, сладкой мучительницы, Глафиры.

Посыпая тетрадку слезами, декламировал Костя:

В моей груди – мечта стоит,
А милая Глафира – ко мне презрит...

Выпивши, Костя спал, как убитый. Но не было покоя и во сне. Присыпался все один и тот же, несуразный и будто ничего не значащий сон: забыл будто Костя, как

его зовут, забыл – и весь сказ, и весь страшный сон тут. Но таким стоном охал Костя во сне, что Потифорна принималась его будить. Оно хоть и жалко – будить, но слушать стон – еще жальче.

8. Святочные происшествия

Господи, да ведь нет ничего проще, как из обыкновенной холстины – приготовить наилучшее непромокаемое сукно. Удивительно даже, как раньше Ивану Макарычу это в голову не пришло: давно бы двести тысяч в банке лежало.

Заперся в кабинет Иван Макарыч и сел записывать, пока не забыл:

«Для сего надо в первую очередь изрубить возможно мелко потребное количество высшего английского сукна. Засим холстину намазать клейким составом, который содержит: во-первых, двенадцать долей именуемого в просторечии сапожного вару...»

Построил Иван Макарыч непромокаемое сукно – и решил показать всенародно свое великое изобретение. На святках, на третий день, поназвал исправник гостей, позажег в кабинете лампы со всего дому. Кошкарев, околоток, в белых перчатках, высоко напоказ – поднял мешок из исправникова сукна, полный водою. До того удивительно: держалась вода, как в хорошем ведре.

...А на пятой, на последней, минуте – сукно-то возьми да и промокни, при всем честном народе. Ах ты, сделай одолжение! Глядит на ручьи исправник – будто ручьев никогда не видал, только ватные брюки свои подтягивает.

Гости смолчали, никто – ни смешинки.

– Вода... неподходящая, должно быть. Разная она бывает – вода-то, – с приятностью сказал Иван Павлыч.

Тут уж протопоп отец Петр – не стерпел, засмеялся. А ему ведь только начать смеяться, а там и не уймешь: смешливый. Трясется стоит – весь обсыпан смехом, как хмелем, мохнатенький, маленький – звонит и звонит.

Исправник – инда пополовел. Дверью хлопнул – только его гости и видели.

Вышло это на третий день, а на четвертый продолжались святочные происшествия. На четвертый день – про-

топоп кончил ходить по приходу. Изусталый вернулся домой. Пообедал изрядно, баклановки рюмочку выпил, разоблачился – и лег отдохнуть.

И часу этак в шестом – произошло: явился он теле-шом и был он теперь в женском образе. Вся та поганая баба была, как киноварь, красная и так мерзостно вихлялась, что терпеть было нельзя ни минуты. Отец Петр – подавай Бог ноги: выскочил вон без оглядки, весь в белом, бежал-бежал...

Человека, одетого противозаконно, полицейский поймал возле алатыря-камня. Поймал и тотчас предоставил к начальству.

И как исправник был еще во гневе, то он и потребовал:

- Паспорт имеешь? Ты из каких это будешь вообще?
- Иван Макарыч, Бог с вами, да ведь это же я, это я...
- Я вижу, что я. Якать-то всякий умеет. Ты мне подай вид на жительство!

Кто же с собой вид берет, убегая наваждения дьявольского? Нет уж, видно, придется протопопу ночь ночевать в кутузке.

А в протопоповском доме Варвара накрывала к вечернему чаю. Поставила загнутый на четыре угла пирог – с четырьмя разными начинками; поставила баклановку – в глиняной сулее; поставила кусок мороженых сливок – и пошла протопопа будить. А протопопа – и след простыл: брюки тут, подрясник – тут, а самого – поминай как звали. Побежала Варвара гончей по отцовым следам. Ворвалась к исправничихе, всполыхнула ее своей жалобой, исправничиха покатила и грозно на села на исправника:

- Да ты что же это такое? С последнего спятил? В кутузку – отца своего духовного, а? Сейчас чтобы лошадь велел запречь и домой отца протопопа доставить... а то – знаешь?

В гостиной, в углу, Варвара ждала резолюции. А к Варваре спиной – у окна закаменела Глафира, будто и не видит Варвары. Но вошедшей исправничихе был явно слышен зловещий гусиный шип.

Распалилась исправничиха – решила уж заодно вычитывать все и Варваре.

– Ты что у меня там с князем ворожишь? Какие такие записки?

– Ваша Глафирка пишет – это все говорят, – а я виновата?

– А ну-ка, глянь-ка мне прямо в глаза, ну-ка, ну?

Но глаза показать Варвара не хотела: неведомо как проюркнула мимо слоновых растопыренных рук, вильнула хвостом – и была такова...

Про записки на великом всемирном языке, которые князь от нее получал, в самом деле по городу шел слух, хотя это дело князь держал в строгом секрете, только одному Ивану Павлычу и доверил. А знали – всё, даже и это, что она назначала свидания князю, а князь не ходил.

Не ходил князь. Жалко было князю рушить взлелеянный нежно обман. И знал, что неловко не ходить, знал, что ждала. Но не мог, не мог князь, жалко было пойти.

Под Крещение – опять получилась записка. Нарочно, чтоб сладко помучиться, князь не распечатывал записку до вечерней звезды. Распечатал – и...

«Я тебя, проклятого, целый час ждала, – на морозе-то, думаешь, сладко? Тоже, называется – князь! Ну, если завтра не придешь на то же самое место, вот ей-богу, уйду – и больше ни писать, ничего. Наплевать, не больно нужен-то, хоть будь ты раскнязь».

И это было уж не на великом всемирном языке, а на грубом, земном. Это уж – не она, она – умерла. Теперь – все равно. Ну что ж, можно и пойти, все равно.

Назначено было: в девять часов утра, на катке. Не спалось, князь вышел задолго. Солнце горело обманным ледяным огнем. Колокола пели холодными голосами.

Приглядевшись получше, почтмейстер заметил: на снегу – как запах – легчайшая алость, смертный румянец зари. Вздохнулось...

В углу на катке – конурка, вроде собачьей: грелка, а также обитель татарина – держателя катка. На лавке возле конурки – в валяных калошах сидела она. Черно-синие космы волос, собачьи глаза.

– Варвара Петро... – остолбенел князь. «Бежать, бежать...»

Но глаза – такие были глаза у Варвары, так молила: «Ну, хоть ударь, господин мой, хоть ударь...» Не мог князь уйти, разрушенный весь дотла – остался...

В соборе к водосвятию звонили – медленно, мерно. Все готовили – кто кувшинчик, кто чайник – ринуться благочестиво к чану с святой водой. А Костя, бросив свою посуду, во весь дух бежал из собора: только сейчас ему Иван Павлыч сказал всерьез, что на катке – решительное свидание у князя с Глафирой. Не хватало дыханья – хлебал Костя воздух ртом, как рыба. Сейчас – все – конец...

И вдруг вместо смерти – жизнь: на катке – Варвара. Князь и – Варвара. Варвара, вот кто! А Глафира...

– Прости, прости, богочтимая, – с катка мчался Костя к Глафире...

Оголтело влетел в светелку – и бух на колени:

– Прости, прости, богочтимая!

Глафира перед зеркалом выстригала волосы на подбородке: растут и растут, проклятые. Поглядела косо на Костю, на руки, молитвенно сложенные, на слезинки между веснушек, на озябший, жалостный носик.

– Ну, чего разнюнился-то?

– ...А на катке-то Варвара с князем, вот кто: Варвара... Прости, богочтимая... – блаженно, с закрытыми глазами, Костя стоял на коленях.

Сверкнуло зеркало вдребезги об пол.

– А-а, на катке-е? Да пусти ты с дороги! Ну? Пусти... – Глафира отпихнула Костю и помчалась туда.

Молния ночью жигнет – и все видно ясно: листок на дороге, седой волос в виске, вихор соломы под застрехой. Так вот и Костя сейчас: все до капли увидел...

Потифорна пришла домой с базару, веселая. Базарным дробным говором застрекотала:

– Костюнька-а, происшествие-то нынче какое слышал? На катке-то?

Костя лежал на укладке – поднял голову...

– ...Поцапались за князя, ну и бесстыжие, а? Клубком завились, по катку покатились, ну, срамота-а! Варька, Собачёя-то, в кровь искусала исправникову. Вот он – князь мира-то сего, дьявол-то!

Костю вдруг осенило: князь мира сего, вот оно что ведь. И язык его этот самый... Всех погубил, всех опутал – князь мира.

Утром Костя встал чем свет, прошел на цыпочках мимо мамани, подмигнул ей прехитро – и марш на почту.

На почте еще ни души. Один сторож Ипат – подметал полы. Тот самый Ипат, какого собака-то бешеная укусила. Вылечиться – хоть вылечился Ипат, но по сию пору считался опасен, и рисковала держать его только казна.

Нанес Костя снегу, Ипат заругался. Но Косте было не до Ипата... Сел за свой столик, взял телеграфный бланк – и на нем написал письмо. Слова сумасшедшие скакали, иные были – на языке, ведомом одному Косте. Но все же разобрать было можно: Костя открывал князю, что он, князь, – есть диавол, князь мира, и подлежит...

Князь мира вошел. Сел за свой стол, печально-рассеян. Поглядел на пустое Глафирино место. Стал составлять телеграмму в город Сапожок.

Костя молча подал князю свое письмо. И когда князь изумленно перевел на Костю глаза – Костя взял со стола стальную линейку и замахнулся. Князь прикрыл руками голову, положил ее на стол и покорно, не шевелясь, ждал. И так Косте стало жалко его – хоть он и князь мира – и жалко себя, и Глафиру, и весь Алатырь, что выпустил он линейку из рук и завопил смертным голосом:

– Пропали мы! Пропали, пропали...

Громыхнула линейка на пол.

Костю вели в острог – окружили толпой: не вырвался бы, убивец проклятый. Ну и народ же нынче пошел... а еще чиновник! На князя нашего покусился, а?

Алатырь проснулся, галдел, махал руками. Поднимались на цыпочках – на убийца поглядеть.

– Ты, гляди, Ипат, не упусти! Держи его крепко, – кричали Ипату, бешеному.

– Я крепко и то... – И, поглядев исподлобья, Ипат – невзначай будто – сунул Косте пятак: бери, пригодится.

Костя покорно взял пятак, улыбнулся покорно. Но тут же и разжал руку. И пропал Ипатов пятак: затоптали.



ЧРЕВО

1

Поехал Пётра сено косить – поехал через лес. По лесной дороге – хорошо, мягко, колеса шепотом говорят. А дух-то зеленый, листвяной, настоистый – дух-то какой: дыхнешь – и двадцать годов сразу с плеч долой, проседи в голове – как не бывало.

Все бы хорошо, да на опушке повстречал Пётра отца Федота: не миновать теперь худа. И впрямь: доехал до лесного колодца, стало быть, с полдороги уж проехал, поглядел – ан оселка-то и нету, оселок-то дома остался. Ах ты, батюшки! Что ж теперь, не иначе как домой вертаться: чем без оселка-то косу точить? Вот он, Федот долгогривый, вот он: полдня косьбы теперь не считай...

Повернул назад Пётра. Ехал – и уж ни духу зеленого, ни солнца сквозь рядно листьев не чуял: обида ему застила.

Увязал лошадь у ворот, пошел во двор оселок искать. И вот где – в закуте нашел – ну, скажи ты, пожалуйста.

В закуте – коровенка комолая стоит привязана, и под ней подошник на боку валяется: начали, видно, доить – и ушли, а корова-то задней ногой брыкнула и свалила.

– Эка порядки, эка порядки! Надо вот Афимью поить пробрать хорошенько, небось в другой раз не будет...

Пошел Пётра в избу. Что за притча: и тут бабы нету. Васятка двухгодовалый – вылитая мать, Катерина-покойница, – Васятка один на полу сидит и слюни пускает.

Над кроватью кумачовый полог колыхнулся. «Уж не там ли? Да зачем бы ей, днем-то?»

Отвернул полог Пётра – и обмер: Афимья на кровати расхристанная вся лежит, а сосед, Ванька Селифонтов...

А сосед – и очухаться Пётра не успел – метнулся, нырнул мимо ног – и поминай, как звали.

Стал Пётра белый, как мел.

– Я ль тебя, Афимья, не любил да не холил? А ты...

Вскочила Афимья, крикнула – за всю свою с Пётрой жизнь в первый раз – крикнула:

– Да на какой ты мне ляд с любовью нужён-то, родимец старый? Ребят, что ли, я от тебя родила? Другой год с тобой горе мыкаю... Ты думал...

Шея у Петры – морщинами темными вся исстегана – кровью налилась, стала страшная. Сгреб Пётра за косы бабу свою – и зачал учить.

Афимья-то в голос сперва кричала, а то уж стала хрипом хрипеть. А Пётра все возил ее по полу. И угораздило как-то его, приложил Афимью об угол – об печку головой, она и затихла. Тут только Пётра стал: «Подохнет еще...» Бросил Афимью, пошел к двери. Васятка двухгодовалый с полу к отцу тянулся, слюни пускал...

Уж и косил нынче Пётра: так молоньей коса и блескала, так ничком трава наземь и падала.

2

И пошло с того проклятого дня, и пошло. И что ни дальше – то все пуще лютовал Пётра. Только вот и дал Афимье передохнуть малость, когда пришло время хлеб убирать. Хлеб-то, ведь он какой: надо всем владеет. Хлеб убирать – так тут уж работай, пустяками не моги заниматься.

И ходит Афимья по полосе, снопы вяжет, рада-раदेशенька. Рожь золотая, и солнце – золотое. И все горячет золото, и все калится. Во рту земля, сухая, полынная. Испить бы, жбанчик-то вон – под телегой стоит. Да идти туда мимо Петры – уж лучше как-нибудь так. И идет полосой Афимья, следом за Пётрой, снопы вяжет. Едущий горький пот лезет в глаза, точит слезы.

Работали две недели – и две недели Пётра пальцем Афимью не тронул. А убрали хлеб – и в ту пору ж, в воскресенье, напился Пётра после обеда и опять Афи-

мью измучивал до полусмерти. В понедельник опохмелился – и опять...

Пошла Афимья к соседке Петровне за советом: чем бы лютого мужа унять? Да нет ничего такого. Только и присоветовала Петровна – попытать трем угодникам молиться, жен покровителям. И молилась Афимья Гурью, Самону да Авиву, вот как молилась – лбом об землю стучалась. А толку нет: все так же Пётрова рука тяжела.

Только и есть одно-разъединное утешенье Афимье: к Иванюшеньке милому сбегать. Пьяный-то сон что мертвый. Захрапит Пётра – и без страху можно Афимье бежать к Селифонтовым. Там за овином, под старой лозинкой, Иванюша давно сидит, ждет уж час битый.

– Иванюша, родненький, светик мой! Иванюша, да как же мне быть, горемычной?

И не знает Иванюша, молчит, не придумает, чем Афимью утешить. Правда ведь: от живого мужа – куда же уйдешь?

– Иванюша, милый, ведь забудет меня Пётра. Ведь в гроб вколотит, как Катерину свою вколотил...

Бабы слезы – что дождь летний: приголубил, пригрел пожарче – и высохли.

За полночь сидит с Иванюшей Афимья щека к щеке под старой лозинкой. Месяц выплыл седой. Трясется, шамкает, шепчет, как знахарь, – и снимает своим наговором все озлобы, все горя, все болячки.

3

Терпела, все – терпела и молчала Афимья. Ни на Бога не роптала, ни на родителей, что силком за Пётру за вдового ее выдали. Сызмальства Афимья послушлива была, в терпеньи выросла.

На одном только Афимья и срывала зло: на Васятке. Как ни подвернется ей под руку – все норовит подзашлычину ему дать, а то и веником настегать.

Васятка... Васятка – еще несмышлениш, что ей такого он сделал? А вот то, что не ее он, не Афимьин, а Пётрово отродье – Пётры и покойницы его Катьки. Господи, да, может, и Пётру-то самого Афимья за то невлюбила, что младенчика он с ней не прижил? Может, и с Иваню-

шей от этого самого связалась, на такое пошла? Вед Афимья баба молодая, сытая, крепкая: как ребенка не зажелать? Ведь чрево у ней – как земля пересохшая – дождя ждет, чтобы родить. Ведь груди – как почки о весеннюю пору – налились, набухли, ждут расцвести, ждут сладкое молоко точить. И есть ли что слаще в бабьем житье, как не это вот: всю себя расточать, кровью-молоком исходить, выносить, выкормить дите первенькое?

И вот так случилось, что понесла Афимья от Иванюши милого, родименького, от любименького понесла.

Неделю Афимья все не верила, другую, месяц. Но и через месяц – все то же: замкнулось чрево, берегло в себе... И поверила, бухнула Афимья земной поклон Богородице:

– Матушка Пресвятая, да спасибо ж тебе, что надо мной смилосердилась – над поганкой, над грешницей...

Глаза у Богородицы были ласковые, Афимья сказала ей:

– Матушка ты милая. Ведь и ты вот ждала же младенчика, радовалась, знаешь ведь? Ох, до чего хорошо!

Стала Афимья – со стороны поглядеть, как порченая. То ничего все – ходит и ходит, дела свои бабьи правит, а то вдруг станет, как столб, как урытая – так и стоит.

Стоит и опять, в какой раз уж, спрашивает себя:

– Господи, да неужто ж взаправду – младенчик будет – Господи? Как Иванюшенька – только махонький, крупитешный... И такие же волосики медвяные – желтые будут? В рубашке кумачовой без пояса по двору будет гонять, кликать будет: мам, а мам... Господи, ведь сосать будет, вот тут вот, вот тут...

Бережливо ходила Афимья по улице, как с махоткой, полной молока до краев: как бы не сплеснуть. И глаза – бывало-то бойкие да веселые; огонь черный. А теперь – остановились, как вот маятник у часов: не для ча больше часам ходить-маяться. Остановились – и внутрь глядят, и туманной пеленой от белого света закрылись.

– Афимьюшка-голубушка, – соседки смотрят на нее, – и чтой-то, матушка, глаза у тебя нехороши больно стали? Ай неможется? Ай изверг вконец забил? Ай уж ты – тьфу-тьфу, чтоб не накликать! – ай уж тяжела ты? Ведь муж-то тебя и совсем прикончит...

– И то будто, бабоньки, тяжела, – и сияет Афимья, и расплывается.

– Чего ж ты, дурья голова, рада? А? Хошь, мы тя к бабушке Агафье предоставим, она те веретенцем живо поправит...

И слышать Афимья не хотела о чем-нибудь этаким.

Стала Афимья от тяжелой работы бегать. Полов не мыла, к управителю звали картошку копать – отбоярилась: оборони, Господи – не загубить бы его-то... Только вот и пошла Афимья – к попу яблоки собирать перед третьим Спасом.

Яблок у попа в саду – сила: боровинка, шелковка, грушовка, коричное, скрижапель. Тяжелые деревья стоят, плодные, нагнулись и дух от яблок по саду идет – праздничный, сладкий.

От девок Афимья в сторонку ушла: ну их, ни точить языки, ни песни с ними играть – неохота. Одной бы побыть – да и не одной, а вдвоем...

А девки-то поют, девки – в верхи серебром забираются, поют песню про старого мужа, неудалого:

Во какая бородишша –
Не пускае на гульбишша...

«...И ладно. И ничего мне такого теперь и не надобно. Буду дите миловать. Пушай тогда бьет мужик, пушай – что хочет: только бы теперь Господь дал уберечься от Пётры».

Набрала Афимья в фартук кучу яблок, нагнулась в корзину их ссыпать – да вдруг так и ахнула: оторвалось в животе что-то. Господи помилуй!.. Бросила яблоки, выпрямилась, прислушалась внутрь – и услышала, будто вот повернулось там что-то, толкнуло легонечко так, ласково, мягко.

Брызнули у Афимьи слезы из глаз – как дождь давно жданный летний. Брызнули – и высохли в ту пору ж: радость высушила.

Подняла Афимья с земли изжелта-румяную шелковку, укусила ее своими сахарными крепкими зубами, разжевала сладкую духовитую мякоть – и глотнула, вместе со слезами с последними:

– На тебе, миленький, родименький, на, желанненький, на, поешь... – И еще, и еще кормила его – махонького, милого, кормила шелковкой-яблоком и вслух с ним разговаривала.

Услыхали девки, подошли к ней, окружили Афимью кругом – как цветы: желтые, красные, синие.

– Афимья-а-а? Ай ты спятила, с собой-то гуторишь?

– И то, милые мои, и то – спятила...

4

На Воздвижение продал Пётра в городе хлеб. И по хорошей цене продал, что Бога гневить. А до тех пор денег было – хоть бы грош ломаный. Не то чтобы что – а даже водки выпить было не на что. А как же без водки горе свое избыть?

Продав Пётра хлеб, купил баранинки на засол – пора уж, купил селитры да соли, купил две кадушечки новых, было бы в чем солонину готовить. И купил, по привычке, гостинец: арбуз да кренделей фунт сдобных. Купил и встренулся:

– Кому ж это я гостинцы-то? Афимке треклятой? Эх! – махнул рукой и поехал и всю дорогу думу тяжелую думал.

Приехал на село Пётра и первым делом зашел к куму Терентьичу в лавку – рюмочку пропустить, хоть одну. Одна – а потом: человек без двух ног не ходит. А потом: троица, а потом: дом об четырех углах строится, а потом: кто ж без пяти пальцев на руке? А потом: крест наш православный – об шести концах, а потом...

К вечеру на Здвиженев день все село пьяно-распьяно. Да и как же: престол ведь Здвижение-то. Ночь темная, непроглядная, и ходят во тьме, песни горланят. Налезают на камни, друг на дружку, дубасят с пьяных глаз до смерти, бунтуют до самой до глухой до полночи. А к полночи расползаются, как просыпанные раки, во все стороны, ползут и бормочут, невидные в темноте.

Уж и первые петухи пропели, а все Пётры нету. Смогло Афимью. Так, на лавке сидя, и заснула. И во сне – все груди свои чуяла, рукой трогала их: полны ли, до краев ли? Стидилась – и протягивала, улыбаясь, жмурясь:

– На, возьми, на, возьми, махонький, на, пососи, ах ты мой...

И уж так ей было сладко, так сладко – прямо дух захватывало. И уж так-то просыпаться не хотелось: ведь еще молочка он хочет, ишь-ишь... Еле уж еле – глаза раскрыла.

Раскрыла – и канула: стоит над ней Пётра пьяный да страшный и рубелем замахнулся. Вскочила Афимья с ногами на лавку – как от воды, будто вот вода подступила. В угол у печки забилась, заслонила руками живот:

– Пётрушка, погоди, ради Господа, не губи, младенчика не губи – Пётрушка, тяжела ведь я, вот те крест святой!

Должно быть – протрезвился тут Пётра, понял – должно быть: услышала Афимья, как он зубами скрипнул. И уж толком не помнила, что дальше и было.

Слышала Афимья чей-то визг и воп – и подумала: «Да, Господи, неуж это я так?» Увидала потом над собою пётров сапог, весь в грязи: «Что ж это, я – на полу или он на лавку взлез?»

А как попал ей Пётра в живот – свету невзвидела: ухнуло все, пропало – и Пётра, и изба, и ночь.

5

Очнулась Афимья – глядь, под святыми она лежит, в красном углу, ни рукой, ни ногой шевельнуть.

– Ай уж померла я, Господи-батюшка?

Нет: поглядела – у печурки чтой-то сушит соседка, Петровна. Кликнула ее Афимья:

– Петровна?

– А? Ай ты уж в память пришла? Ну, слава те, Господи. А уж мы и живой тебя видеть не гадали – не чаяли, пра-а...

– Петровнушка, что я, уж скажи по правде?

– Да что греха таить, милая: скинула. А младенчик-то какой: жалости подобно. Уж мальчик – видать, только вот что ноготков еще нету, да глазки слепые, щенячьи...

Вспрянула с лавки Афимья, взвыла – не своим, бабьим, а звериным голосом. И из чрева, пустого, как побитое градом поле накануне покоса – хлынула из чрева

И родилась с кровью нестерпимая против Пётры-погубителя злоба.

– Всё бы простила ему, все тиранства, все измывы, а ребеночка, а мла-ден-чи-ка-а-а...

Хлопотала Петровна, холодной водой кровь унимала.

– Плачь, милая, плачь, родная, полегшает. А идол-то твой укатил в город, авось-либо вернется не скоро.

Но не легче было от слез Афимье: как смола в огонь, капали слезы – и еще пуще бушевало в ней полымя злое.

На четвертый день встала Афимья: дела-то не ждут ведь, Васятка инда охрип от крику голодного, надо ему глотку-то чем-да-нибудь заткнуть. Ходит Афимья по избе – и за стены держится: от прежней силы румяной ни звания не осталось, только одни глаза полыхают.

На четвертый же день к вечеру возвернулся и Пётра домой. В кабаке царевом сапоги оставил, и пинжак, и картуз новый – без всего пришел. Ввалился в дверь, о порог запнулся, упал – и захрапел мертвым сном, слова не молвив.

Постригся Пётра в городе. Явственно увидала Афимья – навек запомнила: на затылке волосы ровнехонько, как по линейке, подрезаны, и под ними – шея, багровая, вся накрест исстегана морщинами.

Увидала Афимья, всполыхнуло в ней все, земля ходуном пошла. Стоит и глядит неотрывно: волосы как по линейке, и морщины накрест – стоит и глядит, как цепью прикована.

И все так же, глаз не отрывая от шеи, протянула Афимья руку за топором – тут он всегда, у дверей, к косяку прислонен стоял.

Подняла топор – знать, враг укрепил ей руку – ахнула Петру со всего плеча. Метила в шею, в морщины накрест, да промахнула: угодила в висок. Хряснула кость, затряслись избяные стены, потемнело у Афимьи в глазах, сронила топор.

Как лежал – не копнулся Пётра, готов: висок место нежное.

И потухло в Афимье все полымя – вся потухла. Как впотьмах шарила – думала:

«Ну, вот и – вот и... Куда же? На гумне? В погребицу?»

Зачерпнула в кадушке воды, выпила полный корец. Положила крест: «Владычица, помоги» – и взялась за Пётру, за босые ноги, еще теплые. Потянула – ни с места: как свинцом налитой лежит. «Господи, что ж это?» Еще раз взялась, изо всех сил – и опять ни на волос не сдвинула, лежит Пётра, как урытый.

Обуял тут страх Афимью, в жар ударило. Бежать надо, бежать сломя голову. А не может через Пётру переступить. Как в лихоманке трясется – стоит, и нету сил один шаг этот сделать.

Вылезла Афимья в окно, помчалась к Селифонтовым. Сыпал всегда Иванюша в сарайчике на дворе, авось там и нынче. Кликнула тихонько – и уж тут как тут Иванюша: чуток он на Афимьин голос.

Вышел Иванюша, теплый от сна, протянул к Афимьюшке к милой руки – да и назад отскочил: «Не та, не прежняя, не Афимья это...»

– Да что ты, Афимьюшка, что ты, что?

Хлипнула Афимья – выплакать бы все Иванюшеньке, а губы-то сухие, а глаза сухие, а слез – нету...

– Убила. Убила, порешила Пётру – за младенчика за твою. Как свинцом налитой... Не могу я – лежит. Страшно мне, пойдем ты со мной.

Пошли. Влезли в окно, как воры. Тихо в избе: чуть-чуть носом посвистывает Васятка на печи. Пётра – молча лежит, лампочка-коптилка глядит туманно. Взял Иванюша Афимью за руку – и затрясла его трясовица Афимьиная: стоят и трясутся.

Взяли за ноги – за руки, понесли. Спотыкались в огороде на грядках. Брехнули раз – и стихли собаки. И опять все хорошо, все тихо.

Только вот месяц проклятый – глядит и глядит, и светит, и все тянет оглянуться, глянуть ему прямо в лицо.

– Не могу я больше, ох, не могу! – отпустила ношу Афимья, и жмякнулось тело наземь, на грядки, как мешок.

Стал Иванюша копать яму, тут же, на соседском петровнином огороде, а Афимья все торопила:

– Да скорей ты, скорей – не могу я...

Через пень-колоду ровнял Иванюша землю, вершка на три каких-нибудь Пётру землей принакрыл. А все месяц, а все месяц проклятый: сзади стоит – и глядит насквозь.

Сентябрь уж к концу идет. Поля – неуютные, пустые, стриженные. По воздуху летят паутинки: вокруг кого обвиваются, тому и помирать скоро. По времени-то пора бы уж и утренникам, и ветрам прохладным, и серым облачкам слезливым. А тут, как нарочно, как на смех – жарынь пошла. До того дошло дело – ребятенки в речку Ворону полезли, второй раз купаться начали, вот до чего тепло.

«Ох, пропадет, пропадет баранина по такой жаре, видно – надо солить взяться».

Хоть и не до солонины совсем Афимье, а дело такое, что не ждет. Принесла баранину с погреба, порубила на куски топором – тем самым, клала в кадушку, что Пётра к Воздвиженью привез, посыпала селитрой толченой да солью.

А изба уж опять полным-полна любопытных кумушек, все вокруг да около Афимьи кружатся, с расспросцами да с подходцами. Как это такое, в сам-деле? Пропал человек – и ни слуху ни духу. Чай, не иголка...

– А как же, кума, без мужика теперича будешь жить? С душевым-то мекаешь как? Арендателю?

– Надо быть – арендателю.

– Н-да... Ну, а это самое... В город-то Пётра уезжал – нюжли ж ни полслова не молвил, так вот и провалился?

Ходят, нюхают кумы по избе. Пощупали шаль Афимьину. Покопали в золе на загнетке. Отколупнули корку от ковриги.

– Афимьюшка-а, смазка-то у тебя пеклеванная, что ль? Корка-то дюже бела?

И от смазки пеклеванной, от хлеба – к Пётре опять. Да за дорого ли хлеб-то продал, да много ли денег с собой привез? Да...

Извели, как есть – извели Афимью. И что им тут нужно, и чего вынюхивают? Еле их проводила.

Проводила – кадушки с солониной в погребицу поставила, гнетком пригнела. Из погребицы темной да прохладной вышла на двор – жара-то в голову так и вдарила.

И дымком закурилась – закружилась несуразная мысль:

«Жара... От жары Пётра дух пустит... Учуют, узнают, разроют...»

Поглядела Афимья туда, где желтел бурьян огородный, нюхнула, и чудится: уж есть душок, есть – да тошный, да мутный.

Вернулась в избу. Ходила, дела правила, и ничего как будто. А в голове, внутри, стали все колеса: зацепились вот за одну непроворотную мысль и стали.

Ничего в этот день не ела Афимья: все притчился дух тот – тошный и сладкий. И всю ночь не сомкнула глаз. «Да попритчилось, может? Ничего, в самом-то деле, и нету?» И опять побежит из избы, и стоит на крыльце белой тенью, и нюхает. Пес на рыскале мечется, воет, морду поднял кверху. А оттуда – ущербленным, прищуренным зраком глядит, ухмыляется месяц-ведун.

Наутро Афимья пошла к Селифонтовым, Иванюшу выждала. Подошла к нему, голову подняла, понюхала:

– Чуешь, Иванюша, дух-то пошел, чуешь – от Пётры?

– Что ты, Христос с тобой, Афимья! Да и далеко отсюда огород петровнин, ничего не учуешь.

– Эх... А она вот чует, собака-то... Ну вот – ну теперь? Нет, надобно Пётру иначе спрятать, так оставить нельзя.

– Да никак ты рехнулась, Афимья? Мысленно ли дело – покойника вырывать? Уходи, у-хо-ди, боюсь я тебя...

Не хочет – так не хочет, теперь все равно Афимье: как деревянная стала, как дерево безлистное, обуглела вся душа.

Перед паужном подкатил к Афимьину двору тарантас парой, и вылезли: барин городской какой-то и сам становой. Ни заторопилась, ни тебе испугалась Афимья. Деревянно-покорно ходила, куда водили ее господа. Отвечала, раскрывала сундуки приданные, отпирала закуты, чуланы, подклетья. А сама все нюхала тошный, сладкий дух с петровнина огорода – и дивилась:

«Да что ж они – обезносели все, не чуют-то?»

Уехали, не учуяли. Затихла всполошенная улица. Полегла на дороге пыль. Замигали подслепло-покорно деревенские огоньки. Глянул месяц – и еще больше прищурен был нынче, еще хитрее подмаргивал тусклый его зрак.

Все равно Афимье. Ничего не боялась, совсем как деревянная. С железной скребкой одна пошла на пет-

ровнин огород. Вырыла Пётру – кумачовая рубаха его от земли замокла, стала черная-пречерная. Откуда сил взялось, дотащила до своего двора, сволокла Пётру в овин.

Засветила фонарь, опустилась в погребицу. Вывалила наземь солонину из кадушек – уж и жалко было своими руками добро губить! – накрыла солонину веретем.

Вернулась в овин с фонарем и с топором, с тем самым. Неторопливо, спокойно, без единой дрожи, как во сне, разрубила Пётру на куски. Перетаскала в погребицу, уложила в кадушки, пересыпала солью с селитрой, гнетком пригнела: солонина.

Проспала Афимья всю ночь без просыпу: уж не притчился дух тот проклятый.

7

Глотка у Васятки распухла, по телу по всему сыпь рассыпалась. Двои сутки надрывался он, без отдыха на печи кричал. А Афимья – как не слыхала. Сунет ему чашку с хлёбовом, либо воды корец – и сидит опять на лавке, час и другой, как очумелая, без дела, без мысли единой.

На третий день у Васятки не хватило уж крику, стал он щенячьим жалостным писком пищать. Пронял этот писк Афимью. Кинулась на печь, нагнулась:

«Мертвенький мой – щеночком вот так же пищал бы. Ножками бы вот так брыкал, и морденка бы от слез чу-мазая...»

Всю ночь так просидела, нагнувшись. Но не над Васяткой сидела – над тем, над своим, над первеньким – сидела, исходила тоской, а слез все не было, а глаза – сухие, а губы – сухие.

Был ночью туман, и встало солнце красное, тусклое. Вздогнула Афимья, отвернулась от окна.

Услыхала: колокол сквозь туман. Вспомнила: воскресенье ведь. Хотела было руку поднять да крест на себя наложить – сил не хватило.

От обедни заглянула к Афимье соседка – Петровушка.

После церкви – она строгая, ладаном пахнет легонько, лик темный – морщин щепоть.

Шевельнулась было ей навстречу Афимья – да не всталось. Плеснула руками Петровна – уложила лежать Афимью:

– Поглядела бы, какая ты есть-то, матушка: краше в гроб кладут. Лежи, лежи, не бойчись. Я все тебе справлю.

Искупала Петровна Васятку, печь истопила, пошла в погребицу: надо для-ради воскресенья щи наварные, с убоиной, сделать.

Лежит Афимья, глядит на Петровну.

«Кто я ей? Никто. А вот ведь пришла, дом свой бросила, ходит, хлопочет...»

Глядит Афимья на проворные петровнины руки, на чашку расписную с рубленой капустой, на добрый кусок солонины.

И вдруг – узнала Афимья... Задохнулась – рот раскрыт, как у вынутой рыбы – сказать – а не может.

– Пё-Пётра... – поднялась на локте, вперилась, остолбенела.

– Куролесишь ты, баба, погляжу я. Ну чего – Пётра? Кончился Пётра – и весь тут сказ. Чего с ума-то сходить? Иль дюже сладок он тебе был?

– Погляди... Петровна, Господи... В погребице-то... Погляди... пропала я...

Повалилась Афимья и глаза замкнула, чтобы не видеть – чтобы только не видеть.

Пошла Петровна ворчливо: эх, и что за народ нонче пошел никудышный, распустёхи, замуздать себя не хотят.

Спустилась в черную яму погребицы. Минуточку малую пробыла там Петровна – и выскочила, как угорелая, ужаснулась, увидала там...

– Господи Иисусе! С нами крестная сила, да что ж это такое?

Трижды перекрестилась: уж не наважденье ли? Нет, вот и руки еще все в рассоле...

А в избу Петровна вошла уж такая, какая и была: степенная, строгая, разве только руки чуть приметно дрожали.

Села на лавку в изголовье у Афимьи, рукою прикрыла ей глаза, стала гладить ей волосы – неприбранные.

– Ах, Афимьюшка, ах, сердешная...

И все пуще мелкой трёской тряслась Афимья у ней под рукой.

– Эх, Афимьюшка, девонька, вот она жисть-то наша какая. Эх, Афимьюшка, болезная...

И полились в три ручья слезы у Афимьи: как лед вот тронулся, как половодье. Сломался лед – и все, как на духу, рассказала Афимья. И как младенчика хотела всей душой, и как у порога топор взяла, и как была шея Пётрова с морщинами накрест. И как ей попритчился тошный тот дух. И всякое слово обмывала Афимья горючей слезой.

Покачала Петровна темным ликом, раскрыла щепоть морщин.

– Эх ты, неразумная! Людей боялась... Людей-то, чего их бояться: себя страшно. Так ведь, а?

Долго толковала Петровна с Афимьей – и оттаяла Афимья, отошла.

С понедельника осень началась, заслезил дождичёк маленький. Ничего-о, пущай слезит: зато зелены хорошо взойдут. И смирно, терпеливо стоят у ворот Афимьиных, мокнут понятые, бабы в кацавейках со всего села, старики с посохами.

Вышла из избы Афимья – петровниным черным платком покрыта, у самой-то цветные все были. Низко насунут черный платок, глаз не видать, только губы одни крепко сжаты.

Не Афимья это, нет. Но уж так-то всем знато и ведано это лицо, и глаза в тенях, и сжатые губы. Но где? Во сне ли, привиделось? Нет. Уж не там ли, не в церкви ли, видели на стене тот женский скорбящий лик?

И все, как один, стар и млад – отдали последний поклон Афимье. И все, как один, сказали:

– Прощай, Афимьюшка. Бог те простит.



АПРЕЛЬ

На улице солнце. Дорога просохла. Вьется апрельская легкая пыль. И так сладко-больно глядеть на первую пыль, что может даже слеза застит глаз. А может, и так это – облако мимо летит, и никакой нету слезы, что, правда, за глупости такие!

А больших – это, вот, да: больших Насте жалко, уж наверно не могут они понять, что за сласть – сидеть вот и на первую пыль глядеть. Настя, будь ее воля, день бы целехонек тут на окне просидела, да дела, нельзя: одеваться, в гимназию идти – книги – шляпа... А вчера он про шляпу сказал:

– От вашей шляпы одни фикции болтаются: пора бы ее в печку.

А ну ее, правда! И – шляпу под стол, золотую косу – через плечо, вниз по ступенькам, через две, через три.

У ворот – липа, листьев нету еще, так только – дымка зеленая, повитая солнцем. А под липой – он стоит: чуть пробились усы, и любимое у него слово – фикция. Каждый день стоит тут и ждет. И каждый день воробьенком бьется сердце у Насти. Потому что ни разу еще не объяснялся он, и как знать – может, сегодня-то вот и... А тут еще вчера пари это Настя ему проиграла – за то, что спросили, а двойки он все-таки не получил. Мало ли, что он теперь может потребовать?

Настю провожал всегда Коля до старых городских, от зеленого мха корявых ворот. Тут, прощаясь, Коля вспомнил случайно – совершенно случайно:

– Ах, да, пари-то мое ведь? Во-от, чуть не забыл!

Держит Настину руку, не отпускает, покраснел весь, голос чужой стал, басовитый – со страху:

– Я могу... потребовать. Я ни при чем, вы сами зачем затеяли...

Духу набрал – и головой в воду – ух!

– ...И вот хочу вас теперь поцеловать, и вы должны, потому что пари, а то – подло.

Нагнулся к Насте. Повторенный эхом – нежный, чуть слышный звук. И... Настя ни чуточки даже не осердилась. Ну, хотела же, правда – хотела, и увернуться тоже хотела, а вышло: не увернулась, а может быть, даже... Глаза Настя на минуточку малую закрыла, под ногами качнулось. Да, наверное, знаете, видели – вихорьки такие в апреле на улицах бывают: маленький, прозрачный закружился, и уж глядь – оторвался от земли – и к небу. Вот и Настя теперь летит, так и не знает: где, когда, что...

Глаза открыла – очень плохо все видно. И не понять: куда Коля девался и откуда взялась – стоит Алексевна перед Настей.

– А-а, Настенька, здра-аствуй, милая, здравствуй! Что же это, с кавалерами-то уж на улице стала теперь целоваться? Вот оно ка-ак? Так-так-так.

А сама все ближе подвигается, и видать уж волосы на подбородке у Алексевны – на бородавках – трясутся от радости.

– Ах ты, б-бесстыдница, ах-ах-ах, а? Вот погоди: вот мамаше просвирочку заздравную отнесу, я ее – про дочку-то ее обрадую...

...Что – говорить? Что толку просить? Алексевну-то? Старую девку-то эту? Да разве ее упросишь?

В гимназии забудется все на минуту, закружится, пропадет в веселом весеннем шуме. Такое ведь за окном солнце. И вдруг – бледнее день, и клонится, вянет Настина голова.

«Об этом – о самом моем... Об этом – будут вслух? О!»

Звонок. Конец. Но домой нельзя еще идти: дождь. Стопились все внизу, в раздевальной, открыли окно в сад.

Там – зеленое притихло все, испугалось: а ну-ка вдруг конец веселому маю, солнцу – конец? Нависло-потемнело.

А Настя – о своем:

«Как все быстро это вышло и просто. Должно быть, все ужасное – просто».

Вдруг как запрыгают светлые капли, как засверкают. То-то потеха! Набросились на зеленое, шумят, шебаршат: буйную какую-то школу ребяенок выпустили на перемену – и они подняли веселый содом.

И опять смотрит солнце – еще яснее: умылось. Апрельские слезы – недолги.

Дома. В передней – противные Алексевны калоши глубоченные и шугайка висит, рыжая. Значит...

Мать вышла Насте навстречу – с низким поклоном:

– Пожа-алуй, дочка дорогая, пожалуй, любезная!

И начинается. Все, до последнего – и как же ее стыд не зазрит! – все рассказывает, подхихикивает Алексевна. Настя к стене прислонилась, руки – за спину. «Господи, помоги, Господи... А Коля – говорил, что не верит уже и что надо выйти из детских рамок. Нет, Господи, нет, помоги!»

Мать зажигает новую папиросу:

– Ну, что же, правду сказывает Алексевна-то? А?

– Пра... правду, – сгорела вся Настя, но глаз не опустила.

– Правду, а? Создается, глаза еще пялит, а? Да если ты с этих пор... Что же из тебя выйдет-то? Господи-батьюшки, наградил ты меня!

Алексевна головой покивает, вздыхает, гладит бархатный свой ридикюлец: о-хо-хо-хо!

– ...А этого, героя твоего – я его юбошничать отучу-у, – мать стучит мослаком по столу, – я его отучу-у! Нынче же вечером вот поеду – и директору реальному все расскажу. Попрут – так ему и надо: не юбошничай.

Нет, вот оно когда – ужасное-то... Очень тихо Настя сказала:

– Хорошо. Если ты, правда – директору, то я знаю, что сделаю...

Что же: только посильней перевеситься за окно – и вся недолга. Небось тогда мать пожалеет, да уж...

– Каково? Она ж еще смеет грозить? Пошла си-ю мину-ту в мою комнату, и чтоб шагу не смела. Удерет? Ну, не-ет, чтоб не удрала... Да ты, никак, Алексевнушка, уж уходишь? Ну, прощай, прощай, спасибо. В воскресенье-то, обедать, гляди, не забудь.

...Чтобы не удрала дрянь-девчонка, отобрала мать у Насти чулки-башмаки и в комод их приперла.

Одна осталась. Села Настя на кровать, согнулась, тоненькая, в три погибели, спрятала слезы в подушку.

«Как все ужасно, как все стыдно. Если правда – директору, так ведь это же... Ну, его хоть, по крайней мере, так – босого – не запрут. Вот ведь, не зря он говорил о неравноправии девочек с мужчинами... Вот, отсутствие демократического строя, неравноправие – вот теперь и сиди без чулок, позорно».

Почему так обернулось – неизвестно, но только самое сейчас горькое Насте: без чулок, босиком. Ноги под платье запрятала, плачет и плачет, и конца-краю нет Настину горю...

По белой занавеске ползет вверх любопытное солнце. Нашарило прогалок, пробралось внутрь. Золотым сиянием напитало розовое Настино ухо. Слезло – рядом с золотом волос легло на подушке на мокрой, досуха выпило Настины слезы.

Настя поглубже засунула руки под подушку: там очень хорошо, прохладно. Улеглась поудобней.

Ах, если бы она была красавица, бледная – и глаза бы... Колю, впрочем, любила бы все так же. А зато уж большим бы этим – уж им бы показа-а-ла! Глаза бы так вот сощурить: «Целовалась? Да, целовалась. Да, хочу вот-и буду, и все...»

А потом бы уйти и жить с Колей. И с рабочими. И вот, вечером они собираются на заговор в нашей комнате. «А-а, вы, стало быть, его жена?» – «Да, я жена». – «Ну, значит, мы при вас можем...» И очень хорошо и весело.

...А их еще больше. Схватили ее за руки – и через все комнаты. Только лампу у папы не разбили бы в кабинете. Трах, готово! Ну, вот, ну, вот! Господи, ведь говорила же! Вот и сиди в теми.

– В теми. Посадили, так и есть – посадили в гимназический подвал. Вот, ведь всегда боялась мимо ходить.

И теперь так далеко – голоса сверху:

– Настюша! Настюшенька!

«Это няня. Милая няня, я тут, спаси же меня, я тут...»

– Настюшенька-а! Да ты что же это? Наплакалась – да и заснула, милуша?

Милая няня – обнять бы: спасла от страшного сна. Но за нянькой – мать. Всю ужасную свою жизнь вспомнила Настя, от няньки отвернулась.

– И вовсе не спала, оставь, пожалуйста.

Нянька на столик у кровати поставила тарелки: обед. Такое уж положение – наказанным холодный обед.

– Ешь, – говорит мать, – нечего фордыбачить-то.

– Напрасно беспокоились. И не подумаю.

– Ну, была бы честь предложена. Катерина, уноси.

Сокрушенно качая головой, нянька уносит тарелки обратно.

А есть – Насте хочется до того, что... Ну, хоть бы хлеба корочку! Настя кричит вдогонку:

– Постой, постой-ка, вот что... – проглотила слюну, еле-еле одолела себя, но одолела. – Нет, я не то, не хочу. Я... да, вот что: принеси мне книги, нянька, в ремнях которые, ну, да – в передней.

Ведь вот еще дело-то какое: вызвалась завтра Настя поправляться по истории, завтра последний день. А какая уж тебе тут учеба, когда одно в голове: поедет мать – и скажет директору, поедет – и скажет. И тогда...

Перевертывает Настя страницу. А что, бишь, это было – о чем на той-то? Как будто и не читала. Только всего и вспоминается: внизу страницы, в уголку, треугольник нарисован, в треугольнике – глаза и рот, и приделаны удивительные усы.

Мать сидит тут же в кресле, с закрытыми глазами. Вот вынула синий флакон, нюхает, морщится.

«Мигрень, ага? Так тебе и надо, так и надо! Это за то, что...»

И вдруг роняет Настя книгу – снизу звонко кличет голос:

– Настя, вы тут, а? Идите – в крокет играть.

Тишь. Слышит Настя – бьет сердце в набат. Не шевельнется.

– Да идите же! Ну, чего, в самом деле, не притворяйтесь, я же видал вас в окне.

Колыхнул занавеску ветер вечерний. Нет, нет, не надо туда, не глядеть... Ухватила Настя в книге за чужое, колючее какое-то, слово. Верцингеторикс, Вер-

цингеторикс. Десять, двадцать, сорок Верцингеториксов. А снизу:

– Вы даже говорить не хотите? Ну, я в последний раз...

«Коля, милый, да хочу же. Коля, хочу!» – кричит Настя неслышно. И опять: Верцингеторикс, Верцингеторикс, Верцингеторикс.

Еще минуту – еще минуту глядит Коля снизу в окно. А-а... Она молчит? Значит, все это и что утром нынче было, все – фикция? Ну, хорошо же, ну хорошо!

Хохочет Коля нарочно громко и идет к красному колу, к Варюше. Очень уж курбастенькая она, Варюша, – тумбочка, правда. Все равно, пусть.

– Будем, Варюша, с вами играть. Не вечно же быть врагами. Да и кроме того, от ненависти ведь один только шаг до...

Заливается на верхах курбастенькая Варюша, смеется Коля. Играют. Все – слышно – все до капельки слышно наверху.

«Ему все равно, ему весело. Верцингеторикс, Верцингеторикс. Все кончено, все».

Солнце ушло. Небо – пустое, конца нет пустоте. Темно веет ветер закатный.

Перед уходом – мать зажгла лампу: кончен день. Но не радуется Настю и материн уход: ведь кончен же апрельский светлый день, кончен!

И страшнее всего: сейчас велит лошадь запречь, поедет мать к директору реальному... Ну как же теперь, как?

– Ко-оля, Ко-оля!

Никого на дворе. В потухающее небо врезана черная, голая еще ветка. И такая печаль от ветки этой, что хочется Насте...

Но справа из-за угла – веселый визг. Да, это она, курбастая, а за нею... А за нею – вдогонку – Коля. Ой, зачем же он, зачем он?

Догнал, ухватил – и туда, под темный навес – и... Под навесом темно.

Чуть-чуть вот нажмет еще Настя зубы – и кажется, хрупнут, и рот будет полон жемчужных крох.

«Теперь надо... теперь уж пора, все равно».

Глянула Настя вниз. Так близко белеют плиты. Страшно, в-в-в... И жаль. Чего? Себя? Или ясной весны?

Все равно. Это надо. Ну, подождать, пока стемнеет. И еще сказать сначала ему, предупредить, что мать...

И тихим, сломленным голосом Настя зовет:

– Коля!

Не сразу, нарочно-лениво, подходит он к окну.

– Вы? Ах, вы, Настя? Я задержал вас, простите, мы... мы играем.

Крепче держится Настя за подоконник.

– Я ничего, Коля – я только... Ведь мать сейчас поедет... Она хотела сказать вашему директору про сегодняшнее утро.

И теплится Настя: «Вот, услышит он сейчас: утро – и вспомнит, и все будет...»

– Сегодняшнее утро? Вот пустяки-то! – Коля смеется. «Пустяки? Господи, это пустяки!»

– А ваша мать с мопсом уехала, я видал. Ни к какому, значит, не к директору, а кататься. С мопсом-то – к директору? Хо!

Настя задернула занавеску. Стыд-стыд – стыд! И хуже всего, что мать – с мопсом...

Но смиряет себя: теперь, как перед причастием, надо простить. И его тоже. Потом – подождать, пока совсем стемнеет...

И стоя за занавеской – Настя шепчет:

– Милый Коля, я тебя прощаю. Господи, помоги простить, помоги все простить!

Драгоценная, прозрачная, спускается ночь за окном, тонкая, гнется, тонкая – без теней, без шепота листьев. Нежно-зеленая трава затуманивается грустью, чуть-чуть лиловеет. Страшно деревьям шевельнуться: не поцарапать бы голою веткой прозрачное небо. В сумраке улицы где-то мальчишки кричат звонкими голосами, доигрывают в бабки на просохшей за день дорожке, приглядываются к чуть видным, белым на земле и звенят битками. На минуту замолкли – и совсем тихо, прозрачно.

И останавливаются на улице двое идущих под руку. Неведомо, кто они: в апрельскую ночь мало ли бродит околдованных? Останавливаются двое неведомых: сил нету дальше идти – так хорошо. Смотрят на белые, далекой зарей чуть алеющие дома с раскрытыми окнами. Сил нет: садятся наземь, проводят по траве ненароком – и

вот мокрые руки – в апрельской росе. Так хорошо приложить к горячим щекам...

Неясно и нежно зовет мальчика ночь. Выходит из дому, – там зажгли уж огни. Вдыхает отраву апрельских рос. Минутку стоит так, пьянея. Протирает застланные странным туманом глаза, бежит к Настинному окну, спотыкается, протягивает вверх руки и зовет, ему кажется – один он и слышит:

– Настя! Настя же!

Настя вздрагивает, поднимается с подушки.

– Настя. Вот, я стану на колени, хочешь? Я стал. Только не молчи, не молчи. Ведь я тебя лю-люблю... А то, что я сделал.

Снова жить – бросилась Настя к окну. Хлынула теплая волна слез, затопила.

– Мама меня... И вы – и вы – еще... А мне завтра попра... оправляться...

И катятся между пальцев – катятся драгоценным жемчугом слезы, падают вниз.

– Настя! Милая! Вот, ведь я знаю, знаю же, если бы я был с тобой, ты бы простила, ведь я бы тебя, ведь я бы... не знаю что!

Где-то сзади открыли окно, глядят и смеются. Ну и пусть, ничего сейчас не стыдно, все для Коли – фикция, и не встанет он с белеющих каменных плит

Со слезами Настя мешает смех, вся нагибается из окна вниз, протягивает руки:

– Милый мой... Нет, не достану, не могу тебя достать!

Секунду молчит. Увидела: наклонились сверху над ней неяркие, весенние звезды. Обрадовалась, вспомнила:

– Коля, а ты знаешь? Ведь я хотела за тебя броситься вниз, вот сюда. Теперь бы уж бросилась. Звезды, погляди...

Из открытого напротив окна – смеются. Ах, пусть смеются: они не понимают, большие, не могут, бедные, понять.



СТАРШИНА

Конона Тюрина сын Ванятка – больно к науке негож был. Все, бывало, молился:

– Господи, да пошли ж ты, штоб училишша сгорела и мне ба туда не итить...

Сгореть – училище не сгорело, целехонько стояло, а все из Ванятки толку не вышло. В солдаты пошел Иван – зазнали и там с ним горя. Сиволапый, громадный, кос-ный, ходит не в ногу. Бей его – спину подставит, не крякнет, да что из того проку? Последнее дело – винтовку кликать, как след, и тому Тюрин Иван не обучился.

– Трехлинейная, понял? Трех-ли-нейная.

– Т-трех-лилейная, – старательно выговаривал Иван.

Спрашивали Ивана:

– Что такое выстрел? Ну, живо?

Иван отвечал:

– Этта... когда... пуля из ружа лезя...

Так безграмотным и домой вернулся Иван – в село Ленивку. Обженили его – на Степаниде, из богатого двора – Свисткёвых, стали величать Иван Коныч. И зажил Иван Коныч большим мужиком, сеял хлеб, убирал, все – как надо. Без дела языка не чесал, ну и Степанида – помалу молчать приобыкла: боялась своего мужика – добре уж тяжел. Когда, случится, дома Ивана нет – тут Степанида наплачется всласть, у окошечка на лавке сидя.

Днем рыскали по избе тараканы, ночью жилили блохи, ели Тюрины грязно. А Иван приговаривал:

– Ни-ча-во! Бык вон помои пивал, а и то – здоров бывал.

Три года было урожайных: сколотил себе Иван деньги, новую избу поставил. Ночью, на ране новоселья,

вышел на двор. Громадный, косматый, силища – согнулся в три погибели, до земли поклонился старой избе:

– Батюшка домовой, пожалуй в новый покой.

И так – до трех раз. Но вышло новоселье к лиху: сидели без хлеба, по людям хворь какая-то ходила, от животов – вот как мерли. Приехал тут земский, Тишка Мухортов, и с ним – доктор. Объявили холеру: того-то, мол, не пейте, того-то не ешьте. Собрали сход мужики, загалдели:

– Да это что ж нам – помирать, стало быть, не пимши, не емши?

– Подсыпали в воду-то, а потом на попятный: не пей...

– Да что там, выкупать их в этой воде, оно и...

Земский и доктор сидели на съезжей, слушали – и дрожмя дрожали. Староста туда-сюда: «Что вы, братцы, что вы, рази можно...» А сход – ему уж не верит: видимое дело, староста с господами заодно.

Тут-то Иван Коныч могутным плечом распихал народ и лоб нагнувши, как бык, влез на крыльцо. Шапку снял, перекрестился:

– А Бога-то, братцы, забыли, а? Опахивать надо, вот что!

Доктора и земского отпустили, опахали Ленивку в ту же ночь. Стали теперь и докторовы снадобья пить: потому – опахали, ну стало быть – и снадобья не страшны. И что же: ушла ведь холера-то.

Земский Ивану Конычу по гроб жизни был благодарен – за то, что его с доктором выручил тогда Коныч; а мужики кланялись Ивану Конычу – за то, что Ленивку опахать надоумил. Так оно и вышло, что стал ходить в старостах Коныч, а малость погода – в старшинах волостных.

Отпустил себе Коныч брюхо и бороду. К бумагам прикладывал по безграмотству печать, накопченную на свечке. Всю волю начальскую исполнял Коныч справно, и дали ему за то золотую царскую медаль.

С той поры писарю волостному Пал Палычу, дан был от Коныча приказ ставить на бумагах подпись: «Волостной старшина и кавалер, а по безграмотству его именная печать». Мужиков после медали Коныч зачал теснить, податя сбирал раньше сроку, – все чтоб на отличку перед

начальством. Ну ничего, терпели, а уж стало вконец непереносно – это когда Коныч повесил приказ: «Сего числа старшина Иван Коныч Тюрин приказал проживающим семечек по праздникам и высокаторжественным дням не лускать отнюдь». Тут уж стали поговаривать, что пора бы Коныча и сменить.

Пока то да се – ан, глядь, уж тот самый год пришел, когда царь новую волю объявил. Первая была воля – от господ половину земли получили: ясно дело, насчет остатней земли указ теперь вышел. С первой-то воли народ, поди, расплодился, не хватает землишки, ну царь-то в это вошел и, значит, – дал указ.

Так вот точно странник Гавриил (хрипучий который) – все и обсказал по селу Ленивке. А уж Гавриилу все до чиста известно, трижды в Ерусалиме странник был, как же неизвестно, а японскую войну Гавриил в точности за три года предсказал.

Стал Коныч ждать бумаги насчет земли – от земского, от Тишки от Мухортова, а только нет бумаги и нет. Ну, спасибо, тут кучер мухортовский ихний приехал: прознал от него Коныч, что земский в городе засел и сюда носа не кажет.

Покумекал Коныч – покумекал:

«Нет, мол, указ надо сполнять в аккурате, потому медаль. Мало бы что, земский в городе – неизвестно что, а я сложимши руки и сиди? Этак нагорит».

И велел Коныч писарю бумагу писать к Русину-старiku: от Русиных, мол, в первую волю нарезана была земля, ну, стало быть, и теперь...

Коныч диктовал, писарь писал:

«Бумага господину Русину.

Как обществу надлежаще стало ведомо, и не имея существования к жизни, пришел указ надлежаще землю господскую крестьянам, то и прошу Ваше Превосходительство, господин Русин, надлежаще расписаться в слушании.

Волостной старшина и кавалер, а по безграмотству его именная печать».

А Русин не только надлежаще не расписался, но на сотского ногами топал и жалобу грозил послать. Жа-алю-бу! А указ-то от кого, а? Не-ет, Коныч службу знает, у Коныча – недаром медаль.

У господ в те поры стражников по имениям понаставили, а у Русиных не было. Не то чтобы забыли или что, а просто становой на Коныча – как на каменную гору:

– У Тюрина? У Коныча? Ну, брат, у него и не пикнут...

И не пикнули, верно. Собрал Коныч сход, писарю велел бумагу объявить, какую Русину-то писали, и всех нарядил на завтра с сохами идти – леги запахивать, русинскую землю по указу переделывать. И пошли, все до единого, разве старики какие недужные остались.

Хоть и перевалил октябрь за середину, а еще погожие были дни, сухмень, теплынь. Гурьбой шли чрез село к Русину мужики, а бабы на токах цепами стучали, и таково было весело всем, – беда!

Русинский белый с зубцами забор; над забором – листья на деревьях уцелели, где золотенькие, где красные, а на дому на русинском – крыша ясная, как жар горит...

Вышел к воротам генерал сам. Красный, ну, чисто сейчас вот из бани, с полка.

Стал ему Иван Коныч произъяснять – вяк-вяк, а толку не выходит, не внятно:

– Надлежаще... Хотя-хоть и конечно, мы...

Ну ладно: велел старшина писарю говорить, а писарь говорит – как красна́ точёт. Писарь – сначала про Минина-Пожарского, потом про окружной суд, про Наполеона, потом про какого-то брехучего быка... Этакой ловкач!

Слушал генерал – слушал, да ка-ак зяпнет:

– П-пашли все вон!

Ну, тут что же, конечно: пошли, землю поделили, все честно-благородно. Бумагу написали, Коныч приложил печать: делу, стало быть, конец. Двух стариков приставили новые наделы сторожить, а Русину – усадьбу отвели, все сарай и всякие там причиндалы, и живности ему половину отдали. Все по совести, по указу, а он взял – да и нажалился, старый хрен. Ну, нынче и народ!

Через три дня – исправник приехал, стражников видимо-невидимо, а еще – малый молодой какой-то из города, с кокардой: из окружного, что ли. Забрали и Коныча, и писаря, и мужиков, кого погорластей. На телеги посажали – и эх... Бабы были, а телята без хозяйского глазу, хвосты задрав, – по улице вскачь, телятам – веселье.

Судили мужиков из Ленивки не скоро, через год, почитай. И из острога на суд – все такой же пришел Коныч: ядреный мужик, ведьмедь, и медаль свою на шею вздел.

Говорили-говорили на суде – дня три без передышки, ну и языки же крепкие. А что к чему – неизвестно. Под конец и Коныча спросили. Коныч вскочил, руку приложил к сердцу, от сердца им стал говорить:

– Ваши превосходительства. Как по указу ведь я, надлежаще... Вот она – вот, от начальства медаль-то! А меня... Нешто так возможно?

Уж вечер, уж лампы зажгли, а судьи все не выходили. Уморился Коныч так, зря сидеть: «Что, мол, их на ключ, что ли, кто замкнул, не идут-то чего?»

Вышли, бумагу читали; сказали – тоже, мол, и они по указу судили, ну да кто их знает. Кто-то объяснил Конычу: оправдали, мол, можно домой.

Заторопился Коныч идти: надо еще до ночи управиться – новый хомут купить. Не то с господами-то проститься надо, не то нет? Остановился Коныч, к судьям повернулся – и еще попрекнул напоследок:

– Ну, вот то-то и оно-то: оправдали, домой. Я – знаю, я – по указу, надлежаще. Меня не собьешь!



КРЯЖИ

1

Не перевелись еще крепкие, дремучие леса на Руси. Вот кто в Пожогe бывал – тот знает: хоть целый день иди, в какую сторону хочешь, все из лесу не выйдешь, все будут сосны шуметь, зеленошубые, важные, мудрые. А в Пожогу вернешься – у прясла встретит такой же мудрый, ту же думу думающий каменный бог: в запрошлом году рыли овин у попа – и откопали старое идолище. Там – Никола себе Николой, а все-таки и к нечисти надо с опаской: кабы какой вереды не вышло. И тайком от попа, с почетом, вынесли нечисть за прясло, там и поставили у дороги.

Через эту самую нечисть и пошла вражда между Иваном да Марьей. Вез Иван с базару лузги воз: послал поп за лузгой, вся вышла, не из чего курам месятки делать. А Марья везла деревá на продажу: сосны трехчетвертные. У околицы у самой и встретились.

– Эй ты, с лузгой, вороти!

Эх, хороша девка, брови-то как нахмурила соболиные! Может, кабы не такая была, и свернул бы Иван, а тут...

– А ну-ка, красавица, сама вороти: видишь, я с возом.

Ожгла искрой из глаз, стеганула по лошади Марья, хотела проскочить – да не спопашилась: зацепила осью за идолище, крякнула ось, покатились сосны трехчетвертные.

– Ах ты, заворотень, шаромыга! Я тебе покажу, как оси ломать...

Уж вскочила к Ивану на грядущку, уж замахнулась. Да на грех тут оборвалась пуговица у баски, разошлась на груди баска – и отзынула Марья.

У Ивана дух перехватило – от злости или еще от чего, Бог его знает. А только ни слова не сказал, слез, у воза своего вынул ось и ей поставил: подавись, мол, на! По-

том на руки поплевал, понатужился – силы и так довольно, а тут вдвое прибавилось: положил ей бревна на место, и поехала Марья.

Вот с той поры и пошло. Оба – кряжи, норовистые: встретятся где, в лесу ли на по-грибах, у речки ли на поводе – и ни вполглаза не глянут. Почерпнут по ведрушке и разойдутся, всяк по своей дороге.

Уж далеко отойдут, уж запутается между рыжих стволов белая баска Марьиная, тут-то шишига и толкнет:

«А ну, оглянуться теперь? Наверно, далеко уж...»

И вот на тебе: как нарочно, оглянутся оба вместе. И отвернулись сейчас же, и побежали еще прытче, только плещется из ведер вода.

В Пожогe народ на счету, на веду́ живет: скоро проведали, какая пошла раздеряга между Иваном да Марьей. Стали про них языки точить, стали их подзуживать, – ну просто так, для потехи.

– Эх, Марья, работник-то попов, Иван-то, богатырь какой: сам-один, своим рукам, всю попову делянку срубил. Ды кудрявый, ды статный: вот бы тебе такого в мужья! Не пойдешь, говоришь? Не хочет, братцы, а?

А потом – Ивану:

– ...А встретили мы сейчас Марью: про тебя, Иван, говорила. И зазря, говорит, он на меня зарится, я сама у матери всем хозяйством правлю, мужиков этих самых мне не надобно. А уж, мол, таких, как Иван, без кола без двора, и подавно...

И разгасятся они оба, Иван да Марья, и обносят за глаза друг дружку словами разными: тем-то скоморохам, конечно, потеха.

А ночью... Да что: ночью человек ведь один сам с собой, да и не видит ночь ничего, состарилась, глаза потеряла.

2

Петров день скоро, великий праздник летний. Уж и погуляют же в Пожогe, похлебают вина до дна мужики, накорогодятся девки да парни.

Свой медный гребень – от деда достался – начищает песком попов работник Иван. Уж как жар горит гребень, а Ивану все мало, все лощит. Ох, выбрал, должно быть,

Иван, кому гребень отдать! Есть откуда выбрать в Пожог: пригожих много...

Наране Петрова дня уехали мужики невод ставить на Лошадий остров, где поножь лошадиная каждый год. А день – красный, солнце костром горит, растомились сосны, смола течет. И случилось, побежали в челне на тот же Лошадий остров девки пожожские, в Унже купаться: нет купанья лучше, как тут.

Вылезли, глядь-поглядь: мужики в тени дрыхнут – солнцем сморило, Унжа лежит недвижима, поплавки от невода – спят.

– Подружки, а давайте невод тянуть?

Кому же это сказать, как не Марье: она везде коновод, заводило.

– Да тут глыбь, омутья. Ишь ты какая бойченая!

Пошептались, пожались – да и полезли: уж больно лестно мужиков обойти. Взялись за тягла, тянут-потянут: нет, нейдет.

– Ой, сестрицы: утопый! Страсть, ей-Богу! Бросим, а?

Под вечер будь дело – бросили бы, а сейчас оно не так уж и страшно. Марья-заводило сбросила одёжу, вошла в воду поглубже.

– Налегни-ка, девонька, налегни.

Подался невод, пошел. Зачернелось под водой что-то, а что зачернелось – не понять. Пригляделись: усы и морда черная, и все обличье сомовье.

– Сом, сомяка! Батюшки, ну и страшенный! Ой, беги, Марья, в воду утянет.

Открыл сом ленивые буркалы, трепыхнулся – сигнет сейчас в воду, и поминай как звали...

– Ну, нет, не уйдешь... – кинулась Марья на сома, животом легла и держится, а сама благим матом: тyani-тyani-тyani!

И вытянули девки сома – и Марью с сомом, обступили: смех, воп, визг. Проснулись мужики, прибежали, подивились на сомяку страшенного. В затылках поскребли.

– Дыть, сонный он. Поди, лошадь его в воде копытом брыкнула. Эка мудрость такого-то выловить?

– Со-онный, говоришь? – как соскочит Марья с сома, рыбина как сиганет, мужики как попятятся...

– Ну будя баловать-то, давай. Наша рыбина, нашим неводом выняли, – галдели мужики. – Да оделись бы, оглашенные! Пошли-ка, пошли...

– А-а, так-то? А ну, девки, в воду сома.

Вот тебе, здравствуй. Экая оторвяжница, а? Надо, видно, миром кончать.

Сторговались за два рубля. Отсчитали девкам – чтоб их нелегкая! – два рубля, забрали невидалого сома мужики.

На Петров день гостинцев-то накупили девки на Марьины деньги: жамок, козуль, орехов, меду пьяного. Только и разговору в Пожогте, что про Марью, как Марья сома обротала: ну и богатыриха, ну и бой-девка.

Садилось солнце за Унжу, как дед на завалину, поглядывало на молодых старики-ласково. Под соснами зеленошубыми кружился-перевивался веселый корогод:

Как по травке – по муравке
Девки гуляли...

Только и славили, что Марью одну, только и выбирали все Марью да ту же, «ой Машеньку висошеньку, собой хорошу».

Приметил кой-кто: что-то не видать Ивана, работника попова. Посмеялись:

– Ну и зёл, ну и зёл же он, братцы! И что это ему Марья не мила так: чудно.

А Иван тут же стоял, недалечко, за соснами вековыми. Все гребень свой в руках мусолил, все на круг веселый смотрел, а в кругу Марья ходила, веселая, червонная, пышная: только брови собольи – строгие, да губы тонкие – строгие...

Уж стали веселыми ногами разбредаться мужики, уж находили покой похмелые головы на жилистых руках – корневищах сосновых. Выплыл месяц, медным рогом Ивана боднул – и побежал Иван к Унже. Размахнулся – раз! – и блеснул гребень, булькнул в Унжу.

3

Поп пожожский, отец Семен, в старое время на всю округу славился своей премудростью. Травками лечил: от винного запойства у него своя травка была, от блудной страсти – своя. Из ботвы из картофельной какие-то хлебы умудрялся печь. Индюки у него по двору ходили –

чисто собачищи лютые, никаких собак и не надо. А теперь уж на убыль пошло, стал отец Семен хилеть, забвение у него началось. Газету прочтет – расписывается на газете: «Прочитано. С. Платонов». А забудет расписаться – в другой раз ту же газету читает, и третий – пока не распишется.

Каждый день Ивана расспрашивать начинал отец Семен сначала:

– И чтой-то, Иван, примечаю я нынче, невеселый ты ходишь?

И каждый день Иван все так же встряхивал кудлами русыми:

– Я? Я ничего будто...

А сам скорей топор на плечо да куда-нибудь в лес подалее, на поповых делянках сосны валить. Хекал-свистел топор, брызгали щепки, сек со всего плеча – будто не сосна это была, а Марья да та же все. И сейчас подкосится, сломится, падет на коленочки и жалостно скажет:

– Ой, покорюсь, ой, Иванюша, помилуй...

С кузьминок – бабьего, девичьего да куричьего праздника – дождь пошел, на мочежинках повыскочили грибы. Рассыпался народ грибы собирать. Два дня сбирали, а на третий, возле Синего Лога, клюнула мальчонку змея, и к вечеру помер мальчонка. С того дня стала расти змея, и уж не змея это – змей страшный: Синий Лог стали за три версты обегать. А Иван – змею обрадовался, стал каждый день ходить в Синий Лог: никому другому – Ивану надо змея убить, и тогда...

Раз под вечер вернулся Иван из Синего Лога, глядь, на порядке – народ, шум. Подошел: в кругу на земле – лежит змей тот самый. Уж голову ему оттяпали, а он все еще шевелится. Медленно режут по кускам, вытягивают головы из-за плеч:

– Копаются-шша? Ну, и живуч, омрак страшный!

Эх! И топор бросил Иван, и на порубку ходить перестал, и на улицу не показывался: все опостылело.

Забелели утренники, зазябла земля, лежала неуютная, жалась: снежку бы. И на Михайлов день – снег повалил. Как хлынули белые хлопья – так и утихло все. Тихим коlobком белым лай собачий плывет. Молча молятся за людей старицы-сосны в клубуках белых.

От тишины от этой еще пуще сердце щемило. Морозу бы теперь лютого, так чтоб деревья трескались! Да выбежать бы в одной рубахе, окунуться в мороз, как в воду студеную, чтоб продернуло всего, чтоб ногами притопнуть – живо бы всю дурь из головы вон...

А морозы не шли, все больше ростепель. Небывалое дело: зимнего пути еще нет по Унже. А ведь святки уж на дворе.

Первый тому знак – стал отец Семен о гусях каждый день говорить. Напретил одно:

– Гусятинки бы, мать, а? За гусями-то ехать – время, мать, а?

Гусятинку любил отец Семен до смерти, без гусятины – и праздник не в праздник. А за гусями – вон куда ехать, в Варегу, за сорок верст. Ну да уж заодно – изюму купить для кутьи, муки подрукавной: стал Иван розвальни снаряжать.

– К середе-то, Иван, управишься?

– Я-то? Управляюсь.

– Ну, то-то. Ты гляди, к ночи чтоб не попасть. Волки ведь. Как это со мной-то вышло... – И уж в какой раз принимался отец Семен рассказывать: из той же Варегу он ехал, и волки увязались, и как он им по гусю выкидывал – так ни одного и не довез.

А Иван из Варегу нарочно в ночь выехал: волки так волки, хоть что-нибудь, развернуться бы в чем, одолеть бы что.

И как на смех – хоть бы один. Может, оттого на охоту не вышли волки, что ночь была ясная, месячная. Другие сутки стоял мороз.

К Пожогам приехал Иван в полдень. До перевоза доехал – у перевоза народ, шум: паром-то не ходит. Унжа – стала. Вот те и раз!

Унжа тут не широкая, видно, как на том боку машут руками. Бабы кричат – дразнятся:

– Эй, вы, заунженские! А ну-ко, по первопутку-то к нам?

– Ты, зевластая, помолчи! А то как вот перееду да как почну мутыскать...

– А ну, переешь! А переешь, переешь-ка, я погляжу! И показалось Ивану: на том боку, среди увязанных плат-

ками – мелькнула Марьи́на голова. Закипело в нем, ударил он лошадь – и стал спускаться на лед. Только спаянный лед – гнулся, булькали под ним пузыри, кругами шел треск.

– А переедет ведь, дьявол! Как Бог свят – переедет...

Иван на лед не глядел, ехал на санях стоймя, крутил вожжами над головой. Только когда уж к тому боку стал подъезжать, вдруг – все кру́гом в глазах – и куда-то вниз тихонько пошел, пошел, пошел...

Пока это опамятовались, да за ум взялись, да слег накидали на лед, пока вытащили Ивана и лошадь. Лошадь-то, должно быть, передними ногами цеплялась: лошадь только тряслась вся. А Иван – жив ли, нет ли, кто его знает.

– Качай, ребята, качай!

И когда галдеть перестали и начали на свитке качать – стало слышно: выл, причитал чей-то бабий звонкий голос. Поглядели: Марья.

– Качай, ребята! Отживе-е-ет еще, у нас народ крепкой, кряжистой...

Отживе-е-ет! Ну хоть бы послушать Марьины причеты – отживе-е-ет.



АФРИКА

1

Как всегда, на взморье – к пароходу – с берега побежали карбаса. Чего-нибудь да привез пароход: мучицы, сольцы, сахарку.

На море бегали беляки, карбаса ходили вниз-вверх. Тарахтела лебедка, травила ящики вниз, на карбаса.

– Все, что ли, а? – и уж хотели было поморы обратно вернуться, но тут вышло происшествие необычайное: с парохода по лесенке стали спускаться какие-то господа.

– Это... господам-то... куды же? – опешили карбаса.

– Но-о, глазами захопал! Не видишь, в Кереметь к вам? Принимай живей. Ерупитка!

Принимать пришлось Федору Волкову. Было их двое господ да одна девушка ихняя. И то разговаривают все по-нашему, по-нашему, а то примутся еще по-какому-то. Подивился Федор Волков.

– Вы, господа, сами-то родом откулева же будете?

А господа веселые. Переусмехнулись между собой, да и говорит, который бритый:

– Мы-то? – подмигнул. – Из Африки мы.

– Из А-африки? Да неуж и по-нашему там говорят?

– Там, брат, на всех языках говорят.

А девушка ихняя засмеялась. Чему засмеялась – неведомо, а только – хорошо засмеялась и хорошо на Федора Волкова поглядела: на плечи его страшенные; на голову-колгушку, по-ребячьи стриженную; на маленькие глазки нерпячьи.

Показал Федор Волков господам приезжим отводную квартиру: держал нынче квартиру Пимен, двоеданского начетчика племяш. Хорошая изба была, чистая.

Сел Федор Волков на камушке у ворот. В тишине сумерной было явственно слышно, как они там в избе разговаривали, то по-нашему, то по-своему опять. А потом заиграла ихняя девушка песню. Да такую какую-то, что у Федора инда в груди затеснило, вот такая грусть, а об чем – неведомо. И дивно было: девушка будто веселая, а этак поет?

Век бы ее слушал, да поздно уж: хочешь не хочешь, время – спать.

Ночь светлая, майская. По-настоящему не садилось солнце, а так только, принагнется, по морю поплывет – и все море распишет золотыми выкружками, алыми закомаринами, лазоревыми лясами.

Не то во сне снилось Федору Волкову, не то впрямь это было: будто опять пела девушка ихняя, а он будто встал, оделся и по улице пошел: поглядеть, где же это она поет-то ночью?

Идет мимо Ильдиного камня, а на камне белая гага спит – не шелохнется, спит – а глаза открыты, и все, белое, спит с открытыми глазами: улица изб, явственных глазу до сучка последнего; вода в лещинках меж камней; на камне – белая гага. И страшно ступить погромче: снимется белая гага, совьется – улетит белая ночь, умолкнет девушка петь.

И опять – не то сон, не то явь, а только будто окно – темное, она – белая в окне-то и будто шепотом, шепотом так Федору Волкову:

– Они спать легли. А я не могу спать, – как же спать? А ты, милый, пришел, вот спасибо тебе...

И еще – будто из окна нагнулась, обхватила Федора Волкова голову – и к себе прижала. А руки у ней, и грудь у ней так пахнули – только во сне так и может присниться.

Днем возил Федор Волков господ из Африки. Закидывали ярус на семгу, лежали на ярусе два часа. И все глядел Федор на девушку ихнюю и глазами пытал: ночью – во сне ли она приснилась или...

А к вечеру вернулся пароход, стал на взморье и загудел. И опять Федору же вышло везти к пароходу господ приезжих.

– Ну, Федор Волков, прощай. В Африку-то приезжай к нам! – и засмеялись все трое.

И взяло тут сомнение Федора Волкова: не потешаются ли они над ним с Африкой с этой? Мотнул стриженной колгушкой своей:

– А ну-кошь ей нету, Африки-то? Приедешь – ей нету? А то бы я приехал бы... – и глядел на девушку, все пытал: приснилось ночью тогда – или...

– Нет, Федор Волков, вы им не верьте, вы ко мне приезжайте, ко мне. Уж там доехать – доедете, только бы выехать. Ну, я буду вас ждать.

Федор Волков нагнулся в низком поклоне, и показалось: от руки – тот самый, тот самый дух, который во сне...

И поверил в Африку Федор Волков.

– Ну, ин ладно, приеду. Мое слово безоблыжное.

2

У Пимена, племяша двоеданского, собаки не жили: годок поживет какая – а там, глядишь, и сбежала, а то и подохла. И шел слушок: оттого у Пимена собаки не живут, что уж больно он человек уедливый. Как ночь – так Пимен к конуре к собачьей:

– Ты у меня, мерзавка, гляди, спать не смей. Даром, что ли, я тебя кормлю? Хлеба одного лопаешь в неделю на семь копеек...

И пойдет, пойдет вычитывать: где же тут вытерпеть – собака не вытерпит.

Мудрено ли, что, идучи одной весенней ночью мимо двоеданской избы, услышал Федор Волков чей-то жалобливый хлип. Ближе подошел: окно открыто, то самое, и в окне – слезами облитая, горькая Яуста, старшая Пименова.

– Ты чего, Яуста, эка, а?

– Отец со свету сжил, заел, ни днем продыхнуть, ни ночью...

Да полно, Яуста ли это? У Яусты волосы – как рожь, а у этой – как вода морская, русальи, зеленые. Яуста – румяная, ражая, а эта – бледная с голубью, горькая. Или месяц весенний заневодил зелено-серебряной сетью ту, дневную?

Как тогда – во сне или наяву – опять стоял Федор Волков у окна двоеданской избы, утешал горькую девуш-

ку. Нет того слаще, как девичьи слезы унять, увидеть улыбку, осветленную слезами, как лист – дождем. Нет девичьих рук нежнее, только что утиравших слезы – еще мокрых от слез.

– Яуста, как же это я никогда не видал-то тебя?

– Ну, теперь – гляди. Всю... Хочешь – тут вот – хочешь? – гляди!

Пимен, племяш двоеданский, – ростику маленького, тощий: такие всегда бывают зудливые, неотвязные. Каждый вечер Пимен пилил Яусту, свою старшую. Может, только за то и пилил, что в девках она засиделась и младших двух задерживала. Каждую ночь Федор Волков утешал горькую, с зелеными волосами русальими, Яусту. Каждую ночь весенний месяц становился все тоньше: уходила весна – девушка застенчивая, аукало за лесом лето – с ночами голыми, белыми, с бесстыдным ночным солнцем.

Когда шли от венца Федор Волков с Яустой, старшей Пименовой, еще висел последний тоненький месяц, еще звенел чуть слышным серебряным колокольцем. Заперли молодых в прибратор подклети; садясь на постель, Федор Волков сказал, по старому обычаю:

– Ну, разобуй меня, молодая жена.

Нагнулась Яуста, горькая, русальная, покорно сапог разобула Федору Волкову. Так покорно, что другого не дал ей снять Федор – сам стал ласково снимать с нее подвенечный обряд.

Еще спала Яуста, а Федор Волков, вскинув ружье, шел уж к лесу на Мышь-наволоку. Играло в росе розовое солнце. Поцелуйно чмокала мокрая земля под ногами. В тонкую, однотонную дудку свистел рябчик – по-другу звал. И так песней занялся, что Федора Волкова вплотную подпустил: тут только опомнился, фыркнул, перелетел на соседнюю сосну – и опять засвистел. Улыбнулся Федор Волков, от плеча отнял ружье – и пошел домой.

У бобыля в избе – откуда порядку быть? Пахнет псиной – вчера только первую ночь не спал с Федором в избе Ягошка лягавый; по углам – пауки; сору – о Господи, сколько! Яуста вымыла все, оскоблила пол добела, женка хозяйственная выйдет из ней – хлопотушей ходила по избе.

– Здравствуй, Яуста, ах ты, хозяйюшка ты моя... – бежал к Яусте Федор Волков: обнять ее поскорее, какая она теперь – после ночи? Бежал по избе – по скобленому белому полу...

– Да ты что, сбесился – не вытерев ноги, прешь-то? – заголосила Яуста в голос. – Этак за тобой, беспелюхой, разве напритираисси?

Со всего бега стал Федор Волков, как чомором помяренный. Опомнилась Яуста, подошла к Федору, губы протянула, а на отлете – рука с ветошкой.

Молча отстранился Федор – и пошел за порог: сапоги вытирать.

С того дня опять Федор Волков стал ходить молчалив. Что ни вечер – увидишь его на угоре у Ильдиного камня: самого не видно, только одна голова – стриженная колгушка – над светлым морем маячит.

– Чего, Федор, выглядываешь? Аль гостей каких ждешь иззаморских?

Глянет Федор глазами своими нерпячьими, необидными, и головой-колгушкой мотнет. А к чему мотнет – дали, нет ли – неведомо.

Стал ночами пропадать Федор Волков. А ночи – страшные, зрячие: помер человек – а глаза открыты, глядят и все видят, чего живым видеть нелеть. Яуста металась одна в светлой подклети, пустой от неусыпного солнца.

– Да где же это ты, лешебойник, ходисси... – днем голосила Яуста. – Да и чем же это я опризорилась, где мои глазыньки были, когда я замуж шла за тебя?

Федор Волков молчал: только глазами необидными немовал что-то Яусте, а про что немовал – неведомо.

Должно быть, Яуста пожаловилась отцу: стал Пимен, племяш двоеданский, за Федором следом виться, как комар, и жиять его непрестанно:

– Ты как же это, Федор, с женой-то не влюбe живешь? Как ты с нею повенчан, то по Закону Божию – должен на ложе с ней спать, а ты что ж это, а? – вился и вился Пимен.

Когда в деревянной церковке звонили к вечерне, Пимен выходил на двор, возле водовозки бухался на колени и сладкогласно пел Богу вечернюю молитву. Дождь ли,

снег ли, – а уж Пимен возле водовозки пел обязательно. Тут от него и спасался Федор Волков – в лес, к Мышь-наволоку. Так, пока не пришла лютая осень, в лесах и коротал ночи, со своими снами с глазу на глаз.

Забелели беляки на море, задул ветер-полуночник. Налегнуло, нагнулось небо, бежали облака быстрым дымом, задевали о верх деревьев. Мга засеялась, не разобрать – где небо, где море: никто уж теперь не придет.

– Ну вот, Федор, стал ты и дома сидеть, слава Богу. Остепеняйся-ка помаленьку, с Господом... – ласковым комаром пел Пимен, впился в самое ухо Федору Волкову.

Но был нынче Федор необычен: грузен сидел, и глаза были красные, кровью налитые, вином несло – и все ухмылялся.

– ...Иди-ко, иди, Федорушко, с женою-то, а я дверь замкну – у двери посижу. Ну, давай – поцелуемся, Федор, ну давай, ми-ло-ой...

Потянул Пимен свое комариное рыльце, медленно Федор к нему потянулся – да перед самым носом у Пимена – хоп! – зубами как щелкнет. И еще бы вот столько – зацепил бы Пименов нос.

Отскочил Пимен в угол, руками замахал, а Федор Волков гоготал во все горло – никто не слышал такого его смеха:

– Ага-га, душа комариная? Ага-га, забоялся? Вот я тебя – вот я...

И споткнулся на чем-то, заплакал горестно, положил на стол стриженую свою колгушку.

– Уеду... у-й-еду я от вас... Уеду-у...

– Куда ты уедешь, рвань коришневая, живоглот ты, куда ты уедешь, пропойца горькая? Уж лучше молчал бы...

3

Покойный Федора Волкова отец плавал китобоем и был запивоха престрашный: месяца пил. В пьяном виде была у него такая повадка – плавать. В лужу, в проталину, в снеги – ухнет, куда попало, и ну – руками, ногами ботать, будто плавает.

И вот ведь чудно: оказалась повадка отцовская и у Федора Волкова. Заперли его в теремок, наверх, зимою уж

это было, а он – Господи благослови – крестным знамением себя осенил да головой сквозь окошко нырнул – прямо вниз, в сугроб. В том сугробе целую ночь и проплавал.

Наутро подняли: еле живехонек. Отнесли в баньку: в избу ни за что не хотел. В этой баньке и пролежал Федор Волков всю зиму. Только к весне на ноги встал, да и то с сердцем недоделка какая-то осталась: иной раз подкатитесь под сердце – только ищет Федор, за что бы рукой ухватиться. Ну, да это пускай: только доехать до Африки, там уж пойдет по-новому.

После преполовенской всенощной подошел Федор Волков к батюшке, к отцу Поликарпу.

– Пospросить бы мне вас, батюшка, надо об деле об одном.

Отец Поликарп – старенек, весь усох уж, личико в кулачок, и все больше спал. К чаю ему подавали большую чашку: помакает он булку в чай, выпьет – и опрокинет чашку, чтобы все крошки собрать. Чашкой прикроется этак да и похрапывает себе потихоньку.

Присели с Федором Волковым на камушке возле ограды.

– Ну, что, дитенок, что скажешь, как тебя звать-то, забыл?

– Федором. А есть у меня, батюшка, желание душевное... То есть вот какое – одно слово... Хочу я – в Африку ехать, а как я неграмотный...

– В А-африку? В Аф... Ох, уморил ты меня, дитенок! В Афри... – ой, не могу!

Смеялся-смеялся отец Поликарп, от смеха устал, на камушке возле ограды – тут же и заснул. Так и не добился от него Федор Волков ни слова. А уж больше и не у кого было узнать, никого и не спрашивал.

На угоре у Ильдиного камня томился Федор Волков, на карбасе бегал ко взморью всякий пароход встречать. Пришла монастырская шкуна: на монастырские пожни народ везти. И Руфин, монах, какой за капитана у них ходил, так себе – к слову – сказал Федору Волкову:

– Намедни к Святому Носу ходили. Набирает, этга, Индрик, народ – в океан бегут за китами.

И осенило тут Федора Волкова: Индрик-капитан, вот кто скажет про Африку-то. Господи Боже мой, как же не

скажет? С Индриком – еще отец Федора Волкова в океан промылять хаживал. И бывало, приедет к отцу Индрик – рассказывать как начнет про океан Индейский: только слушай. Все позабыл – а вот одно Федору по сю пору запомнилось: бежит будто слон – и трубит в серебряную трубу, а уж что это за труба такая – Бог весть.

Поехал Федор Волков в монастырь с Руфином, две недели потел там на пожнях, кормился монастырским ярушником. А через две недели на мурманском – бежал уж к Святому Носу. Все у борта стоял, свесив стриженую колгушку свою над водой, и сам себе улыбался.

У Святого Носа капитан Индрик набирал народ побойчее – идти в океан. Как увидел Индрика, черную его бархатную шапочку и все лицо в волосах седых, как во мху, – так Федор Волков и вспомнил: никогда не улыбался Индрик, можно ему про все рассказать – не засмеется.

– Африка? Ну, как же не быть-то! Есть Африка, и проехать туда очень просто... – нет, не шутил Индрик, глядел на Федора Волкова очень серьезно, и в седом мху волос как грустная ягода-голубень, были его глаза.

– О? Есть? Ну, слава те, Господи. Вот слава те, Господи-то! – так Федор обрадовался, сейчас обхватил бы вот Индрика да трижды бы с ним, как на Пасху, и похристосовался. Но были Индриковы глаза, как ягода-голубень, без улыбки, без блеска и будто видели насквозь: сробел Федор Волков.

– Денег вот надо порядочно – тыща, а то и все полторы. На пароходе-то доехать до Африки... – глядел Индрик серьезно. – Ты вот что, Федор, иди со мной на китов за гарпунщика.

Вчера Федору Волкову показывали на шкуне самоедина: глазки – щелочки, курносенький, важный. Толковали про самоедина: мастак – гарпунами в китов стрелять, чистая находка.

– Ну, а как же самоедин-то? – заморгал Федор Волков.

– Самоедин – так, запасной будет. А со мной еще отец твой хаживал в гарпунщиках, как же тебя не взять?

Гарпунщику – деньги большие идут, дело известное: за каждого убитого кита, ни много – ни мало, шестьсот

целковых. Крепился Федор Волков – крепился, да как вдруг с радости загогочет лешим:

– Гы-гы-гы-гы-ы-ы!

Господи, да как же: два кита – вот те и Африка.

4

Не было ни ночи, ни дня: стало солнце. В белой межени – между ночью и днем, в тихом туманном мороке бежали вперед, на север. Чуть шуршала вода у бортов, чуть колотилась – как сердце – машина в самом нутре шкуны. И только двое, Федор Волков да Индрик, знали, что с каждой минутой ближе далекая Африка.

Не наглядится на Индрика, не наслушается его Федор Волков, без Индрика дыхнуть не может.

– Ну, какая же она, Африка-то? Ну, чего-нибудь еще расскажи...

Все на свете Индрик видал; должно быть, и то видал, чего живым видеть нелеть. Веселый – а глаза грустные – рассказывал Индрик про Африку.

Хлеб такой в Африке этой, что ни камни не надо ворочать, ни палы пускать, ни бить колочь земляную копорюгою: растет себе готовый хлеб на деревьях, сам по себе, без призору, рви, коли надо. Слоны? А как же: садись на него – повезет куда хочешь. Сам бежит, а сам в серебряную трубу играет, да так играет, что заслушаешься, и завезет он тебя в неведомые страны. А в тех странах цветы цветут – вот такие вот, в сажень. Раз нюхнуть – и не оторвешься: потуда нюхать будешь, покуда не помрешь, вот дух какой...

– Во! Погоди... – обрадовался Федор Волков, – вот и мне был сон... – И осекся: про сон, про девушку ту – не мог даже Индрику рассказать.

Должно быть, недалеко была уж девушка та: все Федору Волкову снилась. Да во сне, известно, ничего не выходит: только руками она обовьет, как тогда, и не отрываться бы потуда, покуда не умрешь – а тут и окажется, что вовсе это не девушка – а дед Демьян. Тот самый дед Демьян, какой в суконной карпетке бутылку рома зятю в подарок вез. Да в пути раздавил и три дня прососал ромовую карпетку. Вот будто к карпетке к этой и

приник Федор Волков и сосал: дрянь – а выплюнуть никак не может, беда!

Слава Богу, явь теперь лучше сна. Тишь, туман. Чуть шуршит вода у бортов. Колотится сердце в шкуне. Неведомо где – сквозь туман – малиновое солнце. Неведомо куда плывут сквозь туман. И рассказывает Индрик сказку – не сказку, быль – не быль, про Африку – теперь уже близкую.

Однажды утречком дунул полуденник-ветер, туман распахнулся, на сто верст кругом видать. И углядели тут первого кита, вовсе рядышком. Был он смирный какой-то и все со шкуной играл: повернется на спину, белое брюхо покажет – нырь под шкуну, и уж слева близехонько бросает фонтан.

Как пушку навел, как запал спустил – и сам Федор Волков не помнил: от страху, от радости – под сердце подкатилось, в глазах потемнело. И только тогда очнулся, когда на белом китовом брюхе копошились матросы, полосами кромсали сало.

– Ну, Федор, тебе бы еще одного так-то, а там и в Африку с Богом, – весело говорил Индрик, а глаза грустные были, будто видали однажды, чего живым видеть нелеть.

– Эх! – только поматывал Федор стриженной по-ребячьи колгушкой, только теплились свечкой Богу необидные его глазки: и правда, какие же тут найдешь слова?

И в межени белой опять плыли, неведомо где, плыли неделю, а может – и две, может – месяц: как угадать, когда времени нет, а есть только сказка? Приметили одно: стало солнце приуσταвать, замигали, короткие ночи.

А ночью – еще лучше Федору Волкову: и все стоял, и все стоял, свесив голову за борт, и все глядел в зеленую глубь. По ночам возле шкуны неслись стаи медуз: ударится которая в борт – и засветит, побежит дальше цветком зелено-серебряным. Только бы нагнуться – не тот ли самый? – а она уж потухла, нету: приснилась...

Капитан Индрик – на мостике целый день. Из мха седого – зорко глядят глаза, на сто верст кругом.

– Гляди-и, Федор Волков, гляди-и, не зевай!

Кит. Последний. То впереди фонтан выстанет, то слева, то сзади: петли завязывал, кружил. Да Индрик на мостике – зоркий: куда кит – туда и шкуна.

- Гляди-и, Федор Волков, гляди-и...

«Ох, попаду. Ох, промахнусь...» – стоял на носу Федор у пушки у своей, под сердце подкатывалось, темнело в глазах.

Два дня за китом всугонь бежали: привык бы зверь, подпустил бы ближе. Два дня стоял на носу Федор Волков у пушки.

На третий, чуть ободняло, крикнул с мостика Индрик зычно:

– Ну-у, Федор, последний! Ну-ну, р-раз, два...

«Ох, попаду, ох...» – так сердце зашлось, такой чомор нашел, такая темень...

Выстрела и не слышал, а только сквозь темень увидел: натянулся гарпунный канат, задымился – и все жвытче пошел, пошел, пошел...

Попал. Африка. Приникнуть теперь – и не оторваться, покуда...

Кит вертанул быстро вбок. Чуть засевший в хвосте гарпун выскочил, канат ослабел, повис.

– Эка, эка! Леший сонный, ворон ему ловить! Промазал, туды-т-т его... – бежали сломя голову на нос, где возле пушки лежал Федор Волков.

Спокойный, глаза – как грустная ягода-голубень, подошел Индрик.

– Ну, чего, чего? Не видите, что ли? Берись, да разом. Руку-то подыми у него, рука по земле волочитя...

Есть Африка. Федор Волков доехал.



ПОЛУДЕННИЦА

1

В маленьком домике за церковью жили сначала вчетвером: на чистой половине молодые – отец Виктор с матушкой, да на курне бабушка Пелагея с Маринкой.

Эх, бабушка! Да николи ее Маринке не забыть. Сказочница, прибаутница, стряпуха – у самого Куйманского барина такой, поди, нету. Шаньги какие пекла, заспешники, овыдники, пироженники – эх! А сказки... Бывало, зимой на дворе морозяка лютый, бревна трещат, а тут, в кухне, теплынь. Печка огромная, как ведмедь в сказке, так и пышет. На печи – ячмень сплошь насыпан, сушится, там-то вот и есть ребячье да бабкино царство. Ребятишки налезут и дьячковы, и Аверьяна лабазника, и солдатики Прасковьи, и еще невесть чьи – соседские, на ячмене-то тепло да мягко – ну, тут бабка Пелагея им и рассказывает. Очки нацепит, ниткой круг уха обведет, коклюшками побрякивает – и уже такого наскжет. И про лису, и про зайку-всезнайку, и про курицу – отчего она петухом поет и к чему это, и как быть, если икона со стены упадет. А то еще про белую лошадь: ночью в поле едешь – вдруг, невесть откуда – рядом с санями белая лошадь, бежит да бежит, и не отстанет, пока всех покойников не помянешь. Да мало ли еще что. А ребята белоголовые на свечку уставились, притихли, жмутся. А на дворе стыдь, свечка в деревянном шандале потрескивает, по углам прусаки шуршат. Чей-нибудь озорной мальчишка, глядишь, разыскал уже прусака с яичком и держит его на свечке, пока яичко не лопнет с веселым треском, – и смотрит потом, как прусак с минуту стоит и недоумеваает, отчего стало так легко, и уползает, прихрамывая...

Весело было с бабушкой Пелагеей. И чего это ее Бог прибрал. И так чудно, в одночасье. Пошла в колодезь за водой на прощен день – да не вернулась. Уж совсем в сумерках разыскали – вона где, в овраге. И ведро с ней. Как туда попала – неведомо. Надо быть – не без него тут дело обошлось.

Поговорили, что напущено это было на попов двор – не иначе. Потому что на Крестопоклонной – и матушка молодая померла. А какая была здоровая да красавица писаная. В три дня сгорела. Не иначе, как напущено.

Так вот и осталось их двое во всем доме – отец Виктор да Маринка. Ни людей не стало, ни шуму, ни веселья. Тишь да жуть. Всяк свою думу думает.

Правду сказать, по матушке покойнице Маринка уж не так тосковала. Пустяк это, конечно, смешно, а только за это: не любила покойница – прости Господи – чтобы на кухне пели. А коли пенье – тут вот оно, коли без пенья – как без солнца. А запоеет Маринка, бывало, сейчас – матушка: «шалова да балхолда». Вот оно и не ладилось. Да и где это, к слову, видано, чтобы две молодухи, ровно красивые – от сердца любили друг друга?

Вот по бабке Пелагее погоревала: почитай, целую неделю ходила Маринка с красными глазами. – На девятый день от панихиды из церкви домой шла – в первый раз улыбнулась – первого грача весеннего увидала. Эх, что о родителях горевать – в родительскую субботу помянем их, а там глядишь – и земная травка, крестный звон пасхальный, да крашеные яйца, да качанье на релях – к самому небу – так, что дух захватило. А на Русальной неделе – начнут уже и куны водить...

Засмеялась Маринка грачу, осушив глаза. Девичью ль сердцу горевать, когда суженый впереди: худо, когда суженый есть – прощай девичья воля, – худо, когда милый не любит – прощай суженый.

Пришла домой Маринка – в первый раз запела, потихоньку. Да с песней принялась бабкин сундучок разбирать – что-то бабка ей в наслед завещала.

Сундучок с горбатой крышкой, с замком громадным, винтовым, окован морозным узорочным железом. Не дорого в сундуке добро, да мило: бабкина память. Холстов десяток, пять тонких, на исподнее, да если оторочить

красным – на белом теле... Два платка ковровых, да один полушалок, да отрез на платье. В особой коробушке – с десяток корамор сушеных – первое средство против лихomanки, кто же этого не знает: корамора укусит – забереет лихomanка, – сушеной же кораморой и вылечишься. Алатайный корень, купырьный, и прочие – невесть какие, откуда все Маринке и знать.

На самом дне разыскала Маринка круглое зеркальце в оловянной оправе и фотографию: облезла, а разглядеть можно – вроде как солдат или унтер.

Засмеялась Маринка: эге, вот-те и бабушка Пелагея. А ведь молчала, сохла поди. Все мы одним кумачом подбиты.

Повертела зеркальце Маринка, погляделась. Щеки разалелись, крепкая, ржаная, брови – суровые, сошлись на переносье. Примета есть о таких бровях – бабка Пелагея говаривала: «Ох, не люби никого, Маринка, – одного полюбишь, и того погубишь». А бабка Пелагея – уж не ошибется: все приметы знала, все пригубы да присухи ведала.

Стала Маринка домом править. День-деньской на кухне возится, на дворе. Хлебы замеси, обед сготовь, цыплятам в кормушку просо насыпь, корове резки нарежь – а там, гляди, еще теленок будет. Родька, церковный сторож, пьяный пришел – сумей его без шуму из кухни вытурить, не дай Бог, отец Виктор услышит. Дьячок Африканыч – с ним насчет треб столкуйся, да чтоб ничего не забыть – отцу Виктору толком все рассказать.

Ведь он, отец Виктор – теперь что ребенок малый. – «Обедать? Ну, ну, обедать». – «В пять утра? В четыре? Африканыч сказал? Ну, ну, разбуди меня в четыре, Маринка».

Африканыч, Африканыч, скажи, какой распорядчик нашелся – Африканыч. И мори себя из-за него – такую рань вставай. И так извелся – невесть на кого похож стал, угодник какой.

Что ребенок малый. Не дай ему пообедать, без обеда на кладбище уйдет. Не доглядела раз – две недели в одном полукафтани ходил, чумичкой. Разве это стать – при его-

то служении, при его белых руках целованных, волосах льняных, глазах...

А какие глаза у него – неведомо. Никогда на Маринку глаз не подымал. Говорит ли, улыбается ли – с глазами неподнятыми.

Только и видна тень от ресниц, нависла, как застрехи под крышей, да синие круги под глазами от бессонных ночей.

Все горюет отец Виктор – с горем днюет, с горем ночью не спит. А ведь уж пора бы – третий месяц на исходе.

А вот и вовсе не жалко. Что ж, вольному воля. Напеваает Маринка на кухне, пересмеивается с Африканычем. И не жалко. Девичье сердце – ласковое, девичье сердце – жестокое.

За горями да за заботами и не увидели, как лето пришло. Окна повывестили, пчелы, мухи загудели, тучи душистые полились, зацвело, зажарело.

Собралась Маринка на солнце все шубы выветрить – полукафтаны, да матушки-покойницы дипломаты да тальмы. Сундуки пооткрыла, на полу борохло разложила, на креслах; тресковую шубу потащила, распялила на жердях, возле варка для коровы. Эх, успеть бы все это до обеда развешать, пока не вернулся отец Виктор.

Да, как же. Приплелся Хрипучий. Кто ж его в Куймани не знает – да не то в Куймани, все до самого Каликина, а может до Доброго – знают. Побирушка. Все в Ерусалим собирает на дорогу – лет уже десяток, гляди. Хрипит (говорит, что простужен, а кто его знает), всякие чудеса про Ерусалим наскжет – и про сарацин, и про схождение огня, и про млеко Богородицыно, что катышками беленькими там продают. Мало чего не расскажет.

Заслушалась, зазевалась – и не заметила, как отец Виктор в дом прошел. Только и в голову пришло – как увидала – калитка отперта. Ах, батюшки, скорей развесить, кончить, да и обедать ему пора.

Побежала Маринка в дом, хлопнула дверь, разогналась, да так на пороге и пристыла.

На полу, на матушкином заячьем дипломате лежал отец Виктор. Обхватил его обеими руками, зарылся лицом и лежал. И как малый ребенок, вслух, навзрыд, плакал. Захлебывался. И не видел, как пришла Маринка, не слышал, плакал.

Вышла Маринка на двор, метнулась было за водой – нет, какая тут вода, не поможет. Убежать? Не смогла. Вытянулась на цыпочках, губы стиснула, стояла, не двинулась, и слушала. И все глубже входила заноза, все большее.

В этот день в домике церковном не обедали.

Все по-старому: на сирени, перед окном целый день верещат воробьи, на жарком небесном лугу пасутся ленивые облака, спущена белая штора в кабинете у отца Виктора.

Что же ждать? Да, чего? Занавески ведь не откроются, он не взглянет: никогда не поднимает он глаз на Маринку.

Тонкий – вот-вот ветерок повалит – с льняными волосами, он закрыл дверь на ключ, и рад, что один, что никто не мешает, что – вдвоем с ней, с умершей.

Ходит на цыпочках: ах, тихонько, Люсинька спит. Где? А за дверью, в спальне рядом, в той самой...

Наверно, лежит она на правом боку – не иначе. Голая ручка, кружево, смялись во сне ее милые грудки.

И вот сейчас – позовет. И можно будет прийти к ней, и целовать ее руки на сгибах, где маленькие голубые жилочки...

Будет стоять и расчесывать свои золотые волосы, подняв руки за голову. Голубые тонкие жилочки...

Отец Виктор подходит к запертой двери, и лицо его горит. Поднимает уже руку, чтобы постучать. Но вздрагивает, опускается на пол у дверей и долго сидит, опустив голову, и не видно, что у него в глазах.

А всего-то между кабинетом и кухней одна стенка, сосны пятивершковой. А вот стенка.

Нет-нет да и бросит Маринка горшками греметь. Стукнуло за стенкой, – показалось? – стукнуло? Слушает. Жарко. Звенят надоедливые мухи, мешают.

Моет Маринка сныть, режет зеленую на кусочки и думает: он любит из сныти щи... И опять с пучками травы в руке, подходит и слушает. Стукнуло. Лежит, надо быть – локтем. А если не локтем?

Если не верно только – а все лицо у него мокрое, глаза закрыты, льняные волосы перепутались и цепляются о зацепы бревен?

Все глубже входит заноза, растворяется девичье сердце и становится материнским, и крепкие руки жаждут прижать кого-то к груди, поить собой и баюкать, гладить, напевая, по льняным волосам.

Ночи и дни душные, прикованные одной напряженной целью – к бревенчатой стенке, из пятивершковой сосны. Вытянуться, слушать – не слышать, не знать, истомиться.

Часы на стенке давно молчат: в колеса попал таракан. Кто скажет, сколько так проходит часов?

2

Разыскала Маринка в узелочке бабушки Пелагеи тряпьем немудрящие, с лица невидные, да для хозяйства дорогие вещи – разыскала целых три штуки куричьих богов. Гладкие, круглые, дыра без зазубрин. Обрадовалась Маринка: вот занесутся куры, как под насест повесить. В чулан положить – мыши переведутся. Обмыть такой камешек да корове в пойло прибавить – масла будет больше. По всем соседкам слух прошел, как повезло Маринке. Ходили, глазели, качали головами, в пестрых платках: «родименькие, вот бы знали-то!»

Приплелась старая Яга, колдунья, сваха Петровна. Платок надвинут до самых бровей – всяк в Куймани знает, отчего. Кила у ней во лбу, с добрый фундуковый орех.

Разгорелись у Петровны глаза на куричьих богов: дай ей, да дай – хошь один. Да нет, не проведешь Маринку: не таковская. На кой ляд Петровне куриьи боги? Какое у ней, бобылки-побирушки – хозяйство? Нужно это ей, может, для каких наговоров? Может, щурятам своим под насест повесить?

Ухмыляется, не отстает Петровна.

– Коли дашь, девушка, одного божка – и я тебе снабдь да такого, что с ним живо суженого своего обра-таешь. А суженый-то молод, пригож, на попа похож.

Ухмыляется Петровна.

Вскочила, вскипела Маринка. Чуть не ударила стару-ху, да побоялась. Прогнала.

Задрбезжала, засмеялась Петровна, ушла: «Ну, смот-ри, девушка».

Ушла – ковшик с гвоздя ни с того ни с сего упал. К добру или к худу? Свечерело. В избе стало жутко и жарко.

Выбежала Маринка на гумно, села под старой ветлой, голова горела, как в горячке. Месяц мертвый вылез. Ста-ло зелено, сыро, прохладно, как на дне, в русалочьем царстве. Застучал Родька в деревянную доску – где-то совсем близко.

Очнулась Маринка, вздрогнула.

«Неужто суженый? Да ведь – им нельзя. Померла жена – и капут. Набрехала Петровна. Да и не смотрит он никогда».

А кузнечики верещали кругом вовсю, голова кружи-лась, и так сладко, так желанно было повторять чужие слова: суженый, суженый.

Без памяти, не видя дороги, как пьяная, прошла через гумно, домой чрез жердяные ворота, по тропинке дошла до окна.

Белая занавеска, лампа за окном – на занавеске кла-няется, шевелит руками, качается тень.

Неведомо зачем, так уж надо было – перекрестилась Маринка. Потом отвела штору и заглянула, – разрушила бревенчатую стенку.

На кресле лежала белая с кружевами рубашка. Отец Виктор, спиной к окну, стоял на коленях, сложив руки, похоже молился, закинув голову назад.

Прислушалась. Услышала: «Люсинька, Люсинька».

Закипела Маринка. Отвернулась и пошла, не огляды-ваясь. В избе выпила ковш студеной воды, распахнула

окно. Белая, холодная смотрела в зелени церковь. Там зарыта она.

«Зачем держишь его, зачем тебе?» – поглядела туда Маринка. Далеко где-то простучал Родька и замолк. Месяц запутался в тучке, церковь помрачнела и подвинулась к окну, стало жутко.

Маринка засветила свечку, бросила на лавку веретье, подушку, разделась, стала молиться.

В одной грубой рубахе, крепкая, ржаная, с жадной грудью – стала лицом к лицу с древней иконой – темная Спасова голова на белом плате.

Прыгает сзади свечка – будто и впрямь кто дует – и не поймать образа.

Вглядывается Маринка. Господи, спаси от беса полуденного и сряща. Не введи во искушение.

Прыгает свечка, вглядывается Маринка. А на нее со стенки смотрит на белом плате голова отца Виктора – бледная, заплаканная, льняные волосы, не поднятые глаза.

Широко раскрывает глаза Маринка, протягивает к нему руки и молится ему.

Жили теперь втроем. Совсем вот так запросто, как живая, пришла к ним из-под церкви та, третья, и жила с ними.

По вечерам двое, разделенные бревенчатой стеной, двое шептали ей слова: всяк свое, – нежные и гневные. Но она молча слушала и не отвечала – ни отцу Виктору, ни Маринке – но была где-то здесь, рядом.

Жуткая, жаркая, полуденная тишина не страшнее ли тихой полночи? Полночь – монахиня, спрятавшая под черной скуфейкой жаркий облик молодых глаз своих; полдень – монахиня, сбросившая с себя черные покрывала, раскрывшая широко глаза и губы. Разве не страшна красногубая, жадная женщина?

В жуткой полуденной тишине слушает Маринка за бревенчатой стеной стук и возню, и знает, что та, третья, там. Валится все из рук, слушает, стиснув зубы, шепчет что-то и становится сама полуденной. Настежь распахивает дверь в избе, в красной не застегнутой наверху кофте, жестокая, пылающая – бежит туда – в кабинет.

Но той уже нет. Один отец Виктор. Бледная, с лихорадочным румянцем, голова на белом платке. За письменным столом, карточка в черной рамке перед ним, что-то спешно спрятано в комод.

Вдруг становится Маринка робкой, как маленькая стриженная девчонка, и не смеет звать глаза его неподнятые, опускает голову. Стоит и молчит. Как скажешь, какими словами, и разве можно сказать ему – ему?

Отец Виктор говорит ей сурово: – что тебе? Сколько раз говорил – не входить, если не зову.

Но Маринка не слышит, стоит, как прежде.

Отец Виктор поднимает глаза. Незастегнутая наверху пуговица у красной кофты и сверкающая полоска белого тела.

С усилием собирает мысли отец Виктор и говорит:

– Идите же. Это Бог знает, что такое. Да идите же!

Маринка уходит и относит с собой гнев и странную – отчего ей быть – радость. Кто разгадает девичью душу? Они слышат все раньше нас, – за десятки верст.

Отец Виктор крепко запирает дверь. Но кабинет еще полон голосом Маринки, дрожью ее тела, блеском глаз. И вот зачем посмотрел – белая полосочка тела сквозь красную кофту. И вот белая полосочка на красном. С ума сойти.

– Люсинька, Люсинька, – зовет он ту, третью, маленькую и нежную, как лепесток.

Но она долго не приходит.

– Ну, прости же меня, прости меня, – говорит отец Виктор, – я нечаянно.

3

Пусто и бесстрастно на душе – как в церкви.

Открыл жердяные ворота, вошел во двор.

Вдруг нехорошо вздрогнул, осыпанный, как градинками, смехом. Смеялась Маринка – нагнулась над Буренкой и смеялась.

– Чему? Что смешного? – спросил отец Виктор, не поднимая глаз и нахмурясь.

– А вот гадаю, какой будет телок, черный али пестрый.

Жаркая, полуденная – дышала на него днем, жизнью – и смеялась...

Стало страшно ее веселья. С усилием замкнулся внутри отец Виктор. Смотрел вниз – на лежащую у ног покорную голову с большими грустными глазами. «Вот где любила она гладить, Люсинька, – лоб с белой звездочкой, да».

Немного успокоился. Сказал:

– Надо приглядеть получше, не дай Бог что случится. Покойница так ее любила. Я тогда сам пойду, скажите мне тогда, хоть даже ночью – постучите в окошко, разбудите.

И опять, уходя, слышит за собой эхо легкого хохота. И страшно этого полуденного веселья. И вспоминается утро, раздвинутые шторы, отблеск розового на белом, две колючие точки...

4. Куны

Все выше взмывает солнце, все беспощадней. Вороха лучей насыпаны в ржаном поле – и рожь стоит золотая, жаркая, и тихонько, матерински-довольно колышет колосья. Яблоки в садах стали томно-желтыми и качаются, каждый миг готовые отдать кому-то свою сладость. В поповом саду погасли все нежные весенние цветы, горят только красные, спелые, пьяные маки. За Куйманским лесом пруд весь зарос темной зеленью, из пруда по ночам выходят русалки и напролет, до утра, заломивши руки, тоскуют на берегу, неуголенные, утомленные: уж теперь поздно, отошло их время, пришла Русалочья неделя, не успели залучить себе парня, девушками останутся на целый год. Одна надежда на куны: закружатся парни в кунных кругах, завихрят их девки, запутает в серебряную паутину паук-месяц: может попадет какой по ошибке в русалочий хоровод.

Да что: вот и Тихвинская прошла, и Петра и Павла, и Преполовенье – пустует кунный выгон за Куйманским озером. Только и остался что Ильин день.

Ильин день – престол в Куймани, ярмарка. Всю ночь скрипели по дорогам телеги. Аверьянов лабаз открылся с самого рассвета; желтый да лысый, вышел Аверьян за двери, ухмыльнулся: телег тьма несусветная, заполонили

весь базар, торчат вверх оглобли, лошади машут мешками с кормом, галдеж.

Увидали Аверьяна, огарнули: кому деготьку, кому шорного товару, кому жамок, кому аспидную доску – ребятенкам на забаву.

Да только Аверьяну душа денег дороже: Аверьян не торгует до обедни; после обедни – пожалуйста.

За обедней жара, чуть не гаснут свечи, однако же парни в поддевках и в новых резиновых калошах: что поделаешь, дело молодое, всякому покрасоваться лестно.

Ребята балуются, шныряют где-то под ногами, получают подзатыльники, хнычут, и глядишь, опять уже хихикают, неслухи, опять невесть что выкомаривают.

Девки, чинные, дивуются – ведомо на что. Первое – на коровинских баб. Бог весть, каким чудом уберегли Коровинские весь старый наряд и строго его блюдут. Кучей стоят в церкви, важные и чудные, и не наши, а красивые. Повойники от матерей, от бабок достались – унижены серебряной монетой; убрусы шелковые, хитро обмотаны кругом головы, понёвы да сарафаны – домотканые, синие с красными ластовицами, с бахромками, с узорами.

А на другое дивуются девки – на Маринку. Запевала, певунья наша, что с ней случилось? Первая затейница да задорница, и в церкви-то бывало на нее угомона нет, а нынче – стоит, не шелохнется, у Спасова образа, глаз не сводит. Светлокудрый, бледный лик, знакомый, глаза неподнятые. И молится ему – с жаркой любовью, и с ненавистью. Слушает его голос из алтаря, повелевающий всем поклониться, и радостно клонит голову, и думает: «ах, если бы...»

Но вот кончилось, хлынули.

На паперти обступили Маринку. Пестрые, красные, солнечные, говорливые.

– Да неужто же не пойдешь. Маринка? Как же мы без Маринки? Какие же без Маринки куны?

Звонит веселый колокол. Звонит солнце. Растормошили, отступило что-то назад, проснулась Маринка. В ответ кому-то хочет сделать злое и сладкое, подмигнула плечами и пошла, припечатывая каблучками через два шага в третий: Эх, эх!

Постой, постой, на паперти, что ты? Куда там...

Заметелились, подняли кулиберду по всему по селу, докатились вихрем до самой ярмарки. Солнце между

скрученных наверху оглобель, лошади с вымоченными квасом и расчесанными гривами, и нечесанные, как лешие, цыгане около них; берестяные коробки, глиняные свистульки, маковники, неистовые поросята в мешках, бабы – беременные и с ребятами на руках.

Какая-то развытная девка свистнула пригоршню жамок: захихикали, рады все, – дороже, чем купленные. Завертели какого-то пьяненького дядю: потащили, как русалки, хохотали.

Только завернули за Аверьянов лабаз – вот они, парни, ватагой шабуняют по улице. Верховодит не кто другой – Яшка Гребенщиков, кузнец.

Звонит колокол, звонит солнце. Но где-то далеко, во сне все: церковь, ярмарка, Куймань, гомон, пыль, пестрота.

А жизнь неспешная, древняя, мерным круговоротом колдующая, как солнце – здесь на выгоне.

По-над озером, в сторонке, водят свой хоровод девушки-вековушки, все в темных платочках – так уж заведено. Тихонько поют, медленно кружатся, в сторонке, – и кажутся тут, под солнцем, слепыми, ненужными, умершими. Но так уж заведено. Им свой почет, поминки, вечным девушкам.

Отпелись вековушки, погасли.

Медленно, еще зарумяненные, вышли на выгон молодые девки и немужние жены-солдатки, все в красных платках, такой уж обычай. Схватились крепким кругом – крепким частоколом оборонились от желанных врагов, от погубителей милых.

Посредине кунного города – ходит гордая царевна. Маринка: куны налево, Маринка – направо. Поет царевна звонкую насмешливую песню, закидывает хитрые сети.

Как за городом живут вороги,
Золотой казны у них ворохи,
Нет у ворогов воевой головы...

Да ой ли, так? Разве уж нет?

В «ихнем» стане, у старой лозины – зашевелились, загорелись, смех, визгнула гармоника.

– Яша Гребенщиков, кому же еще! Он, он самый! Яшу повеличаем!

Румяный, без шапки, встряхивает волосы под польку со лба, идет. Стал на полдороге, отдал поклон.

А Маринка, откидывая голову, отдаваясь солнцу, – эх, все равно, – уж новую запела песню. Эх, быстрее, девки, эх, жарче, вороги близко!

У нас в городе царевна, царевна,
По-за городом царев сын, царев сын...

Вот он подошел, подбоченился. Брови крутые, губы румяные. Эх, не одну погубил, лютый...

Веселой, жаркой злобой напряжилось сердце у Маринки. К кому? К Яше ли? Да ей что он? Или к тому? Или к себе за обиды?

Он из тысячи любую выбирает,
Он и белым платочком махает...

Все быстрее кружится солнце, травы и деревья расплываются в жарком дурмане, мелькают по зелени пестрые платья, почти бежит кунный круг.

Эх, жисть, отопрись...

Разорвался кунный город против Яши, стал.

Вот она – царевна наша, бери – отдают, лукаво-покорная.

Быстро подымается высокая грудь царевны, и под тонкой красной кофтой – две острых жалящих точки – справа и слева.

Опущены веки, но видит, какое вино у Яши в глазах.

Эх, потешиться хоть над этим, замучить, защекотать по-русалочьи.

Звонит где-то далеко колокол, звонит солнце, кружится голова, поредел кунный круг, пыльно-зеленые сорвутся с места и ринутся куда-то, хочется пьяно броситься на горячую траву...

Опять Яшка да Маринка посредине. Кругом него ходит, избоченясь, Маринка, дразнит раскрытыми губами, обжигает, коснувшись плечом – и уж далеко, и он с протянутыми руками стоит, жаркий, измученный.

Сидят под кустами и идут к Куймани, по пыльной дороге – обнявшись, усталые, ласковые.

– Глянь-ко, – говорит Яша, – а ты так и не велишь?

– Погоди до вечера, – Маринка хмурится: «ах, если бы тот это сказал!»

Угарный, жаркий день к концу. Тянутся обратно телеги, задешево продают купцы последние платки, коробушки и пряники-козули. Уж на задах где-то, за огородами мурныкают и бормочут пьяные дяди – никак не найдут избы. Запыленное, разомлевшее солнце качается на самом краю синей чаши и устало смотрит налитым кровью глазом. Дергачи перебегают в душной траве и кричат: пить, пить.

Да нет ни капли. Вот тебе и Ильин день. Хоть бы одна дождевка на смех.

Порушила к ужину хлеб Маринка, отнесла тарелку с лапшой, стукнула в кабинет:

– Ужинать.

Истомленное желаниями и взглядами, и душным днем тело – ищет отдыха, ищет отдаться...

Может быть...

Но нет. Медленно, с неподнятыми глазами – нет, чтобы не коснуться ее, не увидеть, проходит о. Виктор. Ни слова, будто ее нет.

Скрипит зубами она, прислоняется к косяку плотнее. Завыть по-звериному?.. Тихо закрывает дверь...

Темное, знойное небо, увешанное тяжелыми, горячими звездами.

Пономарь Африканыч, дылда с колокольною – ночью еще выше, в рыжей шляпе – добрался-таки до своей завалянки, плюхнулся, смотрит в небо. Эх, все пошло не по-человечьи, где же видано, чтобы Ильин день без дождя?

Спешит Маринка на кунный выгон. Усмехнулась Африканычу: – Эх, нализался, дядя!

– Сама ты эх! Развытная больно! Непутевая. Плясавица. Из-за вас Илья и дождя не дает. Куда? Али на русалочий хоровод?

Покачиваясь, поплелся за ней. Потерял, чуть не свалился в Куйманский лог, шел по целине. Да ведь что втемяшится в башку – ничем не вышибешь: разыскать Маринку, а то погубит себя девка. А девка-то какая: я-те-дам-девка, во!

Лежал, споткнувшись. Трава над лицом; приклепала лягушка. Эх ты, лягва-старуха! Эх, старуха! Похлопал приятельски по спине. Да холодная какая, черт! С нами Бог, разумеете...

Протрезвел как будто. Опять брел, наобум Лазаря. Донесло-таки. Пруд; пьяные кузнечики орут песни; не то белый (туман) над-под горой – не то русалки повели свои бесстыдные куны.

Через выгон идут две тени, вытягиваются. Все длинней. Голос Маринки, ей-Богу, ее смех злочий, как у русалки. А парень просит. Да, попроси-ка, они тебя поведут, покажут, жилочки повытянут, поджарят.

Две длинные тени, обнявшись, скользят по выгону.

Но где же они-то сами? Хоть убей – не видать.

Смыкаются усталые глаза, засыпает Африканыч. Две тени молча садятся у старой ветлы, на валу, на остатках старого городища. Бог весть какого старого.

Царевна и царев сын.

Царевна смеется и говорит цареву сыну: винишь-ся передо мною, винишь-ся, больше не будешь? Ну, ложись, лежи тут, а я сяду и на тебя ноги поставлю, и нишкни. Будешь тихонько – ну, тогда, может быть.

И долго сидит так, – царевна, попирая его босыми ногами. А потом царевна качает головой и плачет тихонько, и все громче.

Вскакивает царев сын и, как золотом, засыпает ее поцелуями, как свадебным хмелем.

– Да как ты смеешь? – кричит она шепотом. – Ты знаешь, о чем я? Я тебе велела тихо лежать, а ты что? Уходи, и смотреть на тебя не хочу!

Пустеет кунный луг. Смелые выходят русалки и до утра, заломивши руки, тоскуют на деревьях, кличут, плачут малыми ребятами – быть им в девушках еще целый год.

Но никто не идет. Позаснули все в Куймани.

Медленным чародейным хороводом обходят вокруг ветхих избушек летние сны и все позволяют. Жаркое девичье тело, белея, разбрасывается в темноте и отдается, кому захочет: все можно во сне.

Сладким медленным хороводом плывут летние сны, а к утру белыми хлопьями собираются над озером, из белого свивают прозрачную, как тающий сумрак, девушку, и около нее цветы молчат и птицы. Смотрит она утренними глазами на чуть мигающий золотом крест колокольни, медленно поднимается вверх и розовеет от подслушанных ночью снов.

Эх, сны! Милый, безумный мир – единственный, где люди свободны.

У ворот останавливается Аверьян на муругой кобыле. Приехал из города. Барышня в шляпе Аверьянова кислит губы и берет вожжи. Аверьян кнутовищем стучит в калитку и отдает Маринке свертки. Осклабляется.

– Это за исповедь батюшке. Так и скажи, мол, за исповедь. Говеешь сама-то, красавица?

– Нет, куда нам, время нету.

Громыхает дальше по жаре тарантас, пылит. Поросянок, привязанный к колышку, сломя голову мчится, сердечный, от невиданной штуки.

– ...Время нету говеть-то. На Успенье-то и бабка Пелагея не гавливала...

И вдруг мысль, веселая и страшная, как безменом, шквыркнула в голову. Уронился даже один сверток.

«А если и вправду пойти и на исповеди все... Не прогонит ведь?»

– Страшно, девушка! Ведь это все одно как колдовские молитвы: Богородица там, или Отче наш – все как следует быть, а только имя Божие везде пропущено, без него читается.

Страшно, девушки...

Но солнце так весело и жарко прыгает с боков, и сзади, и спереди – как веселая собачонка, и все так просто: цыплята вот суются под ноги, вытягивает бок Буренка. Не страшно, нет ничего страшного. Весело: ах, и весело!

Как и в городе царевна, царевна,
По-за городом царев сын, царев сын...
Царевна – это я...

Желтые, горячие поля исходят сухим зноем. Вьются над полями бесстыдные полуденницы, шевеля ноздрями, как собаки, втягивая знойный, вещающий грозу воздух.

Выбегают на середину двора петухи и цыплята, смотрят вверх и тревожно перекликаются – маленькие и большие. И опять, одноглазо, нагнув голову, смотрят на завешанное небо. Белоголовые ребятенки попрятались. Вытянулась – еще длиннее и белее – колокольня и напружилась, держит на плечах тяжкую тучу. Ласточки, черные и острые, с писком водят около церкви свой хоровод.

И слышен внутри церкви их писк. А улетели – совсем тихо, чугунно – и потрескивают свечи. Паникадило на серебряных цепочках. Ставил кто-то свечи, толкнул – и качается вправо и влево, вправо и влево.

И вот уже видится Маринке – качается строгий лик на иконе и поводит глазами. Мягкие становятся коленки, как у тряпичной куклы, подгибаются.

– Но об чем молиться? Ведь об этом страшно, нельзя...

Вдруг ясно: такая никудышная вся эта затея. Тяжелым шагом уходит Маринка к дверям.

Тут у дверей старушки – по-заведенному. И так знакомо все и просто. Две впереди – в черных, горошинами, платочках. Что-то шепчет одна другой, нагнулась, а сама норовит незаметно пощупать ситец на платье.

Маринке смешно – и сразу спадает тяжесть. Пойдет, и поскорей бы дойти до него!

Потрескивают свечи. Тяжкая, тучная тишина. Длинный хвост покорных, пересчитывающих свои грехи. И все падают у аналоя перед ним, перед отцом Виктором.

Две старушки впереди – в темных, горохами, платках, остановились. Кланяются друг другу, норовят как бы пониже, свешиваются через головы концы платков.

– Прости меня, грешную.

– И ты меня прости...

И за ними ближе к аналою надвигается Маринка. Бледнеет отец Виктор, слышит предсмертный писк ласточек в тучах.

– Вот она. Но как же? Накрыть ее епитрахилью и остаться с ней так вдвоем, в темноте? А если?..

Кивает головой ему Маринка и шепчет: грешница, грешница. Не слышит, что говорит он. Отец Виктор спрашивает медленно: страшно обрушиться – какое-то слово одно – и конец.

И вот на краю, и нет больше слов: нету и все.

– Как во сне это... – молчит.

Поднимает глаза Маринка: дрожит у него в руке крест, колеблется.

– Ага! – и опять она становится полуденницей, часто дышит и шепчет, наклоняясь все ближе:

– По ночам... за стеной, рядом... целовать, обнимать тебя...

Что делать? Что делать? Нельзя смотреть – это первое – и поднимает на нее отец Виктор глаза: прямо перед ними – ярая полуденница, пышет, губы раскрыты.

«Она кинется сейчас, опрокинет аналой», – вытягивает вперед руку с крестом и, защищаясь, шепчет:

– Уходи, уходи... – Упирает холодным крестом в жаркие губы. А она смотрит ему в глаза: отводит крест рукой и смотрит...



ПИСЬМЕННО

Дарьин отец в Дону закупался. Поспорил с пушкарскими, что всех в воде пересидит, и правда, пересидел, да тут же и кончился. Стали жить вдвоем с матерью, а без мужика в доме – что уж за жизнь: одно горе необрядимое.

Терпела-терпела, да и говорит Дарье мать:

– Ну, Дарья, иди за Еремея корноухого замуж. Теперь привереды-то эти нам не к лицу. Отбарствовали, будет...

Еремей – вдовый, из мещан пушкарских. Лицом – черный, волосатый, чисто окаяшка. А глянет – так Дарью инда одернет всю. И одного уха нету: во сне, шутки ради, ему обрезали. Ну, против материной воли куда же? Поплакала-поплакала Дарья да и пошла к венцу.

Утром в мужнином доме Дарья в первый раз прибирает косы под бабий платок. Косы – русые, длинные, красота, под платок не лезут никак, и руки не слушаются – ночью замучилась. Не стерпела Дарья, пала на лавку, да в голос.

А Еремей за столом сидел, вино пил: от вчерашнего осталось. Как кулаком брякнет об стол:

– С первого дня кричать? Ты по ком кричишь, а? Замолчи! Сейчас чтобы засмеялась! Смеись, ну?

А как засмеешься, когда в три ручья слезы?

– Смеись, говорю! Не хочешь? – да за волосы Дарью, и потуда таскал, покуда и вправду не стала смеяться смехом смертным, исходным.

Так и пошло бабье бедованье. То была Дарья разбитная, бойкая, а теперь – вроде мыши: все норовит в угол забиться, уйти от Еремеевых глаз волчиных, от рук железных.

Только и отдыху Дарье, когда Еремей уедет по своим делам. Уедет – обязательно Дарью на ключ замкнет. Ну, да это уж пусть: зато отоспится, и поплачет всласть, и девичью песню вспомнит, протянет тихонько.

И день, и два, Еремея нету.

– Эх, если бы, окаянный, застрял где-нибудь... Заколodило бы его, прихлопнуло бы. Богородица Дево, Мать Пресвятая, угомони ты его, расшиби окаянного...

А он – легок на помине – сейчас в дверь и стукнет. Избитый, в синяках весь – еще страшнее.

– Ты что ж, мне не рада? Опять мокроглазая? Ну, погоди, дай тулуп сыму... – и пошло писать...

Ярмарками – у Еремея дела самые главные. Цыгане какие-то, маклаки с красными платками шейными. Шушукуют, шепчутся, по рукам бьют. И к ночи – как помелом вымело: и гости все, и хозяин сам со двора.

Утром Дарья с ведрами выйдет – глядь, в закуте лошадь привязана. Батюшки мои, да когда ж это?

А Еремей уж тут:

– Ну, чего, как баран на новые ворота? Вчера купил...

Через два, через три дня приезжал из Моршанска старover Капитон Иваныч. Тряс бородой козлиной, торговался, хлопал лисьим картузом об стол. Ночью уводил Еремееву новопкупку.

Недолго Благовещенья посчастливилось Еремею корноухому: ночью привел целую тройку лошадей, да каких еще, Прикатил старover, сбежались маклаки в красных шейных платках. И уж сколько тут на радостях пито было – того и не счесть.

Шум, гам, гвалт, от «собачьих ножек» дым зеленый. Один Еремей пил молча, будто только самого себя слушал. И все гуще срастались у него брови, все темнел, все чугунел.

Старover козлoбородый с вина ярился, наскaкивал на всех:

– Табашники! Накурили дьяволу-то! Ваша троица – в табаке роется! Щепотники! Зверю десяторожному служите!

Но старovera не слушали: рыжий маклак божился, что был у него в прошлом году подсед, – все рыжего сове-стили:

– Подсе-ед! Эх ты, естество! Бабка-то у тебя есть, копыто есть?

Рыжий уж сапоги снимал – бабку показывать. А старовер лисьим картузом вертел под самым носом у Еремея:

– Мошкара, мешанинишки! Да я вас со всем барахлом и с женками покуплю... Дашка, сюды! Подь сюды, говорю... – за подол поймал Дарью, облапил – и к себе на колени.

А у Дарьи ноги, как из охlopьев, подгибаются, и ни крикнуть, ни охнуть, и кого-то сейчас Еремей...

Чугунный, от тяжести очень медленный, встал Еремей, снял со стены безмен.

– Хек! – по башке старовера. – Хек-хек! – хекал, как дровосек добрый, рубил разом – за ухо корноухое, за Дарью, за всю свою жизнь...

Одна в избе. Старовера сволокли на кладбище, Еремей – в остроге. Керосин в лампе всю ночь жгла, с головой укрывалась Дарья: жуть одолела, тоска.

А раз утром окно раскрыла: черемуха расцвела, стоит в ризке белой – белица, из монастыря вырвалась, радарадешенька белому. И на черемухе воробьи верещат.

Как проснулась Дарья – вдруг поняла, что ведь теперь одна-одинешенька, вольная...

– Слава тебе, Владычица, прибрала окаяшку корноухого!

Да платок бабий – долой, да косы – наружу.

– А вот не хочу за водой идти: в лес пойду... – и в лес залилась.

– Ты бы, Дарья, в остроге-то его проведала, – Дарью корила мать.

А Дарья только фыркала:

– Вот ще, дюже мне нужно! Еще шкрыкнет чем, душегуб!

Осенью Еремея судили. Присяжные – мужики да мещане, народ твердый. Припомнили Еремею и конокрадство, и все: закатали на каторгу.

Тут уж у Дарьи – вся тягота с плеч долой... То все еще боялась: ну-кось, из острога сбежит, ну-кось, отпустят его.

А теперь дело верное. Выкинула из головы Еремея, как сор из избы.

Жизнь травяная, медленная. Думаешь – лет пять обернулось, а всего только год прошел. И уж все быльем поросло, уж видывали задонского Савоську у Дарьи в палисаднике, уж поговаривали.

И на самое на Благовещение, когда полетели из клеток щеглы, случилось нежданное: почтальон принес Дарье письмо.

Неграмотна Дарья, отроду писем не получала. Дождалась Савоську. Савоська ей и прочел.

«Кланяюсь вам, милая супруга Дарья Никитишна, от лица земли и до ног ваших. А еще прошу письменно прощенья за вашу жизнь, сапоги мои разваливши, и работаем босиком подземно. И погиб я, через что вы меня не призрели сердцем, и бесперечь письменно плачу и вас вспоминаю...» – а конца и не слышала Дарья, так ее пронзило письмо.

Савоська егозил, вертелся, смешки подпускал.

– Да уйди ты, ради Христа. Мне обдуматься надо, а ты...

Думала всю ночь, и неделю думала, и никак обдумать не могла.

...Сапоги разваливши... подземно... и бесперечь письменно плачу...

«Дура ты, дура: ну какого рожна тебе надо. Унесла Владычица изверга, ну чего ты еще?»

Опять черемуха под окном расцвела, воробьи верещат – а не легче все. Ноет сердце и ноет, проснется Дарья – вся подушка в слезах...

Уговорилась Дарья с Савоськой: в воскресенье, на гулёный день, на прожитье переехать к Савоське.

«Малый молодой, веселый. Переехать – и вся дурь из головы вон».

На гулёный день в тарантасе – было бы куда все Дарьины манатки забрать – подкатил Савоська. Уж у Дарьи уложено все.

– Ну, Савося, сейчас. Ты мне только письмо напиши.

Села Дарья на лавку. В окно поглядела – на край света. Пригорюнилась.

– Ну, пиши. «Любезный наш дружечка, Еремей Василч. На кого же вы нас покинули и как жить без вас

будем. А еще кланяюсь вам с любовью от лица земли и до неба, сапоги купила вчерась, и как есть все ночи не сплю. А еще кланялась вам...»

Послушно Савоська все, как Дарья велела, до конца писал. Написал, вслух прочел.

Как зальется Дарья, как заголосит. Голосила-голосила да в ноги Савоське:

– Савосюшка, милый! Прости ты меня, Христа ради. Не могу я к тебе поехать. Мочи моей нет, сердце изошло... В Сибирь поеду...

Дуры бабы, ах, дуры! Поплелся домой Савоська в своем тарантасе один.



ПРАВДА ИСТИННАЯ

Сидит Дашутка у окна, виден между крыш верешок неба. На небо поглядывает и письмо диктует – матери, в село Яблоново, письмо. Разошлась Дашутка и все правила письменные позабыла: уж на третью четвертушку перелезли – а она все диктует.

– «...А еще – в городе очень великолепно, правда истинная. Господа – богатые, и не как-нибудь, а чай пьем трожды в день, и дом ихний называемый обсобняк. Барыня – ласковая, дорит платки носовые шелковые с своего плеча, а то еще платье подарила, голубое шелковое, ненадеванное. И все это я по вечерам хожу и прелестно там танцую, очень свободно. А в субботу отпросилась в собор ко всенощной, а в соборе – мощей видимо-невидимо: направо – моща, налево – моща, ну прямо – проходу нет, очень великолепно. А также Иван Андреев за меня сватается, старший дворник, который над всем домом старший, а дом громадный, в шесть этажей, и всякого добра видимо-невидимо.

А вобще у нас всякая швабра живет, одно слово – свита. Только звание, что господа, а тоже третий месяц за квартиру не платят. А барыня – взгальная, ну прямо вот покою не дает. И в лавку тебя гоняет, и на почтву гоняет, и в аптеку беги: ка-ак же, аверьяновых капель ей надо, с своим расцапалась! Ну, просто мочи моей нету. Ночью-то ляжешь, а ноги так и гудут, чисто колокол, правда истинная. А также жалования шесть рублей, и никуда со двора не пускают, хоть бы в церковь сбегать когда, морду перекрестить – и то нельзя, и юбка голубая шелковая на животе прожжена, которую барыня к празднику подарила, а я и говорю: на кой мне ляд

такая нужна, прожженная – очень свободно, так и говорю.

А дворник Ванька проходу не дает, прямо за грудки, а сам лысый, старищий – чистый грех страшный, и кила на макушке. Так бы вот его и огрела по башке чем ни попадя: туда-а же, с руками своими лезет, облезлый! А поди-ка ты ему поперек слово скажи, как он называемый старший дворник и над всем домом старший, а в доме в нашем шесть этажей, и все живут зажиточные, третьёводнись один на машине приехал, так в самый дом и вкатил, как перед истинным, очень свободно. И фонари на улицах цельную ночь полыхают, светло – чисто день белый, иди – куда хочешь, очень великолепно, не то что у вас в селе. А только нету в городе купыря, и ни за какие деньги не найдешь, а у нас в огороде купыря, поди, сколько хочешь. Выйтись бы теперь на огород босиком, и чтоб земля праховая была под ногами, и взять бы купыря пожевать, и больше ничего и не надо. Только об этом и во сне вижу, как бы в Яблоново к вам попасть, по огороду соскучилась, мочи моей нет, каждый вечер навозрыд плачу. И спасибо тебе, мамынька, что дозволила мне в город на место итить, а то бы так всю жизнь темной и жила в селе дура дурой. А теперь хорошую жизнь увидала и будет про что на старости лет вспомнить, правда истинная...»

<1916>



ВЕРЕШКИ

На диване

Внизу, по обе стороны рельс, врезана лента синего неба: река. И в синем – глиняно-красные от солнца адамы и кони: бух! – и брызжет взорванная радуга, водяные верешки сверкают и слепят, и от дерзкого ржання – как от кнута – красный след через все небо.

А мы – на диване. Удобные, одинаковые люди; удобные диваны; чуть душный, чуть надушенный, удобный воздух.

Господи, если бы свихнулся с рельс поезд, если бы торчмя головой чебурахнулся вниз, к глиняно-красным коням и адамам!

Зверята

Медленно и неуклонно ползут каменные здания, как стадо черепах. Осенний ветер оплетает свои мокрые волосы вокруг решетки с копиями наверху.

А за решеткой – представление в зверинце. Вертятся фонари, погремушки, морды и лица. За решеткой – зверята. Жарит музыка плясовую.

– А ну, как веселые ребята пляшут? А ну, как молодухи зубы скалят?

Пляшут, зубы скалят, веселье.

А когда уйдут все – просунут зверята меж прутьев морды, смотрят вдаль – на далекий огонь, и осенний ветер хлещет их мокрыми волосами в глаза.

Трамвай

Сверкает, гремит трамвай, народу полнехонек, едут в театр.

А у самой двери – сидит мальчишечка, хорошенький такой, голубоглазенький. И у него – ухо надорвано, кровь из мочки бежит. Нет-нет да и вытрет грязным платком то ухо, то глаза, то опять ухо.

Смирнехонько сидит голубоглазый мальчишка – так смирно, что никто его и не видит.

И сверкает трамвай, полон народу: едут в театр.

Снег

Всю ночь – снег с неба. К утру – земля вылечится. К утру из насквозь процелованной – снова станет зас-тенчивой синеглазкой с длинной косой, и все – удивлен-ное, новое, все – сначала: только дожить до утра.

Утро. Синий снег – весь изляпан сапожищами.

<1916, 1918>



КОЛУМБ

1

Кругом – степь, глухмень: где тут игрушек достанешь? Так и жил Колумб без игрушек. Вот уж тарантас подчинят, поедет отец в Москву, из Москвы привезет. Через два года, на третий, вставили в тарантас шкворень новый, напекли пирогов, кокурок – поехал отец в Москву.

Вернулся к Ильину дню, под самый покос. И оказалось, в ящике-то конь был. Огромадный – Колумбу под мышки, из себя – чалый, хвост до земли. То-то теперь Колумб поскачет, чисто Асарка-киргиз. Уши загорелись у мальчика.

А наутро конь на полу лежал, брюхо распорото, из брюха опилки лезут, а хвост конев – под кроватью.

– Да ты что ж это, пакостник, а? Да я т-тебя... Запорю!

– А если он – не настоящий, что ж я с ним... Кабы настоящий, а то... – фыркнул Колумб на отца.

Небритый, в халате, с арапником, отец над Колумбом стоял, а мальчишка лоб принагнул, вот-вот боднет, и все на своем уперся:

– А я не буду. А я не хочу. А он не настоящий.

И быть бы впервой тут Колумбу пороту – кабы не мать: белая мать, – тонкой былинкой загородила собой от отца, от арапника.

– Нет, верно, пора малого за книгу садить, авось поумнеет. – И взялся отец учителя Колумбу искать – англичанина, да не простой чтобы англичанин, а из самых Северо-Американских Соединенных Штатов. А иначе – никак и нельзя.

Англичанина в глухмени, в степи – не сразу найдешь: пока что (временно, конечно) препоручили Колумба дьячку Евдокиму. Дьячок Евдоким – пчеловод, дела по горло: то рой сымай, то шашел развелся – шашел выводил, то бери дымарь да пчел подкуривай хорошенько, соты ломай.

Ну и вышло оно, что Колумбу он только азы показывал а там уж пошло: принялся Колумб что попало читать.

В растрепанной книге какой-то прочел про открытие Америки. И так это пронзило его, что решил: вырастет большой и тоже поедет и откроет обязательно.

Под праздники в доме все чисто было. Лампады сияли, и тихой лампадой сияла мать. Отец был, как стеклышко, трезв. Зажавши мальчишку между колен, спрашивает всякий раз:

– Ну, вырастешь вот, Андрюшка, кем же ты будешь?

– Христофор Колумбом, – был неизменный и бодрый ответ.

Так и пошла за Андрюшкой кличка Колумб: он рад откликаться.

На третьего Спаса было еще бабье лето, был день очень тихий, печального золота. На току, под осенний грай воробьиный, пробовал Колумбов отец молотилку собственного изобретения: разнесло молотилку вдребезг и убило самого. Так и скovyрнулся, англичанина из Северо-Американских Штатов не отыскал.

Открылись долги. Землишку продать пришлось, а самим ехать в город, там мать тетка жила, так к этой, вот, тетке.

В остатний раз колымагу свою подчинили, подправил шкворень кузнец и поехали.

2

Бабушкин розовый домик на взлобье стоял как есть насупротив монастыря. Под праздник ко всенощной ходили втроем: бабушка, мать и Колумб. Золоченые главы блестели последним солнцем. Со стеклянным писком кувыркались ласточки в синеве. Ухал колокол гулко, узкую улочку всю наполнял праздником.

Ставили впереди Колумба в гимназической серой куртке, а сами становились позади.

Слышал Колумб их тихий шепот. Шептали Богу:

– Господи, жара-то хоть бы стихла, сил просто нету. Изобилие плодов земных – и выиграл бы наш билет двести тысяч. Господи, у коровы-то ящур-то прошел бы скорей.

И явственно чуял Бога Колумб где-то тут очень близко, за синим ладанным дымом. И уверенно знал: выздоровеет, конечно, бабушкина корова, исполнится, конечно, все, о чем он сам просит.

А мало ли о чем есть просить человеку, который в гимназии третий год состоит? Директор Груздев, а прозвище ему – Морковка, довольно строгий. Много наук серьезных, это тебе уж не дьячок Евдоким, а настоящее: алгебра.

Мать белая, ласковая, хотела мальчонку к музыке приучать, сажала за разбитый рояль. Колумб головою сердито боднул:

– Очень надо играть. Там алгебра – вот это я понимаю.

И к алгебрам прилегал всей душой. Вот бы стать, как Груздев-Морковка: всякую задачу с налету решить, очень умный.

Перед Пасхой, в великий Пяток, послали Колумба в торговую баню с утра: не лез бы за миндалем да изюмом. В бане нет никого – раздолье. Намылился весь Колумб, пошел за водой, как вдруг скрипнула дверь и впустила Груздева-Морковку, с бачками рыжими, с шайкой, с мочалкой – был он без всяких регалий.

«Ну, узнают теперь, подлецы, что хожу я за гривенник в баню...» – переконфузился Морковка вот как.

И с конфузу, должно быть, подал руку шаркавшему усердно, намыленному Колумбу.

– А мне Груздев руку подал, – хвастался дома Колумб. – Я по алгебре лучше всех задачи решаю...

В понедельник на Фоминой после молитвы Колумб подошел к Морковке и уважительно руку ему протянул.

– В карцер, нахал, непочетник, мальчишка!

Карцера не было. В пустом классе горько сидел Колумб и упрямо думал:

«Как же это так? То сам протянул, а то...»

Три часа – времени много. За три часа – мир повернулся перед Колумбом.

Первым делом Амишку директорскую, кипенно-белую, голубой тушью покрасил Колумб. И пошел, и пошел выкомаривать: стал главным заводилой. К матери тоже – пришел и боднул ее, лоб нагнувши.

– Это самое... на рояле... Я теперь буду. Согласен.

Стыдливо-радостной зеленью цвел апрель. По высохшим тротуарам Дворянской, стараясь говорить басовито не зная куда руки девать, бродили гимназисты с симпатиями. Колумб угрюмо ходил: его никто никогда не полюбит. Лоб у него – косой, черноволосьем криво зарос, глаза маленькие.

– Ой, какой вы, наверно, умный, с вами страшно ей-Богу, – не то вподсмех, не то вправду говорила Колумбу Катя.

Катя – вся розово-голубая: глаза – незабудки; румяные розы щек; голубое суконное платье, гогольяновка, из гимназии Гоголь-Яновского; все слова, все движения – голубые.

И далекие, стыдливые зарницы запылали в Колумбе. С радостью взялся писать Кате сочинение, что путешествие приятно и полезно. Господи, Колумбу ли об этом не знать? Ведь когда-нибудь Америку-то еще откроет.

– Знаете что, – приходите-ка в воскресенье в сад архиерейский. Уж я вам там, – розово-лукаво шепнула Катя, получив сочинение...

Всю неделю был радостен, буен Колумб на уроках, носился и ржал: эх, с колокольни бы спрыгнул с какой-нибудь. Изо всей мочи, любя, по спине осарычил кого-то Колумб: все печенки отбил. А тот развернулся – да сдачи.

И зацвел у Колумба под левым глазом фонарь, и настали ночи мучительные, нескончаемые.

С вечера запирался в клетушке своей Колумб, задувал огонь, оставался вдвоем с Ним. И на коленях, крепко сжимая зубы и руки – сжимая себя всего – молился, молился...

...Только один раз. Больше никогда уже не надо будет. Пусть пройдет к воскресенью, пройдет, пусть пройдет синяк.

Жадно смотрелся в зеркало утром: радугой цвел сияк. Но ведь еще одна ночь: в эту ночь наверно...

Встал в воскресенье веселенький. По частому бою сердца уж знал, что под глазом нет ничего. Побежал в передней к зеркалу...

Весь день Колумб думал, упрямо думал, путался, падал. Если Он не услышал – значит... Если слышал и не мог... Если слышал и не хотел – еще хуже.

И снова, как глобус, медленно мир повернулся перед Колумбом. И дальше поплыл он без Бога...

<1918>



КОЛУМБ

Повесть

1

У Колумбов землишка была в Рязанской губернии, десятин там сто-полтора – жили не горазд богато. А учителя сынишке своему – англичанина выискивали, да и не просто чтоб был англичанин, не из Англии, а из самых из Северо-Американских Соединенных Штатов. А иначе никак и нельзя: фамилия ихняя такая особенная. Хоть и не Христофор, а Иван Иванович сын-то их, ну, а все-таки, знаете, нельзя...

– В Рязанской губернии у нас – чистая беда, ничего-ничегошеньки нету, – жаловался Колумбов отец. – Ивану своему учителя ищу. Американца надо. Другой год уже бьюсь, никак не найти...

А пока что препоручили Иван Иваныча обучать дьячку Евдокиму. Временно, конечно.

Дьячок Евдоким пчел до страсти любил водить. И пока о пчелах Ивану Иванычу рассказывал, о премудром житье их, слушал малый его. А как чуть Евдоким насчет чистописания или диктанта – так сейчас Иван Иваныч лататы. Евдоким – за ним. Догнать-то, конечно, куда уж... А вот засядет Евдоким в бурьян или где-нибудь там за дверью – да оттуда скок. И сцапает Ивана и представит к отцу: так и так, мол, шалберничает малый, приструнить бы надо. А Иван Иваныч пред отцом стоит, ижицей ноги растопырил, упористо этак: сдвинь-ка, мол. И лоб нагнул, а на лбу, слева и справа, колечки жестких волос, как у бычка молодого. Пощупать тихонько бы: нет ли под теми колечками, не выбиваются ли маленькие твердые рожки. Отец мимо куда-то в окно глядит, равнодушен:

– Ну, что там... Это ведь так себе, временно. А вот когда мы тебе англичанина достанем из Соединенных Штатов, тогда уж... Ты, брат, одно себе запомни, какая твоя фамилия особенная. Сообразно живи...

Прошло года три – и скovyрнулся старый Колумб: пробовал собственного изобретения молотилку, разнесло молотилку вдрызг – самого и убило. Так и помер – сыну американца не отыскал.

Открылись долги, землишку Колумбы продали, мать уехала к тетке в имение жить. А Ивану Иванычу куда же деваться? Ивану Иванычу только и осталось в юнкерское идти.

В юнкерском Иван Иваныч раскорячился, стал в коридоре подле бака с водой кипяченой, да так два дня и простоял: воду все голошил и глядел все кругом, прехмурый, – так все было далеко от лесов-полей.

А кругом как в котле кипучем кипит. Юнкера – по коридору гуляют, обнявшись; юнкера – за дверью в углу грабят пирожки у новичка; а самые какие похитрей – глядят полковницкую Мимишку:

– Мимишка, Мимишка, ах ты какая... Какая белая-то, а? – и поглядывают умильно на полковника, а Колумб из-за угла, из глуби – на них.

«Эх, пинком бы эту самую Мимишку и всех... и задать бы лататы...» Но лес далеко.

После обеда Мимишка с ума сошла: фыркала, визжала, кружилась вокруг себя, как овца в вертячке злой.

– Мимишка... Мимишка сбесилась. Держи, а, держи... Поймали, погледели: ан она... голубая, Мимишка-то, а не белая...

Полковник прибежал. Нос у полковника приставной, на очках держался – нос у полковника запрыгал:

– Как? Сейчас же... Кто?.. – а голосу и нет уж.

Юнкера прятались за спины. Из-за спин вышел Колумб на середку, уставился попрочней:

– Это я, господин полковник. Это я тушью голубой намазал.

– Как-как смел? В карцер... на-на сутки! Нет, ты зачем это сделал?

– Я стоял... – начал было Колумб. («Да нет, не поймет безносый».) – Так надо было, господин полковник.

– На-надо было? На-на-на трое суток!

Колумб – налево кругом и в карцер. Но за «голубую» Мимишку – освободили Колумба от «приемных испытаний». Всех других новичков-пистолетов «поцукали» здорово: какие ночью в спальне в сапогах на босу ногу прыгали через веревочку; какие пили двенадцатую кружку воды; какие кончали получасовой бег на месте...

Колумб держался дичком, всегда хмурый. И было видеть: что-то шевелилось за крепким его лбом, а что – неизвестно. Со всеми Колумб разве только водки хлебнет иной раз. Да и то, выпивши, все так же крепко стоял он на ногах, как вчера, и все так же молчал.

Как-то раз на занятиях по тактике загудела в классе синяя муха-громотуха. Звонко так, важно. Прислушались юнкера – и услышали: а ведь весна, ей-Богу. Почесались:

– Эх, да кабы не экзамены...

И загудела по классам, как рой пчелиный, зубрежка: зубрили науки вслух, и всяк свое бормотал. А за окном, как назло, зеленая лезла травка, воробьи верещали вовсю.

Позанимался Колумб, приустал, учебу отложил.

«Нет, а гулять идти не резон: потом за книгу не сесть. Лучше уж так что-нибудь почитать».

Какая-то про химию книжка. Страничка, другая, десятая...

«Из воздуха, ну, просто вот из воздуха – и вдруг селитра. А из селитры, известно, порох...» – так прошибло это Колумба, ну, просто... Химия – вот это, мол, наука так наука, а не то что...

Наутро на толкучку побежал Колумб, купил там старых химических книг, снадобий, пузырьков – и засел. В парте у себя развел лабораторию целую. Крышку парты поднимет, голову – под крышку и ворожит с утра до ночи.

– Колумб, да будет тебе играть-то! Обедать пойдем.

– Я не играю, – голос такой сумрачный, должно быть, и впрямь – не играет.

На тактике Колумб устойчиво ноги расставил и долго молчал. И к ужасу экзаменаторов – вдруг:

– Я собственно химией занимался...

– Хи-ми-ей!?

И тут Колумб, загоревшись, высыпал вдруг все: про воздух, про селитру, про алхимию, про абсолютный нуль... Полковник подергал очками (и вместе с очками – носом) и сказал:

– Мм... по химии – отлично. Но по тактике – абсолютный нуль. Вот именно – абсолютный нуль. Так и запишем.

Так шло и дальше. С книгой Колумб сидел постоянно, но смотрел мимо страниц. Над одним каким-нибудь словом засидится – и час, и два над ним сидит: обязательно ему надо добраться до самого корня, до дна, до «настоящего». С такой сноровкой просидел Колумб в юнкерском два лишних года, да и то еле-еле, через пень-колоду, добрался до конца.

2

Город был тихий. Жители всего боялись: исправника, соборного протопопа, собак, коров, даже комолых. Некуда было пойти: в винт Колумб не играл и учиться играть не хотел. Колумб обложился книгами и читал до «корня», чтоб дочитать.

– Все, брат, читаешь? – любопытно заглядывал в книги Володя, поручик, сожитель квартирный.

– Да вот... читаю.

– Гм. Ну, и про что же, например, так – если в двух словах?

– Это-то вот? Это – про «вещи в себе», то есть... Я это только еще издаля... а уж чувствую: это-то она и есть, понимаешь, уж до корня, до дна... Не то что вот сукно – зеленое снаружи, а какое оно – настоящее... На-сто-ящее!

– Смотри, брат Колумб, в кошелке поедешь. Помнишь, про дьячка-то я тебе: Библию всю прочитал – да в кошелке и поехал.

Помолчит, посмакует папиросу Володя – и заключит:

– Настоящее-то, брат, в жизни одно... – и такую пулю отольет, что у Колумба уши завянут.

Ругается Колумб про себя:

«И чего я с ним? И чего я ему вздумал?..»

В сочельник вечером, часов в шесть, вышел Колумб за ворота. Мороз был крепкий, остро мерцали звезды, и

тишь была темная, недвижная, но живая, особая, во чреве своем таящая праздник, свет.

«Что-то будет завтра? Хотя бы что-нибудь новое, особенное. Немножко бы хоть...» – затомился Колумб.

В подгородной слободке, тут и там, тихие, теплые, далекие запылали костры: обогревали Христа. И вместе с Ним грелся Колумб.

– Глупое же это, ненастоящее, ненужное, а вот же – хорошо, значит... А, ч-черт, – дрогнул Колумб.

Володя захохотал – всю тишину, весь сочельник взбулгачил.

– Испугался, брат? То-то. А ты знаешь, дела-то какие творятся? Новый командир ведь приехал...

– Да ну?

– ...и, брат, с дочкой, дочку видел мимоходом.

– Ну и что?

– Н-не тово что-то, не показалась, – покрутил Володя.

Наутро – обедня, свечи, золото риз, синий ладанный дым. И будто от запаха этого дыма – жалость о чем-то детском и досадная злость.

«Что я в самом деле? Развеяло...» – и упористо, ижицей ноги расставил Колумб и стоял спокойный уже до конца.

В два часа Колумб был с визитом у командира. Не было больше никого. Колумб стоял в пустой зале перед командиром, упрямо нагнув голову.

– ...Главное, здесь клымат здоровый... Главное, здоровье... – размеренно читал командир.

«Здоровый... здорово... здоровье... – слушал Колумб, глядел на дощатый живот командира, на жилистые длинные ноги. – Наверное, он немец. Пфуль, Пфуль,» – вспомнил Колумб. И юркнул в первую же паузу командирской речи. Скорее домой, к книгам.

На второй день было солнце: морозное, звонкое, в упряжи из радужных, радостных дуг. Колумб сидел у окна по-любимому: упористо, крепко голову уперев на правую руку. Мимо катила сани тройка, черкнул затем больно Колумба клич колокольчиков. На ухабе раскатились сани – к самому окну – и за стеклом совсем близко увидел Колумб: деревянная голова командира – «Пфуль, Пфуль!» – и рядом с ним – закинутое назад девичье

лицо, меховая черная колокол-шляпа и у самого края – на черном – серебряной парчи цветок – и слеза алая – тлеет в сердцевине цветка... Лица ее Колумб так и не видел.

«Какое могло оно быть? – Серебряным цветком с алым маком в глуби, – засело это в Колумбе, отвязаться никак не мог. – Закинутое назад... Все это отлично, к серебряной парче подойдет, но причем же алая... Просто безвкусица».

– Колумб, ливерная – великолепная, поди, ливерной поешь, – басил в столовой Володя.

– Ливерной... – рассеянно поморщился Колумб. – «Ливер... Собственно, *л'ивёр* – летнее, красное. Но причем же оно?» – Да не хочу же, отстань, – крикнул он Володе. – «Надо дожидаться, надо».

Васинский дом, где жили Колумб, и Володя, и Васин с женой – на самом почти краю стоял; дальше был снежный, белый обрыв – Тяпкин лог, и где-то вдали золотели за логом кресты – девичий монастырь.

От Тяпкина лога тройка круто повернула назад и пошла потише в спорую рысь. Снова раскатились сани со скрипом – и снова мигнуло Колумбу знакомое черно-серебряно-алое. Но теперь и командир, и она сидели к нему лицом – и Колумб жадно в самомалейшую секундочку какую-то схватил ее черты. Нос был никчемушне короткий, а губы – и верхняя, и нижняя – большие, губы – половина лица. Ну, вообще...

Колумб пошел есть ливерную колбасу. Все думал о чем-то и не примечал, что уписывал уж вторые полфунта.

«Неужли ж закон природы таков, что в лицо глядеть не надо? В самое лицо-то? Ну, не-ет...»

Вечером в новом деревянном Собрании на краю того же Тяпкина лога окна все полыхали. Отпирал Колумб форточку – и с паром морозным влетало: трум-ппа, трум-ппа. Труба – совсем оглашенная какая-то.

На бал отправились Володя с Шурочкой, Васина женой. Шурочке было уже сорок с гаком, но иного звания, как «Шурочка», она и знать не хотела и шла на балы с превеликим удовольствием.

Капитан Васин и Колумб домоседствовать остались. Колумб, может быть, и пошел бы, да боялся, не хотел еще раз увидеть то лицо. А с Васиным Колумб был не прочь посидеть и поговорить. Оно, положим, не совсем «поговорить», потому что Васин всегда куда больше говорил, чем слушал, но говорил как-то так, что думать Колумбу не мешал.

Сидели они с Васиным за самоваром в столовой. Васин дул десятый стакан с куличом: выпьет и еще десять. Колумб глядел на громадный лысый, от чая упревший Васина лоб.

«Ну, что же он, Васин, умен, как поп Семен, или глуп, как пробка?»

А Васин, с первого стакана начиная, все жарил на память «Руслана и Людмилу». На всех особенных словах, вроде <пропуск в авторской машинописи. – Сост.> Васин толстым пальцем ковырял сюртук Колумба и губастым смешливым своим ртом расплывался, сиял...

За «Русланом и Людмилой» следовал иной раз псалом, иной раз Жуковский, иной раз Барков. Видимо, Васину самое это чтение вслух, рифмы, ударения – хитрая вся эта механика неизъяснимое давала наслаждение. Скоро начинал он жмуриться, облизываться, потом тачал уже стихи с закрытыми глазами, с мокрыми смачно губами. Забавно на него было глядеть, и только никто вот уразуметь не мог, ума ли палата Васин или только...

– Послушайте, Васин... Да бу-удет вам со стихами... Вот... единство материи там и прочее. Ну, а как же вообще-то приводится все к единой истине, или?.. И если нет, то как же?

– Ис-ти-на, хватил. «Тьмы низких истин...» Истина, брат, просто, по-моему, блядь, проститутка, – пояснил Васин и, довольный, смачно засмеялся.

– Глупо, – нахмурился Колумб.

– Нет, брат, вы, зеленые, глупы. Она, брат, бежит впереди, юбочонку подымает... А вы-то, зеленые, глазами туды – у-ух. А того же не понимаете, что она... она...

– Что?

– То-то: ште? – передразнил Васин – и вдруг серьезным стал его рот. – Ну, и довольно, – отодвинул он стакан и ушел.

День ото дня командир деревенел и строжился все пуще, чистый Пфуль. Налетел на распек и Колумб.

У Колумба в роте был такой солдат Куродоев Иван Степаныч. Солдат как солдат, а только был Куродоев до службы – у себя на селе – сперва на клиросе певчим, а потом у пономаря-старика подпономарем. Наловчился, дело пономарское справлял за милую душу: со свечой там ходить, апостола читать, в гласах не запутаться – все умел. Ну, вот и осталась у Куродоева повадка такая пономарская, благолепность, степенность, важность – во всем. И величал его Колумб «Иван Степаныч» всегда. Роте, конечно, полное удовольствие, потеха, а уж Куродоеву...

Каким-то манером прознал командир про «Иван Степаныча» этого самого – и-и на Колумба насел: подпоручик Колумб развращает нижних чинов... подпоручик Колумб не знает устава о службе...

Колумб стоял, голову нагнув, упористо ноги расставив, упрямо молчал. И только потом – такой ходил зеленый – не подступайся. А тут еще в канцелярии приспела работа: канцелярии Колумб не терпел.

Полковая канцелярия была в полуподвальном этаже. Рядом с Колумбом сидел за столиком Васин, читал, зажмурясь, стихи. Из-под самого потолка сквозь окно дразнило февральское солнце. Сзади, французя в нос, дразнил полковой адъютант:

– Отчего вы пьете молоко? Молоко атрофирует все железы кроме грудных. Этак вы Америку свою не откроете и порох свой не изобретете...

Колумб упрямо молчал, глотал молоко ледяное. Наверху, в его окне, медленно мигая, шли ноги. Колумб уже привык – Колумб знал: это ее ноги.

«Короткий этот нос, широкие губы... И правильно, и правильно, что имя – тоже безобразное... Прасковья, хм, как это они из Прасковьи получили Панни?»

Панни шла опять мимо, но не одна уж; рядом с ней шагали офицерские чьи-то ноги. Остановились, потоптались против окна. Дальше...

«Гуляете? Гуляйте, гуляйте...»

И опять – как нарочно – против самого окна...

Вдруг медленно, спокойно, как сумасшедший, Колумб полез на свой стол со стаканом молока в руке.

– Васин, Васин, да держите ж его, – шипел адъютант.

А Колумб открыл фортку, выставил голову и стакан молока и сказал таким приветливым тоном:

– Барышня, не хотите ли молока? От-лич-ное...

И так же спокойно, без улыбки, слез со стола и слушал весь пеной вскипевший переполох.

– Послушайте, Колумб, – сконфуженно потер Васин лысый лоб, – но ведь... это же нелепо.

– Нелепо? Ну и ладно. А вы думаете, я не знаю, что я нелепый человек? Не менее нелепый, чем Мимишка...

– Мимишка?.. – раскрыл рот Васин.

Гауптвахта была тут же рядом с канцелярией, за толстой стеной. Колумб лежал на узкой и жесткой постели, но было ему покойно теперь, хорошо. Может, оттого, что завесил окно туман, уютный и теплый. И Пфуль деревянный и Панни-Прасковья заглушились туманом, звучали где-то очень далеко. Колумбу было покойно.

На стене мелькало багровой улыбкой весело гибнущее в тумане солнце. Как метельные вихри кружили Колумба странные, туманные умозаключения.

«...и сразу – сумерки в полдень. А может мы, северные люди, только в сумерках-то и живем? Предметы – мигают, исчезают, плывут... – и, может быть, существа...

...И все-таки теперь они – *настоящее*, чем безобразно-ясные днем... И вот что, может, в полдень-то мы, сумеречные люди, – слепые, бестолково тычемся головою в стенки и не видим двери. И только в сумерках... как большеголовые ночные...»

Осторожный стук в окно – порвал непрочную цепь. Колумб вскочил:

«Что за черт? – послушал. – Нет, верно, стучат».

Неизвестно отчего волнуясь, вскочил на стул, раскрыл фортку –

Это была она. Ее слишком короткий нос и широкие...

– Послушайте, вас зовут Колумб, это... Но вы на меня, пожалуйста, не сердитесь, Колумб, что я сказала отцу, и вас... Потому что на улице засмеялись. А теперь я подумала: очень хорошо, вы не побоялись отца, мне нравится.

Колумб молчал – и глядел – в ее глаза. Глаз Колумб раньше не видел – а теперь исчезло все лицо – одни громадные глаза, как у большеголовой ночной...

– ...Хотите я вам принесу обед, я сама? Тут ведь только через двор перебежать... – Панни просунулась в форточку еще больше, любопытно метнула глазами куда-то в угол.

– Ах, какой обед! – досадливо махнул рукой Колумб.

«Зачем же она увела глаза?»

Панни фыркнула сердито:

– Не хотите? Как угодно. А только помните, я... – и нырнула в туман, и нет...

Недоуменный стоял Колумб на стуле, дико скакало сердце. Зажмурился – и явственно, ну, совсем как живые – раскрылись опять ее глаза.

«Как же я не видел глаз? Глаз-то, глаз-то и не видел? Черт! и Бог знает что... Ее – такую, такую...»

Притулился в углу на кровати Колумб – и думал, и думал, стучало, мучило, жгло...

«...Но глаза, глаза... Как? как что? как бы это?..»

И вдруг – из ничего – встрепенулась в Колумбе одна странная детская ночь...

Колумба разбудил набат. Вскочил – окно полыхает красным, вздымается, гаснет.

«Это у нас?..»

Вошел отец. У отца – как раз тогда был запой – глаза с кровью, небритый, страшный.

– ...Да, у нас, на пруде летний домик... Но ты сейчас чтобы спал... Слы-ш-шишь?

А набат все звал, все звал. Не стерпел Колумб, в одной белой рубахе – за окно, босиком по темным, живым от набата аллеям – к пруду.

...Колышется кровь или огонь – в пруде, на красном черные, как черти в аду, мелькают, машут. А отец...

На парадном ходе, на приступках – именно на приступках, как сейчас это ясно Колумбу, – отец нещадно его сек последний и первый раз в жизни. Колумб упрямо молчал, не пикнул. А сердце – зашлось от муки, и будто вот неминуемо еще – и конец, и смертно-сладкой болью заныли ноги...

Уж как – неизвестно, но утром ускользнул Колумб и опять туда – к пруду.

Не было никого уж. Теплые точки головней алели в воде. Темная, тихая, невероятно глубокая манила вода смертным покоем.

«И как же жить после приступок?»

Набрал Колумб воздуху, нагнулся, ахнул вниз...

«...Вот... да... Вот глаза – такие же... Так же тянет вниз...

Тогда вытащил кучер – а теперь... И не надо, и не надо...»

В открытую фортку наползал туман – желтоватый, древний – дремал и видел во сне: вот дремлет на черствой кровати Колумб...

«Нет, это я тебя вижу во сне, а не ты – меня», – заспорил Колумб.

4

Утром в субботу Колумб вышел с гауптвахты. Шел по улице, щурился – от света настоящего отвык, задыхался – от... от... Он уверен был, непоколебимо уверен, что сейчас... ну, если не сейчас, так где-нибудь на краю Тяпкина лога, у Собрания, встретит ее. И тогда...

И до Собрания дошел. И на краю постоял Колумб, поглядел тоскливо на кресты далекого монастырика. Но не было Панни. Совсем с панталыку сбитый, с тропинки сбиваясь на цельный снег, потащился Колумб обратно.

«Ну, вот сейчас и Васин, и стихи, и Володя... Ах, как все это...» – нехотя топтался Колумб у своих дверей.

А из-за угла, чуть слышно тренькая колокольцем, выступала медленно тройка. Та же самая. Командир – и рядом она, ее черная колокол-шляпа, серебряно-холодный цветок и алый, как тлеющая головня, рядом... Но глаза – но теперь же видны Колумбу ее глаза – и все ясно и...

«Господи, если бы она только...»

Колумб взял руку к фуражке. Такое это обычное, но Колумб весь вздрогнул, отдавая честь, – как от поцелуя.

Деревяннo-сердито вскинул рукой командир. А серебряный цветок на шляпе не дрогнул: голова была все так же неприступно закинута назад.

«Как будто не видела»...

Колумб, как слепой, толкнулся в дверь не руками, а головой, изо всей мочи – головой...

Колумб был весел до черта, молот чепуху, как пьяный, Колумб даже шутил. Володя в знак изумления надул пузырем румяные, спелые щеки:

– Пфуф, ты Господи. Вот гауптвахта как человека обернула... Чисто куро-орт. Поди и не гадал Пфуль, что такое тебе удовольствие доставит... А Панни-то, Панни-то, скажу я тебе...

Колумб стал просить глазами Володю о чем-то. Но Володя не слышал глаз. Володя улыбался предовольно – Володя стал совсем уж лубочный Еруслан Лазарич, только что кудрей не хватало.

– Я, брат, приволокнулся за ней, уж если начистоту... До чего, знаешь, зла, до чего пылит, ну просто... Да только со мной, брат, не больно, я ее живо... А хороша, хороша – огонь.

Колумб сломал папиросу, бросил, закурил новую:

– Хм, хороша уж. Действительно – вкус у тебя. Носяка-то, как у Павла Первого... А ротьяка – не дай Господи.

– Дура. А глаза, видал? Глазищи-то?

Колумб набрал в себя воздуху до самой глубины, до дна.

– Глаза? Ну, уж это известно: коли страхуля, так всегда глаза да волосы хвалят...

Володя осерчал всерьез, Володя больше и разговаривать с Колумбом не хотел.

«Не видал, а туда-а же...»

Володя вытащил из-под кровати скрипку и начал изображать: играть он давно уж бросил – и только «изображал».

Сперва – мычала корова; потом – сани скрипели по снегу; потом – скрипучим голосом Пфуль разносил Колумба. Это было и впрямь похоже. Чудно стало. Первым смеялся Володя, сам смеялся по-ребячьи, нутром – и весь трясся. А за Володей – Васин, гармоникой собрав огромный свой лоб; за Васиным – Колумб, и не смеялись у Колумба только глаза.

Под конец изобразил Володя, как кровать скрипит... и совсем уж неудобосказуемое нечто, и крякнул, довольный:

– Вот скрипку возьму да распотешу девулк на вечеринке у Водоемких.

– Возьми меня, Володя, к Водоемким. Хочу с Лизанькой познакомиться, – придумал Колумб, помолчав.

– Да что ж это с тобой за чудеса? – подивился Володя еще раз. Но с собою Колумба взял: такой уж был дом у Водоемких, странноприимный, веди кого хочешь, всякому рады.

Лизанька была самой младшей. Четыре сестры были курбастые, толстые, «тумбочки» по прозванию, все в старика Водоемкого. Одна Лизанька в мать пошла: фарфоровая была, точеная вся, ручки-ножки малюсенькие; ручкам-ножкам под стать и умишко. Всегда притчилось Лизаньке: смеются мужчины над ней (да оно, и правда, случалось). И на всякое слово мужчинское был у ней один ответ:

– Да-а, вы еще тоже вы-ыдумаете... Знаю я...

Колумбу стало жалко ее, фарфоровую, – и нюхом каким-то нашел он нужный с ней разговор: шуток никаких не шутил, а просто, серьезно рассказывать стал про старую свою бабушку.

– ...А звала меня бабушка «Ванюшенька». Очень меня любила. Пышки мне ржаные на яраге пекла, старинные – и вкусные же только...

Лизанька перестала глядеть недоверчиво:

– Ржаные пышки? Да, это, правда, вку-усно, – Лизанька облизнулась.

– ...А платье одно у бабушки было со шлейфом, с отделкой аграмантовой, тяже-елое. И в сундуке лежало – был у бабушки сундук такой, с диковинами всякими. Ордена, там, дедушкины, шпага, письма. Письма меня вслух читать заставляла: бумага желтая, слова старинные, милые, а бабушка слушает и плачет, разливается сладко...

– Не надо больше про бабушку, – сказала Лизанька.

Глянул Колумб в кукольные ее глаза, увидел крохотную в них слезинку, замолк – вспомнил алый какой-то блеск – замолк, погас.

Перед ужином залучил Володя Колумба в уголок:

– Ну-у, брат, ты и мастер!

– На что?

– Что? Сейчас мне Лизанька призналась: «Подпоручик Колумб вот это, – говорит, – не то, что ваши все, в под-

метки не годятся... Он сурьезный, он понравился мне, я такого не видала».

Упрямо нагнул голову Колумб:

– И Лизанька мне очень понравилась. Красавица какая. Тонкая и прямая. Не чета, там, Панни твоей...

– Хорошо-о, хорошо-о, я, брат, завтра Панни-то скажу. Про все скажу-у, и про Лизаньку, и про все.

Мигнул Колумб чуть заметной улыбкой.

– Ты на самом деле, не вздумай. Не говори уж, пожалуйста, – принахмурился он.

– Аб-бязательно скажу... Аб-бязательно...

Володя последние дни у командира стал первый гость. И на завтра, на воскресенье к обеду был зван.

Колумб сидел у окна, ждал Володю домой.

«Пора уже, пять часов».

На прозрачном еще небе шевелилась весенне-печальная ветка. Звезды выходили омытые, бледные, взволнованные.

Когда перестал уже ждать Колумб, из-за угла показался Володя – и рядом с ним Панни...

Колумб, весь дрожа, прижался к стеклу и смотрел...

...Простились. Володя сделал лубочный жест рукой, Панни повернула к себе.

...И вдруг, когда Володя захлопнул за собой дверь, она огляделась – и быстро, почти бегом завернула за угол, за Собрание – на берег Тяпкина лога.

Мигом накинул Колумб шинель – и пока Володя, напевая, стучал в передней калошами – он нырнул через черный ход. Бегом, глотая, как рыба, морозный воздух, – добежал Колумб до угла.

Спиной к нему, по берегу лога медленно шла Панни. Черная вся, резко выделялась она на гаснущем розовом небе. Повернула. Колумб отшатнулся в тень, в подъезд – и ждал. Приметил – сам за собой, – что левый бок прикрыл локтем, рукавом: должно быть, чтоб не слышно было, как бьется... Улыбнулся в темноте.

Нетерпеливая, хмурая прошла Панни мимо. Завернула. Дошла до васинского дома, постояла – и обратно, и снова шагала по берегу темного лога.

Когда она сделала то же и в другой раз, и в третий, и в четвертый – Колумбу показалось, что он *понял*. Голова закружилась у него так, что еле на ногах устоял.

Вышел испуганный бледный месяц.

Панни опять подходила к темному подъезду. Колумб шагнул раз, два – стал в сугробе поодаль от ее тропинки. От дыхания месяца – бледный, почти зеленый, с недвижным лицом, снял фуражку Колумб и отдал низкий поклон.

Как урытая стала Панни. Сверкнула, губы закусила:

– Вы были здесь, вы были здесь все время, пока я?..

– Да, вот тут, в подъезде, – весело показал Колумб.

Так нахмурила брови, так его сверкнула громадными ночными глазами – и повернулась...

5

Командир ходил взад-вперед, деревянно стучал: видимое дело, не знал как начать.

– Послушайте, подпоручик Колумб... Я уже... уже этого не понимаю. Вы знаете, о чем?..

– Нет, ваше превосходительство, не знаю, – чистосердечно сказал Колумб.

– И еще отпираться? Уди-ви-тельно! Не знаете – я вам скажу. Вы преградили дорогу, вы не пускали пройти молодую девушку. И вдобавок эта девушка была...

Колумб недоуменно молчал.

«Преградил дорогу – не позволял пройти?..»

– ...моя дочь, моя дочь, дочь вашего ко-ман-дира! – крикнул Пфуль.

Колумб широко распахнул глаза. И помалу, помалу про-светлел, улыбнулся: он опять – *понял*. И сказал:

– Я прошу извинения у вашего превосходительства. Я сознаюсь. Это действительно так. Я готов обещать...

Дерево отмякло – отошел командир.

– По означенному случаю вместо гауптвахты объявляю вам выговор.

– Покорно благодарю, ваше превосходительство, – весело, по-солдатски, крикнул Колумб и – левое плечо вперед.

Колумб шагал радостно, крепко, по *твердой* земле.

«Да, да. Пусть «преградил дорогу» – я согласен...»

Дома его встретил Володя. Нынче был он наособицу лубочный: лихие черные усики торчали торчмя, щурились

вишенки-глаза, в охотничий присвист слагались пунцовые губы...

Стал было Володя Колумба пытаться, как да что командир – и вдруг не стерпел, перебил, подмигнул:

– А я, брат, втюхался по сих пор... В Панни, в нее.

Колумб молчал. Володя нагнулся к уху:

– Да и она – в меня тоже. Это я тебе по секрету. Я, брат, думаю: какого ч-черта, уж не жениться ли мне на ней. Ей-Богу, а?

Вдруг Колумб как будто уразумел: крепко этак, как другу, потряс руку Володе:

– Ну, конечно, чудачина, женись, чего там. Раз ты ее, а она тебя... Я за тебя, Володя, очень рад, от... от... от души...

А уж дальше он был сам собой. Все сумерки без огня просидел в своей комнате. И как только вздрогнули на небе весенние звезды, Колумб вышел из дома и, упрямо не глядя туда, где синел старым снегом Тяпкин лог и где, наверное... он знал, ну, знал вот всем нутром...

Нарочно медленно шел Колумб на Третью Поперечную к Водоемким, к Лизаньке. Насвистывал что-то.

«Вечер такой распрекрасный, тьма тьмущая звезд...»

Лизанька так протянула Колумбу точеную ручку, так зацвела, что Колумбу стало даже стыдно малость. А чего – он и сам не сказал бы.

За самоваром сидел старик Водоемкий. Когда он дома бывал, всегда уж сам ведал чаем. Особливые секреты имел, как заваривать надо какой чай, как наливать: как он – так никто не сумеет.

Беловолосая, белая вся, полковница протянула мужу свою чашку:

– А ну-ка, еще одну, старик?

– Это я-то старик? – Водоемкий стукнул каблуками, да эх... сапоги-то уж стариковские козловые без шпор... – Я вот на Масляной со шпорами надену, отхватывать мазурку пойду...

– А вы знаете, как он танцевать стал? – повернулась полковница к Колумбу и обсыпала его, как снегом, смехом белым и тихим. – Он меня приглашает... (я еще девчонкой, как вот Лизанька, была...) Танцевал, танцевал, сели – разговором стал занимать: «Да-с, – говорит, –

сударыня, вы не думайте, я не как прочие, я для пользы танцую, мне это доктор для моциону прописал, от запору-с...»

Попунцовел, засмеялся старик. Зазвенела Лизанька тонким фарфором, глядя Колумбу в глаза.

«Они хорошие, и Лизанька – хорошая».

– Лизанька, где мы будем на Масленицу танцевать? – ласково, как ребенка, спросил он.

И так же, как отец, Лизанька пунцом покрылась.

– Вы-ыдумаете еще... А бал у командира будет большой?

– Ну вот, хоть бы так, – еще ласковей, бледнея, сказал Колумб.

Дома застал Колумб Васина и Володю за поздним чаем. Шурочки Васиной – по вечной ее повадке – не было дома.

Володя, видимо, сердился, страшно таращил глаза. А Васин заливался, помирал, зажмурясь, потирал в громадную гармонику собранный лоб.

– Да я же говорю, что женюсь я, женюсь, ну? – наседавал Володя.

– А ты лучше, чем жениться... ох-хо-хо... купи себе дорожную жену. Вот же, вот, в Мюр и Мерилиз каталоге на странице сто восемьдесят пятой... Вот че-мо-да-ны, вот не-се-се-ры, а вот до-ро-ж-ная жена – последняя новость, ну?

А когда Володя рвался заглянуть в Мюр и Мерилиз каталог, Васин захлопывал книгу, Володе поглядеть не давал.

– Врешь, наверно! Какая такая дорожная жена? Такой и не бывает, наверно, врешь... – но, видимо, верил Володя со страхом: тогда, правда, чего же и жениться, если у Мюра и Мерилиза есть?

– Я ему говорю: выписывай наложенным платежом... – закатывался Васин, тыкая толстым пальцем Володю в живот...

Руки в карманы, петушась – ни дать ни взять Еруслан Лазаревич перед сражением – Володя встал, отошел...

– Да бишь, – вспомнил Володя, – я от Панни приглашение получил. На бал. Какой-то и тебе пакет, да он у меня вот тут вот.

– Дай, – потянул Колумб руку.

– А ты попроси хорошенько, как надо. А то: «да-ай»...

Упористо расставил Колумб ноги, голову нагнул – с жесткими колечками волос по обеим сторонам лба. Сейчас вот брухнет – и прощай, Володя...

– Я тебе говорю... – очень тихо сказал Колумб, глядя вниз.

– Да ты... – начал петушисто Володя, но, увидев, увял. Достал из кармана конверт, со злостью швырнул его Колумбу куда-то в живот.

«Да, это она, Панни... Всем – одинаково, должно быть, на одинаковой бумаге: «Очень прошу Вас не отказаться...»

Было «Вас» отмечено чуть заметной чертой... И от этой чуточной черточки все ходуном заходило в Колумбе.

Задул лампу. Лег. И тотчас перед ним, где-то в самом сердце тьмы, затлел алый блеск – алый, как мак, как головня в темной воде пруда.

«Раз, два, три... – отсчитывал Колумб не то дни, не то боль, ударявшую в сердце. – Через три дня... Это будет, будет же, – я, я, говорю...»

Нагибался Колумб над глубио тихого, темного смертной тьмою пруда, нагибался все ниже... Горел – не мог заснуть. Встал – фортку открыл.

И пополз к Колумбу желтоватый, древний туман. Закутал Колумба как ватой. Чудно́ стало Колумбу: вот запрятался он как ловко, поди-ка теперь раскопай...

«Вот я тебя и обманул», – смеялся Колумб.

«Ты – меня? Ого-го! А попробуй-ка, выпутайся, брат...»

Попробовал Колумб – и никак. Бьется в мягкой невидной вате, в чем-то, чего нет – и не выпутаться...

6

Стоял когда-то у самого Тяпкина лога развеселый помещичий дом. Шел тут дым коромыслом. В конюшне, посекшись, играли музыканты так, что помещики в голос ревели. Крепостные балерины-девки вели менуэты, мертвеньких младенцев рожали, закапывали тут же в саду. А на конец концов в том саду прикончил кто-то Ивана Максимыча. Какой такой Иван Максимыч, хозяин ли, гость

ли – всем уже замстилось; только вот и помнили, что «Иван Максимыч с трубкой громадной».

...Ивана Максимыча нету уж в помине, а в покоях по-прежнему все; только вот на конике красного дерева в темной передней не Мишка-казачок, гостей ожидаючи, носом клюет, а нестроевой Семен Вентерь. А то – те же штофные кресла кряхтят и диваны с финифтью мудреные; те же бюры забыто таят *бийе ду*; от старости желтые щелкают те же шары карамболя; ждут шепот горячий подслушать те же бессчетные чердачки, боковуши и ниши; в золоченых рамах те же все зеркала: на «нынешних» глядят презрительно – тусклым старческим взором.

Зеркала и зеркала... Сзади и сбоку – другой и третий обманчивый мир, и Колумбу навстречу шел тоже Колумб, шел бледный и тоже с нагнутой упрямой головой. И хуже всего: было некуда уйти от темных глаз Панни.

Путался Колумб, кружилась у него голова, притчилось: никакого, ничего *настоящего* нет, одни лишь дрожащие зеркала.

«Я тебя вижу во сне...»

– Нет, я тебя, – пробормотал вслух Колумб, и не слышал Колумб, что сказала Лизанька, звонко смеясь. – Что?

– Наши-то две «тумбочки», сестрицы-то мои, за кавалера своего поцапались, – просмеялась фарфорово Лизанька.

И впрямь, на штофной козетке раково-красные петушились две «тумбочки», подскакивали на пружинах друг к другу – вцепятся вот-вот...

Колумб улыбнулся – очнулся: улыбка трезвит куда крепче нашатырного спирта. Лизанька упорхнула, поймал Колумб последнее слово «разному» и увидел: из зеркала медленно двинулась к нему Панни... Сейчас...

Взглянул – захлебнулся Колумб в ее глазах. Неведомо куда покорно пошел за нею... Закружили винтовые ступени, завесился темной завесой тяжелый топот ног.

В забытой боковуше на полу шуршнули бумаги.

Месяц, заволокшись туманом, трепетал за окном...

Только одни глаза – одни глаза – пред собою видел Колумб.

– Так вы та-ак? – придвинулись глаза. – Вы с этой куклой, вы не хотите ни на...

Оборвала. Из-за далекой тихой завесы – топот ног...
– Я... Я же ведь это... – сказал Колумб. – Я – Иван Максимыч, – хотел сказать и не мог...

Взял теплую ее руку, сжал так, что услышал легкий хруст. И тотчас почуял на своих губах жаркие, жадные губы. Закрыв покорно глаза.

– Панни, вы же знали: я и тогда в подъезде... Панни, я вас всегда... – умолял ее Колумб.

Панни стала смеяться чуть слышно: закружились вертко, как бесы, вихорьки далекой метели...

Со смехом залезла горячей рукой в рукав к нему, поползла – все выше...

– А-а, всегда? – пытала огнем.

– Всегда, – ответил радостно-твердо Колумб. – Еще тогда, на приступочках...

...В настоящем, не зеркальном, мире прошли, должно быть, только минуты: вернувшись, увидал Колумб – Лизанька разнимала еще сестер. Подбежала, протянула Колумбу ручки:

– Вальс.

– Я вальс не хочу. Пойдемте лучше, тут жарко... – но Лизанька уходить не хотела.

– Сейчас ведь фанты...

В зеркале справа уже звали назад Колумба огромные глаза. Мимо мигал Семен Вентерь с подносом: обносил аршад. Был Семен Вентерь мышино-юркий и вострый.

«Надо Лизаньке взять... а то нырнет сейчас куда-нибудь в угол, в мышиную норь», – и стал Колумб, сам себе дивясь, ждать всерьез, что юркнет Семен.

Пила фарфоровая Лизанька бело-фарфоровый аршад. Почему-то очень понравилось Колумбу: показалось, так надо.

– Пейте. Пейте еще. Ну, пожалуйста...

Повернулся Колумб, чтобы Вентеря отыскать – и в первый раз увидал командира: в резном деревянном кресле деревянно сидел он, застылый, недвижимый. Представился Колумбу совершенной мебелью.

Ударил оркестр. На туманном льду зеркал задрожали призраки пар. С Лизанькой неся куда-то Колумб, все равно куда.

– ...На подолах... какие теперь носят пуфы на подолах! – в ухо Колумбу протянул голос.

Поднял глаза – увидел засыпанные пудрой щеки, завитую челку Шурочки Васиной. И тотчас, как крылом, ударило с лету в лицо – отмахнулся... Скомканный платочек упал на пол...

– Прозевали, прозевали, вам... – захлопала точеными ручками Лизанька.

Вышел на середину Колумб, покорно глядел на Панни: как царица, она сидела посередине. Подвитой, нафабренный, лубочным пажом стоял сзади Володя.

Улыбаясь, что-то пошептал Володя царице.

– Завяжите ему глаза, – закричала Панни.

«Теперь куда-то поведет – и смерть...» – радостно захотелось Колумбу.

Володя взял за бока Вентерю, приволок откуда-то Вентерю подушки, положил их перед Колумбом на сажень одна от другой. Развязали Колумбу глаза.

– Ну, Колумб, – сказал Володя. – Теперь завяжем, и будешь прыгать. Только, избави Бог, не наступи...

И только обезглазел Колумб, Володя, пальцем всем погрозив, выхватил подушки, ткнул Вентерю их – и замер.

Старательно прыгнул Колумб над пустым полом...

– Не задел? – спросил он Володю.

Публика зажимала рты, чтоб не фыркнуть, махали руками, умирали...

Колумб прыгнул еще раз над пустым... Ступил на каблуки – испугался – оперся руками – на четвереньках...

Тут грохнули все, застонали. Встрепенулся Колумб, содрал с глаз платок – и увидел... только одну Панни. Только ее. Она смеялась над ним, широко открыла свои крупные губы... Смеялась громко, больше не было никого слышно.

Колумб ступил к ней на шаг, упористо ноги расставив, глядя на нее с минуту. Повернулся, не спеша, ушел...

Оркестр плясал. Скользили в зеркалах искривленные тени. Мимо Колумба мелькнула пудра и челка Шурочки Васиной.

– Какие пуфы-то теперь на подолах... – крикнула она.

– Бедный. Вот еще вздумали они, подушки... – Лизанька вложила Колумбу свою холодную ручку.

В кукольных ее глазах показались Колумбу слезы.

– Лизанька, мы пойдем еще... – и снова понесся куда-то с хороводом теней.

Делая оборот посреди зала, твердой рукой Лизаньку остановил Колумб. Под музыку, закрывши глаза, на минуту нежно прильнул к Лизанькиным прохладным фарфоровым губкам. Когда отолпили его кругом, вымахивали негодующие руки, брызгали слюнями, Колумб, бледный, спокойно сказал:

– Лизанька – моя невеста, ведь я не виноват, что так люблю. Я не мог удержаться...

– Поздравляю вас. Я и не зна-ала... – услышал Колумб ласковый голос Панни.

7

Колумб перебрался к тестю, к Водоемким, и занял там с Лизанькой мезонин. Две комнаты: спальня и кабинет Колумбов – Колумбовы книги.

В первую же ночь Лизанька в шелковой белоснежной сорочке, вся дрожа, как росинка белоснежная, – сидела на кровати, подобрав под себя ноги, чтобы не было стыдно. Со страхом ждала, что ответит Колумб. Ее ли первую любит? Никого не любил, никого не касался?

Колумбу вспомнилась та ночь в веселом доме и Ольга.

«Если любовь. вот в этом, в касаньи, ...конечно, никого не касался. Ждал настоящей любви», – усмехнулся Колумб и чистосердечно, взяв похолодевшие Лизанькины ручки, ответил:

– Нет, Лизанька, девочка моя маленькая, ни одной не касался. Я ждал...

– Меня? – вскрикнула Лизанька, завежила блаженно глаза, раскрылась улыбкой, крепко обхватила Колумба детскими ручками – дрожала в них каждая жилочка.

Хорошела Лизанька день ото дня, ночь от ночи. Мало спала ночами. Если не умирала от поцелуев Колумба, то лежала поверх розового одеяла, сбросив с себя все, – все было жарко – жемчужиной лежала на розовом. Глаза закрыты, думала о чем-то, – а впрочем, о чем жемчужины думают, лежа на розовом от солнца песке? – грелась, что-то вспоминала жемчужно-розовым недром, раскры-

валась улыбкой, как жемчужина на теплом от солнца
песчаном дне.

А Колумб просил ее открыть глаза, открывал ей паль-
цем, но глаза сами собой закрывались. И как будто это
уж было когда-то, и никак не мог вспомнить Колумб, кому
уж открывал так глаза.

Колумб нигде не бывал. Заходил Васин, Володя.

.....

<1918>



ОСТРОВИТЯНЕ

1. Инородное тело

Викарий Дьюли – был, конечно, тот самый Дьюли, гордость Джесмонда и автор книги «Завет Принудительного Спасения». Расписания, составленные согласно «Завету», были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Расписание часов приема пищи; расписание дней покаяния (два раза в неделю); расписание пользования свежим воздухом; расписание занятий благотворительностью; и, наконец, в числе прочих – одно расписание, из скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли, где были выписаны субботы каждой третьей недели.

Первое время, случалось, миссис Дьюли сходила с рельс и пыталась в неположенный день сесть к викарию на колени или заняться благотворительностью в неурочное время. Но всякий раз мистер Дьюли, с ослепительной золотой улыбкой (у него было восемь коронок на зубах) и с присущим ему тактом – объяснял:

– Дорогая моя, это, конечно, пустячное уклонение. Но вы помните главу вторую моего «Завета»: жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к железной цели. С механической – понимаете? И если нарушается работа хотя бы маленького колеса... Ну, да вы понимаете...

Миссис Дьюли, конечно, понимала. С книгой, она опять надолго усаживалась у окна. Жила, тосковала между глав романа. Через год в зеркале с удивлением видела новую морщинку у глаз: как, неужели – год? День и другой не могла читать. У окна, в странном ожидании, смотрела на улицу, на вылезавших из красного трамвая людей, на

быстрые, распухающие облака. А мистер Дьюли, поглядывая на часы, занимался покаянием, физическим трудом, благотворительностью – и радовался: так стройно и точно работает машина.

К сожалению, ни одна машина не обеспечена от поломки, если в колеса попадает инородное тело. Так случилось однажды и с машиной викария Дьюли.

Было это в воскресенье, в марте, когда мистер Дьюли возвращался домой после утренней службы в церкви Сэнт-Инох. Жужжали велосипеды, мистер Дьюли морщился от их назойливых звонков, от слишком светлого солнца, от непозволительного галдежа воробьев.

Мистер Дьюли уже переходил через улицу к своему дому, когда вдруг из-за угла вывернулся красный автомобиль. Викарий остановился, по привычке своей – заложил руки назад и перебирал пальцами, как будто отсчитывал: во-первых, во-вторых, в-третьих. И на «в-третьих» увидел: перед мчащимся красным автомобилем медленно шел субъект. Вероятно, это медленно – было не более полусекунды, но было именно так: медленно шел, и викарий успел запомнить громадные квадратные башмаки, шагающие, как грузовой трактор, медленно и непреложно.

Красный автомобиль крикнул еще раз, квадратные башмаки мелькнули в воздухе очень странно – и автомобиль стал. И тотчас остановилась вся улица. Столпились и вытягивали головы: кровь. Бобби записывал хладнокровно номер автомобиля. Рыжий джентльмен из публики наседавал на шофера, кричал и размахивал руками так, что казалось – у него было их, по крайней мере, четыре.

– Несите же в дом! – кричал четверорукий. – Чей это дом? Несите...

Тут только викарий Дьюли очнулся, ответил себе: «мой дом», схватился за квадратные башмаки и стал помогать пронести раненого – мимо двери. Но маневр не удался.

– Гелло, мистер Дьюли! – крикнул четверорукий джентльмен. – Ваше преподобие, вы разрешите, конечно, внести его к вам?

Викарий радостно показал четыре золотых зуба:

– Ах, О'Келли, вы? Конечно же – несите. Эти автомобили – это просто ужасно! Вы не знаете – чей?

Но О'Келли уже был где-то внутри, и перед викарием качались квадратные мертвые подошвы любителя прогулок под автомобилями. Викарий шел сзади и с тоской загибал пальцы:

– Завтрак. Две страницы комментариев к «Завету». Полчаса – в парке... Посещение больных...

Все это – погибло. Великая машина викария Дьюли остановилась. В запасной спальне светло-серый ковер закапали кровью, а на кровати, пустовавшей годы, водворилось инородное тело.

Сейчас должен был приехать доктор. Время завтрака – четверть второго – давно уж прошло, и викарий в библиотеке ломал голову над временным расписанием. Если, в самом деле, все передвинуть на три часа, то обед придется в одиннадцать вечера, а посещение больных – в час ночи. Положение было нелепое и безвыходное.

Когда господин викарий занимался в библиотеке, вход туда был, конечно, строжайше воспрещен. И если миссис Дьюли теперь стучала в дверь – вероятно, произошло особенное.

– Понимаете, Эдвард, это же невыносимо... – щеки у миссис Дьюли горели. – Там доктор, а Кембл не хочет раздеваться, скажите ему вы. Это же просто невыносимо!

– Кто это – Кембл? Этот – наверху? – викарий треугольно поднял брови.

«Этот наверху» – Кембл – лежал теперь, открывши глаза.

Доктор промыл слипшиеся в крови светлые волосы. С головой оказалось благополучно, но из горла шла кровь, были какие-то внутренние повреждения, а Кембл упрямо отказывался снять пиджак.

– Послушайте, ведь вы же можете так... Бог знает что. Ведь надо же доктору знать, в чем дело... – Мистер Дьюли с ненавистью глядел на тяжелый, квадратный подбородок Кембла, упрямо мотавший: нет.

– Послушайте, вы же, наконец, в чужом доме, вы заставляете всех нас ждать... – Мистер Дьюли улыбнулся, оскалив золото восьми злых зубов.

Подбородок дергался. Кембл побледнел еще больше:

– Хорошо. Я согласен, если так. Только пусть уйдет эта леди.

Викарий и доктор расстегнули пиджак мистера Кембла. Под пиджаком оказалась крахмальная манишка и затем непосредственно громадное, костлявое тело. Рубашки – не было. Это невероятно, но именно так: рубашки не было.

– Э? – вопросительно-негодующе поднял брови викарий и взглянул на доктора. Но доктор был занят: осторожно прощупывал правый бок пациента.

Внизу, в гостиной, викарий так и бросился на доктора:

– Ну что же? Ну как он?

– Мм... извиняюсь: неважно... – доктор застегивал и расстегивал сюртук. – Два ребра, и может быть – кой-что похуже: извиняюсь. Дня через три выяснится. Надо бы его только не трогать с места.

– Как не тро... – хотел крикнуть мистер Дьюли, но тотчас же улыбнулся золотой улыбкой: – Бедный молодой человек, бедный, бедный...

Весь вечер мистер Дьюли бродил по комнатам, непристанный, и был полон ощущениями поезда, сошедшего с рельс и валяющегося вверх колесами под насыпью. Миссис Дьюли носилась где-то там со льдом и полотенцами, миссис Дьюли была занята. Опрокинувшийся поезд был предоставлен самому себе.

В половине двенадцатого викарий Дьюли отправился спать – или, может быть, не столько спать, сколько перед сном изложить свои соображения миссис Дьюли. Но кровать миссис Дьюли была еще пуста.

Случилось это в первый раз за десять лет супружеской жизни, и викарий был ошеломлен. Лежал, вперив неморгающие, как у рыб, глаза в белую пустоту соседней кровати, создавались в пустоте какие-то формы. Била полночь.

И вышло очень странное: созданная из пустоты миссис Дьюли – отрицательная миссис Дьюли – подействовала на викария так, как никогда не действовала миссис Дьюли телесная. Вот немедленно же, сейчас же, нарушить одно из расписаний – немедленно же видеть и осязать миссис Дьюли...

Викарий приподнялся и позвал – но никто не откликнулся: миссис Дьюли была занята там, у постели больного, может быть – умирающего. Что же можно возразить против исполнения долга милосердия?

Тикали часы. Викарий лежал, аккуратно сложив руки крестообразно на груди, как рекомендовалось в «Завете Спасения», – и старался убедить себя, что спит. Но когда часы пробили два – автор «Завета» услышал самого себя, произносящего что-то совершенно неподходящее по адресу «этих безрубашечников». Впрочем, справедливость требует отметить, что тотчас же автор «Завета» мысленно загнул палец и отметил прискорбное происшествие в графе «Среда, от 9 до 10 вечера», где стояло: покаяние.

2. Пенсне

Миссис Дьюли была близорука и ходила в пенсне. Это было пенсне без оправы, из отличных стекол с холодным блеском хрусталя. Пенсне делало миссис Дьюли великолепным экземпляром класса *bespectacled women*¹ – очка-тых женщин, – от одного вида которых можно схватить простуду, как от сквозняка. Но, если говорить откровенно, именно этот сквозняк покорила в свое время мистера Дьюли: у него был свой взгляд на вещи.

Как бы то ни было, совершенно достоверно, что пенсне было необходимым и, может быть, основным органом миссис Дьюли. Когда говорили о миссис Дьюли малознакомые (это были, конечно, приезжие), то говорили они так:

– А, миссис Дьюли... которая – пенсне?

Потому что без пенсне нельзя было вообразить миссис Дьюли. И вот однако же...

В суматохе и анархии, в тот день, когда в дом викария вторглось инородное тело, – в тот исторический день миссис Дьюли потеряла пенсне. И теперь она была неузнаваема: пенсне было скорлупой, скорлупа свалилась – и около прищуренных глаз какие-то новые лучики, губы чуть раскрыты, вид – не то растерянный, не то блаженный.

Викарий положительно не узнавал миссис Дьюли.

– Послушайте, дорогая, вы бы посидели и почитали. Нельзя ведь так.

– Не могу же я – без пенсне, – отмахивалась миссис Дьюли и опять бежала вверх к больному.

¹ женщин в очках (англ.).

Вероятно, потому что она была без пенсне – Кембл сквозняка в ее присутствии отнюдь не чувствовал, и когда у него дело пошло на поправку – охотно и подолгу с ней болтал.

Впрочем, «болтал» – для Кембла означало скорость не более десяти слов в минуту: он не говорил, а полз, медленно култыхался, как тяжело нагруженный грузовик-трактор на широчайших колесах.

Миссис Дьюли все старалась у него допытаться относительно приключения с автомобилем.

– ...Ну да, ну хорошо. Но ведь видели же вы тогда автомобиль, ведь могли же вы сойти с дороги – так отчего же не сошли?

– Я... Да, я видел, конечно... – скрипели колеса. – Но я был абсолютно уверен, что он остановится – этот автомобиль.

– Но если он не мог остановиться? Ну, вот просто – не мог?

Пауза. Медленно и тяжело переваливается трактор – все прямо – ни на дюйм с пути:

– Он должен был остановиться... – Кембл недоуменно собирал лоб в морщины: как же не мог, если он, Кембл, был уверен, что остановится! И перед его, Кембла, уверенностью – что значила непреложность переломанных ребер?

Миссис Дьюли шире раскрывала глаза и приглядывалась к Кемблу. Где-то внизу вздыхал опрокинутый поезд викария. Приливали сумерки, затопляли кровать Кембла, и скоро на поверхности плавал – торчал из-под одеяла – только упрямый квадратный башмак (башмаков Кембл не согласился снять ни за что). С квадратной уверенностью говорил – переваливался Кембл, и все у него было непреложно и твердо: на небе – закономерный Бог; величайшая на земле нация – британцы; наивысшее преступление в мире – пить чай, держа ложечку в чашке. И он, Кембл, сын покойного сэра Гарольда Кембла, не мог же он работать как простой рабочий или кого-нибудь просить, – ведь ясно же это?

– ...Платили долги сэра Чарльза, прадеда. Платил дед, потом отец – и я. Я должен был заплатить, и я продал последнее имение, и я заплатил все.

– И голодали?

– Но ведь я же говорил, ясно же, не мог же я... – Кембл обиженно замолкал.

А миссис Дьюли – она была без пенсне – нагибалась ниже и видела: верхняя губа Кембла по-ребячьи обиженно нависала. Упрямый подбородок – и обиженная губа: это было так смешно и так... Взять вот и погладить:

«Ну-у, миленький, не надо же, какой смешной...»

Но вместо этого миссис Дьюли спрашивала:

– Надеюсь, вам сегодня лучше, Кембл? Не правда ли: вы уже свободно двигаете рукой? Вот подождем, что завтра скажет доктор...

Утром приходил доктор, в сюртуке, робкий и покорный, как кролик.

– Что ж, натура, натура – самое главное. Извините: у вас великолепная натура... – бормотал доктор, смотрел вниз, в сумочку с инструментами, и в испуге ронял ее на пол, когда в комнату с шумом и треском вторгнулся адвокат О'Келли.

От ирландски-рыжих волос О'Келли и от множества его размахивающих рук – в комнате сразу становилось пестро и шумно.

– Ну, что же, Кембл, уже починились? Ну, конечно, конечно. Ведь у вас, англичан, головы из особенного материала. Результат бокса. Вы боксировали? Немного? Ну вот, ну вот...

Напестрив и нашумев, только под самый конец О'Келли замечал, что у него расстегнут жилет и что пришел он, в сущности, по делу; владелец автомобиля готов был немедленно же уплатить Кемблу сорок фунтов.

Кембл не удивлен был нимало:

– О, я был уверен...

Он попросил только перо и бумагу и на узком холодновато-голубом конверте миссис Дьюли написал чей-то адрес.

Через два дня пришел ответ. И когда Кембл читал – миссис Дьюли опять вспомнила о пенсне: вдруг вот сейчас занадобилось пенсне, беспокойно обшаривала комнату в десятый раз.

– Надеюсь, вам пишут хорошее. Я видела – почерк женский... – Миссис Дьюли усиленно рылась в аптечном шкафчике.

– О да, от матери. Я писал о деньгах. Теперь она сможет устроиться прилично.

Миссис Дьюли захлопнула шкафчик:

– Вы не поверите – я так рада, так страшно за нее рада! – Миссис Дьюли была рада в самом деле, это было видно, на щеках опять был румянец.

За завтраком миссис Дьюли, глядя куда-то мимо викария – может быть, на облака, – вдруг неожиданно улыбнулась.

– Вы в хорошем настроении сегодня, дорогая... – викарий показал две золотых коронки. – Вероятно, ваш пациент наконец поправляется?

– О да, доктор думает, в воскресенье ему можно будет выйти...

– Ну вот и великолепно, вот и великолепно! – викарий сиял золотом всех восьми коронок. – Наконец-то мы опять заживем правильной жизнью.

– Да, кстати, – нахмурилась миссис Дьюли. – Когда же будет готово мое пенсне? Нельзя ли к воскресенью?

3. Воскресные джентльмены

К воскресенью в Джесмонде каменные пороги домов, как всегда, были выскоблены до белизны ослепительной. Дома пожилые, закопченные, но белые полосы порогов сверкали, как вставные зубы воскресных джентльменов.

Воскресные джентльмены, как известно, изготавливались на одной из джесмондских фабрик и в воскресенье утром появлялись на улицах в тысячах экземпляров – вместе с воскресным номером «Журнала Прихода Сэнт-Инох». Все с одинаковыми тростями и в одинаковых цилиндрах, воскресные джентльмены со вставными зубами почтенно гуляли по улицам и приветствовали двойников.

– Прекрасная погода, не правда ли?

– О, да, вчера была значительно хуже...

Затем джентльмены слушали проповедь викария Дьюли о мытаре и фарисее. Возвращаясь из церкви, каким-то чудом находили среди тысячи одинаковых, отпечатанных на фабрике, свой дом. Не торопясь обедали, разговаривая с семейством о погоде. Пели с семейством

гимны и ожидали вечера, чтобы пойти с семейством в гости.

Утром в воскресенье, изумивши доктора, Кембл встал и отправился к матери. Миссис Дьюли весь день сидела у всегдашнего окна. Читать было нельзя; пенсне к воскресенью так-таки и не сделали.

«Ну, ничего, скоро сделают, и опять заживем правильной жизнью», – думалось словами викария, смотрела в окно, неслись быстрые, распухающие облака, и надо бежать за ними – так было надо – не могла оторвать глаз.

– Послушайте, дорогая, но ведь там уже гости... – вбегал викарий, потирая руки. Он был в превосходном настроении: скоро опять начнется правильная жизнь.

Куда-то шла миссис Дьюли, с какими-то розовыми и голубыми дамами говорила о погоде, и все неслись и пухли облака. А викарий сиял золотом восьми коронок и развивал перед розовыми и голубыми идеи «Завета Принудительного Спасения» – что означало на его барометре максимум. В сущности, не было ли это совершенно ясно: если единичная – всегда преступная и беспорядочная – воля будет заменена волей Великой Машины Государства, то с неизбежностью механической – понимаете? – механической... И механически кивала в ответ чья-то круглая, как футбольный шар, голова.

Протрещал звонок. Облака сгустились, стали в полутемной передней – и из облаков вышел Кембл. Он был чисто выбрит (подбородок стал еще квадратней) и в смокинге, хотя и поношенном. И за ним появлялся у входа еще кто-то.

И когда кто-то появился – Кембл возгласил:

– Моя мать, леди Кембл...

Все разом обернулись и смолкли, как будто случилось неловкое или неприятное, хотя ничего такого и не было. Потому что, если говорить о вечернем платье леди Кембл, то что же: платье было как платье, серого шелка, разве только чуть старомодное. Но все молчали.

Леди Кембл выступала медленно, и какая-то невидимая узда все время подтягивала ее голову вверх. Серо-желтые седые волосы, и в вырезе серого платья – щевелились мумийные, страшные плечи, и кости, кости... Так выпирает каркас в старом, сломанном ветром, зонтике.

– Я очень рад, что мы имели случай... – почтительно начал викарий. – Это приключение с автомобилем послужило... – викарий вглядывался в ее лицо: оно было самое обыкновенное, но было что-то...

– Мой покойный муж, сэр Гарольд, всегда высказывался против автомобилей... – невидимая узда подтягивала голову все выше. – В их слишком быстром движении он находил положительно что-то невоспитанное...

Это было подмечено очень тонко: именно – невоспитанное. Викарий потирал руки:

– Совершенно с вами согласен, дорогая леди Кембл: именно – невоспитанное!

Да, это очевидно: им суждено стать друзьями... Викарий всматривался в ее лицо: нет, ничего особенного как будто. Просто показалось.

– Я очень, очень рада, что миссис Дьюли так дружна с моим сыном. Не правда ли, так приятно смотреть на них? – леди Кембл улыбалась.

И тотчас же викарий понял, что это были – *губы*. Бледно-розовые, тончайшие и необычайно-длинные, как черви, – они извивались, шевелили вниз и вверх хвостиками...

Миссис Дьюли оживленно о чем-то говорила и близко наклонила к Кемблу лицо: она была без пенсне.

– Пенсне еще не готово, знаете ли... – растерянно пробормотал викарий – черви ползли прямо на него – пятился – придумывал, что бы такое сказать. – Да... Вам мистер Кембл говорил: он получил предложение поступить к адвокату О'Келли. Конечно, не Бог знает что, но на первое время...

– О, нужда, конечно, заставляет согласиться, а так... О'Келли! Ведь я прожила здесь уже год... – леди Кембл улыбалась, черви вытягивались, в извивах нацеливались на добычу.

Викарий был уже спокоен. Он вновь был автором «Завета Спасения» и благосклонно показывал золотые коронки:

– ...Единственная надежда – на благотворное влияние среды. Я не хочу приписать это себе, но вы знаете – прихожане Сэнт-Инох стоят на исключительной высоте, и я надеюсь, что мало-помалу даже О'Келли...

– О'Келли? Да, не правда ли, ужасно? – заволновались голубые и розовые дамы, и быстрее закивала футбольно-

круглая голова. Футбольная голова принадлежала мистеру Мак-Интошу, а мистер Мак-Интош, как известно, знал все.

– О’Келли? Ну как же: за кулисами в «Эмпайре»... Ремингтонистки? Ну ка-ак же! Четыре ремингтонистки... – Мистер Мак-Интош, как мяч, мелькал из угла в угол – в смокинге и сине-желто-зеленой шотландской юбочке – мелькал голыми коленками. Мистер Мак-Интош занимал пост Секретаря Корпорации Почетных Звонарей прихода Сэнт-Инох и, следовательно, был специалист по вопросам морали...

– Вы знаете, я бы таких, как этот О’Келли... – воодушевился Мак-Интош. Но, к сожалению, приговор его остался неопубликованным: обвиняемый явился лично, а приговоры суда по вопросам морали объявляются заочно.

– А мы только что о вас говорили, – викарий показал адвокату два золотых зуба.

– Вероятно, изрядно успели *подъюлить*? – засмеялся О’Келли: он ввел в употребление глагол *дъюлить* и глаголом всякий раз огорчал викария.

– Если бы вы не опоздали, дорогой О’Келли, вы убедились бы лично. Но ведь вы по части аккуратности безнадёжны...

– Я аккуратно опаздываю: это уже – аккуратность, – потрянул рыжими вихрами О’Келли. Как всегда, он был растрепан, пиджак в каком-то пуху, одна пуговица совершенно неподходяще расстегнута. Голубые и розовые подталкивали друг друга, черви леди Кембл шевелились – и только, может быть, ничего не видела одна миссис Дьюли.

– ...Итак, утром вы переезжаете в свои комнаты и, значит, сегодня – последнюю ночь у нас... – миссис Дьюли озябло поводила плечами: вероятно, простудилась.

Кембл стоял молча, упористо расставив ноги. Миссис Дьюли взглянула в зеркало напротив – поправить причёску, мелькнуло золото волос – золото последних листьев. Она вздрогнула и засмеялась:

– А знаете: пусть будто вы еще больны, и я, как всегда, приду положить вам компресс на ночь?

– Но ведь я же не болен? – Кембл недоуменно морщил лоб: грузовик-трактор ходил только по камню, тяжелые колеса увязали в зыбком «пусты».

Усаживались ужинать. Очень долго возился Мак-Интош: это была очень сложная операция – сесть так, что-

бы не смялась его сине-желто-зеленая юбочка. Усевшись, мистер Мак-Интош глубокомысленно покивал футбольной головой:

– В сущности, это великая мистерия – еда, не правда ли?

Это было сказано прекрасно: мистерия. Великая мистерия протекала в молчании, и только в том углу, где сидел О'Келли, было рыже, пестро и шумно. О'Келли рассказывал про Париж, про какой-то надувной чемоданчик, купленный в Париже – специально для надувания английских законов.

– ...Без багажа ведь с дамой у нас в гостиницу не пустят. И вот вы вытаскиваете из кармана, надуваете – пффф – и великолепный чемодан. В конце концов, роль закона не такая же ли, как роль ваших платьев, сударыни? Ах, извините, ваше преподобие...

Викарий треугольно поднял брови и уже в который раз поглядывал на часы: в расписании для воскресений в графе «сон» стояла цифра 11. И кроме того, этот О'Келли...

Мистерия кончалась. Воскресные джентльмены с супругами торопились по домам.

Прощаясь с Кемблом у двери его спальни, миссис Дьюли засмеялась еще раз – свеча в руке дрожала:

– Так значит – компресс?

– Нет, я же здоров, следовательно – зачем же компресс? – Свеча освещала непреложный квадратный подбородок Кембла.

Миссис Дьюли быстро повернулась и пошла в спальню. Викарий уже спал, в белом фланелевом колпаке, крестообразно сложив руки на груди.

Утром за завтраком викарий увидел миссис Дьюли уже в пенсне – и положительно обрадовался:

– Ну вот – теперь я вас опять узнаю!

4. Высшая порода интеллекта

Контора адвоката О'Келли помещалась во втором этаже старого дома. В толстой каменной стене – окованная дверь с молотком, темная каменная лестничка наверх и одна ступенька вниз, наружу, в переулок Сапожника Джона. Переулок – узкое ущелье меж домов – только двум разойтись, и синяя полоска неба между стен вверх

ху. В старом доме жил когда-то свободолюбивый Сапожник Джон, упрямо державшийся лютеровой ереси и за это сожженный. Теперь сюда пришел работать мистер Кембл.

В первой комнатке стучали на ундервудах четыре барышни. О'Келли подвел Кембла к первой – и представил:

– Моя жена Сэсили, она же Барашек.

С льняными волосами, с крошечным ротиком – она была правда как пасхальный барашек, перевязанный ленточкой. Кембл осторожно пожал ей руку.

Затем О'Келли познакомил с тремя остальными и о каждой сказал одинаково кратко-серьезно:

– Моя жена. Моя жена. Моя жена.

Кембл остановился с протянутой рукой, страдальчески наморщил лоб, и было слышно, как пыхтит тяжелый грузовик, не в силах стронуться с места. Моя жена – моя жена – моя жена... Посмотрел на О'Келли: нет, О'Келли был совершенно серьезен.

– Послушайте, да разве вы не знали: ведь я же – магометанин, – пришел на помощь О'Келли.

Кембл облегченно расправил лоб: теперь налицо были и малая, и большая посылка – полный силлогизм. Все становилось квадратно-просто.

– О, я всегда относился с уважением ко всякой установленной религии, – серьезно начал Кембл. – Всякая установленная религия...

О'Келли, красный, с минуту молча наливался смехом, потом лопнул, а за ним – все его четыре жены.

– Слушайте, Кембл... Ой, не могу! Да вы какой-то... Ох, Господи, надо же: он, ей-Богу, поверил! Ну-у, голубчик, я-то вас живо выучу слушать вранье...

– Вранье? – Кембл сбился безнадежно. – Вранье? – Это было непонятное, ни в шутку, ни вправду – просто вообще непонятное, ну как может быть непонятна, непредставима бесконечность вселенной. Кембл стоял убитый, столбчатые ноги – расставлены.

– Послушайте, Кембл, будем же серьезны... – О'Келли стал серьезен, как всегда, если говорил несерьезно. – Не забывайте, что мы – высшая порода интеллекта – адвокаты, и поэтому – наша привилегия – лгать. Ясно же, как день: животные – представления не имеют о лжи; если вы

попадете к каким-нибудь диким островитянам, то они тоже будут говорить только правду, пока не познают европейской культуры. Ergo¹: не есть ли это признак...

Все это было совершенно так. Но Кембл непреложно, квадратно был уверен, что это не должно быть верно, и потому в голове была сущая толчея. И он уже не слышал слов О'Келли, а только безнадежно огребал рукой лоб: так медведь огребаёт облепивших пчел...

В приемной ожидала адвоката какая-то молодая леди, подстриженная по-мальчишечьи, курила папиросу.

– А-а, Диди! Вы, деточка, здесь давно? Миссис Диди Ллойд, наша клиентка. Развод... – Адвокат обернулся к Кемблу, увидел его соображающий лоб – и опять понесся. – Я ей говорил: вступить сперва в пробный брак, но она непослушница... Не слышали о пробном браке? Ну как же, ну как же, билль прошел в парламенте тридцать первого... ну да, тридцать первого марта.

Миссис Диди Ллойд смешливая – у ней дрожали губы. Кембл опять сбивался – верить или не верить, а О'Келли уже раскладывал перед ним бумаги.

– ...Остались сущие пустяки. Разберитесь-ка вот.

Кембл поклонился очень официально: мальчишеские повадки и папироса миссис Диди Ллойд, и нога на ногу – были не в его вкусе. Он уселся за бумаги, а О'Келли расхаживал сзади, обсыпал пеплом жилет и вслушивался.

Бумага – это определено. Туман в голове Кембла разбредался, по наезженному шоссе грузовик тащил кладь уверенно и быстро. О'Келли сиял и хлопал по плечу Кембла:

– Да вы молодчина! Я так и знал... Ломовичище вы эдакий...

Проходили клиенты. О'Келли уже позевывал: пора бы и обедать.

– Ну что ж: в ресторан? А оттуда – в театр? Нельзя? Ну да полно...

Дома к обеду ждала леди Кембл. Но у О'Келли, как всегда, нашлись какие-то вывороченные и неожиданные доводы, выходило, что иначе нельзя – и Кембл послушно шел.

¹ Следовательно (лат.).

После бутылки романаи в театре чувствовалось Кемблу: он очень высокий – выше всех – и легкий. Так редко чувствовал себя легким – очень это удобно и смешно – и всему на сцене покатывался, как пятилетний...

Впрочем, и все так же радостно смотрели и так же пятилетне смеялись. Было очень забавно: господин с приклеенным носом и толстая бабища танцевали тустеп, затем поссорились из-за найденного шиллинга, и господин с носом бил бабищу по щекам, а в оркестре бил барабан в такт. Потом девица, освещаемая попеременно зеленым и малиновым светом, играла на скрипке Моцарта. Потом какая-то в черном, тонкая, медленно плыла – танцевала в полумраке...

Один поворот – и Кемблу почудилось: узнал тонкое мальчишеское тело, подстриженные кудри... нет, не может быть! Но она уже была за экраном – экран ярко освещен – и ее тень постепенно сбрасывала с себя все, привычно-неспешно, чулки, подвязки, трико: был ее следующий танец – в красном.

– Миссис Диди Ллойд? – не отрываясь от экрана, спросил Кембл.

– Миссис... – передразнил О'Келли. – Ну да конечно же – Диди.

О'Келли с любопытством, искоса, поглядывал на устремленного вперед Кембла: вот сейчас сдвинется грузовик трактор и поперет, все прямо, через что попало...

Диди кончила красный танец – Кембл перевел наконец дух, и это вышло у него так шумно, из глубины, что сам испугался и огляделся кругом. Из ложи справа в темноте что-то на него блеснуло.

– Ну что, дружочек, понравилось, кажется? – ухмыльнулся О'Келли.

Уже одетая – в пальто и шляпе – Диди через проход пробиралась к ним. Села рядом с О'Келли и, смешливо захлебываясь, что-то ему рассказывала на ухо.

Было неловко, что теперь она – одетая, и потом показалось: слишком громко смеется. Кембл отодвинулся, выставив подбородок, – уселся прямой, непреложный и упрямо слушал концерт на странном инструменте: одна струна, натянутая на швабре.

Зажгли полный свет. Диди повернулась к Кемблу:

– Послушайте, Кембл, правду говорит О'Келли, что вы никогда – что вы никогда... – взяла Кембла за руку и маленьким золотым карандашиком стала ему что-то писать на манжете.

«Что, если б моя мать...» – вспомнились Кемблу тончайшие извивающиеся губы, и он опять огляделся кругом, как будто леди Кембл могла быть здесь.

Но вместо леди Кембл – в ложе направо он увидел миссис Дьюли. Казалось, стекла ее пенсне блестели холодным блеском прямо на Кембла. Но это, очевидно, только казалось: блестя прямо на Кембла – миссис Дьюли не кланялась. Нет, очевидно, она не видела.

5. О фарфоровом мопсе

Фарфоровый мопс обитал в № 72, в меблированных комнатах миссис Аунти. Постояльцы тут менялись каждую неделю – всякий раз, как в «Эмпайр» приезжало новое revue¹. Всегда стояли облака табачного дыма; по ночам кто-то плескался и хохотал в ванной; до полудня были опущены шторы в спальнях. Но фарфоровый мопс Джонни нимало этим не смущался и с высоты каминной полки взирал на жизнь с всегдашней своей хладнокровной и знающей улыбкой. Мопс Джонни принадлежал Диди – и обратно: Диди принадлежала мопсу Джонни. Они были неразлучными друзьями. И тем досадней, что у Кембла как-то сразу и без всякой видимой причины установились неважные отношения с Джонни.

– Послушайте, Кембл, отчего вы не любите моего Джонни? Посмотрите, он такой прелестно-безобразный. И он такой верный. И с ним можно делать что угодно...

У Кембла на коленях разложены бумаги: очень трудная задача – уговорить Диди взять деньги, которые так любезно предлагаются ей мистером Ллойдом, бывшим мужем. У Кембла лоб собран мучительно.

– ...Мистер О'Келли находил бы, что вам деньги надо взять. И я не понимаю, почему...

– Послушайте, Кембл, а вы не находите: Джонни похож на мистера О'Келли? Оба они одинаково безобраз-

¹ Здесь: театрально-музыкальная труппа (англ., фр.).

но-милые, и такие умные, и одинаково улыбаются. Но вот сядьте сюда – сбоку – посмотрите?

Прямой, несгибающийся, Кембл, как Будда, усаживался на ковер и сердито смотрел на Джонни. Но это было верно: мопс был – О'Келли, две капли воды. Медленно култыхаясь, и в самом смехе волоча какой-то груз, Кембл хохотал, раскатывался все больше, и уже Диди о другом – а его все не унять.

Оказывалось, что в Джонни есть нечто байроновское: в сущности – это до глубины разочарованное существо, потому и улыбается вечной улыбкой. Перед Джонни ставилась книжка в белом сафьяне – одна из немногих драгоценностей, которую Диди никогда не закладывала, – и Джонни читал, медленно и печально. Свет камина мерцал на мебели – лампы еще не зажжены; на полу белели забытые бумаги; отливало красным квадратный подбородок Кембла. Джонни читал...

Спохватывался Кембл, сердито вскакивал с ковра:

– Но все-таки, должен же я сказать мистеру О'Келли, почему вы не хотите взять денег?

Белая книжка летела в угол, черная черта бровей вдруг зачеркивала мальчишеское лицо Диди – Диди кричала:

– Потому что я – я – я изменила мистеру Ллойд, поняли, нет? Почему изменила? Потому что была хорошая погода – и пожалуйста, убирайтесь со своими бумагами! Джонни в десять раз вас умнее, он никогда не спрашивает...

Наутро, в конторе, Кембл жаловался – с нависшей поребьячи, обиженной губой:

– Она просто не слушает... Все со своим мопсом...

О'Келли ухмылялся – как мопс:

– Эх вы... Кембл вы эдакий! Нынче же вечером волоките ее ко мне: мы с ней живо расправимся...

Вечер был очень тихий. Чинно и тихенько, радуя взор, стояли в палисадниках стриженные под нулевой номер деревья – ряды деревянных солдатиков. Вероятно, был какой-нибудь праздник или просто специальная служба для детей: церковь Сэнт-Инох звонила, по одному перебирала колокола в одном и том же порядке – все вертели и вертели какую-то ручку – и чинными рядами шли стриженные дети в белых воротничках.

Кембл и Диди остановились – пропустить шествие. Прошел последний беловоротничковый ряд, и из-за угла показался викарий Дьюли, сопровождаемый миссис Дьюли и Секретарем Почетных Звонарей Мак-Интошем. Викарий шел как полководец, он вел беловоротничковую армию ко спасению математически-верным путем. Медленно перекладывал за спиной пальцы – отсчитывал что-то.

Кембл чувствовал себя немного неловко: он не был у Дьюли с того самого воскресенья, надо что-нибудь... надо подойти и сказать...

– Вы извините – я только на минутку... – Кембл оставил Диди у церковного заборчика и медленно заколыхался навстречу Дьюли.

Упористо расставив ноги и смущенно глядя на квадратные башмаки, Кембл извинялся: ужасно занят у адвоката, как-то совершенно не было времени... Хрустально поблескивало пенсне миссис Дьюли, викарий сиял золотыми зубами и поглядывал искоса в сторону Диди: она стояла у заборчика и поигрывала тросточкой Кембла.

– Великолепный вечер! – радостно засвидетельствовал Кембл. Страдальчески сморщился. Пауза...

Выручил Мак-Интош. Он был общепризнан человеком оригинальным и глубокомысленным. В эту минуту он внимательно смотрел себе под ноги:

– Я всегда думаю: какая великая вещь культура. Вот например: тротуар. Нет, вы вдумайтесь: тротуар!

И тотчас звонкий смех – все с ужасом обернулись: эта молодая особа с тросточкой смеялась. Эта молодая особа всегда была смешлива: теперь она опиралась на тросточку и тряслась, тряслась от смеха, трясла подстриженными кудряшками...

Дальше, в сущности, ничего не было особенного: просто миссис Дьюли обернулась и посмотрела на эту молодую особу – или, вернее, не на нее, а на церковный заборчик, к которому прислонилась особа. Миссис Дьюли посмотрела так, как будто эта особа была стеклянной, совершенно прозрачной.

Диди вспыхнула, что-то хотела сказать – что было бы уж, конечно, совершенно невероятно, – но только вздернула плечами и быстро куда-то пошла...

А затем миссис Дьюли любезно протянула Кемблу руку – показалось, ее рука дрожит – или, может быть, это дрожала рука самого Кембла.

– До свидания, мистер Кембл. Все-таки надеемся скоро вас видеть... – и миссис Дьюли проследовала в церковь.

Это было неслыханно... у Кембла горели уши, во всю свою тяжелую прыть побежал за Диди, но она как провалилась сквозь землю: нигде ее не было...

Вечером, по окончании церковной службы, миссис Дьюли сидела с викарием в столовой и постукивала ко-
решком книги:

– Ну что же – ваше принудительное спасение? Вы же видите, куда идет Кембл? На вашем месте я бы...

Викарий треугольником поднял брови: он положительно не узнавал миссис Дьюли, раньше она совершенно не интересовалась «Заветом Спасения». Викарий потирал руки: это хороший знак, это великолепно...

– Вы правы, дорогая: этим надо заняться. Конечно, конечно.

А в № 72 – камин покрывался пеплом, дергалось, трепыхалось под пеплом последнее тепло. На ковре лежала Диди и с нею фарфоровый мопс Джонни. Безобразная морда мопса была вся мокрая. На пороге стоял Кембл, страдальчески сморщившись: он пришел сказать Диди, что поведение ее странно, по меньшей мере. И вот – нету слов или мешает что-то, спирается вот тут, в горле. В сущности, ведь это нелепо...

Кембл старался построить силлогизм.

6. Лицо культурного человека

Как известно, человек культурный должен, по возможности, не иметь лица. То есть не то чтобы совсем не иметь, а так: будто лицо, а будто и не лицо – чтобы не бросалось в глаза, как не бросается в глаза платье, сшитое у хорошего портного. Нечего и говорить, что лицо культурного человека должно быть совершенно такое же, как и у других (культурных), и уж конечно, не должно меняться ни в каких случаях жизни.

Естественно, что тем же условиям должны удовлетво-
рять и дома, и деревья, и улицы, и небо, и все прочее в

мире, чтобы иметь честь называться культурными и порядочными. Поэтому, когда прохладные, серые дни прошли, и вдруг наступило лето, и солнце стало возмутительно-ярким – леди Кембл почувствовала себя шокированной.

– Это уже положительно что-то... Это Бог знает что! – черви леди Кембл пошевеливались, высывались, но необузданное, некультурное солнце все так же оскалось во весь рот. Тогда леди Кембл делала единственное, что ей оставалось: спускала все жалюзи и водворяла в комнатах свет более умеренный и приличный.

Леди Кембл с сыном занимала теперь три комнаты: две спальни наверху и столовую внизу, окнами на улицу. Все было теперь слава Богу. Этот случай с автомобилем леди Кембл понимала как явное милосердие Божие. Нет, что там: порядочных людей Бог не оставит.

И вот – теперь все как полагается: и ковер, и камин, и над камином портрет покойного сэра Гарольда (тот же самый кембловский, квадратный подбородок), и столик красного дерева у окна, и на столике ваза для воскресных гвоздик. Во всех домах на левой стороне улицы видны были зеленые вазы, на правой – голубые. Леди Кембл на правой стороне, поэтому на столике у ней была голубая ваза.

По возможности, леди Кембл старалась восстановить тот распорядок, который был при покойном сэре Гарольде. С утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем платье. Купила за пять шиллингов маленький медный гонг, и так как хозяйка-старушка звонить в гонг не умела, то леди Кембл всегда звонила сама: снимет гонг со стены в столовой, выйдет в коридор, позвонит – и опять в столовую. Пусть даже завтракает одна – Кембл в конторе, – все равно позвонит: главное – порядок.

К несчастью, обед и завтрак подавал не лакей, а старушка миссис Тэйлор, трясучая и древняя. И чтобы это выходило хоть мало-мальски прилично, леди Кембл стала старушку уговаривать: за обедом чтоб прислуживала в белых перчатках.

– И что это за причуды такие, Господи! Моешь руки – моешь, и все им мало... – старушка обиделась и даже

всплакнула, но за два лишних шиллинга в месяц — наконец согласилась.

Теперь было все в порядке — и леди Кембл позвала О'Келли обедать: пусть видит, что имеет дело не с кем-нибудь.

Было очень много хлопот. На столе стояли цветы и бутылки.

Старушка Тэйлор выстирала свои белые перчатки. И только О'Келли...

Трудно поверить — но О'Келли явился на обед... в визитке. Весь обед был испорчен. Черви леди Кембл разворачивались, шевелились.

— Я так рада, мистер О'Келли, что вы по-домашнему. Впрочем, смокинг — при вашем складе лица...

О'Келли засмеялся:

— О, о своей наружности — я высокого мнения: она — исключительно безобразна, но она — исключительна, а это все.

Коротенький, толстый — он запыхался от жары, вытирал лицо пестрым платком. Рыжие вихры растрепались, четыре его руки непрестанно мелькали, он капал на жилет соусом и болтал без остановки. Да, в сущности, Уайльд тоже был некрасив, но он подчеркивал некрасивое — и все верили, что это красиво. И затем: подчеркнутая некрасивость — и подчеркнутая порочность — это должно дать гармонию. Красота — в гармонии, в стиле, пусть это будет гармония безобразного — или красивого, гармония порока — или добродетели...

Но тут О'Келли заметил: невидимая узда подпернула желтую голову леди Кембл, бледно-розовые черви зловеще шевелились и ползли. О'Келли запнулся — и бледно-розовые черви тоже остановились. Говорить в обществе об Уайльде! И если леди Кембл на этот раз пощадила О'Келли, то исключительно ради сына...

Старушка Тэйлор трясущимися руками в белых перчатках поставила ликер и кофе. Об этом ликере леди Кембл поразмыслила довольно. Но в конце концов решила отложить починку своих туфель на месяц. Без ликера было нельзя никак, так же как без гонга или перчаток миссис Тэйлор.

Два раза леди Кембл подвигала О'Келли ликер – и два раза О'Келли подливал себе шотландское виски. Все это вместе – и пестрые вихры, и ликер, и мелькающие в воздухе руки О'Келли – раздражало миссис Кембл. Черви куснулись:

– Вы, однако, оригинал: первый раз вижу человека, который с кофе пьет виски.

«Оригинал» – для леди Кембл звучало так же, как «некультурный человек», но мистер О'Келли был, по-видимому, слишком толстокож. Он секунду весело молчал – он даже и молчал весело – и потом вслух подумал:

– ...Вот в такую жару, должно быть, хорошо в одной шотландской юбочке щеголять!

К слову вспомнил и рассказал: с приятелем шотландцем они ходили по Парижу – и парижские мальчишки в конце концов не выдержали, улучили момент и подняли шотландцу юбочку – посмотреть, есть ли под ней что-нибудь вроде штанов, или...

Леди Кембл больше не могла – не могла. Разгневанно встала, пошла к двери и позвала с собой кипенно-белую кошку Милли:

– Милли, пойдите отсюда... Милли, вам здесь нечего делать – зачем вы сюда – ваше молоко в коридоре.

Но испорченная Милли, по-видимому, была еще не прочь послушать рассказы О'Келли: она мяукала и упиралась. Леди Кембл нагнулась – выскочили ключицы и лопатки, и еще какие-то кости – весь каркас разломанного зонтика. С Милли под мышкой леди Кембл проследовала в дверь.

Величественная и страшная в своем мумийном декольте, она появилась вновь только тогда, когда О'Келли загромыхал в передней, разыскивая палку (которой не приносил). Вместе с О'Келли вышел и Кембл.

Небо было бледное, подобранное, вогнутое, какое бывает в сумерки после жарких дней. Кембл пожимался: не то от прохлады, не то от тех неминуемых разговоров – о порядочности и непорядочности, какие будут завтра с леди Кембл. Пожимался и все-таки шел вместе с О'Келли туда – в № 72. Главное, он был совершенно согласен с леди Кембл: в меблированных комнатах миссис Аунти – все было непорядочное, все было – не его, было шеро-

ховато и мешало, как мешал бы камень посреди асфальтовой джесмондской улицы, – и все-таки шел.

«Раз идет О'Келли... Надо же поддерживать с ним отношения...» – успокаивал себя Кембл.

В № 72, по обыкновению, горел камин. Диди сидела на ковре у огня: сушила, после мытья, кудрявые, по-мальчишечьи подстриженные волосы. На полу были разбросаны листки какого-то письма – и над ними улыбался мопс Джонни.

О'Келли чуть не наступил на листки – наклонился и поднял.

– Не трогайте! – со злостью закричала Диди. – Говорю вам – не трогайте! Не смейте трогать! – брови сошлись над переносьем, исчезло мальчишечье лицо – было лицо женщины, опаленное темным огнем.

О'Келли сел на низенький пуф и затараторил:

– Нехорошо, нехорошо, деточка. Только что леди Кембл нам внушала, что лицо порядочного человека должно быть неизменно, как... как вечность, как британская конституция... И кстати: слышали ли вы, что в парламент вносится билль, чтобы у всех британцев носы были одинаковой длины? Что же, единственный диссонанс, который, конечно, следует уничтожить. И тогда – одинаковые, как... как пуговицы, как автомобили «Форд», как десять тысяч номеров «Таймса». Грандиозно – по меньшей мере...

Диди – не улыбнулась. Все так же держала листочек в руке, и все так же крепко, как сплетенные пальцы, – сдвинуты брови.

И не улыбался Кембл: что-то в нем накипало, накипало, било – и вот через край – и встал. Два шага к Диди – и спросил – тоном таким, какого не должно было быть:

– Что это за письмо такое? Отчего к нему уж и приотронуться нельзя? Это – это... – говорил – и слушал себя с изумлением: не он – кто же?

И одну секунду слушала с изумлением Диди. Потом брови ее расцепились, она упала на ковер и захлебнулась смехом:

– О, Кембл, да, кажется, вы... Джонни, мопсик, ты знаешь – Кембл-то... Кембл-то...

7. Руль испорчен

Наконец-то оно кончилось – дело о разводе, и на Диди никто теперь не имел прав, исключая, конечно, фарфорового мопса Джонни.

Событие праздновали втроем: О'Келли, Диди и Кембл. Обедали в отдельном кабинете, пили, О'Келли влезал на стул и произносил тосты, махал множеством рук, пестрело и кружилось в голове. Домой как-то не хотелось: решили поехать на бокс.

Такси летел, как сумасшедший – или так казалось. На поворотах кренило, и несколько раз Кембл обжегся об колено Диди. Такси летел...

– А знаете, – вспомнил Кембл, – мне уж который раз снится, будто я в автомобиле, и руль испорчен. Через заборы, через что попало, и самое главное...

А что самое главное – рассказать не успел: входили уже в зал. Крутой веер скамей был полон до потолка. Опять было Кемблу тесно и жарко, обжигался, и будто все еще летел такси.

«Не надо так много пить...»

– Послушайте, Кембл, вы о чем думаете? – кричал О'Келли. – Вы слышите: сержант Смис, чемпион Англии. Вы понимаете: Смис! Да смотрите же, вы!

Из двух противоположных углов четырехугольного помоста они выходили медленным шагом. Смис – высокий, с крошечной светловолосой головой: так, какое-то маленькое, ненужное украшение к огромным плечам. И Борн из Джесмонда – с выдвинутой вперед челюстью: вид закоренелого убийцы.

– Браво, Борн, браво, Джесмонд! Сержант Смис, браво!

Топали, свистели, клокотали все двадцать рядов скамей, шевелилась и переливалась двадцать раз окрутившаяся змея – и вдруг застыла и вытянула голову: судья на помосте снял цилиндр.

Судья, поглядывая из-под седого козырька бровей, объявлял условия:

– Леди и джентльмены! Двадцать кругов по три минуты и полминуты отдыха после каждого круга – согласно правилам маркиза Квинзбэри...

Судья позвонил. Смис и Борн медленно сходились. Борн был в черных купальных панталонах, Смис – в го-

лубых. Улыбнулись, пожали друг другу руки: показать, что все, что будет, – будет только забавой культурных и уважающих друг друга людей. И тотчас же черный Борн выпятил челюсть и закрутился около Смиса.

– Так его, Джесмонд! Вот это панч! – закричали сверху, когда Борн отпечатал красное пятно на груди чемпиона Англии.

Двадцатиколечная змея обвивалась теснее, дышала чаще, и Кембл видел: шевелилась и вытягивалась вперед Диди – и он сам вытягивался, захваченный кольцами змеи.

Судья с козырьком бровей прозвонил перерыв. Черный и голубой – оба вытянулись на стульях, каждый в своем углу. Широко раскрыв рты – как выброшенные рыбы, спешили за полминуты наглотать побольше воздуха. Секунданты суетились, кропили им языки водой, махали полотенцами.

Полминуты прошло. Снова схватились. Смис улучил секунду – и тяжелый кулак попал Борну в нос, снизу вверх. Борн спрятал лицо под мышку к Смису и закрутился вместе с ним – спасти лицо от ударов. Из носа у Борна шла кровь, окрашивала голубые панталоны Смиса, крутились и барахтались два голых тела. И все судорожной вытягивалась змея – впитать запах крови, кругом топали и ревели нечленораздельное.

– ...Поцелуй его, Борн, в подмышку, очень вкусное местечко! – выкрикнул пронзительный мальчишеский голос.

Диди – покрасневшая, взбудораженная – дергала за рукав Кембла. Кембл оторвался от помоста и посмотрел на нее – с ноздрями, еще жадно расширенными, и квадратным, свирепо выдвинутым подбородком. Он был новый, и какой-то маленькой показалась себе Диди. И... что хотела спросить? – забыла.

– Да смотрите же! – крикнул О'Келли.

Кончалось. Качался от ударов Борн, и медленно, медленно ноги его мякли, таяли, как воск, – и он гулко рухнул.

Джесмонд был побит – Джесмонд вопил:

– Неверно! Он ударил, когда Борн уже падал...

– Долой Смиса! Неправильно, мы видели!

Смис стоял, закинув маленькую головку, и улыбался: ждал, пока затихнут.

– ...И еще улыбается! Что за наглость такая! – Диди горела и дрожала. Повернувшись к Кемблу, чем-то колюче-нежным ужалила его локоть. – Была бы я, как вы, – сейчас же бы вот его пошла и побила...

Кембл на секунду посмотрел ей в глаза – и сбесившийся автомобиль вырвался и понес.

– Хорошо. Я иду, – он двинулся к трибуне.

Было это немыслимо, не должно было быть, Кембл сам не верил, но остановиться не мог: руль был испорчен, гудело, несло через что попало и... страшно или хорошо?

– Послушайте, не на самом же деле... Кембл, вы спятили? Держите же, держите его, О'Келли!

Но О'Келли только улыбался молча, как фарфоровый мопс Джонни.

Судья объявил, что мистер Смес любезно согласился на пять кругов с мистером Кемблом из Джесмонда. На помосте появилось громадное, белое тулово Кембла – и Джесмонд восторженно заревел.

Мистер Кембл из Джесмонда был выше и тяжелее Смеса, и все-таки с первого же круга стало ясно, что выходка его была совершенно безумной. Все так же улыбаясь, Смес наносил ему удары в бока и в грудь – только ухало гулко где-то в куполе. Но стоял Кембл очень крепко, упористо расставив столбчатые ноги и упрямо выдвинув подбородок.

– Послушайте, О'Келли, ведь он же его убьет, ведь это же ужасно... – не отрывала глаз и бледнела Диди, а О'Келли только молча улыбался знающей улыбкой.

На третьем круге, весь в красных пятнах и в крови, Кембл еще держался, в тишине чей-то восторженный голос сверху крикнул:

– Ну и морда – прямо чугунная!

В зале фыркнули. Диди негодуяще оглянулась, но уже опять была тишина: начинался четвертый круг. На этом круге, в самом же начале, Кембл упал.

Диди вскочила, с широко раскрытыми глазами. Судья поглядывал из-под седого козырька бровей и отсчитывал секунды:

– Раз, два, три, четыре...

На последней секунде – на девятой – Кембл упрямо встал. Получил еще удар – и все поплыло, поплыло, и последнее, что увидел: бледное лицо Диди.

Смутно помнил Кембл: куда-то его везли, Диди плакала, О'Келли смеялся. Потом чем-то поили, заснул – и проснулся среди ночи. Светил месяц в окно, и ухмылялся в лицо Кемблу безобразный мопс Джонни.

Комната Диди. Ночью в комнате Диди... Бред? Потом медленно, сквозь туман, подумал:

«Правда, нельзя же было везти домой – таким...»

Язык был сухой, пить страшно хотелось.

– Диди! – робко позвал Кембл.

С диванчика поднялась фигура в черной пижаме:

– Ну, наконец-то вы! Кембл, милый, я так рада, я так боялась... Вы меня можете простить? – Диди села на кровать, взяла руку Кембла в свои горячие маленькие руки. Пахло левкоями.

Кембл закрыл глаза. Кембла не было – была только одна рука, которую держала Диди: в этой руке на нескольких квадратных дюймах собралось все, что было Кемблом, – и впитывало, впитывало, впитывало.

– Диди, я ведь пошел – потому что – потому что... – захватило горло вот тут – и тяжесть такая – не стронуть с места.

Диди нагнулась, серьезная, девочка-мать:

– Смешной! Я знаю же. Не надо говорить...

Ужалила Кембла двумя нежными остриями – быстро клюнула в губы – и уже все ушло, и только запах левкоя, как бывает в сухмень, – едкий и сладостный.

Всю ночь фарфоровый мопс сторожил Кембла усмешкой и мешал ему думать. Кембл мучительно морщил лоб, рылся в голове. Там, в квадратных коробочках, были разложены известные ему предметы, и в одной, заветной, вместе лежали: Бог, британская нация, адрес портного и будущая жена – миссис Кембл – похожая на портрет матери Кембла в молодости. Все это были именно предметы, непреложные, твердые. То, что было теперь, – ни в одну коробочку не входило: следовательно...

Но руль был явно испорчен: Кембла несло и несло, через «следовательно» и через что попало...

Утром Кембл проснулся – Диди уже не было, но ею пахло, и лежала на стуле черная пижама. Кембл с трудом поднялся, натянул вчерашний свой смокинг. Долго смотрел на пижаму и крепился, потом встал на колени, оглянулся на дверь и погрузил лицо в черный шелк – в левкой.

Диди пришла свежая, задорная, с мокрыми растрепанными кудрями.

– Диди, я думал всю ночь, – Кембл твердо расставил ноги, – Диди, вы должны быть моей женой.

– Вы так думаете? Должна? – затряслась Диди от смеха. – Ну, что ж, если должна... Только вы, ради Бога, лежите, доктор велел вас держать в постели... Ради Бога... Вот так...

8. Голубые и розовые

Бокс был в субботу, а в понедельник имя Кембла уже красовалось в «Джесмондской Звезде».

«НЕОБЫЧАЙНЫЙ СЛУЧАЙ В БОКСИНГ-ХОЛЛЕ! Боксер-аристократ

Эстрада, где мы еще на прошлой неделе видели негра Джонса, впервые была украшена появлением боксера из высокоаристократической, хотя и обедневшей семьи...

Мистер Кембл (сын покойного Г. Д. Кембла) с удивительной стойкостью выносил железные удары Смиса, пока наконец на четвертом круге не пал жертвой своего опрометчивого выступления. Мистер Кембл был вынесен в бессознательном состоянии. Среди друзей мистера Кембла выделялась туалетом звезда «Эмпайра» Д***».

В этот день в Джесмонде жизнь была ключом. О погоде почти не говорили – властителем умов был Кембл, говорили только о скандале с Кемблом. Останавливались около дома старушки Тэйлор и заглядывали в окна Кемблов, как бы ожидая некоего знамения, но знамения не появлялось. Тогда заходили к леди Кембл и с радостным видом выражали ей соболезнование.

– Ах, какой ужас, какой ужас! Но разве он так сильно пострадал, что нельзя было довести к вам?

Черви миссис Кембл извивались.

– Бедная миссис Кембл! Вы даже лишены возможности навестить его! Ведь вы в *тот* дом не пойдете, не правда ли?

– А потом – *та* женщина! Дорогая миссис Кембл, мы понимаем...

Черви миссис Кембл вились и шипели на медленном огне. Голубые и розовые любовались; потом почему-то крутились около дома викария Дьюли – тонким нюхом чуяли что-то здесь; потом шли к *тому* дому и терпеливо смотрели в окно с опущенной занавеской, но занавеска не подымалась...

Впрочем, относительно дома викария Дьюли голубые и розовые ошибались: то, что там произошло, – были сущие пустяки. За утренним завтраком миссис Дьюли читала газету и нечаянно опрокинула чашку кофе – ведь это со всяким может случиться. Главное, что скатерть была постлана только в субботу – и только в следующую субботу полагалась по расписанию новая. Немудрено, что викарий был в дурном расположении духа и писал комментарии к «Завету Спасения», а миссис сидела у окна и смотрела на красные трамваи. Затем она отправилась в *тот* дом, спросила о чем-то хозяйку и немедленно пошла назад – быть может, получивши ответ, что при мистере Кембле находится *та* женщина или что мистеру Кемблу значительно лучше. Но это, конечно, только предположения – и единственно достоверно, что ровно в три четверти первого миссис Дьюли была дома и ровно в три четверти первого начался второй завтрак: ясно, все обстояло благополучно.

Все шло согласно расписанию, и вечером у викария состоялось обычное понедельничное собрание Корпорации Почетных Звонарей прихода Сэнт-Инох и редакции приходского журнала. Было несколько розовых и голубых; был неизменный Мак-Интош в сине-желто-зеленой юбочке; леди Кембл не пришла.

Все сидели как на иголках, у всех на языке был Кембл – Кембл. Но с викарием очень-то не поспоришь: перед ним лежало расписание вопросов, подлежащих об-

суждению, – семнадцать параграфов – и уж нет, ни одного не пропустит.

– Господа, прошу внимания: теперь самый серьезный вопрос...

Это был вопрос о поднятии доходности «Журнала Прихода Сэнт-Инох». Викарий только что приобрел для журнала серию «Парижских приключений Арсэна Люпена». Впоследствии – это, конечно, повысит тираж, но пока нужно возместить расход, нужны объявления, объявления и объявления.

– Мистер Мак-Интош, мы ждем вашей помощи!

Мистер Мак-Интош торговал дамским бельем, у него были прекрасные связи. Он быстро дал три адреса и старательно выискивал еще.

– Ба! – вспомнил он. – А резиновые изделия Скрибса?

Викарий поднял брови: здесь было одно серьезное обстоятельство.

– Мистер Мак-Интош, помните: мы ручаемся за качество рекомендуемого. «Журнал Прихода Сэнт-Инох» не может...

– О, за изделия Скрибса я ручаюсь... – горячо возразил Секретарь Корпорации Почетных Звонарей. – Я самолично...

Но викарий остановил его – легчайшим, порхающим движением руки, каким в проповедях изображал он восшествие праведной души к небу. Изделия Скрибса были приняты; викарий записывал соответствующие адреса...

Поздно, когда ее уже перестали ждать, пришла леди Кембл. Как и всегда, голова была подтянута вверх невидимой уздой, и только лицо – еще мумийней, и еще острее вылезали кости – каркас сломанного ветром зонтика...

Как Божьи птицы-голуби, слетевшиеся на зерна, розовые и голубые закрутились около леди Кембл: ну что? ну как?

Черви лежали недвижимые, вытянутые – и, наконец, с трудом дрогнули:

– Я только думаю: что сказал бы мой покойный муж, сэр Гарольд...

Она подняла глаза вверх – к обиталищу Бога и сэра Гарольда, из глаз выползли две разрешенные кодексом слезинки, немедля принятые на батистовый платок.

Две слезинки почтены были глубоким молчанием. В стороне от всех миссис Дьюли мяла и разглаживала голубоватый конверт. Молчали: что же тут придумаешь и чем поможешь?

И вдруг вынырнула футбольная голова Мак-Интоша: он был, как всегда, незаменим.

– Господа, это тяжело, – но мы должны просить викария пожертвовать собой. Всякий, кто слышал вдохновенную проповедь викария на воскресной службе, поймет, что только каменные сердца могли бы... Господа, мы должны просить викария, чтобы он пошел в *тот* дом, и я уверен – мы уверены...

– Мы уверены! – подхватили розовые и голубые.

Прежде чем ответить, викарий сделал паузу и высморкался, что стояло у него в рубрике: искреннее волнение. Что же – он всегда готов на жертвы. Но уж если и это не поможет – тогда придется...

Миссис Дьюли мяла и разглаживала узкий конверт, озябло поводила плечами: вероятно, простудилась. В жаркую пору, знаете, это особенно легко.

Вокруг порхали, поклевывали розовые и голубые.

9. Хорошо-с

Диди встала позже, чем обычно, – было уже за полдень, что-то напевала и расчесывала перед зеркалом непослушные мальчишеские кудри. На ней была любимая черная пижама: корсаж разрезан до пояса и слегка стянут переплетом шнура, и сквозь черный переплет – розовое. В этом костюме и с подрезанными волосами – девчонко-мальчик – она была как средневековый паж: из-за таких строгие дамы легко забывали рыцарей и так охотно выкидывали веревочную лестницу с балкончика башни.

В соседнем номере тяжело ворочался Кембл: третий день освободилась комната рядом с Диди – и третий день он здесь жил – или нет: куда-то летел на взбесившемся автомобиле, летел через что попало – летел как во сне. Впрочем, скоро все это кончится. Вот только заработать еще фунтов тридцать, и тогда можно будет снять один из тысячи одинаковых домиков – и снова под ногами будет твердо.

– Миленький Джонни, – беседовала Диди с фарфоровым мопсом, – уж ты, пожалуйста, на меня не сердись, если я немножко выйду замуж. Ведь ты меня знаешь? Ну, так и молчи, и улыбайся, а теперь...

В № 72 стучали. Должно быть – Нанси из нового revue.

– Нанси? Войдите.

Дверь скрипнула, Диди вышла из-за ширмочки и увидела – викария Дьюли. Он вскинул вверх брови изумленными треугольниками, издал негодующий: ах! – и попятился к выходу в коридор.

– Я чрезвычайно извиняюсь – я думал, что уже раз больше двенадцати, когда уже все... – он взялся за ручку двери, но за ту же ручку схватилась и Диди.

– Нет, нет, пожалуйста, не стесняйтесь, ради Бога – садитесь. Это мой обыкновенный утренний костюм – и не правда ли, очень милый фасон? Я так много о вас слышала – я очень рада, что вы наконец...

Что ж, надо было собой жертвовать до конца: викарий сел, стараясь не глядеть на обычный утренний костюм.

– Видите ли... Мисс?... Гм... Диди... Я пришел по поручению одной несчастной матери. Вы, конечно, не знаете, что значит иметь дитя...

– О, мистер Дьюли, но у меня есть... Вот мой единственный Джонни, и я его страшно люблю... – Диди поднесла мопса к треугольно поднятым бровям викария Дьюли. – Не правда ли, какой милый? У-у, Джонни, улыбнись! Поцелуй мистера Дьюли, не бойся – не бойся...

Холодными улыбающимися губами Джонни приложился к губам викария. И вследствие ли неожиданности – или вследствие прирожденной вежливости, но только викарий ответил на фарфоровый поцелуй Джонни.

– О, какой вы милый! – Диди была в восторге, но викарий держался совершенно другого мнения. Он негодуяюще вскочил:

– Я зайду к вам, мисс... миссис, когда вы будете не так весело настроены. Я вовсе не расположен...

– О, мистер Дьюли, к несчастью – я, кажется, всегда весело настроена.

– В таком случае...

Мистер Дьюли отправился в соседний номер – к Кемблу. Здесь почва была более благодарная. Кембл выслу-

шал всю речь мистера Дьюли, усиленно морщил лоб и кивал: да, да. Впрочем, иначе и быть не могло: речь викария была строго логическая, и он увлекал за собой Кембла, как по рельсам, – викарий торжествовал...

Но на последней станции неожиданно произошло крушение, Кембл соскочил со стула.

– Мистер Дьюли, прошу вас не выражаться так о... о Диди, которую я просил быть моей женой.

– Же-женой? – Но тотчас же викарий оправился: – Но ведь вы же все время соглашались со мной, мистер Кембл?

– Да, соглашался, – мрачно кивнул Кембл.

– Так где же у вас логика, мистер Кембл?

– Логика? – Кембл сморщился, потер лоб – и вдруг, нагнув голову, как бык, пошел прямо на викария. – Да, женой! Я сказал – моей женой... Да! И простите – я... я хочу остаться один, да!

– Ах, так? Хо-ро-шо-с! – викарий вышел с высоко поднятыми бровями, согласно рубрике: холодное негодование.

10. Электрический уют

Был уже июнь. Деревья в парках, к сожалению, потеряли свой приличный, подстриженный вид: цвели олеандры, вылезали изо всех сил, как попало, в абсолютном беспорядке. По ночам заливалось птичье, совершенно не считаясь с тем, что в десять часов порядочные люди отходили ко сну. Порядочные люди сердито хлопали окнами и высовывались в белых колпаках.

Впрочем, надо сознаться, анархический элемент был даже и в Джесмонде, и этот элемент – происходившее одобрял всецело. Умудрялись избежать бдительного взора парковых сторожей и после десяти оставались в кустах слушать пение птиц. Кусты интенсивно жили всю ночь, шевелились, шептались, а месяц всю ночь разгуливал над парком с моноклем в глазу и поглядывал вниз с добродушной иронией фарфорового мопса.

Все это производило какую-то странную болезнь: и кусты, и жара, и месяц, и олеандры – все вместе. Диди капризничала и хотела неизвестно чего, и Кембл терялся.

– Жарко. Я не могу... – Диди расстегивала еще одну пуговицу блузы, и перед Кемблом мерно колыхались волны: белые – батиста, и еще одни – розовые, и еще одни, шумные и красные, – в голове Кембла.

Кембл старался занять Диди чем-нибудь интересным:

– ...Знаете, Диди, на Кинг-Стрит в окне я вчера видел электрический уют. Такая прелесть, и всего десять шиллингов. Я думаю, нам уже можно бы начать обзаведение.

Но Диди даже и на это отзывалась очень вяло. Нет, она, кажется, больна.

Спускала шторы. Ложилась в кровать.

– Посмотрите, Кембл: у меня жар. Ну вот тут – ведь правда? Нет, глубже – сюда... – клала руку Кембла.

И опять весь Кембл собирался на нескольких квадратных дюймах руки и слышал, издали откуда-то: мерными толчками колыхалась кровь и рвалась наружу, минута еще...

Но у Кембла, слава Богу, руль опять в руках, и он твердо правит к маленькому домику с электрическим уюгом. Кембл вытаскивал руку.

– Да, кажется, жар. Это – ничего, просто – погода...

На камине – мопс Джонни и в окне – месяц с моноклем улыбались одинаковой улыбкой. Кембл сердито вставал и поворачивал Джонни носом к стене.

– Нет, уж пожалуйста – уж пожалуйста... Лучше дайте его мне, – протягивала руки Диди.

Нырлял месяц в легких батистовых облачках, тускнел и сейчас же опять усмехался, и в ответ – мерцало и менялось каждую секунду лицо Диди, сцеплялись и опять расцеплялись брови, думала, думала... А о чем теперь думать? Все квадратно-твердо впереди: и маленький домик, и сияющий белизною порог, и ваза для воскресных гвоздик – зеленая или голубая.

– Джонни, маленький мой Джонни, – обнимала Диди фарфорового мопса. – Поцелуй меня, Джонни. Так... еще. Еще! Еще!

Целовала мопса, и он становился все теплей, оживал. Душила его своими духами – сухим от бездождья, сладостно-едким левкоем. Топила насмешливую морду Джонни в белых и розовых волнах и называла его странными именами.

А Кембл сидел молча, упрямо выставлял месяцу каменный подбородок – и так был похож на портрет покойного сэра Гарольда.

О'Келли теперь редко заходил, но если заходил – то все такой же: заспанный, расстегнутый, злой и веселый. Кембл серьезно ему рассказывал:

– Двадцать фунтов уже есть. Еще тридцать – и на пятьдесят уж будет можно купить всю мебель...

– А без мебели – никак нельзя? – ухмылялся О'Келли.

– О да, конечно – нельзя, – невозмутимо-серьезно отвечал Кембл. – И вовсе нечего смеяться: что тут смешного? Все совершенно логично.

– Ну, голубчик Кембл, на логике надо ездить умеючи, а то, чего доброго, разнесет.

И Бог знает к чему – рассказывал О'Келли про свою тетю Иву: на старости лет поперхнулась умом и стала пить бояться – как бы не выпить какую бациллу. Бациллу не выпила – а от непития померла очень скоро.

Понемногу начала прислушиваться Диди, медленно расцеплялись брови, медленно просыпался смешливый паж. Вот подошел О'Келли к камину, взял мопса Джонни.

– Ну до чего он на меня похож, а? На него глядя – я мог бы без зеркала бриться...

Брови совсем расцепились – Диди хохотала.

– Это – просто гениально, если вы сами придумали. Ну, сознайтесь, сами – или нет? Ну – сознавайтесь! – трясла О'Келли, беспомощно болталась его голова, из кармана сыпались свертки.

– Ага, фисташки? Ага, устрицы? А шампанское есть?

Ну как же не быть. И на зеленом ковре начинался веселый пикник. О'Келли глотал устриц и закусывал англичанами. Ох уж эти англичане!

– ...Праведны как... как устрицы, и серьезные – как непромокаемые сапоги. Боже ты мой – англичане! Я бы всех их – лимонным соком – вот этак, вот этак... Ага, закопошились?

Потихоньку открывалась дверь – и появлялась Нанси. Она была наполовину ирландка, и поэтому О'Келли приветствовал ее особенно сердечно. А кроме того, она...

Нанси была в одной нежно-розовой рубашке и с мохнатой простыней в руках. С невиннейшим видом она обходила все комнаты и предупреждала:

– Пожалуйста, не выходите в коридор – я иду брать ванну...

Это было великолепно, смеялся даже Кембл. А он смеялся по-особенному: уже все перестали, и только он один вспомнит и опять зальется – раскатился тяжелый грузовик – не остановить никак.

Завернувшись в простыню, Нанси милостиво соглашалась до своей ванны принять участие в пикнике. Пенился и переливался через край О'Келли. Трясла Диди подстриженными кудряшками – проказливый девчонко-мальчик, вытягивала губы, представляла, как викарий Дьюли поцеловал мопса.

И опять – все уже забыли, замолкли, а Кембл – вспомнит и засмеется. И уже один в своей комнате, все разошлись – а он опять вспомнит и засмеется.

Все тихо. Душная ночь, нечем дышать, накрыла с головой – как стеганым одеялом. Нет, не уснуть...

Диди брала с комода холодного мопса. Целовала его, пока он не становился теплым, живым.

А Кемблу снился электрический уют: громадный, сверкающий, ползет и приглаживает все, и не остается ничего – ни домов, ни деревьев, только что-то плоское и гладкое – как зеркало.

Любовался Кембл и думал:

«И только ведь десять шиллингов!...»

11. Слишком жарко

Викарий Дьюли не упускал случая внедрить в сознание Джесмонда свой «Завет». В субботу он выступал на митинге Армии Спасения. Если государство еще коснеет в упрямстве и пренебрегает своими обязанностями, то мы, мы – каждый из нас – должны гнать ближних по стезе спасения, гнать – скорпионами, гнать – как рабов. Пусть будут лучше рабами Господа, чем свободными сынами сатаны...

Речь была потрясающая, и джесмондская секция Армии Спасения решила взяться за дело немедленно, завтра же.

Это было воскресенье – сияющее, солнечное, жаркое. В половине девятого утра Армия Спасения тронулась из штаб-квартиры. Со знаменами, гимнами, барабанным боем, мерным военным шагом двести воинов Армии Спасения прошли по городу. И у каждой двери длинная, строгая женщина-офицер, в синей лопухой шляпе, останавливалась и колотила молотком:

– Господин Христос призывает вас в церковь!

– Гелло! Господин Христос призывает вас... Гелло, гелло! – колотила до тех пор, пока внутри не просыпались, не начинали выглядывать изумленные лица.

Церковь Сэнт-Инох сегодня была полна. Викарий вернулся домой счастливо-утомленный. За ним почтительно следовал Секретарь Корпорации Почетных Звонарей Мак-Интош, восхищенно покачивая головой: какое красноречие, какая неистощимая энергия!

– Итак, дорогой Мак-Интош, сегодня – ваша очередь, – прощался с ним викарий. – Пусть это – тяжелая обязанность, но это – обязанность.

Мистер Мак-Интош отправился гулять. Он выбрал для прогулки не очень живописное место: ту улицу, где помещались меблированные комнаты миссис Аунти. По-видимому, иногда ему приходили в голову странные фантазии.

А викарий, позавтракав, уселся в кресло. Было очень жарко. Сквозь верхние граненые стекла в столовую сыпались десятки маленьких отраженных солнц. Викарий любовался: удобные, портативные и неяркие солнца. Сидя задремал: это входило в воскресное расписание. Лицо и во сне хранило выражение изысканно-вежливое; все было готово, чтобы в любой момент открыть глаза и сказать: прекрасная погода, не правда ли?

Армия Спасения не пощадила, конечно, и артистических меблированных комнат миссис Аунти, переполошила обитателей ни свет ни заря. Обитатели не выспались, громче чем нужно хлопали дверью и громче чем нужно плескались в ванной.

Диди вышла к завтраку со сжатыми бровями. За завтраком с некоторым изумлением, как будто видя в

первый раз, – внимательно оглядела Кембла, хотя он был такой же, как всегда: громадный, непреложный, прочный.

Чтобы поскорее добрать нехватаящие тридцать фунтов, Кембл брал теперь частную работу на дом. Тотчас же после кофе он отстегнул манжеты и отправился в свою комнату заниматься.

Сдвинувши брови, Диди сидела рядом и гладила мопса. Солнце поднялось и назойливо стучало в окно. Кембл встал и задернул шторы.

– А я хочу солнца, – вскочила Диди.

– Но, дорогая, ведь вы знаете, я работаю для того, чтобы мы могли скорее начать покупку мебели – и затем...

Диди вдруг засмеялась, не дослушав, и ушла к себе. Поставила мопса на камин, посмотрела в очаровательно-безобразную морду.

– Как ты думаешь, Джонни?

Джонни явно думал то же самое. Диди стала поспешно прикалывать шляпу...

А через десять минут – взволнованный блестящим успехом своей прогулки Мак-Интош стоял перед миссис Дьюли:

– Нам надо поехать в Санди-Бай, – таинственно подчеркивал он «надо».

Пенсне миссис Дьюли на секунду вспыхнуло нехрустально:

– Вы – вы уверены?

Мистер Мак-Интош только обиженно пожал плечами и взглянул на часы:

– Нам до поезда семь минут.

Второпях миссис Дьюли задела рукавом пенсне, пенсне упало. Миссис Дьюли прочнее укрепила пенсне и снова стала миссис Дьюли. Теперь можно ехать.

...Не было спасения от солнца и в Санди-Бай: слепило: кипятило кровь, кипел и бился пенно-белый прибой.

О'Келли и Диди лежали на горячем песке. Вероятно, от солнца – у Диди в висках стучало, и, вероятно, от солнца – О'Келли с трудом подыскивал слова.

– Слишком жарко. Давайте купаться, – устала Диди.

Бледно-желтый от зноя песок. Яшмово-зеленые, с белокипенной оторочкой, шипучие волны. Прыгающие на волнах головы в оранжевых, розовых, фиолетовых чепцах. Приглушенные волнами солнце и смех.

Вода освежала, не хотелось выходить из воды. Диди говорила себе:

«Нет, только выкупаемся – и сейчас же вернемся домой...»

Но волны уносили все дальше. Набегали, подхватывали, крутили, и так хорошо не бороться, не думать, покоряться...

Над водой видна была только голова О'Келли – безобразная, усмехающаяся голова мопса. Выкрикивал что-то плохо слышное в шуме волн:

– ...всю ночь... хорошо?

Диди – слышала она или нет? – кивала головой...

Когда после купанья вошли в кафе пообедать – О'Келли за одним из столиков увидал миссис Дьюли и с ней футбольную, глубокомысленную голову Мак-Интоша. О'Келли подбежал к ним:

– Вы? Какими судьбами вы – здесь? Я так рад, миссис Дьюли, что вы объизвестились еще не совсем...

– Объизвестилилась?

– Да, я только что вот рассказывал... своей даме. Через несколько лет любопытный путешественник найдет в Англии объизвестленных неподвижных людей, известняк в форме деревьев, собак, облаков... Если не случится до тех пор землетрясения или чего-нибудь такого...

Пенсне миссис Дьюли холодно блестело. Она с усмешкой поглядывала на какой-то странный сверточек с ручкой: сверточком О'Келли оживленно размахивал.

– Это и есть, мистер О'Келли, ваш знаменитый надувной чемодан?

О'Келли немного смутился – на четверть секунды.

– О, вы знаете: хороший охотник без ружья не выйдет. Просто по привычке... Так вы в пять часов? Я надеюсь, в поезде встретимся, если не опоздаю.

– Буду очень рада, – стекла миссис Дьюли сверкали.

Неаккуратность О'Келли хорошо известна: к пятичасовому О'Келли, конечно, опоздал.

12. Рождение Кембла

Сразу спала жара, стоял молочный, мокрый туман. Особенно слышно было ночью: о подоконник чмокали неумолчно отчетливые капли, как часы, отбивали кем-то положенный срок.

И когда этот срок настал – а случилось это как раз в день рождения Кембла, – было получено письмо в узком, холодновато-голубом конверте. Письмо было без подписи.

«Милостивый Государь, будучи Вашими друзьями, мы не можем не осведомить Вас, что известные Вам мистер К. и миссис Д. дурно пользуются Вашим доверием, в чем Вы будете иметь случай достоверно убедиться».

Голубоватый узкий конвертик был чем-то знакомый, и подумавши – Кембл вспомнил. Все это было очень просто и ясно: чистейшая выдумка, Кембл уверен был непреложно.

И все-таки – шел в контору и было как-то нехорошо: будто выпил чашку чаю и увидел на дне муху, муху выкинул, но все-таки... А может быть – это просто от тумана: душный, как вата, и закутанные странно звучат шаги – как будто кто-то неотступно идет сзади.

В конторе О'Келли встретил Кембла шумно и радостно – был еще шумней и пестрей, чем всегда. Оказалось, О'Келли не забыл, что сегодня – день не простой, а день рождения Кембла, и готовил Кемблу какой-то подарок, а какой – обнаружится вечером. И затем Сэсили – с улыбкой пасхального барашка поднесла Кемблу букет белых лилий. Кембл прямо растрогался.

А когда вернулся домой, его ждал еще один подарок: Диди сама – сама! – предложила пойти по магазинам и начать те покупки. И Кемблова муха без следа исчезла.

– Утюг... – засиял Кембл. – Нет, сначала утюг, а уже потом...

– Утюг – тяжелый, надо под конец, чтобы не таскать его все время, – резонно возражала Диди.

Но Кембл настоял на своем, купили утюг, и Кембл радостно его таскал, и вовсе не было тяжело: легонький, как перышко, честное слово.

Зажигались огни, густел туман. Это был день рождения Кембла – настоящего рождения, начиналась новая жизнь. И новый был Джесмонд в тумане – невиданный,

незнакомый город. Необычно и весело звучали шаги – будто кто-то неотвязно ступал, сторожил сзади.

И еще непременно хотел Кембл купить белья для Диди. Диди отнекивалась, но Кембл и слышать не хотел: нынче – день его рождения.

– Для вашей жены?

– Нет... То есть... – Кембл смущенно улыбался приказчику.

Прозрачные, шелковые – тело через них должно нежно розоветь – сорочки и панталоны. Было радостно-стыдно перевертывать и разглядывать все это вместе с нею, с Диди. С каждой новой купленной вещью Диди все больше становилась его женой.

Уши у Кембла горели, и он заметил: Диди прятала лицо. Кембл засмеялся.

– Ну же, Диди, будьте же храброй: посмотрите на меня... – хотелось видеть и у ней тот же сладкий стыд. Но Диди лица так и не показала.

Вечером появился О'Келли с массой свертков и в сопровождении миссис Сэсили.

– ...Чтобы было как в Ноевом ковчеге, – объяснил О'Келли. Повернулся к камину – и всплеснул руками: на камине, рядом с мопсом Джонни – красовался сверкающий утюг. – Рядом с Джонни? – с укором посмотрел он на Диди.

Потом обернулся к Кемблу:

– Итак, решено: «я твой навеки» – не правда ли, Кембл? Что касается меня, то я просто глуп: никогда не мог понять, как можно одну и ту же любить каждый день – как можно одну и ту же книгу читать каждый день? В конце концов – это должно сделать малограмотным...

На Диди шампанское сегодня действовало странно: она сидела у стола, вытаскивала из блокнота листки почтовой бумаги и с наслаждением разрывала их на мелкие кусочки. Сэсили – та покраснелась от вина и боролась с О'Келли из-за четвертой пуговицы: три пуговицы на блузке она позволила расстегнуть, но четвертую...

– Нет, это неприлично, – с серьезной и невинной физиономией пасхального барашка отвечала Сэсили.

– Но отчего же именно четвертую неприлично? – хохотал О'Келли. – Отчего же три было можно?

Диди все еще рвала бумагу. О'Келли отобрал у ней блокнот и попросил тишины. Главное, на что он хотел бы обратить внимание слушателей, – была почтовая бумага с линейками. На иной бумаге – в Джесмонде писем не пишут, и это очень хорошо, так как линейки – те же самые рельсы, а мысль в Джесмонде должна двигаться именно по рельсам и согласно строжайшему расписанию. Мудрость жизни – в цифрах, а потому он приветствует трехпуговичную мораль обожаемой Сэсили. И так как он, О'Келли, и никто другой, был Змием, соблазнившим Кембла сойти с рельс прихода Сэнт-Инох, то...

О'Келли вытащил чек на пятьдесят фунтов и протянул Кемблу:

– ...Чтобы вы могли завтра же купить все свои остальные утюги...

И так как Кембл колебался, О'Келли добавил:

– Разумеется, займы. И я требую, чтобы вы сегодня же – сейчас же – написали мне вексель. Ну?

Это было головокружительно хорошо: значит – хоть завтра же... Руки у Кембла дрожали, и голос дрожал:

– Я не умею говорить, как вы, О'Келли... Но вы понимаете... Вы мой единственный друг, который – единственный...

И теперь – это было совершенно нелепо – Диди захохотала – и все выше и громче – сорвалась – и сквозь слезы:

– Не смейте брать, Кембл! Не смейте брать у него деньги! Не смейте, я не хочу, не хочу!

Впрочем, скоро она успокоилась и затихла. Вероятно, это был просто каприз: никаких резонов – почему не хотела – Диди сказать не могла.

– Вот видите: ваше шампанское, – укоризненно-ласково сказал Кембл мистеру О'Келли, О'Келли уходил с пасхально-барашковой Сэсили под руку.

День рождения Кембла кончился – и завтра начнется новая жизнь: завтра искать маленький домик.

13. Туманные приключения

Диди опять обещалась зайти к мистеру О'Келли после театра, и О'Келли бегал по цветочным магазинам, разыскивая Easter Lilies: Диди их так любила. Станный, фарфорово-белый цветок, из одного громадного, небрежно

свернутого лепестка, и высунуто жало-тычинка с сухим, сладким, ленивым запахом. В асимметрии цветка и в противоречии фарфоровой белизны и запаха – было что-то раздражающее, как в о-келлиевской манере говорить. Словом – Easter Lilies нравились Диди, и надо было их во что бы то ни стало достать. Сезон их уже проходил. И только на Кингс-стрит О’Келли посчастливилось найти последние, уже слегка увядающие, из пожелтевшего старого фарфора.

Со свертком под мышкой, насвистывая, выбежал О’Келли из магазина. Мысли весело пенились шампанским, и из искристой пены, как Венера, выходила Диди в черной пижаме.

«Впрочем, нынешняя Венера такой и должна быть: в пижаме. Нагота – слишком уж добродетельна...» – насвистывая, размышлял О’Келли.

– Добрый вечер, дорогой мистер О’Келли! Не правда ли, прекрасная погода?

О’Келли споткнулся: перед ним сияли золотые зубы викария Дьюли.

– Вы, вероятно, к себе – в контору? – чуть приметно улыбнулся Дьюли.

– То есть... почему в контору? – О’Келли немного смутился: никто не знал о том, что делалось по вечерам в конторе, и это было очень странно, что Дьюли... – Я не настолько ослино трудолюбив, чтобы работать еще и по вечерам... – непринужденно засмеялся О’Келли.

– А-а, так-так. Так, значит... – Дьюли поднял тарелкообразную, пасторскую шляпу. И О’Келли снова весело покатился, придерживая под мышкой сверток с цветами.

Когда О’Келли свернул на Гай-стрит, уже темнело. В бесчисленных ущельях узких переулков между старыми домами – зажигались, покачивались фонари. С реки плыл туман, все теряло свой ежедневный облик, и легче было жить – легче было обмануться. В кузнице лязгало железо, фонари красновато дымились – и можно было поверить, что внизу, у реки, собираются около костра латники Оливера Кромвеля. И что эта черная фигура – прекрасный и несчастный Риччио, пробирающийся к Марии Стюарт... О’Келли задумался, стоял, засунув руки в карманы.

Но Риччио обернулся – и О'Келли показалось: на нем плоская священническая шляпа. Что за странная встреча – или это все туман? О'Келли прильнул к витрине антикварного магазина и усиленно стал рассматривать позеленелый медный дверной молоток – уродливую собаче-человеческую голову. Потом осторожно перебежал на другую сторону и пошел следом за Риччио.

Да, это он: дощатая фигура, аккуратно сложенные позади руки – и пальцы, что-то отсчитывающие. Это был Дьюли, и переулок Сапожника Джона – пожалуй, довольно странное место для прогулок господина ви-кария...

О'Келли нырнул в ближайший из проходов, сбежал к реке – по темному ущелью между высоких стен, и потом закоулками выбрался опять на Кингс-стрит.

Когда, покругившись по улицам с час, О'Келли снова очутился против переулка Сапожника Джона – туман уже осел, и было ясно видно: нет никого. Через боковую, окованную железом дверь О'Келли вошел в дом.

При конторе О'Келли была маленькая сводчатая комнатка, окном в переулок, окно старое, узкое – бойница с решеткой. Теперь эту комнатку не узнать было: старые, выцветшие гобелены по стенам, два железных узорчато кованных фонаря – от антиквара напротив; очень низенький – на четверть от полу – турецкий диван во всю стену. И переливающиеся, неуловимые огоньки в камине, и Диди у огня – в своей черной пижаме, такая уютная.

Так вот лежать – прикованной к золотой игре огня, прихлебывать золотое, колючее вино и слушать – не слушать колючие слова О'Келли.

– ...Девочка моя, я именно этого и хочу, чтобы, поселившись с утюгами и Кемблом, – вы стали несчастны. Счастье – одно из наиболее жиробразующих обстоятельств, а вам идет быть именно такою, тоненьким, стриженным девочко-мальчиком...

Рука О'Келли касалась так нежно, и откуда-то издали, устало видела Диди причудливо-противоречивые Easter Lilies и слышала свой голос:

– Но это так жестоко – обманывать Кембла. Он – большое дитя.

– Жестоко? – засмеялся О’Келли. – Жестоко – детям говорить правду. Если что меня убеждает в милосердии Божиим – так это именно дарованная Богом ложь, именно то, что...

О’Келли не кончил: показалось – скрежетал замок в боковой двери, в переулке Сапожника Джона, а потом чьи-то шаги по каменной лестнице. Впрочем, О’Келли хорошо помнил, что дверь он запер на ключ: просто в старом доме бродила тень Сапожника Джона.

– ...Я не удивлюсь, если добрый Джон заявится сюда... – потянулся О’Келли. – Сегодня от тумана все так фантастично...

Диди ушла в театр и сказала Кемблу, что из театра ей надо кой-куда зайти. Кембл сидел один, не зажигая огня. За окном чокали капли, отчетливо и правильно, как часы. Когда совсем смерклось – пришла старушка Тэйлор и принесла письмо от леди Кембл: леди Кембл просила сына непременно прийти сегодня вечером. Явно это было, наконец, давно жданное примирение. Все складывалось как нельзя лучше. Кембл мигом оделся и пошел.

Очевидно – ратификацию мирного договора леди Кембл хотела обставить очень торжественно: столовая была ярко освещена, и вокруг стола Кембл увидел миссис Дьюли, потиравшего руки викария и футбольного-лого Мак-Интоша. Кембл радостно подошел к леди Кембл, но невидимая узда вздернула ее голову еще выше, она сделала величественный жест рукой – и сурово показала Кемблу на стул:

– Садитесь... – Помолчала и подняла глаза к портрету сэра Гарольда в парике и мантии. – Боже мой, что сказал бы ваш покойный отец, сэр Гарольд...

Больше она говорить не могла: за нее говорил викарий – и кому же, как не ему, сказать все, как надо?

– Дорогой мистер Кембл! Мы пригласили вас сюда – потому что мы любим вас, ибо Христос заповедал любить и грешников. Мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам для того, чтобы вернуть вас на правильный путь. И вы последуете сейчас за мной и мистером Мак-Интошем... –

И, заметив, что Кембл хочет возражать, викарий добавил: – Хотя бы ради вашей матери – взгляните на нее.

Леди Кембл молитвенно смотрела на портрет покойного сэра Гарольда, из глаз ее показались две скудные слезы – это было наибольшее, что она могла себе позволить, не нарушая приличий. Рядом сидела и дрожала в лихорадке миссис Дьюли, не поднимая глаз.

Кембл спокойно сказал:

– Хорошо, пойдемте... – Все это была, конечно, такая же гнусная проделка, как письмо в голубом конвертике, и раз и навсегда надо было с этим покончить.

Улицы были пустые. Ветер опять дул с реки, нагонял туман, окутывал крыши – и стены уходили вверх, в самое небо. Шли молча в ущелье из стен. Понемногу Кембл понял, что идут к конторе О'Келли. Ущелье все сдвигалось и давило, и ничего во всем мире не было, кроме стен до самого неба, и никуда нельзя было вырваться из стен: все идти, идти между стен – как во сне. И как во сне, не зная знал Кембл, что ждет в конце пути.

В переулке Сапожника Джона, у окованной двери остановились. Наверху сквозь узенькую бойницу светил огонь.

– Ну-с? – торжествующе потирая руки, взглянул викарий на Кембла.

Как слепой ткнулся Кембл в окованную дверь.

– Заперто... – беспомощно обернулся он. Упрямый квадратный подбородок прыгал.

– О, не беспокойтесь, мы припасли ключ... – выскочила из тумана футбольная голова. Ключ был громадный, неуклюжий. – Вот французские ключи – это действительно культура, французского не подобрать... – добавил Мак-Интош.

Слышно было, как Кембл сделал по каменной лестнице два шага – и остановился. Секунду было тихо. Потом шаги загромыхали по лестнице, сливаясь в гул: Кембл бежал вверх. Потом хлопнула верхняя дверь, секунда тишины – и Кембл уже громыхал обратно, не разбирая дороги, с грохотом промчался мимо викария куда-то вниз, как огромный взбесившийся грузовик без руля.

14. Перо системы Уотермана

Утром Кембл, как всегда, тщательно выбрился и надел чистый воротничок. В зеркале с удивлением заметил, что он совершенно такой же, как всегда, разве только маленькие слоновые глазки стали побольше: за ночь под глазами легла темная тень.

В столовой Кембл взял газету и механически стал проглядывать объявления о сдающихся внаем домах – как это делал последние дни. Поймал себя на этом, усмехнулся, отложил газету. Выпил, как обыкновенно, две чашки кофе. Мазал хлеб маслом, но почему-то не ел, а складывал аккуратно на тарелке. И только когда заметил перед собой целую горку хлеба – сконфузился и ушел.

Было уже время идти в контору, но Кембл вернулся обратно в спальню. Заперся на ключ: еще раз все пере-думать и решить все с самого начала. Но в голове все колеса были мертвые и не двигались, и вместо мыслей было одно и то же: до боли ясный розово-черный переплет на груди у нее – и смешные, кривые и тоненькие ноги у него.

Когда прозвонили к завтраку, Кембл очнулся и понял: думать было совершенно нечего и незачем. Все уже решено кем-то, он шел теперь между высоких – до неба – каменных стен, и никуда нельзя свернуть, идти только вперед, до конца.

Кембл открыл ящик стола и вытащил старый, оставшийся от отца, револьвер с игольчатыми патронами. Потом написал на имя леди Кембл чек на тридцать фунтов, которые у него лежали еще в банке, порвал полученный от О'Келли чек на пятьдесят фунтов – и тут увидел: ручка, которой он писал, была ручка О'Келли – очевидно, О'Келли оставил ее тут в день рождения Кембла. Это была обыкновенная чернильная ручка системы Уотермана – «Waterman's Fountain Pen» – и теперь ее, конечно, надо было вернуть О'Келли.

Кембл мучительно наморщил лоб: все остальное было определено и просто, а это было страшно трудно – с ручкой Уотермана. Надо было отдать и что-то сказать при этом, и все это очень осложняло положение. Кембл су-

нул ручку в тот же карман пиджака, где лежал револьвер, и всю дорогу думал о ручке: как бы это в самом деле...

И так, с озабоченным и наморщенным видом, вошел в кабинет О'Келли.

О'Келли сидел у себя в кабинете с бумагами так же, как вчера, и все-таки было в нем что-то совершенно новое. Через секунду, приглядевшись, Кембл увидел: О'Келли – не улыбался. Это было так же невероятно, как если бы вдруг перестал улыбаться фарфоровый мопс Джонни. Это был не О'Келли...

Растерянно Кембл опустил руку в карман, вытащил перо Уотермана и положил на стол:

– Вот... ваша ручка... вы ее забыли, я должен отдать...

О'Келли изумленно распылил глаза и переводил их с ручки Уотермана на растерянного Кембла и с Кембла на ручку. Потом стал красным, с минуту наливался смехом – и лопнул:

– Боже ты мой... Перо Уотермана! Кембл, вы – вы – вы неподражаемы...

Теперь это был *тот самый*, это был О'Келли. Кембл, не колеблясь, вытащил револьвер и выстрелил куда-то три раза. О'Келли медленно клонился вперед, пока не уткнулся лицом в бумаги.

Кембл не слышал ни крика О'Келли, ни крика четырех его жен. Надел шляпу, вышел на улицу и почувствовал: страшно устал, никогда в жизни не уставал так. Подошел на Гай-стрит к мирно дремавшему бобби:

– Я убил мистера О'Келли, адвоката. Пожалуйста, поскорее отведите меня куда надо: я очень устал.

Полицейский разинул рот и всем своим существом и округлившимися глазами так явно подумал: «сумасшедший», что Кембл добавил:

– Ну, подите и спросите в конторе, а я подожду. Только, пожалуйста, поскорей.

Через минуту полицейский и Кембл шли вместе вниз, по переулку Сапожника Джона. Шли молча между гладких, до неба поднимавшихся стен, и сквозь туман вспоминалось Кемблу: так – без конца – он уже шел когда-то между двух гладких, нескончаемых стен...

15. Серо-белая чешуя

Осенний ветер бесился, свистел, сек. С моря наседа-ла огромная серая птица, закрыла крылами полнеба, на-гибалась все ближе, неумолимая, немая, медленная, и все больше темнело. Но толпа не расходилась: прошел слух, что убийцу могут помиловать. В самом деле, глядишь, имя и заслуги его отца, покойного сэра Гарольда – еще не были забыты, и очень легко могло стать, что...

– Долой сэров! – каркал кто-то упрямо и хрипло. – Небось этого солдата в прошлом году живо вздернули... Долой сэров!

Фонарь у входа в тюрьму дергался и качался, и белые стены пошатывались, готовые рухнуть. Правосудие было в опасности...

Из толпы вынырнула футбольная голова мистера Мак-Интоша. Он был взволнован, его голос дрожал.

– Господа, правосудие и культура нераздельны. Мы должны стать на защиту культуры. Господа, можно ли себе представить что-нибудь более дикое, чем обдуман-ное и рассчитанное убийство? И поэтому, к сожалению... Да, да, говорю: к сожалению – мы должны требовать казни...

– Долой сэров!

Ветер свистел. От фонаря легла длинная светлая по-лоса, и в этой полосе пестрой чешуей переливались лица, котелки, воротнички – медленным, бесконечным движе-нием ползущей змеи. Слов уже было не разобрать: змея переливалась и сердито урчала.

Откуда-то, как выпущенная из клетки, пронеслась стая мальчишек – все босые и все в белых воротничках.

– «Джесмондская Звезда»! Экстренное прибавление! Помилование убийцы адвоката О'Келли!

– Как? Уже? Помиловали? – вцепились в белые листки.

Но речь шла только о возможном помиловании, и толь-ко прибавлялось, что, принимая во внимание заслуги покойного сэра Гарольда, это было бы более чем...

– Долой сэров!

– Господа, правосудие...

– Долой «Джесмондскую Звезду»!

Серо-белая чешуя быстрее переливалась под фонарем, змея зашуршала по асфальту, поползла к редакции «Джес-

мондской Звезды» и двадцатью кольцами развернулась перед темными окнами. В редакции никого не было.

Звякнул камень о стекло, брызнули и задребезжали осколки. Но окна были такие же пустые и темные. И темная немая птица сверху нагнулась совсем близко.

Пора было идти по домам: в постелях уже нетерпеливо ждали голубые и розовые жены. Ждали, чтобы, замутившись от страха и любопытства, спросить:

– Неужели – помилуют? Неужели...

И потом вздрогнуть и прижаться пылко: как хорошо жить...

К ночи ветер неожиданно стих. И стало тихо и черно – как будто куда-то провалился весь мир. Бывает так, что крутится весь день потерянный человек, вздрагивает от звонков и смеется таким смехом, от которого страшно, а глаза западают все глубже, и только об одной мысли: ткнуться головой в подушку, провалиться в черное – уснуть. И вот такая была ночь: головой в черную подушку ткнулся день, провалился – ни света, ни звука.

К ночи миссис Дьюли стало как будто легче. Весь день было очень нехорошо: опять пропало пенсне – и весь день она бродила как слепая, спотыкалась и натыкалась на людей. И все будто бегала за какими-то покупками, а придет в магазин – и покупать ничего не надо, и вовсе не то, а главное – все равно: зачем теперь покупать?

Обед был в шесть с четвертью – вместо шести, и викарий острыми треугольниками поднимал вверх брови:

– Дорогая моя, ведь это так просто: иметь запасное пенсне. И тогда у вас не было бы этого... этого странного вида. И был бы порядок, а вы знаете...

– Хорошо, я куплю завтра... – миссис Дьюли вздрогнула и поправилась. – Послезавтра...

Потому что завтра... Кто же в мире будет что-нибудь покупать завтра – в тот день, когда там, в тюрьме, Кембла выведут во двор, поставят...

В спальне было темно, не надо было смотреть – может быть, оттого миссис Дьюли стало легче, и она неожиданно уснула.

Вероятно, спала только несколько минут. Проснулась, открыла глаза – и увидела белый фланелевый колпак викария: викарий, сложивши, согласно предписанию «Завета», руки на груди, мирно похрапывал. Все было черно и тихо, провалился весь мир. Вопить и кричать – никто не услышит и ничего не сделает: весь мир мирно спал, похрапывая, во фланелевом колпаке...

Неизвестно, сколько времени спал викарий, но только проснулся от воплей миссис Дьюли. Тотчас понял: «Страшный сон – скорее будить...» – сны никак было не подвести под расписание, викарий очень боялся снов.

Вероятно, миссис Дьюли спала очень крепко – она кричала все громче и только тогда затихла, когда викарий схватил ее за плечо холодной рукой.

– Я думаю, вам на ночь не надо ужинать, дорогая...

– Да, я думаю – не надо, – ответила в темноте миссис Дьюли.

Через пять минут викарий опять спал, мирно похрапывая. Все было черно и тихо.

16. Торжествующее солнце

Было назначено в половине десятого – и совершенно правильно: всякий культурный человек должен иметь время побриться и позавтракать, и в том, что назначено было в половине десятого, только сказывалось уважение одного культурного человека к другому – хотя бы и преступному.

Солнце было очень яркое. Солнце торжествовало – это было ясно для всякого, и вопрос был только в том, торжествовало ли оно победу правосудия – и, стало быть, культуры – или же...

Серо-белая чешуя тревожно шуршала и переливалась:

– Послушайте, господа, ничего еще не известно?

Нет, вчера ничего не получено, но может быть – сегодня утром... В конце концов все решит последний момент: зазвонит или не зазвонит в половине десятого тюремный колокол?

В тюрьму пробирался аккуратно выбритый розовый старичок, из тех, что имеют вид вкусный, как сдобные, хорошо подрумяненные пирожки.

Старичок постучал, обитая железом дверь в тюремной стене перед ним открылась.

Миссис Дьюли обернулась к викарию, она дышала коротко, часто:

– Кто... кто это? Кто туда сейчас вошел?

– Ах, этот? Это, дорогая, *мастер*.

Миссис Дьюли схватила викария за руки выше локтя, вцепилась в него изо всех сил:

– Вы... вы хотите сказать, что это тот, кто будет должен...

Викарий стряхнул ее руки:

– На вас *сс*смотрят. Я ничего не хочу *сс*сказать. Вы не умеете владеть *сс*собой...

Миссис Дьюли замолкла... Возле нее сверкнули чьи-то часы:

– Без двух минут половина десятого.

Без двух минут... Чешуя напряглась, замерла, не шевелилась. Бифштексно-румяные посетители боксов и скачек не отрывались от часов. Равнодушно блестели медные трубы Армии Спасения. Румяное, упитанное, торжествующее выкатывалось солнце. Иней на крыше таял, и тикала капель – как часы, отчетливо отбивала секунды – до половины десятого.

И вот капнуло еще, и последняя капля: половина. Напряженная, стеклянная секунда – и... ничего: колокол молчал.

Сразу зашевелилась чешуя, заурчала, и все громче. Все были оскорблены: и любители бокса и скачек, и сторонники культуры.

Кипели и переливались. Вымахивали руки. Зловеще свивались и развивались кольца, и все еще чего-то ждали, не расходились.

Миссис Дьюли – без пенсне, в сбившейся набок шляпе – опять схватила за руку викария:

– Вы... вы... вы понимаете? Ведь, значит, он... значит, его не... Вы понимаете?

Викарий Дьюли не слышал, он смотрел на часы: было уже без двадцати десять.

Без четверти десять, когда уже больше не на что было надеяться, – тюремный колокол вдруг запел медленным, медным голосом: капала с неба медная, мерная капель.

Миссис Дьюли закричала странным, не джесмондским голосом:

– Нет, нет, ради Бога, ради Бога! Остановите, оста...

Дальше уж не было слышно: чешуя бешено закрутилась, запестрела платками и криками. Солнце торжествовало, розовое и равнодушное. Трубы Армии Спасения играли тягучий гимн. Облегченно становились на колени: помолиться за душу убийцы.

А затем, когда все стихло, викарий Дьюли произнес речь – о необходимости проведения в жизнь «Завета Спасения». Все то, что случилось и замутило тихое течение джесмондской жизни, – не было ли наконец самым убедительным аргументом? Если бы государство насильно вело слабые души единым путем – не пришлось бы прибегать к таким печальным, хотя и справедливым мерам... Спасение приходило бы математически-неизбежно, понимаете – математически?

Прокричали *cheers*¹ в честь викария Дьюли, гордости Джесмонда, и единогласно приняли резолюцию. Надо надеяться, что на этот раз билль о «принудительном спасении» наконец пройдет.

1917

¹ ура (англ.).



АВСТРАЛИЕЦ

Веселый весенний день на Пикадилли. От солнца – все, как шампанское: полно острых искр – несется, пенится через край. И люди все – легкие, золотистые, распахнутые, расстегнуты пальто, раскрыты губы. Торопятся в парк: там на газоне, на скамьях – везде по двое, об руку, глубоко – глазами в глаза, и переливается через край сердце.

И навстречу, издали, шел офицер – австралиец, издали виден; головой выше всех, в широкополой австралийской шляпе, лицо – из бронзы, огромное. Они все на диво хороши, австралийцы. Шел медленно и высоко, напоказ, над толпою нес голову, и еще издали любовались им.

А когда подошел ближе – вдруг оробела веселая толпа, затихла, расступились в стороны, и австралиец шел, как по коридору. Шел, подняв голову прямо к солнцу, руки вытянуты, постукивал дробно палкой: орлиное лицо было без глаз.

И я, вместе со всеми, прижался оробело к стенке коридора. И так было ясно: какая же может быть победа, и у кого может быть радость после победы, если есть австралиец без глаз? Не надо ничего, только бы он мог пойти в парк, сидеть об руку и смотреть, смотреть, смотреть в чьи-то глаза.



НАДЕЖНОЕ МЕСТО

(В Задонск на богомолье)

Какого-то архиерея угощали ухой из цыплят. И такая вот скромная уха – вдова Полипанова. Степенная, в платье черном; косынка на брови насунута, как у чернички; на судью глаза поднимает – как на Спаса Нерукотворного. А ручки сливочные, с перемычками на запястьях, а под черным кашемиром – так и пружинит сдобь; а голос... ах, граждане судьи, не слушайте ее голоса.

У вдовы Полипановой украли в вагоне семьдесят миллионов рублей, а спрятаны были семьдесят миллионов под платьем в надежном месте, и в голову никому...

– Прошу вас, гражданка, точнее: в каком таком надежном. Ну, что: ну в чулке, в юбке, ну?

– Да уж диви бы в чулке, а то, батюшка мой, так запрятаны, так... Алахарей-то нынче всяких довольно на машине ездит, всяких пускают. Уж так-то, думаю, ни одна собака не найдет. А он, анчутка беспятый, иуда рыжий, вытащил ведь, а!

– Прошу вас, гражданка Полипанова, все по порядку. Когда это случилось?

– Да под Николин же день, когда же еще. На Николу – Ивану Степановичу моему, царствие ему небесное, годок ровно. А тут – слухи пали, в Задонске у Русина – опять лавку открыли, торгуют – по-старому. Сем-ка я, думаю, в Задонск съездию, поговеею, и по Ивану Степановичу панихидку отслужу, и у Русина кой-что выберу.

Ну, стало быть, наняла за два миллиона до станции Николку гундосового, какой у нас перья-то на селе скупает. Приехали это загодя, час до поезда ждать. Сергею Мареву, буфетчику, – дай-ка, говорю, кипяточку. Чай-

сахар вынула, пышки на сметане. Сама за пышку, а сама в слезы: до чего Иван Степаныч мой пышки эти самые любил, как, бывало, ни испеку – обкушается и от живота катается.

Откуда ни возмись – рыжий, вот этот самый... прикажите ему, гражданин судья, чтобы не ухмылялся! – рыжий у буфета – вилкой тык-тык, а сам на меня – Сергею Мареву вот этак бровями. Ну, думаю, кобызись, кобызись, мое дело сторона. А он – глядь, от буфета мне прямо: «Нам, говорит, с вами, мадам, по пути». – «А вам, молодой человек, это откуда известно?» – «А так, говорит, я – в Задонск на богомолье». – «И я тоже».

Послал, думаю, Никола-угодник попутчика. А он, собака рыжая, языком – чисто хвостом: туды-суды, так и стелет. «Я, мол, сирота. Место, говорит, получил – банкиром, на сорок миллионов, так по обещанию еду. И как, говорит, вы одна за чаем слезно...» Расхлябачила я сдуру сердце: чаю ему, подлецу, с молоком, пышек ему. Сижую, уши развесила – неведомо как, час проскочил, и уже звонят, повестку дают – к поезду.

Взгойчилась я: «Скорей, скорей», а он узел мой подхватил, скрозь народ – сороконожкой, и был таков. Я взмыкалась, я взахалась, уж другой звонок, я – по вагонам, что ни есть мочи. И уж бо-знять где у самого паровика в последнем вагоне – гляжу: на лавочке сидит с узелком с моим. «Ну, говорит, слава Тебе, Господи, а уж я думал мы растерялись с вами, уж выскакивать хотел». А у меня от бегу – головокружение в ногах изделалось, ни встать, ничего, только ох, ох... Глаза разинула, – а уж он, змей прыткий, узел мой развязал и постель постелил, и все. «Пожалуйста, говорит, мадам, вы утомились, расстроились, а я посижу». А чего сидеть, когда в цельном вагоне – мы двое, местов свободных – хоть подавись.

Вскочил это он на лавочку, шторочку на фонаре спустил и ко мне присел. И, значит, это, свет – чисто лампада под праздник, умильный такой и колеса эти качикачи. Рассолодела я, а он, сюда, зачал слова говорить, а сам рукой этак сквозь платье. «Что вы, что вы, говорю, молодой человек, я женщина честная, тут кондуктор каждую минуту может пройти». – «Кондуктора, говорит, обя-

зательно с этого конца поезда начинают, им еще до нас, может, час целый». А сам мне, извините, под платье. Я, дура, лежу, растетехалась, а он по чулкам, дальше, и самое тут, значит, и нащупал семьдесят моих миллионов, в платочке вот в этом, да как цапнет...

– Пойдите, пойдите! Да ведь вы сами же в памяти были и не спали? Как же вы ему позволили под платье?

– Господи, батюшка. Как же... Да разве я знала? Я думала – он с честными намерениями.

6-8 сентября 1918



ЗНАМЕНИЕ

1

Озеро – глубокое, голубое. И у самой воды, на мху изумрудном – белый-кипенный город, зубцы и башни и золотые кресты, а в воде опрокинулся другой, сказочный городок, бело-золотой на изумрудном подносе: Ларивонова пустынь. Поет колокол в сказочном городке, колокол медлительный, не гулкий, глубокий, гудит в зеленой глубине. И так хорошо, тихо жить отделенным от мира зеленой глуби: хлебарям в белом подвале послушно месить хлебы; трудникам терпеливо доить коров вечерами; вратарю, старцу Арсюше, собирать даяния у чугунных ворот; постом истомиться на повечериях, заутренях, полунощницах, сложить духовнику немудреные грехи и всем вместе встретить радостно Красную Пасху.

Так и жили, пока в пустынь не явился брат Селиверст. Вешним вечером на Русальной прибежал он к воротам, запыхавшись. Лик – опаленный; пальцы непокойно перебирают одежду, бегают, теребят.

У чугунных ворот низко поклонился Селиверсту прозорливый старец Арсюша, вратарь:

– С чем, брат, приходишь? С миром ли?

Подпираясь клюкою, долго ждал ответа старец Арсюша. Мохнатый, согбенный – был он как малый зверь какой-то: встал ласковый зверь на задние лапы, а совсем не выпрямится, сейчас опустится на передние и от мятежных людей в лес убежит.

Не дождался старец ответа, впустил Селиверста и только вослед покачал мохнатой головой:

– Попомни, брат, на страстной-то поется: несытая душа.

Звякнули чугунные ворота, разверзлась перед Селиверстом зеленая глубь: как упал камень – от края до края побежали круги.

Шла всенощная, бедная, будняя. Редкие свечи – цветы папоротника в купальскую ночь; в темном куполе – гулкое аллилуйя; мимо светлеющих окон – ласточки с писком, из выси в высь. И там – чуть повыше ласточек – Бог.

Появился высокий, незнаемый монах и стал сзади – перед владычицей, Ширьшей Небес. Икона древняя, явленная – одни глаза, громадные, да синий покров над землею, как твердь: Ширьшая Небес.

Чудно молился монах: стиснуты губы, стиснуты брови и руки, впился в Пресветлый лик, в упор, глазами в глаза. Смущались, колыхались клобуки, оглядывались на нового.

Старец Арсюша не стерпел: надо вступить за Пречистую, всем сердцем любил Ширьшую Небес. Пал старец на четвереньки – поклон земной. Встал согбенный, заключал по каменным плитам прямо к Селиверсту – и тихо:

– Ты как же молишься-то, брат, а? Глазами-то Пречистую пробуравить хочешь, а?

Не обернулся и глаз не отвел Селиверст от Ширьшей Небес, может, и не слышал даже старца. Постоял-постоял старец Арсюша, похилился еще ниже и, подпираясь посохом, заковылял вон из церкви.

Пошли после всенощной шепоты, зашныряли послушники из кельи в келью, зашушукались с игуменным келейником Варнавой: кто это новый-то? Откуда?

Славился Варнава на всю пустынь кудрями: еженочно мочил волосы крепчайшим чаем для кудреватости – и уж ему ли не знать? Но и Варнава не много знал:

– Звать Селиверстом. Из образованных будто. А откуда – неведомо. А выпросил у отца игумена старую Симеонову келью.

Симеонова келья – в угловой башне, в подвале. Жил некогда в келье юрод Симеон, нарицаемый Похабный. Возле каменного ложа вделаны в стену цепи: приковавшись цепями к ложу, заживо отдал себя Симеон на съедение крысам.

Был в келье сумрак, дух трудный. Низко, над самым озером, окошечко, от мира закрещенное решеткой. В ми-

ру плыло солнце, а в келье – тень от решетки: ползла по полу, с пола на дверь, потухала на темных сводах. Из углов вылезали во множестве седые сimeoновы крысы, шуршали, цапали когтями по камню.

Было от них спасение только в красном кругу лампы, и горела у Селиверста лампада день и ночь.

Из кельи выходил Селиверст только на службу, а пищу трапезник приносил ему сюда, в башню. Вареного ничего не принимал Селиверст, воду – однажды в день, только теплую. Вскорости стал Селиверст бледен лицом и руками – как бледен бывает овощной росток, проросший в погребе. Молча отдавал встречным из братии поклон и все запахивался, торопился скорее в келью, и долго оглядывались встречные вслед и подмигивали друг дружке.

Вечером, когда были кончены молитвенные труды и старец Арсюша замыкал чугунные пустынные ворота, братия разделялась. Какие помоложе, послушники, годовики – шли на зубчатую стену, рассаживались на увитых повителю кирпичах: не пройдет ли внизу, не проедет ли кто из мирских? Перекинуться словом с запоздалой молодойкой в белом шушуне, вспомнать несмело мирской смех. А манатейные старцы уходили над озером посидеть. Чуть колыхался в воде бело-золотой городок. Затоплялись звезды вверху, внизу – в глуби – тихие свечи. И только бы слушать тихий – сквозь зеленую глубь – колокол и тихое – из глуби – пение.

Но сквозь закрещенное решеткой окошко бережил водяную тишь непокойный красный глаз: лампадка Селиверстова. И слышен был из сimeoновой башни заглушенный стенами голос: настойчиво, неустанно, дерзостно взывал о чем-то Селиверст.

2

Игумен Веденей, когда бывал один в покойчике своем, ходил в простом обряде: подрясник и широкий пояс, шитый цветным бисером. А борода седая, до самых глаз – длинная, с зеленью: как царь подводный. Ходил и все бороду поглаживал и хозяйственно думал о своем царстве.

Хорошо знал Веденей: под зеленый гул пустынских колоколов лениво его людишки живут, и винопийцы есть,

и суесловы, а главное – ни в ком огня нет, духом оскудела пустынь. Старец Арсюша? Да и тот обомшал уж, и как дуб трухлявый: притронуться страшно.

И вот теперь, с высокого своего помоста в церкви, игумен зорким глазом сразу приметил Селиверста:

«Не просто монах молится. Уж не он ли?»

Весна, лето, белая зима: все так же Селиверст молился, жил в крысиной симеоновой башне, вареного не принимал. Но проку обители от него не было: только смута и свара завелась по всей киновии. Вот опять старцы приходили жалиться: хульно, дерзостно молится этот новый, нелеть ему жить в келье Симеона-юрода.

И велел игумен позвать Селиверста.

Снаружи мороз и солнце, а покойчик веденеев жарко натоплен. Потихоньку тукали стены. Молча стоял Селиверст у двери. Заложив руки за пояс, молча прохаживался игумен. Потом взял Селиверста за руку и подвел к написанной на стене картине.

– Вот – смотри и сам найди здесь себя.

Был на стене изображен Змиевидный Блуд: Змий – зеленый, как яспис, стоглавый, и которая глава присосалась к сосцам женщины, которая к прекрасному чреву ее и к рукам, и к глазам грешников, улепивших Змия, как мухи. И среди прочих – увидал Селиверст грешника тощего, с выпершими ребрами и разинутым ртом. Змий ввергал в рот ему огненную реку, и все шире тощий разинал рот, без конца поглощая огонь, и была подпись: «алчба».

Тихо, как бы себе, сказал Селиверст:

– Так, отче, алчу я. Огонь меня снедает, невозможно алчу, знамения молю – чтобы поверить, знамения требую...

Подошел Веденей ближе. Помолчал. Положил Селиверсту руки на голову:

– Бедное ты мое чадушко, бедное!

Еще помолчал; и стал снова – игумен, хозяин рачительный и строгий. Сверху сурово говорил Селиверсту о его непомерном дерзании, о разоренной тишине, о соблазне малым, грозил сослать на хутор коровником.

Но пригляделся игумен: не здесь Селиверст, не слышит. С той поры махнул на него рукой, и пошло все своим путем.

Белые поля, белые стены и башни: на снегу из снега пустынь, как золотые ласточки – кресты кружат из выси в высь, а над всем – синяя риза Ширьшей Небес.

День ото дня все синее становилась риза, и синее на снегу тень от сimeoновой башни, и яростней чирикали воробьи на церковных крышах. Пригнувшись, похаживал старец Арсюша около ворот, приглядывался к ручейкам: какому если мешает навоз – сковырнет прочь клюкой.

– Ну, брат, теки уж, чего там, – ухмыляется мохнатый.

С первыми красными днями потянулись богомольцы к озеру – пустынской благодати принять. Складывали на паперти котомки с хлебом да луком. Отдыхали под прохладными сводами башен, в глухом от зеленой воды гуле колокола. Шли в пещеру затворника Ларивона, где он почивает под спудом. Надевали на себя вытертую ларионову скуфейку, чтобы в разум войти. Пригубляли щербатую расписную чашечку, чтобы зуб не болел.

– Из такой же, как мы, чашечки пил – батюшка-то наш, – умилялись щербатой чашечке.

На обратном пути, по обычаю, останавливались у чугунных ворот – у старца Арсюши благословиться, и чтоб всякому сказал прозорливец мудрое свое слово.

Но Арсюша недужен. Усталым зверенышем стоял на задних лапах: вот-вот рухнет на передние. Давал богомольцам только общее благословение и улезал обратно в конурку.

Уходили неутоленные, неутешенные.

– Стар стал Арсюша, старехонек. Нету силы досельной.

А нужно подпору, утешенье нужно от горькой жизни, надежду на про черный день.

И неприметно как-то вышло: стали богомольцы душой к Селиверсту прилегать. Приходилось и от братии слышать: поселился непростой монах в крысиной башне и вареного ничего не ест. «И с нами ни с кем не разговаривает: куда уж ему с нами, грешными...» – говорили которые из братии с усмешкой.

Но усмешка – простым сердцам невдогад, запоминали только: вареного не ест, в башне в крысиной. И сами на службах видывали: глазами – в глаза Ширьшей Небес непрестанно, а лицо у монаха – белизны нездешней.

Росным розовым утром у белой сimeoновой башни – на рассвете чуть розовой – становились и ждали: пойдет к заутрене Селиверст.

– Не обессудь, батюшка, на дорожку благослови. Благослови-ко еще: сын у меня болен, ему благословенье снесу.

Бегали у Селиверста пальцы, торопился, запахивался, неловко и стыдливо благословлял:

– Ну, как же это, ну... Я ведь... Ну, Бог благословит. Ну...

Но помалу привык, уже благословлял уверенней и смотрел им прямее в глаза. И было у них в глазах такое крепкое, неодолимое, катило на Селиверста, как морская волна, взметывало его вверх, и знал он твердо: невозможное – возможно, и чуял: близко уже, и ничего не было страшно.

3

В этом году собралось к ларивоновой памяти богомольцев несчетно: уже обежала округу молва – объявился в пустыни новый молитвенник и заступник, и уж будто многим от него была польза. Белым стенам не вместить всех, и еще в субботу выползли из ворот к озеру, гомозились муравьями на изумрудном мху. А подальше, под белыми зубцами, пестрым лугом расцвела ярмарка. Шатры из веретя, и лари, и просто телеги с товаром: гребенки, пряники, красные баклуши. И над всем – ровный говор, стрекот и гул: богатырская пряха, головой выше старых сосен, прядет и прядет, бегут холсты даль-дорогою, стрекочут кросна. И только когда ударили к обедне – понемногу задремала, затихла пряха, пустела ярмарка, повалил народ к службе.

А служили нынче в старой церкви – еще батюшка Ларивон в ней маливался – бревенчатая и такая какая-то вроде старца Арсюши: ласковая, квелая, к земле пригнулась, затянуло мхом бревна.

В старой церкви – народ плечом к плечу. Огню дышать нечем – тускли свечи. Ихала, кликала кликуша. Обмирали ребята и бабы. Какую-то в желтом платке понесли вон из церкви: должно быть, тяжела бабочка,

совсем сморило. Выволокли бабочку наружу – а и наружи не легче: крутило вихрем пыль и песок, во рту сохло, а колодец далеко.

Как малую песчинку – с утра вихрем подняло Селиверста и несло, ближе и ближе, все мелькало, не слышал, не видел: только одни громадные, вечные глаза, вобравшие в себя скорбь тысяч глаз.

И не заметил, как пронесло через всю длинную обедню и выплеснуло с толпою наружу. На паперти по-всегдашнему тянулись с култышками, тарелочками, горстками. Быстро протащило мимо, и куда-то все дальше послушно плыл Селиверст над пестрыми платочками, черными, ржаными, рыжими кудлами.

Недалеко от сimeoновой башни – как споткнулась – стала толпа, раздалась – и Селиверст один. На траве стояли носилки, и на них – восковое лицо в белой косынке; рядом какого-то с запрокинутой головой держали под руки двое. Тишина, и сотни глаз – на него, Селиверста.

Понял Селиверст, затрясло всего. Нагнуться к белой косынке, наложить руки...

«А вдруг – и правда?»

Тишина нестерпимая. Било Селиверста так, что и пальцы не мог сложить для благословения. Махнул рукой – и, запахивая ряску, путаясь в полах, побежал к себе в келью.

Расступились – тотчас замкнулись опять и со стоном, тесно двинулись за ним. Кого-то с запрокинутой головой вели под руки, хлопала по ветру хоругвь, вихрило пыль – и все неистовой крики:

– Батюшка! Кормилец! Заступи! Мы ведь знаем!

Сохло во рту, жаждали, молили. Но окованная, с ржавым кольцом, дверь в сimeoнову башню не открывалась на стук.

Пошли к покоям игумена Веденей, шумели морем внизу – доплескивало вверх, в тихий покойчик. Вышел на балкон Веденей – как захватили, по-домашнему, в полукафтаны с шитым поясом. Говорил Веденей, но ветром разметывало седую бороду, развевало слова, и не слышали всех его слов, спокойных и вразумительных, а только кто-то поймал одно:

– Ждите...

И все ухватились, от головы к голове побежали: ждите. Уверились, затихли и ждали. И вся пустынь ждала. Попрятались по кельям. Послушники шмыгали из двери в дверь. Перешептывались с усмешкой, но на сердце скребло: а вдруг? И как же тогда жить? В покойчике своем Веденей места не находил: все взад и вперед.

К вечеру выполз из конурки своей старец Арсюша – крохотный, в аршинчик, согбенный, заключал к ларионовой церкви. Пал на четвереньки: поклон земной старой церкви. Потом на глазах у всех подошел, снял клобук, облобызал замшеные темные бревна, еще раз поклонился низко – и заковылял назад в свою конурку у чугунных ворот. И увидели: плакал старец Арсюша, похлипывал носом, кулачком по-ребячьи утирал глаза.

Тягота налегла, растревожил Арсюша:

– К чему плакал старец? К чему знамение?

Повалили за ворота к старцу. Стоял у конурки своей и потряхивал Арсюша кошелем из старой парчи: кошель на длинной насадке, в кошеле медный колоколец – позванивал колоколец жалобно. Плакал старец Арсюша и всех спрашивал:

– Православные, кто со мной завтра в Ерусалим? Прощайте, православные! Кто со мной?

Никто не разумел старца. Шли, смятенные, к озеру в становище. Пылал над озером в лютой лихоманке закат. Ветер вихрил пыль и песок, и далеко по дороге вставали темные путники, головою до неба, медленно наступали на пустынь. Миг – и нет, и только выметенное ветром пустое небо.

4

Стемнело, по лугу запылали костры. Пламя кланялось, кидалось. Где выхватит в багровом пятне руку и ложку над котелком; где кудлатую голову и губы трубочкой – дуют на уголья изо всех сил; где тележное колесо, и привязан пес к колесу.

Колоколья отмеривала медленные медные ленты – часы. Все вздыхали, поднимали головы с котомок, перешептывались. Всю ночь не смыкала глаз красная лампад-

ка над озером. И не спал старец Арсюша всю ночь: неспокойным, учуявшим зверем бродил между белых стен, мотал мохнатой головой и всхлипывал.

Только один старец Арсюша и увидел начало: ни с того ни с сего осветился сенный сарай, все ярче – и запылало вовсю.

Сразу – странный красный день, как день последнего судилища. Четкие переплеты окон, огненные голуби над крышей красная борода Веденей, чья-то запрокинутая назад голова. Неслись лица с красными зрачками, все путалось и мигало как сон.

– Братцы, к озеру – цепью, цепью стань!

Зазвякали по цепи ведра – да ветер разве зальешь? Бил, гудел, сеял огненное семя – секунду цвели жадные жаркие цветы – и опадали в тьму. А быстрые бесенята суеются уже в соседнем корпусе, и только сверкают и свиристят их востренькие розовые язычки.

– Батюшки мои, к церкви идет! Сейчас займется!

– Церковь сейчас... Ларивонова!

Как старец Арсюша, тихая и покорная ждала церковь, моргала от огня стеклами. Мело ветром огонь прямо на трухлые деревянные стены, и уж сил не было стоять возле – сейчас...

Кто-то крикнул осипшим, отчаянным голосом:

– Селиверст! За Селиверстом! Где он?

Был Селиверст здесь, в самой гуще. И опять, как тогда после обедни, раздалась толпа Чермным морем – и Селиверст один, тишина, и тысяча глаз жадно на него.

– Ведра-то. Ведрами-то... Братцы... – крикнул игумен Веденей, слабея. Но ни одна рука не поднялась, не звякнуло ни одно ведро.

Услышал себя Селиверст – сказал, не обертываясь назад, внятно и твердо:

– Икону мне.

С Ширьшей Небес в руках – ступил вперед, прислонился спиной к старенькой церкви, против воющей огненной стены. Ветер в лицо жег и палил.

Последний раз оглянулся Селиверст: обступили кругом глаза. Зачерпнул оттуда – из глаз, неистовая волна хлестнула снизу, от сердца – к рукам. В страшной тишине, всего себя стиснув, сотрясаясь от нестерпимой силы,

Селиверст медленно поднял икону над огнем вверх, и потом – вниз, влево и вправо.

И показалось: так же медленно качнулся красный язык перед ним – вверх, вниз, влево и вправо – и затрещал, закурился.

Встали дыбом волосы на голове, прислушался Селиверст назад: может быть – спасут, может быть – скажут, что...

Сзади себя услышал Селиверст стоголосый гул, и свое имя, и рыдания, и крики.

5

Через силу добрел к себе, запер задвижку – и как был в рясе, в клобуке – ничком на холодное ложе юрода Симеона. Негасимый огонь в лампадке загас. Был мрак в келье, цапали по камню крысы. Была пустота и усталость неизмеримая.

Одной рукой он попал на симеоновы железа: вдавил руку в железный браслет всей тяжестью тела – но не мог вынуть руку. Была она в Бог знает какой дали, и громадная, чудище: невероятно шевельнуть ею.

Почуял Селиверст: весь он – такой же, громадный, наполняющий вселенную. И в то же время – муравьино-крошечный: видел себя все из той же дали, как сквозь перевернутую не тем концом подзорную трубу – себя и крошечное окошко, а в окошке – закрешенная решеткой крошечная заря.

Тут же, рядом, увидел другого себя и другую зарю. Вырезаны узоры балконной решетки на розовом, между решеткой и зарей – черные клобуки сосен, а рядом на ковре – она, та самая, единственная. Совершилось для него первое в жизни, величайшее чудо: и сразу все потухло, пусто. Вот встать потихоньку, чтобы не разбудить ее, и с балкона головою вниз – мимо черных монашенок-сосен...

Все светлее крошечное окошко, и уж совсем где-то близко, по каменному ложу, цапают крысы. Шевельнул Селиверст горами-руками, поднялся, пошел к свету, положил голову на каменный подоконник. Заря прогорела. И выметенное ветром – такое было синее, пустое и страшное небо.

Ранней обедни в это утро не было. Разбрелись кто куда: кто прикорнул тут же на паперти, кто поплелся над озером посидеть. Озеро было ясное, светлое, и как на ладони – в зеленой глуби были видны белые стены.

И рассказывали потом – многие будто самолично видели: прогорела заря – высокий монах вышел из пустыни и быстрым шагом пошел прямо в озеро. Вода перед ним расступилась, и явственно был слышен не гулкий звон в глуби. А следом выкатилось что-то мохнатенькое из чугунных ворот – не то зверь какой, не то человек – и за высоким монахом юркнуло в воду. В братии же шел слух: нашли в сimeoновой башне загрызенное крысами тело, и потому-де наглухо замурован вход в башню Симеоно-юрода.

Так ли, нет ли, а только после пожара в Ларивоновой пустыни и Селиверст пропал, и прозорливый старец Арсюша. Но по-прежнему чуть колыхается в воде бело-золотой городок на изумрудном подносе, и по вечернему небу чертят ласточки с писком из выси в высь.

<1916>



ЗЕМЛЕМЕР

1

В расчетах выходила невязка, надо было проверить два-три угла. Землемер пошел в поле – последний раз.

На парах – полынь осыпался сухой, желтой пылью. Веял ветер, пел ветер весь день – и душно было еще пуще от ветра. Еле тащил себя землемер на чудных своих мушиных ножках, ботинки дамские – французские каблуки спотыкались о колючь. Угрюмо с вешками шли каликинские мужики, и только Митрий, маляр, не замолкал ни на минуту: все о том же, насчет управляющего Лизаветы Петровны.

– Вот она, книжка, да-с, – размахивал Митрий записной книжкой. – И здесь доклад: я это в городе все произошел, да-с. И совершенно очевидно, что господин управляющий продал нам землю вульгарно и неправдоподобно. Не такое нынче время, чтобы продавать, да-с...

У Митрия правый глаз от паралича прищурен, одна бровь выше, другая ниже – все будто подмигивал, и никак не мог землемер привыкнуть.

На губах у землемера – полынная горечь. Оглядывал – последний раз – желтые одонья хлеба, лиловые чаберные луга, ослепшую от зноя Мечь внизу – и все складывал в заветную шкатулочку: увезти с собою в Москву. И вслух, неожиданно для себя, спросил – должно быть, себя же:

– А Лизавета Петровна – как же?

Маляр Митрий поглядел хитро прищуренным глазом:

– Лизавета Петровна – что ж: никаких правонарушительных пороков мы за нею не знаем. Прогуливает себя с белой собачкой, только и делов... да-с...

Кипенно-белого Лизаветы Петровны фокса землемер тоже запер в шкатулочку и заковылял дальше. Гумном подходили уже к сыроварне. Тут землемер по воскресеньям читал мужикам про молочное хозяйство и с Лизаветой Петровной вместе, как будто так еще недавно, учил их есть сыр.

У сыроварни стали прощаться. Пожимал землемер шершавые, из сосновой коры руки, схватывало горло – не с ними прощался – слова спотыкались.

– Ну, с п-п-покупкой вас. Л-ли-лихом меня не помянете, худого ничего не сделал?

Невнятно загалдели, все одинаковые – из сосновой коры, только бороды разные: калачом, сосулькой, пасьмом льняным, козым хвостиком.

Вытолкали вперед калача: круглая, рыже-румяная, как поджаренный московский калач, борода.

– ...Ишь, вот ребята говорят, насчет мыла ты нас дюже обидел. Неладно это – над людьми изгаляться.

– Какого мыла?

– ...Мы этого самого мыла тогда фунтов пять приели. Желтенное, вонюченное, и глядеть-то гаведно, а ты – народ кормить, а сам с барыней потешаешься.

– Господи, сыр же это, говорил же я! – засмеялся землемер: нельзя было не засмеяться.

И стало от смеха нестерпимо: было согнуто в одну сторону – смех перегнул насильно в другую – и хрустнуло. Почуял землемер: будет смеяться все пуще, махнул рукой – и побежал в дом. Большая, прекрасная, с длинными черными волосами землемерова голова нелепо болталась – чужая мушиным ножкам голова – с трудом нес чужую голову. Мужики сзади гоготали – знал землемер: все над теми же его бабьими полусапожками на высоких каблуках – и сам смеялся все пуще.

Лизавета Петровна была еще у себя, наверху. Землемер один, в угловой бильярдной, укладывал чемодан. Значит, опять – Москва, протабаченная пустая комната, и быть может – уж никогда больше в жизни...

Показалось: потукивание легких шагов в гостиной. Выбежал: никого, пусто. И только где-то легонько в венцах дубовых стен или в красного дерева креслах – поскребывал шашель. Вспомнил, как-то раз бухнулся с раз-

маху в кресло, а ножка-то – кряк: вместо дерева – внутри уж труха, дым. Нянька Авдевна выметала, ворчала под нос: – У нас все чуть лепито, а ты эка, батюшка, бякнулся как.

«Все – чуть лепито, – думал землемер, – чуть потяжелее, чем сон. Дохнуть – и нету. И не надо дышать, не надо говорить, называть вслух: пусть – сон...»

После обеда сидели с Лизаветой Петровной на балконе – последний раз. Тени от лип быстро длиннели, налегали все тяжелей. Под полом начали точить свои ножички три-четыре сверчка. Всё острее ножички, и в виске бьется все чаще.

– Полею проходил – хлеб-то уже в одоньях ст-стоит... – будто бы про хлеб землемер, но Лизавета Петровна – слышала про что.

– Да, вот и конец лету... – Помолчала. – Так вы это окончательно решили: завтра?

– О-к-к-кончательно. Да оно, может, и лучше так-то.

– Вы так хорошо знаете, что лучше? – и где-то еще ближе от Лизаветы Петровны, еще чаще заточили сверчки.

Землемер усмехнулся:

– Вернее, знаю, что хуже. Вот я нынче с астролябией ходил-ходил, жарища, и про к-к-квас думал: ничего нет на свете лучше квасу. А оказалось: квас – как квас, и даже м-му-ммуха в квасу.

Посвистывал землемер что-то веселенькое. В кармане отыскал ключ, стиснул из всех сил, борода – острая, так хорошо, что острая, и глаз не отрывал, запоминал навсегда: золотой туман волос, голубые жилочки на висках у Лизаветы Петровны, и всю ее – чуть лепитую, хрустальную.

Так было все два месяца: посвистывал землемер и будто бы усмехался, и ни разу не сказал вслух. А завтра уедет – и все.

Лизавета Петровна взяла с полу кипенно-белого фокса Фунтика. Медленно, с закрытыми глазами, тихонько прижимала Фунтика к груди. И так же тихонько стискивала землемерово сердце, было страшно поверить, боялся землемер шелохнуться – рассыпется всё, как сон.

И нет силы молчать. Вскочил землемер, забежал по балкону. Половицы с дырками, старые, застонали.

– Ли-лизавета Петровна... – и споткнулся: в какую-то дыру попал высоким каблуком, застрял, не вытащить – засмеялся, вспомнил землемер – бабьи свои полусапожки с пуговками.

Сел в кресло, нарочно положил ногу на ногу, чтоб видно было, чтобы больнее, – нагнулся к каблуку.

– Хм, по вашим полям ходючи – каблуки стоптал. На моих французских каблуках – да по колочи.

– Вы другого разговора не придумаете – для сегодняшнего вечера хотя бы? – Лизавета Петровна сбросила Фунтика с колен, встала.

– Ну что же вам? Насчет луны чего-нибудь? Так и на луну туча насела.

Туча была темно-лиловая, узкая и длинная, как язык.

– Язычина-то с неба какой нам высунут, а? – глядел вверх землемер. – То есть до чего п-п-подходяще: именно – язычина с неба... – закатывался землемер.

Лизавета Петровна молча ушла в комнаты. Землемер посидел еще один. С пустыря тянул зеленоватый, горький от полыни и от луны, ветер. Сверчки затихали.

На дорожке увидал землемер белого Фунтика. Подозвал к себе – взял на руки. Но оглянулся назад на окна: в окне что-то белело. Скинул Фунтика с дорожки ногой – и пошел прямо, к пустырю.

За ужином говорили о земле, о купчей с каликинцами, о бунтах, о мужичьем царстве. И все землемер смеялся: что-то про Митрия, маляра – и смеялся, опять про язычину с неба – и смеялся.

У буфета стояла нянька Авдевна – разлатая, книзу широченная, как матрешка. Не вытерпела Авдевна землемерова смеха:

– Уж больно ты мнимый об себе человек, погляжу я. И все смеется, и все ему чудно. Ну только Бога не пере-смеешь, брат, не-ет!

Но землемер не унимался. И только когда ушла Лизавета Петровна наверх и остался один – затих. Сидел, оплывала свеча. Налево в окне проступало далекое зарево: где-то горела помещичья усадьба. Все по забывчивости взглядывал землемер на стенные часы, и все было на часах половина второго: уж сколько годов часы стояли, и только тихое тиканье грусти, и шашель потукивает в стенах.

Канун второго Спаса, бабы скребли пол, сажали пироги с яблоками в печь. И наверху – тоже, чисто хлебную печь разжарили: так и пыhalo пылом вниз. Куры языки повысунули, бродили осовелые. Воробьи трепыхались в золе. Для малярной работы – самое любезное время, и взгромоздился Митрий на крышу к лавочнику Ивану Иванычу: зеленым колером к празднику покрыть железную крышу.

Ясное дело – перед праздником был Митрий немного навеселе и распевал любимую свою песню:

Мине кстили у трактире-кабаке,
Окурнали у виноградном у вине,
Отец крестный – целовальник молодой,
Мамка крестна – винокурова жана...

Сам шершавый и взъерошенный, как воробей драчливый, – с воробьями разговаривал Митрий по-товарищески:

– Ну что, братцы, праздник? Эх, и дрызнем! Да-а-с... Ну куда вы, куда? Кши! Ножки в зеленое замараете.

А внизу ребятенки чистили носы, сосредоточенно и подобострастно поглядывали вверх на Митрия.

И случилось – увидал сверху Митрий: бежит по улице Фунтик Лизаветы Петровны, кипенный-белый. Бежит – и все на сторону сбивается: должно быть, еще с той поры привычка осталась, как был у Фунтика хвост, перевешивал на сторону. И замахал Митрий ребятам:

– Держи, держи, братцы! Держи собаку барынину!

Бросили ребята свои носы, растопырили руки, вдогонку за Фунтиком – только зола завилась. А Митрий уперся в бока, гогочет и все кому-то правым глазом подмигивает.

Приволокли Фунтика, завозились над ним кучей ребята внизу. И пришло в голову Митрию: устроить потеху.

Спустил вниз на веревке ведро с зеленой краской:

– Курнай его, ребята, чего там! Курнай его в ведро-то, крась!

Выкрасили Фунтика в зеленое – и отпустили. Страшный, слепой, зеленый – как-то Фунтик все-таки дотащился домой и забился в свой уголок в столовой.

А во дворе, перед каретным сараем, закладывали уже тарантас, приторочивали чемодан землемеров. Землемер – как улыбнулся с утра, как схватился рукою за тяж – так и стоял. А Лизавета Петровна – что-то будто делала, распоряжалась будто. Бегает-бегают и станет: что-то такое не позабыть бы, не упустить, а что – никак вот и не вспомнить.

– Ах, что же я: закусить на дорогу... – встрепенулась Лизавета Петровна и побежала в столовую.

И услышала в столовой жалостный стон в углу: Фунтик – зеленый. Хлынули слезы – за все сразу. Бросилась перед ним на колени, заломила руки:

– Фунтик мой, миленький мой, миленький! За что? Фунтик мой миленький!

Было слышно и во дворе. Спотыкаясь, помчался землемер в дом и увидел: страшного зеленого Фунтика и Лизавету Петровну – в перемазанном зеленой краской белом платье, и слезы – утирать не могла – сыпались слезы на пол, как слепой дождь, на пол.

Забыл землемер обо всем, нагнулся и стал гладить волосы Лизаветы Петровны, закрыл глаза, прижал к себе голову тихонько-тихонько, как вчера – прижимала Фунтика Лизавета Петровна, и такая же боль в сердце.

Ничего не сказала Лизавета Петровна, только минуту еще сильнее молча сыпались слезы на пол. Потом встала и тихо обернулась к землемеру:

– Может быть, еще не поздно?

«Нет! Не поздно!» – хотел закричать землемер. Но увидел: подавала ему Фунтика Лизавета Петровна: это о Фунтике – не поздно.

– Может быть, и поздно, но я п-п-попробую, – ответил землемер.

Фунтика вымыли бензином, но и бензин не помог: глаз не открыл Фунтик, так к вечеру и помер.

Провозился с Фунтиком землемер – совсем из ума вон про тарантас, про чемоданы. Глянул на часы: сегодня уж и думать было нечего. Конфузливо спрятал от Лизаветы Петровны глаза:

– Я велю от-отложить. Завтра придется ехать. Уж вы м-м-меня простите.

– Прощаю, – улыбнулась Лизавета Петровна. Глаза были заплаканы, но, омытые, сияли, хрусталь был синий.

А землемер – все вожжи растерял: ни посвистеть, ни усмехнуться, сидел в кресле тихий –дохнуть страшно. И только в глазах-колодцах скакали колодезники с красными фонарями, все выскочить норовили наружу, да глубоко: не выскочить.

Все еще не шла Авдевна с самоваром, замешкалась чего-то. И уж хотела сама Лизавета Петровна на кухню идти – как вкатилась Авдевна, без самовара: какой там самовар! Вся была обвислая, невиданная. Упыхалась, охала, приперла дверь спиной и руки растопырила – будто кто гнался за ней – не пускать.

– Приехали... – никак не отдышится.

– Кто приехали? – вскочила Лизавета Петровна.

– Да каликинцы наши, кто же еще. О Господи: говорила тебе – уезжай... С телегами, тебя требуют. Что же это будет-то, о Господи!

Твердо ступая ножками на французских каблуках, понес землемер свою – чужую – громадную голову: так рисуют Симеона-мученика со своей головой на руках. И вся в ознобе, кутаясь в шаль, вышла Лизавета Петровна.

Под тихой, зеленоватой луной копошились разные бороды: калачи, сосульки, пасьма льняные, козы хвостики. Калач выступил вперед, легонько, как ребенка, отвел землемера с дороги и поклонился Лизавете Петровне:

– Уж не прогневайся, Лизавета Петровна: хлеб из амбара выберем и скотинку там. Никак нельзя: конный по селам ездит.

– Какой конный?

– Какой-какой, известно какой. Да ты не бойсь: мы тихо-благородно. Управителя спалим – это уж верно. А насчет чего прочего – тихо-благородно.

Откуда-то вынырнул Митрий, подмигнул глазом, язык у него заплетался:

– Н-никаких закононарушительных... жи-жизненных пороков... С собачкой... И потому: ш-ш-ш! Прошу! Чтоб все тихо!

В гостиной Авдевна всхлипывала, пихала в корзинку серебряный кофейник, вышиванье, зимние ботинки Лизаветы Петровны. Лизавета Петровна подошла к землемеру:

– Ну куда же мы теперь?

От *мы* – взмыло землемера, вырос сразу:

– К Устряловым – шестьдесят верст, – вслух считал землемер. – На станции – весь день ждать. А что если в монастырь, в Троекурово?

Это было правильно: к рассвету будут там, и от станции недалеко. Заложили тарантас, бросили корзинку и чемодан землемеров. С гумна шел скрип тележный и гвалт, как с ярмарки. Авдевна утиралась фартуком, прощалась с Лизаветой Петровной, как навсегда.

На повороте Лизавета Петровна оглянулась на дом: в окнах зала медленно двигался подслепый огонек – Авдевна со свечкой. Хоть и тихо-благородно, а кто знает: может, и не увидеть больше дома?

– Часы жалко... в столовой... Хоть они и не ходят... – Дрожали губы у Лизаветы Петровны. – И Фунтика – жалко. А впрочем... – и улыбнулась.

3

Обедня была праздничная, церковь битком набита. Вчера святили яблоки, еще осталась на клиросе чья-то корзинка с янтарным аркадом: пахло яблоками, воском и новым, не стиранным, ситцем. В нос, однотонно, тонко пели монашки. Два мужика волокли под руку кликушу – причащать. Желтые глаза ввалились, кликуша кликала дико, а рот у нее закрыт, и будто кликал чей-то нечеловечий голос под сводами.

Фунтик зеленый, и бороды под луной, и кликуша, и в монастыре с Лизаветой Петровной вдвоем, как на острове... Натянулась тетива в землемере, звенела все выше, и вот еще секунда – и сам завопит в одно с кликушей.

– Я не могу. Выйду... – нагнулся землемер к Лизавете Петровне.

Лизавета Петровна, на коленях, молча и упорно о чем-то молилась, должно быть, все о том же, и не сразу услышала землемера.

Кой-как протолкались наружу. В липовой аллее, в тени, полегчало, отпустило. Зачем-то сорвал землемер ветку, поглядел: маленькие липовые орешки, желтые, как воск, восковые цветы – вроде венчальных или смертных.

– А ведь после обедни нам номера обещали, – вспомнил землемер. – Может, освободились уже, пойдёте?

Мать-ключница сидела у гостиницы на каменной скамье, уписывала большую, полтинничную просфору. И сама – просфора: только еще больше, пятипудовая. Белая, бокастая, толстая – как просфора; добродушная, уютная, вкусная – как просфора.

– Ну что, голубки, вернулись? Чаевничать будете?

– Вы нам, матушка, после обедни номера обещали, первый и третий. Уж нельзя ли как-нибудь: уморились очень.

Мать-ключница неторопливо подобрала просфорные крошки, ссыпала в рот.

– Ну уж, красавица, не прогневайся: ране вечера не будет. Уж как-нибудь перемогнитесь до вечера.

Тут только землемер и Лизавета Петровна почуяли, как устали, и ночь бессонную, и все. День плыл мимо, не задевая, как дрема. В укромном каком-то садике, под бузиной, пили чай с топлеными сливками. Под солнцем, по яростно-белым зубцам монастырской стены расхаживал павлин и кричал пронзительно, но только понимали, что кричал, а слышать – не слышали. Очутились перед какой-то избушкой в длинной очереди богомольцев. Крошечное избяное окошко завешено черным.

– Это куда же очередь?

– Куда-куда... – окрысилась на землемера голова в кашемировом платке. – Известно куда: к батюшке, к Стефану Болящему.

Медленно ползла очередь. Вошли в избушку вдвоем. Темно, тусклая лампочка. Чернички в белых косынках, неслышно, мышино суетливые. На огромном, одутлом лице – закрыты глаза у Стефана Болящего.

– Барин с барыней пришли, погляди на них, батюшка, погляди, драгоценненький. Скажи им, батюшка, скажи что-нибудь... – суетились чернички.

Стефан сидел в креслице неподвижно: громадная кукла, с прямыми, деревянными руками-ногами. Черничка стала сзади, пальцем подняла ему веки, как Вию. Глаза были неживые, свинцовые, уставились в Лизавету Петровну.

– Будете богаты. Через счастье – будете несчастливы... – Помолчал и прибавил неожиданно: – А проживешь сорок пять годов.

Усмехнуться бы землемеру, вспомнилось ему: так гадают цыганки. Но уже нашли его свинцовые стефановы глаза, придавили.

– По... покорись... Покорись, говорю! – строго крикнул Стефан.

Хотел землемер сказать: «Уж я, кажется, покорился», да увидел, замкнулись веки, была только громадная неживая кукла...

После всенощной опять пошли в гостиницу. Все на том же месте, на каменной лавочке, сидела мать-просфора.

– Насчет номерков-то? Не позабыла, красавица, нет. А только уж больно нынче народу – труба, терпенья моего нету. Ну пойдем, поглядим.

В прихожей, на стене под лампой, висели ключи, синий черт ехал верхом на рыжебородом грешнике. Мать-ключница не спеша перебирала ключи. Еще раз перебрала, какой-то ключ вытащила.

– И рада бы, хорошие мои, да нету, сами глядите: только вот и остался один первый номер. Да он у нас большо-ой ведь, две кровати, балкон...

У землемера ухнуло сердце. Взглянул на Лизавету Петровну: она вся до ушей полыхала.

Натянул землемер поводья изо всех сил – и как будто голос был ровный, не дрогнул:

– Ну нету – так нету. Придется, значит, в первый.

– Ну вот и ладно. Пожалуйста, други мои милые, а я самоварчик сейчас принесу... – не спеша, вкусно пела просфора пятипудовая.

Так будто в номере жарко – дышать нечем. Заторопился землемер балкон открыть. Напротив, сквозь липы, дрожал, тухнул в последних лучах золотой крест. По белой стене медленно гулял павлин и поглядывал вверх на облако: было оно длинное, лиловое, по краям – прозолотина.

– Вот – видите – как тут – хорошо – облако... – обрывалась Лизавета Петровна на каждом слове.

Принесла мать-ключница самовар и золоченые кружки: должно быть, такие полагались к первому номеру. Взял свою кружку землемер, повертел. На одной стороне был голый старец под деревом и подпись: «Ной», а на другой стороне – золотые литеры: «Пьяный проспится, а дурак никогда».

Прочитала вслух – засмеялась Лизавета Петровна, засмеялся землемер. Вкусно засмеялась просфора пятипудовая, поклонилась, плотно прихлопнула за собой дверь в мир.

От прихлопнутой ли двери, или от чашки с Ноем – напала смехота смертная, отчаянная, до колотья. А брал чашку от Лизаветы Петровны, тронул ее руку землемер – была рука холодная – лед.

– ...Помните, ученица у меня, Устюшка? – задыхалась Лизавета Петровна от нестерпимого смеха. – Все ничего, ничего, а как месяцы начнет считать – так готово: март, апрель, Ной, июнь... Ной – ой – не могу! – и сквозь синий хрусталь проступили слезы, закапали горько-сладкие, частые.

Смотрел землемер, не отрывался.

– Запомнишь, как мы в монастыре пили чай? – очень тихо сказал землемер. Как-то само сказалось: запомнишь, очень захотелось сказать так.

И сразу от запомнишь утихла Лизавета Петровна, как и не было смеха, сидела, покорно опустив голову.

– Господи, что же это из имения-то никто не едет, что же там? – на лету последний раз ухватилась Лизавета Петровна.

– Поздно уже... – засмеялся землемер и вынул часы. Было уже девять, но знал землемер: поздно уже, все уже решено.

Встал, прошелся взад-вперед, покачался еще секунду на краю – и остановился сзади стула Лизаветы Петровны. Так же, как тогда с Фунтиком, взял в руки ее голову, тихонько-тихонько, и стоял так: страшно дохнуть. Потом опустился на пол, долго, прощально, нежно целовал колени сквозь шелк. Сладко укололся о какую-то булавку в платье. Время прекратилось.

...Может быть, это случилось очень скоро: начали стучать в дверь. Услышал землемер, как во сне: знал, что стучат – но не было сил выпутаться из сна и услышать. И уж когда стал стук совсем оголтелый – оторвал губы от колен, поднял голову: стучат.

Встал, подошел к двери, не своим голосом спросил:

– Кто там?

– Да Господи, да что вы, оглохли там ай спятили? Да я же, Авдевна, ну?

Землемер отпер. Поставил свечку за ширму, нестерпимо резала глаза свечка. Вышел на балкон. От белой стены напротив – такая же резь в глазах, как от свечки. Как ни в чем не бывало – разгуливал по стене павлин.

– Митька этот пьяный – все окна вдребезги... – всхлипывала, причитала Авдевна. – От посуды – ни звания не осталось. И кофейник серебряный...

– А часы?

– А часы твои сняли – да на подводу, тащут, а пружины-то бренча-ат... А Митьку уж под руки – насилушки вывели...

Уж будто такое часы эти – не снесла часов Лизавета Петровна: ничком в подушку. А может, совсем и не от часов это – от другого.

Утерлась Авдевна, деловито выпила холодного чаю, опять утерлась – и села, разлатая: с места не сковырнешь.

– Ну, теперь что же, деваться мне некуда, я тут в уголку на ковре лягу. А ты бы, батюшка, на станцию бы ехал. Ничего, ко время поспеешь.

Вынул часы землемер: да, ко время. Засмеялся, затрясся весь. Подошел к кровати:

– Ну что ж, Лизавета Петровна, прощайте... – оглянулся на Авдевну: она копошилась, угромащивалась на ковре. Нагнулся землемер к Лизавете Петровне, к уху,дохнул: *запомнишь?* – и вышел.

Всю дорогу до станции висел над землемером лиловый с неба язык. Курил землемер папиросу за папиросой. А взглянет вверх на язык – и закатится: у кучера инда мураши по спине, и все пуще настегивал лошадей.

Приехали загодя. В пустом, темном зальце первого класса сидел землемер за круглым клеенчатым столом, а на столе – графинчик с водкой. Пил землемер и все яснее видел себя, каким был бы раздетый: громадная голова – и тоненькие кривые ножки – как паук.

– Тьфу! – сморщился весь. Поглядел графинчик на свет и спросил еще.

Пока буфетчик наливал, землемер подошел к окну – взглянуть последний раз в ту сторону, где была усадьба Лизаветы Петровны. Он увидел: в черном небе вырезаны были огромные, красные, качающиеся ворота – горела усадьба.



ГЛАЗА

– Ты – собака.

Шелудивый тулуп – был, быть может, белый. На хвосте, в обвислых патлах, навек засели репы. Одно ухо-лопух вывернуто наизнанку, и нет сноровки даже наладить ухо.

У тебя нету слов: ты можешь только визжать, когда бьют; до хрипу брехать, когда велит хозяин; и выть по ночам на зеленый горький месяц.

Но глаза... зачем у тебя такие прекрасные глаза? Поднимаешь глаза вверх, глядишь глазами в самое мое нутряное нутро, мы говорим глазами в глаза, и я знаю: ты – древняя, мудрая, мудрее нас. Быть может, ты некогда была человеком, и ты им будешь вновь. Но когда же ты будешь?

Седой хозяин держал тебя на цепи, в грязной конуре. Ты лакала помой из грязной черепушки. Ты грызла хозяйские оглодки. И ты ретиво стерегла хозяйское добро.

Помнишь: жаркий день, тарантас посеред двора, навалили ковры, самовары – и уехали. Ты ждала. Разгуливала по двору красноухая клюшка, поглядывала одним глазом на коршуна вверх, собирала индюшат под крылья. Накрыла конуру тень от водовозки: тарантас все не возвращался. И помнишь: наутро ты вцепилась в красноухого индюшонка, схряпала мигом – и только одни белые, обрызганные красным перья у конуры.

И как потом плеткой-двухвосткой хлестал по глазам хозяин. Совсем близко была его налитая, в седых кустах, морда, но ты не вцепилась: ведь это был хозяин. И только из глаз сочились тихие собачьи слезы, пролагали желтые желобки от углов глаз к носу.

А наутро – помнишь? – прижавши морду к земле и засунув хвост между ног, ты по грязи ползла хозяину навстречь, виляя задом, ты лизала хозяину руку. И когда милостиво потрепали по загривку – ты радостно повалилась на спину – прощена! – ты шурилась и дрыгала ногами, ты звенела цепью и наружу вывалила весь свой срам.

От одной с собачьим месивом черепушки до другой – ты меряла время. От жарыни желтел на дворе просвирник. Солнце – огненный пес, – распылив красную пасть, пыхало пылом прямо в тебя. Не в силах скинуть шелудивую шубу – ты задыхалась, у своей конуры лежала как мертвая, и только жил, ходил ходуном высунутый наружу язык.

Но пришел во двор – ты помнишь? – щуплый, прыщавый человеческий щенок. Ты забыла все, ты вздыбилась на дыбы – душил ожерёлок – хрипела и бешено, с пеной лаяла: прыщавый был чужой, был хозяину недруг, хоть вместе с хозяином заглядывал он в курник, в выход, в каретный сарай.

Больше ты не видела седого хозяина: он непонятно исчез, как вечерами непонятно для тебя исчезало солнце за каретным сараем. Утром – помнишь? – тебе принес черепушку уже тот, прыщавый; в черепушке был кус тухлого мяса. С урчанием ты проглотила мясо и, волоча брюхо в пыли, по-червиному, ползла ему навстречь и лизала ему руки, – тому самому, на кого вчера бешено брызгала пеной: ведь это он, прыщавый, он, великий, повелевал теперь черепушкой. И не все ли равно, кто тобою владеет? Была бы поганая черепушка полна.

Твой новый хозяин – был затейщик. Вечера, – ты помнишь? Пахло из закуты парным молоком, шуршали, примащивались на нашесте куры, а тебя дразнили огрызком сахара и кричали: служи! Как к небу – к слюнявому огрызку сахара – ты поднимала глаза, свои человечесьи глаза, и, звеня цепью, неуклюже плясала на задних лапах – из-за слюнявого огрызка сахара. Ты помнишь вечера? На варке богомольно вздыхала корова, хрустела сладкой свекольной ботвой. А тебя для потехи спускали с цепи, травили тебя на кошку: ату ее! И, однажды, – ты помнишь, ты никогда не забудешь: кошка увязла в щели

под забором, раз! – прыжок – и ты, урча, уже мотала головой, рвала и вгрызалась в кошкино брюхо, а прыщавый гоготал, и кагакали в курнике взбуженные гуси, индюшки и куры. А потом, усталая, у входа в конуру, ты звенела цепью и сосала слюнявый огрызок сахара. Но глаза были зажмурены, чтоб не видно было, что они похожи на человечесьи, и всю ночь ты вздыхала: о чем вздыхала?

От черепушки до черепушки ты меряла время. Твой собачий мир – конуру, водовозку и каретный сарай – накрыло серым, сырым веретем – осенним небом: ты мокла покорно. Вылезало солнце, в трех багровых студе-ных кругах – багровое, как кровь загрызенной кошки: ты трёской тряслась от стыди. Ты покорно таскала сосульки на шубе; кололи, лечь было нельзя – ты покорно таскала, пока сами собой не растопились сосульки, пока юркие, как ящерицы, не зажурчали ручьи, не поволокли навозные комья вон со двора. Своими глазами – человеческими – ты глядела весь день на солнце, за солнцем ходила кругом конуры – ходила весь день, звенела ржавой цепью. И закрутилась, запуталась вокруг шеи, ты рванула – и лопнула цепь.

Секунду стояла остолбенело – и эх! – взвилась. Через забор, по талым сугробам, с мокрым брюхом – пар валом валит – ты носилась, пьяная от солнца, от воли, от чуть приметного парного курева земли из-под снега. И где-то под голым, черным еще, переплетом сирени на синем небе, где-то ночью в проулке, на кучах теплой золы, среди пьяных весною и волей...

Черепушки не было, нечем было измерить время: может – день, может – месяц. Но это не был день: уж слишком жестоко голод закорючивал в брюхе кишки.

И ты помнишь: ветер с духом горьких сиреневых почек, на заборе – взгальный галочий гам. Облезлым боком ты вжималась в самый мокрый забор и, засунув хвост между ног, плелась, плелась. Оборванная цепь лязгала по земли.

На дворе – огарнули тебя с гоготаньем: ага-а! Ты легла у старой конуры и подставила шею. Прыщавый напялил на тебя новый, сверкающий ожерёлок – с веселым, звонким бубенчиком – и новую цепь. К морде пододви-

нули черепушку – в ней громадный кус тухлого мяса. И помнишь? – ты лопала, ты жрала, ты трескала – пока не раздулась.

Прыщавый милостиво потрепал тебя по загривку, ты повалилась на спину и задрыгала всеми четырьмя ногами, позванивая цепью и веселым бубенчиком на ожерёлке. Ты лизала руки хозяину. Ты налопалась до отвала – и что тебе цепь? Ведь ты – дворняга.

У тебя нету слов. Ты только можешь визжать, когда бьют; с хрипом грызть, кого прикажет хозяин; и выть по ночам на горький зеленый месяц.

Но зачем же у тебя такие прекрасные глаза? И в глазах, на дне – такая человеческая грустная мудрость?

1917



ДРАКОН

Люто замороженный, Петербург горел и бредил. Было ясно: невидимые за туманной занавесью, поскрипывая, пошаркивая, на цыпочках бредут вон желтые и красные колонны, шпили и седые решетки. Горячее, небывалое, ледяное солнце в тумане – слева, справа, вверху, внизу – голубь над загоревшимся домом. Из бредового, туманного мира выныривали в земной мир драконо-люди, изрыгали туман, слышимый в туманном мире как слова, но здесь – белые, круглые дымки; выныривали и тонули в тумане. И со скрежетом неслись в неизвестное вон из земного мира трамваи.

На трамвайной площадке временно существовал дракон с винтовкой, несся в неизвестное. Картуз налезал на нос и, конечно, проглотил бы голову дракона, если б не уши: на оттопыренных ушах картуз засел. Шинель болталась до полу; рукава свисали; носки сапог загибались кверху – пустые. И дыра в тумане: рот.

Это было уже в соскочившем, несущемся мире, и здесь изрыгаемый драконом лютый туман был видим и слышим:

– ...Веду его: морда интеллигентная – просто глядеть противно. И еще разговаривает, стервь, а? Разговаривает!

– Ну и что же – довел?

– Довел: без пересадки – в Царствие Небесное. Штычком.

Дыра в тумане заросла: был только пустой картуз, пустые сапоги, пустая шинель. Скрежетал и несся вон из мира трамвай.

И вдруг – из пустых рукавов – из глубины – выросли красные, драконьи лапы. Пустая шинель присела к полу

– и в лапах серенькое, холодное, материализованное из лютого тумана.

– Мать ты моя! Воробьеныш замерз, а? Ну скажи ты на милость!

Дракон сбил назад картуз – и в тумане два глаза – две щелочки из бредового в человеческий мир.

Дракон изо всех сил дул ртом в красные лапы, и это были явно слова воробьенышу, но их – в бредовом мире – не было слышно. Скрежетал трамвай.

– Стервь этакая: будто трепыхнулся, а? Нет еще? А ведь отойдет, ей-бо... Ну ска-жи ты!

Изо всех сил дул. Винтовка валялась на полу. И в предписанный судьбою момент, в предписанной точке пространства серый воробьеныш дрыгнул, еще дрыгнул – и спорхнул с красных драконьих лап в неизвестное.

Дракон оскалил до ушей туманно-пыхающую пасть. Медленно картузом захлопнулись щелочки в человеческий мир. Картуз осел на оттопыренных ушах. Проводник в Царствие Небесное поднял винтовку.

Скрежетал зубами и неся в неизвестное, вон из человеческого мира, трамвай.



МАМАЙ

По вечерам и по ночам – домов в Петербурге больше нет: есть шестиэтажные каменные корабли. Одиноким шестиэтажным миром несется корабль по каменным волнам среди других одиноких шестиэтажных миров; огнями бесчисленных кают сверкает корабль в разбунтовавшийся каменный океан улиц. И конечно, в каютах не жильцы: там – пассажиры. По-корабельному просто все незнакомо-знакомы друг с другом, все – граждане осажденной ночным океаном шестиэтажной республики.

Пассажиры каменного корабля № 40 по вечерам неслись в той части петербургского океана, что обозначена на карте под именем Лахтинской улицы. Осип, бывший швейцар, а ныне – гражданин Малафеев, стоял у парадного трапа и сквозь очки глядел туда, во тьму: изредка волнами еще прибывало одного, другого. Мокрых, засыпанных снегом, вытаскивал их из тьмы гражданин Малафеев и, передвигая очки на носу – регулировал для каждого уровень почтения: бассейн, откуда изливалось почтение, сложным механизмом был связан с очками.

Вот – очки на кончике носа, как у строгого педагога: это – Петру Петровичу Мамаю.

– Вас, Петр Петрович, супруга дожидает обедать. Сюда приходили, очень расстроенные. Как же это вы поздно так?

Затем очки плотно, оборонительно уселись в седле: тот, носатый из двадцать пятого – на автомобиле. С носатым – очень затруднительно: «господином» его нельзя, «товарищем» – будто неловко. Как бы это так, чтобы оно...

– А, господин-товарищ Мыльник! Погодка-то, господин-товарищ Мыльник... затруднительная...

И наконец – очки наверх, на лоб: на борт корабля вступал Елисей Елисеич.

– Ну, слава Богу! Благополучно? В шубе-то вы не боитесь – снимут? Позвольте – обтряхну...

Елисей Елисеич – капитан корабля: уполномоченный дома. И Елисей Елисеич – один из тех сумрачных Атлантов, что, согнувшись, страдальчески сморщившись, семьдесят лет несут по Миллионной карниз Эрмитажа.

Сегодня карниз был явно еще тяжелее, чем всегда. Елисей Елисеич задыхался:

– По всем квартирам... Скорее... На собрание... В клуб...

– Батюшки! Елисей Елисеич, или опять что... затруднительное?

Но ответа не нужно: только взглянуть на страдальчески сморщенный лоб, на придавленные тяжестью плечи. И гражданин Малафеев, виртуозно управляя очками, побежал по квартирам. Набатный его стук у двери – был как труба архангела: замерзали объятия, неподвижными пушечными дымками застывали ссоры, на пути ко рту останавливалась ложка с супом.

Суп ел Петр Петрович Мамай. Или точнее: его строжайше кормила супруга. Восседая на кресле величественно, милостиво, многогрудно, буддоподобно – она кормила земного человечка созданным ею супом:

– Ну, скорей же, Петенька, суп остынет. Сколько раз говорить: я не люблю, когда за обедом с книгой...

– Ну, Аленька, – ну, я сейчас – ну, сейчас... Ведь шестое издание! Ты понимаешь: «Душенька» Богдановича – шестое издание! В двенадцатом году при французах все целиком сгорело, и все думали – уцелело только три экземпляра... А вот – четвертый: понимаешь? Я на Загородном вчера нашел...

Мамай 1917 года – завоевывал книги. Десятилетним вихрастым мальчиком он учил Закон Божий, радовался перьям, и его кормила мать; сорокалетним лысеньким мальчиком – он служил в страховом обществе, радовался книгам, и его кормила супруга.

Ложка супу – жертвоприношение Будде – и снова земной человек суетно забыл о провидении в обручальном кольце – и нежно гладил, ощупывал каждую букву. «В точности против первого издания... С одобрения Цен-

сурнаго Комитета»... Ну, до чего приятное, до чего умильное m на трех толстенных ножках...

– Ну, Петенька, да что это? Кричу-кричу, а ты со своей книгой... Оглох, что ли: стучат.

Петр Петрович – со всех ног в переднюю. В дверях – очки на кончике носа:

– Елисей Елисеич велели – чтоб на собрание. Скорее.

– Ну вот, только за книгу сядешь... Ну что еще такое? – у лысенького мальчика в голосе слезы.

– Не могу знать. А только чтоб скорее... – дверь каюты захлопнулась, очки понеслись дальше...

На корабле было явно неблагополучно: быть может, потерян курс; быть может, где-нибудь в днище – невидимая пробоина, и жуткий океан улиц уже грозит хлынуть внутрь. Где-то вверху, и вправо, и влево – тревожно, дробно стучат в двери кают; где-то на полутемных площадках – потушенные, вполголоса разговоры; и топот быстро сбегающих по ступенькам подошв: вниз, в кают-компанию, в домовый клуб.

Там – отштукатуренное небо, все в табачных грозовых тучах. Душная калориферная тишина, чуть-чуть чей-то шепот. Елисей Елисеич позвонил в колокольчик, согнулся, наморщился – слышно было в тишине, как хрустнули плечи – поднял карниз невидимого Эрмитажа и обрушил на головы, вниз:

– Господа. По достоверным сведениям – сегодня ночью обыски.

Гул, грохот стульев; чьи-то выстреленные головы, пальцы с перстнями, бородавки, бантики, баки. И на согнувшегося Атланта – ливень из табачных туч:

– Нет, позвольте! Мы обязаны...

– Как? И бумажные деньги?

– Елисей Елисеич, я предлагаю, чтобы ворота...

– В книги, самое верное – в книги...

Елисей Елисеич, согнувшись, каменно выдерживал ливень. И Осипу, не поворачивая головы (быть может, она и не могла повернуться):

– Осип, кто нынче на дворе в ночной смене?

Осипов палец медленно, среди тишины, пролагал путь по расписанию на стене: палец двигал не буквы, а тяжелые мамаевские шкафы с книгами.

- Нынче М: гражданин Мамай, гражданин Малафеев.
- Ну вот. Возьмите револьверы – и в случае, если без ордера...

Каменный корабль № 40 неся по Лахтинской улице сквозь шторм. Качало, свистело, секло снегом в сверкающие окна кают, и где-то невидимая пробоина, и неизвестно: пробьется ли корабль сквозь ночь к утренней пристани – или пойдет ко дну. В быстро пустеющей кают-компании пассажиры цеплялись за каменно-неподвижного капитана:

- Елисей Елисеич, а если в карманы? Ведь не будут же...
- Елисей Елисеич, а если я повешу в уборной, как пипифакс, а?

Пассажиры юркали из каюты в каюту и в каютах вели себя необычайно: лежа на полу, шарили рукою под шкафом; святотатственно заглядывали внутрь гипсовой головы Льва Толстого; вынимали из рамы пятьдесят лет на стене безмятежно улыбавшуюся бабушку.

Земной человек Мамай – стоял лицом к лицу с Буддой и прятал глаза от всевидящего, пронизывающего трепетом ока. Руки у него были совершенно чужие, ненужные: куцые пингвиньи крылышки. Руки ему мешали уже сорок лет, и если бы не мешали сейчас – может, ему очень просто было бы сказать то, что надо сказать – и так страшно, так невысказанно...

- Не понимаю: ты-то чего струсил? Даже нос побелел! Нам-то что? Какие такие тысячи у нас?

Бог знает, если бы у Мамаю 1300 какого-то года были бы тоже чужие руки, и такая же тайна, и такая же супруга – может быть, он поступил бы так же, как Мамай 1917 года: где-то среди грозной тишины в уголку заскребла мышь – и туда со всех ног глазами кинулся Мамай 1917 года и, забившись в мышиную норь, продрожал:

- У меня... то есть – у нас... Че... четыре тысячи двести...

- Что-о? У тебя-а? Откуда?

- Я... я понемногу все время... Я боялся у тебя каждый раз...

- Что-о? Значит, крал? Значит, меня обманывал? А я-то, несчастная, – я-то думала: уж мой Петенька... Несчастливая!

– Я – для книг...

– Знаю я эти книги в юбках! Молчи!

Десятилетнего Мамаю мать секла только один раз в жизни: когда у только что заведенного самовара он отвернул кран – вода вытекла, все распаялось – кран печально повис. И теперь второй раз в жизни чувствовал Мамай: голова зажата у матери под мышкой, спущены штаны – и...

И вдруг мальчишечьим хитрым нюхом Мамай учуял, как заставить забыть печально повисший кран – четыре тысячи двести. Жалостным голосом:

– Мне нынче дежурить во дворе до четырех утра. С револьвером. И Елисей Елисеич сказал, если придут без ордера...

Мгновенно – вместо молниеносного Будды – многогрудая, сердобольная мать.

– Господи! Да что они – все с ума посошли? Это все Елисей Елисеич. Ты смотри у меня – и в самом деле не вздумай...

– Не-ет, я только так, в кармане. Разве я могу? Я и муху-то...

И правда: если Мамаю попадала муха в стакан – всегда возьмет ее осторожно, обдует и пустит – лети! Нет, это не страшно. А вот четыре тысячи двести...

И снова – Будда:

– Ну что мне за наказание с тобой! Ну куда ты теперь денешь эти твои краденые – нет уж, молчи, пожалуйста – краденые, да...

Книги; калоши в передней; пипифакс; самоварная труба; ватная подкладка у Мамаевой шапки; ковер с голубым рыцарем на стене в спальне; полураскрытый и еще мокрый от снега зонтик; небрежно брошенный на столе конверт с наклеенной маркой и четко написанным адресом воображаемому товарищу Гольдебаеву... Нет, опасно... И наконец, около полночи решено все построить на тончайшем психологическом расчете: будут искать где угодно – только не на пороге, а у порога шатается вот этот квадратик паркета. Кинжальчиком для разрезывания книг искусно поднят квадратик. Краденые четыре тысячи («Нет, уж пожалуйста – пожалуйста, молчи!») завернуты в вощеную от бисквитов бумагу (под порогом может быть сыро) – и четыре тысячи погребены под квадратиком.

Корабль № 40 – весь как струна, на цыпочках, шепотом. Окна лихорадочно сверкают в темный океан улиц, и в пятом, во втором, в третьем этаже отодвигается штора, в сверкающем окне – темная тень. Нет, ни зги. Впрочем, ведь там на дворе – двое, и когда начнется – они дадут знать...

Третий час. На дворе тишина. Вокруг фонаря над воротами – белые мухи: без конца, без числа – падали, вились роем, падали; обжигались, падали вниз.

Внизу, с очками на кончике носа, философствовал гражданин Малафеев:

– Я – человек тихий, натурливый, мне затруднительно в такой во злобе жить. Дай, думаю, в Осташков к себе съезжу. Приезжаю – международное положение – ну прямо невозможное: все друг на дружку – чисто волки. А я так не могу: я человек тихий...

В руках у тихого человека – револьвер, с шестью спрессованными в патронах смертями.

– А как же вы, Осип, на японской: убивали?

– Ну, на войне! На войне – известно.

– Ну а как же штыком-то?

– Да как-как... Оно вроде как в арбуз: сперва туго идет – корка, а потом – ничего, очень свободно.

У Мамаева от арбуза – мороз по спине.

– А я бы... Вот хоть бы меня самого сейчас – ни за что!

– Погодите! Приспичит – так и вы...

Тихо. Белые мухи вокруг фонаря. Вдруг издали – длинным кнутом винтовочный выстрел, и опять тихо, мухи. Слава Богу: четыре часа, нынче уже не придут. Сейчас смена – и к себе в каюту, спать...

В мамаевской спальне на стене – голубой клетчатый рыцарь замахнулся голубым мечом и застыл: перед глазами у рыцаря совершалось человеческое жертвоприношение.

На белых полотняных облаках покоилась госпожа Мамай – всеобъемлющая, многогрудая, буддоподобная. Вид ее говорил: сегодня она кончила сотворение мира и признала, что все – добро зело, даже и этот маленький человечек, несмотря на четыре тысячи двести. Маленький человечек обреченно стоял возле кровати, иззябший, с покрасневшим носиком, куцые, чужие, пингвиньи крылышки-руки.

– Ну иди уж, иди...

Голубой рыцарь зажмурил глаза: так ясно, до жути – вот сейчас перекрестится человечек, вытянет вперед руки – и как в воду с головою – бултых!

Корабль № 40 благополучно пронесся сквозь шторм и пристал к утренней пристани. Пассажиры торопливо вытаскивали деловые портфели, корзиночки для провизии и мимо Осиповых очков спешили на берег: корабль у пристани – только до вечера, а там – опять в океан.

Согнувшись, Елисей Елисеич пронес мимо Осипа карниз невидимого Эрмитажа – и обрушил на Осипа сверху:

– Уж нынче ночью – обыск наверное. Так пусть все и знают.

Но до ночи – еще жить целый день. И в странном, незнакомом городе – *Петрограде* – растерянно бродили пассажиры. Так чем-то похоже – и так непохоже – на *Петербург*, откуда отплыли уже почти год и куда едва ли когда-нибудь вернутся. Странные, замерзшие за ночь каменно-снежные волны: горы и ямы. Воины из какого-то неизвестного племени – в странных лохмотьях, оружие на веревочках за плечами. Чужеземный обычай – ходить в гости с ночевкой: на улицах ночью – вальтер-скоттовские роб-рои. И вот тут на Загородном – выжженные в снегу капельки крови... Нет, не Петербург!

По незнакомому Загородному потерянно бродил Мамай. Пингвиньи крылышки мешали; голова висела, как кран у распявшегося самовара; на левом стоптанном каблуке – снежный *globus hystericus*, мучителен каждый шаг.

И вдруг вздернулась голова, ноги загарцевали двадцатипятилетне, на щеках – маки: из окна улыбалась Мамаю – ...

– Эй, зёва, с дороги! – навстречу, напролом красно-рожие перли с огромными торбами.

Мамай отскочил, не отрывая глаз от окна, и чуть только проперли – снова к окну: оттуда ему улыбалась – ...

«Да, ради этой – и украдешь, и обманешь, и все».

Из окна улыбалась, раскинувшись соблазнительно, сладострастно – екатерининских времен книга: «Описательное изображение прекрасностей Санкт-Питербурха». И небрежным движением, с женским лукавством, давала заглянуть внутрь – туда, в теплую ложбинку между двух упруго изогнутых, голубовато-мраморных страниц.

Мамай был двадцатипятилетне влюблен. Каждый день ходил на Загородный под окно и молча, глазами, пел серенады. Не спал по ночам – и хитрил сам с собой: будто оттого не спит, что под полом где-то работаетмышь. Уходил по утрам – и всякое утро тот самый паркетный квадратик на пороге колол сладким гвоздем: под квадратиком погребено было мамево счастье, так близко, так далеко. Теперь, когда все открылось про четыре тысячи двести, – теперь как же?

На четвертый день, как трепыхающегося воробья – зажав сердце в кулак, Мамай вошел в ту самую дверь на Загородном. За прилавком – седобородый, кустобровый Черномор, в плену у которого обитала она. В Мамае воскрес его воинственный предок: Мамай храбро двинулся на Черномора.

– А, господин Мамай! Давненько, давненько... У меня для вас кой-что отложено.

Зажав воробья еще крепче, Мамай перелистывал, притворно-любовно поглаживал книги, но жил спиной: за спиной в витрине улыбалась она. Выбрав пожелтевший 1835 года «Телескоп», долго торговался Мамай – и безнадежно махнул рукой. Потом, лисьими кругами рыская по полкам, добрался до окна – и так, будто между прочим:

– Ну а эта сколько?

Ёк – воробей выпорхнул – держи! держи! Черномор програбил пальцами бороду:

– Да что же – для почину... с вас полтора ста.

– Гм... Пожалуй... (Ура! Колокола! Пушки!) – Что же, пожалуй... Завтра принесу деньги и заберу.

Теперь надо через самое страшное: квадратик возле порога. Ночь Мамай пекся на углях: нужно, нельзя, можно, немыслимо, можно, нельзя, нужно...

Всеведущее, милостивое, грозное – провидение в обручальном кольце пило чай.

– Ну кушай же, Петенька. Ну что ты такой какой-то... Не спал опять?

– Да. Мы... мыши... не знаю.

– Брось платок, не крути! Что это такое в самом деле!

– Я... я не кручу...

И вот наконец выпит стакан: не стакан – бездонная, сорокаведерная бочка. Будда на кухне принимала жертвоприношение от кухарки. Мамай в кабинете один.

Мамай тикнул, как часы – перед тем как пробить двенадцать. Глотнул воздуху, прислушался, на цыпочках – к письменному столу: там кинжальчик для книг. Потом в лихорадке гномиком скорчился на пороге, на лысине – ледяная роса, запустил кинжальчик под квадрат, ковырнул – и... отчаянный вопль!

На вопль Будда пригремела из кухни – и у ног увидала: тыквенная лысинка, ниже – скорченный гномик с кинжальчиком, и еще ниже – мельчайшая бумажная труха.

– Четыре тысячи – мыши... Вон-вон она! Вон!

Жестокий, беспощадный, как Мамай 1300 какого-то года, Мамай 1917 года воспрянул с карачек – и с мечом в угол у двери: в угол забились вышарахнувшая из-под квадратика мышь. И мечом кровожадно Мамай пригвоздил врага. Арбуз: одну секунду туго – корка, потом легко – мякоть, и стоп: квадратик паркета, конец.



ЛОВЕЦ ЧЕЛОВЕКОВ

1

Самое прекрасное в жизни – бред, и самый прекрасный бред – влюбленность. В утреннем, смутном, как влюбленность, тумане – Лондон бредил. Розово-молочный, зажмурясь, Лондон плыл – все равно куда.

Легкие колонны друидских храмов – вчера еще заводские трубы. Воздушно-чугунные дуги виадуков: мосты с неведомого острова на неведомый остров. Выгнутые шеи допотопно-огромных черных лебедей-кранов: сейчас нырнут за добычей на дно. Вспугнутые, выплеснулись к солнцу звонкие золотые буквы: «Роллс-Ройс, авто» – и потухли. Опять – тихим, смутным кругом: кружево затонувших башен, колыхающаяся паутина проволок, медленный хоровод на ходу дремлющих черепах-домов. И неподвижной осью: гигантский каменный фаллос Трафальгарской колонны.

На дне розово-молочного моря плыл по пустым утренним улицам органист Бэйли – все равно куда. Шаркал по асфальту, путался в хлипких, нелепо длинных ногах. Блаженно жмурил глаза; засунув руки в карманы, останавливался перед витринами.

Вот сапоги. Коричневые краги; черные, огромные вотерпруфы; и крошечные лакированные дамские туфли. Великий сапожный мастер, божественный сапожный поэт...

Органист Бэйли молился перед сапожной витриной:
– Благодарю тебя за крошечные туфли... И за трубы, и за мосты, и за Роллс-Ройс, и за туман, и за весну. И пусть больно: и за боль...

На спине сонного слона – первого утреннего автобуса – органист Бэйли мчался в Чизик, домой. Кондуктор-

ша, матерински-бокастая, как булка (дома куча ребят), добродушно приглядывала за пассажиром: похоже, выпил бедняга. Эка, распустил губы!

Губы толстые и, должно быть, мягкие, как у жеребенка, блаженно улыбались. Голова с удобными, оттопыренными и по краям завернутыми ушами покачивалась: органист Бэйли плыл.

– Эй, сэр, вам не здесь слезать-то?

Органист удивленно разожмурился. Как: уже слезать?

– Ну, что, выпили, сэр?

Жеребьячи губы раскрылись, органист мотал головой и счастливо смеялся:

– Выпил? Дорогая моя женщина: лучше!

По лесенке двинулся с верхушки автобуса вниз. Внизу, в тумане, смущенно жмурились, молочно-розовыми огнями горели вымытые к воскресенью окна Краггсов. Солнце шло вверх.

Органист вернулся к кондукторше, молча показал ей на окна и так же молча – обнял и поцеловал ее мягкими, как у жеребенка, губами. Кондукторша обтерлась рукавом, засмеялась, дернула звонок: что с такого возьмешь?

А органист – нырнул в переулочек, ключом отомкнул тихонько заднюю калитку своего дома, вошел во двор, остановился возле кучи каменного угля и через кирпичный заборчик поглядел наверх: в окно к соседям, Краггсам. В окне – белая занавеска от ветра мерно дышала. Соседи еще спали.

Снявши шляпу, стоял так, пока на занавеске не мелькнула легкая тень. Мелькнула, пророзовела на солнце рука – приподняла край. Органист Бэйли надел шляпу и вошел в дом.

2

Миссис и мистер Краггс завтракали. Все в комнате – металлически сияющее: каминный прибор, красного дерева стулья, белоснежная скатерть. И может быть, складки скатерти – металлически-негнущиеся; и может быть, стулья, если потрогать, металлически-холодные: окрашенный под красное дерево металл.

На однородно-зеленом ковре позади металлического стула мистера Краггса – четыре светлых следа: сюда встанет стул по окончании завтрака. И четыре светлых следа позади стула миссис Краггс.

По воскресеньям мистер Краггс позволял себе к завтраку крабов: крабов мистер Краггс обожал. С кусочками крабовых клешней проглатывая кусочки слов, мистер Краггс читал вслух газету.

– Пароход... ммм... долгое время вверх килем... Стучали в дно снизу... Нет, удивительный краб, прямо удивительный! Опять цеппелины над Кентом, шесть мужчин, одиннадцать... ммм... Одиннадцать – одиннадцать – да: одиннадцать женщин... Для них человек – просто как... как... Лори, вы не хотите кусочек краба?

Но миссис Лори уже кончила свой завтрак, она укладывала ложки. У миссис Лори была превосходная коллекция чайных ложек: подарок Краггса. Серебряные ложки – и каждая была украшена золоченым с эмалью гербом одного из городов Соединенного Королевства. Для каждой ложечки был свой собственный футлярчик, миссис Лори укладывала ложки в соответствующие футлярчики – и улыбалась: на губах – занавесь легчайшего и все же непрозрачного розового шелка. Вот дернуть за шнур – и сразу же настеть, и видно бы, какая она, за занавесью, настоящая Лори. Но шнур потерялся, и только чуть колышется занавесь ветром вверх и вниз.

Исчезнувший мистер Краггс внезапно вынырнул из-под полу, уставился перед миссис Лори на невидимом пьедестале – такой коротенький чугунный монументик – и протянул наверх картонку:

– Дорогая моя, это – вам.

В картонке были белые и нежно-розовые шелковые комбинации, и что-то невообразимо кружевное, и паутинные чулки. Мистер Краггс был взглядов целомудренных, не переносил наготы, и пристрастие его к кружевным вещам было только естественным следствием целомудренных взглядов.

Миссис Лори все еще не привыкла к великолепию. Миссис Лори порозовела, и быстрее заколыхалась розовая занавесь на губах:

– А-а, вам опять повезло... на бирже – или... где вы там занимаетесь операциями, кто вас знает...

– Угум... – мистер Краггс сосал трубку и, по обыкновению своему, не подымая чугунных век, улыбался на пьедестале победоносно.

Миссис Лори обследовала нежно-розовое, невообразимо кружевное и паутинное, на одной паре чулок обнаружила распоротый шов и, отложив в сторону, нагнула щеку мистеру Краггсу. Краггс затушил пальцем трубку, сунул в карман и прильнул губами к щеке. Челюсти и губы мистера Краггса мысом выдвинуты вперед – в мировое море; губы сконструированы специально для сосанья.

Мистер Краггс сосал. В окно бил пыльной полосой луч. Все металлически сияло.

3

Наверху, в спальне, миссис Лори еще раз оглядела чулки с распоротым швом; разложила все по соответствующим ящикам комода; старательно, с мылом, вымыла лицо; и вывесила из шкапа новые брюки мистера Краггса: в них он пойдет в церковь.

В окно тянул ветер. Брюки покачивались. Вероятно, на мистере Краггсе – брюки прекрасны и вместе с его телом дадут согласный аккорд. Но так, обособленные в пространстве – брюки мистера Краггса были кошмарны.

В окно тянул ветер. Покачиваясь, брюки жили: короткое, обрубленное, кубическое существо, составленное только из ног, брюха и прочего принадлежащего. И вот снимутся, и пойдут вышагивать – между людей и по людям, и расти – и...

Надо закрыть окно. Миссис Лори подошла, высунула на секунду голову, медленно, густо покраснела и сердито сдвинула брови: опять?

На дворе справа, возле кучки каменного угля, опять стоял нелепо-длинный и тонкий – из картона вырезанный – органист Бэйли. Держал шляпу в руках, оттопыренные уши просвечивали на солнце, блаженно улыбался – прямо в лицо солнцу и миссис Лори.

Верхняя половина окна заела, и пока миссис Лори, все сердитее сдвигая брови, нетерпеливо дергала раму –

хлябнуло окошко слева, и завохтал высокий, с переливами голосок:

– Доброе утро, миссис Краггс! Нет, каково, а? Нет, как вам это нравится? Нет, я сейчас забегу к вам – нет я не могу...

Отношение миссис Фиц-Джеральд ко всему миру было определено со знаком минус: «нет». Минус начался с тех пор, как пришлось продать замок в Шотландии и переселиться на Аббатскую улицу. В органиста Бэйли минус вонзался копьём, и как же иначе, когда одна из девяти дочерей миссис Фиц-Джеральд уже давно по вечерам бегала на «приватные уроки» к органисту Бэйли.

Миссис Лори сошла в столовую мраморная как всегда и все с той же своей неизменной – легчайшего; непрозрачного шелка – занавесью на губах.

– Краггс, сейчас придет миссис Фиц-Джеральд. Ваши брюки вывешены – наверху. Да, и кстати: этот Бэйли, вы знаете, просто становится невозможен, вечно глазеет в окно спальни.

Чугунный монументик на пьедестале был неподвижен, только из-под опущенных век – лезвия глаз:

– Если вечно так... отчего же вы до сих пор... Впрочем, сегодня, после церкви, я поговорю с ним. О, да!

Миссис Лори повернулась задернуть шторы:

– Да, пожалуйста, и посерьезней... Просто больно смотреть: такое солнце, правда?

В дверь уже стучала миссис Фиц-Джеральд. Миссис Фиц-Джеральд – была индюшка: на вытянутой шее – голова всегда набок, и всегда – одним глазом вверх, в небо, откуда ежеминутно может упасть коршун и похитить одну из девяти ее индюшечек.

Миссис Фиц-Джеральд с переливами квохтала об органисте:

– Нет, вы подумайте: в приходе – ни одной молодой и красивой женщины, которая бы не... которая бы... Нет, его бедная жена, это – просто ангел: она запирает от него все деньги и прячет ключ от двери, но он умудряется – через окно... А сейчас – я выглянула в окошко... нет, вы подумайте!

Миссис Фиц-Джеральд навела один глаз в небо, другой – в миссис Лори; миссис Лори вошла в паузу – как в открытую дверь: не постучавшись.

– Я только что просила Крагтса поговорить об этом с мистером Бэйли. Будет очень забавно. Приходите посмотреть этот водевиль – после церкви.

Миссис Фиц-Джеральд все так же недоверчиво одним глазом выискивала коршуна в небе:

– О, миссис Лори, вы-то, вы-то, я знаю, совсем не такая, как другие. Я знаю.

Чугунный монументик неподвижно, не подымая век, глядел вверх на миссис Лори:

«Не такая – но какая же?»

Бог весть: шнур от занавеси был потерян.

4

Тут, на Аббатской улице, еще был Лондон – и уже не был Лондон. Соседи уже отлично знали соседей; и все знали, конечно, глубокоуважаемого мистера Крагтса. Все знали: на бирже – или вообще где-то – мистер Крагтс удачно вел операции; имел текущий счет в Лондон-Сити-энд-Мидланд-Бэнк, прекрасную жену и был одним из добровольных апостолов Общества Борьбы с Пороком. Естественно, что шествие мистера Крагтса в новых брюках к церкви Сэнт-Джордж – было триумфальным шествием.

Каждым шагом делая одолжение тротуару, сплюснутый монументик вышлепывал лапами, на секунду привинчиваясь к одному пьедесталу, к другому, к третьему: тротуар был проинтегрированный – от дома до церкви ряд пьедесталов. Не подымая век, монументик милостиво улыбался, ежесекундно сверкал на солнце цилиндром и совершал шаги, украшенный соседством миссис Лори: так барельефы на пьедестале Ричарда – Львиное Сердце скромно, но гармонично украшают Львиное сердце.

И вот наконец уравнение торжественного шествия мистера Крагтса решено: наконец – церковь.

Узкие ущелья в мир – окна. На цветных стеклах – олени, щиты, черепа, драконы. Внизу стекла – зеленые, вверху – оранжевые. От зеленого – по полу полз мягкий дремучий мох. Глохли шаги, все тише, как на дне, – тихо,

и Бог знает где – весь мир, краб, щека, распоротый шов в чулке, одноглазая Фиц-Джеральд, ложечки в футлярах, тридцать два года...

Вверху, на хорах, начал играть органист Бэйли. Потихоньку, лукаво над зеленым мхом росло, росло оранжевое солнце. И вот – буйно вверх, прямо над головою, и дышать – только ртом, как в тропиках. Неудержно переплетающиеся травы, судорожно вставшие к солнцу мохнатые стволы. Черно-оранжевые ветви басов, с нежной грубостью, все глубже внутрь – и нет спасения: женщины раскрывались, как раковины, бросало Бога в жар от их молитв. И может быть, только одна миссис Лори Крагтс – одна сидела великолепно-мраморная, как всегда.

– Вы не забыли относительно Бэйли? – шепнула миссис Лори мужу, когда кончалось.

– Я? О, нет... – мистер Крагтс блеснул лезвием из-под опущенных век.

Одноглазая миссис Фиц-Джеральд тревожно поглядывала вверх на гипотетического коршуна, собирала под крылья своих девять индюшечек в белых платьях и подымалась на цыпочки, чтобы не потерять в толпе мистера Крагтса и не пропустить, как произойдет его встреча с Бэйли.

Снаружи, у дверей церкви, была могила рыцаря Хэга, некогда обезглавленного за папизм: на камне, в каменных доспехах, лежал рыцарь без головы. И здесь, возле утратившего голову рыцаря, сгруппировались женщины вокруг органиста Бэйли.

– Мистер Бэйли, вы сегодня играли особенно. Я так молилась, так молилась, что...

– Мистер Бэйли, не могли бы вы – мне бы хотелось только...

– Мистер Бэйли, вы знаете, что вы – что вы...

Высоко над их раскрытыми, ожидающими губами покачивалась голова органиста, просвечивающие, с загнутыми краями уши. И еще выше, зажмурясь от себя самого, стремглав несло солнце – все равно куда.

У органиста были длинные, обезьяньи руки – и все-таки нельзя было обнять их всех сразу. Органист блаженно покачал головой:

– Милые, если бы я мог...

Органист Бэйли задумался о великой Изиде – с тысячу протянутых рук, с тысячу цветущих сосцов, с чревом – как земля, принимающим все семена...

– А-а, дорогой мой Бэйли! Он – по обыкновению, конечно, окружен... Можно вас на минуту?

Это был Крагтс. Он воздвигся на последней ступеньке лестницы, украшенный мраморным соседством миссис Лори, – и ждал.

Бэйли повернулся, как стрелка компаса, сдернул шляпу, путаясь в собственных ногах, подбежал, стиснул руку мистеру Крагтсу и сиял в него глазами – было почти слышно: «Милый Крагтс, единственный в мире Крагтс, и вас – и вас тоже, обожаемый Крагтс...»

Втроем они отошли в сторону, и только миссис Фиц-Джеральд оказалась неприметно сзади, одобрительно подкачивала головой каждому слову Крагтса и одним глазом метала минусы-копья в спину Бэйли.

– Послушайте, дорогой мой Бэйли. Мне жена говорила, что вы постоянно портите ей пейзаж из окна ее спальни. Что вы скажете по этому поводу? А?

В голове у Бэйли шумело солнцевое вино, слова слышались плохо. Но когда услышались – Бэйли потух, лоб сморщился, сразу стало видно: масса лишней кожи на лице, все – как обвислый, купленный в магазине готового платья костюм.

– Миссис Лори? Нет... не может быть... – губы у Бэйли растерянно шлепали. – Миссис Лори, вы не говорили. Да нет, что я, конечно: вы – нет. Конечно...

Самому стало смешно, что поверил хоть на секунду. Махнул рукой – заулыбался блаженно.

Миссис Лори сдвинула брови. Она медлила. Уже шевельнулись на животе клешни Крагтса, и радостно привстала на цыпочках миссис Фиц-Джеральд. Но в самый какой-то последний момент – миссис Лори громко рассмеялась:

– Представьте себе, мистер Бэйли: я говорила. И вы прекрасно знаете: я была, наконец, вынуждена сказать это. Да, вы знаете.

Бэйли заморгал. Опять: обвислый костюм из магазина готового платья. Вдруг обеими руками он нахлобучил шляпу и, не попрощавшись, не слушая больше Крагтса, побежал, заплетаясь, по асфальту.

Сыпались вслед ему минусы миссис Фиц-Джеральд, он бежал – и на полушаге, ни с того ни с сего, остановился как вкопанный. Бог знает, что пришло ему в голову и что вспомнилось – но он улыбался настежь, блаженно, радостно махал Краггсам шляпой.

Краггс пожал плечами:

– Просто – ненормальный...

И двинулся к дому – с одного пьедестала на другой, с другого на третий, по бесконечному ряду пьедесталов.

5

Лондон сбесился от солнца. Лондон мчался.

Прорвал плотину поток цилиндров, белых с громадными полями шляп, нетерпеливо раскрытых губ. Неистовым от весны стадом неслись слоно-автобусы и, пригнув голову, по-собачьи вынюхивали друг дружку. Голосами малиновыми, зелеными и оранжевыми орали плакаты: «Роллс-Ройс», «Вальс – мы вдвоем», «Автоматическое солнце». И везде между мелькающих ног, букв и колес – молниеносные мальчишки в белых воротничках, с экстренным выпуском.

Цилиндры, слоно-автобусы, Роллс-Ройс, автоматическое солнце – выпирали из берегов и, конечно, смыли бы и дома, и статуи полицейских на перекрестках, если бы не было стока вниз, в метрополитен и в подземные дороги: «трубы».

Лифты глотали одну порцию за другой, опускали в жаркое недро, и тут сбесившаяся кровь Лондона пульсировала и мчалась еще бешеней по бетонным гулким трубам.

Взбесившийся Лондон лился за город, в парки, на траву. Неслись, ехали, шли, в бесчисленных плетеных колясочках везли недавно произведенных младенцев. Миссис Лори сквозь прозрачайшие стекла окна наблюдала шествие бесчисленных колясочек по асфальту.

В окошко Краггсов встревоженной дробью стучала миссис Фиц-Джеральд:

– Миссис Лори! Послушайте, миссис Лори! Не у вас ли моя Анни? Нет? Ну, так и есть: опять помчалась за город с этим... Нет, вы счастливая, миссис Лори: у вас нет детей...

На мраморном челе миссис Лори было два легчайших темных прожилка-морщины, что, может быть, только свидетельствовало о подлинности мрамора. А может быть, это были единственные трещины в непорочнейшем мраморе.

– А где мистер Краггс? – обеспокоено поглядывала вверх одним глазом Фиц-Джеральд.

– Мистер Краггс? Он сказал, ему надо куда-то там по делам этого его общества – Борьбы с Пороком.

– Нет, вы такая счастливая, такая счастливая...

Миссис Лори прошла по столовой. Ножки одного из металлических стульев стояли вне предназначенных гнезд на ковре. Миссис Лори подвинула стул. Взошла наверх, в спальню, подняла штору, окошко открыто, спальня освежалась. Впрочем, миссис Лори была уверена, что окошко открыто, но почему-то надо было поднять штору, взглянуть.

Миссис Лори снова уселась в столовой и наблюдала шествие бесчисленных колясочек. А мистер Краггс – на лацкане белый крестик Апостола Общества Борьбы с Пороком – мистер Краггс где-то медленно мчался в гулких трубах. Чугунные веки опущены в экстренный выпуск: в три часа цеппелины замечены над Северным морем. Это было совершенно кстати.

«Превосходно, превосходно». Мистер Краггс предвкушал успех: атмосфера была подходящая.

И мистер Краггс решил использовать атмосферу – в Хэмпстэд-парке.

Хэмпстэд-парк до краев был налит шампанским: туман легкий, насквозь прозолоченный острыми искрами. По двое тесно на скамеечках, плечом к плечу, все ближе. Истлевало скучное платье, и из тела в тело струилось солнечное шампанское. И вот двое на зеленом шелке травы, прикрытые малиновым зонтиком: видны только ноги и кусочек кружева. В великолепной вселенной под малиновым зонтиком – закрывши глаза, пили сумасшедшее шампанское.

– Экстренный выпуск! В три часа зэппы над Северным морем!

Но под зонтиком – в малиновой вселенной – бессмертны: что за дело, что в другой, отдаленной вселенной будут убивать?

И мимо неслась карусель молниеносных мальчишек: собиратели окурков, продавцы экстренных выпусков, счастья, целующихся свинок, патентованных пилюль для мужчин. И трескучий петрушка, и пыхающие дымом машины на колесах с сосисками и каштанами, и стада цилиндров – гуськом, как неистовые от весны слоно-автobусы...

Пронзительный свист – нестерпимо, кнутом. И еще раз: кнутом. Высунулись головы из-под малинового зонтика, цилиндров, белых громадных шляп: на столе – чугунный монументик, стоял и свистел серьезно.

– Леди и джентльмены! – мистер Краггс перестал свистеть. – Леди и джентльмены, экстренный выпуск: зэппы над Северным морем. Леди и джентльмены, проверьте себя: готовы ли вы умереть? Смерть сегодня. Это вы умрете... нет, нет, не ваша соседка, а именно вы, прекрасная леди под малиновым зонтиком. Вы улыбаетесь, ваши зубы сверкают, но знаете ли вы, как улыбается череп? Остановитесь – только на секунду – проверьте себя: все ли вы сделали, что вам надо сделать до смерти? Вы – под малиновым зонтиком!

– Нет еще, они – не всё... – тоненьким голоском пискнул примолкший было петрушка.

Засмеялись. Засмеялась прекрасная леди, закрылась малиновым небом-зонтиком и явно для всех прижала колени к своему Адаму: они были одни в малиновой вселенной, и они были бессмертны, и парк до краев был полон острыми искрами.

Мистер Краггс кружил вокруг малиновой вселенной: из-под зонтика видны были черные дамские туфли и коричневые мужские. Коричневые мужские туфли и шелковые, синие, в коричневых горошках носки – все было явно очень высокого, дорогого сорта. Это заслуживало внимания.

Мистер Краггс гулял, неся впереди, на животе, громадные крабовые клешни и опустив веки. Опустив чугунные веки, мистер Краггс обедал, а за соседним столиком обедала прекрасная леди под малиновым зонтиком.

Она была вся налита сладким янтарным соком солнца: мучительно надо было, чтоб ее отпили хоть немного. Яблоко – в безветренный, душный вечер: уж налилось, прозрачнеет, задыхается – ах, скорее бы отломиться от ветки – и наземь.

Она встала, леди-Яблоко под малиновым зонтиком, и встал ее Адам – все равно, кто он: он только земля. Медленные, отягченные – поднялись на лиловеющий в сумерках холм, перевалили, медленно тонули в землю по ту сторону холма. Головы – один только малиновый зонтик, – и нету.

Мистер Краггс выждал минуту. Все так же что-то пряча под опущенными чугунными веками, взобрался на холм, огляделся – и с неожиданной для монументика крысиной прыткостью юркнул вниз.

Там, внизу, все быстро лохматело, все обрастало фиолетовой ночной шерстью: деревья, люди. Под душными шубами кустов нежные, обросшие звери часто дышали и шептались. Ошерстевший, неслышный, мистер Краггс шнырял по парку громадной, приснившейся крысой, сверкали лезвия – к ночи раскрывшиеся лезвия глаз на шерстяной морде, мистер Краггс запыхался. Малинового зонтика нигде не было.

«Лодка...» – клешни мистера Краггса сжались и ухватились за последнее: раз или два ему случалось найти в лодке.

Тихий, смоляной пруд. Пара лебедей посередине пронзительно белеет наготой. И вдали, под уютно нависшей ивою – лодка.

Мистер Краггс быстрее зашлепал по траве лапами. Лебеди все ближе, белее. На цыпочках, осторожно перегнулся через ствол ивы.

Лодка – внизу. Кругло темнел, прикрывая лица, мягкий лохматый зонтик, недавно еще малиновый – в одном конце лодки, а в другом – лебедино белели в темноте ноги.

Мистер Краггс вытер лицо платком, разжал клешни. Счастливо отдыхая, пролежал минуту – и, неслышный, шерстяной, на животе пополз вниз по скользкой глине.

– Добрый вечер, господа! – возле лодки встал монументик. Веки целомудренно опущены. Улыбались выпершие вперед нос, нижняя челюсть и губы.

Мелькнуло, пропало лебедино-белое. Вскрик. Зонтик выпрыгнул в воду и поплыл. Лохматый зверь выскочил из лодки на Краггса:

– Ч-черт! Какое – какое вы имеете... Да я вас просто – я вас...

Мистер Краггс улыбался, опустив веки. Страшные крабовые клешни разжались, заклепили руки Адама прекрасной леди-Яблоко – и Адам, пыхтя, забился в капкане. Мистер Краггс улыбался.

– Вы – пойдете – со мною – на ближайшую – полицейскую станцию. Вы и ваша дама, – я очень сожалею. Вы объявите там имена – свое и вашей дамы. И мы встретимся потом на суде: мне очень жаль говорить об этом. О, вы скажите леди, чтобы она перестала плакать: за нарушение нравственности в общественном месте – наказание вовсе не такое большое.

– Послушайте... ч-черт! Вы отпустите мои руки? Я вам говорю...

Но мистер Краггс держал крепко. Леди-Яблоко стояла теперь в песке на коленях, прикрывала лицо ладонями и, всхлипывая, несвязно умоляла. Мистер Краггс улыбался.

– Мне, право, очень жаль вас, моя дорогая леди. Вы еще так молоды – и фигурировать на суде...

– О, все что хотите – только не это! Ну хотите – хотите... – руки леди лебедино белели в лохматой темноте.

– Ну, хорошо: только – ради вас, очаровательная леди. Обещайте, что вы больше ни-ког-да...

– О, вы такой... милосердный... как бог. Обещаю вам – о, обещаю!

Одной клешней все еще держа обмякшего, убитого Адама, другою – Краггс вытащил свисток и вложил в рот:

– Вот видите: один шаг – и я свистну... – Он отпустил пленника. Оглядел его с шелковых носков до головы, прикинул на глаз – и коротко бросил:

– Пятьдесят гиней.

– Пятьдесят... гиней? – сделал тот шаг на Краггса.

Свисток Краггса заверещал – еще пока чуть слышно, но сейчас... Пленник остановился.

– Ну? У вас чековая книжка с собой? Я вам посвечу, – любезно предложил мистер Краггс, вытащил карманный электрический фонарик.

Пленник, скрипя зубами, писал чек в Лондон-Сити-энд-Мидланд-Бэнк. Леди остолбенелыми глазами плыла за своим зонтиком: зонтик медленно и навеки исчезал в лохматой темноте. Мистер Краггс, держа свисток в зубах, улыбался: два месяца были обеспечены. Пятьдесят гиней! Так везло мистеру Краггсу нечасто.

6

Темно. Дверь в соседнюю комнату прикрыта неплотно. Сквозь дверную щель – по потолку полоса света: ходят с лампой, что-то случилось. Полоса движется все быстрее, и темные стены – все дальше, в бесконечность, и эта комната – Лондон, и тысячи дверей, мечутся лампы, мечутся полосы по потолку. И может быть – все бред...

Что-то случилось. Черное небо над Лондоном – треснуло на кусочки: белые треугольники, квадраты, линии – безмолвный, геометрический бред прожекторов. Куда-то пронеслись стремглав ослепшие слоно-автобусы с потушенными огнями. По асфальту топот запоздалых пар – отчетливо – лихорадочный пульс – замер. Всюду захлопывались двери, гасли огни. И вот – выметенный мгновенной чумой, опустелый, гулкий, геометрический город: безмолвные купола, пирамиды, окружности, дуги, башни, зубцы.

Секунду тишина вспухала, истончалась, как мыльный пузырь, и – лопнула. Загудели, затопали издали бомбами чугунные ступни. Все выше, до неба, бредовое, обрубленное существо – ноги и брюхо – тупо; слепо вытопывало бомбами по кубическим муравьиным кочкам и муравьям внизу. Цеппелины...

Лифты не успевали глотать: муравьи сыпались вниз по запасным лестницам. Висли на подножках, с грохотом неслись в трубах – все равно куда, вылезали – все равно где. И толпились в бредовом подземном мире с нависшим бетонным небом, перепутанными пещерами, лестницами, солнцами, киосками, автоматами.

– Цеппелины над Лондоном! Экстра-экстренный выпуск! – шныряли механические, заводные мальчишки.

Мистер Краггс неся в вагоне стоя, держась за ремень, и не подымал глаз от экстренного выпуска. Цеппелины и шляпы все прибывали, сдвинули его с пьеде-

стала – вперед – к чьим-то коленям – колени дрожали. Мистер Краггс взглянул: леди-Яблоко.

– Ах, вот как? И вы здесь? Очень приятно, очень... Прошу извинения: так тесно... – мистер Краггс снял цилиндр с улыбкой.

Леди-Яблоко была одна. Леди-Яблоко ответила мистру Краггсу улыбкой, тупо-покорной.

В левом внутреннем кармане мистера Краггса лежал чек на пятьдесят гиней и грел сердце мистера Краггса. Мистер Краггс любезно шутил.

– Мы, как древние христиане, вынуждены спастись в катакомбах. Не правда ли, мисс, очень забавно?

Мисс должна была смеяться – и не могла. Из всех сил – и, наконец, засмеялась, вышло что-то нелепое, неприлично-громкое, на весь вагон. Со всех сторон оборачивались. Мистер Краггс, приподняв цилиндр, торопливо продвигался вперед...

– Гаммерсми! Поезд нейдет дальше! – кондуктор звякнул дверью, полились из вагона.

Сверху, сквозь колодцы лифтов и лестниц, был слышен глухой чугунный гул. Цилиндры и огромные, наискось надетые, шляпы – остались на платформе, влипли в ослепительно-белые стены, слились с малиновыми и зелеными плакатами, с неподвижно мчащимися лицами на автомобиле «Роллс-Ройс», с «Автоматическим солнцем». В белых кафельных катакомбах спасалась толпа странных плакатных христиан.

Леди-Яблоко потерянно огляделась, зацепилась глазами за единственную знакомую фигуру – со сложенными на животе клешнями и вышлепывающими лапами – и механически, во сне, вошла в лифт вместе с Краггсом. Лифт понес их наверх, на улицу.

Там, в черном небе, мелькали белые треугольники, линии, неслись с топотом и гулом глухие черепахи-дома, деревья. Леди-Яблоко догнала Краггса:

– Послушайте... Простите... Не можете ли вы меня, ради Бога, куда-нибудь... Мне надо было в Лейстер-Сквэре, я ничего не понимаю...

Чугунный монументик остановился устойчиво на секунду, века. Из-под опущенных век в темноте – лезвия глаз:

– Право, я очень сожалею. Но я тороплюсь домой. И кроме того... – мистер Краггс неслышно смеялся, это было просто смешно – только подумать он – и... и... какая-то...

Перпендикулярно над головой, в истончающейся тишине, стрекотал громадный шершень. Мистер Краггс торопился: Лори была одна. Он быстро вышлепывал лапами по асфальту. Показалось, чек перестал шевелиться в кармане, мистер Краггс приостановился пощупать – и услышал дробные, дрожащие шажки сзади: издали к нему бежала тень, как потерянная, бесхозная собачка, робко, униженно.

Стало ясно: эта... эта женщина пойдет за ним до самых дверей, будет стоять всю ночь или сидеть на ступеньках, и вообще – что-то нелепое, как во сне.

Мистер Краггс вытер платком лоб, через плечо покосившись назад – юркнул в первый темный переулок: попасть в дом со двора.

Ощупью, по выщербленным в верее кирпичам, мистер Краггс разыскал свою калитку и стукнул. В темном окне спальни неясно пробелело лицо – это было явно лицо миссис Лори. Миссис Лори размахнулась и что-то бросила из окна. Что бы это все значило?

Мистер Краггс долго стучал, стучал все громче – на всю Аббатскую улицу – но калитка не открывалась. Мистер Краггс обсуждал положение и старался вытащить из головы хоть что-нибудь удобопонятное, как вдруг топнули совсем рядом, тут, чугунные ступни, задребезжали верешки стекол, свалился цилиндр мистера Краггса, и, ловя цилиндр, монументик упал на асфальт.

7

По воскресеньям, когда мистера Краггса не было дома, миссис Лори принимала у себя мать и сестру.

В сумерках – они приходили из Уайт-Чэпеля, стучали тихонько в заднюю калитку и через кухню шли в столовую. В металлической столовой они садились на краешек стула, в шляпах пили чай, съедали по одному кусочку кекса.

– Ну, пожалуйста, милые, берите: у меня в буфете – другой такой же, целый... – миссис Лори торжествующе открывала буфет.

– Нет, спасибо. Право же... – Гости глотали слюну и, сидя на краешке, одним ухом вслушивались за окошко, чтобы не прозевать знакомого вышлепыванья лап и вовремя исчезнуть в кухню. Но слышался только шорох по асфальту бесчисленных плетеных колясочек.

– Счастливая вы, Лори... – вздыхали гости, любуясь. – Помнишь, как ты, бывало, с нами на рынке... А теперь...

Мрамор миссис Лори розовел: это так нужно – извне получить подтверждение, что ты – счастливая...

Втроем шли в спальню. Миссис Лори зажигала свет, сияли хрустальные подвески, блестели глаза. На кровати, на стульях – невообразимо кружевное, и белое, и паутинное.

– Ну, Лори, пожалуйста. В белом вы, должно быть, прямо – королева.

Миссис Лори раздевалась за ширмой. Вышла – в черных чулках и в туфлях и в тончайшем белом: теплый мрамор миссис Лори чуть-чуть розовел сквозь белое, переливались, розовея, хрустальные подвески, и быстро колыхалась розовая занавесь на губах миссис Лори: вот-вот раздунется ветром.

– Счастливая вы, Лори, – вздыхали гости, любуясь.

Внизу кто-то стучал в дверь. У всех трех – одно: Краггс.

– Господи, уж темно, давно пора домой, – вскочили гости.

Миссис Лори наспех накинула утренний белый халат, проводила мать и сестру через черный ход и открыла дверь.

Но это был не Краггс: в дверях стоял со свертком беловоротничковый мальчишка и будто наивно так – шмурыгал носом, но один мышиный глаз хитро прищурен.

– Вам, мадам, – подал он сверток.

В свертке, как и прошлое воскресенье, был букет чайных роз, с оттопыренными, отогнутыми по краям лепестками.

Миссис Лори вспыхнула.

– Отдайте назад, – сердито ткнула она букет мальчишке.

Мальчишка прищурил глаз еще больше:

– Ну-у, куда же: магазин не примет, деньги уплочены.

Миссис Лори побежала с букетом в спальню. Розы были очень спелые, лепестки сыпались по лестнице, мис-

сис Лори растерянно оглядывалась. Сунула букет под кружевной ворох на столе и, собирая по пути лепестки со ступеней, пошла вниз. Протянула три пенса мальчишке, стараясь глядеть вверх – мимо понимающе-прищуренного мышиного глаза.

Там, вверху, было черное мозаичное небо – из белых ползающих треугольников и квадратов.

– Ну, да, конечно: зэппы летят, – весело ответил мальчишка поднятым бровям миссис Лори. – То и гляди начнут. Спасибо, мадам... – и нырнул в темноту.

Миссис Лори спустила жалюзи в столовой и – вся в металлическом сиянии – торопилась уложить знаменитые ложки, каждую в соответствующий футлярчик: надо было скорей, пока еще не начали. На шестой ложечке, с тремя замками – герб города Ньюкастля – ухнуло глухо. Ложечка с тремя замками осталась лежать на столе, рядом с пустым футляром.

Тупые чугунные ступни с грохотом вытопывали – по домам, по людям – все ближе. Еще шаг – и мир миссис Лори рухнет: Крагтс, ложечки, невообразимо кружевное...

Жить – еще пять минут. И надо – самое главное.

«Букет... Самое главное – выкинуть букет...» – очень торопилась сказать себе миссис Лори.

В спальне – выхватила букет из-под кружевной груды.

«Ну да, во двор. К нему же во двор, чтобы он...»

Она высунулась в окно, размахнулась. Пронеслось совсем близко бредовое геометрическое небо – и черная, вырезанная из качающегося картона фигура на соседнем дворе. Миссис Лори со злостью бросила прямо в лицо ему букет и услышала – может быть, в бреду – такой смешной, детский, хлюпающий плач.

Топнуло тут, рядом; задребезжали верешки стекол; валилось; рушился мир миссис Лори, ложечки, кружевное.

– Бэйли! Бэйли! – разрушенная миссис Лори стремглав летела по лестнице вниз во двор.

Мелькнуло бредовое небо. Мелькнула под забором черная, нелепо тонкая фигура. И нежные, как у жеребенка, губы раздвинули занавесь на губах миссис Лори. Жить еще минуту.

На асфальте, усеянном угольной пылью, жили минуту, век, в бессмертной малиновой вселенной. В калитку сту-

чали, стучали. Но в далекой малиновой вселенной не было слышно.

Электрические лампы потухли. Запинаясь лапами в лохматой темноте и раздавливая верешки стекол, мистер Краггс долго бродил по комнатам и звал:

– Лори! Да где же вы, Лори?

Чугунные ступни, ухая, уходили к югу, затихали. Мистер Краггс нашел наконец свечку, побежал наверх, в спальню.

И почти следом за ним на пороге явилась миссис Лори.

– Господи! Где вы были? – повернулся на пьедестале мистер Краггс. – Цилиндр... понимаете, сбило цилиндр... – Мистер Краггс поднял свечу и раскрыл рот: белый утренний халат миссис Лори – расстегнут, и тончайшее белое под ним – изорвано и все в угольной пыли. На ресницах – слезы, а губы...

Занавеси не было.

– Что с вами? Вы... вы не ранены, Лори?

– Да... То есть нет. О, нет! – засмеялась миссис Лори. – Я только... Выйдите на минутку, я сейчас переоденусь и спущусь в столовую. Кажется, уже все кончилось.

Миссис Лори переоделась, тщательно собрала лепестки с полу, уложила их в конвертик, конвертик – в шкапулку. Чугунные ступни затихли где-то на юге. Все кончилось.



ТУЛУМБАС

Послание смиренного Замутия, епископа обезьянского

Возлюбленные братья обезьяне! Оставим скорбь и успокоим сердца наши, усердные о вере. Как самовидец свидетельствую ныне: все слухи о нечестии и безбожии в земле Алатырской – суть истинная ложь, которую лишь горькоумные именуют правдой. И более того скажу вам, возлюбленные братья: умиленные слезы я пролил здесь, ибо нет под солнцем земли столь ревнующей о спасении душ и о погублении здешней, тленной жизни – ради грядущей, нетленной. Чаемое явилось во плоти: вся земля Алатырская объявлена единой ставропигиальной обителью, и все жители от мала до велика приняли постриг, а иные и большую печать, и жизнь их – подлинным стала житием.

Нет уже велелепия, и кимвалов, и тщеты мирской, но во всем скудота изящная и убожество, какое инокам надлежит. Памятуя, что украшение телесное есть веселие князю тьмы, жители здесь ходят во вретницах, рубищах, власяницах. И не умащают себя благовонными маслами, подобно язычникам, и не украшают золотом и каменiem драгоценным, но напротив того, презирая плоть, бегают даже водного омовения, ибо чистота душевная – вяще телесной и нежность плоти от бани – пагуба есть. Мудростью трапезных старцев жители-иноки блюдут здесь непрерывный и строгий пост: не только мяса не приемлют, но и рыбы, елей же – однажды в год. Вина же и ликера, разжигающих блудную похоть, рождающих смех и веселие, и скакание бесовское, – не ведают во-все, и старцы строгой казнью казнят, если кто от мирян

принесет в обитель вина. Видел я еще некоторых иноков, тайно воскурящих курение дьяволу табаком – проклятым зельем, произросшим от Саврасиева мерзкого удища; но и о том старцы сказывали, что, по прошествии недолгого времени, прекратят эту скверну, ибо к чему поганить поганой травой Божию землю, когда может она произрастать хлебный злак?

Так воздержанием от всех прелестей мирских борют князя тьмы, но и о молитве помнят. – Мало просвещен я, и темен для меня язык здесь, и темны слова песнопений их. Но вот солнце зайдет, и мимо иду келий, и с умилением сердечным вижу согласные, как и встарь, ряды иноков-воинов и слышу согласное, молитвенное, как и встарь, пение. И тоже молитвенное пение радостию наполняет сердце, когда стекаются иноки слушать проповедь старцев, и все набожно снимают скуфейки; буде же невежественный чужеземец или мирянин нечестивый в шапке стоит, то иноки, ревнуя о вере, заушают нечестивца, как некогда Ария злоумного. Истинно, хвала Создателю, еще не оскудело здесь благочестие! И иконы святые чтут, как и отцы их. На стенах келий, и в трапезных, и в общих храминах – повсюду увидите вы, возлюбленные братья, лики святых, хотя и в простых, по бедности обители, киотах; но простые те киоты благочестиво изукрашены цветами и травами.

Добродетели иноческие, издревле заповеданные: смирение и послушание терпеливое – украшают братию Алатырскую, как бы звезды темную одежду ночную. В послушании терпеливом мудро содержат иноков старцы, и на всякое слово старца иноки отвечают: аминь, хотя бы сказал, испытывая инока старец, что не два ока у него, но три. И нет здесь, как в иных, языческих, землях, пагубного разномыслия и разноглаголения, но все – поистине стадо, единое. Многих иноков, немалого ума, видел я несущих тяжкий подвиг молчальников, но не ведаю: своей ли волей запечатали они себе уста или старцами наложено на них послушание молчаливое. Мнится мне, что так, ибо ведаю мудрой страх старцев, блюдущих стадо свое от слов умного соблазна. И не лучше ли одному запечатать уста, нежели тысячу погубить, посеяв в души их суетное мудрование и сомнение еретическое?

Так в трудах и добродетели, в непрестанном посте, в смирении и послушании – проводят иноки дни здешней своей, временной, жизни. И веселится сердце, не видя веселия, но лишь сокрушение и плач: ибо веселящиеся здесь – там восплачут, и здесь сокрушающиеся – там возвеселятся. И не это ли истинное благочестие? Не это ли образ иноческого жития? Не это ли венец добролюбия христианского?

Возрадуйтесь же со мною, возлюбленные обезьяне: не безверие умной гордыни, но смиренная вера, не нечестие, но честное иноческое житие в здешней земле – и я, смиренный Замутий, тому нелицемерный свидетель.

1921



СЕВЕР

Происходит так: солнце летит все медленнее, медленнее, повисло неподвижно. И все стоит закованное, залитое навек в зеленоватое стекло. Недалеко от берега на черном камне чайка распластала крылья, присела для взлета – и всегда будет сидеть на черном камне. Над трубой салогрейного завода закаленел, повис клубок дыма. Белоголовый мальчишка-зуёк перегнулся через борт сполоснуть руки в воде – остался так, застыл.

Минуту все стоит стеклянное, эта минута – ночь. И вот чуть приметно шевельнулось солнце. Напружилось – еще чуть – стронуло, и все – вдребезги: брызнули в море разноцветные верешки; чайка оторвалась от камня, и откуда-то их сразу сотни розовых, пронзительных; оранжевый дым летит; белоголовый зуёк испуганно вынырнул из дяденькиных сапог – и скорей за работу.

День в полном ходу. И тут сверху, из собственной конторы спускается в лавку хозяин, Кортوما: веселый, дымит коротенькой трубочкой, скулы медно сияют.

Жёнки из становища пришли к Кортومه за мукой, за солью. Сам, собственноручно, всякой записывает долг в зелененькую книжку: все тут – у Кортомы в зелененькой книжке. И милостиво королюет Кортوما, милостиво шутит с жёнками.

– Эй ты, холмогорка, чего у тебя за пазухой-то напхато? Вот ведь: только чуть отвернись... Ничего, говоришь? А ну, ну, дай-кось...

У холмогорки грудь – горячая, ёрзкая. И вот никак Кортوما не вспомнит: была ли, нет ли у него наверху, в собственной конторе? На всякий случай ставит Кортوما в книжечке метку: букву Н.

В углу холмогорка – вся кумач – застегивает кумачовую кофту. Бабка Матрена-Плясея, широкая, теплая – русская печь-мать, помогает холмогорке, уговаривает ее, как дите:

– Шолчи-молчи, ш-ш... Ведь все на местах осталось, ну? Чего южишь мухой?

Бабке Матрене товар выдается без записи: с бабкой Матреной у Кортомы свои, особые счета...

На столе в конторе – самовар: скуластый, руки в боки – кирпичом натерт – сияет. В сияющем самоварном брюхе – по-своему, самоварному, приплюснуто, перевернуто – отражен весь мир. И на своем, самоварном языке – самовар, несомненно, мыслит:

«Мир – мой. Мир – во мне. И что бы без меня стал делать мир?»

Самовар милостиво ухмыляется миру...

Перед самоваром – Кортома. Кортома в самоваре – как в зеркале: приплюснутый, широкоскулый, медно-добродушный. Самовар в Кортоме – как в зеркале: рылостый, веселый, бьет день и ночь белым ключом, попыхивает белым дымком.

Самовар благодетельствует Кортому чаем. Кортома проводит долги по бухгалтерским книгам. Счета у Кортомы – в строгом порядке, не как-нибудь, а по тройной бухгалтерии.

– Пора жить согласно западноевропейским народам, – такая есть у Кортомы поговорка.

В синем вязаном тельнике Кортоме жарко, пот градом. Вытаскивает из штанов батистовый носовой платочек, завернутый в газетную бумагу (в кармане грязно), вытирает медные скулы, опорожняет двумя пальцами нос, потом – батистовым платочком, и вновь аккуратно завернут батистовый платочек в газетную бумагу.

Против одной фамилии в дебете Кортома ставит букву Н, подумавши, скащивает со счета один рубль – и милостиво ухмыляется миру.

Сзади почтительно дожидается приказчик, Иван Скитский – из скитов беглый. Голова не на плечах, как у всех, а в плечи закопана – выглядывает мышью, из норы:

– Степка-зуёк в чану заснул... Потеха! Пожалуйте поглядеть...

– О? Ну, пусть подождут: я – сейчас.

Зуёк Степка, наживодчик, наживлял снасти всю ночь – и вот скапутился: все бросил, залез в дырявый салогрейный чан на берегу, и на корточках – одни сапоги дяденькины да голова льняная – похрапывал. Собрались со всего берега к чану. Кликали – не слышал Степка, жеребцами ржали – не слышал Степка: в чану на корточках похрапывал.

Приказчик, Иван Скитский, прикрыл чан досками, пригнёл пудовыми гирями, угрозоздился сверху – и пошла потеха.

– Давай, ребята!

Стали, как на пожаре, цепью, ведро за ведром по цепи – и в чан, где Степка. Степка вскочил, ткнулся: в клетке, и вода хлобыщет, и ничего не понять спросонья.

Заколотился, заревел лихоматно:

– Ой, батюшки, где я? Ой, дяденька! Ой, пустите!

А дяденька Марей – тут, сзади. Такой же льняноволосый, как Степка, и Бог его знает, много ли старше Степки. Саженный, плечистый, а глаза – ребячьи, синие – на чаек разинул: вот первый раз в жизни увидел чаек.

Уже перестал звать Степка и чуть слышно скулил пощеньячьи через нос – тут только Марей услышал. Залился красным – уши красные, шея красная – плечами, локтями пропахал сквозь народ, выхватил ведро у приказчика, гири с досок долой.

Приказчик ощерился:

– Ты что? Вежливец тоже нашелся! Твое какое дело? Видишь – хозяин тут? Ну – стало быть, и знай свое место...

И плюхнул еще ведро в чан – на Степку, на Марееву, нагнутую над чаном, голову.

Одной рукой Марей выхватил из чана Степку – мокрый, как щенок, трясется, – другой рукой Ивана Скитского за ноги да в чан.

Здоровые зубастые рты рыгают смехом, Корторма сияет добродушно-медно, в чану – фырк, визг.

Приказчик, Иван Скитский, выцарапался. Льют ручьи. Облепленный, щуплый – щерится снизу на Марея беззубыми деснами – и вот сейчас кинется...

– Звездани его, Ванька! Ну-ка?

Иван Скитский поднял кулак, поглядел на саженные Мареевы плечи – опустил кулак.

– Погоди-и! Ла-адно! Удружу, дай-ка! – нырнул в свою норь – в плечи, нырнул между ног в толпу.

Представление кончено. Нехотя расходятся по местам: пластать треску, набивать корзины тресковой печенью, на спине носить на салогрейню к Кортومه.

Кортома перед уходом сунул двугривенный мокрому, хныкающему Степке – и на своем, самоварном, языке мыслит:

«Доволен, поди, мальчонка: двугривенные-то не каждый день...»

Неизвестно когда – а только проглотил кит пророка Иону. А с неба голос и говорит:

– Не смей пророком питаться! Выплюнь обратно!

И опять добычу искать неохота, а и послушаться боязно. Три дня годил кит – на четвертый день выплюнул Иону. И в награду за послушание определено было киту жить бессмертно.

И живет. Страшный, громадный стал, вся спина от старости заросла зеленым мхом, кустищами. И никто не трогал: всем известно – тот самый это кит Ионыч, какому определено жить бессмертно.

А только нашелся такой отчаянный русский китобой – пустил киту в спину гарпун. Как обернется кит – ам! – и проглотил шкуну со всей командой. И по сю пору живет команда во чреве китовом и грех отмаливает. Кто если замолит грех – того кит выкинет, и пойдет выкинутый, где-нибудь в лесах скрытником поселится: мудрый – из чрева китова. Молится, радуется летнему незаходящему солнцу, радуется зимней ночи незаходящей, радуется грешным и праведным, радуется смерти – когда смерть придет...

За становищем, где дороги расходятся вправо и влево, на самом разулочьи – развалюшка-часовня; возле часовни – землянка, в землянке – старец Иван Романыч; может, сто годов ему, может, – двести.

Выполз из землянки, стоит – козырьком руку к глазам, капельный, ряска зелененькая, в руках – шапка-мурмолка, на голове – пушок белый: дунь – облетит, как одуванчик.

Заря. На кончиках зеленых сосновых игол – росины, в росинах – розовые и зеленые огоньки. Слава Богу: заря! Солнце все выше, небо синее. На синем – две желтых бабочки-крушинницы кружатся одна около другой, склеились, полетели – одно.

Из-под руки глядит старец Иван Романыч и улыбается: слава Богу...

Еще мальчишкой Марей был вроде Степки, еще Марюшкой его кликали. И вышло с ним происшествие.

Сидел Марюшка над Тунежмой, ловил рыбу на поддев. Шумела, бежала Тунежма по острым камням, баюкала, старинки сказывала. И заслушался ли, засмотрелся ли, – а только ухнул в воду мальчишка. Пришла мать звать обедать, а от Марюшки только и осталось: уда над водой в камушках заткнута.

– Ой, батюшки, ой, утоп Марюшка, в омут утянуло!

Прибежали, вытащили: синий. Ну все-таки откачали кой-как, отживел. А только балухманный какой-то стал, все один, и глядит – не глядит, не на тебя – мимо, и кто его знает, что видит.

Повела мать-покойница Марея к старцу Ивану Романычу.

– Батюшка, Иван Романыч, что мне с ним делать? Приговори, присоветуй. Вовсе некулёмый малый растет...

– Ну и слава Богу, слава Богу...

Стоит Иван Романыч капельный, в руках шапка-мурмолка, приложил руку к глазам.

– Был, мать, твой младень на том свете, а вот откачали – и позабыл, вспомнить бы – а не может. Ничего-о, вспомнит! Иди, мать, с Богом...

И по сю пору любимое Мареево место – где мальчишкой топ: под камнем, над белокипенной Тунежмой.

Уж, должно быть, давно дергала рыба, уда гнулась дугой. Марей не слышал, все о чем-то о своем. И давно

с того берега глядела – просунулась между густо-зеленых можжевельных кустов чья-то рыжая голова, высунулась по грудь, нарочно зашуршала листьям: беловолосый младень-богатырь по-прежнему глядит мимо, не слышит, все о своем. Схватила камень, швырнула, плеснул камень воду у самых Мареевых ног.

Марей вздрогнул, выпустил уд из рук – схватило, завертело – уж далеко в белой пене тоненькой хворостинкой. И далеко между сосен на том берегу мелькает рыжее – как на сосновых стволах от солнца – пятно.

Пропало. Кипит, шепчет Тунежма, унесла уд: никогда не вернется.

На руке – перчатка. А вот – сняли, и лежит перчатка на конторке, будто и та же, а не та: не живая, вынуто нутро. И такая за конторкой Кортомиха: нутро вынуто – и запали навсегда щеки, запала грудь. А шляпка – розовая с цветами, и еще больнее глядеть от розовой шляпки. И между двух запавших по углам губ морщинок – веселая улыбка: еще больней от улыбки.

Кортомиха выходила в лавку нарядная, в розовой шляпе, в перчатках, в улыбке. Такой ей был приказ мужнин: – Пусть все видят: ты, мол, не кто-нибудь.

Но нарядная Кортомиха редко показывалась: больше наверху, на своем рундучке, у дверей конторы, и только уж разве особенное что.

Такое особенное вышло нынче: лопари пришли. Уж, пожалуй, года два не были, а нынче пришли. И первым делом к Кортоме в лавку: менять пушнину на соль, на ситец.

Народу – со всего становища, и в лавке и перед лавкой: ярмарка, говор, торг. Тутешние девки из угла глазели – тяжелые, медленные. Встанет на цыпочки какая, покажет белобрысую голову – что нерпа из моря выставила. А лопские – чернявые, верткие, юркие – как рыбная молодежь на мелководьи под солнцем, и только зайчиком мелькает рыжая голова среди черных.

– Эй ты, красотка, рыжая! А ну, поближе? Не бойсь, не съем, – скулы у Кортомы медно сияют, раздвигаются шире.

– Не подавись гляди!

Перед прилавком, закинула рыжую голову, прямая, как из земли зеленая былка, и не щербатый пол под ногами – земля и мох, и белые корни – босые ноги – крепко в земле.

У Кормомы в руках кусок травянисто-зеленого ситцу. Ловкой рукой – в складочки, оборочки – и приложил рыжей пониже шеи: рыжее – зеленое – эх!

Расправлял складочки на груди, поглаживал, сквозь ситец зацепил: как молоденькая еловая шишечка, как неспелая, еще чуть розовая, морошка.

На прилавке – железный аршин. Сверкнула рыжая – аршином хлясть вверх по руке, по кости по самой.

И в ту же секунду Кормомиха, не спускавшая глаз, мелькнула розовой шляпкой – и тут: загородила запалыми, пустыми руками, и собой, и шляпкой, схватила мужнину руку.

– Голубчик мой, да что же это... мерзавка этакая! Больно? А?

Нет, подумать: его, единственного в мире, Кормому! Поглаживала руку.

В лавке хихикали. Кормома стряхнул с себя Кормомиху – и она отвалилась на прилавок – снятая с руки, запалая, пустая перчатка.

На Ивана-Купалу – жарынь. Берег, красный камень гранит, стал горячий, снизу поднималась темная земляная кровь. Острый, нестерпимый запах птиц, трески, гниющих зеленых морских косм. Сквозь туман – огромное румяное солнце, все ближе. И навстречу – наливается море темной кровью, навстречу – в море набухают, дыбятся белые груди.

Ночь. Выход из бухты между двух скал – окошко. От любопытного глаза окошко завешено белой шторой – белый, шерстяной туман. И только видно: там, за шторой, происходит красное.

В становище никого нет. Черные дыры в тумане – раскрытые окна пустых изб. Все – на том берегу, за Тунежмой. Там, на поляне с притоптанным белым мхом, еще белее, жемчужней туман – дымные столбы от кост-

ров. Тихо тренькает трехструнка, и кружатся фигуры в тумане, приходят, уходят в туман. Лопские парни – с медленными, белыми здешними девками, здешние – с черными лопками, и среди черных – рыжее, быстрое – как от солнца на сосновом стволе – пятно.

Сам Кормома здесь. Стоит – руки в боки, пуфф, пуфф, – от трубочки сизый дымок. Эх, обхватить бы крепко горячее девичье тело и кружиться до одури... Но нельзя: Кормома – не кто-нибудь. И чуванился, медленно вытаскивал завернутый в бумажку платок, цедил слова.

– Да что ж: все от самого человека зависит. Когда я ступил сюда первой ногой – кто я был? Так – паршь, зуёк, вроде Степки, а теперь – да-а... Надо жить согласно западноевропейским народам, видеть образованные города. Вот, мы скажем, Питер...

Да, Кормома – это человек: все видал. И слушают молча. Разинутые рты и глаза. Зуёк Степка: одна голова из бездонных дяденькиных сапог. И Марей: синие ребячьи глаза, белые волосы, пухлые губы, как у Степки, и страшные саженные плечи – младень-богатырь.

– Ну а сколько же, например, улиц-то в Питере? – Марей жадно глядит в рот Кормоме.

– Ну что ж, улиц сорок, а может, и пятьдесят... – надувает щеки Кормома – пуфф, пуфф!

Бог знает, есть ли в самом деле такой город, чтобы пятьдесят улиц, и всё дома, дома, люди. И как же там не заблудятся в улицах? Ведь это – не лес, в лесу всякое дерево, и мох на коре, и мочежины, и камни – все разное, только глаза разуй, а там – как же, в городе-то?

Все изумленней, все шире синие ребячьи глаза, Марей далеко: в Питере. И не видит: рыжая лопка прошла мимо раз и другой. На рыжей – можжевельный венок: нынче Купала. Возле – неотступная стайка парней. Может быть, она пахнет чем-нибудь особенным – зелеными иглами, морской птицей – тянут на запах, бегут по следу.

– А, надоели, ну вас! – рыжая села на камушке недалеко. Да, должно быть, послушать Кормому. Кормома медно сияет скулами, попыхивает трубочкой – будто и нет рыжей – и важно молчит: Кормома знает себе цену...

Торопится трехструнка, быстрее пары на белом лугу, чаще дыхание. Пошатываются дымные белые столбы. Неслышно, пара за парой, исчезают в туман или, может быть, в пуховый, белый лес там, за туманом – и задерживается белая штора.

Дымит трубочкой Кортوما:

– А вот тоже – фонарь, ночью, по самой середке, надо всем городом – фонарина... Бож-же мой! Ну чисто вот днем... куда: днем! Ночью, и зиму и лето, все до камушка видать, всякую травинку...

Торопится трехструнка, чаще дыхание.

– Слышишь, говорю: пойдем со мной в круг! – у самых Мареевых глаз зеленый венчик на рыжем, уж, должно быть, давно она дергает за рукав.

– Да ну-у, погоди... Дай послушать... – далеко Марей: в Питере.

В стайке парней хихикнули. Рыжая вспыхнула, бросила Мареев рукав, юркнула в туман.

Но сейчас же вернулась: про самое главное-то и забыла. Подошла к Кортومه, взяла за руку:

– А не очень я тебя тогда аршином-то? Ну-ка, дай? – поглядела, погладила ему на руке шишку, улыбнулась – беличьи зубы, острые, сладкие, злые. Чуть приметно подергивает плечами, покачивается в такт трехструнке.

– Эх, потряхнуть разве? – Кортума не вытерпел, обхватил ее – да куда: ящеркой нырнула из рук – в двух шагах покачивается: дразнит. И нарочно перед самым носом у Кортомы протянула руки какому-то парню – и уж чуть видно ярко-рыжее, как от солнца, пятно сквозь густую занавеску тумана.

Больше не вернулась: перекружилась ли и пошла домой или была в белом пуховом лесу там, за туманом – кто знает?

Еще раз Марей встретил ее утром. С тяжелой отцовской пищалью шел на промысел; глядь – оттуда, где Тунежма, гонит она молоденького гнедого оленя.

– Эй, здравствуй! – крикнул Марей издали.

Олень повернул коричневую, туго обтянутую морду, но рыжая не слыхала: не оглянулась. Или, может быть, очень торопилась домой: подстегнула оленя, побежала за оленем еще быстрее.

Уж который день дуло с Летнего берега, угнало в океан всю наживу, лова не было. А нынче – повернуло, загудел полунощик, заплюхали пухлые волны – и опять, не разгибаясь, зуёк Степка сидел, наживлял яруса.

Бездонные дяденькины бахилы, над бахилами белая голова, и на правом ухе, самое где мочка, – запеклась кровь. Нет-нет да и вспомнит Степка и опять тронет ухо.

А ему сзади гогочут:

– Ой, Степка, легче! Ой, совсем оторвешь: на волосинке держится.

А может, и правда? Каково корноухому жить? И по чумазой морденке, как осенью по запотевшему стеклу, ползут неслышные капли.

Марей супится: это все Ванька Скитский – ухо-то мальчонке оторвал. За тогдашнее, нарочно, Марейю на-прекосердьё. Ну ладно: дай срок...

Плюхают беляки в берег. Нескладно, враздробь пляшут мачты. На сером небе кружатся чайки белыми хлопьями. Косыми серыми парусами проносится дождь, в небе – синие прорехи, яснее.

Холодный серебряный вечер. Вверху – месяц, и внизу, в воде, месяц, а кругом – оклад старого, кованного чешуйками серебра. Чеканены по серебру – черные, молчаливые карбаса, черные иголки-мачты, черные человечки – мечут в серебро невидимый ярус. И только плеснет весело, проскрипит уключина, прыгнет пружинной – плашмя шлепнется рыба.

У Марей – свой ярус, отцовский, принаследный. Далеко не выезжал, ставил тут, у берега. Рука – привычная, сама по себе, мерно сеет снасть за бортом. А голова – сама по себе, над серебряным зеркалом, а в зеркале – улицы, улицы, может – сорок, может – пятьдесят, и надо всем – фонарь, как солнце...

Ярусам – лежать всю ночь. Ночевать – дальние в своих посудинах ночевали, ближние – съехали на берег. А чуть заиграло солнце, закричали чайки, из черного стал розовым берег – опять в море: яруса тянуть.

Стал Марей наматывать бечевку: легко идет, вовсе пустая. Сердито посмотрел на Степку.

– Все со своим ухом нёхался, паршивец! Наживил вот! Погоди, на берег съедем...

– Да я, кубыть, ничего... Я, дяденька, ей-Богу... – Степка нынче сияет: ухо приросло, воть хоть изо всех сил тyani: ничегошеньки.

Вымотал Марей еще больше: легко все так же. Еще немного – и обомлел: крючки на ярусе были срезаны, все до одного.

А у других – лов был хороший. Красные дубленые руки выгребали рыбу, на берегу росли серебряные груды. И только Марей вернулся ни с чем.

Кучей набились в Мареев карбас, оглядывали, щупали, крутили между пальцев его яруса. Крепко, солено ругались.

– Это что же: нынче – у Марей, завтра – у тебя, этак и пойдет? Вызнать надо этого человека, камень на шею – да в воду.

Супился Марей, поглядывал на Степку: нет-нет и потянет себя Степка за ухо, приросло, слава Богу! Ухо, крючки... ладно! Но пока, до времени, Марей молчал, чтобы зря не клепать на человека.

– Это уж ты, Марей, как хочешь, а чтобы выследил вора. А то это что же: и будем все друг на дружку ко-соуриться?

– Да уж чего там. У меня не уйдет...

Одна, и другая, и третья серебряная ночь. Подряд три серебряных ночи, глаз не смыкая, Марей стерег вора. И никого. Помалу обида на дно отсела, стало жалко. Ну Степка, ну крючки: верно. А ведь поймается – не утопят его, так все равно кулаками насмерть утробають. Жалко. А и покрыть его – нельзя – такое дело...

С берега из-за камня – Марейю как на ладони: серебряная тропка, и по серебру бегут вдаль, качаются – вверх, вниз – черные точки, поплавки от яруса. На минуту заскочит месяц за облако – пропал, ничего не видать. И опять: вверх – вниз, вниз – вверх черные точки, инда резь в глазах, сами собой закрываются.

И так уж, еле-еле, вполглаза увидел: выходит из лесу гнедой олень. К Марею подошел да и говорит, – а голос у него Ивана Скитского:

– Не губи ты меня, Марей, я ведь – из Питера!

Проснулся Марей, вскочил, зырк-зырк кругом: никакого оленя, а по воде весла полощут чуть слышно, и уж далеко влево – еле чернеет – стружок, приткнулся к берегу за камнями.

Эх, проспал! Такое зло взяло. И что жалко, и что убьют человека – все забыл, и уж просто как за дичью – ползком, и на четвереньках, и во весь дух наперерез...

Длинная каменная плешина в лесу. Лес – сзади, лес – впереди перед Мареем, а середина – голая под месяцем.

Марей – в тени под кустом. Глаза и уши – как бритва, сердце молотит. Оттуда, с той стороны плешины, все ближе, все слышнее по лесу легкий, сторожкий хруст. Идет...

Где-нибудь вот тут, в двадцати шагах, через плешину. Вот слышать: остановился, стал забирать влево – и влево на брюхе пополз Марей. Запутался ружьем в валежине, дернул, хрустнуло, замер. И тот – по другую сторону плешины – затих. Залегли оба, ждали: кто первый выйдет на белую плешь, под выстрелы.

– Эй, Ванька! – зыкнул Марей. – Выходи, что ли, все равно – не уйдешь.

На той стороне тихо. Месяц юркнул в темную норь, белая плешь погасла.

Марей встал. Собрался весь – в пулю – и одним духом через плешь, на ту сторону. Там уже трещало, ломило в кустах – в лес, в глубь.

– Стой – стой – стой, Ванька! Стой, не уйдешь!

В гущину, в темень влетел Марей, с расскока опрокинул, насел верхом, вязать нагнулся – руки обвисли, ошалел: та самая, рыжая... Вот так Ванька...

– Ты... ты зачем же это... крючки-то? – стоит Марей, ноги расставил, ружье на земле.

А рыжая – лицом в мох, да как зальется в голос – чисто дитё, и все пуще. Ну что ты будешь с ней делать?

– Эх ты, Господи! А ты не реви, ну чего – ну? – и легонько, как дитё, погладил ее по голове. А у самого сердце – тук! – тихонько в гнезде повернулось и пошло вниз.

Рыжая поднялась с земли. На коленях – протянула к Марею руки, глаза закрыты, губы дрожат, а ни слова.

«Наверно, чтоб не сказывал я...» – отвел ее руки Марей.

– Да ты не бойсь, никому не скажу, мое слово – верное, ну вот те крест, – ну?

Как она во весь рост вскочит да как закричит на Маррея:

– Всем говори! Не скажешь – сама пойду скажу: я. Ничего мне от тебя не надо – и зрить тебя не могу – и чтоб сейчас... уходи, у-хо-ди!

Сверкнула – через плешину – и уж где-то далеко легкий хруст в лесу, и только осталось: лежит на мху ее шапка.

Марей долго вертел шапку в руках. Месяц нырял из нори в норь: серебряное – черное – опять серебряное, и все путаное, и не разберешь ничего. Вскинул Марей ружье и, по-медвежьи, тяжко-легко ступая на пятки, – медленно поплелся домой.

Утром Маррея чистили на все корки:

– Ну и телепень! Ну и рохля! Опять срезали, а? Да как же это ты продрыхал?

– Да уж так вот. Три ночи не спал, сморило, и уж не знаю как – а во сне олень...

– Эх ты, олений! Так и не видал никого?

– Нет, не видал.

Оставили Маррея, стали по жребию сами сторожить: надо же этакую гниду вывести, нельзя так оставить.

Но уж больше никто не трогал ярусов. Сам собою вывелся вор.

Ночи – долгие, как косы у пригожей девки, а дни короткие, как девичий разум. Запели синички, хрусталем синим зазвенели синички. Лебеди, гуси носятся косяками, разминают крылья: скоро в дальний путь. Помаленьку укладываются лопари: не нынче завтра двинутся на свой погост, к югу.

С длинностволой принаследной отцовской пищалью Марей целыми днями бродил в лесу. Тихий день – и издадека слышен в лесу голк людской, стук топоров – с лопской поляны. Ветреный день – и поют золотые листья прощальную песню, срываются, крутятся – и за каждую веточку: еще хоть бы секунду...

Белая Мареева остромордая лайка подняла гусей. Тяжелые, летели невысоко, посвистывали, секли синь крыльями: Марей и ружья не поднял. На голубом мху лайка нашла медвежьи следы: взбуровлен весь мох – медвежья свадьба. Залилась – от Марея к следу, от следа – к Марею. «Ну вот же, вот – ослеп, что ли, ты?»

Марей сердито пхнул лайку в сторону. Опустила голову, обиженно поплелась лайка сзади: люди эти самые! Ничего у них не поймешь.

Целыми днями бродил Марей, искал между березовых стволов, между сосновых рыжих. Ничего нет: только синяя осень.

Все пришлые, летняки, уехали. Берег пустой. Остыла салогрейня. Но все еще крутится, кипит Кортوما:

– Ворочать, строить, рубить! Сто верст в час!

На пустыре, за салогрейней – старый китобойный завод, теперь – сруб, трухлый, без крыши. Снести его долой, а на лето поставить новый корпус: консервную фабрику. Надо жить согласно европейским народам...

Кортوما с трубочкой – с утра до вечера на пустыре. Прибауточками торопит, подзадоривает.

Подведут под венец вагу: нет, не берет. Сам первый затягивает Кортوما – непристойную про Кортому песню:

Михайло Кортوما,
Пожарная голова...

– Ну еще! Ну-ну-ну! – сам взялся за лом. Приплюснутый, медный, кряжистый напёр – и крякнул венец: только пыль дымом.

Кончили. Убрали мусор. И в окно конторы – берег пустой, по пустому берегу гудит ветер-полунощник, бьют беляки в берег.

Перелистал Кортوما книги: все подведено, по тройной бухгалтерии. Захлопнул книги. Самовар на столе остыл, не поет.

– Эй! Самовар!

За дверями конторы, на рундучке – Кортомиха: уж давно начеку. Дрогнула – и румянец на запавших щеках, и зажатая между двух морщинок по углам губ улыбка.

– Или спал плохо? Драгоценнушка мой... Клал бы на ночь в руку сургуча кусочек: помогает. Красавчик мой...

– Ладно, слышал... Рому!

Ром – в рундучке. Старинный, ушастый замок. Старинный винтовой ключ – все лето висел на гвоздике: нынче гвоздик пустой.

Кортомиха начеку за дверью. Бьют часы, тикают, бьют. Вечер. Далеко на краю, между водою и небом, крепко зажата розовая полоска, и от розового – еще пустее, еще голее черная водяная голымень без конца.

– Рому еще, эй! И к Матрене – живо чтоб!

Матрена-Плясея – широкая, теплая, ласковая – русская печь-мать.

Бывало, никому нет отказа: приходи, ложись – угреет. У мужика женка – ведьма: от злой жены облегчит. Мальчишка в возраст пришел: мальчишку терпеливо, как надо, научит. А нынче стала бабкой Матрена, черный старушечий шамшур на голове. Сама уж разве-разве когда; теперь только других сватает.

И часу время не прошло – прикатила Матрена, и с ней – верткая, черномазая лопка. Пустыми глазами – так и засасывают – Кортомиха с ног до головы оглядела черномазую, повела носом:

– Ты думаешь – ты к кому пришла? Нет, ты к кому пришла, а? Этакая вот, чуня чуней! Нечего, нечего – вот сюда вот, все чтоб с себя долой, дам все чистое.

Бьют часы, тикают, бьют. На рундучке у дверей – начеку Кортомиха.

На третий день – трубка в зубах, руки в боки – стоял Кортома за прилавком, крепко, усядисто, по-всегдашнему, и только потуже поджата винтиками медь на лице, обтянулась на скулах.

В лавке – говор и смех, набились лопские жёнки: завтра лопари уходят, конец, надо кой-чего напоследок.

– Эй ты, черномазая... да нет, не ты, а у какой родинка на спине. Ну, с родинкой, выходи! На-ка вот пояс: мерь...

Весело в лавке, хозяин – тороватый, шутейный. Деньги считает хозяйка в розовой шляпке в перчатках. Между двух морщинок крепко зажата веселая улыбка.

Почуял кончину богач – вышел к народу, ворот разорвал – и горстями золото вправо и влево: «Нате вот,

берите, православные, все берите, мне уж ничего не надо». Так перед концом солнце ведрами лило золото в лес: золотые деревья, и небо золотое, и мох золотой.

Прямо туда, в золотую сторону, шел Марей, торопился, пробирался меж перепутанных сучьев: еще час, еще полчаса – и все погаснет.

И в последний час – вышла она ему навстречу из золота. Голова – рыжее пятно, губы – кровь, ружейный ствол на руке. И ни слова, ничего: увидала – и на Марее бегом. Волну мчит на камень: ударится и – одни дребезги. Но ни зацепиться, ни удержаться, ни крикнуть: мчит волну.

«Эй, ружье-то свое...» – хотел крикнуть Марей... Но уж рыжая подняла, приложилась – бух!

Цел? Нет? После... Прыгнул – пока опять не зарядила – смял ее, скрутил, наземь, навалился всем телом.

«А-а, ножом? Руки ее поймать... где руки?»

И задохся: горячие руки замкнулись у него на шее, губами – нашла губы, все крепче. На губах – солоно, теплое: кровь.

Ударило Марее в голову, завертелось. Обхватил обечурь всей своей силой – инда хрустнуло что-то. Охнула девка, завежила глаза, вся – как воск.

– Нет, теперь уж не-ет... Где ножик? Так: теперь – мой ножик. И губы – мои, и руки, и вся... Ага, больно?

– Не больно... ой! Ну, еще больнее, еще – ну?

– Ты! Звереныш! Не тронь нож! Красавица, олень моя золотая, волосы мои... За что же ты меня из ружья-то?

– За то, что – люблю, а ты... За то, что ты...

– Олень моя лесная... Нет, как же звать тебя – как велишь – ну?

– Зови Пелькой... Нет, зови как хочешь, кликай как собаку, я буду за тобой бегать сзади, бей меня... Ты один – ты – ты!

Не нужно солнца. Зачем солнце, когда светят глаза? Темно. Шерстяной туман закутал, спустил занавеску. Издалека, из-за занавески слышно: капают капли о камень. Далеко: осень, люди, завтра.

– Завтра мы уходим. Уж все уложено, вежи сняли.

– Никуда ты не уйдешь. Ну, уйди, попробуй! Ну, ворохнись, ну?

- Ох! Нет, крепче, не пускай меня – еще крепче... так!
- Слушай, Пелька: ночь, снег, а у нас на окне шкура, огонь в печке. И на всем белом свете – никого: на всем белом свете – нас двое.
- Да... говори. Еще говори. Руку вот так. И только пусть с нами – мой олень. Он был маленький – рыжий... Я была маленькая...
- Да ты спишь? Спи, звереныш. Спи, олень моя золотая.
-

Ночь. Сыплется снег, ласково, тихонько шуршит, спень нагоняет. А когда и вправду уснули – тут задул без уёму, загудел без умолку в трубах, все перепутал, задымил, засыпал.

Белые надумы до самых застрех. Все темно-белое, мягкое, тихое. Кто его знает, где день, где ночь? Просто – все позаснули, и длится медлительный сон, неотвязный, все тот же. Опять будто выходят на улицу – снова мерцают студеные звезды – все тот же, повторенный во сне, рыжий олень дремлет на привязи у чьей-то избы. Окно завешено шкурой, пляшет теплое пламя за занавеской; на снегу – красные полосы.

Капельный человечек в шапке-мурмолке идет мимо и все понимает, как во сне: не думая, не называя, не говоря ни слова. И понимает: забыли дать корма оленю. Добрый человек вытаскивает со двора охапку сушеного белого мха, кидает оленю – и засыпает, чтоб снова увидеть тот же самый сон. И ночь без конца, или может быть – все в секунду, от одного вздоха до другого...

Однажды голая рука отдернула шкуру на окне, сквозь окно в небе – розовая, яркая прорезь, розовый снег, розовый дым над крышами.

– Да нет же! Кончилась ночь? Нет, это так...

И опять спустилась шкура. Но день ото дня прорезь все ярче, все шире, и уже не снаружи, на снегу, красные полосы – красные полосы внутри, в избе, на белом с голубой сетью жилок изгибе ноги, на завеженных ве-

ках, на рыжем. Сладким клеем склеены веки. Ах, не раскрывать бы...

Дует моряна, напирает лед сызморя. Грохот, гул. Льдины блестят на солнце, лезут друг на дружку: бешеные от любви весенние звери. Играючи, царапаются; на дыбы – грызут – опрокинулись – и вдребезги: одна белая пыль. Пусть в пыль: все равно. И новые – лезут, торопятся гибнуть – еще радостней.

На пригорке за становищем стоит у часовни капельный старичок без шапки, жмурится, козырьком приложил руку к глазам. С пригорка видно: берегом двое летят на лыжах – и прямо вниз, в море, по голубому теплему льду, через лывы и трещины, без разбору, с маху. Куда? Все равно. Просто – во всю мочь мчаться и кричать из всей силы: хо-хо-о!

На далеком лдяно-солнечном поле упали, забарахтались, сцепились, как весенние звери. До часовни чуть слышно долетает:

– Хо-о!

Под козырьком жмурятся, улыбаются глаза: Бог в помочь!

Снизу из становища ползет к часовне широченная, грузная – расползлась во все стороны печью – бабка Матрена. Лицо красное, пошатывается, из-за пазухи – горлышко бутылки. Губы улыбаются, а на щеках слезы.

– Ты, бабка, чего?

– Да как же, милачек: весна. Бывало, весной-то... эх! А нынче – только один постен-домовой ночевать ходит. И пью – одна.

– Ну давай – я с тобой.

– Вот спасибо, сердешный! Вот – святая душа!

Греются на пригорочке, пьют из одной бутылки. Внизу, на сияющей льдине – две черные точки.

Долгий, протяжный треск: отделилось, неслышно тронулось в путь ледяное поле. Те – на льдине – не поднялись, не шевельнулись, может быть, и не заметили вовсе. Медленно уплывают две черные точки.

А на берегу – суета, крик, забежали. «В море их утянет... Кабы полная вода, а то – отбыль...» – «А ветер

откентелева, сивая твоя борода? Ну?» – «Багры где? Эй вы, трепалы, будет вам языками-то: багры живеи!» – «Гони, гони! Людей унесло... Гони!»

Кортома запрягает оленя в легкие кережки, на кережках – багры, складная брезентовая лодка: скакать наперерез к Мышь-Наволоку, авось там льдина ткнется на мель. Пожалуй, обошлось бы и без Кортомы, но Кортоме вот непременно самому загорелось. Может быть – весна, распирает от солнца, и просто надо сломя голову нестись, ворочать, кричать. Или, может быть, есть тут у Кортомы какая-нибудь тройная бухгалтерия.

А те двое – со льдины на льдину, через лывы и трещины. Усталые, пьяные от солнца, от скачки по сверкающему синему льду – вернулись домой.

У избы смирно стоял, привязан, рыжий олень. Пелька обняла, прислонилась к теплой оленьей морде.

– Хорошо, миленький, а? Стоять надоело?

Отвязала – пустился олень стрелой. Очертил круг, вскочил на взлобок, стал тонконогий, задумался: бежать ли туда, где синее низкий северный лес, или вернуться к избе за мхом?

Запели комары. На зеленом бархатном мху – розовые, прохладные кораллы морошки, матово-синий голубень. Где-то далеко горят леса, солнце плывет в тумане.

Втроем: Пелька, Марей и Мареева белокипенная лайка. Рыжие Пелькины волосы перепутаны, в рыжем – зеленый венок: вот только встала из земли весенняя упругая былка и еще несет на острие влажную землю и кусочек зеленого мха.

Пи-и-у! пи-и-у! – в тонкую сопелочку выпекает рябчик. Замолк, слушает: в зеленом шуме верхушек не откликнется ли подруга?

– Пи-и-у! – на рябчиковом языке откликается подруга-Пелька.

И все ближе рябчик, вот над головой на ветке – дрожит, распустил крылья, раскрыл влюбленное сердце.

Выстрела рябчик не слышит – только огонь в глазах – падает в огонь. С веселой лесной жестокостью Пелька отрывает рябчику голову – и дальше.

Перекликается со всякой лесной тварью, покорным стадом бегут за ней зелено-рыжие сестры-сосны. Все жарче: росинки на лбу, прозрачные капли по рыжим сосновым стволам. Где-то впереди звонко залилась лайка.

– Заряди, Марей, покрупнее: гуси... – Пелька слышит – лайка крикнула: гуси!

Раздвинулись деревья, как занавес: длинное, тихое озерко, берега из гладкого красного камня. Кагачут гуси, карагодом снимаются с озера в медленном лёте. Разбивают тихое зеркало два удара берданки – Марей, за ним – Пелька. Два серых комка перевертываются нелепо, шлепаются в воду.

Лайка чихает и визжит в воде, не справится с тяжелым гусем: надо самому лезть. Глубоко, пожалуй.

Марей натужился, пригнул к плечу белую голову, медленно стягивает сапоги: промокли, нейдут.

– Эх ты, гузный какой! – Пелька не вытерпела: мигом сбросила свою легкую лопоть, розовея – бредет в тихой студеной воде – одна голова – теперь плыть.

Вернулась, отряхивается, смеется, пахнет свежей водой, водорослями. Возле отряхивается лайка, прыгает, лижет колени. В рыжих волосах – зеленый венок, скатываются капли с грудей, с нежных, розовых, как морошка, кончиков – должно быть, холодных. В руках – гуси, из гусей – сочится кровь, обтекает точеные ноги.

Нет силы стерпеть. И тут же, на теплых красных камнях, Марей греет губами прохладную, бледно-розовую морошку.

– Нет, не согрелись еще, видишь – еще холодные.

Где-то горят леса. На красном камне возле тихого озерка дымит костер из душистой хвои. Пелька жарит над костром жирного гуся; огонь играет на зеленом, рыжем; губы и руки в крови. Чуть слышно улыбается глазами Марею: вслух не надо.

Издалека хруст: медведь прет сквозь чащобу. Затих – и только еще ворчит сердито белая лайка сквозь сон.

Костер тухнет. Ближе придвигаются из темноты сестры-сосны, все темнее, все уже мир – и вот во всем мире только двое.

Бог с ними – с людьми. Марей ушел из артели, сдал приезжим летнякам свои яруса, избу, платили ему рыбой из улова: запас на зиму будет. Жили с Пелькой в лесу в лопской веже: остовище из тонких слег оплетено хворостом, мхом обложено, и внутри зеленый мох – пуховой ковер.

Всякое утро Пелька меняла примятый мох. Всякое утро, напевая, навораживая, плела свежий можжевельный венок, а вчерашние – вешала на стены. Может быть, зеленые венки – жертва Богу. Может быть, зеленые венки – счет дням и ночам: с зажмуренными глазами дни и ночи мчались сквозь чащу, сквозь белое бессонное солнце, мимо тихих лесных озер. И вот на лету схватиться за пролетающее дерево и, крепко придерживая шапку, обернуться назад лицом к вихрю: нет, не сон, вот венок, и еще, и смятый, высохший мох. А потом опять зажмурить глаза – и пусть несет...

Марей ушел в становище к людям, в лавку к Кортومه – за порохом и солью.

Одной – томиться, спрашивать лайку: «Ну, все еще нет? Ну что же, скоро – скажи?» И как только вскочит лайка и настроит острые уши – бросить все и нестись вместе с лайкой навстречу, пока не завидится: чуть сутулый, беловолосый, медленный младень-богатырь.

– Ты-ты-ты! – только одно слово: как на заре одно и то же слово без конца выкрикивает гага в каменном гнезде...

Белые облачные дни. Понемногу скорлупа облаков все тоньше, розовее, треснула – и солнце, между зеленых верхушек – синий просвет. Марей не слышит, синими глазами – в синь, далеко.

Пройти мимо, нечаянно уколоть грудью: нет. Сдвинуть брови – так чтоб столкнулись, крикнуть: «О чем думаешь? Не хочу! Не смей!» И в ответ изумленным ребячьим глазам – сгореть, в клубочек у ног – вместе с белой лайкой, и, как лайка, – от поглаживания зажмуриться, затихнуть...

Ночью – дождь, тихая шелковая музыка в веже. И только всего: проснуться, протянуть руку, чуть-чуть тронуть в темноте – и засмеяться от нестерпимого счастья: дождь.

И снова лететь – из сна в сон...

Однажды ночью сквозь сон погладила мох: пусто. Не поверила, вся выпросталась из сна, раскрыла глаза в темноте, тронула: пустой смятый мох. Марeya нету.

Выбежала, кликнула звонко:

– Маре-ей!

Никого. Луна висит чужая, ржавая, тяжелая, как замок на двери, дверь наглухо замкнута, все тихо, и только издадека шумит бессонная Тунежма.

Внизу на воде – тень. Сверху видно: над темным зеркалом заводи – белая голова Марeya. И не учуял: вся перегнулась сверху, глазами зовет, зовет Пелька.

Вернулась в вежу, легла. И только когда уж остыли, побледнели, дрожали от утреннего холода звезды, Марей тихонько вошел в вежу, тихонько лег на свое место.

Быстро неслась осень на серых совиных крыльях. По сумеркам – правили к югу длинные лебединые стайки, трубили в печальные трубы. По утрам мох стоял весь в седом серебре.

– Ничего не поделаешь, Пелька: надо вежу снимать да собираться в зимний стан.

– Нет!

– Сама же, девонька милая, дрожишь по ночам. Холодно.

– Мне не холодно – я не оттого... я не дрожу! Не надо отсюда!

Не умолить тебе осени, нет. В лесу разгуливал ветер-полунощник, в уши гудел, пугаючи, выметал к зиме, крутил листья.

Лихоманно-румяным, ветреным вечером вернулись в становище. В избе пахнет нежильем, холодной сажей. Но широкая лавка в кути – та самая, и только завесить окно шкурой, затопить печь...

– Ты, Пелька, затапливай, я сейчас – только вот к Кортме, а то в лампе засветить нечего.

Пел в печи огонь, напевала Пелька. Посыпала пол можжевельником, и можжевельник на стенах, и мягкая постель на лавке: все как тогда, зимой.

Вязанка прогорела. Пелька подкинула еще одну: пляшет, трещит. И опять понемногу все ниже языки, все медленнее. Там-сям одни синие, последние. Потухли. Темно.

Вышла на улицу. Гудит полунощник, бухают волны в берег, звезды дрожат, мигают огоньки в избах.

Сквозь незавешенное окно в лавке Коротомы видно: Коротомы на бочке, с трубочкой, учительно поднят указательный палец. Кожаны, ушастые шапки, белая голова с изумленными по-ребячьи глазами...

В Мареевой избе темно. От угольев еще чуть-чуть краснеется устье печи. На лавке чуть белеет Пелька, свесила ноги, руки крепко зажаты в коленях.

– Ты где же, Пелька? Ведь ты хотела – огонь в печке, как зимой?

– Я топила.

– Потухло. Эх... Давай еще зажгем, а?

– Нет. Хворост весь.

В печи уголья чуть-чуть потрескивают, шевелятся, шуршат под золой.

Все под снегом. Лютая тишь в становище.

В темноте вставали, нехотя шли на двор: нарубить снегу, кипятку согреть. Нехотя ели, поглядывали в окошко: стекла черные.

К бабке Матрене, что ли, сбегать: сколько теперь время-то?

У бабки Матрены – на стене часы, без утиху тикают, хрипят, кашляют, бегут без отдыха – зрячие в темной ночи.

– Первый час, ишь ты... А нет ли, баушка, бутылочки?

Как не быть – есть; и будто – полегче, будто – в окошке чернота слиняла, светок чуть-чуть.

Похмелые – спозаранку заваливались спать: нарочно выгоняли сна побольше, чтоб не так евсяными быть. Лето для промысла было незадачное, ежева мало, со счетом ели. Косились на стариков: старики – они жоркие, известно, а кой прок их кормить? И поголодуют – не беда.

Голодные собаки завывали. Бабы трожды в день мыли ребятам брюхо кипятком, чтоб меньше есть просили. Старики голодали молча.

И помаленьку началось со стариков: стали ногами, деснами пухнуть, кряхтеть, на печи лежа – городить невесть что. Пошла боль из избы в избу. Из избы в избу ходил Иван Романыч, земными поклонами лечил: перед образом бить поклоны, по сту, по двести, покуда пот не проймет, глядь – полегчало.

А Матрена-Плясея́ сверху, с печки, смеется Ивану Романычу:

– И-и, батюшка! Коли ноги носят – плясать: куда лучше твоих поклонов взопреешь...

Так все и не слезала с печки. Потягивала из горлышка, песни играла, постен-домовой на гребешке подыгрывал.

– Слышь, слышь, Степка: заливается-то как? А вот на погребце стаканчиками заиграл, во, во, ишь!

Степку посадили за бабкой приглядывать, в угол забился, глаза – круглые. Господи, хоть бы чуток рассвело! Жуть: мелет бабка невесть что, совсем спятила.

Слиняла темнота в окошке – Степка во весь дух погнал к Ивану Романычу: кончается бабка Матрена, молитву прочитать.

Пришел Иван Романыч, взлез на печь к бабке, в руках резной деревянный крест. А бабка Матрена глаза раскрыла и вытащила из-под себя карт колоду:

– Вот спасибо, пришел – Степка дурак не умеет: давай-ка мы с тобой в свои козыри?

Улыбнулся Иван Романыч, сел. Позеленелая ряска, капельный, темноликий: не то постен из поставца вышел, не то Савватий из старого складня.

Стали с бабкой играть в свои козыри. Повезло бабке: никогда в жизни так не везло. Вот придет червонная краля – тогда и доигрывать нечего.

Пришла червонная краля. Засмеялась бабка и, в свои козыри не доиграв, отдала Богу душу.

На лавке в углу заснул Степка; на печи, крепко зажав карты в руке, – Матрена. Положил Иван Романыч деревянный крест сверху карт, перекрестил обоих – и пошел себе.

Под черным потолком на печах старики корячатся, несут околесицу – все тише – и совсем замолкают в синих,

вырубленных во льду пещерах; весною земля отойдет – Бог даст, будут лежать как следует, в земле, на погосте.

На севере встал синий сполох – и еще глубже, лютее тишь. Будто на самом на дне; и сверху пригнуло непроходимым синим льдом, и сквозь тысячеверстный синий лед светит мерзлое солнце на дно.

В синей пещере на дне смирно стоит, привязан, тонконогий олень. Шею гладит горячая рука; на туго обтянутую коричневую морду падают теплые капли. Тысячеверстный лед сверху. Но ведь оттает же, вернется весна, зеленый мох, розовая, прохладная морошка, теплый шорох дождя?

Молчит олень.

Марея осенила благодать:

– Фонарь устроить, как в Питере. Запалить над становищем – и ни ночи, ничего: вся жизнь – по-новому.

И будто вот для этого и жил, и Тунежма – про это, а сейчас только самое слово понял: фонарь.

Ну что ж: Кортومه материалов не жалко. «Мы не кто-нибудь, у нас хватит!»

– А только я говорил: фонарики – так, маленькие, с сеткой. А ты – сейчас на свой салтык, тебе фонарину надо – во!

Нет уж: фонарики – это что. Надо такое, чтоб враз. Да и Кортама сказывал: фонарь. А теперь так – кургузит. Фонарики! То-оже...

Неизвестно, что там за окном: темный день или темная ночь. Да это и все равно теперь. От висячей лампочки-жестянки в избе – светлый круг. В светлом кругу жил Марей, строил свой фонарь: связывал в обло круг из досок-межеумок; паял жестяные трубки; плел проволочную сетку.

Там – далеко, за светлым кругом – рыжая лопская девушка. Та самая, какая однажды – давно – подрезала яруса, какая однажды вышла из золотой стороны с ружьем, прицелила – прямо в белую голову. И зачем промахнулась?

– Там я тебе оставила трещатника с квасом. На лавке...

Марею слышно издалека, из-за светлого круга. Узнал, улыбнулся:

– Спасибо тебе, Пелька, спасибо, милая. А то я и забыл совсем за работой. А ты сама? Не хочешь? Ну-ну...

Вот жалко – Марей частенько отрывают от дела: нынче – Кормома, завтра – Кормома, каждый день ходит. Ну да ведь и то сказать: материал – не чей-нибудь, Кормомы.

– Ну и дошлый же ты, Марей! Эку тремелюдину выдумал, а?

Кормома булькает смехом, медные скулы разъезжаются все шире. В сияющей меди Марей отражен приплюснuto, самоварно: просто дурачок. Ну, пусть себе: материалов не жалко...

Там, далеко где-то, Кормома шутит с гордой лопской девушкой.

– Вот, Пелька, скоро поеду в Норвегию за товаром. Поедем со мной, а?

– Не по дороге. Пусти руки! Слышишь – пусти!

Кормома пустил. Но уж тут рыжая сама оставила Кормоме руки. Кормома лапает, мнет, пыхтит; рыжая через плечо назад – на Марей: должно быть, боится – не обернулся бы, не увидел.

Нет, не дождалась: далеко Марей, потукивает себе молоточком...

– Ну, вот что: хочешь, платье тебе привезу? Вот к волосам-то твоим будет! Прикажи, а?

Рыжая опять назад, через плечо на Марей. Ох уж эти жёнки!

Кормома добродушно-хитро подмигивает:

– Да ну его, плюнь: не слышит, не боись.

Ну, если не слышит...

– Привози твоё зеленое платье... Привози два платья, привози больше, давай, я возьму все!

– Э, не-ет! Ты думаешь – даром? Ты полюби меня, жёнка. Ну, по рукам, что ли?

– Да пус-сти... Нет, впрочем, на, бери, на, на, на!

Да, Кормома с ихней сестрой знает обращение, Кормому не проведешь...

– Ну, прощай, красавица. Так ты помни: уговор – пуще денег... Да, бишь, насчет материалов: ты, Марей, утречком завтра приходи – бери еще. Мне не жалко, мы – не кто-нибудь.

– Эх, вот это – спасибо!

Вот когда Марей перестал стучать молоточком, оборотился...

Наутро – и как это вышло? – Марей разминулся с Коротой: пришел – а в лавке один приказчик, Иван Скитский.

– А хозяин где же?

– А с ковшом по брагу пошел...– хихикнул Скитский – и опять нырь в норку.

– Какую брагу?

– А-а, да так я... Сейчас назад будет. Ты, пока что, знай – выбирай.

Над проволочными кругами, над сияющей жестью – беловолосый младень-богатырь присел на корточки, синие ребячьи глаза разгорелись...

Кортома в Марееву избу пришел – и как это вышло? – Марей нет: одна рыжая дома.

– Здравствуй. Ты одна, гм...

– Здравствуй.

– А я насчет вчерашнего. Насчет платья-то... Не забыла?

Кортома выбрит до блеску, медно сияет миру: «Мой мир! Ура!»

Обернулся к двери, набросил крючок. Растопырил руки, скулы широко раздвинулись: сейчас поглотят маленький, рыже-зеленый мир...

Пелька в углу. Сзади, на стенке, висит острога. Как схватит острогу, как сверкнет!

– Сейчас чтоб вон! Ну?

Кортома хотел было засмеяться. Острога взвилась. Сумасшедшая: как тарабахнет, правда...

Медленно, задом пятился к двери – снял крючок – за дверь.

На улице, у двери, долго стоял. Самоварный мир раскочился, самовар не мог вместить: что за взгальная, вчера при муже давалась, а ныне – вот... Что? Почему?

Колышется, свертывается, развертывается голубой холодный сполох. Сверкает снежный наст, на снегу – перепутанные тени от оленьих рогов. У Кортомы перед воротами стоят, запряжены, легкие кережки: нынче Кортома

трогается в Норвегию за товаром. В рваных малицах, с зелеными под сиянием сполоха лицами, стоят, провожают.

– Ворочайся-то поскорей. Моченьки нету!

– Кисленького чего бы привез... Не забудь, а?

– Не простудись, голубчик! Возьми еще шубу, а? Возьми, голубчик мой, возьми...

Кортома сердито потрянул рукой, Кортомиха отвалилась. Молчит Кортома, сумный.

Свистнули, взвизгнули по снегу копылья, олени взяли с маху – и уж вон чуть видной черной точкой вверх, на белую горку... Уехал.

Через час кережки Кортомы медленно ползут по улице становища, копылья скрипят, скрежещут – к воротам – стой!

Кортома стучится все громче, испуганно выскочила Кортомиха.

– Голубчик мой! Что случилось? Что?

– Ничего. Не поеду.

Кортома наверху, в собственной конторе. Кипит, обдает паром самовар. Стакан за стаканом густого, как брага, чаю.

На стене в конторе – ружье. Висит с лета заряжено, и должно быть – распирает его от заряда, и нестерпимо, и хоть бы так, зря, трахнуть – чтоб вдребезги стекла...

Снял Кортома ружье, приложил – ба-бах в потолок!

За дверью, на рундучке, дрогнула Кортомиха, вскочила, слышит знакомое:

– Рому, эй!

Торопливо сняла с гвоздика старинный винтовой ключ.

Может быть, от синего сполоха у Кортомихи такие синие губы, и сейчас выскользнет крепко зажатая между морщинок синяя улыбка – и упадет в снег.

Но еще держится. И сбилась набок – но еще держится розовая шляпка. И опять – в который раз? – Кортомиха подходит к Мареевой избе. Никак не поднимается рука постучать...

Марей в светлом кругу потукивает молоточком. Глаза устали. Поесть бы да опять за работу...

– А что, Пелька, давай обедать?

– А ты с фонарем-то своим обед промыслил? Ничего нету... – сурово сдвинуты брови.

– Эх, как же это... Мне бы поесть да за работу...

– Что ж мне: пойти оленя моего убить? Да я лучше тебя убью... Кто там?

В розовой шляпке Корторма: пустая, запалая, вынуто нутро, синие губы – от холода, должно быть.

Подошла к Пельке близко. Вобрала, всосала всю ее пустыми глазами: всю ее – легкую, тонкую, точеную, сверкучую. Если б глаза убивали...

Крепко зажала синюю улыбку:

– Беда просто... Муж заболел, одной никак не управиться – подать там, принять... ну, вообще. Бывало, Матрена поможет. Может, ты бы пошла, а? Уж он так просил – так просил...

Марей положил молоточек, прислушался. Пелька обернулась на Марей через плечо – вдруг вспыхнула, раздвинулись брови. И Бог знает почему – сияет, сияет глазами Корторме:

– Некогда мне... Я бы рада – да некогда.

«Не пошла! Не пойдет!» – улыбка у Корторме зарозовела, розовая ушла Корторма.

– Ты, Пелька, у меня смотри! Ты еще Корторме не знаешь, и правда когда не вздумай пойти этак... А то ведь и я – добёр-добёр, а и убить могу... – в шутку нахмурился Марей.

Пелька ходила по избе веселая, напевая изменчатую, переливчатую лопскую песенку. Сняла со стены ружье, на минутку замолкла: или не надо – или повесить ружье на место?

Нет. Пошла с ружьем:

– Там я следы видала, может – и промыслю что...

Развивается, свивается, колышется синий сполох. В синей пещере на дне – чуть виден тонконогий рыжий олень. Шею ему обхватили горячие руки, горячие губы целуют, целуют – кругом всю заиндевелую морду.

И Бог весть, как это случилось – должно быть, курок зацепился за рукав – ружье нечаянно выстрелило прямо в оленя, олень упал.

Марей выскочил под сарай – уж и дергаться перестал олень. Ну что ты будешь делать – стрясется же этакое!

Вечером пляшет огонь в печи, на сковороде свиристит кусок оленины.

– Давай, Марей, запремся – и чтоб никто, ни один человек...

– Ой, и верно запереться! А то правда, мешают – беда. А уж мне немного осталось. Ты знаешь: уж скоро... Да погоди, погоди же – куда ж ты?

В черном небе – все шире заря малиновой лентой. На дне синих ледяных пещер – алые огни, торопливая работа идет на дне – куют солнце. Розовеет снег, уходит вглубь мертвая синева, может быть, немного еще – и улыбнутся розовые губы, медленно подымутся ресницы – и засияет лето...

Нет, не будет лета. Пелькины губы крепко сжаты, брови сурово столкнулись.

– Марей! Может, и ты пойдешь? Или, может, хочешь – я останусь? Ну, хочешь, не пойду?

Кортома вернулся из Норвегии, у Кортомы – вечерина, как и всякий год.

– Нет уж, одна иди. Уж я лучше поработаю...

Пелька долго сидит на лавке – той самой – руки в коленях. Долго ходит по избе. Один раз что-то хрустнуло – может быть, впрочем, это хворостинка попала под ноги. Сняла платье с гвоздя, стала одеваться.

Было это – то самое зеленое платье. Кортома не забыл – привез. Вчера утром пришел со свертком Иван Скитский, сверток перевязан зеленой лентой.

– Это тебе от хозяина. Беспременно, чтоб на вечерину приходила. А насчет платья, сказал: твоя воля. Хочешь – наденешь, не хочешь – нет, это уже ты сама...

А из норки – из плечей – голова так и выныривает, глаза так и скачут – как неключимая сила, и поглаживает сверток ласковенько, и погладил бы Иван Скитский Пельку, погладил бы Марей: весело!

Пелька – в зеленом платье. В рыжих перепутанных волосах – сухой зеленый венок. Губы – сухие, сжаты так – еще немножко, и кровь брызнет: и все-таки губы дрожат.

– Марей!

– Что? Ага, оделась? Ой, и красива же ты, Пелька! Ну, ты чего же?

– Нет, я так. Так я иду.

– Эх, жалко: работа... Кабы не работа – я бы тоже, пожалуй... Да надо кончать, вот.

– Да, надо кончать...

Изо всей мочи по небу кнутом – и кровавеет рубец: заря. Но ни звука, ни оха: все равно никто не услышит.

Все еще во вчерашнем зеленом платье – Пелька у окна, молча, ни звука. Марей – далеко, чуть виден в светлом кругу под жестяной лампочкой. Торопится, потукивает молоточком – тукает, поет, несется сердце: завтра фонарь, завтра – вся жизнь новая...

– Ну что же, Пелька, как там вчера? – и уж забыл Марей, что спросил о чем-то, и ничего ему на свете: только – фонарь.

Все ярче рубец от кнута в небе. В плечах, в коленях – дрожь все горячее: пожалуй, вчера жаркая выбегала – остудилась, очень возможно.

– Эй, Марюха, оглох, что ли? Здравствуй, говорю. От хозяина от моего – поклон со спасибом.

– Ага, Иван? Здравствуй.

– Ну, а ты, красавица, как? Все на вчерашнем стоишь?

– На вчерашнем.

– Так-так-так... Ну что же, Марей, фонарь-то свой кончил?

– Кой-где пошабрить только – и завтра... Вот, ей-Богу, ничего мне на свете не надо: только бы завтра...

– Да уж я вижу: ничего не надо. Жёнку-то вот свою профонарил? Тю-тю, хезнула жёнка.

– Да нет – вон она у окошка.

– Эка, брат: это не твоя.

– Ох, чудак, ну тебя... Чья же – коли не моя?

У Ивана Скитского руки за спиной, и пальцы вот этак вот – рожками – кызя-кызя – Пельке показывает. Молчит Пелька.

– Чья? А хозяина мово, господина Кортомы, со вчерашнего считается. Со ште-емпелем...

Изо всей мочи кнутом... Ну, еще, ну?

– ...Платье-то этакое – задарма, думаешь? Эх, слепая макура!

Бросил шабрить Марей. Голова – белая, глаза изумленные, синие: не макура – Степка, зуёк.

– Верно, Пелька?

– Верно...

Кровавеет рубец – сейчас брызнет... Сейчас кинется, ударит, убьет. Милый, убей!

Синие, как у Степки, глаза – на Ивана, на Пельку, опять на Ивана. Иван щерится, у Пельки губы дрожат: может быть, сейчас улыбнется.

– А-а, ну вас: нашли время! Уж ты, Иван, шут известный: луканька с хвостом. Ну тебя, недосуг: кончить надо к завтраму...

Неключимой силе не переступить светлого круга: прочны, прочнее камня светлые стены. Плюнул Иван Скитский, повернулся к двери.

В конце становища, на разулочьи высоченный столб. Невидные в темноте – пересмеиваются, перешептываются люди. Где-то тут Кортома. Где-то тут Пелька. Вот их сейчас всех осияет – лица, улыбки, глаза – и все новые, и по-новому все...

Пальцы трясутся, еле-еле Марей зажег спичку. Завизжали блоки, фонарь возносился вверх – и вверху, в самой сердцевине тьмы – над миром затеплел огонек. Вот только еще подкачать насосом – и тогда...

В темноте чуть-чуть, красненьким дымком, трубочка Кортомы. Не видно в темноте, как дрожат холодные маленькие руки у Кортомы в лапах.

– Ну что ж, красавица, по рукам? Значит, прямо отсюда – ко мне, а манатки твои потом перетащим.

– Не могу я ему сказать – как скажу? Вот если бы ты...

– У, за этим дело не станет. Так так значит, а?

Насос хлюпал, хрипел. Огонек в фонаре силился, подскакивал, задыхался – но больше не рос. Это ничего: зато наверно – если поглядеть издали...

Но все то же издали: над подслепым маленьким огоньком и снизу и сверху – на тысячи верст – мерзлая, мертвая тьма. И от огонька – будто еще крошечней, еще чернее.

В лихорадке – Марей изо всех сил, отчаянно закачал насосом.

Бр-рязг! – треск сверху. Огонек взметнулся, ослепил – на голову Марею какие-то верешки, оскрётки – и конец: тьма.

Невидные в темноте – окружили, задержали, затуркали Марей:

– Дурачо-ок! С фонариком супротив ночи...

– Дурачо-ок! Над ним потешаются, а он...

Белоголовый медведь встал на дыбы – и попер с ревом:

– Кортому... Где Кортома? А-а-а, ту-ут? Ты зачем меня обманул? Ты мне зачем про фонарь? а? Ты – зачем, а?

– Легонько, брат, легонько. Ты ори любезно. Ну что же – фонарь? Таких твоих пяток – и довольно светло будет.

– Не надо мне довольно светло! Не желаю довольно светло! Уб-бью!

Как огонек – из всех сил взметнулся Марей – бррязг! – и потух, и только мерзлая тысячеверстная тьма.

И из-за тысячи верст – голос Кортомы:

– ...Жена твоя жить ко мне, по хозяйству... ну вообще. А если там насчет денег или материалов – так я не кто-нибудь, сам знаешь...

Пелька нагнулась, жадно заглядывает в лицо Марею: уж теперь... уж сейчас... Но Марей молчит. Махнул рукой, пошел прямо. Кто знает: слышал ли?

– Вот и вся недолга. Ну что же, красавица... да где же ты, эй?

Нету. Кортома один. Ну до чего же взгальные жёнки эти – вот раскуси поди.

Однажды – давно это было – все было давно... Однажды шел Марей, ружье было заряжено на медведя, пулей, и вдруг – гусь из-под ног. Стрельнул прямо в шею гусю, отстрелил голову напрочь. Головы нет – а с разлету еще машет крыльями гусь, еще сажень пролетел – и уж тут гокнулся оземь.

С разлету – еще махал крыльями Марей, еще махала крыльями Пелька.

Лед растаял. Все в серебре – море мурлыкало под солнцем. Неслышно заскользили паруса: время рыбачить.

И рыбачили Пелька с Мареем, как все, но по-другому глядели в голубую глубь.

Лебеди прилетели, затрубили в печальные трубы; гуси загакали на тихих озерах. Втроем бродили в лесу: Пелька, Марей и белая Мареева лайка. Но вежи не ставили, как в прошлом году: ночевали в избе.

Случалось – Марей где-нибудь впереди, Пелька идет сзади его, одна, подымет ружье и водит кругом. Никакой дичины и нет будто, а водит, берет на мушку. Нет, опустила.

– Не могу...

– Ты чего? – оглянется Марей.

– Нет, ничего. Я так.

Вдали залилась лайка. Пелька слышит – лайка крикнула на своем, лаячем языке: гуси! Надо идти...

Били гусей. Коптили полотки на зиму – будто и правда еще жить зиму. Рыбачили. С разлёту летели сажень.

Близко Спаса пошли медвежьи свадьбы. Ходили медведи парами, тройками. Потянулись из становища промыслять медведей.

– Надо и нам тоже... – брови у Пельки крепко стиснуты. – Деньги-то все профонарили.

– Ну что ж: по мне, хоть завтра.

– Я вчера одного встретила вовсе близко – где у нас вежа стояла. Да только ружье было с дробью.

– Ну что ж: пули есть.

Встали на заре, раным-рано. Мох – седой: издали уж дохнула неумолимая осень, первый зазимок. Деревья – червонные, розовые, золотые: осенний убор. У Пельки в рыжих волосах – зеленый можжевельный венок.

– На, зарядила.

И тяжелая же, должно быть, Мареева принаследная пищаль: дрожит у Пельки в руке, или так ослабела, известась жёнка? Да, пожалуй, это.

Мареева кипенно-белая лайка путается, у Пелькиных ног, поглядывает вверх умным глазом: «Я знаю». Пелька долго ведет с ней молчаливый разговор, поглаживает пушистую шею.

– Ну, будет... Вперед!

Примятый мох, щепки, зола. Да, тут стояла вежа: давно...

– Марей!

– Ну?

– Вот уже... лайка, слышишь? Марей!

– Да слышу я! Ну?

Раздвинулись, как занавес, зеленые сестры-сосны: поляна. В нос ударило острым медвежьим духом: на поляне на дыбах стоял медведина и играючи отбрасывал лайку. Лайка совсем остервенела: кидается, воет, визжит.

– Марей – ты. Я потом... Ну – скорее...

Да, прошло время – не надеется на себя Пелька, руки дрожат, что поделать.

Неспешно Марей поставил свою пищаль на развилку, подпустил на десять шагов: с десяти шагов под лопатку – верное дело.

Бух! – разошелся дымок – качнулся медведь – сейчас рухнет.

Но не рухнул: взвыл – и, огребая лапой больное место, прямо на них.

– Что ж это: ведь с десяти шагов... Разве только дробь? Господи...

– Дробь... – кивнула ему Пелька. – А мое не заряжено.

Понял Марей все. Вдруг – солнце – рыжее пятно – жить...

– Ложись! – крикнул Пельке.

Не двигаться – медведь зароет, уйдет: мертвечины боится. Только не шевельнуться, не дышать...

Урча обнюхал медведь, толкнул Марей лапой: нет, неживые. И стал быстро забрасывать мягким мхом. Навалил могилу – большую. Отошел, поглядел.

Задыхаясь, двигается Пелька все теснее – губами в губы, как давно – в веже...

«Ишь ты, а еще шевелится мох-то?» – Медведь подошел, подвалил еще мху, накидал земли, сверху сам сел: зализывает рану. Кипенно-белая лайка остервенело визжит, цапает сзади, мешается.

Сердито даванул лайку лапой, сгреб ее с брюха – белую, с красным, отшвырнул в куст. Серьезно, долго глядел вниз, на могилу.

Нет: мох не шевелится. Пожалуй, можно идти.



ПЕЩЕРА

Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы; в скалах пещеры. И неизвестно, кто трубит ночью на каменной тропинке между скал и, вынюхивая тропинку, раздувает белую снежную пыль; может быть, серохоботый мамонт; может быть, ветер; а может быть – ветер и есть ледяной рев какого-то мамонтейшего мамонта. Одно ясно: зима. И надо покрепче стиснуть зубы, чтоб не стучали; и надо щепать дерево каменным топором; и надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру, все глубже; и надо все больше наворачивать на себя косматых звериных шкур.

Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И завернутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья – пещерные люди отступали из пещеры в пещеру. На Покров Мартин Мартиныч и Маша заколотили кабинет; на Казанскую выбрались из столовой и забились в спальне. Дальше отступать было некуда; тут надо было выдержать осаду – или умереть.

В пещерной петербургской спальне было так же, как недавно в ноевом ковчеге: потопно перепутанные чистые и нечистые твари. Красного дерева письменный стол; книги; каменно-вековые гончарного вида лепешки; Скрябин, опус 74; уют; пять любовно, добела вымытых картошек; никелированные решетки кроватей; топор; шифоньер; дрова. И в центре всей этой вселенной – бог, коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный пещерный бог: чугунная печка.

Бог могуче гудел. В темной пещере – великое огненное чудо. Люди – Мартин Мартиныч и Маша – благоговейно, молча, благодарно простирали к нему руки. На один час –

в пещере весна; на один час – скидывались звериные шкуры, когти, клыки, и сквозь обледеневшую мозговую корку пробивались зеленые стебельки – мысли.

– Март, а ты забыл, что ведь завтра... Ну, уж я вижу: забыл!

В октябре, когда листья уже пожолкли, пожухли, сникли – бывают синеглазые дни; запрокинуть голову в такой день, чтоб не видеть земли, – и можно поверить: еще радость, еще лето. Так и с Машей: если вот закрыть глаза и только слушать ее – можно поверить, что она прежняя и сейчас засмеется, встанет с постели, обнимет, и час тому назад ножом по стеклу – это не ее голос, совсем не она...

– Ай, Март, Март! Как всё... Раньше ты не забывал. Двадцать девятое: Марии, мой праздник...

Чугунный бог еще гудел. Света, как всегда, не было: будет только в десять. Колыхались лохматые, темные своды пещеры. Мартин Мартиныч – на корточках, узлом – туже! еще туже! – запрокинув голову, все еще смотрит в октябрьское небо, чтобы не увидеть пожолклые, сникшие губы. А Маша:

– Понимаешь, Март, – если бы завтра затопить с самого утра, чтобы весь день было; как сейчас! А? Ну, сколько у нас? Ну с полсажени еще есть в кабинете?

До полярного кабинета Маша давным-давно не могла добраться и не знала, что там уже... Туже узел, еще туже!

– Полсажени? Больше! Я думаю, там...

Вдруг – свет: ровно десять. И не кончив, зажмурился Мартин Мартиныч, отвернулся: при свете – труднее, чем в темноте. И при свете ясно видно: лицо у него скомканное, глиняное (теперь у многих глиняные лица: назад – к Адаму). А Маша:

– И знаешь, Март, я бы попробовала – может, я встану... если ты затопишь с утра.

– Ну, Маша, конечно же... Такой день... Ну конечно – с утра.

Пещерный бог затихал, съеживался, затих, чуть потрескивает. Слышно: внизу, у Обертышевых, каменным топором щепают коряги от барки – каменным топором колют Мартина Мартиныча на куски. Кусок Мартина Мартиныча глиняно улыбался Маше и молот на кофейной мельнице

сушеную картофельную шелуху для лепешек – и кусок Мартина Мартиныча, как с воли залетевшая в комнату птица, бестолково, слепо тукался в потолок, в стекла, в стены: «Где бы дров – где бы дров – где бы дров».

Мартин Мартиныч надел пальто, сверху подпоясался кожаным поясом (у пещерных людей – миф, что от этого теплее), в углу у шифоньера громыхнул ведром.

– Ты куда, Март?

– Я сейчас. За водой вниз.

На темной, обледенелой от водяных сплесков лестнице постоял Мартин Мартиныч, покачался, вздохнул и, кандално позвякивая ведеркой, спустился вниз, к Обертышевым: у них еще шла вода. Дверь открыл сам Обертышев, в перетянутом веревкой пальто, давно не бритый, лицо – заросший каким-то рыжим, насквозь пропыленным бурьяном пустырь. Сквозь бурьян – желтые каменные зубы, и между камней – мгновенный ящеричный хвостик – улыбка.

– А, Мартин Мартиныч! Что, за водичкой? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.

В узенькой клетке между наружной и внутренней дверью с ведром не повернуться – в клетке обертышевские дрова. Глиняный Мартин Мартиныч боком больно стукнулся о дрова – в глине глубокая вмятина. И еще глубже: в темном коридоре об угол комода.

Через столовую. В столовой – обертышевская самка и трое обертышат; самка торопливо спрятала под салфеткой миску: пришел человек из другой пещеры – и Бог знает, вдруг кинется, схватит.

В кухне, отвернув кран, каменнозубо улыбался Обертышев:

– Ну что же: как жена? Как жена? Как жена?

– Да что, Алексей Иванович, все то же. Плохо. И вот завтра – именины, а у меня топить нечем.

– А вы, Мартин Мартиныч, стульчиками, шкафчиками... Книги тоже: книги отлично горят, отлично, отлично...

– Да ведь вы же знаете: там вся мебель, все – чужое, один только рояль...

– Так, так, так... Прискорбно, прискорбно!

Слышно в кухне: вспархивает, шуршит крыльями залетевшая птица, вправо, влево – и вдруг отчаянно, с маху в стену всей грудью:

– Алексей Иванович, я хотел... Алексей Иванович, нельзя ли у вас хоть пять-шесть полен...

Желтые каменные зубы сквозь бурьян, желтые зубы – из глаз, весь Обертышев обрастал зубами, все длиннее зубы.

– Что вы, Мартин Мартиныч, что вы, что вы! У нас у самих... Сами знаете, как теперь все, сами знаете, сами знаете...

Туже узел! Туже – еще туже! Закрутил себя Мартин Мартиныч, поднял ведро – и через кухню, через темный коридор, через столовую. На пороге столовой Обертышев сунул мгновенную, ящерично-юркую руку:

– Ну, всего... Только дверь, Мартин Мартиныч, не забудьте прихлопнуть, не забудьте. Обе двери, обе, обе – не натопишься!

На темной обледенелой площадке Мартин Мартиныч поставил ведро, обернулся, плотно прихлопнул первую дверь. Прислушался, услышал только сухую костяную дрожь в себе и свое трясущееся – пунктирное, точечками – дыхание. В узенькой клетке между двух дверей протянул руку, нащупал – полено, и еще, и еще... Нет! Скорей выпихнул себя на площадку, притворил дверь. Теперь только прихлопнуть поплотнее, чтобы щелкнул замок...

И вот – нет силы. Нет силы прихлопнуть Машино «завтра». И на черте, отмеченной чуть приметным пунктирным дыханием, схватились насмерть два Мартина Мартиныча: тот, давний, со Скрябиным, какой знал: нельзя, – и новый, пещерный, какой знал: нужно. Пещерный, скрипя зубами, подмял, придушил – и Мартин Мартиныч, ломая ногти, открыл дверь, запустил руку в дрова... полено, четвертое, пятое, под пальто, за пояс, в ведро – хлопнул дверью и вверх – огромными, звериными скачками. Посередине лестницы, на какой-то обледенелой ступеньке – вдруг пристыл, вжался в стену: внизу снова щелкнула дверь – и пропыленный обертышевский голос:

– Кто – там? Кто там? Кто там?

– Это я, Алексей Иванович. Я... я дверь забыл... Я хотел... Я вернулся – дверь поплотнее...

– Вы? Гм... Как же это вы так? Надо аккуратнее, надо аккуратнее. Теперь всё крадут, сами знаете, сами знаете. Как же это вы так?

Двадцать девятое. С утра – низкое, дырявое, ватное небо, и сквозь дыры несет льдом. Но пещерный бог набил

брюхо с самого утра, милостиво загудел – и пусть там дыры, пусть обросший зубами Обертышев считает поленья – пусть, все равно: только бы сегодня; «завтра» – непонятно в пещере; только через века будут знать «завтра», «послезавтра».

Маша встала и, покачиваясь от невидимого ветра, причесалась по-старому: на уши, посередине пробор. И это было – как последний, болтающийся на голом дереве, жухлый лист. Из среднего ящика письменного стола Мартин Мартиныч вытащил бумаги, письма, термометр, какой-то синий флакончик (торопливо сунул его обратно – чтобы не видела Маша) – и, наконец, из самого дальнего угла черную лакированную коробочку: там, на дне, был еще настоящий – да, да! самый настоящий чай! Пили настоящий чай. Мартин Мартиныч, запрокинув голову, слушал такой похожий на прежний голос:

– Март, а помнишь: моя синенькая комната, и пианино в чехле, и на пианино – деревянный конек – пепельница, и я играла, а ты подошел сзади...

Да, в тот вечер была сотворена вселенная, и удивительная, мудрая морда луны, и соловьиная трель звонков в коридоре.

– А помнишь, Март: открыто окно, зеленое небо – и снизу, из другого мира – шарманщик?

Шарманщик, чудесный шарманщик – где ты?

– А на набережной... Помнишь? Ветки еще голые, вода румяная, и мимо плывет последняя синяя льдина, похожая на гроб. И только смешно, от гроба, потому что ведь мы – никогда не умрем. Помнишь?

Внизу начали колоть каменным топором. Вдруг перестали, какая-то беготня, крик. И расколотый надвое, Мартин Мартиныч одной половиной видел бессмертного шарманщика, бессмертного деревянного конька, бессмертную льдину, а другой – пунктирно дыша – пересчитывал вместе с Обертышевым поленья дров. Вот уж Обертышев сосчитал, вот надевает пальто, весь обросший зубами – свирепо хлопает дверью, и...

– погоди, Маша, кажется – кажется, у нас стучат.

Нет. Никого. Пока еще никого. Еще можно дышать, еще можно запрокинуть голову, слушать голос – такой похожий на тот, прежний.

Сумерки. Двадцать девятое октября состарилось. Пристальные, мутные, старушечьи глаза – и все ежится, сморщивается, горбится под пристальным взглядом. Оседают сводами потолок, приплюснулись кресла, письменный стол, Мартин Мартиныч, кровати, и на кровати – совсем плоская, бумажная Маша.

В сумерках пришел Селихов, домовый председатель. Когда-то он был шестипудовый – теперь уже вытек наполовину, болтался в пиджачной скорлупе, как орех в погремушке. Но еще по-старому погромыхивал смехом.

– Ну-с, Мартин Мартиныч, во-первых – во-вторых, супругу вашу – с тезоименитством. Как же, как же! Мне Обертышев говорил...

Мартина Мартиныча выстрелило из кресла, пронесся, заторопился – говорить, что-нибудь говорить...

– Чаю... я сейчас – я сию минуту... У нас сегодня – настоящий. Понимаете: настоящий! Я его только что...

– Чаю? Я, знаете ли, предпочел бы шампанского. Нету? Да что вы! Гра-гра-гра! А мы, знаете, с приятелем третьего дня из гофманских гнали спирт. Потеха! Налакался... «Я, – говорит, – Зиновьев: на колени!» Потеха! А оттуда домой иду – на Марсовом поле навстречу мне человек в одном жилете, ей-Богу! «Что это вы?» – говорю. «Да ничего, – говорит. – Вот раздели сейчас, домой бегу на Васильевский». Потеха!

Приплюснутая, бумажная, смеялась на кровати Маша. Всего себя завязав в тугой узел, все громче смеялся Мартин Мартиныч – чтобы подбросить в Селихова дров, чтобы он только не перестал, чтобы только не перестал, чтобы о чем-нибудь еще...

Селихов переставал, чуть пофыркивая, затих. В пиджачной скорлупе болтнулся вправо и влево; встал.

– Ну-с, именинница, ручку. Чик! Как, вы не знаете? По-ихнему, честь имею кланяться – ч. и. к. Потеха!

Громыхал в коридоре в передней. Последняя секунда: сейчас уйдет, или – ...

Пол чуть-чуть покачивался, покруживался у Мартина Мартиныча под ногами. Глиняно улыбаясь, Мартин Мартиныч придерживался за косяк. Селихов пыхтел, заколачивая ноги в огромные боты.

В ботах, в шубе, мамонтоподобный – выпрямился, отдышался, потом молча взял Мартина Мартиныча под руку,

молча открыл дверь в полярный кабинет, молча сел на диван.

Пол в кабинете – льдина; льдина чуть слышно треснула, оторвалась от берега – и понесла, понесла, закружила Мартина Мартиныча, и оттуда – с диванного, далекого берега – Селихова еле слышать.

– Во-первых – во-вторых, сударь мой, должен вам сказать, я бы этого Обертышева, как гниду, ей-Богу... Но сами понимаете: раз он официально заявляет, раз говорит – завтра пойду в уголовное... Этакая гнида! Я вам одно могу посоветовать: сегодня же, сейчас же к нему – и заткните ему глотку этими самыми поленьями.

Льдина – все быстрее. Крошечный, сплюснутый, чуть видный – так, щепочка – Мартин Мартиныч ответил – себе, и не о поленьях... поленья – что! – нет, о другом:

– Хорошо. Сегодня же. Сейчас же.

– Ну вот и отлично, вот и отлично! Это – такая гнида, такая гнида, я вам скажу...

В пещере еще темно. Глиняный, холодный, слепой – Мартин Мартиныч тупо натыкался на потопно перепутанные в пещере предметы. Вздрыгнул: голос, похожий на Машин, на прежний...

– О чем вы там с Селиховым? Что? Карточки? А я, Март, все лежала и думала: собраться бы с духом – и куда-нибудь, чтоб солнце... Ах, как ты гремишь! Ну как нарочно. Ведь ты же знаешь – я не могу, я не могу, не могу!

Ножом по стеклу. Впрочем – теперь все равно. Механические руки и ноги. Поднимать и опускать их – нужно какими-то цепями, лебедкой, как корабельные стрелы, и вертеть лебедку – одного человека мало: надо троих. Через силу натягивая цепи, Мартин Мартиныч поставил разогреваться чайник, кастрюльку, подбросил последние обертышевские поленья.

– Ты слышишь, что я тебе говорю? Что ж ты молчишь? Ты слышишь?

Это, конечно, не Маша, нет, не ее голос. Все медленней двигался Мартин Мартиныч, ноги увязали в зыбучем песке, все тяжелее вертеть лебедку. Вдруг цепь сорвалась с какого-то блока, стрела-рука – ухнула вниз, нелепо задела чайник, кастрюльку – загремело на пол, пещерный бог змеино шипел. И оттуда, с далекого берега, с кровати – чужой, пронзительный голос:

– Ты нарочно! Уходи! Сейчас же! И никого мне – ничего, ничего не надо, не надо! Уходи!

Двадцать девятое октября умерло, и умер бессмертный шарманщик, и льдины на румяной от заката воде, и Маша. И это хорошо. И нужно, чтоб не было невероятного «завтра», и Обертышева, и Селихова, и Маши, и его – Мартина Мартинича, чтобы умерло все.

Механический, далекий Мартин Мартинич еще делал что-то. Может быть, снова разжигал печку, и подбирал с полу кастрюльку, и кипятил чайник; и может быть, что-нибудь говорила Маша – не слышал: только тупо ноющие вмятины на глине от каких-то слов и от углов шифоньера, стульев, письменного стола.

Мартин Мартинич медленно вытаскивал из письменного стола связки писем, термометр, сургуч, коробочку с чаем, снова – письма. И наконец, откуда-то, с самого со дна, темно-синий флакончик.

Десять: дали свет. Голый, жесткий, простой, холодный – как пещерная жизнь и смерть – электрический свет. И такой простой – рядом с утюгом, 74-м опусом, лепешками – синий флакончик.

Чугунный бог милостиво загудел, пожирая пергаментно-желтую, голубоватую, белую бумагу писем. Тихонько напомнил о себе чайник, постучал крышкой. Маша обернулась:

– Скипел чай? Март, милый, дай мне –...

Увидела. Секунда, насквозь пронизанная ясным, голым, жестоким электрическим светом: скорченный перед печкой Мартин Мартинич; на письмах – румяный, как вода на закате, отблеск; и там – синий флакончик.

– Март! Ты... ты хочешь...

Тихо. Равнодушно пожирая бессмертные, горькие, нежные, желтые, белые, голубые слова – тихонько мурлыкал чугунный бог. И Маша – так же просто, как просила чаю:

– Март, милый! Март – дай это мне!

Мартин Мартинич улыбнулся издалека:

– Но ведь ты же знаешь, Маша: там – только на одного.

– Март, ведь меня все равно уже нет. Ведь это уже не я – ведь все равно я скоро... Март, ты же понимаешь – Март, пожалей меня... Март!

Ах, тот самый – тот самый голос... И если запрокинуть голову вверх...

– Я, Маша, тебя обманул: у нас в кабинете – ни полена. И я пошел к Обертышеву, и там между дверей... Я украл – понимаешь? И Селихов мне... Я должен сейчас отнести назад – а я все сжег – я все сжег – все! Я не о поленьях, поленья – что! – ты же понимаешь?

Равнодушно задремывает чугунный бог. Потухая, чуть вздрагивают своды пещеры, и чуть вздрагивают дома, скалы, мамонты, Маша.

– Март, если ты меня еще любишь... Ну, Март, ну вспомни! Март, милый, дай мне!

Бессмертный деревянный конек, шарманщик, льдина. И этот голос... Мартин Мартиныч медленно встал с колен. Медленно с трудом ворочая лебедку, взял со стола синий флакончик и подал Маше.

Она сбросила одеяло, села на постели румяная, быстрая, бессмертная – как тогда вода на закате, схватила флакончик, засмеялась.

– Ну вот видишь: не даром я лежала и думала – уехать отсюда. Зажги еще лампу – ту, на столе. Так. Теперь еще что-нибудь в печку – я хочу, чтобы огонь...

Мартин Мартиныч, не глядя, выгреб какие-то бумаги из стола, кинул в печь.

– Теперь... Иди погуляй немного. Там, кажется, луна – моя луна: помнишь? Не забудь – возьми ключ, а то захлопнешь, а открыть –...

Нет, там луны не было. Низкие, темные глухие облака – своды, и все – одна громадная, тихая пещера. Узкие, бесконечные проходы между стен; и похожие на дома темные, обледенелые скалы; и в скалах – глубокие, багрово освещенные дыры: там, в дырах, возле огня – на корточках люди. Легкий ледяной сквознячок сдувает из-под ног белую пыль, и никому не слышная – по белой пыли, по глыбам, по пещерам, по людям на корточках – огромная, ровная поступь какого-то мамонтейшего мамонта.



ДЕТСКАЯ

У капитана Круга были брови. То есть брови, конечно, были и у всех тут в клубе: брови были у блестящих, белокипенных моряков-офицеров; брови были – очень искусные – у мадемуазель Жорж; очень тоненькие – у Павлы Петровны; замызганные – у Семена Семеныча; шерстяные – на заячьей мордочке китайца из буфета. Но никто не знал, что есть брови у офицеров, у мадемуазель Жорж, у Семена Семеныча, у китайца: знали только, что есть брови у капитана Круга.

Так он был бы, пожалуй, незаметен. Небольшого роста; бритое, медное от морского ветра, вечно запертое на замок лицо. И вдруг – брови: две резких, прямых, угольно-черных черты – и лицо запомнилось навеки, из всех.

В руке у капитана Круга – неизменная сигара. Перед ним – робкая заячья мордочка. Капитан Круг не отрывает глаз от пепла на кончике сигары.

– Я тебе сказал – три бутылки в «детскую» наверх. Готово?

Голос ровный, покрытый очень толстым слоем пепла, и только еле заметно надвинулись брови. Но у китайца моментально вырастает голова в плечи, вздрагивает поднос в руках, бормочет: «Се-минут, се-минут», – и мчится в буфет, а из буфета по щербатой винтовой лестнице на антресоли: там – «детская».

Когда перебирались наверх в «детскую», все клубные уставы – и вообще все уставы – оставались внизу. Тут играли по рублю фишка; тут устраивали «чайный домик»; тут в белых японских с драконами обоях – видны черные дыры от револьверных пуль.

Торопливо, задыхаясь в дыму, горят свечи; тучи табачного дыма, и нет потолка, нет стен – просто пространство. Похоже на тихоокеанский туман, когда нет ничего – и все есть, как во сне, и как во сне – все нелепо и все просто.

Давно выпиты три бутылки и еще три. Играть еще не начинали: надо подождать, пока не кончится внизу. Капитан Круг медленно переводит глаза с кончика сигары на кончик туфли мадемуазель Жорж, на тонкий с золотой стрелкой чулок. Эту золотую стрелку знали все, кто видел мадемуазель Жорж на эстраде.

– Ну что же, мадемуазель, будете сегодня отыгрываться? Не на что? Пустяки! В займы – хотите?

Левая бровь у капитана Круга взведена вверх как курок, – все ждут: ну, сейчас... Мадемуазель Жорж – на самом краешке стула, и глаза у ней быстрые, как у птицы: может быть, сейчас клюнет крошку из рук, может быть, встрепыхнется – и в окно.

– А хотите так, не займы?

Легкий птичий кивок.

– У-гум, прекрасно... (сигара сбросила пепел). Ну что же: четвертной за каждые два вершка до колен, сто – за каждые два вершка выше.

Щеки у мадемуазель Жорж белые от пудры, и ничего не заметно. Но уши загорелись, и красные пятна на плечах, на шее. Обводит глазами клетку из человеческих лиц – хватается глазами, но не за что ухватиться.

Мадемуазель Жорж встряхивает локонами, улыбается – очень весело – и начинает подымать платье.

Пышнощекий с детскими ямочками мичман восторженно раскрыл рот и не спускает с Круга молитвенных глаз. Вдруг вытаскивает из кармана желтый складной аршинчик:

– Круг, вот у меня есть, – позвольте, я? Ей-Богу, а? Позвольте!

Круг молча кивнул. Мичман с аршинчиком опускается на колени перед мадемуазель Жорж.

– Четыре... Шесть... Пол-аршина...

Уже белое кружево, и между черным и белым – розовеет тело.

– Деньги... – голос у мадемуазель Жорж такой, что ясно: кто-то ее схватил, держит за горло.

Капитан Круг медленно перелистывает новенькие хрусткие бумажки и передает их мадемуазель Жорж. И снова мичман с ямочками выкрикивает: «Десять! Двенадцать!»; мадемуазель Жорж улыбается все отчаянней и все отчаянней бьется глазами в клетке из лиц; капитан Круг неспешно расплачивается за каждые два вершка...

– Под таба-ак! – по-волжски кричит мичман, сияя.

Мадемуазель Жорж получила все, что могла. Сунула деньги в карман, выскочила из-за стола, забилась в мышиный какой-то уголок, втиснулась в стену.

Мичман с ямочками восторженно, с обожанием глядит на брови капитана Круга.

– Нет, откуда у вас столько деньжищ, капитан Круг? Нет, ей-Богу, а?

Запертое на замок лицо; пауза. Брови сдвигаются в одну резкую, с размаху зачеркивающую прямую.

– Откуда? Был пиратом – стрелял котиков в запрещенном районе. Выгодно, но довольно опасно. А потом поставлял уголь – вам, на военные корабли. Еще выгодней – и совершенно безопасно. Вы, моряки, – народ отменно любезный.

Мичман закрыл рот. Беспомощно оглядывается назад, но сзади – кто обнаружил невидимое пятно на рукаве, кто потерял спички и усиленно ищет по всем карманам.

– Капитан Круг, вы... Я хочу сказать, что я просто...

– Да, я слушаю. Итак – вы просто...

Барометр летит вниз – на бурю, но к счастью – в дверях громкое сопенье, и из тумана – огромная тюленья туша путейца, неизвестно почему известного под названием «Маруся». За ним – гарнизонный отец Николай и Семен Семеныч с Павлой Петровной. У Семена Семеныча – один погон по обыкновению оторван и шлепает, как туфля. Внизу – кончилось, расходятся: кто по домам, кто сюда, в «детскую».

Капитан Круг стряхнул пепел с сигары и (пожалуй, это было уже лишнее: пепла уж не было) постучал сигарой о край пепельницы.

– А Семен Семеныч опять со своим Ангелом-хранителем? Ну что ж, Павла Петровна, высочайше разрешите ему поиграть немного?

Павла Петровна – как будто и не слышит. Уселась в тот самый мышинный уголок, откуда только что выскочила мадемуазель Жорж – мадемуазель Жорж торопилась взять карты. Семен Семеныч пододвинул себе стул, вскочил со стула: «Нет, правда же, Павленька, я нынче только на полчаса. Понимаешь, надо же». Потом торопливо перетащил стул на другой конец стола – подальше от Круга; потрогал боковой карман; смахнул рукою невидимую пыль с лица.

– Ну что же – как вчера: фишка – рубль? – спросил Круг свою сигару.

Мичман с ямочками уже снова влюбленно глядел на сигару, на руку, на брови.

– Ей-Богу, а? По рублю – давайте, а? Вот это игра!

Путеец Маруся сморщился. Семен Семеныч вскочил, куда-то метнулся: «Ах, да, бишь...» – и опять сел, очень старательно. Это ничего, что по рублю: тем скорее можно отыгаться. Главное, осторожно, не волнуясь...

Но после третьей талии, как всегда, уж дрожали у Семена Семеныча руки, все чаще смахивал с лица – и лицо все больше выцветало, все больше становилось похоже на старый дагерротип из альбома.

Альбом – там, в уголку, на коленях у Павлы Петровны. Не глядя, перелистывает тысячу раз виденные выцветшие лица. Не глядя, видит: вокруг свечей на столе кружатся, обжигаются и опять летят на огонь ночные бабочки-совки; и странное кольцо людей сумасшедше, лихорадочно, всей силой человеческого духа молит, чтоб вышли десятка и туз – двадцать одно. Вот опять Семен Семеныч лезет в карман за бумажником – и видит Павла Петровна заплатку на кармане: вчера пришила заплатку на том месте, где пуговица бумажника проела сатин.

Семен Семеныч встал. Улыбнулся – так, как улыбаются лица на дагерротипах: указательный палец заложен в золотообрезную книгу – выдержка десять секунд. Смахнул рукою с лица:

– У меня тут нету... Я сейчас – внизу, в шинели...

Нет, не в шинели, а у сонного, сердитого буфетчика. Павле Петровне уже знакомо это. Буфетчик пальцем водит по книге и щелкает на счетах, как будто никакого Семена Семеныча тут вовсе и нет. А Семен Семеныч

лепечет – только чтобы не молчать, и похлопывает буфетчика по плечу с такой осторожностью, что ясно: буфетчик одет не в пиджак, а в мыльный пузырь, и тронуть чуть посильней – все лопнет, и уйдет Семен Семеныч ни с чем.

А потом – все то же, что было вчера, и неделю назад, и месяц. Семен Семеныч войдет в спальню, когда по стене уже поползет бледно отпечатанный переплет окна; притворится, будто не знает, что Павла Петровна притворяется спящей; прямо в сапогах – на диван и до первых колес по мостовой будет ворочаться и вздыхать, а днем опять вытащит бульдог из среднего ящика и сунет в шинель, и опять тайком приберет бульдог Павла Петровна.

За столом Круг барабанил пальцами; ждали Семена Семеныча. И неожиданно для себя Павла Петровна сказала вслух то, что не вслух говорила уже целый месяц:

– Послушайте, Круг, за что вы ненавидите Семена Семеныча?

Капитан Круг сдвинул брови, черная прямая черта резко разделила мир надвое. В нижнем мире – капитан Круг пожал плечами.

– Да, вы ненавидите и нарочно взвинчиваете, чтоб он проигрывал. Это подло. И если я раньше хоть не... хоть немного...

Но тут Павла Петровна остановилась: над чертой – в верхнем мире – промелькнула легкая дрожь, пробежала по меди до запертых на замок губ. На секунду Павле Петровне все стало ясно, все стало вырезанным из черного молнией – и тотчас же забылось, как через секунду забывается такой как будто отчетливый сон. И уже не знала Павла Петровна, что́ стало ясно.

А медь – снова была медью, и медь смеялась:

– Вы заметили, господа; когда Семен Семеныч проигрывает, он начинает умываться, вот этак – вроде как муха лапкой...

И помолчав немножко – ни к тому ни к сему:

– А мухи – чудные очень. Помню, один раз оторвал мухе голову, а она – ничего, без головы ползает себе – и умывается. А чего умывать: головы нету.

Путеец Маруся сморщился от безголовой мухи, и стало видно, что он – правда Маруся. Отец Николай покачи-

вал лысой, как у Николая Мирликийского, с седым венчиком, головой: может быть, Николай Мирликийский все понимал, или, может быть, Николай Мирликийский был очень пьян.

Павла Петровна через туман шла к дверям, ни на кого не глядя: потому что знала, как она ходит, и знала – все не спускают с нее глаз.

А затем – вернулся Семен Семеныч; по плечу шлепал, как туфля, оторванный погон. Сзади шел заячелицкий китаец с бутылками.

Все гуще дым, все быстрее голоса, лица, брови, седой венчик, карты, ямочки на щеках. Пол качается, как палуба, – однажды Семен Семеныч ходил на шкуне капитана Круга, и тогда была тоже Павла Петровна, и тогда это началось...

У Семена Семеныча – третий раз подряд черный, острый, ненавистный туз. Если б девятка – Боже мой, если б хоть восьмерка... Еще туз: два туза, двадцать два. Все. Семен Семеныч умывается лапкой, покачивается. Все, что принес с собой, и все, что было взято у буфетчика...

– Да вы пересядьте, Семен Семеныч... – это, кажется, мичман, кажется, он подмигивает Кругу. – Вы пересядьте с отцом Николаем – и вот увидите: повезет! – ямочки подмигивают.

Трудно это – встать со стула. Но встал Семен Семеныч, и медленно плывет перед ним образ Николая Мирликийского в венчике.

– А не-ет! С переодеванием. Нельзя, нельзя! Семен Семеныч – в рясу! А то ишь ты! Не-ет!

Таков игрецкий обычай. И Николай Мирликийский – в офицерской тужурке с оторванным погоном, а Семен Семеныч – в рясе.

– Не смей смеяться! Молокосос! Убью! – кричит Семен Семеныч мичману, весь трясется – а может быть, и не мичману это «убью». Нет, конечно, не мичману – и целуется с мичманом, – Господи, какие у него милые ямочки! – целуется с отцом Николаем.

Отца Николая сморило.

– Послушай, за-заюшка, ты меня разбуди через полчаса: у меня в четыре заутреня, – наказывает отец Николай китайцу. – Меня, по-па, па-ни-маешь?

Заплетается язык – и, должно быть, заплетаются руки: вместо своего кармана – Николай Мирликийский сунул под столом бумажки на колени Семену Семенычу. А может быть – вовсе не спьяну это отец Николай, и тут что-то другое.

Забыл Семен Семеныч, что он в рясе: будто не в рясе, а только что выбритый и в снежном, чуть прикрахмаленном кителе, как у мичмана, с ямочками, – крикнул Семен Семеныч:

– Карту!

– Карту? А чем отвечать будете?

Да, на столе перед Семен Семенычем – пусто. Но он берет с колен мирликийские бумажки и не глядя кидает их тому – Кругу.

– Тысяча... тысяча триста – тысяча триста пятьдесят. А в банке – девять. Не подойдет.

Семен Семеныч не видит, но слышит отчетливо резкую, черную черту. И уже нет кителя – снова ряса.

– У меня – дома... – лепечет Семен Семеныч.

– Дома? Дома у вас только и осталась – Павла Петровна.

Колода насмешливо щелкает в руках у Круга, на сотую долю секунды перед Семен Семенычем мелькает туз – сверху колоды, а под тузом – неизвестно почему, но Семен Семеныч знает это, безошибочно чувствует каждым своим волосом, каждым нервом – под тузом десятка, и, опрокидывая рукавом рясы чей-то стакан, протягивает руку.

– На Павлу Петровну? Идет. Выиграете – ваш банк. А нет –...

Капитан Круг, конечно, шутит. Всем ясно, что он шутит. И только Семен Семеныч понимает – еще тогда, на шкуне, он понял – но тут сверху туз, а под тузом десятка, и сейчас он сгребет всю эту кучу – и в карманы, и всему конец. Ах, в рясе, кажется, не бывает карманов – ну все равно...

– Карту!

Туз. Ага! Еще карту. Двойка. Но как же двойка? Ведь Семен Семеныч ясно чувствовал там десятку – совершенно ясно.

– Еще одну... Десятка. Ага! Я так и знал – туз и десятка! – и Семен Семеныч открывает карты победоносно.

А вокруг него рушится смех, и он, засыпанный обломками, падает обратно на стул, выкарабкивается и, ничего не понимая, умывается, умывается лапкой.

– Чудак! Да ведь двойка же еще! – радостно, до слез, захлебывается мичман. – Туз да десятка, да двойка – двадцать три. Ну, давайте по пальцам – ну?

Все смеются, у всех зубы, одни зубы. И только – неизвестно отчего – плачет мадемуазель Жорж. Щеки у нее расписаны грязными ласами – краска с бровей; на остром кончике птичьего носа – смешная светлая капля.

И к мадемуазель Жорж, нелепо размахивая крыльями рясы, кинулся Семен Семеныч, заелозил губами по ласам, по светлой капле:

– Жоржинька... Жоржинька... Павленька...

И зарывается головою все глубже, прячет голову от зубов – одни зубы.

– Мы с тобой... Выпей, выпей, голубчик, – хлюпает мадемуазель Жорж и поит его из своего стакана.

Семен Семеныч глотает соленое и потом из стакана – колюче-сладкое. Все чаще в висках; все быстрее языки свечей, заячья мордочка, ямочки, зубы...

И вдруг – стоп: лист белой бумаги. Краешек стола: сладкое, липкое кольцо – след от стакана; в кольце – муха; и рука с сигарой – пододвигает к мухе лист белой бумаги.

– Ну-с, пишите: «Мною, нижеподписавшимся, бывшая моя жена, Павла Петровна, за сумму девять тысяч пятьсот рублей»... Теперь цифрами: девять тысяч пятьсот...

Семен Семеныч подул на муху: муха зажужжала жалобно, но взлететь не могла. Ну, пусть... Завернул рукав рясы, подписал покорно.

– Ой, Круг, будет вам! Ой, умру, не могу больше, – захлебнулся мичман, ямочки трясутся от смеха.

Семен Семеныч смахнул невидимую паутину с лица: Господи, ясно же – все это шутка, ну просто – шутка. Розовеет выцветшая, дагерротипная улыбка, Семен Семеныч поднимает глаза. Мичман – он совсем еще мальчик, и такие милые ямочки. И Круг... что же – может быть, даже и Круг... Капитан Круг медленно складывает лист бумаги. Запертое на замок лицо. Резкая, черная черта бровей.

Было так, очень давно, в классе: заделанное в раме классного окна синее небо, на подоконнике – пронзительные воробьи. И Семен Семеныч написал классное сочинение о весне – стихами. А потом стоял около кафедры, и гусиное перо – рраз! – черная черта через весну.

Черная черта бровей зачеркнула Семена Семеныча:

– Ну вот – все в порядке. Завтра же отправляюсь получать по векселю.

Нет, это же все шутка, конечно. Это же – конечно... Все чаще, все торопливей Семен Семеныч умывается лапкой, и какие-то слова в голове – липкие, непослушные, непроворотные.

– Маруся, ну хоть вы... Ведь я же знаю... Ну ради Бога, скажите, не существует же в возможности действительность... я хочу – в действительности возможность...

– А-а, ничего не существует! Отстаньте! – морщится Маруся.

Окно выцветает, бледнеет, виден черный крест рамы: за окном начинается несуществующая действительность – день, обычный, нелепый, смешной, как все дни.

Откуда-то зайчонок-китаец. Нагнулся над запрокинутым венчиком Николая Мирликийского, трясет за плечо:

– Четыре часа. Велел будить. Вставай, четыре часа.

Голова в белом венчике покачнулась, прорезались глаза. Мутно обводит круг, потом – на себя: тужурка, оторванный погон, такой знакомый. Ну да: Семен Семеныч. И сердито зайчонку-китайцу:

– Ты кого это бу-будишь? Нет, ты кого будишь, а? Я тебе кого велел будить, а? – язык непослушный, вязкий.

– Тебя. Церковь надо.

– Нет, ты зачем меня будишь? Я тебе велел отца Николая, а ты гляди – ты кого? А?

«Детская» трясется от смеха. Зайчонок стоит растерянно: запутался. И испуганно, мутно, как дагерротипы в альбоме, глядит Семен Семеныч.

«Кто я? Я не существую. Ничего не существует».

На крышке стола перед ним, в сладком, липком кольце – муха все еще взвизгивает и тщетно пытается взлететь вверх.



СПОДРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ

Глубь, черно, лохмато: лог, в логу – лес. Сквозь черное – высоко над головой монастырские белые стены с зубцами, над зубцами – звезды. И слышно: там под стеной сторож в доску тукает.

У сторожа у этого – ключ от монастырских ворот: Сикидину через Дуняшку-просвирню очень хорошо все известно. Только бы теперь этот самый ключ как-нибудь – и ночным бытом так бы все оборудовали тихо-благородно. Ведь днем если – так беспокойства, крику не оберешься...

И назад, в темь, Сикидин очень строго:

– Чтоб физически зря не бить и не лезть дуром, а все – согласно постановленью... – По шепоту слышно: брови у Сикидина насуплены, а самого не видать – одни в темноте зубы.

Покамест еще в селе на сходе кулижились, приговор писали, солдат Сикидин так, на запятках был: главный, конечно, Зиновей Лукич, язычных дел мастер. Ну а теперь, как до дела дошло, тут как-то само собой, что Сикидин – главнокомандующий, и перед ним ожимается Зиновей Лукич, а уж про старика Онисима и говорить нечего: на всякое слово сикидинское – ротик оником, и все свое – «О? Во-от!».

Взобрались кверху, к зубцам. И вот у стены костерок красный, у костра – красная собака, вниз-вверх, мигнет-потухнет, и красный мужик – обхватил колени, в коленях ружье.

– Господе Иисусе Христе, Сыне Божий... – на бочок желтая головка зиновей-лукичева, и уж такой будто при-

горбый, такой прихворый. – К матушке игуменье мы на-
счет, стало быть, этого... дровец... Да вот припоздали...
Ну-ну-ну, собачка! Да Господь с тобой, собачка, что ты,
что ты, собачка?

– Цыц, Белка, сядь!

На ошейнике – красная сторожева рука. Рука – шес-
типалая, шестой палец на отлете, упорный и твердый –
кочетинная шпора, и мельтешатся в красном свете, тут-
там мигают, торопятся желтые зиновей-лукичевы ручки,
вокруг сторожа, Белки – паутину плетут: тоненькая – и
не видать глазом.

Про какую-то собаку генеральскую, про Серафима
Саровского. Напакостила собака на паперти, а он, ба-
тюшка, жезлом своим святительским тут же на паперти
ее и прогвоздил. А вот тоже в Нил-Столбенском скиту
кобель причастие проглотил, и в ту пору ж у кобеля –
морда человечесья, и говорит кобель тот самый...

Обметало паутиной. Кочетинный палец не шевелится;
Белка морду положила на передние лапы, глаза зажму-
рила...

– Пойти хворосту, что ли, подкинуть... – потянулся
Сикидин, встал лениво. Исподлобья желтым глазом про-
водила его Белка и исподлобья – Зиновей Лукич.

– И говорит кобель тот самый: правосла... православ-
ные...

Зашелся дух у Зиновей Лукича: «Владычица... Спод-
ручница грешных, помоги!» Увидал сзади над сторожем
сикидинские зубы.

Раз! – сверкнули зубы – глухо мукнул, как бык, сто-
рож – и на земле, с сикидинским гарусным шарфом во
рту.

Взвизгнула, взвилась Белка – Сикидина в руку. Ткнул
Сикидин ножом, вытер об траву, затихла Белка.

Из лога вылез месяц, посинелый, тоненький, будто на
одном святом молоке рос. Вылез – и скорее вверх по
ниточке – от греха подальше, и на самом верхотурье
ножки поджал.

Чтоб невдогад монашкам, чтоб дрыхли спокойно –
старика Онисима оставили наверху со стукушкой, в дос-
ку стучал старик потихоньку. А сами возились со сторо-
жем – в логу.

Умаялись с ним, окаянным, беда! Одно наплетил: «Был, – говорит, – ключ на поясу, сами же сронили, как сверху-то сюда волокли».

Бумагу ему предъявили.

– Ну, гляди. Вот... «И все денежные финансы монастыря во имя Пресвятыя Богородицы Сподручницы грешных – единогласно в пользу крестьян села Манаенок...» Согласно бумаге! Понял? Давай ключ!

Молчит. Тут за него по-свойски Сикидин взялся: физически в хряпало в самое – вот как ублаговолит. Молчит. Тьфу.

– А пес его знает, и не врет, может? – и на карачках пополз по кустам Сикидин: ключ искать. Как же: ищи ветра в поле!

Зленный вернулся Сикидин: не подходит. Ножик вынул, откромсал ломоть от краюхи, жует, а сам – все на сторожа: черт шестипалый! Придется теперь из-за него... днем все...

Тишь. Ничего будто и не было. У ворот монастырских в доску бьет старик Онисим. И только вот Белка не брешет, да рука у Сикидина тряпкой замотана: от белкиных зубов след.

Вдруг ухмыльнулся Сикидин – зубы как у Белки – и к сторожу:

– Ну-ка ты – вместо Белки твоей покойной! Ну, брешь, говорю!

Ножичек приставил к кочетиной шее. Сторожева лица за Сикидиным не видать – только руки на животе скручены и мечется шестой палец все пуще, все пуще.

– Вре-ешь. У меня, брат, забрешешь!

Взял Сикидин ножом чуть покрепче. Икнул, булькнул сторож – и залаял. Еще – и уж звонче, чище собачий лай.

Носом шел смех у Зиновья Лукича – неслышно, как из проткнутого пузыря дух. Онисим прибежал сверху – глаза младенческие, ротик оником:

– О-о? Во-от! Ну, шуты гороховые! А я думал – и верно, с собакой кто... – Захлебнулся весело, по-ребячьи, глаза младенческие, чистые. – Ну-ка, ну-ка, еще!

Но Сикидин уж бросил нож, и сторож лежит молча. Чуть шевелится шестой кочетинный палец.

Торопится месяц, все выше: чуть видать уж. Зеленеют черные листья. Заря – как скирды в сухмень горит, ровным огнем. День будет благодатный, тихий.

Но что будет в этот тихий, благодатный день?

У матери Нафанаилы, игуменьи, прежде домишко был – тут же в уезде. Родила в миру девять детей, все дочери, и все – в мать: маленькие, синеглазые, вперевалочку – как уточки-водоплавки. Без мужа подняла девятерых на ноги, и вот – старших уж замуж выдавать, и вот – будут внучата, свеженькие, крепенькие, как грибки: то-то будет визгу, то-то веселья!

Силы надо девочкам, откармливала: мастерица была, какие крупеники стряпала, какие перебяки из солода.

– Ешьте, девочки, больше соку запасайте, наше дело женское, трудное.

А было однажды кушанье – сомовина заливная со льдом. А был год – холерный. Заболели все девять – в неделю, как вымело: одна в доме.

Ушла в монастырь, и теперь – девяносто дочерей у Нафанаилы. Усохла вся, черненькая, маленькая – жихморозь, а ходит все так же: вперевалочку; старушечий рот корытцем, а глаза – прежние: большие, синие, ясные. Дерево, бывает, почернело, скрючилось, а весной отрыгнет какая-то ветка одна – зеленая, и всему дереву глаз радуется.

Любила мать Нафанаила весну, капель, черные прозоры земли сквозь снег. А уж как выбьются лысые головенки первых трав, да повылезут из-под камней склеенные задиками красные козявы с нарисованными на спине глупыми мордами, да зазвенит звон пасхальный...

– В лес – девчонки, такие-сякие, сейчас чтобы в лес – цветы собирать! Весна – время самое ваше. Пошли вон! – и ногами будто затопает.

Много из манаенского монастыря замуж выходило. И так рожали ребят немало: старушечьи корытцем губы корили, а ясные глаза смеялись.

И все девяносто дочерей – в матери Нафанаиле души не чаяли, уж так ее берегли, а вот нынче...

– Батюшки мои, как же это теперь ей сказать-то: сторож пропал – куда, неизвестно, и с собакой Белкой. Расквелится, расстроится матушка, а день такой...

День такой: ангел нынче матери Нафанаилы.

К казначее за советом. Казначей Катерина – мужик-баба: жилистая, бровястая, и уж даст совет – как замком замкнет и припечатает.

– Завтра успеется, а нынче об стороже – чтобы никто не пикнул, – порешила казначей.

И пошел день своим чередом. Пахло яствами из подвала под трапезной. Колоба на сметане, пироги с молочной капустой, блинцы пшенные: девочек своих угощала нынче игуменья. К поздней обедне звонили по-праздничному – в большой колокол. Монашенки в новых рясах, все больше румяные, нажми – сок брызнет, из-под черного – груди, как ни прячь, упрямые прут.

– Эх, родименькие! – зарился на монашек Сикидин, зубы разгорались, росли.

Сторонних богомольцев в церкви – всего никого, и только странников пяток да манаенских трое: Сикидин, Зиновей Лукич да старик Онисим.

Зато на чудотворной иконе – Сподручнице грешных – народу несчетно: и все к ней – головы и руки, а она глядит на всех ласково, глаза синие, ясные.

– Сподручница... владычица, выручи, помоги... – головку на бочок, уж такой пригорбый, уж такой хворый перед владыцей стоял Зиновей Лукич...

Душатка-просвирница вынесла игуменье именинную просвиру трехфунтовую. Освободилась – и за дверь. И оглядываясь – по каменной плитяной тропинке побежала на кладбище влево. Погодя немного вышел и Сикидин из церкви.

Липы растомились, дышат часто. К духу медвяному пчелы так и льнут. На теплой могильной плите – Сикидин с Душаткой. И уж Душатка расслабла вся, руки распустились, и только одно на свете: сикидинская лапа на правой груди.

– Так ты гляди, Душатка, чтоб без обману. Как после трапезы заснут, ты нас коридором, через корпус, в покой к ней, а сама – ноги за пояс, и марш. А ночью тебя на поляне – буду ждать, бесповоротно.

– Ванюшка, только Христа ради, чтоб беспокойства какого ей не было!

– Дура! Мы – деликатно, согласно постановлению.

Только одно на свете: сикидинская жестокая лапа на правой груди...

После обедни в покоях матери Нафанаила шумели гости: причт из Манаенок, из Крутого, из Яблонова. Уточкой-водоплавкой переваливалась, хлопотала хозяйка, сухонькая, черненькая. А глаза – как отрыгнувшая весенняя ветка: ясные, синие...

Дьякон крутовский – дочь Ноночку замуж выдал: уж так радовалась Нафанаила, так расспрашивала обо всем:

– Ну а платье-то какое венчалное?

– А платье – кисейное, белое. Вот тут вот – вставка, а тут – бары кругом.

– Ну слава Богу, слава Богу! А музыка-то была?

– Ну, музыка у нас какая же! Так, два жиды в три ряда.

– Ну слава Богу, слава Богу! Блинчиков-то еще, а?

Радостно, а все-таки уходилась Нафанаила с гостями. И как ушли – Катерину-казначею отпустила, штору задернула и на диван прилегла. Штора желтая, позолочено все в комнате, веселое: посуда в горке позолочена, просвира трехфунтовая, и по окнам – в вазах медвяные липовые ветки и купавки и лютики.

А только глаза завела – все девять дочерей тут тоже – на именины, веселые такие.

– А музыка-то у вас есть там, милые вы мои?

– Ну как же, обязательно... – и пошли притопывать, и все громче, сапоги-то у них там носят какие здоровые, вот не думала!

Раскрыла Нафанаила глаза: у притолки мужиков трое топчутся.

– И как же это я крепко так? Поди, в дверь Катерина стучала, а я – ничегошеньки...

Вскочила, поправилась – и к мужикам вперевалочку:

– Как будто манаенские, а?

– Манаенские, конечно. И прибыли к вам согласно постановлению.

– Родимые мои, вот уж нынче для меня радости сколько! Уж вот спасибо-то! И вы вспомнили – почтили меня, старуху. А у меня и пирог именинный остался, и все. Ну, сейчас, сейчас...

И уточкой-водоплавкой в соседнюю комнату, зазвене-
ла тарелками.

У старика Онисима – ротик оником:

– Ска-жжи ты на милость! Вот так попали!

Слыхать было явственно: нож проходил мягкое, легонь-
ко тукал в тарелку – резал пирог ломтями.

Зубы у Сикидина посверкивали, глаза упрятал в кар-
туз – картуз в руках:

– Что ж, мы с утра не евши. Но только уж, чтобы
потом – никаких привилегий, бесповоротно.

Игуменья тащила поднос: пирог, графин с висантом,
карпятины жареной кус.

– Ну, милые вы мои, уж так вы меня... Ангела моего
вспомнили, а? Ну, вот тут, вот тут. А ты бы, старичок, в
кресло. Ну-ка, на здоровье? И я с вами.

Со сторожем окаянным всю ночь провозились мана-
енские. А висант к именинам – хороший, крепкий: по
костям пошло, в темя вдарило. Все свирепей рвал пирог
волчьими зубами Сикидин. Все пуще голова на бочок у
Зиновея Лукича.

Еще стаканчик – и заколотил себя в грудь Зиновея
Лукич.

– Матушка, грешник я, вот передо всеми говорю... Как
мясоедом я третий раз женился на молоденькой... Опять
же – телка у меня с ящуром... Но как она, Матерь Бо-
жия, значит, Сподручница грешных – обязана она выру-
чить нас из положения. Хотя-хоть и грешник я, и телка...
но как мы, значит, для общества, а не для себя... Верно я
говорю, Сикидин? А?

Стукнули в дверь: мать-казначей. Шаги крепкие, му-
жичьи. На манаенских повела бровями:

«Пронюхали пирог мужичишки, влезли. Хоть бы какой
час ей покою дали!»

– Катеринушка, уж ты бы еще нам висанту – уж день
такой. Сделай милость, вот в горке ключи от погреба.

Ну, либо сейчас, пока в погреб ходит, либо – все пра-
хом...

Встал Сикидин, лоб нагнул: бык брухучий. Руками об
стол оперся, правая – тряпкой замотана.

– Батюшка мой, это что же у тебя рука-то? Дай, я тебе чистенькой завяжу, а то еще болеть прикинется...

Поднял руку Сикидин. На игуменью – на руку – запнулся...

А тут как раз и Онисим покончил. От висанту красный, и еще белей волосы ребяче-стариковские.

Крякнул, утерся – и поклон поясной:

– Ну, матушка, на угощеньи спасибо. Уж вот как – по сих пор! А уж пирог – ну...

Игуменья свечкой так и затеплилась. Господи, то-то нынче день хорош! А Сикидин – столб столбом, на языке – грузило свинцовое. Да как зубами скрипнет – и в дверь пулей.

– Да чего же вы, погодите! Уж вот она – Катерина, ключами гремит...

Куда там годить: по лестнице прогромыхали. По теплым плитам под липами шлепают...

В логу у телеги честили Онисима-старика:

– Ах ты, дурак полоротый! Ах, орясина! «Спаси-ибо, матушка!» Как уговорено было, а? Кабы молчал, глядишь, все бы... «Спаси-ибо, матушка!»

– А вы, коли меня умней, вы бы давиша об деле с ней говорили. А вы – что? А-а, то-то и оно-то!

На телеге Сикидин горился:

– И как нам теперь нашим, манаенским, сказать? Конечно, были обстоятельства вразрез наших ожиданий. А только срамota, ей-Богу. Уж надо какое-нибудь этакое сказуемое придумать, а то разве про это выговорить: «Спаси-ибо, матушка!»

А сам кнутовищем по лошади, по лошади, чисто не лошадь это, а дед Онисим.

Ну, ничего: еще семь верст ехать. Авось и придумают сказуемое.



ВСЕ

Отрывок из повести

В среду 7 февраля, на углу Литейного и Шпалерной, инженер Хортик разделился надвое.

В среду 7 февраля на Литейном – так, должно быть, секунду или две – трамвай звонил в немой, никому не слышный звонок, автомобили катились на немых шинах, люди шли в немых сапогах. Секунду или две все немое, как ночью в лесу, и так остро слышно – хрясь! – хвост под чьей-то лапой; и еще раз – хрясь!

Тотчас же из ночного леса на Литейном – радостный мальчишеский крик: «Стреляют!» – и Литейный, вместе с Хортиком и радостным мальчишкой, зазвенел, помчался, затопал к Шпалерной.

Там, на углу Литейного и Шпалерной, лежал на снегу человек – как-то ненастояще, плоско: стриженная черная голова – с выеденным седым пяточком на темени – и пальто, пустое, приплюснутое к снегу.

Сквозь литейную толпу пронырнул радостный конопатый мальчишка и весело крикнул Хортику (именно ему, – Хортику это было ясно):

– Воряга! Карманник! Товарищи красноармейцы сейчас расстреляли!

Откуда-то дровни, на дровнях четыре красноармейца с винтовками на веревочках через плечо. Соскочили, подняли стриженного с седым пяточком – «Ну-у!.. раз! Так!» – плюхнули на дровни. Стриженная голова брякнула о грядущку. И тот из четырех, который стоял у грядущки, отскочил в сторону, стал отряхивать полы шинели.

– Ха! Голова-то! Голова раскупорилась! Чисто из бутылки! – ощерился конопатый мальчишка перед Хортиком.

Хортик взглянул: от удара о грядущку кровавая пробка выскочила, и на снег лилось из головы красное вино.

Сердце екнуло, оторвалось от ветки – и вниз, вниз – медленным, спелым осенним листом вниз, туда, где вокруг дровней стояли четверо с ружьями на веревочках и конопатый мальчишка, и с вытянутыми шеями литейные люди, и с вытянутой шеей Хортик.

Инженер Хортик разделился надвое и сверху – ясно увидел все это там внизу и там внизу – себя, свое чужое бритое, медально-петербургское лицо. И понял – нет, не то; почувствовал телом, что он, верхний Хортик, – это все вытянувшиеся люди там, внизу, и он – этот радующийся, конопатый мальчишка, и он – этот стриженный с раскупорившейся головой. И на него – там, внизу – четверо накинули рогожку, сели как на бычью тушу и заскрипели по снегу.

А когда они завернули за угол, и весь клубок литейных людей вместе с нижним Хортиком вздохнул разом – все стало обычно-литейным, и Хортик теперь был один – всегдашний Хортик. И как все – он радостно, молча кричал: «Не я! не меня! Меня не увезли. Я – вот – иду, вот! вот!»

Шагал по Литейному крепко, ново, металлически. Крепко прикладывал к талому снегу свою печать – елочку новых калош. Обеими руками забирал себе синее по-весеннему небо, солнечные морковки сосуллек, афишу «Прощальный бал броневииков», тонкие в белых чулках ножки барышни впереди.

«Не меня... А я иду... Я не умру. Невероятно, чтобы я, потому что я – синее небо, афиши, сосульки... И потому, что сегодня ночью...»

Сердце опять екнуло, но уже по-другому; теперь оно было – весенний упругий лист, и впереди – май, бесконечное лето... И нацелившись, Хортик упруго, мягко взлетел от земли, обогнал, летя, каких-то угрюмых людей, ухватился за поручень и на густо обвешанной трамвайной подножке помчался к сегодняшней ночи, к маю, к бесконечному лету...

ЧУДЕСА





О СВЯТОМ ГРЕХЕ ЗЕНИЦЫ-ДЕВЫ

Слово Похвальное

Жены и девы да не презирают естества своего, мучения, ибо дверь отверста для всех, она же и дверь во спасение. Так и Зеница-дева, мучительному греху свое тело предавши, тем душу спасла есть.

Зеница-дева была млада и прекрасна, – всякого прекословия кроме – волосы же имела, как венец златый отрожденный, из злата червлена. Отец ее был муж нарочитейший словом и делом, у него много коней, и рабынь много, и бисера много бесценного.

Ночью жаркой Зеница-дева, возжаждав, послала рабыню отца своего взять воды в студенце. Был тот студенец сладкой водой обилен, еще же обильней множеством змий, и ехидн, и скарпий. И, приняв водный сосуд, Зеница-дева с водой испила змею малу. Воспитана же в чреве ее, стала змея тучна и вздымала чрево девицы, будто была та плодна. Приводили кудесников многих земли родимичской и весей округних, даже до самых дулебов, но никто из них волшбами своими змею из девы не мог изгнать.

Был в те дни в земле готской муж некий, чудеса творивший многа и славна, имя же ему Улфил. Когда он пришел целить деву, кудесники стали прельщать его кознями пестрых словес:

– И ты не имеешь власти изгнать змею.

Он же им рек:

– Власть я имею, но власть моя не от готских богов, ниже от мерзких словенских, но от Бога моего.

Сотворил знамение неведомое – и змея, покорившись, вышла из чрева Зеницы и, полежав немного, вид приняла сажди и пепла, чем все изумлены были немало.

Зеница же не токмо телом, но и душой исцелилась, познавши после того чуда веру истинную. И вяще отца своего и матери своей возлюбила нищих, голодных и сирых, и во вретницах сущих, и странных калик переходящих, – и с ними пребывала все дни, творя благостыню.

Во времени тому упещерились поля вешними цветами, Зеница же тем цветам была подобна лепотой нежной своей. Стрелою греховной уязвлены, многие мужи рода доброго и богатства немалого восхотели женою взять Зеницу-деву, она же, усмехнувшись, сказала им:

– Уже отдала я себя. Утром рано придите завтра – увидите.

Было еще солнце красно, как мед, и холодная сияла роса. И увидели: перед узорным крыльцом стояла нищая, серая череда.

– Убогих невеста я, но не ваша! – сказала Зеница мужам изумленным.

И так пребывала Зеница браконейскуною девой пять лет. По скончании пятого восстал в готской земле царь горделивый и злу изобретник, именем Ерман. И как ночь тьмою все наполняет, так наполнил и Ерман-царь воинами своими всю землю родимичскую, и древлянскую, и северянскую, и полянскую, и мерю, и весь, и чудь: от моря Сурожского и до моря Варяжского. И мужеский пол в землях тех истребляли нещадно.

Убегая смертной години, воины родимичские скрылись в лесах, окрест сущих. Жены же преданы были в руки враг беззаконных, неразумных и варварских язык. И все жены, противлявшиеся нечестию распаленному воинов готских, были биемы нещадно жилами турьими, уды же нежные их опаляемы были повсюду лампадами огненными.

Зеница же в то время была скрыта в спрятанном тайном, изрытом в земле. Слыша стоны мучимых, Зеница сердцем своим добротным не захотела одна спастись. И вышедши из убежища, прилежно искала увидеть Ерману именуемого царя. Узрев вежу богатую, украшенную серебром и иными добротами, Зеница спросила:

– Здесь ли Ерман именуемый царь?

Привратник же захотел узнать вину пришествия девы.

– Единому только царю могу поведать про то, – Зеница отвечала.

Видя, что образом дева светла, волосы же у нея как венец златый, привратник пропустил ее в хлевину внутреннюю, где и был царь.

Был же Ерман, царь горделивый, по виду подобен некому дивию зверю. И никто прямо взглянуть на него не мог, но клонился долу. Зеница же воззрела твердо:

– Почто воинам своим не претишь, о беззаконниче, муками мучити жен?

Ерман же царь, разженный нежной лепотой девы, в молчании на нее смотрел, как лев, в пустыне видящий снесь. А заговорил словами улажательными и ласковыми:

– Возлюбленнице моя, хочешь, и тотчас воинам запрещу мучить жен? И клянусь словом своим: не только отпустят их, но еще и брашна всякого им дадут. Знаю я, в пище у вас скудота, кроме лящи моченой нет ничего.

Зеница же возопила к нему:

– Молю, да будет по слову твоему!

Ерман же ей отвечал:

– Если и правда хочешь, да будет по клятве моей, приди и ляг на ложе со мною.

Воздела Зеница к небу стеблие белое рук:

– Люте мне, люте! Пелыня мне горше сия!

Помыслив же мало, в сердце своем решила: «не хульно будет сие спасению моему, но благо». И одежды со-влекши, взошла на ложе царево.

Узнав веру ея, царь Ерман злодушный поднял ее на стыд и подсмех:

– Где же теперь целомудрие твое доброчестно, заповеданное тебе верой твоей?

Дева же мудрая царю отвечала:

– Тленное телесе озлобление оскорбит меня только здесь, а там – телесное нечестие в честь мне будет, ибо гонимых ради то сотворила.

Клятве верен был Ерман-царь: прекратились в земле той стоны мучимых, прекратился голод.

И славили сырые все Зеницу-деву.

По прошествии тридцати дней, Ерман-царь возроптал на Зеницу:

– Почто от страстей невестягновенна ты? Почто цветы персей твоих от ласок не трепещут, и как камение нечувственное на ложе моем возлежишь?

Зеница же отвечала ему твердо:

– Тело мое, если хочешь, можешь взять, ибо оно есть тлен, душу же – нет, скверненник: душа не растленна есть.

Распалился гневом великим Ерман-царь и в гневе том преступил свою клятву. Воздвиглись гонения вновь. Первее же всех повелел царь Зеницу взять и мечом усекнуть ей оба сосца, после же того в студенец ввергнуть, где, по предреченному, были змии многи, и ехидны, и скарпии. Когда же исполнено было злоумное повеление, Ерман-царь, поднявши перси усекновенныя, лобызал их и плакался горько, даже всю ночь. И слышали стражи у красной вежи:

– Возлюбленнице моя, чистота иния вяще и снега!

Три дня с молитвой и с терпением добриим Зеница пребывала в студенце, гады же ей не вредили. Трем же дням мимошедшим трус был великий и буря. Вода из студенца вон исплеснулась – и вынесла на берег Зеницу-деву, и змий, и ехидн, и скарпий.

И, расползшись по веси всей, уязвлять начали гады воинов готских, и без того трусом смятенных. И как дивии лани от голоса человека, так побежали готы из веси той. Из лесов, окрест сущих, вышли мужи родимичские и преследовали по стопам, и многих от воин готских побили. Оплению же земли родимичской тут скончание было.

Зеница же, чудом милостивым, стала цела, как бы и не были перси ея усекновенны, красота же ея стала еще светлее. И так лет Б¹ пребывала, и уже преклонна днями была, образ же юной девы имела все тот же.

Когда же скончаться ей, близких всех пригласила:

– Чую, приблизилось время умертвия моего.

И, помолившись мало, уснула. Народ же весь плакался, и смятение было: как ее погребать? Ибо никто не знал обычаев веры ея. И еще дивились со страхом, что тело Зеницы не искрепло, но мягко, и светло, и благовонно.

И с говением многим ее погребли словенским обычаем: землею и камением насыпав место могильно, курган именуемое. На кургане камень воздвигнули обделан, изваяно же на камени том словесы эллинскими, и словенскими, и готскими:

«Здесь погребена есть Зеница-дева, сия грехом милосердным нас спасла есть».

<1916>

¹ Древнерусская и церковная цифра 40.



О ТОМ, КАК ИСЦЕЛЕН БЫЛ ИНОК ЕРАЗМ

Сказанный инок Еразм еще во чреве матери посвящен был Богу. Родители его долгие годы ревностно, но тщетно любили друг друга и, наконец, истощив все суетные человеческие средства, пришли в обитель к блаженному Памве. Вступив в келию старца, жена преклонила пред ним колени, и стыд женский запечатал ей уста, и так молча предстояла старцу. Но блаженному Памве и не надо было слов: от юности тленные женские одежды были ему как бы из стекла, и сквозь них тотчас увидел он горькие бесплодием ложесна женщины.

– Оставь скорбь, женщина, – сказал ей старец. – Сядь здесь и раздели со мной трапезу.

Так сказав, взял печеную рыбу, вынул молоки и, благословив, подал их женщине. Та со слезами и верой причастилась благословенной пищи и внезапно ощутила в себе трепетание, как если бы приняла мужа в лоно свое.

Когда увидел старец Памва, что уже вновь раскрылись завеженные очи ее и пурпур вновь окрасил побледневшие на малое мгновение ланиты, он улыбнулся ей, сказав:

– Отныне муж твой уже не будет подобен пахарю, возделывающему песок, и труд его принесет плоды. Но первенца твоего, когда он научится петь хвалу зародившему его и зарождающему тьмы, – первенца своего ты приведешь в обитель и оставишь мне.

После того много раз солнце вставало над обителью и сеяло золотое семя свое в синий снег и в черные весенние недра, вздымалось стеблие трав и, совершив заповеданное, вновь клонилось долу. И лишь старец Памва был

по-прежнему прям, как крестное дерево кипарис, и все так же крепок был серебряный венец его мудрых седин, и многих исцелял убогих мужей, и одержимых бесами, и неплодных жен, в чем видели иные силу вкушаемой старцем благословенной пищи.

И вот в день Пятидесятницы, совершив положенные службы, вышел старец Памва из храма. Рачением братии белые плиты перед храмом были усыпаны весенними благоуханными травами, и венками были увенчаны кресты на могилах почивших и ныне сорадовавшихся вместе с живыми иноков. И украшенный зеленым венком предстал блаженному Памве златоволосый отрок, ведомый за руку женщиной.

– В сей день брачный земли – войди и живи с нами, отрок Еразм, – сказал старец Памва и уже поднял руку благословить отрока, но в тот же час два беса, принявшие образ голубиный, сев на кресте могильном и уронив на землю венок, предались плотскому неистовству.

– Он ее заключет! Освободи ее, добрый старец! – вскричал отрок Еразм к блаженному Памве.

Старец Памва поднял глаза на бесов – и те истаяли дымом на виду у всех, не окончив своей неподобной игры. Старец же возложил на Еразма руки, сказав:

– Счастлив удел твой, брат Еразм, и тяжел он, ибо уже раскидывают над тобой бесы свою сеть, но они ищут лишь ценной добычи.

И, чтобы блюсти Еразма от козней бесовских, блаженный Памва поселил его в своей келье. Юный инок Еразм служил старцу, подавая ему воду для омовения, скудную пищу, кадильницы, свечи и не раз видел, как он целил больных и прозревал души приходивших к нему, как если бы одежды и самое тело их были из стекла.

– Как смотришь ты, отче, чтобы читать в душах их? – спросил старца Еразм.

– Я смотрю в глаза, – отвечал старец Памва. – Тело человека – все обитает в этом мире, и только глаза его – суть колодцы, проникающие с поверхности этого мира в тот мир, где их души. Как разноглубоки колодцы в земле, так разноглубоки они в человеке. И чем глубже, тем ближе к обителям божественным, но и к вратам преисподней.

– А у меня? – спросил инок Еразм.

Но ничего не ответил мудрый старец, погрузившись в молитву. Ибо не видел дна в тех синих колодцах, прикрытых сверху легким, непрочным наметом ресниц. Так искушенный путник опасно ходит по неведомым дорогам, минуя влекущие нежной зеленью места, чтобы не погрузиться в коварную хлябь.

Вскоре инок Еразм стал весьма искусен в чтении и письме. И когда блаженный Памва уставал от молитв, и от бесед с приходившими искать мудрости его, и от борений с неустанно, как мухи, осаждавшими его бесами, инок Еразм читал ему вслух нечто от библии, или от житий святых отец наших, или от Цветников и Изборников отеческих. Был голос у юного инока чистоты, подобной звенящему с высот горнему крину, и как на пути быстрых вод горнего крина спаленный солнцем холм облекается зеленой одеждой, упещренной белыми и багряными и синими, как твердь, цветами, – так поливались сладким и буйным соком читаемые Еразмом слова. И слыша их странную и как бы уже не божественную прелесть, старец Памва прекращал чтение, говоря:

– Я помолюсь, Еразм. Выйди и читай один.

И уже вовне келий, на белых и горячих от солнечного дыхания камнях, вновь раскрывал Еразм залитые восковыми слезами листы древней книги и читал от нее. И упоенный вином словесным, не слышал, что творилось вокруг, и не видел и не ведал, что есть чтение его.

Однажды в такой час, истомившись зноем, поднял блаженный Памва ставень в келье и остановился изумленно, услышав за окном тяжкие вздохи и стенания как бы огромного зверя. Вышед, увидел он Еразма на ступенях келий с книгой, а кругом – иноков, юных и зрелых и старцев, и как бы от чрезмерного бега – лица у них красны, а дыхание часто, и многие стенали от неистовой некой муки и яростно, оберучь, охватывали белое тело берез и, упав ниц, лобзали круглые, подобные чреву камни.

– Что, безумный, сделал ты с ними? – спросил старец во гневе.

– Я читаю им от священных книг, – ответил просто-душно Еразм.

Полагая, что нашептанный бесами юный инок осквернил себя ложью, старец Памва подступил ближе и, опу-

стив взор свой на листы древней книги, увидел, что не-
право помыслил так об Еразме, ибо он читал Песнь Пес-
ней мудрейшего среди смертных и пророка пред Госпо-
дом. Тогда уразумел блаженный старец, что инок Еразм
невинен, но вина братии, и сказал им:

– С какими помыслами вы, нечестивые, слушали слова о
божественной любви к чистейшей невесте нашей церкви?

Но братия молчала.

– Поднимите, злодушные, ваши очи вверх и увидите.

На краткое мгновение, по молитве блаженного Памвы,
отверзлись их духовные очи и увидели все: невысоко, на
уровне кровель обительских, клубилась над ними тяжкая
туча, пронизанная вся красным, как кровь. И еще, погода
мало, увидели, что это не кровь, но клубы тучные свиса-
ли в виде женских персей, с обращенными вниз острия-
ми сосцов, и волновались клубы в виде чашеподобных
лон и увитых легкой тканью лядвей и чресел.

Пораженные видением, иноки безмолвствовали. А туча
бесовской прелести, по мановению блаженного старца,
содрогнулась и пролила некий смрадный, густой и бе-
лый, как молоко, дождь.

– Видите, что сеете вы помыслами своими? – спросил
их блаженный Памва.

– Прости, отче, видим, – отвечали устыженные иноки.

И с того дня юный Еразм запрещен был Памвою в чте-
нии книг, но приставлен к иному делу, где бесы уже не
могли обратить во зло лепоту его нежного голоса. Под
неусыпным надзором старца инок Еразм стал обучаться
писанию икон.

Опасаясь бесовских козней, старец Памва отделил
Еразма от прочей братии, затворив его в малой келии, и
уже никто не видел и не слышал Еразма – только ста-
рец. И были стены в той келии белы, как одежды брако-
неискусной девы, и было малое, одетое решеткой окно.
После полудня ложилась на стене тень от решетки, по-
ступью неспешной шла все выше, и в час, когда река
раскрывала солнцу лоно свое, останавливалась тень на
сводах и гасла, а внизу, на девственной одежде стены,
проступало багряное, как от крови, пятно. И, снедаемый
неведомым горением, приближался инок Еразм к стене и
осязал багряное пятно, как бы ожидая нежной кровью

окрасить персты. Но наутро, как прежде, сияла стена цветом невинности, и, входя в келию, тайно радовался старец Памва, что даже самый вид стены должен убелять помыслы юного инока, и радовался, видя, с каким тщанием и искусством прилежит он к великому и божественному делу писания икон.

В то время случилось блаженному Памве исцелить некую знатную жену – именем Мария, – власть над нею имел бес, толкавший ее к неудержному и несытому любодеянию. И всего лишь трижды коснувшись перстом ее палимого блудным пламенем естества, насытил ее покоем блаженный старец и освободил от власти бесовской. Было же имя той жены в честь преподобной Марии Египетской, и сказала жена, исцелев, старцу:

– Молю тебя, отче, если имеешь кого, искусного в писании икон, повели ему написать житие преподобной Марии и страстные муки ее и изящные деяния в пустыне египетской. По написании же я, заключив себя в келии, со слезами буду взирать на образ жития преподобной и потщусь идти по стопам ее.

Блаженный Памва в тот же день призвал Еразма и спросил его, сказав:

– Знаешь ли ты страстное житие преподобной Марии Египетской?

Еразм же ответил:

– Прости, отче, не знаю.

И дал ему старец разогнутую книгу Четий-Миней и указал читать житие преподобной. И читал Еразм весь день, оставив нетронутой пищу. Вот уже вечер, погасла на сводах келии тень от решетки. Зажег лампаду Еразм и вновь читал, как прекрасная телом дева сетью красоты влекла юношей и мужей александрийских на ложе свое, и как на обуреваемом волнами корабле опаляла всех несатым огнем страсти своей, и как, заточив себя в пустыне, снедаемая жаждой смешения, взывала о помощи к небесному жениху.

И этот последний ее лик – в пустыне, с очами, задернутыми легкой мглой, какая повисает над палимой неистовым зноем далью, с устами, разверзшимися, как иссохшая без дождей земля, – этот лик преподобной написал Еразм в середине образа. У ног ее – желтый песок и травы

цветы, сожженные зноем, истекающим от солнца или от тела преподобной, скрытого под тонкой белой одеждой.

И не слышал Еразм, как в клеть к нему вошел старец Памва и стал за плечами его, как бы Ангел-хранитель. Долго смотрел блаженный старец на образ преподобной и сказал Еразму:

– Похвально рачение твое, и вижу на тебе печать дара Божия («Точно ли Божия?» – помыслил про себя старец). Но есть еще несовершенство в писании твоём: прекрасен лик у преподобной жены, но под хитоном ее вижу я тело не жены, а мужа, ибо еще юн ты и еще должен увидеть тайны созданной Господом из ребра адамова.

Так сказав, вышел старец: уже проступала вечерняя кровь на непорочно-белой одежде стены, и чугунное било звало братию в храм. Еразм же разрешен был старцем от церковной молитвы и остался в келии один. Опечаленный, пал. Еразм перед образом и жарко молился, вопия:

– Умилосердись, преподобная, научи меня познать честное тело твое, дабы мог я достойно прославить тебя.

Но здесь услышал он сзади тихий, едва слышимый смех. Обратившись, изумленный, искал он, кто мог войти в келию, – и увидел лишь на решетке окна двух играющих голубей. В тот же час вспомнил Еразм голубей на могильном кресте в день пришествия своего в обитель, осенил себя крестом – и голуби растаяли в розовом небе. Но вновь услышал тот же смех, уже более близко и явственный.

И тогда, возле освещенной солнцем стены, как бы вышедшую из стены, узрел инок Еразм неведомую деву. Была она в белой одежде, но на белом там и здесь цвело розовое, как на стене от солнца, пятно.

– Кто ты? – спросил инок Еразм, удерживая руками сердце, содрогающееся от страха и иного, неведомого, трепета.

– Имя мне – Мария, – отвечала дева. – Я жила в Египте. И вот по молитве твоей я послана к тебе.

Пораженный чудесным знамением, Еразм упустил даже вновь осенить себя крестом, но тотчас, припав, стал лобызать одежду явившейся девы.

И ощутил запах – неведомый, но как бы всегда живший в его сердце до того часа. И все выиграло в Еразме

и устремилось неудержимо к преподобной деве, как неудержимо восстает к солнцу напряженное весенним соком стеблие трав. Устыженный, отошел Еразм и, опустив глаза, тщился оправить свою одежду так, чтобы не узрела святая дева волнения его.

Но дева назвала его по имени, – голос ее пронзил сердце Еразма, как некий сладостный меч, – и так сказала Еразму:

– Почто, неразумный юноша, смущается сердце твое? Приблизься. Ужели забыл ты наставления учителя твоего Памвы и забыл, зачем я на краткий срок послана тебе?

Тогда Еразм, преступив свое смущение, приблизился к деве, с трепетом развязал ей пояс и отстегнул запон вверху. До половины спал с нее белый хитон, и предстала перед Еразмом неведомая ему дотоле тайна персей. Были они как две волны, чудесным велением Божиим высоко восставшие на спокойном море, а оседающее за край земной солнце на острых вершинах тех волн зажгло алые пламена. И радуясь уведанной премудрости Творца, Еразм, следуя наставлению старца Памвы, стал со тщанием изучать открывшееся. Подобно апостолу неверному Фоме, он не верил зрению только, но погружал свои персты в нежные и прохладные волны и всякий раз все глубже ощущал в сердце своем сладостный меч, и как бы в некой блаженной смерти истекает из него жизнь.

– Но еще не все ты познал, – сказала, улыбаясь, дева. – Спешь же, ибо лишь на краткий срок я послана к тебе.

И, весь трепеща в предчувствии тайны еще прекраснейшей и нежнейшей, юный инок отстегнул нижний запон. Но в тот час, когда готова была уже последняя тайна предстать перед ним, услышал он легкий, как бы от лопнувшего сосуда, звон, и дева бесследно исчезла. А в дверях келии увидел Еразм блаженного Памву. Был он гневен, и седые брови его были распростерты, подобно воскрылию, и весь он был как грозная, летящая на защиту птенцов своих птица. И громким голосом спросил Памва, сказав:

– Что делал ты, безумный? И кто был с тобой?

И, не таясь, все рассказал Еразм мудрому старцу: как со слезами молился он, чтобы преподобная дала познать

ему тело жены, да прославит он достойно ее честное тело, и как по молитве явилась ему она, и как узнал он все, кроме лишь некой последней тайны.

Немало смущен был блаженный Памва тем, что поведал Еразм, ибо не имел старец твердой веры, что от Бога было видение это Еразму, а не от беса. И мудро сказал Еразму:

– Возблагодари пославшего тебе помощь в труде твоём для прославления преподобной. Но помни: ту, последнюю тайну – нелеть иноку знать, и тебе в художестве твоём тайна та не нужна. Иди же и спи с миром.

Но не мирен был сон Еразма, было его ложе – из углей, и до утра ощущал он неумиримое, непреклонное устремление к той, последней тайне, и до утра погружал он персты в жемчужные, чудом восставшие на спокойном море волны. А наутро, сотворив обычное иноческое метание перед старцем, омыл он кисти и, трепетно вспоминая открывшееся вчера, приступил к исправлению того, что было указано наставником его в художестве – блаженным Памвой.

Вскоре окончен был образ. Со вниманием осмотрел его блаженный старец и увидел, что теперь преподобная не только ликом, но и телом была женою из жен, и даже помнилось старцу, что сквозь облачно-белые ее одежды тлеют остриями легчайшего пламени перси. Но о том не сказал Еразму, помыслив про себя, что лишь видит он, как обычно, сквозь одежды женские, как если бы были они из стекла. И, взмахнув воскрылием бровей, благословил Еразма, сказав:

– Вижу, горением к преподобной полон дух твой. Не гаси же горения того, пока не кончишь писания образа.

Но, если бы даже и хотел, уже не мог Еразм погасить в себе горения того. Старец же Памва по сих словах оставил обитель, призванный к одру недугующего князя той страны. Выходя из врат, еще раз оглянулся блаженный старец на золотые среди зелени главы храма и увидел: повисши на ветвях древних схимниц-лип, гроздьями качаются бесы, как отроившиеся пчелы. И содрогнулся старец от темного предчувствия новых и небывалых бесовских козней, но выйти из воли князя не мог.

В отсутствие Памвы пищу Еразму приносил большой хлебенный старец именем Сампсон. Был он, как древний

Сампсон, велик и мощен телом во всем до последнего, и не было у него растения волос ни на голове, ни на лице и нигде на теле, отчего был он как бы дважды наг, и по повелению Памвы, даже в летнюю пору, носил он на себе не менее трех одежд. А от вида женского, хотя бы и не в естестве, но лишь в изображении, бывал он буен без меры. И опасаясь того безмерного буйства, Еразм принимал от хлебного старца пищу сквозь дверное отверстие.

С утра весь тот день пламень источался от солнца; от суши великой вдали, за озером, горели травы и леса. И как бы вместе с травами изгорал, не сгорая, Еразм, и на гладком кипарисовом древе возникали огненные образы страстного жития преподобной.

Двери в храмину, и у дверей тех – длинная череда юношей и мужей александрийских, с почерневшими от жажды лобзаний устами – как бы череда воинов, уже подъявших закаленное огнем оружие и ждущих ринуться на врага, чтобы насмерть пронзить его тем оружием. И ниже, в золотом обрамлении – самая храмина, бедная и белая, ибо в бедности жила преподобная и не взимала мзды за красоту тела своего. В храмине – убогое и роскошное ложе из трав, а на зеленом ясписе трав – золотой плод: нагота преподобной, и жалят взор четыре расцветших алыми чашами цветка. Но тайну уст и персей, по сказанному, уже знал Еразм: четвертой же, последней тайны не ведал еще юный инок и не из двух, но из трех алых лепестков сложил он эту последнюю тайну, отчего для взиравшего была она еще губительней и необоримей. И в новом обрамлении из красного золота цвели те цветы на обуянном бурями корабле, и корабельщики, забыв о волнах морских, вздымались и падали на иных, огненных волнах. И далее, в опаленной, соломенно-желтой пустыне преподобный Зосима встречал Марию и, в страхе совлекши с себя одежду, бросал ей, дабы не погибнуть, увидев прелесть наготы ее, но ветром пустынным уносило одежду, и стоял Зосима, прискорбно опустив глаза долу на разжение свое. И так, до самого блаженного преставления преподобной Марии, написал Еразм все ее страстное житие.

Был напитанный солнечной кровью закатный час, когда он кончил все. В тот час, как обычно, хлебный ста-

рец Смпсон принес Еразму вечернюю трапезу. И, восторгнутый от всех мыслей и опасений ежедневных, кричал Еразм к старцу, сказав:

– Велик час скончания пути! Войди, брат Смпсон, и скажи мне, как видишь.

– Опасно мне, брат, – отвечал Смпсон сквозь дверное отверстие.

– Войди, говорю тебе, – с нетерпением и гневом сказал Еразм.

И, чтобы не вводить в гнев брата своего, вошел Смпсон. И увидев, покачнулся на ногах, как если бы обременны были ноги его некой внезапной тяжестью, и, взревев яростно, пал ниц и сверлил холодный земляной пол келии. В страхе взял Еразм сосуд с принесенной ему старцем водой и вылил ту воду на неистового Смпсона. Тогда встал Смпсон, разодрал на себе одежду и, дважды нагой, воскликнул:

– Горе мне, окаянному! Вотще сила моя исходит!

И пробив келейную дверь, вышел вон. И настала ночь, страшная происшествиями и знаменами. Среди дымной тьмы, освещая себе путь восковыми свечами, бегали иноки, напинаясь на могильные кресты. В дальнем углу, за хлебным подвалом, открывалось и вновь закрывалось огненное окно: там ковали хлебного старца Смпсона в цепи, дабы не повредил он деревьев и утвари и строений обительских, ибо мог он силою своею прободать все. А несколько выше кровель, там, где некогда повисла показанная Памвой туча, всю ночь слышался легкий, как бы от щекотания, смех и скрип некий, и капала вниз ужасная, подобная черной смоле, роса.

Встало солнце, багровое сквозь дым, и увидели: в ночь, неким чудесным изволением, расцвели все деревья и травы, широко отверзая алые и розовые, как тело, и белые, как жемчуг, чаши и источая прелестные благоухания. И повсюду – на деревьях, и в чашах цветов, и на крестах могильных, и на решетках окон, и в сосудах для питья, и на плечах иноков – повсюду видны были акриды, с крыльями как бы из небесной радуги, и трепетали крыльями, соединившись попарно.

Не слыша обычного заутреннего била, но вместо того – смятение и вопль, вышел Еразм к братии и сказал:

– Что мятетесь, братие? Не бойтесь, но возьмите из келии моей образ чудесно явившейся мне преподобной, и она, верую, исцелит вас.

И, сказав так, вновь затворился Еразм в своей келии, помня послушание, положенное на него старцем Памвою. Братия же, по слову Еразма, взяла написанный им образ Марии Египетской в житии и, водрузив образ перед вратами обители, построила над ним сень из цветов. Но лишь начали молебное пение и с надеждою вознесли свои взоры на образ, как явственно увидели пламенеющие на распростертом золотом теле четыре алых цветка – и последний, четвертый, волею и неведением Еразма сложенный не из двух, но из трех лепестков. И внезапно обуял всех огонь страстный, и были все, юные иноки и равно древние старцы, как те мужи александрийские у дверей храмины, ждущие войти к преподобной.

И в тот же час оставленный без стражи Сампсон порвал крепкие цепи и, прободав все на пути, явился пред братией, дерзновенно, на глас четвертый, исповедуя жажду смешения. Вратарь же, услышав как бы молитвенное песнопение, открыл врата многим чаявшим войти в обитель женам и девам и мужам мирским. И все вошли, и на травах, на чистейших доселе плитах во дворе обители, на ступенях келий, под сенью расцветших за ночь кустов – всюду началось неслыханное. И, как ночью, вновь слышен был на высоте кровель смех как бы от щекотания и скрип и шепот.

Но лишь один, возвратившийся от князя той страны, старец Памва видел над обителью тучи веселящихся и скачущих и плещущих крыльями бесов. И более того: никто из одоленных бесами иноков не видел гневного лица старца, ни взмахнувшего, как бич, воскрылия бровей его, и никто не слышал его громких, устыжающих слов.

Тогда уразумел старец, что на малый час победили бесы и что, пока не истребит он бесовского огня в творящем, того не ведая, соблазны юном Еразме – до того часа будут в обители властвовать бесы.

И вошел старец в свою келию и из своей келии – в келию Еразма. И увидел Еразма – единого в обители без жены возлежащего на ложе своем. Но ланиты его были палимы невидимым огнем, и иссохшими устами пил он от неведомой ему четвертой тайны.

Затворив двери и окна, дабы не смущать сердце свое шепотами и шорохами неистовства, долго молился блаженный Памва. По молитве же сошло на него разумение, и услышал он голос как бы внутри себя, говоривший: «Спусти стрелу, и ослабнет тетива, и уже не будет более смертоносен лук». И сказал себе: «Истинно так». И вновь молился, и предстала пред них являвшаяся Еразму дева, именовавшая себя Марией. Взял старец за руку ту деву и ввел ее в келию Еразма и сказал ему так:

– Встань, Еразм. По милости своей вновь является тебе преподобная дева. Возьми же ее и уведай четвертую, последнюю тайну. Ибо вижу я ныне: изображающему творение – надлежит ведать все тайны Творца.

И увидел, как совлек Еразм с нежного тела одежду и, вновь коснувшись трех первых тайн, со стенанием погрузился в последнюю.

И погрузилось солнце в воды озера за обителью, и на невинной белой одежде стены проступило красное, как кровь, пятно. И в то же мгновение опали цветы с деревьев и трав, истлели радужные крылья акрид, истаяли бесы, как воск, и, устыженная, во тьме разошлась братия по келиям. Блаженный же Памва вышел во двор обительский и, благословив, отпустил изнеможенных жен и дев, сказав им:

– Идите с миром, ибо ничто в мире не творится без изволения Творца, даже и грех, и все ко благу.

С того дня как бы отпали от Еразма невидимые бесовские цветы, и исцелел он от бывшего в нем одержания. Безбоязненно отпустил его старец Памва жить с братией, и когда читал во храме Еразм – не было уже соблазна от чтения его, когда писал он лики святых – то писал, как все, во славу Божию, а не дьявольскую. Память же о темных соблазнах бесовских, о страшных знамениях и необычайных происшествиях молитвою блаженного Памвы была истреблена, как весенний снег солнцем.

И лишь я, недостойный схимник Иннокентий, с благословения мудрого старца, записал все к назиданию и руководству игуменов нашей обители. Простым же инокам не дозволено чтение сей записи.

<1920>



О ЧУДЕ, ПРОИСШЕДШЕМ В ПЕПЕЛЬНУЮ СРЕДУ

а также о канонике Симплиции и о докторе Войчке, потому что это чудо случилось именно с каноником Симплицием, а доктор Войчек был единственным в мире человеком, какому суждено было видеть все это с начала до конца.

Поверить в то, что чудо было когда-то, с кем-то, – я бы еще мог, и вы могли бы; но что это теперь, вчера, с вами – вот именно с вами – подумайте только! И потому, когда вечерами доктор Войчек приходил к канонику и они садились за домино, каноник всякий раз спрашивал робко:

– А все-таки... все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах? Может быть, такие случаи бывали – хотя бы в древности?

Доктор Войчек щурил свои зеленые козы глаза, рот его полз, пугая улыбкой Симплиция. Так минуту, две. Затем Войчек крутил по привычке на лбу свои рыжие волосы – вот справа и слева торчат уже рыжие рожки – Войчек разводил руками:

– Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо. Я бы и сам хотел – не меньше, чем вы, – чтобы это как-нибудь все... Но как же, если я своими глазами видел – больше: осязал вот этими самыми руками... Да что там! Н-ну, а как ваш...

Каноник Симплиций знал – о чем дальше, секунду он был дичью на вертеле над медленным огнем – доктор медленно закуривал папиросу.

– ...как же ваш архиепископ? Здоров?

– Благодарю вас, благодарю вас. Я был у него вчера – он чувствует себя прекрасно.

Об особом благоволении к канонику архиепископа Бенедикта знали многие, и никто этому не удивлялся: чье сердце не раскрылось бы настежь, если бы туда посту- чались глаза каноника Симплиция – эти два младенца, удивленно засунувшие в рот свои пальчики? Или нет – может быть, даже не это: может быть, главное – ямочки у каноника на щеках, да, наверное так. А архиепископ Бенедикт... что ж: в конце концов, и он – человек.

Очень серьезно, разве только чуть пошевеливая рога- той улыбкой, доктор Войчек говорил:

– Дорогой мой, если вас смущает мысль о будущей жизни, о возмездии и о прочем – что понятно, – то я могу вас успокоить: это будет во всяком случае не скоро. Есть вернейший способ продлить жизнь до любого срока.

– То есть как?

– А так. Вы помните: архиепископ рассказывал, что когда он приехал в Рим – ему пришлось перевести стрел- ки на своем брегете больше чем на час назад – лишний час жизни, понимаете? Если вы приедете в Лондон – вы прибавите к жизни уже два часа, в Нью-Йорк – целых шесть часов, и так далее. Словом, если вы будете все время ехать отсюда к западу, вы будете прибавлять к своей жизни дни, недели, годы – вообще сколько захоти- те. Вернейший способ!

Ямочки; младенцы, удивленно засунувшие розовые пальчики в рот. Да, странно, но как будто – так. Цифры: что же тут скажешь. А главное, каноник Симплиций уже привык к этому: каждый вечер, уходя, доктор Войчек оставлял в голове у каноника такой вот гвоздь, каноник ворочался в постели, думал, думал, поворачивал гвоздь и этак и так: нет, Войчек – прав, Войчек – ума необычай- ного. И конечно, к кому же, как не к доктору Войчеку, было обратиться, когда с каноником началось это.

Началось это первого августа, во время мессы, в день вериг апостола Петра. За неделю до того каноник был у архиепископа! Бенедикта. Только что вернувшийся из Рима архиепископ был особенно ласков: угощал колючим асти, медленным, густым напитком братьев бенедиктинцев, розо- вой, как младенец, римской лангустой. Обо всем этом и о многом другом каноник рассказывал потом доктору Войче- ку, ничего не скрывая – как на исповеди, хотя, может быть,

происходившее в этот вечер у архиепископа никакого отношения ко всему дальнейшему не имело. Во всяком случае, в день вериг апостола Петра во время мессы каноник Симплиций в первый раз почувствовал, что он, кажется, болен: кружится голова, в животе какая-то тяжесть.

День первого августа был желтый, жаркий, народу много, густой и трудный воздух. Когда каноник поднял сверкающую золотыми лучами гостію и произнес: *Corpus Domini Nostri custodiat...*¹ – он увидел, что какой-то женщине дурно, ее ведут к дверям. И в ту же секунду у него самого каменный пол под ногами стал мягкий, ватный, орган – где-то за тысячу верст, в глазах – паутина. Только до крови закусив себе губы, каноник удержался от того, чтобы не упасть, как эта женщина, и довел до конца мессу.

Как янтарные четки – дни: одинаковые, прозрачные, желтые. И четки из холодного осеннего хрусталя, четки из снежно-белой слоновой кости. Все та же тяжесть – теперь уже привычная, и внутри – легкая, пожалуй, даже приятная боль. В остальном каноник был здоров, ему говорили даже, что он полнеет.

Однажды вечером, за домино, доктор Войчек пристальней, чем всегда, вщурился в каноника своими зелеными козьими глазами:

– А знаете, дорогой мой, мне не нравится ваш вид. Вы бледны. В чем дело?

Каноник рассказал – о мессе, о том, как ему стало дурно, об этой боли в животе.

– Разденьтесь-ка. Да раздевайтесь же, говорю вам! Подумаешь, целомудрие! Небось, когда ваш архиепископ...

– Нет, нет – я сейчас, сию минуту.

И – тело: в спальнях у женщин такие бывают кресла, обитые розовым шелком, с теплыми ямочками, складочками, живые – может быть, иногда даже заменяющие своих хозяек. Доктор Войчек острее закрутил свои рыжие рожки, пополз к ушам улыбкой. Но через минуту – серьезен, нагнулся, приложил ухо к обитому розовым шелком телу, пощупал живот.

¹ Тело Господне – наша защита (лат.).

– Та-ак... Слушайте: чего ж вы до сих пор молчали?

– Да я как-то... Мне говорили, что я даже пополнил. А что?

– А то: придется вас резать.

Ямочки; младенцы, испуганно засунувшие пальчики в рот.

– Но почему же? Что у меня такое... ради Девы Марии!

– Боюсь, что... Впрочем, вот взрежем – тогда скажу.

– Нет, доктор: что-нибудь серьезное?

– Как сказать: когда вспухнет живот у бабы – это дело не серьезное, а когда у нас с вами – тут уж не до шуток... Вот что: это у вас давно?

Каноник вспомнил: да, с августа – день вериг апостола Петра – архиепископ Бенедикт вернулся из Рима – ну и... вот тогда же, вскоре.

Доктор Войчек чуть-чуть шевельнул рожками, улыбкой.

– Так, так... Ну что ж? – сегодня у нас понедельник? – в среду приезжайте ко мне в госпиталь.

И вот – среда, та самая Пепельная Среда, постом на первой неделе, когда все это произошло. Февральский день, в еще зимнем небе – яркие синие окна, ветер, все летит. Комната – тихая, с жутко-белыми стенами, дверями, скамьями – как будто уже не здесь, на земле, где все пестро, шумно, где всегда перепутано черное и белое. В белой комнате каноник Симплиций, замирая, ждал – рядом с какой-то женщиной, похожей на паука: огромный под серым ситцем живот – и кругом живота все остальное – руки, ноги, голова, белые глазки.

Долго сидели молча, каждый о своем. Потом женщина-паук выпростала из живота ногу, каноник увидел расплющенный ботинок, мотается ушко. Женщина туго, кругло вздохнула животом, на живот, как на что-то ей постороннее – как на стол – положила одну из многочисленных рук.

– Вот, рожаю третий раз – и каждый раз режут... Мать Божия! Зарежут – как без меня будут Стась, и Янек, и Франц? А вы – тоже к доктору?

– Да, я тоже к доктору Войчеку.

– Вам – что! А я как подумаю: самой старшей – восемь лет... Хорошо еще, у пана доктора милостивое сердце, не берет с меня денег.

Кто знает: может, скоро канонику Симплицию вместе с этой женщиной сидеть уже не здесь, в белой комнате, а в каких-то иных огромных и тихих покоях, там ждать часа, еще более страшного – и хорошо, если тогда женщина скажет о нем доброе слово... Каноник Симплиций вынул кошелек, высыпал все, что там было, и отдал женщине. И в тот самый момент, когда она засовывала все это в свой огромный, тугой живот, – вошел доктор Войчек, прищурился, пополз на каноника, пугая улыбкой.

– Что, запасааетесь в дорогу добрыми делами? Считаете грехи? Ничего, ничего, дорогой мой: через три недели вы уже опять можете идти к епископу есть лангусты. Ну...

Дальше – белизна, сталь, стол, дрожь. Издалека с земли – огромный голос доктора Войчека:

– Считайте вслух: раз-два-три... Ну? Слышите?

И нет уже языка, тела – нет ничего, конец...

Но для каноника Симплиция – это было только начало; концом это было для той паучьей женщины: она лежала, прикрытая белым, тихая, ее рыжие ботинки были завязаны в узелке вместе с платьем, на узелке – приколота записка, а в одной из белых комнат кричал красный ребенок с громадным, мудрым лбом.

Каноник Симплиций расклеил веки: над ним – рожки, прищуренные козы глаза, но все же этот демон – несомненно, доктор Войчек, и каноник – явно еще здесь, на земле...

– А она – та женщина, с которой мы вместе... – больше у каноника не было голоса, не было сил, но доктор Войчек понял, закрутил свои рожки так, что самому стало больно.

– Вам, дорогой мой, повезло больше, чем ей: она уже докладывает, кому следует, о ваших добрых делах.

И тотчас же сзади каноника – какой-то жалобный, странный писк. Каноник хотел повернуться, доктор Войчек сердито крикнул:

– Да вы с ума сошли! Лежите! – шагнул куда-то и через минуту вышел на белую середину с подобранными ногами к животу, скорченным младенцем – у младенца был громадный лоб.

Каноник Симплиций – на доктора Войчека, на младенца – все круглее, все шире.

– Это... это зачем... откуда?

Доктор Войчек долго молчал; вщуриваясь своими козьими глазами в каноника Симплиция – все глубже, на самое дно. Вдруг пополз улыбкой, пугая, – чему он улыбался, неизвестно. И наконец сказал – очень серьезно:

– Все равно – раньше или позже придется: уж лучше сейчас. Этот ребенок – ваш.

Застывшие ямочки; младенцы с испуганно раскрытым ртом.

– Вы хотите сказать... То есть как – мой?

– Так – ваш.

– Но ведь я же... Пресвятая Дева! – ведь я же все-таки мужчина!

– Дорогой мой, я знаю это не хуже, чем вы, – и тем не менее... Вы же понимаете: мне, врачу, поверить в чудо – а я не могу это назвать иначе, как чудом – гораздо труднее, чем вам, священнику, и все же я – ничего не поделаешь! – верю. Примите это как испытание – и как особую милость к вам неба.

– Но, доктор, ведь это же... ведь это невероятно!

– А воскрешение мертвых – вероятно? Или вы скажете, что не верите в это?

– Нет, нет – я верю... Но почему именно я, – я?

– Быть может, в наказание за какие-нибудь ваши грехи – откуда я знаю? Может быть, потому, что небо избирает своим орудием простые сердца, а вы, к счастью, просты сердцем – как младенец. Ну, успокойтесь, успокойтесь, вам вредно... Это – сын, мальчик.

Что ж иного оставалось канонику Симплицию, когда даже доктор Войчек – сам Войчек! – поверил в чудо? Каноник принял это и нес так же покорно, как апостол Петр свои вериги. Ему казалось даже, что он знает, за что небо так наказало и наградило его. Только иногда вечерами, когда они садились с доктором за домино, каноник спрашивал робко:

– А все-таки... все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах?

Но ответ всегда был один и тот же:

– Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо.

Доктор Войчек свято хранил тайну чуда, происшедшего с каноником Симплицием в Пепельную Среду. Он рассказывал многим, что каноник по доброте взял на воспитание сына одной умершей бедной женщины – и слава каноника росла, и рос мальчик Феликс. Когда Феликс называл каноника «папой», каноник становился нежно, шелково-розовым.

– Не называй меня так, Феликс. Я не папа тебе.

Мальчик морщил свой большой, умный лоб, молчал, спрашивал:

– А мама? Кто моя мама?

Каноник – еще шелковей, розовее:

– Это тайна. Я открою ее тебе только в тот день, когда навеки закрою глаза.

Этот день, по воле судьбы, был тоже в феврале, как и та самая Пепельная Среда, и такие же облака, ветер, в зимнем еще небе – ярко-синие окна. На стенке перед каноником медленно и невероятно быстро летел темный крест – тень от рамы. Ухватившись крепко за этот крест, каноник Симплиций стиснул зубы и кивнул Феликсу:

– Теперь, Феликс... Нет, доктор, не уходите: все равно, вы знаете это, и вы подтвердите ему, что это было именно так. Ты, вероятно, думал, Феликс, что я – твой отец. Так вот: я – твоя мать, а твой отец – покойный архиепископ Бенедикт.

Каноник последний раз увидел: огромный, как у архиепископа, лоб Феликса, рыжие рожки доктора, что-то светлое – как слезы – в его козьих глазах, и, как это ни странно, канонику показалось, что доктор Войчек сквозь слезы смеется. Впрочем, все это смутно, издали, сквозь сон: младенец уже засыпал.

КОММЕНТАРИИ

Настоящее издание является наиболее полным собранием сочинений Евгения Ивановича Замятина на сегодняшний день. Единственное собрание сочинений, вышедшее при жизни писателя в 1929 году в 4 томах, не включало ни первых произведений, ни романа «Мы», ни, разумеется, написанных им позже, но, кроме того, в него не входили его статьи, рецензии, заметки на литературные темы. В данном издании представлены все художественные произведения, литературно-критические статьи, портреты, воспоминания, записные книжки, избранная переписка.

Первый том содержит художественные произведения, созданные Е. Замятиным до 1922 года. Хронологически за эти рамки выходят лишь «Чудеса», опубликованные с 1917 по 1926 год.

АВТОБИОГРАФИЯ

Впервые в кн.: Замятин Евг. Собр. соч. Т. 1. М.: Федерация, 1929.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Один

Впервые: Образование. 1908. № 11. С. 17–48.

Печатается по этой публикации.

В рассказе отражен авторский опыт тюремного заключения за участие в революционных студенческих выступлениях.

Девушка

Впервые: Новый журнал для всех. 1910. № 25. С. 55–68.

Печатается по этой публикации.

Автор, считая первые два своих рассказа слабыми, не включил их ни в сборники, ни в собрания сочинений. Они были напечатаны лишь в вышедшем в Мюнхене издании: Замятин Е. Сочинения. Т. 3. München, 1986.

Уездное

Впервые: Заветы. 1913. № 5. С. 46–99.

Печатается по: Замятин Евг. Собрание сочинений. Т. 1. М.: Федерация. 1929.

Критика сразу же заметила это произведение молодого автора. М. Горький, А. Ремизов, Б. Пильняк считали повесть самым значительным произведением писателя.

«Замятин волнует читателя, заражает искренностью своих чувств, правдивостью своих переживаний. В голосе молодого художника прежде всего и громче всего слышится боль за Россию, – отмечал Раф. Григорьев (Р. Г. Крахмальников). – Это основной мотив его творчества, и со всех страниц немногочисленных произведений Замятина ярко и выпукло проступает недугующий лик нашей родины, – больная запутанность русской «непутевой» души, кошмарная и гибельная беспорядочность нашего бытия и тут же рядом жажда подвига и страстное искательство правды... «Уездное» – замечательное произведение современной литературы, и по глубине, значительности и художественным достоинствам не может найти себе соперников». (Ежемесячный журнал. Пг., 1984. № 12. С. 83, 84.)

«Повесть захватывает самые больные места современности», – писал И. Н. Игнатов (Русские ведомости. 1913, 7 июня).

Б. М. Эйхенбаум, обращая внимание на стилистику повести, заметил, что «автор не рассказчик, а «сказитель»...» (Русская молва. 1913, 17 июля).

После выхода первой замятинской книги повестей и рассказов, куда вошло и «Уездное» (Пг., 1916), критики вновь обратили внимание именно на заглавную повесть. «Творчество Замятина, – утверждал обозреватель «Нового журнала для всех», – это нечто серьезное, большое, глубокое. Жуткой правдой, художественным проникновением веет от всех его рассказов. Лучшая его вещь, именем которой и названа книга, – это повесть «Уездное»...» (Новый журнал для всех. Пг., 1916. № 4–6. С. 59).

«Имя молодого беллетриста Замятина стало появляться в печати сравнительно недавно. Но его первую книгу берешь в руки с уважением и доверием... – писал критик И. М. Василевский (Не-Буква). – Это писатель. У него не только большая сила изобразительности. У него есть еще какая-то серьезность, почти суровость, которая неизбежна во всяком серьезном деле... Именно такие, энергичные, живые таланты необходимо нужны нашей любимой и неле-

пой, такой уездной России» (Журнал журналов. Пг., 1916. № 7. С. 6–7).

С. 80. *Так испрохвала...* – Испрохвалá (тамбовск.) – не торопясь, исподволь.

На куличках

Впервые: Заветы. 1914. № 3. С. 35–109.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.

Повесть была написана Замятиным в Николаеве, где он занимался строительством землечерпалок. Бытописание о дальневосточном гарнизоне (где Замятин никогда не бывал), гротесково-фантаσμαгоричное, многими было воспринято как описание реальности. Сам автор вспоминал, что к нему обращались люди, которые узнавали в героях своих знакомых.

Цензура расценила это произведение как клевету на русскую армию, номер журнала был конфискован, редакция и автор привлечены к суду.

Замятин был удивлен тем обстоятельством, что большинство критиков восприняло повесть прямолинейно, и он сделал вывод, «что строить даже незнакомый по собственному опыту быт и живых людей в нем – оказывается можно».

В 1928 г. переведена на хорватский язык.

С.136. *...случилось в августе на концерт Гофмана пасть.* – Имеется в виду знаменитый польский пианист Иосиф (Юзеф) Казимир Гофман (1876–1957). С 1898 г. он жил в США; в 1895–1913 гг. часто концертировал в России.

С. 164. *...и пустила против Тихменя свои атуры.* – Атуры (от фр. atout – козырь в карточной игре) – козыри.

С. 167. *Вот начупит этакий прохвост...* – Начупить (обл.) – напроказить.

С. 168. *...играет в кулючки с чумазыми.* – Кулючки (или гулючки. стар.) – игра в жмурки, в прятки.

С. 169. *...на львах... хрупал ледок.* – Лывы (стар.) – лужи.

С. 170. *Как лунатики, как каталептики.* – Каталептики – люди, подверженные каталепсии, обморокам, сопровождающимся онемением, неподвижностью всего тела.

С. 198. *Маруся смотрела на кенкет...* – Кенкет – общее название для ламп, в которых горелка находится ниже резервуара, содержащего масло или керосин.

Непутевый

Впервые: Ежемесячный журнал. 1914. № 1. С. 8–16.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.

Три дня

Впервые: Ежемесячный журнал. 1914. № 1. С. 8–14.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Рассказ написан на основании собственных впечатлений автора, который возвращался в Россию из плавания в Египет во время восстания на броненосце «Потемкин».

Студенческий сынок

Впервые: Замятин Е. Сочинения. Т. 4. 1988. С. 46.

Печатается по данному изданию.

Алатырь

Впервые: Русская мысль. 1915. № 9. С. 9–38..

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 1. М.: Федерация, 1929.

А. К. Воронский отмечал, что в этой повести наиболее отчетливо проступают особенности художественной манеры Замятина: «слово-поклонничество, мастерство, наблюдательность со стороны, ухмылочка и усмешка, анекдотичность... заостренность, резкость и ударность приема, подбор тщательный слов и фраз, большая сила изобразительности, неожиданность сравнений, выделение одной-двух черт, скупость» (Воронский А. Е. Замятин // Искусство видеть мир. М., 1987. С. 117).

С. 274. *На одном на великом языке эсперанте...* – Эсперанто – искусственный язык, созданный на основе латинских корней европейских языков и латинской графики с упрощенной грамматикой и ограниченным лексическим запасом. Создателем его был варшавский врач Людвиг Заменгоф (1859–1917), который предполагал, что новый язык послужит сближению разных народов. Название язык получил по псевдониму Заменгофа (надеющийся). С конца XIX в. и до второй половины XX в. эсперанто широко пропагандировался во многих странах, в том числе и в России; на нем издавались книги и журналы; однако массовым языком международного общения он так и не стал.

Чрево

Впервые: Русские записки. 1915. № 4. С. 158–170.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.

Апрель

Впервые: Современник. 1915. № 4. С. 12–19.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.

Старшина

Впервые: Ежемесячный журнал. 1915. № 1. С. 36–38.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.; Федерация, 1929.

Кряжи

Впервые: Речь, 1916; то же в кн. Уездное. Пг., 1916.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.

В 1928 г. рассказ был переведен на немецкий язык.

Африка

Впервые: Северные записки. 1916. № 4-5. С. 1–10.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Полуденница

Впервые: З а м я т и н Е. Сочинения. Т. 4. München, 1988. С. 23–45.

Печатается по этому изданию.

Повесть, написанная в 1916 г., была тогда же предложена одному из журналов, но отвергнута по цензурным соображениям.

Фрагмент из повести «Куны» в несколько измененном виде опубликован Замятиным позже как самостоятельный рассказ.

Письменно

Впервые: Биржевые ведомости. 1916, 16 марта.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.

Правда истинная

Впервые: Новая жизнь. 1917. 24 декабря.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.

Верешки: На диване; Зверята; Трамвай; Снег.

Впервые: Пг.: Артель художников «Сегодня», 1918.

Печатается по: З а м я т и н Е. Сочинения. Т. 3. München, 1986.

Колумб

Впервые: в сб. Перед рассветом. Пг., 1918. С. 26–30.

Печатается по: З а м я т и н Е. Сочинения. Т. 4. München, 1988.

Колумб. Повесть

Впервые: З а м я т и н Е. Сочинения. Т. 4. München, 1968.

Печатается по этому изданию.

Первые две главы из этой повести были опубликованы в 1918 г. Повесть осталась неоконченной. В настоящем издании воспроизводится наиболее полный вариант.

В рукописи сохранились еще следующие фрагменты и варианты:

Разговор Колумба с Васиным перед смертью.

– Истина-то не курва, а – смерть. Узнаем истину – и конец. Чего ни коснется истина – смерть тому. Кто коснется ее – смерть тому.

[6]

Колумб тайком поступил в корпус. («Фунтик». Колумб тайком плакал и молил Бога, чтобы «Фунтик» был жив, промывал ему глаза, но «Фунтик» тотчас же глаза закрывал, лежа покорно с закрытыми глазами. «Фунтик» умер. И дальше Колумб поплыл без Бога.) Стал много читать. Химия. Сидел по два года в классе, но считался самым умным.

После выпускных экзаменов поехали в веселый дом. По очереди все ходили к одной, называлась она *Королек*, какая-то была особенная, как королек среди апельсинов особенный.

И в самый последний момент Колумб отказался идти. Над ним смеялись. Но он был тверд:

– Я не стыжусь и не боюсь, – глупости. А я знаю, я верю, я чувствую (кулаком об стол) – есть настоящая любовь. И я ее найду! (кулаком.) Я просто не хочу ее портить...

.

[2]

...И снова, как глобус, медленно мир повернулся перед Колумбом. И дальше поплыл он без Бога.

Когда приехал Колумб в Петербург, там завирюха эта самая уже завивалась. Как первые вихорьки метельные, курился в столовой шепот:

– В воскресенье на Невском...

Белели листочки с синим расплывшимся текстом. Блестящеглазые, с первым пушком бороды, в синих рубашках мальчики переглядывались заговорщицки.

Входила в Колумба какая-то радостная болезнь, знобило, мурашки предчувствий каких-то бежали по коже. Заправил штаны в сапоги – и ждал, и ждал, как исцеленья когда-то.

Из гимназии за Колумбом перешла кличка Колумб. Должно быть, считали, что это фамилия у него такая: Колумб. Иначе никто и не звал.

– Послушайте, как вас... Колумб, – подошел Леонтьев, крутя бородку, – мы решили пригласить вас вечером нынче на совещание. Как вы к этому?..

У Леонтьева была настоящая борода, все с почтительной завистью на него глядели, и как-то сам собой коноводом он стал.

У Колумба так и екнуло сердце, мурашки пробежали.

– Ну, конечно, – поглядел на Леонтьева исподлобья. – Поверьте, что... – но не кончил, нахмурился.

Возле дачи, где назначено было сойтись, надымило снегу такие надумы, что Колумб уж насилу дверь разыскал.

Тут было три комнаты: в задней кричал ребенок, две были полны галдежом, табачным дымом, лесниками, универсантами, кофточками...

.

(Вычеркнутые автором строки из 7-й главки повести, в самом конце, перед строкой «Колумб нигде не бывал»:)

Утром глаза обведены голубым, и оттого Лизанькин фарфор еще нежнее и чище. Колумб любовался ею, тянуло ежеминутно к чуть раскрытым ее губам, подмывало по-новому ее приласкать, как-нибудь невероятно, бесстыдно.

Лизанька всему подчинялась счастливо, покорно, радостно.

<Не позднее начала 1918>

С. 378. ...платье... с отделкой аграмантовой... – Аграманты – узорчатые плетения из шнурков для отделки платьев и женских головных уборов.

Островитяне

Впервые: Скифы. Сб. 2. 1918. С. 119 – 163.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 3. М.: Федерация, 1929.

Повесть написана на основании авторских впечатлений о пребывании в Англии в 1916 – 1917 гг.

В 1927 г. повесть была переведена на немецкий язык.

Австралиец

Впервые: З а м я т и н Е. Сочинения. Т. 4. München, 1958.

Печатается по этой публикации.

Рассказ написан на основании английских впечатлений автора.

Надежное место (В Задонск на богомолье)

Впервые: З а м я т и н Е. Сочинения. Т. 4. München, 1988.

Печатается по этой публикации.

Знамение

Впервые: Мысль. 1918. № 1. С. 78–89.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 2. М.: Федерация, 1929.

Землемер

Впервые: Ежемесячный журнал. 1918. № 1. С. 65–74.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 3. М.: Федерация, 1929.

Глаза

Впервые: Новая жизнь. 1918, 10 марта.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 3. М.: Федерация, 1929.

Рассказ переведен на немецкий язык в 1925 г.

Дракон

Впервые: Дело народа. 1918, 4 мая.

Печатается по: Замятин Е. Островитяне: повести и рассказы. Берлин; М.; Пб.: Изд. З. И. Гржебина, 1923. С. 159–160.

Мамай

Впервые: Дом Искусств. 1921. Сб. 1. С. 7–11.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 3. М.: Федерация, 1929.

Прототипом героя рассказа, как сам Замятин сообщил, послужил Яков Петрович Гребенщиков (1887–1935), библиотекарь Государственной библиотеки, знакомый всему книжному Петербургу. В статье «Закулисы» Замятин писал: «Вечный студент Сеня, погибший на баррикадах в рассказе «Непутевый», – жив до сих пор: это – бывший мой товарищ по студенческим годам Я. П. Г-ов. Ни его внешности, ни действительных событий его жизни в рассказе нет – и тем не менее от этого человека взята основная тональность рассказа.

...До неузнаваемости загримированный, он еще раз вышел на сцену в роли «Мамая 1917 года» – в рассказе «Мамай».

Ловец человеков

Впервые: Дом Искусств, 1921. Сб. 2. С. 3–14.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 3. М.: Федерация, 1929.

Рассказ примыкает к повести «Островитяне».

Тулумбас

Впервые: Записки Мечтателей. 1921. № 2-3. С. 177–179.

Печатается по: Замятин Е. Сочинения. Т. 3. München, 1986.

Текст произведения связан с придуманной А. М. Ремизовым Обезьяньей великой и вольной палатой – шуточным обществом, куда сам Ремизов принимал вполне серьезно членов палаты, награждая их всевозможными титулами. Был принят в палату и Евгений Замятин с титулом «епископ обезьянский смиренный Замутий, в миру князь обезьянский Евгений Замятин». В № 1 «Записок Мечтателей» за 1919 г. было напечатано сочинение Ремизова «Тулумбас». В последующем это название стало как бы разделом журнала (тулумбас – большой турецкий барабан, в который бьют одной колотушкой).

Первые ремизовские строки делают яснее смысл названия замятинского послания и его полемический тон: «В погибельный год жизни – в смуту, разбой и пропад, когда, кажется, земля, на которой стоишь, разверзается, готовая поглотить тебя с отчаянием твоим, в минуты горчайшей народной беды и обиды выступили вперед на Руси скоморохи.

Звенели на шапках бубенчики, гудели тулумбасы, пищали дудки...»

А к повести Замятина «Алатырь» отсылает нас несколько раз поминаемая в послании земля Алатырская.

Север

Впервые: Петербургский альманах. Пб.; Берлин, 1922. Кн. 1. С. 73–121.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

Пещера

Впервые: Записки Мечтателей. 1922. № 5. С. 82–89.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 3. М.: Федерация, 1929.

Критикой рассказ был встречен враждебно. Николай Асеев писал: «...Прямо нагнетательный насос для слез, а не рассказ... Жалко? Жалко. Страшно? Страшно. Но ведь не только жалость и страх вызывает рассказ. Он вызывает злобу. На кого? На что? А это смотря по темпераменту. У одних на прошлое – у других на будущее. И рассказ из «ледовитого» шедевра превращается в шедевр ядовитости... На что, на что озлобление? Ведь не на мороз же, не на стихию же? Значит, какого-то реального виновника, обнажившего стихию, видит он?» (По морю бумажному / Красная новь. 1922. № 4. С. 244–245).

А. К. Воронский выразился более определенно: «О драконах-большевиках ни слова, но весь рассказ заострен против них: они виновны в пещерной жизни, и в кражах, и в смерти

Маши» (Воронский А. К. Евгений Замятин / Воронский А. Искусство видеть мир. М., 1987. С. 115).

Детская

Впервые: Современные записки. Париж, 1922. № 12. С. 42–52.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 3. М.: Федерация, 1929.

Сподручница грешных

Впервые: Пересвет. 1922. Кн. 2. С. 25–30.

Печатается по: Замятин Е. Сочинения. Т. 1. München, 1970.

Все

Впервые: Вестник литературы. 1922. № 2/3. С. 15–16.

Печатается по: Замятин Е. Сочинения. Т. 3. München, 1986.

ЧУДЕСА

О святом грехе Зеницы-девы. Слово похвальное

Впервые – Дело народа. 1917. 15 октября.

Печатается по: Замятин Е. Сочинения. Т. 3. München, 1986.

О том, как исцелен был инок Еразм

Впервые отдельной книгой под названием: О блаженном старце Памве Нересте, о нарочитой премудрости его, о многих происшедших чудесных знамениях и о том, как исцелен инок Еразм. Берлин: Петрополис, 1922.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

О чуде, происшедшем в Пепельную Среду

Впервые – Новая Россия. 1926. № 1. С. 57–62.

Печатается по: Собрание сочинений. Т. 4. М.: Федерация, 1929.

СОДЕРЖАНИЕ

Ст. Никоненко. Созидатель	3
Евг. Замятин. Автобиография	21

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Один	31
Девушка	67
Уездное	80
На куличках	136
Непутевый	212
Три дня	234
Студенческий сынок	254
Алатырь	255
Чрево	289
Апрель	303
Старшина	311
Кряжи	316
Африка	323
Полуденница	334
Письменно	352
Правда истинная	357
Верешки	
На диване	359
Зверята	359
Трамвай	360
Снег	360
Колумб	361
Колумб. Повесть	366
Островитяне	389
Австралиец	442
Надежное место (В Задонск на богомолье)	443

Знамение	446
Землемер	457
Глаза	469
Дракон	473
Мамай	475
Ловец человеков	484
Тулумбас	503
Север	506
Пещера	541
Детская	550
Сподручница грешных	559
Все. <i>Отрывок из повести</i>	567

ЧУДЕСА

О святом грехе Зеницы-девы. <i>Слово похвальное</i>	571
О том, как исцелен был инок Еразм	575
О чуде, происшедшем в Пепельную Среду	587
Комментарии	594

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН

Собрание сочинений в пяти томах

Том 1

УЕЗДНОЕ

Редактор *Т. И. Киреева*
Художественный редактор *Е. В. Поляков*
Технический редактор *Г. В. Кулагина*
Корректор *Ю. А. Трушкина*
Компьютерный набор *Г. Н. Злотникова*
Компьютерная верстка *М. В. Овчаренко*

Лицензия на издательскую деятельность
ИД № 05913 от 24.09.01 г.

Подписано в печать с готовых пленок 19.12.02.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Корина.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 32,03 (в т. ч. вкл. 0,11).
Уч.-изд. л. 31,67 (в т. ч. вкл. 0,03). Тираж 3000 экз. С-17.
Изд. инд. ЛХ-242.
Заказ № 3299

ФГУП Издательство «Русская книга»
Министерства Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов на издательско-
полиграфическом предприятии «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32

ISBN5-268-00523-5



9 785268 005233 >

